Владимир

НАБОКОВ

В. СИРИНЪ

EXCLUSIVE
AUTHORIZED
EDITION
•
THE ESTATE
OF VLADIMIR
NABOKOV

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

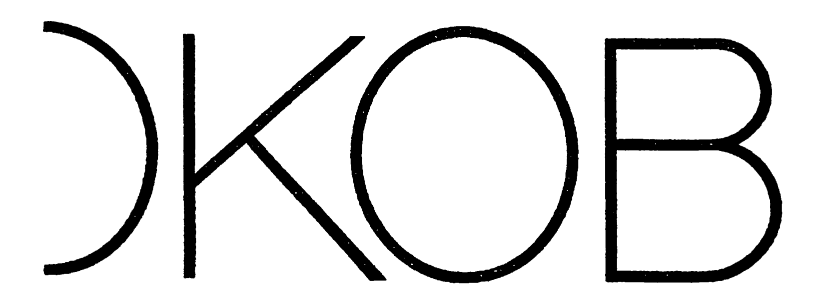
Владимир
НАБО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ РУССКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



Vladimir Nabokov

COLLECTED RUSSIAN LANGUAGE WORKS

In Five Volumes

Volume One

This edition published by arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov

В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В
(В. Сиринъ)

1918 - 1925

Рассказы
Николка Персик
Аня в Стране чудес
Стихотворения

Драматические произведения
Эссе. Рецензии

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2004

ББК 84 Р
Н14

Издание осуществлено в рамках соглашения
The Estate of Vladimir Nabokov
и Издательства «Симпозиум»

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Предисловие
А. А. Долинина

Примечания
М. Э. Маликовой

Художник
М. Г. Занько

Редактор тома
М. Э. Маликова

Издательство выражает признательность Д. В. Набокову, N. Smith, С. Б. Ильину, Е. Б. Белодубровскому, С. Польской, Е. Б. Шиховцеву, А. В. Глебовской и С. Р. Федякину за их помощь и содействие в процессе подготовки этого издания.

ISBN 5-89091-075-2 (Т.1)
ISBN 5-89091-051-5

От Издательства

Настоящее собрание русских произведений В. В. Набокова-Сирина (1899—1977) построено по жанрово-хронологическому принципу с преобладанием последнего. Нашей целью было представить сочинения автора, созданные им на русском языке (и относящиеся преимущественно к русско-европейскому периоду его жизни — 1918—1940 гг.), в порядке их появления в печати, восстановить его творческую и жанровую эволюцию. Традиционный подход подобных набоковских изданий — раздельная публикация стихов, драматургии и прозы (с очевидным предпочтением прозы) — во многом отражает и поддерживает биографическую легенду, выстроенную Набоковым, по которой все элементы его «сиринского» периода были лишь предвестием американского прозаического расцвета и нашли в нем более совершенное выражение. Первым результатом избранного подхода оказалось то, что произведения самых разных жанров, написанные и опубликованные Сириным до романа «Машенька» (1926), привычно считающегося началом его писательской карьеры, составили целый том.

В собрании впервые републикуются многие «забытые» тексты писателя — это «Николка Персик» (1922), перевод повести Р. Роллана, первое крупное прозаическое произведение Набокова; считавшийся утраченным рассказ «Пасхальный дождь» (1924); эссе «Руперт Брук» (1922); поэтический альманах «Два пути» (1918) и множество стихотворений, публиковавшихся в эмигрантской периодике. Данное собрание сочинений, конечно же, не является полным — главным образом потому, что архивы писателя пока не открыты, а поиски некоторых предположительно опубликованных его текстов никак нельзя считать завершенными. В данном томе отсутствует также ранний сборник «Стихи» (1916), который сам автор не хотел переиздавать; не включена пьеса «Трагедия господина Морна», написанная в 1924 году, но при жизни не публиковавшаяся.

Следование хронологическому принципу заставило нас нарушить некоторые текстологические правила: рассказы, позднее объединенные автором в сборники, даются в порядке их первых

публикаций в периодической печати; стихотворения, вошедшие в последний считающийся авторизованным сборник («Стихи». Ann Arbor, 1979), воспроизводятся по первым публикациям (расхождения с окончательным вариантом указываются в примечаниях). Тексты печатаются в соответствии с современными орфографическими и пунктуационными нормами, но с максимальным учетом особенностей авторской манеры и правописания начала века.

Собрание сочинений публикуется по согласованию с The Estate of Vladimir Nabokov, с разрешения сына писателя, Дмитрия Владимировича Набокова.

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ СИРИНА

Истинная жизнь писателя, не уставал повторять Владимир Владимирович Набоков, — это его творчество. Если вести отсчет пути Набокова в русской литературе от обретения им собственного литературного имени, то днем его рождения было седьмое января 1921 года, день православного Рождества, когда в берлинской газете «Руль» появились три его стихотворения и рассказ «Нежить» за подписью «В. Сирин», с тех пор ставшей его постоянным псевдонимом. Закончился же этот путь уже после переезда Набокова в США публикациями в «Новом журнале», когда он, по его выражению, «решил осалтыковить свою подпись»[1], превратившись в Набокова-Сирина. Его ученические стихи 1916—1919 годов, о которых, за редким исключением, он впоследствии предпочитал не вспоминать, — это пролог «истинной жизни Сирина»; немногочисленные стихи 1940—1970-х годов, автобиографическая книга «Другие берега» и перевод «Лолиты», а также русскоязычные сателлиты его американского творчества, — это ее эпилог.

Когда в шестидесятые годы, после громкого успеха «Лолиты» и «Бледного огня», Набокова настигла мировая слава и его давние русские книги стали одна за другой появляться в английских переводах, он получил возможность самолично представить их своим новым читателям и выстроить собственную версию своего писательского прошлого — миф о раннем, еще не вполне зрелом Набокове, предтече того искушеннейшего мастера, который достиг высочайших вершин только «на вовсе чужом языке». Постоянно отмечая, что отказ от «природной речи», от «ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного 〈...〉 русского слога» — так сказать, лингвистическая эмиграция — был его личной трагедией[2], он тем самым еще сильнее акцентировал художественное

---

[1] «Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова. / Публикация А. Чернышева. // Октябрь, 1996, № 2. С.129.

[2] Статья Набокова «О книге, озаглавленной *Лолита*». См.: В. Набоков. Лолита. / Вступительная статья и комментарии А. Долинина. М., 1991. С. 347.

превосходство американского Nabokov'а перед русским Сириным, уступающим своему старшему двойнику пальму первенства, несмотря на языковой гандикап. Как замысловато выразился Набоков в предисловии к английскому переводу «Отчаяния», «экстатическая любовь молодого писателя к тому старому писателю, которым он когда-нибудь станет, — это самая похвальная форма честолюбия. Эта любовь не встречает взаимности у старшего с его более богатой библиотекой, ибо даже если он вспомнит с сожалением ничем не обремененное нёбо и неслезящиеся глаза, то неумелый подмастерье его юности вызовет у него лишь раздраженную гримасу»[1]. В других предисловиях Набоков то и дело говорит о своих американских романах как об эталонах и объясняет существенные (и, кстати, далеко не всегда удачные) изменения, сделанные им в переводе некоторых русских произведений, художественными погрешностями оригинала, открывшимися ему теперь, когда он стал непогрешимым мастером. Так, по его словам, он переписал заново многие страницы романа «Король, дама, валет» «не для того, чтобы подрумянить труп, а скорее чтобы дать еще небездыханному телу воспользоваться некоторыми внутренними возможностями, в которых ему было прежде отказано вследствие неопытности и нетерпения, торопливости мысли и нерасторопности слова»[2].

Снисходительно похлопывая Сирина по молодому, еще не окрепшему плечу, зрелый Набоков стремился уверить своих читателей, что две его жизни в двух литературах были не чем иным, как непрерывным и неуклонным восхождением от скромной «Машеньки» до совсем не скромной «Ады» и далее, — восхождением, которое следует рассматривать как некую самоценную и самодостаточную спираль, устремленную в вечность. Поэтому еще одной составляющей создаваемого им мифа о своей русской предыстории было утверждение собственной исключительности и исключенности из какого бы то ни было современного литературного контекста. В изображении Набокова Сирин предстает ярким «метеором, пронесшимся по темному небу изгнания»[3], заносчивым писателем-одиночкой, ни с кем и ни с чем не связанным, не подверженным никаким влияниям и не понятым критикой. Если же какие-то эпизоды его биографии не соответствуют этому образу, то Набоков либо их скрывает, либо преподносит в искаженном,

---

[1] В. В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. / Антология. СПб., 1997. С. 60 (перевод Г. Левинтона).

[2] Там же. С. 64–65 (перевод Г. Барабтарло совместно с Верой Набоковой).

[3] Vladimir Nabokov. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. N. Y., 1966. P. 288.

ретушированном виде. Например, нигде и никогда он не говорит о своем активном участии в берлинских литературных кружках[1] и в заседаниях парижского дискуссионного клуба «Круг», о тесной дружбе с писателем Иваном Лукашем (вероятном прототипе Бубнова в «Подвиге»), о критических статьях и рецензиях, которые он нередко писал для эмигрантских газет и журналов, о встречах со многими литераторами во время поездок в Париж, Брюссель и Прагу, о чтении современных авторов, как западных — от Джойса и Пруста до второстепенных английских романистов, так и русских — от Пастернака и Мандельштама до Эренбурга или Е. Бакуниной, и об отзвуках этого чтения в его романах и рассказах. Чтобы его не могли заподозрить в каких-то немецких влияниях, он утверждает, что никогда не знал немецкого языка и литературы (хотя говорил и читал по-немецки вполне прилично и даже переводил Гейне и Гёте); чтобы избежать сопоставлений с Буниным, он снимает посвящение ему из рассказа «Обида», а в «Других берегах» презрительно отзывается о его «парчовой прозе» и сводит всю долгую историю их сложных взаимоотношений к изящно-ядовитому анекдоту об одной неудачной беседе в ресторане.

Как это ни странно, поздний набоковский миф возрождал, с переменой знаков на противоположные, те негативные оценки творчества Сирина, которые бытовали в эмигрантской критике первой половины 1930-х годов. Тогда Г. Адамович, Г. Иванов и более молодые литераторы, примыкавшие к так называемой «парижской школе», постоянно обвиняли Набокова в «нерусскости», в бессодержательности, в отсутствии связей с литературной традицией, в легкомысленном противостоянии как классическому наследию, так и главным литературным течениям современности. Однако к концу истинной жизни Сирина подобные оценки уже стали анахронизмом и от них вынуждены были отказаться даже литературные враги писателя. Приветствуя Набокова в Нью-Йорке в 1940 году, русские американцы безоговорочно поставили его в ряды русских классиков, увидев в его творчестве доказательство того, что «традиция русского художественного слова, его жизни и смысла, общечеловеческого и специального русского смысла, жива за рубежом России»[2]. О том, что Сирин наконец всеми

---

[1] См. об этом Е. Каннак. Берлинский кружок поэтов (1928–1933). // Русский альманах. / Под ред. З. Шаховской, Р. Гера, Е. Терновского. Париж, 1981. С. 363–366; Г. Струве. Об одном берлинском литературном кружке. // Новое русское слово. 1981, 4 октября; Г. Струве. Владимир Набоков. По личным воспоминаниям, документам и переписке. // Новый журнал. Кн. 186. Нью-Йорк, 1992. С. 176–189.

[2] В.Васильев. Вечер В. В. Сирина. // Новое русское слово. 1940, 15 октября.

принят «в лоно российской словесности», писал в 1941 году и Владимир Мансветов. По его словам, сейчас уже неловко говорить об отсутствии у Сирина «содержания»: «Ведь и Чехов когда-то смущал современников своей бессодержательностью ⟨...⟩, потом содержание у него отыскалось, — даже кой-какую идеологию для него подыскали. Найдется со временем все это и у Сирина. Пока же, читая его, подумаем лучше о той странной, вполне фантасмагорической жизни, которой всем нам пришлось жить последнсе двадцатилетие и чудовищный образ которой, как бы в душе издеваясь над нами, встает со страниц этого удивительного, но едва ли не лучшего нынче русского писателя»[1].

Подводя итоги двадцатилетнему европейскому периоду эмигрантской литературы сразу же после прибытия в Америку, сам Сирин, еще не ставший Набоковым, отнюдь не отделял себя ни от «наследия отцов», ни от своих собратьев по изгнанию. В программной статье «Определения»[2] он заявлял:

«Термин „эмигрантский писатель" отзывает слегка тавтологией. Всякий истинный сочинитель эмигрирует в свое искусство и пребывает в нем. У сочинителя русского любовь к отчизне, даже когда он ее по-настоящему не покидал, всегда бывала ностальгической. Не только Кишинев или Кавказ, но и Невский проспект казались далеким изгнанием. В течение двадцати последних лет, развиваясь за границей, под беспристрастным европейским небом, наша литература шла столбовой дорогой, между тем как, лишенная прав вдохновения и печали, словесность, представленная в самой России, растила подсолнухи на задворках духа. „Эмигрантская" книга относится к „советской" как явление столичное к явлению провинциальному. Лежачего не бьют, посему грешно критиковать литературу, на фоне которой олеография, бесстыдный исторический лубок, почитается шедевром. По другим, особым, причинам мне неловко распространяться и о столичной нашей словесности. Но вот что можно сказать: чистотой своих замыслов, взыскательностью к себе, аскетической жилистой силой она, несмотря на немногочисленность первоклассных талантов (впрочем, в какие-такие времена бывало их много?), достойна своего прошлого. Бедность быта,

[1] Влад. Мансветов. Литературный блокнот. // Новое русское слово. 1941, 2 февраля.

[2] Я цитирую эту статью, датированную июнем 1940 года, по машинописной копии, хранящейся в Набоковском архиве Библиотеки Конгресса в Вашингтоне (Box 8, file 7), и, пользуясь случаем, благодарю Д. В. Набокова за предоставленную мне возможность ознакомиться с архивами отца. Мне не удалось установить, для какого издания статья предназначалась и была ли она где-либо опубликована.

трудности тиснения, неотзывчивость читателя, дикое невежество среднеэмигрантской толпы — все это возмещалось невероятной возможностью, никогда еще Россией не испытанной, быть свободным от какой бы то ни было — государственной ли, или общественной — цензуры».

Совершенно очевидно, что Набоков мыслит себя участником общего эмигрантского литературного дела, миссия которого заключается в том, чтобы сохранить и продолжить — наперекор деструктивному «провинциализму» словесности советской — «столичную» традицию русской литературы в условиях свободы, чтобы быть «достойным своего прошлого» и, как сказано в набросках ко второй части «Дара», донести его дары до будущего отечественной культуры. Те же идеи он высказывал еще в 1926 году, в докладе «Несколько слов об убожестве советской беллетристики и попытки установить причины оного», где обвинял советских писателей в том, что они забыли времена «изумительного детства» русской литературы, «когда она была так хороша, так тонка, так жизнерадостна, так отзывчива на каждую мелочь» и предсказывал:

«Юность ее — еще впереди, — и литература с таким детством не может не иметь блистательной, упоительной юности. И может быть, как знать, — вовсе не из той среды, откуда выходят Гладков и Сейфуллина, — выйдут те, кот[орые] продолжат дело первых пестунов русской музы. Мне иногда мнится, что эти грядущие писатели будут созданы из чудес изгнания и чудес возвращения»[1].

Увы, «чудес возвращения» Набокову так и не суждено было дождаться, но свою судьбу эмигранта он действительно переосмыслил как чудодейственную возможность «продолжать дело первых пестунов русской музы». Потеряв родную страну в физическом пространстве, художник-изгнанник, считал Набоков, вновь обретает ее в памяти, в воображении, в языке; русская культура, ее семиосфера, становятся для него единственным реальным метапространством, в котором и для которого он живет, отвоевывает свое место, общается с себе подобными. Свободно творимые художником миры могут не иметь никаких связей с историческими процессами, с социальным бытием, с окружающей изгнанника чужой, «призрачной» действительностью, но они обязательно должны быть обращены к литературной традиции, ибо только в ней они получают значение и обоснование, так сказать, разрешение полагать, что «весь я не умру». Что бы ни говорили парижанин Адамович или американец Набоков, творчество Сирина

---

[1] Цитируется по рукописи, находящейся в Набоковском архиве Нью-Йоркской Публичной библиотеки (Box I, file 1).

питается русской литературой и, в свою очередь, русскую литературу питает; оно развивается только в диалоге с ней, в отталкивании от того, что ему представляется чуждым или мертвым, и в присвоении того, что он признает родственным и живым. Именно этим, наверное, объясняется его насыщенность цитатами, реминисценциями, аллюзиями, пародийными отзвуками, его подчеркнутая литературность. От ранних стихов, посвященных Пушкину, Некрасову, Достоевскому, Толстому, Блоку, Гумилеву, Бунину, до остроумных пародий на Достоевского и «достоевщину» в «Отчаянии» и «Событии», от прочитанных в берлинских литературных собраниях докладов о Пушкине, Гоголе, «Братьях Карамазовых», Блоке до изощренной литературной игры с основным «составом» отечественной словесности в «Даре» — все, что писал Набоков в двадцатые-тридцатые годы, свидетельствует о его кровной причастности к судьбам русской литературы, а его пресловутая непочтительность к авторитетам оставалась тогда непочтительностью родственной.

Позиция Сирина по отношению к русской литературной традиции была близка к тому, что его старший товарищ и единомышленник Владислав Ходасевич в статье «Литература в изгнании» назвал литературным консерватизмом. «Внутренняя жизнь литературы, — писал Ходасевич, — протекает в виде периодических вспышек, взрывов, подобных тем, которые происходят в моторе. Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления. В этих условиях сохранение литературной традиции есть не что иное, как наблюдение за тем, чтобы самые взрывы происходили ритмически правильно, целесообразно и не разрушали бы механизма. Таким образом, литературный консерватизм ничего не имеет общего с литературной реакцией. Его цель — вовсе не прекращение тех маленьких взрывов или революций, которыми литература движется, а как раз наоборот — сохранение тех условий, в которых такие взрывы могут происходить безостановочно, беспрепятственно и целесообразно. Литературный консерватор есть вечный поджигатель огня, а не его угаситель»[1]. Как и Ходасевич, Набоков не выносил авангард с его программой тотального, очистительного разрушения традиций и возжигания нового, небывалого огня на пепелище старой культуры; своей целью он видел именно «обновление механизма», а не его разрушение. Ниспровергая ложные авторитеты, высмеивая омертвевшие штампы, вскрывая унылую пошлость всех общих мест, изобретая необычные для русской литературы темы, способы изображения, повествовательные приемы и структурные принципы, он тем не менее следил за тем, чтобы его «маленькие взрывы» не повредили

[1] В. Ходасевич. Колеблемый треножник. / Избранное. М., 1991. С. 469.

само здание культуры, в котором он устроил свой дом. Пушкин, по его слову, «радуга по всей земле». Гоголь, Тютчев, Толстой, Чехов, Блок, даже не слишком любимый им Достоевский были для него не истуканы, а живые собеседники, старшие родственники, от которых он вел свою литературную генеалогию.

Характерно, что даже в период литературного ученичества, пришедшийся на годы триумфального шествия авангарда, Набоков не был затронут авангардистской модой. Как и многие выдающиеся прозаики-модернисты, он начал свой путь в литературе как поэт, но в его стихах первой половины 1920-х годов нет и следа новейших поэтических веяний, как если бы Пастернак, футуристы, Цветаева, Мандельштам, и даже Анненский или М. Кузмин, остались ему вовсе неизвестными. Современным критикам эти стихи не могли не показаться крайне архаичными. Цитируя сиринский «Сонет», вошедший в сборник «Гроздь», К. В. Мочульский иронически восклицал: «Не верится, что „азбуке душистой ветерка учился он у ландыша и лани“. Эта азбука не дается так легко... 〈...〉 Не из гербария ли Фета эти ландыши?»[1] «Если доискиваться его поэтических предков, — писал дружески расположенный к Сирину Глеб Струве, — надо прежде всего обратиться к очень чтимому им Бунину, отчасти к Майкову и классикам»[2]. «Все его эпитеты взяты от раннего символизма (багряные тучи, лазурные скалы, лазурные страны, лучезарные щиты, полнолунья и т. д.), — отмечал А. Бахрах, — многие строки навеяны Блоком»[3]. В ранних стихах Набокова можно усмотреть и некоторое воздействие английской поэзии, но опять-таки не ультрасовременной, а старомодной, так называемой поздневикторианской и георгианской (Теннисон, Браунинг, Доусон, молодой Йейтс, Де ла Мар, Хаусман, Брук).

За очень немногими исключениями ранние стихи Набокова — скованные, эклектичные, лишенные собственного голоса, нередко впадающие в напыщенную риторику и сентиментальность, иногда просто безвкусные — относятся ко второму или даже третьему ряду русской поэзии 1920-х годов. Зато с точки зрения последующей эволюции писателя они представляют чрезвычайный интерес. Во-первых, стихотворные экзерсисы молодого Набокова сыграли важную роль в формировании его нарративного стиля, послужив своего рода ретранслятором, через который в его прозу вошли образы, интонации, тропы, приемы, композиционные принципы русской классической и модернистской поэзии.

---

[1] К. В. [Мочульский]. В. Сирин. «Гроздь». // Звено. 1923, 23 апреля.

[2] Г. Струве. Письма о русской поэзии. II. // Русская мысль. Кн. 1–2. 1923. С. 297.

[3] А. Б[ахра]х. В. Сирин. «Гроздь». // Дни, 1923, 14 января.

Знаменитый «зеркальный», «блестящий» слог набоковской прозы, за который ему так доставалось от критиков «парижской школы», сложился не в одночасье. Пока проза оставалась для Набокова второстепенным занятием, он пробовал различные стилевые модели, не исключая даже столь чуждого ему простонародно-орнаментального сказа в духе Ремизова и его советских подражателей, как в «Нежити». В его архиве сохранилась рукопись незаконченного рассказа об эмигранте, который тайно переходит советскую границу, чтобы увидеть родной дом (сюжет, предвосхищающий роман «Подвиг»). По своему стилю этот рассказ напоминает объекты злых пародий в зрелой прозе Набокова. «Рассея, благодать, ширина, синева свежая...» или «вся погрязла, загвохала она в жирной шоколадной грязи» — так пишет не Ростислав Странный из «Дара», большой любитель инверсий и просторечия, а молодой Сирин; «шляешься-то отколь?» или «входи-то в кабачишко» — так изъясняется не Родион из «Приглашения на казнь», а крестьяне в рассказе. Там же герой именуется просто «человеком», за что сам же Набоков впоследствии будет бранить Зинаиду Шаховскую, попутно указывая на источники этого приема. «Нехорошо называть персонажа рассказа „человеком“, — пишет он Шаховской в середине 1930-х годов, — это повелось еще со времен символизма, а с легкой руки Эренбурга вошло в обиход советской беллетристики». В других ученических рассказах — например, в «Мести» и «Ударе крыла» — он опробует иные стилистические образцы, экспериментирует с короткими, сжатыми, «разрубленными» фразами[1], входившими тогда в моду у молодых советских прозаиков, и лишь отдельные пассажи в них предвосхищают будущего «блестящего», ни на кого не похожего Набокова.

Отойти от стилевых стереотипов современной русской литературы Набокову помогли его переводы. По заказу берлинских издательств он сочиняет русифицированные версии двух знаменитых игровых повестей — «Кола Брюньона» (ставшего «Николкой Персиком») Р. Роллана и «Алисы в Стране чудес» (перекрещенной в «Аню») Л. Кэрролла, где ему волей-неволей приходится подыскивать эквиваленты ритмизованному, сочному сказовому стилю французского писателя и каламбурам, пародиям, ироническим интонациям писателя английского. И хотя в этих переложениях порою заметны некоторая натужность и сбои ритма, в целом они, как сказано в редакционном предисловии к публикации отрывков из «Николки Персика» в газете «Руль», представляли «по своей художественной форме и точности выдающуюся литературную

[1] Ср., например, в «Ударе крыла»: «Ему почудилось, что бумажные ленты скользят у него по лицу. Тонко шуршат и рвутся. И японские фонари текут цветной зыбью в паркете. Он танцует, наступает».

заслугу»[1]. Именно в них формировался и сразу же оттачивался легкий, гибкий, подвижный слог будущего романиста. Его ростки видны и в эссе об английском поэте Руперте Бруке, куда Набоков включил не только собственно поэтические переводы, но и прозаические парафразы некоторых стихотворений, которые часто сливаются воедино с голосом повествователя. Этот опыт раскованной, музыкальной полупоэзии должен был показать Набокову, насколько свободнее он чувствует себя вне рамок стиха, передавая поэтическую мысль, троп, даже инструментовку в прозаическом периоде.

Пожалуй, прорыв к собственному стилю Набоков совершил только тогда, когда он начал писать самостоятельную прозу как раскрепощенную поэзию, как прозаический «перевод» образов, интонаций и метафор своих ранних стихов. Отметив замечательное версификационное мастерство молодого Набокова, Г. Струве пришел к заключению, что именно оно сковывало его стиль, который он определил, перефразируя Кольриджа, следующей формулой: «Не лучшие слова в прекрасном порядке»[2]. Широкое пространство прозы дало возможность Набокову освободиться от гнета версификации и наконец утолить жажду «лучшего слова». Что же касается его комбинаторного мастерства, умения рационально выстраивать и контролировать сложную форму, то и они оказались чрезвычайно полезными для прозы: примененные к сюжетостроению, к общей композиции рассказа или романа, эти навыки позволили Набокову выработать особую технику структурирования прозаического текста как квазипоэтического единства, пронизанного значимыми повторами, перекличками, рифмами ситуаций, разветвленными лейтмотивами.

Чтобы не показаться голословным, попробую сравнить два набоковских описания одного и того же природного явления — заканчивающегося летнего дождя — в раннем стихотворении «Облака» (1923) и в начале второй главы романа «Дар».

> На солнце золотом сияет дождь летучий,
> озера в небесах синеют горячо,
> и туча белая из-за лиловой тучи
> встает, как голое плечо.

«Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шуметь, невпопад, так и сяк, вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми подробностями чудовищно сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны».

---

[1] Руль. 1922, 29 августа.

[2] Г. Струве. Русская литература в изгнании. / Издание третье, исправленное и дополненное. Париж—Москва, 1996. С. 121.

Основные образы и их последовательность в обоих описаниях почти идентичны: редкий дождь, сияющий на солнце, синее небо, которое кажется влажным, светлое облако, выходящее из-за темной тучи. Однако то, что в стихах кажется статичной, банальной зарисовкой, в прозе приобретает глубину и динамику, обрастая дополнительными смыслами. У дождя появляется предыстория, его «стрелы» начинают двигаться, облако уподобляется одновременно изощренному произведению искусства и человеческому телу. Скучный синтаксис строфы с его тремя парами стертых подлежащих и глагольных сказуемых (дождь сияет, озера синеют, туча встает) сменяются гибкими, извилистыми, разнообразными конструкциями; вместо скудного, тривиального словаря стихов проза предлагает неожиданные, но изобразительно точные находки (стрелы дождя, омытое небо, подробности чудовищно сложной лепки, вороное облако, выпрастывалось). Любопытно, что при «переводе» своих стихов на язык прозы Набоков ухитряется найти улучшенный эквивалент даже для обоих тропов, в них содержащихся: неуклюжей метафоре «небесные озера» семантически соответствует «омытое небо», а резкому сравнению облака с голым плечом — изящный намек на него в толстовском глаголе «выпростать» и в сочетании «упоительная белизна». Наконец, если в стихах рифма «летучий / тучи» вызывает неуместную ассоциацию с ее хрестоматийными аналогами в «Бесах» Пушкина и «Бородино» Лермонтова, то «облако упоительной белизны» в прозаическом описании, напротив, вполне уместно отсылает к блоковским «облакам небывалой услады», упомянутым в «Даре» несколькими страницами ранее. Параллель с Блоком поддерживается и сходной аллитерационной цепочкой «из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны», которое в стихах выглядело бы подражанием символистской звукописи, а в прозе как бы цитирует ее, что мотивировано сквозной темой русского символизма, проходящей через весь роман.

В результате подобных «переводов», многочисленные примеры которых можно обнаружить в каждом романе Набокова, его проза смогла освоить и синтезировать едва ли не все основное наследие русской поэзии, не исключая и тех влиятельных набоковских современников, кого он, как поэт, бежал и опасался, — Мандельштама[1],

---

[1] В неопубликованной рецензии на три сборника стихов (Д. Шаховской. Песни без слов. Брюссель, 1924; Лев Гордон. Оттепель. Берлин, 1924; Илья Британ. Разноцвет. Берлин, 1924) Набоков писал о Мандельштаме как о «прелестном тупике» русской поэзии, подражать которому «значит впадать в своего рода плагиат», что выдает некоторую «озабоченность влиянием».

Хлебникова[1], Пастернака, даже ненавистных ему Маяковского и Г. Иванова.

1. Темы сознания: ностальгические воспоминания об утраченном рае детства и юности с его петербургской, дачной и крымской локализацией, припоминание мелких, как бы незначимых подробностей прошлого, любование миром как «многолюдным пиром» для чувств, как божественном «даром», прочитывание реальности как творения «Незримого Зодчего», оставляющего в ней «знак нестираемый, исконный / узор, придуманный в раю», сновидческое погружение в воображаемые миры.

2. Темы пути: возвращение на родину в различных его вариантах, изгнание как странствие или паломничество, имеющее некую благую цель, выбор дороги из нескольких альтернатив, формы и способы движения как в буквальном, так и в фигуративном смысле («Божий странник», бредущий по тропинке через «величественно-черный лес» к «дали полей», велосипедист, лыжник, прыгун с трамплина, пассажир поезда, полет аэроплана и т. д.), членение пространства и переход через установленные границы.

3. Темы собственного творчества: художественное воображение как «дар, великолепный и тяжелый», дающий возможность преодолеть трагические потери («горя творческая тьма») и обещающий бессмертие, авторефлексия (как заметил К. В. Мочульский, Набоков любит давать определения своему стиху, называя его «простым, радужным и нежным», «сияющим», «весенним» и т. п.[2]), самоопределение по отношению к литературной традиции.

4. Темы «потусторонности»[3]: мир как платонический «отзвук» идеального либо — в пессимистическом варианте — гностическое «искажение» божественного замысла («В этом мире страшном, не нашем, Боже, / буквы жизни и целые строки / Наборщики переставили...»); смерть как освобождение души из заточения в горячечной рубашке плоти и переход в вечность («Смерть громыхнет тугим засовом / и в вечность выпустит тебя»), как пробуждение ото сна («Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее...») или завершение низшей стадии, метаморфоза («Нет, бытие — не зыбкая загадка! Подлунный дол и ясен и росист. /

---

[1] О зауми в прозе Набокова см. наблюдения О. Ронена в его увлекательной статье «Заумь за пределами авангарда» (Литературное обозрение. 1991, № 12. С. 40-43).

[2] К. В. [Мочульский]. В. Сирин. «Гроздь».

[3] По известному замечанию Веры Набоковой в ее предисловии к посмертному сборнику стихов Набокова (В. Набоков. Стихи. Анн Арбор, 1979), темой «потусторонности» пропитано все, что он писал: «Она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. ‹...› Тема эта намечается уже в таких ранних произведениях Набокова, как „Еще безмолвствую и крепну я в тиши...“»

Мы — гусеницы ангелов; и сладко / въедаться с краю в нежный лист»); тайная, незримая связь умерших с живыми.

В конечном счете, все эти темы сводятся к центральной для Набокова метатеме «двоемирия», которую можно интерпретировать в нескольких планах: экзистенциальном («как бы двойное бытие» изгнанника, существующего одновременно в двух параллельных реальностях — актуальной, но чужой, и воображаемой, но своей), гносеологическом (оппозиция «я» / «не я» — по слову Набокова, «единственный приемлемый вид дуализма»[1]; явь как сон и сон как явь), эстетическом (сотворенные миры искусства резко противопоставляются «действительности» как творимому «чужому тексту», что исключает жизнетворчество), поэтико-риторическом (обыгрывание различий между кругозором автора, осознающим свой текст как фикцию, и кругозорами персонажей, переживающими его как свою реальность) и метафизическом (земное бытие мыслится временным заточением, после которого наступает «освобождение духа из глазниц плоти» и его вхождение в трансцедентное). Истоки набоковского двоемирия, как установили исследователи, лежат в поэзии и философской мысли европейского романтизма, в русском и французском символизме, в идеях «творческой эволюции» у Бергсона, «мира как театра» у Н. Н. Евреинова и «четвертого измерения» у П. Д. Успенского. Высказывались также небезосновательные предположения о воздействии на Набокова мистики Сведенборга, эстетизированной православной теологии Флоренского и гностических учений.

В общем и целом можно сказать, что в молодые годы Набоков усвоил целый комплекс идей, питавших культуру русского Серебряного века, и попытался по-своему синтезировать их в модусе лирической поэзии, но потерпел неудачу, ибо не сумел найти собственную интонацию и, шире, собственную поэтику. Зато в прозе, где разрозненные темы соединились в сложные, гармонические «узоры», банальные метафоры развернулись в нетривиальные сюжеты, а декларированные идеи обрели неожиданное драматическое воплощение, Набокову наконец удался желаемый синтез — удалось найти для своей мысли подходящую «камеру обскуру».

Представляя в «Даре» путь своего героя-писателя от ученической лирики к такой прозе, «где мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни», Набоков словно бы ненароком обмолвился, что перед тем, как начать свою первую прозаическую книгу, Федор Годунов-Чердынцев сочиняет какую-то драму в стихах. Драмы

---

[1] V. Nabokov. Playwriting. // The Man from the USSR and Other Plays. / Introductions and Translations by Dmitri Nabokov. San Diego—N.Y.—L., 1984. P. 321.

самого Набокова — одноактные «Смерть», «Полюс», «Дедушка» (все 1923), незаконченные «Скитальцы» (1923) и пятиактная «Трагедия господина Морна» (1924), опубликованная только недавно, — тоже были написаны на переходе, в поворотный момент его творческой биографии, когда он начал избавляться от поэтической немощи и преодолевать инерцию лирики. Драматические формы послужили молодому Набокову той удобной репетиционной площадкой, где он словно бы разыгрывал собственное будущее, апробируя главные темы, сюжеты и приемы перед тем, как вынести их на большую сцену своей прозы. Лирическое «я» его поэзии расщепляется в них на несколько голосов. В «Смерти», например, это хитроумный ученый-экспериментатор Гонвил, мечтающий о «власти над разумом чужим», и его жертва, тайно влюбленный в его жену мечтатель Эдмонд, возжелавший перейти за черту земного бытия; в «Трагедии господина Морна» — это сам Морн, тайный король счастливой страны, мудрец Дандилио, для которого «все в мире — игра, всегда одинаково занятная, всегда одинаково случайная», и, наконец, призрачный Иностранец, «представитель» автора пьесы. У героев «Морна» появляется резко очерченный антагонист — демонический гений насилия и разрушения Тременс, первый из длинного ряда набоковских лжехудожников, предающих свое искусство, — а бесплотная «ты» любовной лирики получает характер в двух вариантах (Мидия и Элла).

В условных сюжетах драм Набоков уже нащупывает некоторые ситуации своих будущих романов. Так, Эдмонд в «Смерти», обманутый Гонвилом и убежденный, что он покончил с собой и находится в потусторонности, предвосхищает Смурова в «Соглядатае», рассказ Прохожего в «Дедушке» о том, как он чудом избежал гильотины и «сразу как бы прозрел», — явный прообраз финала «Приглашения на казнь»; фантастическое королевство «Морна» — эскиз незаконченного романа «Solus Rex» и «Бледного огня». Почти все драмы, как и лучшие романы Набокова, строятся на теме «двоемирия», и, скажем, в желании героя «Трагедии господина Морна» войти в нарисованный пейзаж мы сразу же узнаем ключевой мотив романа «Подвиг», где о том же мечтает его главный герой.

Как известно, Набоков, которого один критик назвал Homo ludens (человек играющий), чрезвычайно высоко ценил магию игры, основанную на обмане, иллюзии, имперсонации, и сам был отменным знатоком разных игр — игры природы, игры слова и ума, игры шахматных и прочих фигур, игры с читательскими ожиданиями и, конечно же, игры театральной. Старинная метафора, уподобляющая мир театру, а людей актерам, была близка его миропониманию, и он многократно пользовался ею в своих

произведениях. Неудивительно поэтому, что именно в «Трагедии господина Морна» — его первой по-настоящему «театральной» пьесе со сложным сюжетом и большим количеством персонажей — Набоков впервые опробует стратегию игры с собственным текстом, обнажающей и подчеркивающей его придуманность. Здесь, как в «Короле, даме, валете», «Отчаянии» или «Лолите», автор переходит в свой собственный «нарядный сон» из «обиходной яви, из пасмурной действительности», являясь персонажам драмы в туманном, меняющемся облике таинственного иностранного визитера из «северной страны» и уверяя их, что они только его греза, сновидение, имеющее «призрачное сходство» с реальностью. Не скрывает «Морн» и свою литературность — он весь пронизан цитатами и реминисценциями из Шекспира, Пушкина, Лермонтова, А. К. Толстого, Блока, которые не только подключают трагедию к определенной литературной традиции, но и подчеркивают ес игровой характер. Искусству-игре Набоков противопоставляет «серьезное искусство», находящееся в услужении у революционных идей. Его в пьесе олицетворяет поэт-трибун Клиян, который восторженно принимает разрушительный пафос безумца Тременса и за которым просматриваются легко опознаваемые современные прототипы. Он «похож на коня», как Борис Пастернак[1], он с удовольствием смотрит, как умирают дети, радуется разрушению музеев и слагает оды гениальному вождю, как Маяковский, и призывает «пожары раздувать», как Блок в «Двенадцати». Подобное соединение разных реальных прототипов

[1] Набокову, по всей вероятности, должна была быть известна статья М. Цветаевой «Световой ливень» (1922), в которой отмечено внешнее сходство Пастернака с конем. Ср.: «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, — и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскось глаз» (Марина Цветаева. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 354). Во время пребывания Пастернака в Берлине в 1923 году Набоков имел много возможностей самолично убедиться в наблюдательности Цветаевой. Не исключено, что само имя вождя революции Тременс (от *лат.* Delirium tremens, то есть белая горячка) в «Морне» иронически отвечает на «Высокую болезнь» Пастернака, которая была опубликована в первом — «ленинском» — номере «ЛЕФ»а за 1924 год и в которой «белой горячке» революционного действия приписан высокий поэтический смысл. Ср.: «Мы тут при том, что в театре террор / Пост партеру ту же песнь, / Что прежде с партитуры тенор / Пел про высокую болезнь. / Про то, что белая горячка / Цемента крепче и белей, / Кто не возил подобной тачки, / Тот испытай и поболей» (редакция 1924 года: Б. Пастернак. Собрание сочинений в 5 томах. М., 1989. Т. 1. С. 561).

в один пародийный характер по некоему общему признаку (в данном случае, по принятию Революции), который выявляет их сущностное сходство, в дальнейшем станет излюбленным приемом Набокова в полемике с литературными недругами — аналогичным образом построена, например, литературная личина Германа в «Отчаянии», а также шаржи Мортуса и Ширина в «Даре».

Игровая установка, соединенная, как правило, с установкой на литературную полемику, постепенно начинает проникать и в ранние рассказы Набокова. Свидетельство этому — изящная дьяволиада «Сказка», перекодирующая демоническую фантастику Гофмана в беззлобный эротический анекдот или бессюжетный «Путеводитель по Берлину», в котором Набоков, споря с книгой Шкловского «Zoo, или Письма не о любви», предлагает и тут же реализует собственную программу «остраннения» обыденного материала:

«Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной, — в те дни, когда человек, надевший самый простенький сегодняшний пиджачок, будет уже наряжен для изысканного маскарада».

В то же время Набоков пишет и лирические этюды от первого лица, почти стихотворения в прозе («Письмо в Россию», «Благость», «Гроза», «Ужас»), по интонации и стилю несколько напоминающие миниатюры Бунина двадцатых годов, — исповедальные монологи героя, переживающего момент прозрения, когда он внезапно осознает либо «нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим», либо, напротив, «страшную наготу, страшную бессмысленность сущего». В ряде других рассказов он испытывает модели психологической новеллистики, выстраивая характеры, лишенные автобиографических черт, и испытывая их в острых ситуациях потери и узнавания некоей тайны: Слепцов в «Рождестве», переживающий смерть любимого сына; обманутый муж, который не смог преодолеть страх и позорно бежал от поединка с соперником, — в «Подлеце», по определению самого Набокова, «запоздалые вариации» на одну из тем русского романтизма и чеховской «Дуэли»[1]; цирковой карлик, узнающий, что у него был ребенок, который на днях умер, — в «Картофельном Эльфе»; «полоумный музыкант»,

[1] The Stories of Vladimir Nabokov. N.Y., 1995. P. 645.

бросающий музыку после смерти самоотверженно любившей его женщины, — в «Бахмане»; мужественный странник с именем и отчеством «певца мужественности» Гумилева, нечаянно открывающий стыдный секрет своей матери, — в «Звонке».

Любопытные сами по себе, ранние рассказы Набокова, как и драмы, интересны еще и как творческая лаборатория, где опробуются и отбираются характеры, тематические «узоры», средства изобразительности, которые получат дальнейшее развитие в зрелых произведениях писателя. Скажем, в герое «Бахмана», как заметил Набоков в примечании к английскому переводу рассказа[1], обнаруживается близкое родство с героем «Защиты Лужина», а в одиноком, но счастливом бродяге Никитине («Порт») проглядывают черты главных героев «Машеньки» и «Подвига». Немецкий приказчик Марк Штандфусс из рассказа «Катастрофа» (написанного, вероятно, не без воздействия знаменитого «Моста через Совиный ручей» Амброза Бирса) явно предвосхищает своего коллегу Франца из романа «Король, дама, валет», хотя ему уготована совсем иная участь: он становится первым, но далеко не последним персонажем Набокова, чья смерть описана как расширение сознания, как переход от слепоты к зрячести, когда уходящему из жизни герою внезапно открываются дивные «подробности заката» (именно так назван рассказ по-английски) и волшебные галереи и храмы, повисшие в вышине.

Внутренняя логика развития вела Набокова от рассказов к большой форме, и, собственно говоря, его лирические, бессюжетные миниатюры и были эскизами к первому роману, над которым он начал работу уже в 1924 году. По признанию писателя, «Письмо в Россию» — это единственный сохранившийся фрагмент незаконченного им тогда романа «Счастье»[2], который он, судя по всему, задумывал как лирический монолог автобиографического героя-рассказчика, «счастливого изгнанника», преодолевающего тоску по утраченной родине и оставшейся в России возлюбленной. Однако избранная форма, вероятно, не удовлетворила Набокова, и он начал писать «Счастье» заново и по-другому — теперь уже от третьего лица, передоверив свои лирические воспоминания дистанцированному от повествователя герою. Более того, начертив на первой странице рукописи план берлинского пансиона, где должно происходить действие романа, Набоков принимается заселять его другими персонажами, которые получают индивидуальные, резко очерченные характеры. «Я знаю, как пахнет каждый, — пишет он матери, — как ходит, как ест, и так

[1] The Stories of Vladimir Nabokov. P. 643.
[2] Там же.

хорошо понимаю, что Бог — создавая мир — находил в этом чистую и волнующую отраду». Демиургическое начало вступает в борьбу с началом лирическим, и из их столкновения рождается романное мышление Набокова — рождается его первый роман, получивший в конце концов новое заглавие — «Машенька». Но о нем и о других романах писателя конца 1920-х—начала 1930-х годов — в следующей статье.

А. Долинин

РУЛЬ

Пятница, 7 января 1921 года

Событія дня.

Москва, 3...

Опубликовано оффиц... щеніе о постановленной съѣздомъ... одобренной...

...садка 22.000 крымскихъ ...нцевъ въ Далмаціи ...ведена при содѣйствіи ...цузскихъ морскихъ ...ъ. Французы выразили юго-сла-

Нежить.

Я задумчиво перомъ обводилъ круглую, дрожащую тѣнь чернильницы. Въ дальней комнатѣ пробили часы, а мнѣ, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится въ дверь, — сперва тихохонько, потомъ все громче; стукнулъ двѣнадцать разъ подрядъ и выжидательно замеръ.

— Да, я здѣсь; войдите...

Ручка дверная застѣнчиво скрипнула, склонилось пламя слезящейся свѣчи, и онъ бочкомъ вынырнулъ изъ прямоугольника мрака, — согнутый, сѣрый, запорошенный пыльцою ночи морозной и [illegible]...

Зналъ я лицо его, — [illegible], давно [illegible]! Правый глазъ былъ еще въ тѣни, [illegible] ... и зрачекъ рдѣлъ, ... вытый, дымчато-зеленый... А этотъ ... какъ точка ржавчины... [illegible] ... сѣрый клокъ на [illegible] ... [illegible] ... у безусаго рта, — какъ это ... [illegible] ... Я всталъ, — онъ шагнулъ впередъ. Худое пальтишко застегнуто было какъ-то не такъ, — по-женски; въ рукѣ онъ держалъ шапку, — нѣтъ, темный, неладный ... шапки, — то не было вовсе ...

Зашёлъ провѣдать тебя. Узналъ ... съ тобой, бывало, что ни ... вмѣстѣ, [illegible]... Такъ ... Неужто забылъ? —

Голосъ его словно ... глазахъ защекотало, голова ... я вспомнилъ счастье, гул... невозвратное счастье...

Нѣтъ, — не можетъ быть ... Это [illegible] ... со мной и вправду ... костлявый, [illegible], въ ... кихъ сапожкахъ, и голосъ ... золотой, сочно... комый, — а слова были все людскія...

— Ну [illegible], — [illegible] ... прежній [illegible], задорная ... мнѣ [illegible] ... глубоко, ... тучи шатучія, ... бересты, что ... сладостный ... вѣчный, мягко ... гулял во-мнѣ ... — Помнишь ... березу бѣлую? Вырубил... мнѣ нестерпимо; ... а чѣмъ помо... ... плакалъ ... — да скономъ ... бере.

Тосковалъ я ... вотъ... Только ... бора и нѣтъ, — ... пришлось побродя... ... — вороній ...

Рассказы

1921—1925

РАННИЕ РАССКАЗЫ

НЕЖИТЬ

Я задумчиво пером обводил круглую, дрожащую тень чернильницы. В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится в дверь — сперва тихохонько, потом все громче; стукнул двенадцать раз подряд и выжидательно замер.

— Да, я здесь, войдите...

Ручка дверная застенчиво скрипнула, склонилось пламя слезящейся свечи, и он бочком вынырнул из прямоугольника мрака — согнутый, серый, запорошенный пыльцою ночи морозной и звездистой...

Знал я лицо его — ах, давно знал!

Правый глаз был еще в тени, левый пугливо глядел на меня, продолговатый, дымчато-зеленый; и зрачок рдел, как точка ржавчины... А этот мшисто-серый клок на виске, да бледно-серебристая, едва приметная бровь, — а смешная морщинка у безусого рта, — как это все дразнило, бередило смутно память мою!

Я встал, — он шагнул вперед.

Худое пальтишко застегнуто было как-то не так — по-женски; в руке он держал шапку, — нет, темный, неладный узелок, — шапки-то не было вовсе...

Да, конечно, я знал его — даже, пожалуй, любил, — только вот никак придумать не мог, где и когда мы встречались, а, верно, встречались мы часто, иначе я не запомнил бы так твердо вон этих бруснично-красных губ, заостренных ушей, кадыка забавного...

С приветливым бормотаньем я пожал его легкую, холодную руку, тронул спинку дряхлого кресла. Он сел, как ворона на пень, и заговорил торопливо:

— Так жутко на улицах. Я и зашел. Зашел проведать тебя. Узнаешь? Мы ведь с тобой, бывало, что ни день резвились вместе, аукались... Там — на родине... Неужто забыл?

Голос его словно ослепил меня, в глазах запестрело, голова закружилась; я вспомнил счастье, гулкое, безмерное, невозвратное счастье...

Нет, — не может быть! Я — один... Это все — лишь бред прихотливый! Но рядом со мной и вправду кто-то сидел, — костлявый, нелепый, в ушастых немецких сапожках, и голос его звенел, шелестел, золотой, сочно-зеленый, знакомый, — а слова были все такие простые, людские...

— Ну вот — вспомнил... Да, я — прежний Леший, задорная не́жить... А вот и мне пришлось бежать...

Он вздохнул глубоко, и почудились мне вновь — тучи шатучие, высокие волны листвы, блестки бересты что брызги пены, да вечный, сладостный гул... Он нагнулся ко мне, мягко заглянул в глаза:

— Помнишь лес наш, ель черную, березу белую? Вырубили... Жаль было мне нестерпимо; вижу, березки хрустят, валятся, — а чем помогу? В болото загнали меня, плакал я, выл, выпью бухал, — да скоком, скоком в ближний бор.

Тосковал я там; все отхлипать не мог... Только стал привыкать — глядь, бора и нет, — одно сизое гарево. Опять пришлось побродяжить. Подыскал я себе лесок — хороший лесок был — частый, темный, свежий, — а все как-то не то... Бывало, от зари до зари играл я, свистал неистово, бил в ладоши, прохожих пугал... Сам помнишь: заплутался ты однажды в глуши моей — ты и белое платьице, — а я тропинки в узел связывал, стволы кружил, мигал сквозь листву, — всю ночь проморочил... Но я так только, шутки ради, даром что чернили меня... А тут я присмирел; невеселое было новоселье... Днем и ночью вокруг все трещало что-то. Сперва я думал — свой брат, леший, там тешится; окликнул, прислушался. Трещит себе, громыхает, — нет, не по-нашему выходит. Раз, под вечер, выскочил я на прогалину — вижу, лежат люди — кто на спине, кто на брюхе. Ну, думаю, поразбужу их, расшевелю! Стал я ветвями встряхивать, шишками лукаться, шуршать, гукать... Битый час провозился — все ни к чему. А как ближе взглянул, так и обмер. У того голова на одной красной ниточке висит, у того вместо живота — ворох толстых червей... Не вытерпел я. Завыл, подпрыгнул и давай бежать...

Долго я скитался по лесам разным, а все житья нет. То тишь, пустыня, скука смертная, то жуть такая, что и лучше не вспоминать! Наконец решился: в мужичка перекинулся,

в бродягу с котомкой, да и ушел совсем: прощай, Русь! Ну а там, мне братец мой, Водяной, пособил. Тоже, бедняга, спасался. Все дивился он: времена, говорит, какие настали — просто беда. И то сказать; он хоть и встарь баловался, людей там заманивал (уж очень был гостеприимен), да зато как лелеял, как ласкал их у себя на золотом дне, какими песнями чаровал! А нынче, говорит, все только мертвецы плывут, гроздями плывут, видимо-невидимо, а влага речная что руда, густая, теплая, липкая; дышать нечем... Он меня и взял с собой. Сам-то в дальнем море мыкается, а меня на туманный бережок по пути высадил — иди, брат, найди себе кустик. Ничего я не нашел, и попал сюда в этот чужой, страшный, каменный город... Вот и стал я человеком, воротнички, сапожки, все как следует — даже научился говорить по-ихнему...

Он приумолк. Глаза его блестели, как мокрые листья, руки скрещены были, и в зыбком отблеске заплывшей свечи странно-странно мерцали бледные волосы, налево зачесанные.

— Я знаю, ты тоже тоскуешь, — снова зазвенел яркий голос, — но твоя тоска, по сравненью с моею буйной, ветровою тоской, — лишь ровное дыханье спящего. И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики — прежние голубые гусли легкого Полевого, соперника моего. Косматый, ласковый Постен покинул, плача, твой опозоренный, оплеванный дом, и зачахли рощи, умилительно-светлые, волшебно-мрачные рощи...

А ведь мы вдохновенье твое, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарованье... И все мы ушли, изгнанные безумным землемером.

Друг — я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку...

Зашипев, погасла свеча. Холодные пальцы коснулись ладони моей, грустный, знакомый смех прозвенел и умолк.

Когда я свет зажег, уж никого в кресле не было... никого... Только в комнате чудесно-тонко пахло березой да влажным мхом...

СЛОВО

Унесенный из дольней ночи вдохновенным ветром сновиденья, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепительные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежащих где-то внизу, за мною. Душа была схвачена ощущеньем божественной разноцветности, воли и вышины: я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль, — и как ревниво, как сурово охранял я ее от дыханья исполинской красоты, окружившей меня... Эта мысль, это голое пламя страданья, была мысль о земной моей родине: босой и нищий, на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, — и ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал, вдоль дороги; вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня; крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные, выпуклые лепестки; запах их, сырой и сладкий, напоминал мне все лучшее, что изведал я в жизни.

И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл... Толпой вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы, углом подняв сложенные крылья. Их поступь казалась воздушной, словно движенье цветных облаков, прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом, и скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах: извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы, — и кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, проносились мимо меня...

Крылья, крылья, крылья! Как передам изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие — рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов; иной из них, в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдер-

жать блаженства, внезапно, на одно мгновенье, распахивал свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сверканье миллионов глаз.

Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел: очи их — ликующие бездны, в их очах — замиранье полета. Шли они плавной поступью, осыпаемые цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск; играли, крутясь и взвиваясь, яркие гладкие звери; блаженно звенели птицы, взмывая и опускаясь, — а я, ослепленный, трясущийся нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль: взмолиться бы, взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из Божьих звезд есть страна — моя страна, — умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что, захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны, под золотой гром проснувшихся храмов...

И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я в исступленье вымаливал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремились их сонмы на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало Божество: о нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских, рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях, — и надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей... «Стой, выслушай меня», — кричал я, пытаясь обнять легкие ангельские ноги, — но их ступни — неощутимые, неудержимые — скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко расцвеченных скал заполнялся их плещущей бурей; уходили они, уходили, замирал высокий взволнованный смех райских птиц, перестали слетать цветы с деревьев; я ослабел, затих...

И тогда случилось чудо: отстал один из последних ангелов, и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его

глубокие, пристальные алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал как будто иней, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, — и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого, чистого лба напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, — черты людей, давно ушедших от меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, — ныне заключены в единый совершенный напев.

Он подошел ко мне, он улыбался, я не мог смотреть на него. Но, взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку, — и по этим жилкам, и по этому пятнышку — я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву.

И тогда, склонив голову, прижав обожженные, яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, — я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, — о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скабиоз и ромашек, — но самое главное я никак высказать не мог, — путался я, осекался, и начинал сызнова, и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о первой любви, о шмелях, спящих на скабиозах... Казалось мне, что вот сейчас-сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины, — но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать...

Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами — и я почувствовал, что понимает он все.

— Прости меня, — воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне, — прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом. Но ты ведь понимаешь... Милосердный, серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну?

И, на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, — и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, — и бессчетные ущелья моего сознанья подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им; тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце.

Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез...

Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул...

УДАР КРЫЛА

I

Когда одна лыжа гнутым концом найдет на другую, то валишься вперед: жгучий снег забирается за рукава, и очень трудно встать. Керн, давно на лыжах не бегавший, сразу вспотел. Чувствуя легкое головокружение, он сдернул шерстяную шапку, щекотавшую ему уши; смахнул с ресниц влажные искры.

Весело и лазурно было перед шестиярусной гостиницей. В сиянии стояли бесплотные деревья. По плечу снеговых холмов рассыпались бесчисленные лыжные следы, что теневые волосы. А кругом — неслась в небо и в небе вольно вспыхивала — исполинская белизна.

Керн, скрипя лыжами, взбирался по скату. Заметя ширину его плеч, конский профиль и крепкий лоск на скулах, его приняла за своеземца та англичанка, с которой он познакомился вчера, в третий день приезда. Изабель — летучая Изабель — так называла ее толпа гладких и матовых

молодых людей аргентинского пошиба, всюду сновавших за ней, в бальном зале гостиницы, на мягких лестницах и по снежным скатам в игре искристой пыли...

Облик у нее был легкий и стремительный, рот такой яркий, что, казалось, Творец, набрав в ладонь жаркого кармина, горстью хватил ее по нижней части лица. В пушистых глазах летала усмешка. Крылом торчал испанский гребень в крутой волне волос — черных с атласным отливом. Такой видел ее Керн вчера, когда глуховатый гул гонга вызвал ее к обеду из комнаты № 35. И то, что они были соседи, причем номер ее комнаты был числом его лет, и то, что в столовой за длинным табль-д'от она сидела против него — высокая, веселая, в черном открытом платье, с черной полоской шелка вокруг голой шеи, — все это показалось Керну таким значительным, что прояснилась на время тусклая тоска, вот уже полгода тяготевшая над ним.

Изабель первая заговорила, и он не удивился: жизнь в этой огромной гостинице, одиноко горящей в провале гор, билась пьяно и легко после мертвых лет войны; к тому же ей, Изабель, все было дозволено — и косой удар ресниц, и смех, запевший в голосе, когда она сказала, передавая Керну пепельницу:

— Мы с вами, кажется, единственные англичане здесь... — И добавила, пригнув к столу прозрачное плечо, схваченное черной ленточкой: — ...не считая, конечно, полдюжины старушек — и вон того, с воротничком задом наперед...

Керн отвечал:

— Вы ошибаетесь. У меня родины нет. Правда, я пробыл много лет в Лондоне. А кроме того...

Утром, на следующий день, он почувствовал вдруг, после полугода привычного равнодушия, как приятно войти в оглушительный конус ледяного душа. В девять часов, плотно, толково позавтракав, он захрустел лыжами по рыжему песку, которым посыпался голый блеск дорожки перед крыльцом гостиницы. Взобравшись по снежному скату — утиными шагами, как полагается лыжнику, — он увидел среди клетчатых рейтуз и горящих лиц — Изабель.

Она поздоровалась с ним по-английски: одним взмахом улыбки. Ее лыжи отливали оливковым золотом. Снег облепил сложные ремни, державшие ступни ее ног, не по-женски сильных, стройных в крепких сапогах и в плотных обмотках. Лиловая тень скользнула за ней по насту, когда,

непринужденно заложив руки в карманы кожаной куртки и слегка выставив вперед левую лыжу, она понеслась вниз по скату, все быстрее, в развевающемся шарфе, в струях снежной пыли. Затем на полном ходу она круто завернула, гибко согнув одно колено, и снова выпрямилась и понеслась дальше, мимо елок, мимо бирюзовой площадки катка. Двое юношей в расписных свэтерах и знаменитый шведский спортсмен с терракотовым лицом и бесцветными, назад зачесанными волосами пролетели вслед за ней.

Немного позже Керн снова встретил ее, близ голубой дорожки, по которой с легким грохотом мелькали люди — шерстяные лягушки, ничком на плоских санках. Изабель, блеснув лыжами, скрылась за поворот сугроба, — и когда Керн, стыдясь своих неловких движений, догнал ее в мягкой ложбине, среди ветвей, овеянных серебром, она поиграла пальцами в воздухе и, потаптывая лыжами, побежала дальше. Керн постоял в лиловых тенях, и внезапно знакомым ужасом пахнула на него тишина. Кружева ветвей в эмалевом воздухе стыли, как в страшной сказке. Странными игрушками показались ему и деревья, и узорные тени, и лыжи его. Он почувствовал, что устал, что натер себе пятку, и, зацепляя торчавшие ветви, он повернул назад. По гладкой бирюзе реяли механические бегуны. Дальше, на снежном скате, терракотовый швед помогал встать на ноги длинному господину в роговых очках, облепленных снегом. Тот барахтался в сверкающей пыли, словно неуклюжая птица. Как отломанное крыло, лыжа, сорвавшись с ноги, быстро стекала по скату.

Вернувшись к себе в номер, Керн переоделся, и когда загудели тупые раскаты гонга, позвонил и велел подать себе холодного ростбифа, винограду и флягу «кианти».

Он ощущал в плечах, в ляжках ноющую ломоту.

«Вольно мне было бегать за ней, — подумал он, усмехнувшись в нос. — Человек прикручивает к ногам пару досок и наслаждается законом притяжения. Это смешно».

Около четырех он спустился в просторную читальню, где оранжевым жаром дышала пасть камина и в глубоких кожаных креслах невидимые люди вытягивали ноги из-под завес распахнутых газет. На длинном дубовом столе валялась куча журналов, полных туалетных объявлений, танцовщиц и парламентских цилиндров. Керн отыскал рваный номер «Татлера» за июль прошлого года и долго разгляды-

вал в нем улыбку той женщины, которая в продолжение семи лет была его женой. Вспомнил ее мертвое лицо, ставшее таким холодным и крепким, — письма, найденные в шкатулке.

Оттолкнул журнал, скрипнув ногтем по лоснистой странице.

Затем, тяжело двигая плечами и сопя короткой трубкой, он прошел на огромную крытую веранду, где зябко играл оркестр и люди в ярких шарфах пили крепкий чай, готовые снова лететь на мороз, на скаты, что гудящим блеском били в широкие стекла. Ищущими глазами он оглядел веранду. Чей-то любопытный взгляд кольнул его, как игла, задевшая зубной нерв. Он круто повернул обратно.

В биллиардной, куда он боком вошел, упруго надавив дубовую дверь, — Монфиори, бледный, рыжий человек, признающий только Библию и карамболи, пригнулся к изумрудному сукну и целился в шар, взад и вперед скользя кием. Керн на днях познакомился с ним, и тот сразу осыпал его цитатами из Священного Писания. Он говорил, что пишет большой труд, в котором доказывает, что если особым образом вникнуть в книгу Иова, то тогда... — Но дальше Керн не слушал, так как вдруг обратил внимание на уши своего собеседника — острые, набитые канареечной пылью и с рыжим пушком на кончиках.

Чокнулись, разбежались шары. Монфиори, подняв брови, предложил партию. У него были грустные, слегка выпуклые глаза, какие бывают у коз.

Керн согласился было, даже потер кончик кия мелком, но, внезапно ощутив волну дикой скуки, от которой ныло под ложечкой и шумело в ушах, он сослался на ломоту в локте и, мимоходом взглянув в окно на сахарное сияние гор, вернулся в читальню.

Там, закинув ногу за ногу и вздрагивая лаковым башмаком, он снова разглядывал жемчужно-серый снимок — детские глаза и теневые губы лондонской красавицы — его покойной жены. В первую ночь после вольной смерти ее он пошел за женщиной, которая улыбнулась ему на углу туманной улицы: мстил Богу, любви, судьбе.

А теперь эта Изабель с красным всплеском вместо рта. Если бы можно было...

Он сжал зубы: заходили мускулы крепких скул. Вся прошлая жизнь представилась ему зыбким рядом разно-

цветных ширм, которыми он ограждался от космических сквозняков. Изабель — последний яркий лоскуток. Сколько их было уже, шелковых тряпок этих, как он силился занавесить ими черный провал! Путешествия, книги в нежных переплетах, семилетняя восторженная любовь. Они вздувались, лоскутки эти, от внешнего ветра, рвались, спадали один за другим. А провала не скрыть, бездна дышит, всасывает. Это он понял, когда сыщик в замшевых перчатках...

Керн почувствовал, что раскачивается взад и вперед и что какая-то бледная барышня с розовыми бровями смотрит на него из-за журнала. Он взял «Таймс» со стола, распахнул исполинские листы. Бумажное покрывало над бездной. Люди выдумывают преступления, музеи, игры только для того, чтобы скрыться от неизвестного, от головокружительного неба. И теперь эта Изабель...

Откинув газету, он потер лоб огромным кулаком и снова заметил на себе чей-то удивленный взгляд. Тогда он медленно вышел из комнаты, мимо читавших ног, мимо оранжевой пасти камина. Заблудился в звонких коридорах, попал в какую-то залу, где в паркете отражались белые ножки выгнутых стульев и висела на стене широкая картина: Вильгельм Телль, пронзающий яблоко на голове сына; затем долго разглядывал свое бритое тяжелое лицо, кровавые ниточки на белках, клетчатый бант галстука — в зеркале, блиставшем в светлой уборной, где музыкально журчала вода и плавал в фарфоровой глубине кем-то брошенный золотой окурок.

А за окном гасли и синели снега. Нежно зацветало небо. Лопасти вращающихся дверей у входа в гулкий вестибюль медленно поблескивали, впуская облака пара и фыркающих ярколицых людей, уставших от снежных игр. Лестницы дышали шагами, возгласами, смехом. Затем гостиница замерла: переодевались к обеду.

Керн, смутно задремавший в кресле, в сумерках комнаты, был разбужен гудением гонга. Радуясь внезапной бодрости, он зажег свет, вставил запонки в манжеты свежей крахмальной рубашки, вытянул плоские черные штаны из-под скрипнувшего пресса. Через пять минут, чувствуя прохладную легкость, плотность волос на темени, каждую линию своих отчетливых одежд, он спустился в столовую.

Изабель не было. Подали суп, рыбу — она не являлась.

Керн с отвращением оглядел матовых юношей, кирпичное лицо старухи с мушкой, скрывавшей прыщ, человека с козьими глазками — и хмуро уставился на кудрявую пирамидку гиацинтов в зеленом горшке.

Она явилась только тогда, когда в зале, где висел Вильгельм Телль, застучали и завыли негритянские инструменты.

От нее пахло морозом и духами. Волосы казались влажными. Что-то в ее лице поразило Керна.

Она ярко улыбнулась, поправляя на прозрачном плече черную ленточку.

— Я, знаете, только что пришла домой. Едва успела переодеться и проглотить сандвич.

Керн спросил:

— Неужели вы до сих пор на лыжах бегали? Ведь совершенно темно.

Она посмотрела на него в упор, и Керн понял, что поразило его: глаза; они сияли, словно опушенные инеем.

Изабель тихо заскользила по голубиным гласным английской речи:

— Конечно. Было удивительно. Я в темноте носилась по скатам, взлетала с выступов. Прямо в звезды.

— Вы могли убиться, — сказал Керн.

Она повторила, пушисто щурясь:

— Прямо в звезды. — И добавила, сверкнув голой ключицей: — А теперь я хочу танцевать...

В зале трещал и подпевал негритянский оркестр. Цветисто плыли японские фонари. На носках, то быстрыми, то замирающими шагами, прижав ладонь к ее ладони, Керн тесно наступал на Изабель. Шаг — и упиралась в него ее стройная нога, шаг — и она упруго ему уступала. Душистый холод ее волос щекотал ему висок, под ребром правой руки он ощущал гибкие переливы ее оголенной спины. Не дыша, входил он в звуковые провалы, снова скользил с такта на такт... Кругом проплывали напряженные лица угловатых пар, развратно-рассеянные глаза. И тусклое пение струн перебивалось постукиванием варварских молоточков.

Музыка ускорилась, вздулась, затрещала и смолкла. Все остановились, затем захлопали в ладоши, требуя продолжения того же танца. Но музыканты решили передохнуть.

Керн, вынув из-за манжеты платок и вытирая лоб, последовал за Изабель, которая, раскачивая черный веер,

пошла к дверям. Они рядом сели на ступеньке широкой лестницы.

Изабель, не глядя на него, сказала:

— Простите... Мне казалось, что я все еще в снегах, в звездах. Я даже не заметила, кто вы и хорошо ли танцуете.

Керн глухо взглянул на нее — и точно: она была погружена в свои сияющие думы, в думы, неведомые ему.

На ступеньке пониже сидел юноша в очень узком жакете и костлявая барышня с родинкой на лопатке. Когда снова запела музыка, юноша пригласил Изабель на бостон. Керну пришлось танцевать с костлявой барышней. От нее кисловато пахло лавандой. По зале расплелись цветные бумажные ленты, опутывали танцующих. Один из музыкантов налепил себе белые усы, и Керну почему-то стало стыдно за него. Когда танец кончился, он, бросив свою даму, метнулся отыскивать Изабель. Ее нигде не было, ни в буфете, ни на лестнице.

«Кончено. Спать», — кратко подумал Керн.

У себя в комнате, перед тем как лечь, он отвернул занавеску, без мысли поглядел в ночь. Перед гостиницей на темном снегу лежали отражения окон. Вдали металлические вершины гор плавали в гробовом сиянии.

Ему показалось, что он заглянул в смерть. Плотно сдвинул складки так, чтобы ни единый ночной луч не втекал в комнату. Но, выключив свет, он с постели заметил, что блестит край стеклянной полочки. Тогда он встал и долго возился у окна, проклиная лунные брызги. Пол был холоден как мрамор.

Когда Керн закрыл глаза, распустив поясок пижамы, под ним потекли скользкие скаты, — и гулко застучало сердце, словно весь день молчало, а теперь воспользовалось тишиной. Ему страшно стало слушать этот стук. Вспомнил, как однажды, с женой, он проходил в очень ветреный день мимо мясной лавки, и на крюке качалась туша, глухо бухала об стену. Вот как сердце его теперь. А жена щурилась от ветра, придерживая широкую шляпу, и говорила, что море и ветер сводят ее с ума, что надо уехать, надо уехать...

Керн перевалился на другой бок — осторожно, — чтобы не лопнула грудь от выпуклых ударов.

Нельзя так дальше, пробормотал он в подушку, с тоской подобрав ноги. Полежал на спине, глядя в потолок, где тускло белели пробившиеся лучи — как ребра.

Когда он опять зажмурился, поплыли перед ним тихие искры, затем прозрачные спирали, которые раскручивались бесконечно. Мелькнули снежные глаза и огненный рот Изабель — и опять искры, спирали. Сердце на миг сжалось в острый комок: раздулось, бухнуло.

«Нельзя так дальше, я с ума схожу. Вместо будущего — черная стена. Ничего нет».

Ему почудилось, что бумажные ленты скользят у него по лицу. Тонко шуршат и рвутся. И японские фонари текут цветной зыбью в паркете. Он танцует, наступает.

«Только бы вот разжать, распахнуть ее... А затем...»

И смерть ему представилась гладким сном, мягким падением. Ни мыслей, ни сердцебиения, ни ломоты.

Лунные ребра на потолке незаметно переменили место. По коридору тихо простучали шаги, где-то щелкнула задвижка, пролетел легкий звонок — и опять шаги, разные: бормотание шагов, лепет шагов...

«Это, значит, кончился бал», — подумал Керн. Перевернул душную подушку.

Теперь стыла кругом громадная тишина. Только сердце раскачивалось, тугое и тяжкое. Керн нащупал на ночном столике графин, глотнул из горлышка. Ледяная струйка обожгла шею, ключицу.

Он стал припоминать снотворные средства: вообразил волны, равномерно набегающие на берега. Затем пухлых серых овец, медленно перекатывающихся через плетень. Одна овца, вторая, третья...

«А в соседней комнате спит Изабель, — подумал Керн, — спит Изабель, в желтой пижаме, вероятно. Ей желтое идет. Испанский цвет. Если бы я поскреб ногтем по стене, она бы услышала. Ох, эти перебои...»

Он заснул в ту минуту, когда стал решать про себя, стоит ли зажечь лампу и почитать что-нибудь. На кресле валяется французский роман. Костяной нож скользит, режет страницы. Одну, вторую...

Он проснулся посреди комнаты — проснулся от чувства невыносимого ужаса. Ужас сшиб его с постели. Приснилось, что стена, у которой стоит кровать, стала медленно на него валиться — и вот он отскочил с судорожным выдохом.

Ощупью Керн стал отыскивать изголовье и, найдя его, тотчас бы заснул опять, если бы не звук, раздавшийся за

стеной. Он не сразу понял, откуда звук этот исходит, — и оттого, что он напряг слух, его сознание, которое скользнуло было по склону сна, круто прояснилось. Звук повторился: дзынь — и густой перелив гитарных струн.

Керн вспомнил: ведь в соседнем номере Изабель. Тотчас, как бы откликнувшись его мысли, за стеной легко прокатился ее смех. Дважды, трижды дрогнула и рассыпалась гитара. И затем прозвучал и затих странный, отрывистый лай.

Керн, сидя на постели, изумленно вслушивался. Нелепая картина представилась ему: Изабель с гитарой и громадный дог, глядящий снизу на нее — блаженными глазами. Он приложил ухо к холодной стене. Лай лязгнул опять, гитара брякнула, как от щелчка, и волнами заходил непонятный шорох, словно там, в соседней комнате, заклубился широкий ветер. Шорох вытянулся в тихий свист, — и ночь снова налилась тишиной. Затем стукнула рама: Изабель запирала окно.

«Неугомонная, — подумал он, — пес, гитара, морозные сквозняки».

Теперь все было тихо. Изабель, выпроводив звуки, игравшие у нее по комнате, вероятно легла — спит.

— К черту! Ничего не понимаю. Ничего нет у меня. К черту, к черту, — простонал Керн, зарываясь в подушку. Свинцовая усталость сжимала ему виски. В ногах была тоска, невыносимые мурашки. Долго он скрипел в темноте, тяжело переваливаясь. Лучи на потолке давно потухли.

II

На следующий день Изабель появилась только за вторым завтраком.

С утра небо слепило белизной, солнце походило на луну; затем пошел медленный отвесный снег. Частые хлопья, как мушки на белой вуали, занавесили вид на горы, отяжелевшие елки, помутившуюся бирюзу катка. Крупные и мягкие снежинки шуршали по стеклам окон, падали, падали, без конца. Если долго на них смотреть, начинало казаться, что вся гостиница тихо плывет вверх.

— Я так вчера устала, — говорила Изабель, обращаясь к своему соседу, молодому человеку с высоким оливковым

лбом и стрельчатыми глазами, — так устала, что решила понежиться в постели.

— Вид у вас сегодня оглушительный, — протянул молодой человек с экзотической любезностью.

Она насмешливо раздула ноздри.

Керн, посмотрев на нее через гиацинты, сказал холодно:

— А я не знал, мисс Изабель, что у вас в комнате собака, а также и гитара.

Ему показалось, что ее пушистые глаза еще более сузились — от ветерка смущения. Затем она вспыхнула улыбкой: кармин и слоновая кость.

— Вы вчера слишком долго гуляли под музыку, мистер Керн, — отвечала она, и оливковый юноша и человечек, признававший только Библию и биллиард, засмеялись — первый сочным гоготом, второй совсем тихо и подняв брови.

Керн поглядел исподлобья и сказал:

— Я вообще попросил бы вас не играть ночью. Сон у меня не очень легкий.

Изабель полоснула его по лицу быстрым сияющим взглядом:

— Это вы уж скажите вашим сновидениям, а не мне.

И заговорила с соседом о том, что завтра — лыжное состязание.

Керн уже несколько минут чувствовал, что губы его растягиваются в судорожную усмешку, которую он не мог удержать. Она мучительно дергалась в уголках рта, — и захотелось ему вдруг — стянуть со стола скатерть, запустить в стену горшок с гиацинтами.

Он поднялся, стараясь скрыть нестерпимую дрожь, и, никого не видя, вышел из комнаты.

«Что это со мной делается? — спрашивал он у своей тоски. — Что это такое?»

Пинком раскрыв чемодан, он стал укладывать вещи, — сразу закружилась голова; он бросил и опять зашагал по комнате. Со злобой набил короткую трубку. Сел в кресло у окна, за которым с тошнотворной ровностью падал снег.

Он приехал в эту гостиницу, в этот морозный и модный уголок Церматта, чтобы слить впечатления белой тишины с приятностью легких и пестрых знакомств — ибо полного одиночества он боялся пуще всего. А теперь он понял,

что и людские лица нестерпимы ему, — что от снега гудит в голове — и что нет у него той вдохновенной живости и нежного упорства, без которых страсть бессильна. А для Изабель жизнь, вероятно, великолепный лыжный полет, стремительный смех — духи и мороз.

Кто она? Светописная ли дива, вырвавшаяся на волю? Или сбежавшая дочь чванного и желчного лорда? Или просто одна из тех женщин из Парижа, а деньги — неведомо откуда? Пошловатая мысль...

«А собака-то у нее есть, напрасно отнекивается: гладкий дог какой-нибудь. С холодным носом и теплыми ушами. А снег все идет, — беспорядочно думал Керн. — А у меня есть в чемодане... — И словно пружина, звякнув, раскрутилось у него в мозгу: — Парабеллум».

До вечера он опять валандался по гостинице, сухо шуршал газетами в читальне; видел из окна вестибюля, как Изабель, швед и несколько молодых людей в пиджаках, натянутых на бахромчатые свэтеры, садились в сани, полебединому выгнутые. Чалые лошадки звенели нарядной сбруей. Валил снег тихо и густо. Изабель, вся в белых звездинках, восклицала, смеялась между спутников своих, и когда санки дернулись, понеслись — откинулась назад, всплеснув и хлопнув меховыми рукавицами.

Керн отвернулся от окна.

— Катайся, катайся... Ничего...

Потом, во время обеда, он старался не глядеть на нее. Она была как-то празднично и взволнованно весела, — и на него не обращала внимания. В девять часов опять заныла и заквохтала негритянская музыка. Керн, в тоскливом ознобе, стоял у косяка дверей, глядел на слипшиеся пары, на кудрявый черный веер Изабель.

Тихий голос у самого уха сказал:

— Пойдемте в бар... Хотите?

Он обернулся и увидел: меланхолические козьи глаза, уши в рыжем пуху.

В баре был пунцовый полусвет, воланы абажуров отражались в стеклянных столиках. У металлической стойки, на высоких табуретах сидели три господина — все трое в белых гетрах, — поджав ноги и всасывая сквозь соломинки яркие напитки. По другой стороне стойки, где на полках поблескивали разноцветные бутылки, словно коллекция выпуклых жуков, жирный черноусый человек в малиновом

смокинге необычайно искусно мешал коктейли. Керн и Монфиори выбрали столик в бархатной глубине бара. Лакей распахнул длинный список напитков — бережно и благоговейно, как антиквар, показывающий дорогую книгу.

— Мы будем пить подряд по одной рюмке, — сказал ему Монфиори своим грустным голосом. — А когда дойдем до конца, начнем опять. Будем тогда выбирать только то, что пришлось нам по вкусу. Быть может, остановимся на одном и долго будем им наслаждаться. Затем опять начнем сначала.

Он задумчиво посмотрел на лакея:

— Поняли?

Лакей наклонил пробор.

— Это так называемое странствие Вакха, — с печальной усмешкой обратился Монфиори к Керну. — Некоторые люди и в жизни применяют такой прием.

Керн заглушил зябкий зевок.

— Это, знаете, кончается рвотой.

Монфиори вздохнул. Отпил. Причмокнул. Выдвижным карандашиком отметил крестиком первый номер в списке. От крыльев носа шли у него две глубокие борозды к уголкам тонкого рта.

После третьей рюмки Керн молча закурил. После шестой — это была какая-то приторная смесь шоколада и шампанского — ему захотелось говорить.

Он выпустил рупор дыма; щурясь, отряхнул пепел желтым ногтем.

— Скажите, Монфиори, что вы думаете об этой — как ее — Изабель?..

— Вы ничего от нее не добьетесь, — ответил Монфиори. — Она из породы скользящих. Ищет только прикосновений.

— Но она ночью играет на гитаре, с собакой возится. Это скверно, не правда ли? — сказал Керн, выпучив глаза на свою рюмку.

Монфиори опять вздохнул:

— Да бросьте вы ее. Право...

— Это вы, по-моему, из зависти, — начал было Керн.

Тот тихо перебил его:

— Она женщина. А у меня, видите ли, другие вкусы.

Скромно кашлянул. Поставил крестик.

Рубиновые напитки сменились золотыми. Керн чувствовал, что кровь у него становится сладкая. В голове туманилось. Белые гетры покинули бар. Умолкли дробь и напевы далекой музыки.

— Вы говорите, что нужно выбирать... — густо и вяло говорил он. — А я, понимаете, дошел до такой точки... Вот слушайте: у меня была жена. Она полюбила другого. Тот оказался вором. Крал автомобили, ожерелья, меха... И она отравилась. Стрихнином.

— А в Бога вы верите? — спросил Монфиори с видом человека, который попадает на своего конька. — Ведь Бог-то есть.

Керн фальшиво засмеялся:

— Библейский Бог. Газообразное позвоночное... Не верю.

— Это из Хукслея, — вкрадчиво заметил Монфиори. — А был библейский Бог... Дело в том, что Он не один; много их, библейских богов... Сонмище... Из них мой любимый... «От чихания его показывается свет; глаза у него, как ресницы зари». Вы понимаете, понимаете, что это значит? А? И дальше: «...мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут». Что? Что? Понимаете?

— Стойте, — крикнул Керн.

— Нет, вникайте, вникайте. «Он море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю: бездна кажется сединою!»

— Стойте же, наконец, — перебил Керн. — Я хочу вам сказать, что я решил покончить с собой...

Монфиори мутно и внимательно взглянул на него, ладошкой прикрыв рюмку. Помолчал.

— Я так и думал, — неожиданно мягко заговорил он. — Сегодня, когда вы смотрели на танцующих, и раньше, когда встали из-за стола... Было что-то в вашем лице... Морщинка между бровей... Особая... Я сразу понял...

Он затих, поглаживая край столика.

— Слушайте, что я вам скажу, — продолжал он, опустив тяжелые, лиловые веки в бородавках ресниц. — Я повсюду ищу таких, как вы, — в дорогих гостиницах, в поездах, на морских курортах, — ночью, на набережных больших городов...

Мечтательная усмешка скользнула по его губам.

— Я помню, однажды, во Флоренции...

Он медленно поднял свои козьи глаза:

— Послушайте, Керн, я хочу присутствовать... Можно?

Керн, сутуло застывший, почувствовал холод в груди под крахмальной рубашкой.

«Мы оба пьяны... — пронеслось у него в мозгу. — Страшный он».

— Можно? — вытягивая губы, повторил Монфиори. — Я вас очень прошу.

Коснулся холодной волосатой ручкой...

— К черту! Пустите меня... Я шутил...

Манфиори все так же внимательно смотрел, присасываясь глазами.

— Надоели вы мне! Все надоело, — рванулся, всплеснув руками, Керн, — и взгляд Монфиори оторвался, как бы чмокнув...

— Муть! Кукла!.. Игра слов!.. Баста!..

Он больно стукнулся бедром о край столика. Малиновый толстяк за своей зыбкой стойкой выпучил белый вырез, заплавал, как в кривом зеркале, среди своих бутылок. Керн прошел по скользившим волнам ковра, плечом толкнул стеклянную падавшую дверь.

Гостиница глухо спала. С трудом поднявшись по мягкой лестнице, он отыскал свой номер. В соседней двери торчал ключ. Кто-то забыл запереться. В тусклом свете змеились цветы в коридоре. У себя в комнате он долго шарил по стене, ища электрическую кнопку. Затем рухнул в кресло у окна.

Он подумал, что нужно написать кое-какие письма. Прощальные. Но густой и липкий хмель ослабил его. В ушах клубился глухой гул, по лбу веяли ледяные волны. Надо было письмо написать, — и еще что-то не давало ему покоя. Точно он вышел из дома и забыл бумажник. В зеркальной черноте окна отражалась полоска воротника, бледный лоб. Пьяными каплями он забрызгал себе спереди рубашку. Письмо надо писать — нет, не то. И внезапно что-то мелькнуло в глазах. Ключ! Ключ, торчавший в соседней двери...

Керн тяжко встал, вышел в тусклый коридор. С громадного ключа спадала блестящая пластинка с цифрой 35. Он остановился перед этой белой дверью. Жадная дрожь потекла по ногам.

Морозный ветер хлестнул его по лбу. В просторной освещенной спальне окно было распахнуто. На широкой

постели, в желтой открытой пижаме, навзничь лежала Изабель. Свесилась светлая рука, между пальцев тлела папироса. Сон, видно, схватил ее невзначай.

Керн подошел к постели. Стукнулся коленом о стул, на котором чуть зазвенела гитара. Синие волосы Изабель крутыми кругами лежали на подушке. Он поглядел на ее темные веки, на нежную тень между грудей. Тронул одеяло. Она мгновенно распахнула глаза. Тогда Керн, как-то сгорбившись, сказал:

— Мне нужна ваша любовь. Завтра я застрелюсь.

Ему никогда не снилось, что женщина — хоть и застигнутая врасплох — может так испугаться. Изабель сначала застыла, потом метнулась, оглянувшись на открытое окно, — и, мгновенно соскользнув с постели, пронеслась мимо Керна — с наклоненной головой, словно боялась удара сверху.

Стукнула дверь. Листы почтовой бумаги слетели со стола.

Керн остался стоять посреди просторной и светлой комнаты. На ночном столике лиловел и золотился виноград.

— Сумасшедшая! — сказал он вслух.

Трудно повел плечами. Содрогнулся от холода длинной дрожью, как конь. И внезапно замер.

За окном рос, летел, приближался взволнованными толчками — быстрый и радостный лай. Через миг провал окна, квадрат черной ночи, заполнился, закипел сплошным бурным мехом. Широким и шумным махом этот рыхлый мех скрыл ночное небо, от рамы до рамы. Миг, и он напряженно вздулся, косо ворвался, раскинулся. В свистящем размахе буйного меха мелькнул белый лик. Керн схватился за гриф гитары, со всех сил ударил белый лик, летевший на него. Его сшибло с ног ребро исполинского крыла, пушистая буря. Звериным запахом обдало его. Керн, рванувшись, встал.

Посредине комнаты лежал громадный ангел.

Он заполнял всю комнату, всю гостиницу, весь мир. Правое крыло согнулось, опираясь углом в зеркальный шкаф. Левое тяжко раскачивалось, цепляясь за ножки опрокинутого стула. Стул громыхал по полу взад и вперед. Бурая шерсть на крыльях дымилась, отливала инеем. Оглушенный ударом, ангел опирался на ладони, как сфинкс. На белых руках вздулись синие жилы, на плечах вдоль ключиц

были теневые провалы. Глаза, продолговатые, словно близорукие, бледно-зеленые, как воздух перед рассветом, не мигая, смотрели на Керна из-под прямых, сросшихся бровей.

Керн, задыхаясь от острого запаха мокрого меха, стоял неподвижно, в бесстрастности предельного страха, разглядывая гигантские, дымящиеся крылья, белый лик.

За дверью, в коридоре раздался глухой шум. Тогда другое чувство овладело Керном: щемящий стыд.

Ему стало стыдно, до боли, до ужаса, что сейчас могут войти, застать его и это невероятное существо.

Ангел шумно дохнул, двинулся, руки его ослабли; он упал на грудь. Колыхнул крылом. Керн, скрипя зубами, стараясь не глядеть, нагнулся над ним, охватил холм сырой пахучей шерсти, холодные, липкие плечи. С тошным ужасом он заметил, что ноги у ангела бледные и бескостные, что стоять на них он не может. Ангел не противился. Керн, спеша, поволок его к шкафу, откинул зеркальную дверь, стал вталкивать, втискивать крылья в скрипучую глубину. Он хватался за ребра их, старался согнуть их, вдавить. Складки меха, раскручиваясь, ударяли его по груди. Наконец он крепко двинул дверью. В тот же миг изнутри вырвался раздирающий и нестерпимый вопль — вопль зверя, раздавленного колесом. Ах, он ему прищемил крыло. Уголок крыла торчал из щели. Керн, слегка раскрыв дверь, ладонью втолкнул курчавый клин. Повернул ключ в замке.

Стало очень тихо. Керн почувствовал, что горячие слезы стекают у него по лицу. Он выдохнул и кинулся в коридор. Изабель — ворох черного шелка, скорчившись, лежала у стены. Он поднял ее на руки, понес к себе в комнату, опустил ее на постель. Затем выхватил из чемодана тяжелый парабеллум, захлопнул обойму — и бегом, не дыша, ворвался обратно в № 35-й.

Две половинки разбитой тарелки белели на ковре. Виноград рассыпался.

Керн увидел себя в зеркальной двери шкафа: прядь волос, спустившуюся на бровь, крахмальный вырез в красных брызгах, продольный блеск на дуле пистолета.

— Его надо прикончить, — глухо воскликнул он и распахнул шкаф.

Только вихрь пахучего пуха. Бурые маслянистые хлопья заклубились по комнате. Шкаф был пуст. Внизу белела шляпная картонка, продавленная.

Керн подошел к окну, выглянул. Мохнатые облачки наплывали на луну и дышали вокруг нее тусклыми радугами. Он закрыл рамы, поставил на место стул, отшаркнул под кровать бурые хлопья пуха. Затем осторожно вышел в коридор. Было по-прежнему тихо. Люди крепко спят в горных гостиницах.

А когда он вернулся к себе в номер, то увидел: Изабель, свесив босые ноги с постели, дрожит, зажав голову. Стало ему стыдно, как давеча, когда ангел смотрел на него своими зеленоватыми странными глазами.

— Скажите мне... где он? — быстро задышала Изабель.

Керн, отвернувшись, подошел к письменному столу, сел, открыл бювар, ответил:

— Не знаю.

Изабель втянула на постель босые ноги.

— Можно остаться у вас... пока? Я так боюсь...

Керн молча кивнул. Сдерживая дрожь в руке, принялся писать. Изабель заговорила снова — трепетно и глухо, но почему-то Керну показалось, что испуг ее — какой-то женский, житейский.

— Я встретила его вчера, когда в темноте летела на лыжах. Ночью он был у меня.

Керн, стараясь не слушать, писал размашистым почерком:

«Мой милый друг. Вот мое последнее письмо. Я никогда не мог забыть, как ты мне помог, когда на меня обрушилось несчастье. Он, вероятно, живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом...»

Спохватился, резко вычеркнул, взял другой лист. Изабель всхлипывала, спрятав лицо в подушку:

— Как же мне быть теперь?.. Он станет мстить мне... О, Господи...

«Мой милый друг, — быстро писал Керн, — она искала незабываемых прикосновений, и вот теперь у нее родится крылатый зверек...» А... Черт!

Скомкал лист.

— Постарайтесь уснуть, — обратился он через плечо к Изабель. — А завтра уезжайте. В монастырь.

Плечи у нее часто ходили. Затем она утихла.

Керн писал. Перед ним улыбались глаза единственного человека на свете, с которым он мог свободно говорить и молчать. Он ему писал, что жизнь кончена, что он недавно стал чувствовать, как вместо будущего надвигается на него черная стена, — и что вот теперь случилось нечто такое, после чего человек не может и не должен жить. «Завтра в полдень я умру, — писал Керн, — завтра — потому что хочу умереть в полной власти своих сил, при трезвом дневном свете. А сейчас я слишком потрясен».

Докончив, он присел в кресло у окна. Изабель спала, чуть слышно дыша. Тягучая усталость обхватила ему плечи. Сон спустился мягким туманом.

III

Он проснулся от стука в дверь. Морозная лазурь лилась в окно.

— Войдите, — сказал он, потянувшись.

Лакей беззвучно поставил поднос с чашкой чая на стол, поклонился и вышел.

Керн про себя рассмеялся: «А я-то в помятом смокинге».

И мгновенно вспомнил, что было ночью. Вздрогнув, взглянул на постель. Изабель не было. Верно, ушла под утро к себе. А теперь, конечно, уехала... Бурые, рыхлые крылья на миг померещились ему. Он быстро встал — открыл дверь в коридор.

— Послушайте, — крикнул он удалявшейся спине лакея, — возьмите письмо.

Подошел к столу, пошарил. Лакей ждал в дверях. Керн похлопал себя по всем карманам, посмотрел под кресло.

— Можете идти. Я потом передам швейцару.

Пробор наклонился, мягко прикрылась дверь.

Керну стало досадно, что письмо потеряно. Именно это письмо. В нем он выразил так хорошо, так плавно и просто все, что нужно было. А теперь слова он вспомнить не мог. Всплывали нелепые фразы. Нет, письмо было чудесное.

Он принялся писать заново — и выходило холодно, витиевато. Запечатал. Четко надписал адрес.

Ему стало странно легко на душе. В полдень он застрелится, а ведь человек, решившийся на самоубийство, — Бог.

Сахарный снег сиял в окно. Его потянуло туда — в последний раз.

Тени инистых деревьев лежали на снегу, как синие перья. Где-то густо и сладко звенели бубенцы. Народу высыпало много: барышни в шерстяных шапочках, двигающиеся на лыжах пугливо и неловко, молодые люди, которые звучно перекликались, выдыхая облака хохота, и пожилые люди, багровые от напряжения, — и какой-то сухой синеглазый старичок, волочивший за собой бархатные саночки. Керн мимолетно подумал: не хватить ли старичка по лицу, наотмашь, так, просто... Теперь ведь все позволено... Рассмеялся... Давно он не чувствовал себя так хорошо.

Все тянулись к тому месту, где началось лыжное состязание. Это был высокий крутой скат, переходивший посередине в снеговую площадку, которая отчетливо обрывалась, образуя прямоугольный уступ. Лыжник, скользнув по крутизне, пролетел с уступа в лазурный воздух; летел, раскинув руки, и, стоймя опустившись в продолжение ската, скользил дальше. Швед только что побил свой же последний рекорд и далеко внизу, в вихре серебристой пыли круто завернул, выставив согнутую ногу.

Прокатили еще двое в черных свэтерах, прыгнули, упруго стукнули о снег.

— Сейчас пролетит Изабель, — сказал тихий голос у плеча Керна. Керн быстро подумал: «Неужели она еще здесь... Как она может...» — посмотрел на говорившего. Это Монфиори. В котелке, надвинутом на оттопыренные уши, в черном пальтишке с полосками блеклого бархата на воротнике, он смешно отличался от шерстяной легкой толпы. «Не рассказать ли ему?» — подумал Керн.

С отвращением оттолкнул бурые пахучие крылья: «Не надо думать об этом».

Изабель поднялась на холм. Обернулась, говоря что-то спутнику своему весело, весело как всегда. Жутко стало Керну от этой веселости. Показалось ему, что над снегами, над стеклянной гостиницей, над игрушечными людьми — мелькнуло что-то — содрогание, отблеск...

— Как вы сегодня поживаете? — спросил Монфиори, потирая мертвые свои ручки.

Одновременно кругом зазвенели голоса:

— Изабель! Летучая Изабель!

Керн вскинул голову. Она стремительно неслась по крутому скату. Мгновение — и он увидел: яркое лицо, блеск на ресницах. С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе — распятая. А затем...

Никто, конечно, не мог ожидать этого. Изабель на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала, покатилась, колеся лыжами в снежных всплесках.

Сразу скрыли ее из виду спины шарахнувшихся к ней людей. Керн, подняв плечи, медленно подошел. Ясно, как будто крупным почерком написанное, встало перед ним: месть, удар крыла.

Швед и длинный господин в роговых очках наклонялись над Изабель. Господин в очках профессиональными движениями ощупывал неподвижное тело. Бормотал:

— Не понимаю... Грудная клетка проломана...

Приподнял ей голову. Мелькнуло мертвое, словно оголенное лицо.

Керн повернулся, хрустнув каблуком, и крепко зашагал по направлению к гостинице. Рядом с ним семенил Монфиори, забегал вперед, заглядывал ему в глаза.

— Я сейчас иду к себе наверх, — сказал Керн, стараясь проглотить, сдержать рыдающий смех. — Наверх... Если вы хотите пойти со мной...

Смех подступил к горлу, заклокотал. Керн, как слепой, поднимался по лестнице. Монфиори поддерживал его робко и торопливо.

МЕСТЬ

I

Остенде, каменная пристань, серый штранд, далекий ряд гостиниц медленно поворачивались, уплывали в бирюзовую муть осеннего дня.

Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охряной палубе было людно, но тихо. Сдержанно ухали котлы.

Молоденькая англичанка в шерстяных чулках бровью указала на профессора.

— Похож на Шелдона, не правда ли? — обратилась она к брату, стоящему подле.

Шелдон был комический актер, — лысый великан с круглым рыхлым лицом.

— Он очень доволен морем.. — тихо добавила англичанка. После чего она, к сожаленью, выпадает из моего рассказа.

Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет — кончались летние каникулы, — вынул изо рта трубку и сказал:

— Это наш биолог. Великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним.

Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников.

— Переход будет превосходен, — сказал студент, легко пожав большую холодную руку, поданную ему.

— Я надеюсь, — отвечал профессор, пальцами поглаживая серую свою щеку. И повторил внушительно: — Да, я надеюсь.

Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный: как пятна птичьего помета на памятниках, белели на нем следы давнишних наклеек. Другой — совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлек внимание студента.

— Позвольте, подниму ваш чемодан, — а то упадет, — предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор.

Профессор усмехнулся. Не то седобровый комик, не то стареющий боксер...

— Чемодан, говорите? А знаете ли, что я в нем везу? — спросил он, словно с некоторым раздражением. — Не угадываете? Прекрасный предмет!.. Особый род вешалки...

— Немецкое изобретение, сэр? — подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде.

Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб.

— Божественное изобретение, друг мой, божественное. Необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами возите с собой такой же предмет. А? Или, может быть, вы — полип?

Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете.

Говорили, что мучит он свою жену — совсем молодую женщину. Студент раз видел ее: худенькая такая, с поразительными глазами...

— Как поживает, сэр, супруга ваша? — спросил рыжий студент.

Профессор отвечал:

— Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать... Мой дорогой друг, я люблю путешествовать молча. Верю, вы простите меня.

И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно посвистывая, навсегда уходит с этих страниц.

А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинистые брови, так как ослепительно била в глаза морская зыбь, и погрузился в мнимый сон. Серое бритое лицо его, с крупным носом и тяжелым подбородком, было облито солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным — темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мыслей его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если б действительно мысли его отражались.

Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким, знакомым почерком и начинающееся так: «Мой любимый, мой Джэк, я еще полна твоим последним поцелуем...»

А профессора звали отнюдь не Джэком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а — ненависть, острую и холодную, как ланцет. Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колебаний быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном кресле, он в сотый раз перебирал все пытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали, на грани зеленой зыби, забелели скалы Довера, он еще ничего не решил.

Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходням за носильщиком. Таможенный чинов-

ник, скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие ввозу, попросил открыть чемодан — новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскрикнула: батюшки! — и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу; один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко.

Биолог холодно назвал себя, упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступления не произошло.

— Но почему вы возите *это* в чемодане? — с почтительным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и чиркнув мелом по яркой коже.

— Я торопился, — сказал профессор, устало жмурясь, — некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная, в багаж я не отдал бы.

Профессор сутулой, но упругой поступью прошел на дебаркадер, мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то, и со светлой, доброй улыбкой пробормотал: «А! Найдено... Остроумнейший способ...» Затем облегченно вздохнул, купил два банана, пачку папирос, хрустящие простыни газет — и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса, вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента.

II

Действительно чудесные глаза... Зрачок — что блестящая капля чернил на сизом атласе. Волосы — подстриженные, бледно-золотые: шапка пышного пуха. Сама — маленькая, прямая, с плоской грудью.

Она ждала мужа уже накануне, а сегодня наверное знала, что он приедет. В сером открытом платье, в бархатных туфельках, сидела она на павлиньей тахте, в гостиной, и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца-спирита с белыми нежными ресницами, который иногда у нее бывает.

Ведь с нею и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник-юноша, с которым до замужества она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она, еще как бы в дремоте, написала ему карандашом письмо — письмо своему сновиденью. В этом письме она солгала бедному Джэку. Ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего страшного, мучительного мужа, а меж тем хотелось теплотою земных слов согреть, ободрить милого, призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джэк и благодарно закивал ей... Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон... Словно она мужу изменила с призраком...

В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подоконнике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску...

Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который, нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице, качая худенькими, оголенными руками.

Он поднимался ей навстречу, сутулый, в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы.

Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки.

— Я запылен... погоди... — пробормотал он, держа ее за кисти.

Она, жмурясь, тряхнула головой — бледным пожаром волос.

Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять.

За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержанно весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть, лысая громадная голова с железными жилками на висках — все это возбуждало в жене его чудесную жалость: так жаль ей было всегда, что он, изучающий все пылинки

жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Делямара и проносятся нежнейшие астралы.

— Что, постукивали без меня твои призраки? — спросил он, угадав ее мысли.

Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, — но было как-то совестно...

— А знаешь, — продолжал он, осыпая сахаром розовый ревень, — ты и твои друзья играют с огнем. Действительно странные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, — гадалка такая, кликуша, — умерла — от разрыва сердца, что ли? — и когда доктор раздел ее — это было в мадьярской лачуге, при свечах, — то тело этой женщины поразило его: оно было все подернуто красноватым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И приглядевшись, он понял, что это тело, полное и тугое, сплошь состоит как бы из тонких круговых поясков кожи, — словно оно было все перевязано — ровно, крепко — незримыми нитками, — или вот есть такая реклама шин французских — человек, состоящий из шин... Только у нее шины были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвой стало медленно распутываться, как огромный клубок... ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз — уходил под дверную щель, — и на постели остался голый, белый, еще влажный костяк... А ведь у этой женщины был муж, — он когда-то целовал ее, — целовал червя...

Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не отрывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми, бледными плечами...

— Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, — проговорила она взволновано. — Значит, дух женщины ушел в червя. Страшно все это...

— Я иногда думаю, — сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые, серые пальцы, — что в конце-то концов моя наука — праздный обман, что физические законы выдуманы нами, что все, решительно все, может случиться... Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума...

Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам.

— Что с тобой случилось, друг мой? — тихо воскликнула его жена. — Ты никогда так не говорил раньше... Мне казалось, ты все знаешь... все разметил...

На мгновенье судорожно раздулись ноздри у профессора, вспыхнул золотой клык. Но тотчас же его лицо обмякло снова.

Он потянулся и встал из-за стола.

— Болтаю я... пустое... — сказал он ласково и спокойно. — Я устал... Спать пойду... Не зажигай свет, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель... В нашу, — повторил он значительно и нежно, как давно не говорил.

Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной.

Пять лет была замужем она, и несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчанье, и угрюмость, и непонятливость — она чувствовала себя счастливой, так как любила и жалела его. Она, тонкая, белая, — он, громадный, лысый, с клочьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную, чудовищную чету, — и все же ей приятны были его редкие сильные ласки.

Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков.

Она вздрогнула, неприятно екнуло сердце, ей вспомнилось, что воздух всегда полон призраков, что даже ученый муж ее отметил их страшное проявленье. Вспомнилось ей, как Джэкки вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик. Передохнула: какая я, право, глупая... В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим...

Легкая, как девочка, — в одной кружевной сорочке, — она вошла, стараясь не задеть мебель, в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди.

Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутав-

шись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света.

«Не спит, — ласково подумала она, — если бы спал, то похрапывал...»

Улыбнулась — и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятья. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо.

Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели.

Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Он служил лакеем в столовой германского экспресса. Звали его так: Алексей Львович Лужин.

Ушел он из России пять лет тому назад и с тех пор, перебираясь из города в город, перепробовал немало работ и ремесел: был батраком в Турции, комиссионером в Вене, маляром, приказчиком и еще кем-то. Теперь по обеим сторонам длинного вагона лились, лились поля, холмы, поросшие вереском, сосновые перелески, — и бульон, в толстых чашках на подносе, который он гибко проносил по узкому проходу между боковых столиков, дымился и поплескивал. Подавал он с мастерской торопливостью, ловко подхватывал и раскидывал по тарелкам ломти говядины, — и при этом быстро наклонялась его стриженая голова, напряженный лоб, черные густые брови, подобные перевернутым усам.

В пять часов дня вагон приходил в Берлин, в семь катил обратно по направлению к французской границе. Лужин жил как на железных качелях: думать и вспоминать успевал

только ночью, в узком закуте, где пахло рыбой и нечистыми носками. Вспоминал он чаще всего кабинет в петербургском доме — кожаные пуговицы на сгибах мягкой мебели — и жену свою, Лену, о которой пять лет ничего не знал. Сам он чувствовал, как с каждым днем все скудеет жизнь. От кокаина, от слишком частых понюшек опустошалась душа, — и в ноздрях, на внутреннем хряще, появлялись тонкие язвы.

Когда он улыбался, крупные зубы его вспыхивали особенно чистым блеском, и за эту русскую белую улыбку по-своему полюбили его двое других лакеев — Гуго, коренастый, белокурый берлинец, записывавший счета, и быстрый, востроносый, похожий на рыжую лису Макс, разносивший пиво и кофе по отделениям. Но за последнее время Лужин улыбался реже.

В те свободные часы, когда яркая хрустальная волна яда била его, сиянием пронизывала мысли, всякую мелочь обращала в легкое чудо, он кропотливо отмечал на листке все те ходы, что предпримет он, чтобы разыскать жену. Пока он чиркал, пока еще были блаженно вытянуты все те чувства, ему казалась необычайно важной и правильной эта запись. Но утром, когда ломило голову и белье прилипало к телу, он с отвращением и скукой глядел на прыгающие, нечеткие строки. А с недавних пор другая мысль стала занимать его. С той же тщательностью принимался он вырабатывать план своей смерти — и кривой отмечал паденья и взмахи чувства страха и наконец, чтобы облегчить дело, назначил себе определенный срок: ночь с первого на второе августа. Занимала его не столько сама смерть, как все подробности, ей предшествующие, и в этих подробностях он так запутывался, что о самой смерти забывал. Но, как только он начинал трезветь, тускнела прихотливая обстановка той или другой выдуманной гибели, — и было ясно только одно: жизнь оскудела вконец и жить дальше незачем.

* * *

А первого августа, в половине седьмого вечера, в просторном полутемном буфете берлинского вокзала сидела за голым столом старуха Ухтомская Марья Павловна, тучная, вся в черном, с желтоватым, как у евнуха, лицом. Народу

в зале было немного. Мутно поблескивали медные гири висячих ламп под высоким потолком. Изредка гулко громыхал отодвинутый стул.

Ухтомская строго взглянула на золотую стрелку стенных часов. Стрелка толчком двинулась. Через минуту вздрогнула опять. Старуха встала, подхватила свой черный глянцевитый саквояж и шумящими, плоскими шагами, опираясь на шишковатую мужскую трость, пошла к выходу.

У решетки ее ждал носильщик. Подавали поезд. Мрачные, железного цвета вагоны тяжело пятились, проходили один за другим. На фанере международного, под средними окнами, белела вывеска: Берлин—Париж; международный да еще ресторан, где в окне мелькнули выставленные локти и голова рыжего лакея, — они напомнили сдержанную роскошь довоенного норд-экспресса.

Поезд стал; лязгнули буфера; длинный свистящий вздох прошел по колесам. Носильщик устроил Ухтомскую в отделенье второго класса — для курящих, — так старуха просила. В углу у окна уже подрезывал сигару господин с наглым оливковым лицом в костюме цвета макинтоша.

Марья Павловна расположилась напротив. Медленным взглядом проверила, все ли вещи ее на верхней полке. Два чемодана, корзина. Все. И на коленях глянцевитый саквояж. Строго пожевала губами.

Ввалилась чета немцев, шумно дыша.

А за минуту до отхода поезда вошла дама, молодая, с большим накрашенным ртом, в черной плотной шляпе, скрывающей лоб. Устроила вещи и ушла в коридор. Господин в оливковом пиджаке посмотрел ей вслед. Она неумелыми рывками подняла раму, высунулась, прощаясь с кем-то. Ухтомская уловила лепет русской речи.

Поезд тронулся. Дама вернулась в купе. На лице еще медлила улыбка, погасла, лицо стало сразу усталым. Мимо окна плыли задние кирпичные стены домов; на одной была реклама: исполинская папироса, словно набитая золотой соломой. В лучах низкого солнца горели крыши, мокрые от дождя.

Марья Павловна не выдержала. Мягко спросила по-русски:

— Вам не помешает, если положу саквояж сюда?..

Дама встрепенулась:

— Ах, пожалуйста...

Оливковый господин в углу напротив одним глазом глянул на нее через газету.

— А я вот еду в Париж, — сообщила Ухтомская, легко вздохнув. — Там у меня сын. Боюсь, знаете, оставаться в Германии.

Вынула из саквояжа просторный платок, крепко им потерла нос — слева направо и обратно.

— Боюсь. Говорят, революция тут будет. Вы ничего не слыхали?

Дама покачала головой. Подозрительным взглядом окинула господина с газетой, немецкую чету.

— Я ничего не знаю. Третьего дня из Петербурга приехала.

Пухлое желтое лицо Ухтомской выразило живое любопытство. Поползли вверх мелкие брови.

— Да што вы!..

Дама сказала быстро и тихо, все время глядя на носок своего башмачка:

— Да. Добрый человек вывез. Я тоже теперь в Париж. Там у меня родственники.

Стала снимать перчатки. С пальца скатился золотой луч — обручальное кольцо. Она поспешно его поймала.

— Вот, кольцо все теряю. Руки, что ли, похудели?

Замолчала, мигая ресницами. В окно, сквозь стеклянную дверь в проход, видать было, как взмывают ровным рядом телеграфные струны.

Ухтомская пододвинулась к даме.

— А скажите, — шумным шепотом спросила она, — ведь им-то теперь... плохо? А?

Черный телеграфный столб пролетел, перебил плавный взмах проволок. Они спустились, как флаг, когда спадает ветер. И вкрадчиво стали подниматься опять... Поезд шел быстро между воздушных стен широкого золотистого вечера. В отделеньях, где-то в потолке, потрескивало, дребезжало, словно сыпался дождь на железную крышу. Немецкие вагоны сильно качало. Международный, обитый снутри синим сукном, шел глаже и беззвучнее остальных. В ресторане трое лакеев накрывали к обеду. Один, с серой от стрижки головой и черными бровями, вроде перевернутых усов, думал о баночке, лежащей в боковом кармане. То и дело облизывался и потягивал носом. В баночке — хрустальный порошок фирмы Мерк. Он раскладывал ножи

и вилки, вставлял в кольца нераспечатанные бутылки — и вдруг не выдержал. Растерянной, белой улыбкой окинул рыжего Макса, спускавшего плотные занавеси, — и бросился через шаткий железный мостик в соседний вагон. Заперся в уборной. Осторожно рассчитывая толчки, высыпал холмик белого порошка на ноготь большого пальца, быстро и жадно приложил его к одной ноздре, к другой, втянул, ударом языка слизал с ногтя искристую пыль, пожмурился от ее упругой горечи — и вышел из уборной пьяный, бодрый, — голова наливалась блаженным ледяным воздухом. Он подумал, переходя между кожаных гармоник обратно в свой вагон: «Вот сейчас легко умереть». Улыбнулся. Лучше подождать до ночи. Жаль было сразу прервать действие упоительного яда.

— Давай талоны, Гуго. Пойду раздавать.

— Нет, пойдет Макс. Макс это делает быстрее. Держи, Макс.

Рыжий лакей сжал в веснушчатом кулаке книжечку билетов. Как лиса, скользнул между столиков. Прошел в голубой коридор международного. Вдоль окон отчаянно взмывали пять отчетливых струн. Небо меркло. В купе второго класса старуха в черном платье, похожая на евнуха, дослушала, тихо окая, рассказ о далекой убогой жизни.

— А муж ваш — остался?

Дама широко распахнула глаза.

— Нет. Он давно за границей. Так уж случилось. В самом начале он поехал на юг, в Одессу. Ловили его. Я должна была ехать туда, да не выбралась вовремя...

— Ужасы, ужасы. И что же, вы ничего не знаете о нем?

— Ничего. Помню, решила, что он умер. Кольцо стала носить на груди. Боялась, и кольцо отнимут. А в Берлине знакомые сказали, что он жив, что кто-то видел его. Вот объявление поместила вчера в газете.

Дама торопливо вынула из потрепанной шелковой сумочки свернутый газетный лист.

— Вот смотрите...

Ухтомская надела очки, прочла:

«Елена Николаевна Лужина просит откликнуться своего мужа, Алексея Львовича».

— Лужин? — сказала Ухтомская, отцепляя очки. — Уж не Льва ли Сергеевича сын? Двое у него было. Не помню, как звали...

Елена Николаевна светло улыбнулась:

— Как хорошо... Вот это, право, неожиданно. Неужели вы знали его отца?

— Да как же, как же, — самодовольно и ласково заговорила Ухтомская. — Лев Сергеич... Бывший улан... Усадьбы наши были рядом. В гости приезжал.

— Он умер, — вставила Елена Николаевна.

— Слыхала, слыхала. Царство ему небесное... С борзой всегда приходил. А мальчиков плохо помню. Я сама восемь лет как за границей. Младший как будто беленький был... заикался...

Елена Николаевна улыбнулась опять:

— Да нет, это старший...

— Ну, так я спутала, милая, — мягко сказала Ухтомская. — Память плоха. И Левушку Лужина не вспомнила бы, если б сами не назвали. А теперь все помню. Вечерком чай пил у нас. Вот, я вам скажу...

Ухтомская слегка придвинулась и продолжала — ясно, слегка певуче, без грусти, будто знала, что говорить о хорошем можно только хорошо, по-доброму, не досадуя на то, что оно исчезло:

— Вот... Тарелки были у нас. Золотая, знаете, каемка, а посередке — по самой середке — комар, ну совсем настоящий... Кто не знает, непременно захочет смахнуть...

Дверь в отделенье отворилась. Рыжий лакей предлагал талоны на обед. Елена Николаевна взяла. Взял и оливковый господин, сидевший в углу и с некоторых пор все пытавшийся поймать ее взгляд.

— А у меня — свое, — сказала Ухтомская, — ветчина, сдобная булка...

Рыжий лакей обежал все отделенья. Просеменил назад в вагон-ресторан. Мимоходом подтолкнул локтем стриженого, белозубого, стоявшего с салфеткой под мышкой на площадке. Тот блестящими тревожными глазами посмотрел вслед Максу. Он чувствовал во всем теле прохладную щекочущую пустоту, как будто вот-вот сейчас все тело чихнет, вычихнет душу. В сотый раз воображал он, как устроит свою смерть. Рассчитывал каждую мелочь, словно решал шахматную задачу. Думал так: выйти ночью на станции, обогнуть неподвижный вагон, приложить голову к щиту буфера, когда другой вагон станут придвигать, чтобы

прицепить к стоящему. Два щита стукнутся. Между ними будет его наклоненная голова. Голова лопнет, как мыльный пузырь. Обратится в радужный воздух. Нужно будет покрепче стать на шпалу, покрепче прижать висок к холодному щиту...

— Не слышишь, что ли? Пора идти звать.

Он испуганно улыбнулся коренастому Гуго и пошел через вагоны, пошатываясь, откидывая дверцы на ходу, громко и торопливо выкрикивая: «К обеду! К обеду!»

В одном отделенье он мельком заметил желтоватое полное лицо старухи, развертывающей бутерброд. Это лицо показалось ему необыкновенно знакомым. Спеша обратно через вагоны, он все думал: кто бы это могла быть? Точно уже видел ее во сне. Чувство, что вот-вот чихнет тело, теперь стало определеннее: вот-вот сейчас вспомню. Но чем больше он напрягал мысли, тем раздражительнее ускользало воспоминанье. Вернулся в столовую хмурый. Раздувал ноздри. Горло сжимала спазма. Не мог переглотнуть.

— А ну, черт с ней... Какие пустяки...

По коридорам стали проходить, шатаясь, придерживаясь за стенки, пассажиры. В потемневших стеклах уже залоснились отраженья, хотя была еще видна желтая, тусклая полоса заката. Елена Николаевна с тревогой заметила, что оливковый господин выждал, пока она сама не встанет, и только тогда встал тоже. У него были неприятно выпуклые глаза, стеклянные, налитые темным йодом. По проходу он шел так, что чуть не наступал на нее, — и когда ее шарахало в сторону — вагоны сильно качало, — то многозначительно покашливал. Ей почему-то вдруг показалось, что это шпион, доносчик, и знала, что глупо так думать — не в России же она, — и все-таки думала так... Уж слишком потрепало душу за последнее время.

Он сказал что-то, когда они проходили по коридору спального. Тогда она ускорила шаг. По тряскому мостику перешла на площадку ресторана, следующего за международным. И тут внезапно, с какой-то грубой нежностью господин взял ее за руку повыше локтя.

Она едва не вскрикнула и так сильно дернула руку, что пошатнулась.

Господин сказал по-немецки, с иностранным выговором:

— Мое сокровище...

Елена Николаевна круто повернула. Пошла обратно — через мостик, через международный, опять через мостик. Ей было нестерпимо обидно. Лучше вовсе не обедать, чем сидеть против этого чудовищного нахала. Принял ее Бог знает за кого. Только потому, что она красит губы...

— Что вы, голубушка?.. Не идете обедать?

Ухтомская держала бутерброд. Из-под хлебного ломтя, как розовый язык, торчал кусок ветчины.

— Не пойду. Расхотелось. Простите меня — я буду спать.

Старуха удивленно подняла тонкие брови. Потом продолжила жевать.

А Елена Николаевна откинула голову и притворилась, что спит. Вскоре она и впрямь задремала. Бледное, утомленное лицо ее изредка подергивалось. Крылья носа, там, где сошла пудра, блестели. Ухтомская закурила папиросу с длинным картонным мундштуком.

Спустя полчаса вернулся оливковый господин, невозмутимо сел в угол свой, покопал зубочисткой в задних зубах. Потом прикрыл глаза, поерзал, занавесил голову подолом пальто, висевшего на крюке у окна. Еще через полчаса поезд замедлил ход. Прошли, как призраки, фонари вдоль запотевших окон. Вагон остановился, протяжно и облегченно вздохнув. Стало слышно, как кто-то кашляет в соседнем отделении, как пробегают шаги по платформе. Поезд простоял долго — по-ночному перекликались далекие свистки, — потом раскачнулся, двинулся.

Елена Николаевна проснулась. Ухтомская дремала, открыв черный рот. Немецкой четы уже не было. Господин с лицом, покрытым пальто, спал тоже, уродливо раскоряча ноги.

Она облизала запекшиеся губы. Устало приложила руки ко лбу. И вдруг вздрогнула: с четвертого пальца исчезло кольцо.

Мгновенье она неподвижно глядела на свою голую руку. Затем, с бьющимся сердцем, растерянно и торопливо стала шарить по сиденью, по полу. Глянула на острое колено господина.

— Ах, Господи, конечно... На площадке ресторана... Когда руку отдернула...

Она выскочила из купе; шатаясь, сдерживая слезы, быстро дыша, побежала по проходам... Один вагон... второй...

спальный... мягкий ковер... Дошла до конца международного и сквозь заднюю дверь увидела — просто — воздух, пустоту, ночное небо, черным клином убегающий путь.

Она подумала, что спутала, не в ту сторону пошла... Всхлипнув, повернула назад.

Рядом, у двери уборной, стояла старушка — в сером переднике, с повязкой на рукаве, — похожая на сиделку. Держала ведерко, в нем торчала кисть.

— Отцепили, — сказала старушка и почему-то вздохнула, — в Кельне другой будет.

* * *

В вагоне-ресторане, оставшемся под сводами дремучего ночного вокзала, лакеи убирали, подметали, складывали скатерти. Лужин, кончив работу, вышел на площадку и встал в пройме двери, опираясь боком на косяк. На вокзале было темно и пустынно. Поодаль сквозь матовое облако дыма влажной звездою лучился фонарь. Чуть блестели потоки рельс. И почему его так встревожило лицо той старухи? — он понять не мог. Все остальное было ясно, только вот это слепое пятно мешало.

Рыжий востроносый Макс вышел на площадку тоже. Подметал. В углу заметил золотой луч. Нагнулся. Кольцо. Спрятал в жилетный карман. Юрко огляделся, не видел ли кто. Спина Лужина в пройме двери была неподвижна. Макс осторожно вынул кольцо; при смутном свете разглядел прописное слово и цифры, вырезанные снутри. Подумал: «По-китайски...» А на самом деле было: «1 августа 1915 г. Алексей». Сунул кольцо обратно в карман.

Спина Лужина двинулась. Он не торопясь сошел вниз. Прошел наискось через темную платформу к соседнему полотну — покойной, свободной походкой, словно прогуливался.

Сквозной поезд влетал в вокзал. Лужин дошел до края платформы и легко спрыгнул. Угольная пыль хрустнула под каблуком.

И в тот же миг одним жадным скоком нагрянул паровоз. Макс, не понимая, видел издали, как промахнули сплошной полосой освещенные окна.

ДРАКА

1

По утрам, если солнце приглашало меня, я ездил за город купаться. У конечной остановки трамвая, на зеленой скамье, проводники — коренастые, в огромных тупых сапогах — отдыхали, вкусно покуривая, и потирали изредка тяжелые, пропахнувшие металлом руки, глядя, как рядом, вдоль самых рельс, человек в мокром фартуке поливает цветущий шиповник, как вода серебряным гибким веером хлещет из блестящей кишки, то летая на солнце, то наклоняясь плавно над трепещущими кустами. Я проходил мимо них, зажав под мышкой свернутое полотенце, быстрым шагом направлялся к опушке леса; там частые и тонкие стволы сосен, шероховато-бурые внизу, телесного цвета повыше, были испещрены мелкими тенями, и на чахлой траве под ними валялись, как бы дополняя друг друга, лоскутки солнца и лоскутки газет. Внезапно небо весело раздвигало стволы; по серым волнам песка я спускался к озеру, где вскрикивали да поеживались голоса купавшихся и мелькали по светлой глади темные поплавки голов. На пологом скате навзничь и ничком лежали тела всех оттенков солнечной масти — иные еще белые с розоватым крапом на лопатках, иные же жаркие, как мед или цвет крепкого кофе со сливками. Я освобождался от рубашки, и сразу со слепою нежностью наваливалось на меня солнце.

И каждое утро, ровно в девять, появлялся подле меня один и тот же человек. Это был колченогий пожилой немец в штанах и куртке полувоенного покроя, с большой лысой головой, выглаженной солнцем до красного лоску. Он приносил с собой черный, как старый ворон, зонтик и ладно схваченный тюк, который тотчас же делился на серое одеяло, купальную простыню и пачку газет. Одеяло он аккуратно раскладывал на песке и, оставшись в одних трусиках, заранее надетых под штаны, преуютно на одеяле устраивался, прилаживал раскрытый зонтик за головой, чтобы тень падала только на лицо, и принимался за газеты.

Я искоса следил за ним, примечая темную, словно расчесанную шерсть на его крепких кривых ногах, пухловатое брюхо с глубоким пупом, глядящим, как глаз, в небо, —

и очень мне было занятно гадать, кто этот человек, так благочестиво любивший солнце.

Мы валялись на песке часами. По небу текли волнующимся караваном летние облака — облака-верблюды, облака-шатры. Солнце старалось проскользнуть между них, но они находили на него ослепительным краем, воздух потухал, потом снова назревало сиянье, но первым озарялся не наш, а супротивный берег, — мы еще были в тени, ровной и бесцветной, а там ложился уже теплый свет, там тени сосен оживали на песке, вспыхивали вылепленные из солнца маленькие голые люди, — и внезапно, как счастливое, огромное око, раскрывалось сиянье и на нашей стороне. Тогда я вскакивал на ноги, серый песок мягко обжигал мне ступни, я бежал к воде, шумно в нее врезался. Хорошо потом высыхать на угреве, чувствовать, как солнце вкрадчивыми устами жадно пьет прохладный бисер, оставшийся на теле.

Немец мой захлопывает зонтик и, осторожно вздрагивая кривыми икрами, в свой черед спускается к воде, где, по обычаю пожилых купальщиков омывши сначала голову, широким движением пускается вплавь. Продавец кислых леденцов проходит берегом, выкрикивая свой товар. Двое других в купальных костюмах быстро проносят ведро с огурцами, — и соседи мои по солнцу, грубоватые, на диво сложенные молодцы, подхватывают короткие возгласы торговцев, искусно подражая им. Голый младенец, весь черный от сырого песка, прилипшего к нему, ковыляет мимо меня, и смешно прыгает мягкий клювик между неловких толстеньких ног. Рядом сидит его мать, полураздетая, миловидная, расчесывает, закусив шпильки, свои черные длинные волосы. А подальше, у самой опушки, коричневые юноши сильно играют в мяч, швыряя его одной рукой, и оживает в этом движении бессмертный размах дискобола, и вот аттическим шорохом закипают на легком ветру сосны, и сдается мне, что весь мир, как вон тот большой и плотный мяч, перелетел дивной дугой обратно в охапку нагого языческого бога. И в это мгновенье с каким-то эоловым возгласом всплывает над соснами аэроплан, и смуглый атлет, прервав игру, смотрит на небо, где к солнцу несутся два синих крыла, гуденье, восторг Дедала.

Мне хочется все это рассказать моему соседу, когда, тяжело дыша, скаля неровные зубы, он выходит из воды

и ложится опять на песок. Но немецких слов у меня слишком мало, и только поэтому он не понимает меня, — зато улыбается мне всем существом, блеском лысины, черным пучком усов, веселым мясистым брюхом с тропкой шерсти, сбегающей посередке.

2

Мне профессия его открылась совсем случайно. Как-то в сумерки, когда глуше ревут автомобили и по-южному горят в синем воздухе горки апельсинов на лотках, я забрел в далекий квартал и завернул в пивную утолить вечернюю жажду, столь знакомую городским бродягам. Мой веселый немец стоял за блестевшей стойкой, пускал из крана толстую желтую струю, дощечкой срезал пену, пышно переливавшуюся через край. На стойку облокотился огромный тяжкий извозчик с седыми усищами и смотрел на кран, слушал пиво, шипевшее, как лошадиная моча. Подняв на меня глаза, хозяин дружелюбно осклабился, налил пива и мне, звонко кинул монету в ящик. Рядом мыла и вытирала стаканы, проворно скрипя тряпкой, девушка в клетчатом платье, светловолосая, с острыми розовыми локтями. В тот же вечер я узнал, что это его дочь, что зовут ее Эмма, а его самого — Краузе. Я сел в уголок и стал не спеша потягивать легкое, белогривое пиво, чуть отдававшее металлом. Кабачок был обычного типа — две-три питейных рекламы, оленьи рога, низкий темный потолок в гирляндах бумажных флажков, след какого-то фестиваля. Позади стойки на полках блестели бутылки, повыше крупно тикали часы, старомодные, в виде шалашика с выскакивавшей кукушкой. Чугунная печка тянула свою кольчатую трубу вдоль стены и перегибала ее в пестроту потолочных флажков. На голых крепких столах грязно белели картонные подставки для пивных кружек. У одного из них сонный мужчина с аппетитными складками жира на затылке и белозубый угрюмый парень, с виду наборщик или монтер, играли в кости.

Было хорошо, покойно. Часы, не торопясь, отламывали сухие дольки времени. Эмма позвякивала стеклом и все посматривала в угол, где в узком зеркале, пересеченном золотыми литерами рекламы, отражался острый профиль монтера и рука его, поднявшая черную воронку с игральными костями.

На следующее утро я опять проходил мимо коренастых трамвайщиков, мимо веера воды, в котором дивно скользила радуга, и очутился опять на озерном берегу, где уже полеживал Краузе. Он высунул из-под зонтика потное лицо и заговорил — о воде, о зное. Я лег, зажмурился от солнца, и, когда открыл глаза, все кругом было голубое. Вдруг по береговой дороге, в пятнах солнца между сосен, прокатил небольшой фургон, за ним — полицейский на велосипеде. В фургоне билась, заливалась тонким рыдающим лаем пойманная собачонка. Краузе привстал, изо всех сил крикнул: «Осторожно! ловец собак!» — и сразу кто-то подхватил этот крик, крик передавался из глотки в глотку, огибая круглое озеро, опережая ловца, и предупрежденные люди бросались к своим собакам, напяливали им намордники, нащелкивали привязи. Краузе с удовольствием прослушал удаляющиеся звучные повторения и добродушно мне подмигнул: «Так. Ни одной больше не схватит».

Я стал довольно часто заходить в его кабачок. Мне очень нравилась Эмма — ее голые локти и маленькое птичье лицо с пустыми и нежными глазами. Но особенно нравилось мне, как она глядела на своего любовника монтера, когда он лениво облокачивался на стойку. Я видел его сбоку — горестную злобную морщину у рта, горящий волчий глаз, синюю щетину на впалой, давно не выбритой щеке. Она глядела на него с таким испугом и любовью, пока он, пристально впившись в нее взором, что-то тихо ей говорил, она так доверчиво кивала головой, полуоткрыв бледные губы, что мне в моем углу становилось восхитительно весело и легко, словно Бог подтвердил мне бессмертие души или гений похвалил мои книги. Я запомнил также мокрую от пивной пены руку монтера, большой палец этой руки, сжавший кружку, — громадный черный ноготь с трещиной посередке.

Последний раз, когда я побывал там, вечер, помнится, был душный, грозовой, потом поднялся вихрь, и на площади люди побежали к лестнице подземной станции: в пепельной мгле площади ветер рвал одежды, как на картине «Гибель Помпеи». Хозяину в тусклом кабачке было жарко, он расстегнул ворот и хмуро ужинал с двумя лавочниками. Было уже поздно, и по стеклам шуршал дождь, когда пришел монтер. Он вымок, продрог и с досадой пробормотал

что-то, увидя, что нет Эммы за стойкой. Краузе молчал, жуя серую, как булыжник, колбасу.

И тут я почувствовал, что сейчас произойдет нечто удивительное. Я много выпил, и душа моя, жадное, глазастое мое нутро требовало зрелищ. Началось все очень просто. Монтер, подойдя к стойке, небрежно налил себе рюмку коньяку из клювастой бутылки, проглотил, отер губы кистью руки и, хлопнув себя по картузу, двинулся к двери. Краузе опустил крестом нож и вилку на тарелку и громко сказал:

— Стой! Двадцать пфеннигов.

Монтер, взявшись было за ручку двери, обернулся:

— Я полагаю, что я здесь у себя.

— Ты не заплатишь? — спросил Краузе.

Из глубины под часами вышла вдруг Эмма, посмотрела на отца, на любовника, замерла. Над ней из шалашика выскочила с писком кукушка и спряталась опять.

— Оставьте меня в покое, — медленно проговорил монтер и вышел вон.

Тогда Краузе с удивительной живостью кинулся за ним, рванул дверь. Допив остаток пива, я выбежал тоже: порыв сырого ветра приятно хлынул мне в лицо.

Они стояли друг против друга на черной, блестевшей от дождя панели и оба орали — я не мог разобрать все слова в этом восходящем, рокочущем рыке, но одно слово отчетливо повторялось в нем: двадцать, двадцать, двадцать. Несколько людей уже остановились поглядеть на ссору, — я сам любовался ею, отблеском фонаря на искаженных лицах, напряженной жилой на шее Краузе, — и при этом мне вспомнилось почему-то, что однажды, в портовом притоне, я великолепно подрался с черным, как жук, итальянцем: рука моя оказалась у него во рту и яростно выжимала, старалась разорвать внутреннюю мокрую кожу его щеки.

Монтер и Краузе орали все громче. Мимо меня скользнула Эмма, стала, не смела подойти, и только отчаянно вскрикивала:

— Отто!.. Отец!.. Отто!.. Отец!.. — И при каждом ее вскрике сдержанным, выжидательным гоготом колыхалась небольшая толпа.

Они пустились врукопашную с жадностью, глухо забухали кулаки; монтер бил молча, а Краузе, ударяя, коротко гакал: ат, ат. У тощего Отто сразу согнулась спина, темная

кровь потекла из ноздри, — он вдруг попытался схватить тяжелую руку, бившую его по лицу, но вместо этого пошатнулся и рухнул ничком на панель. К нему подбежали, скрыли его из виду. Я вспомнил, что оставил на столике шапку, и вошел обратно в кабак. В нем показалось странно тихо и светло. В углу сидела Эмма, уронив голову на вытянутую через стол руку. Я подошел, погладил ее по волосам, она подняла ко мне заплаканное лицо и снова опустила голову. Тогда я осторожно поцеловал ее в нежный, пахнувший кухней пробор и, найдя шапку, вышел на улицу. Там все еще толпился народ. Краузе, тяжело дыша — как тогда на берегу, когда он вылезал из воды, — объяснял что-то полицейскому.

Я не знаю и знать не хочу, кто виноват, кто прав в этой краткой истории. Ее можно было, конечно, повернуть совсем иначе, с сочувствием рассказать, как из-за медной монетки оскорблено было счастие, как Эмма проплакала всю ночь и, заснув к утру, видела опять — во сне — озверевшего отца, мявшего ее любовника. А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом.

ПАСХАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

В этот день одинокая и старая швейцарка — Жозефина Львовна, как именовали ее в русской семье, где прожила она некогда двенадцать лет, — купила полдюжины яиц, черную кисть и две пурпурных пуговицы акварели. В этот день цвели яблони, и реклама кинематографа на углу отражалась кверх ногами в гладкой луже, и утром горы за озером Лемана были подернуты сплошной шелковистой дымкой, подобной полупрозрачной бумаге, которой покрываются офорты в дорогих книгах. Дымка обещала погожий день, но солнце только скользнуло по крышам косых каменных домишек, по мокрым проволокам игрушечного трамвая и снова растаяло в туманах; день выдался тихий, по-весеннему облачный, а к вечеру пахло с гор тяжелым ледяным ветром, и Жозефина, шедшая к себе домой, так

закашлялась, что в дверях пошатнулась, побагровела, оперлась на свой туго спеленутый зонтик, узкий, как черная трость.

В комнате уже было темно. Когда она зажгла лампу, осветились ее руки, худые, обтянутые глянцевитой кожей, в старческих веснушках, с белыми пятнышками на ногтях.

Жозефина разложила на столе свои покупки, сбросила пальто и шляпу на постель, налила воды в стакан и, надев пенснэ с черными ободками, — от которых темно-серые глаза ее стали строгими, под густыми, траурными бровями, сросшимися на переносице, — принялась красить яйца. Но оказалось, что акварельный кармин почему-то не пристает, надо было, пожалуй, купить какой-нибудь химической краски, да она не знала, как спрашивать, постеснялась объяснить. Подумала: не пойти ли к знакомому аптекарю, — заодно достала бы аспирину. Тело было так вяло, от жара ныли глазные яблоки; хотелось тихо сидеть, тихо думать. Сегодня у русских — страстная суббота.

Когда-то на Невском проспекте оборванцы продавали особого рода щипцы. Этими щипцами было так удобно захватить и вынуть яйцо из горячей темно-синей или оранжевой жидкости. Но были также и деревянные ложки: легко и плотно постукивали о толстое стекло стаканов, в которых пряно дымилась краска. Яйца потом сохли по кучкам — красные с красными, зеленые с зелеными. И еще иначе расцвечивали их: туго обертывали в тряпочки, подложив бумажку декалькомани, похожую на образцы обоев. И после варки, когда лакей приносил обратно из кухни громадную кастрюлю, так занятно было распутывать нитки, вынимать рябые, мраморные яйца из влажных, теплых тряпок: от них шел нежный пар, детский запашок.

Странно было старой швейцарке вспоминать, что, живя в России, она тосковала, посылала на родину, друзьям, длинные меланхолические, прекрасно написанные письма о том, что она всегда чувствует себя лишней, непонятой. Ежедневно после завтрака ездила она кататься с воспитанницей Элен в широком открытом ландо; и рядом с толстым задом кучера, похожим на исполинскую синюю тыкву, сутулилась спина старика — выездного, — золотые пуговицы, кокарда. И из русских слов она только и знала, что: кутчер, тиш-тиш, нитчего...

Петербург покинула она со смутным облегчением, — как только началась война. Ей казалось, что теперь она без конца будет наслаждаться болтовней вечерних друзей, уютом родного городка. А вышло как раз наоборот; настоящая ее жизнь — то есть та часть жизни, когда человек острее и глубже всего привыкает к вещам и к людям, — протекла там, в России, которую она бессознательно полюбила, поняла и где ныне Бог весть что творится... А завтра — православная Пасха.

Жозефина Львовна шумно вздохнула, встала, прикрыла плотнее оконницу. Посмотрела на часы — черные, на никелевой цепочке. Надо было все-таки что-нибудь сделать с яйцами этими: она предназначила их в подарок Платоновым, пожилой русской чете, недавно осевшей в Лозанне, в родном и чуждом ей городке, где трудно дышать, где дома построены случайно, вповалку, вкривь и вкось — вдоль крутых угловатых улочек.

Она задумалась, слушая гул в ушах, потом встрепенулась, вылила в жестяную банку пузырек лиловых чернил и осторожно опустила туда яйцо.

Дверь тихо отворилась. Вошла, как мышь, соседка, м-ль Финар — тоже бывшая гувернантка, — маленькая, худенькая, с подстриженными, сплошь серебряными волосами, закутанная в черный платок, отливающий стеклярусом. Жозефина, услыша ее мышиные шажки, неловко прикрыла газетой банку, яйца, что сохли на промокательной бумаге.

— Что вам нужно? Я не люблю, когда входят ко мне так...

М-ль Финар боком взглянула на взволнованное лицо Жозефины, ничего не сказала, но страшно обиделась и молча, все той же мелкой походкой, вышла из комнаты.

Яйца были теперь ядовито-фиолетового цвета. На одном — непокрашенном — она решила начертить две пасхальных буквы, как это всегда делалось в России. Первую букву «X» написала хорошо, — но вторую никак не могла правильно вспомнить, и в конце концов вышло у нее вместо «В» нелепое кривое «Я». Когда чернила совсем высохли, она завернула яйца в мягкую туалетную бумагу и вложила их в кожаную свою сумку.

Но какая мучительная вялость... Хотелось лечь в постель, выпить горячего кофе, вытянуть ноги... Знобило,

кололо веки... И когда она вышла на улицу, снова сухой треск кашля подступил к горлу. На дворе было пустынно, сыро и темно. Платоновы жили неподалеку. Они сидели за чайным столом, и Платонов, плешивый, с жидкой бородкой, в саржевой рубахе с косым воротом, набивал в гильзы желтый табак, — когда, стукнув в дверь набалдашником зонтика, вошла Жозефина Львовна.

— А, добрый вечер, Mademoiselle...

Она подсела к ним, безвкусно и многословно заговорила о том, что завтра — русская Пасха. Вынула по одному фиолетовые яйца из сумки. Платонов приметил то, на котором лиловели буквы «X. Я.», и рассмеялся.

— Что это она еврейские инициалы закатила...

Жена его, полная дама, со скорбными глазами, в желтом парике, вскользь улыбнулась; равнодушно стала благодарить, растягивая французские гласные. Жозефина не поняла, почему засмеялись. Ей стало жарко и грустно. Опять заговорила; чувствовала, что говорит совсем не то, — но не могла остановиться:

— Да, в этот момент в России нет Пасхи... Это бедная Россия. О, я помню, как целовались на улицах. И моя маленькая Элэн была в этот день как ангел... О, я по целым ночам плачу, когда думаю о вашей прекрасной родине...

Платоновым было всегда неприятно от этих разговоров. Как разорившиеся богачи скрывают нищету свою, становятся еще горделивее, неприступнее, так и они никогда не толковали с посторонними о потерянной родине, и потому Жозефина считала втайне, что они России не любят вовсе. Обычно, когда она приходила к ним, ей казалось, что вот начнет она говорить со слезами на глазах об этой прекрасной России, и вдруг Платоновы расплачутся и станут тоже вспоминать, рассказывать, и будут они так сидеть втроем всю ночь, вспоминая и плача, и пожимая друг другу руки.

А на самом деле этого не случалось никогда... Платонов вежливо и безучастно кивал бородкой, — а жена его все норовила расспросить, где подешевле можно достать чаю, мыла.

Платонов принялся вновь набивать папиросы; жена его ровно раскладывала их в картонной коробке. Оба они рассчитывали прилечь до того, как пойти к заутрене, — в греческую церковь за углом... Хотелось молчать, думать

о своем, говорить одними взглядами, особыми, словно рассеянными улыбками, о сыне, убитом в Крыму, о пасхальных мелочах, о домовой церкви на Почтамтской, а тут эта болтливая сентиментальная старуха, с тревожными темно-серыми глазами, пришла, вздыхает, и так будет сидеть до того времени, пока они сами не выйдут из дому.

Жозефина замолкла: жадно мечтала о том, что, быть может, ее пригласят тоже пойти в церковь, а после — разговляться. Знала, что накануне Платоновы пекли куличи, и хотя есть она, конечно, не могла, слишком знобило, — но все равно, — было бы хорошо, тепло, празднично.

Платонов скрипнул зубами, сдерживая зевок, и украдкой взглянул себе на кисть, на циферблат под решеточкой. Жозефина поняла, что ее не позовут. Встала.

— Вам нужно немного отдыха, мои добрые друзья. Но до того, как уйти, я хочу вам сказать... — И, близко подойдя к Платонову, который встал тоже, — она звонко и фальшиво воскликнула: — Кристосе Воскресе!

Это была ее последняя надежда вызвать взрыв горячих сладких слез, пасхальных поцелуев, приглашенья разговеться вместе... Но Платонов только расправил плечи и спокойно засмеялся.

— Ну вот видите, Mademoiselle, вы прекрасно произносите по-русски...

Выйдя на улицу, она разрыдалась и шла, прижимая платок к глазам, слегка пошатываясь и постукивая по панели шелковой тростью зонтика. Небо было глубоко и тревожно: смутная луна, тучи как развалины. У освещенного кинематографа отражались в луже вывернутые ступни курчавого Чаплина. А когда Жозефина проходила под шумящими, плачущими деревьями вдоль озера, подобного стене тумана, то увидела: на краю небольшого мола жидко светится изумрудный фонарь, а в черную шлюпку, что хлюпала внизу, влезает что-то большое, белое... Присмотрелась сквозь слезы: громадный старый лебедь топорщился, бил крылом и вот, неуклюжий как гусь, тяжко перевалился через борт; шлюпка закачалась, зеленые круги хлынули по черной маслянистой воде, переходящей в туман.

Жозефина подумала — не пойти ли все-таки в церковь? Но так случилось, что в Петербурге она только бывала в красной кирке, в конце Морской улицы, и теперь в православный храм входить было совестно, не знала, когда

креститься, как складывать пальцы, — могли сделать замечание. Прохватывал озноб. В голове путались шелесты, чмоканье деревьев, черные тучи — и воспоминанья пасхальные — горы разноцветных яиц, смуглый блеск Исакия... Туманная, оглушенная, она кое-как дотащилась до дому, поднялась по лестнице, стукаясь плечом о стену, — и потом, шатаясь, отбивая зубами дробь, стала раздеваться, ослабела, — и с блаженной, изумленной улыбкой повалилась на постель. Бред, бурный, могучий, как колокольное дыхание, овладел ею. Горы разноцветных яиц рассыпались с круглым чоканьем; не то солнце, не то баран из сливочного масла, с золотыми рогами, ввалился через окно, и стал расти, жаркой желтизной заполнил всю комнату. А яйца взбегали, скатывались по блестящим дощечкам, стукались, трескалась скорлупа, — и на белке были малиновые подтеки...

Так пробредила она всю ночь, и только утром еще обиженная м-ль Финар вошла к ней — и ахнула, всполошилась, побежала за доктором:

— Крупозное воспаление в легком, Mademoiselle.

Сквозь волны бреда мелькали: цветы обоев, серебряные волосы старушки, спокойные глаза доктора, — мелькали и расплывались, — и снова взволнованный гул счастья обдавал душу, сказочно синело небо, как гигантское крашеное яйцо, бухали колокола, и входил кто-то, похожий не то на Платонова, не то на отца Элен, — и, входя, развертывал газету, клал ее на стол, а сам садился поодаль — поглядывал то на Жозефину, то на белые листы со значительной, скромной, слегка лукавой улыбкой. И Жозефина знала, что там, в этой газете, какая-то дивная весть, но не могла, не умела разобрать черный заголовок, русские буквы, — а гость все улыбался и поглядывал значительно, и казалось, что вот-вот он откроет ей тайну, утвердит счастье, что предчувствовала она, — но медленно таял человек, наплывало беспамятство — черная туча...

И потом опять запестрели бредовые сны, катилось ландо по набережной, Элен лакала с деревянной ложки горячую яркую краску, и широко сияла Нева, и Царь Петр вдруг спрыгнул с медного коня, разом опустившего оба копыта, и подошел к Жозефине, с улыбкой на бурном, зеленом лице, обнял ее — поцеловал в одну щеку, в другую, и губы были нежные, теплые — и когда в третий раз он

коснулся ее щеки, она со стоном счастья забилась, раскинула руки — и вдруг затихла.

Рано утром, на шестой день болезни, после кризиса, Жозефина Львовна очнулась. В окне светло мерцало белое небо, шел отвесный дождь, шелестел, журчал по желобам.

Мокрая ветка тянулась вдоль стекла, и лист на самом конце все вздрагивал под дождевыми ударами, нагибался, ронял с зеленого острия крупную каплю, вздрагивал опять, и опять скатывался влажный луч, свисала длинная светлая серьга, падала....

И Жозефине казалось, что дождевая прохлада течет по ее жилам, она не могла оторвать глаза от струящегося неба — и дышащий, млеющий дождь был так приятен, так умилительно вздрагивал лист, что захотелось ей смеяться, — смех наполнил ее, — но еще был беззвучным, переливался по телу, щекотал нёбо — вот-вот вырвется сейчас...

Что-то зацарапало и вздохнуло, слева, в углу комнаты... Вся дрожа от смеха, растущего в ней, она отвела глаза от окна, повернула лицо: на полу ничком лежала старушка в черном платке, серебристые подстриженные волосы сердито тряслись, она ерзала, совала руку под шкаф, куда закатился клубок шерсти. Черная нить ползла из-под шкафа к стулу, где остались спицы и недовязанный чулок.

И увидя черную спицу м-ль Финар, ерзающие ноги, сапожки на пуговицах, — Жозефина выпустила прорывающийся смех, затряслась, воркуя и задыхаясь, под пуховиком своим, чувствуя, что воскресла, что вернулась издалека, из тумана счастья, чудес, пасхального великолепия.

ВЕНЕЦИАНКА

1

Перед красным замком, среди великолепных ильмов, зеленела муравчатая площадка. Рано утром садовник прогладил ее каменным катком, истребил две-три маргаритки и, наново расчертив газон жидком мелом, крепко натянул между двух столбов новую упругую сетку. Из ближнего городка дворецкий привез картонную коробку, в которой покоилась дюжина белых как снег, матовых на ощупь, еще

легких, еще девственных мячей, завернутых, каждый отдельно, как дорогие плоды, в листы прозрачной бумаги.

Было часов пять пополудни; спелый солнечный свет дремал тут и там на траве, на стволах, сочился сквозь листья и благодушно обливал ожившую площадку. Играли четверо: сам полковник — хозяин замка, госпожа Магор, хозяйский сын Франк и университетский приятель его Симпсон.

Движения человека во время игры, точно так же, как почерк его во время покоя, рассказывают о нем немало. Судя по тупым, стянутым ударам полковника, по напряженному выражению его мясистого лица — только что выплюнувшего, казалось, те седые тяжелые усы, что громоздились у него над губой; судя по тому, что ворот рубашки он, несмотря на жару, не расстегивал и подавал мяч, плотно расставив белые столбы ног, — можно было заключить, что, во-первых, он никогда хорошо не играл, а что, во-вторых, человек он степенный, старомодный, упорный, изредка подверженный шипучим вспышкам гнева: так, забив мяч в рододендроны, он выдыхал сквозь зубы краткое проклятие, или же таращил рыбьи глаза на свою ракету, словно не в силах простить ей такой оскорбительный промах.

Случайный помощник его, Симпсон, тощий, рыжеватый юноша с кроткими, но безумными глазами, бьющимися и блестящими за стеклами пенсне, как слабые голубые бабочки, старался играть как можно лучше, хотя полковник, разумеется, никогда не выражал своей досады, когда потеря очка происходила по вине партнера. Но как ни старался Симпсон, как ни прыгал, ему ничего не удавалось: он чувствовал, что расползается по швам, что робость мешает ему метко бить и что в руке он держит — не орудие игры, тонко и вдумчиво составленное из янтарных звонких жил, натянутых на прекрасно вычисленную оправу, а неуклюжее сухое полено, от которого мяч отмигивает с болезненным треском, попадая то в сетку, то в кусты и норовя даже сшибить соломенную шляпу с круглой плеши господина Магора, стоявшего в стороне от площадки и глядевшего без особого любопытства, как побеждают вспотевших противников молодая жена его Морийн и легкий, ловкий Франк.

Если бы Магор — старый знаток живописи и реставратор, паркетатор, рантуалятор еще более старых картин,

видевший мир как довольно скверный этюд, непрочными красками написанный на тленном полотне, — был бы тем любопытным и беспристрастным зрителем, которого иной раз так удобно бывает привлечь, то он мог бы заключить, конечно, что высокая, темноволосая, веселая Морийн так же беспечно живет, как играет, и что Франк вносит <и> в жизнь это умение с плавной легкостью вернуть самый трудный мяч. Но как и почерк часто обманывает хироманта своей поверхностной простотой, так и теперь игра этой белой четы на самом деле ничего другого не открывала, как только то, что Морийн играет по-женски, без усердия, слабо и мягко, меж тем как Франк старается не слишком крепко лупить, помня, что он не на университетском состязании, а у отца в саду. Он мягко шел навстречу мячу, и длинный удар доставлял ему физическое наслаждение: всякое движение стремится к полному кругу, и хотя оно на полпути и преображается в правильный полет мяча, однако это незримое продолжение мгновенно ощущается в руке, пробегает по мышцам до самого плеча, — и вот именно в этой длинной внутренней искре — наслаждение удара. С бесстрастной улыбкой на бритом загорелом лице, ослепительно скаля сплошные зубы, Франк поднимался на носки и без видимого усилия двигал обнаженной по локоть рукой: в этом широком взмахе была электрическая сила, и с особенно точным и тугим звоном отскакивал мяч от ракетных струн.

Утром он вместе с приятелем приехал сюда к отцу на каникулы и нашел здесь уже знакомого ему господина Магора с женой, гостивших в замке уже больше месяца; ибо полковник, пылавший к картинам благородной страстью, охотно прощал Магору его иностранное происхождение, необщительность и отсутствие юмора за ту помощь, которую оказывал ему знаменитый картиновед, за те восхитительные, бесценные полотна, которые он ему доставлял. И особенно восхитительно было последнее приобретение полковника, портрет женщины работы Лучиано, проданный Магором за очень пышную цену.

Сегодня Магор, по настоянию жены, знавшей щепетильность полковника, надел бледный летний костюм — вместо черного сюртука, который он обычно носил, — но хозяину он все-таки не угодил: рубашка на нем была крахмальная с жемчужными пуговицами, а это было, конечно,

неприлично. Не особенно приличны были и красно-желтые полусапожки, отсутствие на концах панталон того кругового загиба, который мгновенно ввел в моду покойный король, принужденный однажды перейти дорогу по лужам, — и не особенно изящно выглядела старая, будто обгрызанная соломенная шляпа, из-под которой сзади выбивались седые кудри Магора. Лицо у него было несколько обезьянье, с выпученным ртом, с длинным надгубием и с целой сложной системой морщин, так что, пожалуй, по лицу его можно было погадать, как по ладони. Пока он следил за перелетами мяча, его маленькие зеленоватые глазки бегали справа налево и опять слева направо, — и останавливались, чтобы лениво перемигнуть, когда полет мяча прерывался. В солнечном блеске, на яблочной зелени удивительно прекрасна была яркая белизна трех пар фланелевых штанов и одной короткой веселой юбки, — но, как было замечено выше, господин Магор считал творца жизни лишь посредственным подражателем тех мастеров, которых он сорок лет изучал.

Тем временем Франк и Морийн, взяв пять игр подряд, собирались взять и шестую. Франк, подавая мяч, высоко подбросил его левой рукой, весь откинулся назад, словно падая навзничь, и сразу широким дугообразным движением хлынул вперед, скользнув блеснувшей ракетой по мячу, который стрельнул через сетку и со свистом, как белая молния, прыгнул мимо Симпсона, беспомощно покосившегося на него.

— Это конец, — сказал полковник.

Симпсон почувствовал глубокое облегчение. Он слишком стыдился своих неумелых ударов, чтобы быть в состоянии увлечься игрой, и этот стыд обострялся еще тем, что Морийн ему необыкновенно нравилась. Как полагается, все участники игры раскланялись, и Морийн искоса улыбнулась, поправляя ленточку на оголившемся плече. Муж ее с равнодушным лицом хлопал в ладоши.

— Мы должны с тобой вдвоем сразиться, — заметил полковник, вкусно хлопнув по спине сына, который, скаля зубы, натягивал клубный пиджак, белый в малиновую полоску, с фиолетовым гербом на боку.

— Чай! — сказала Морийн. — Я жажду чаю...

Все двинулись в тень гигантского ильма, где дворецкий и черно-белая горничная поставили легкий столик. Был

темный, как мексиканское пиво, чай, сандвичи, составленные из огуречных слоев и прямоугольников хлебного мякиша, смуглый пирог в черной оспе изюма, крупная виктория со сливками. Было также несколько каменных бутылок имбирной шипучки.

— В мое время, — заговорил полковник, с грузным наслаждением опускаясь в складное суконное кресло, — мы предпочитали настоящий, полнокровный английский спорт — регби, крикет, охоту. Есть что-то иностранное в современных играх. Я стойкий сторонник мужественных схваток, сочного мяса, вечерней бутылки портвейна, — что не мешает мне, — докончил полковник, приглаживая щеточкой крупные свои усы, — любить старинные плотные картины, в которых есть отблеск того же доброго вина.

— Кстати, полковник, Венецианка повешена, — скучным голосом сказал Магор, положив подле стула на газон свою шляпу и потирая ладонью голое, как колено, темя, вокруг которого еще густо вились грязные серые кудри. — Я выбрал самое светлое место в галерее. Лампочку над ней приладили. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули.

Полковник блестящими глазами уставился поочередно на сына, на смутившегося Симпсона, на Морийн, которая смеялась и морщилась от горячего чая.

— Мой дорогой Симпсон, — крепко воскликнул он, обрушиваясь на выбранную жертву, — вот вы еще не видели! Простите, что оторву вас от сандвича, мой друг, но я обязан показать вам мою новую картину. Знатоки от нее с ума сходят. Пойдемте. Разумеется, Франку я не смею предложить...

Франк весело поклонился:

— Ты прав, отец. Меня мутит от живописи.

— Мы сейчас вернемся, госпожа Магор, — сказал полковник, вставая. — Осторожно, насту́пите на бутылку, — обратился он к Симпсону, который встал тоже. — Приготовьтесь к душу красоты.

Они втроем направились к дому через мягко озаренный газон. Франк, прищурившись, посмотрел им вслед, взглянул вниз на соломенную шляпку Магора, оставленную им на мураве, подле стула (она показывала Богу, синему небу, солнцу свое белесое дно с темным сальным пятном посредине, на штемпеле венского шляпника), и потом, повернувшись к Морийн, произнес несколько слов, которые,

верно, удивят недогадливого читателя. Морийн сидела в низком кресле, вся в дрожащих колечках солнца, прижимая ко лбу золотистый переплет ракеты, и лицо ее стало старше и строже, когда Франк сказал:

— Ну что ж, Морийн? Теперь нам нужно решить...

2

Магор и полковник, как два стражника, ввели Симпсона в просторную и прохладную залу, где по стенам лоснились картины и где мебели не было, если не считать овального стола из блестящего черного дерева, который стоял посредине и всеми четырьмя ногами отражался в зеркальной ореховой желтизне паркета. Подведя пленника к большому полотну в тусклой золоченой раме, полковник и Магор остановились, первый — заложив руки в карманы, второй — задумчиво выковыривая из ноздри сухую серую пыльцу и рассыпая ее мелким вращательным движением пальцев.

А картина была действительно очень хороша. Лучиано изобразил венецианскую красавицу, стоящую вполоборота на теплом черном фоне. Розоватая ткань открывала смуглую сильную шею с необыкновенно нежными складками под ухом, и с левого плеча сползал серый рысий мех, которым была оторочена вишневого цвета накидка. Правой рукой, продолговатыми пальцами, по два раздвинутыми, она, казалось, только что собралась поправить спадающий мех, но застыла, пристально и томно глядя с полотна карими, сплошь темными глазами. Левая рука в белой зыби батиста вокруг запястья держала корзинку с желтыми плодами; наколка тонким венцом светилась на темно-каштановых волосах. И слева от нее черный тон прерывался большим прямоугольным провалом прямо в сумеречный воздух, в синевато-зеленую бездну облачного вечера.

Но не подробности изумительных теневых сочетаний, не темная теплота всей картины поразили Симпсона. Было нечто другое. Слегка нагнув голову набок и мгновенно покраснев, он проговорил:

— Господи, как она похожа...

— ...на мою жену, — скучным голосом докончил Магор, рассыпая сухую пыльцу.

— Необыкновенно хорошо, — прошептал Симпсон, наклонив голову на другой бок, — необыкновенно...

— Себастиано Лучиано, — сказал полковник, самодовольно прищурившись, — родился в конце пятнадцатого века в Венеции и умер в середине шестнадцатого в Риме. Учителями его были Беллини и Джорджоне, соперниками — Микель Анджело и Рафаэль. Он, как видите, соединил в себе силу первого и нежность второго. Санти, впрочем, он недолюбливал — и дело тут было не в одном тщеславии: легенда гласит, что наш художник был неравнодушен к римлянке Маргарите, прозванной впоследствии Форнарина. За пятнадцать лет до своей смерти он произнес обет монашества по случаю получения от Климента VII легкой и доходной должности. С тех пор именуется он Фра Бастиано дель Пьомбо. «Il Piombo» значит «свинец», ибо должность его состояла в том, что он прикладывал огромные свинцовые печати к пламенным папским буллам. Монахом он был распутным, со вкусом бражничал и писал посредственные сонеты. Но какой мастер!..

И полковник мельком взглянул на Симпсона, с удовольствием отмечая, какое впечатление произвела картина на его тихого гостя.

Но снова нужно подчеркнуть: Симпсон, не привыкший к созерцанию живописи, не мог, конечно, оценить мастерство Себастиано дель Пьомбо, и единственное, что очаровало его, независимо, конечно, от чисто физиологического действия чудесных красок на глазные нервы, — было сходство, им сразу подмеченное, хотя Морийн он видел нынче в первый раз. И замечательно, что лицо Венецианки, с ее гладким лбом, словно облитым тайным отблеском некой оливковой луны, с ее сплошь темными глазами и спокойным выжидательным выражением мягко сложенных губ, — объяснило ему истинную красоту той Морийн, которая все смеялась и щурилась и играла глазами — в постоянной борьбе с солнцем, яркими пятнами скользившим по ее белому платью, когда, раздвигая ракетой шумящие листья, она отыскивала закатившийся мяч.

Пользуясь свободой, которую в Англии хозяин предоставляет своим гостям, Симпсон не вернулся к чайному столику, а пошел, огибая звездистые цветники, через сад — и вскоре заблудился в шашечных тенях парковой аллеи, где пахло папоротником и лиственным тленом. Громадные

деревья были такие старые, что их ветви пришлось подхватить ржавыми скрепами, и мощно горбились они, словно дряхлые гиганты на железных костылях.

— Ах, какая удивительная картина, — опять прошептал Симпсон. Он шел, тихо помахивая ракетой, сутулясь и пошлепывая резиновыми подошвами. Его следует отчетливо представить себе — тощего, рыжеватого, в мятых белых штанах, в мешковатом сером пиджаке с хлястиком — а также хорошо отметить легкое без ободков пенсне на рябой пуговке носа, и слабые, слегка безумные глаза, и веснушки на круглом лбу, на маслаках, на красной от летнего загара шее.

Он учился в университете второй год, жил скромно, прилежно слушал лекции по богословию. Подружился он с Франком не только потому, что судьба поселила их в одну квартиру, состоящую из двух спален и одной общей гостиной, — но главным образом потому, что, как большинство слабовольных, застенчивых, втайне восторженных людей, он невольно льнул к человеку, в котором все было ярко, крепко — и зубы, и мышцы, и физическая сила души — воля. А со своей стороны Франк, эта гордость колледжа, — он греб на гонках, и летал через поле с кожаным арбузом под мышкой, и умел нанести кулаком удар в самый кончик подбородка, где есть такая же музыкальная косточка, как в локте, удар, усыпительно действующий на противника, — этот необыкновенный, всеми любимый Франк находил что-то очень льстившее его самолюбию в дружбе с неловким, слабым Симпсоном. Симпсону было, между прочим, известно то странное, что Франк скрывал от прочих приятелей, знавших его только как прекрасного спортсмена и веселого малого и вовсе не обращавших внимания на мимолетные слухи о том, что Франк исключительно хорошо рисует, но рисунков своих не показывает никому. Он никогда не говорил об искусстве, охотно пел и пил, и бесчинствовал, но порою нападал на него внезапный сумрак; тогда он не выходил из своей комнаты, никого не впускал, — и только сожитель его, смирный Симпсон, видел, чем занят он. То, что Франк создавал за эти два-три дня злобного уединения, он либо прятал, либо уничтожал, а потом, словно отдав мучительную дань пороку, снова был весел и прост. Только раз он об этом заговорил с Симпсоном.

— Понимаешь, — сказал он, морща чистый лоб и крепко выбивая трубку, — я считаю, что в искусстве — особенно в живописи — есть что-то женственное, болезненное, недостойное сильного человека. Я стараюсь бороться с этим бесом, оттого что знаю, как он губит людей. В случае, если я всецело ему поддамся, меня ожидает не покойная и размеренная жизнь с ограниченным количеством горя, с ограниченным количеством наслаждения, с точными правилами, без которых всякая игра теряет свою прелесть, — а сплошная сумятица, буря, Бог знает что. Я буду до гроба мучиться, я стану подобен тем несчастным, которых я встречал в Челъси, тем длинноволосым, самолюбивым дуракам в бархатных куртках — издерганным, слабым, любящим одну только свою липкую палитру...

Но бес, по-видимому, был очень силен. По окончании зимнего семестра Франк, ничего не сказав отцу — и этим глубоко его обидев, — укатил третьим классом в Италию и через месяц вернулся прямо в университет, загорелый, радостный, точно отделавшись навсегда от сумрачной лихорадки творчества.

Потом, когда наступили летние каникулы, он предложил Симпсону погостить в отцовском имении, и Симпсон, благодарно вспыхнув, согласился, ибо он с ужасом думал об очередном возвращении домой в тихий северный городок, где ежемесячно случалось какое-нибудь потрясающее преступление, к отцу-священнику, мягкому, безобидному, но совершенно сумасшедшему человеку, занятому больше игрой на арфе и комнатной метафизикой, нежели своей паствой.

Созерцание красоты — будь то особенным образом расцвеченный закат, светящееся лицо или произведение искусства — заставляет нас бессознательно оглянуться на собственное наше прошлое, сопоставить себя, свою душу с недостижимой совершенной красотой, открывшейся нам. Оттого-то и Симпсон, перед которым только что встала в батисте и бархате давно умершая венецианка, теперь вспоминал, тихо идя по липовой земле аллеи — бесшумной в этот предвечерний час, — вспоминал и дружбу свою с Франком, и арфу отца, и свою безрадостную стесненную юность. Звучная лесная тишина дополнялась порой треском неведомо кем тронутой ветки. Рыжая белка скользнула вниз по стволу, побежала к стволу соседнему, подняв

пушистый хвост, и опять кинулась вверх. В мягком потоке солнца между двух рукавов листвы золотой пылью кружилась мошкара, и сдержанно, уже по-вечернему жужжал шмель, запутавшийся в тяжелых кружевах папоротника.

Симпсон сел на скамью, измызганную мазками белил — засохшим птичьим пометом, — и сгорбился, упираясь острыми локтями в колени. Он почувствовал приступ особой слуховой галлюцинации, которой он с детства был подвержен. Находясь в поле или, как сейчас, в тихом, уже вечереющем лесу, он невольно принимался думать о том, что в этой тишине он может, пожалуй, слышать, как весь громадный мир сладко свищет через пространство, как шумят далекие города, как бухают волны моря, как телеграфные провода поют над пустынями. И постепенно его слух, ведомый его мыслью, начинал и вправду различать эти звуки. Он слышал пыхтение поезда, — хотя полотно отстояло, быть может, на десятки миль, — затем грохот и лязг колес и — по мере того как тайный слух его все обострялся — голоса пассажиров, смех и кашель и шелест газет в их руках, и, наконец, до самого дна углубившись в свой звуковой мираж, отчетливо различал бой их сердец, и этот бой, этот гул, этот грохот, катясь и возрастая, оглушал Симпсона; вздрогнув, он открывал глаза и понимал, что это бьется так громко его же сердце.

— Лугано, Комо, Венеция... — пробормотал он, сидя на скамье под бесшумным орешником, — и тотчас же услышал тихий плеск солнечных городов, а потом — уже ближе — позвякивание бубенцов, свист голубиных крыл, высокий смех, похожий на смех Морийн, и шарканье, шарканье невидимых прохожих. Ему хотелось удержать на этом слух, — но слух его, как поток, бежал все глубже, — еще миг, и — уже не в силах остановиться в своем странном падении — он слышал не только шаги прохожих, но стук их сердец, — миллионы сердец вздувались и гремели, и, очнувшись, Симпсон понял, что все звуки, все сердца сосредоточены в сумасшедшем биении его собственного сердца.

Он поднял голову. Легкий ветер, как движение шелкового шлейфа, прошел по аллее. Мягко желтели лучи.

Он встал, слабо улыбнулся и, забыв на скамье ракету, направился к дому. Пора было переодеваться к обеду.

3

— Однако жарко мне от этого меха! Нет, полковник, это просто кошка. Соперница моя, Венецианка, носила, верно, кое-что подороже. Но цвет тот же, не правда ли? Полное впечатление, одним словом.

— Если бы я посмел, я покрыл бы вас лаком, а полотно Лучиано отправил бы на чердак, — любезно подхватил полковник, который был не прочь, несмотря на строгость своих правил, вызвать на ласковый словесный бой такую привлекательную женщину, как Морийн.

— Я бы треснула, — возразила она, — от смеха...

— Боюсь, госпожа Магор, что мы для вас составляем ужасно неудачный фон, — сказал Франк с широкой мальчишеской улыбкой. — Мы грубые, самодовольные анахронизмы. Вот если бы ваш муж надел бы панцирь...

— Глупости, — сухо усмехнулся Магор. — Впечатление старинного вызвать так же легко, как впечатление красок путем нажатия на верхнее веко. Я позволяю иногда себе роскошь вообразить современный мир, наши машины, наши моды такими, какими они будут казаться потомкам нашим через четыреста-пятьсот лет, — уверяю вас, я чувствую себя тогда старинным, как монах времен Возрождения.

— Еще вина, мой дорогой Симпсон, — предложил полковник.

Робкий, тихий Симпсон, сидевший между Магором и его женой, слишком рано, при втором блюде, пустил в ход большую вилку вместо маленькой, так что для жаркого остались маленькая вилка и большой ножик, и теперь, двигая ими, он как бы хромал на одну руку. Когда во второй раз обносили жаркое, он из нервозности взял еще — и тогда заметил, что он ест один и что все с нетерпением ждут, когда он кончит. Он так растерялся, что отодвинул полную еще тарелку и чуть не опрокинул стакан и стал медленно краснеть. Вспыхивал он во время обеда уже несколько раз, и не потому, что было действительно что-нибудь стыдное, а потому, что он думал, что может беспричинно покраснеть, и тогда щеки его, лоб, даже шея постепенно наливались розовой кровью — и слепую, мучительно жаркую краску так же невозможно было остановить, как удержать за тучей выплывающее из-за нее солнце.

При первом таком приступе он нарочно уронил салфетку, но когда поднял голову опять, то страшно было на него смотреть: вот-вот воротнички займутся. В другой раз он попытался пресечь наступление молчаливой горячей волны тем, что обратился к Морийн с вопросом — нравится ли ей играть в лаун-теннис, но, к несчастью, Морийн не расслышала, переспросила, и, повторяя свою глупую фразу, Симпсон мгновенно покраснел до слез, и Морийн из чувства милосердия отвернулась, заговорила о другом.

То, что он сидит рядом с ней, ощущает теплоту ее щеки, ее плеча, с которого, как на картине, соскальзывает серый мех, и то, что мех этот она собралась было удержать, но при вопросе Симпсона остановилась, вытянув и сложив по два длинные тонкие пальцы, — так томило его, что в глазах стоял влажный блеск от хрустального огня стаканов, и ему все казалось, что круглый стол, освещенный остров, медленно вращается и, вращаясь, плывет куда-то, тихо увлекая сидящих вокруг него. Между стеклянных половин раскинутых дверей виднелись в глубине черные кегли балконной балюстрады, и душно веял синий воздух ночи. Этот воздух сквозь ноздри вдыхала Морийн, мягкие, сплошь темные глаза ее скользили от одного к другому и не улыбались, когда улыбка чуть приподнимала уголок ее нежных, ненакрашенных губ. Ее лицо оставалось в смугловатой тени, и только лоб был облит гладким светом. Она говорила пустые, смешные вещи — и все смеялись, и полковник приятно багровел от вина. Магор, чистивший яблоко, обхватил его, как обезьяна, ладонью, и маленькое его лицо в венце серых кудрей морщилось от усилий, и серебряный ножик, крепко зажатый в волосатом темном кулаке, снимал бесконечные спирали румяной и желтой кожи. Лицо же Франка Симпсон видеть не мог, так как между ними стоял букет огненных мясистых георгин в блестящей вазе.

После обеда, окончившегося портвейном и кофеем, полковник, Морийн и Франк сели играть в бридж — с подставным, ибо двое остальных играть не умели.

Старый реставратор вышел, врозь расставляя колени, на темный балкон, и Симпсон последовал за ним, чувствуя за своей спиной отступающую теплоту Морийн.

Магор опустился в соломенное кресло у балюстрады, крякнул и предложил Симпсону сигару. Симпсон уселся боком на перила и неловко закурил, щурясь и раздувая щеки.

— Венецианка этого старого распутника дель Пьомбо вам, стало быть, понравилась, — сказал Магор, выпуская в темноту розовый клуб дыма.

— Очень, — ответил Симпсон и добавил: — Я, конечно, ничего не смыслю в картинах...

— Но все же понравилась, — закивал Магор. — Превосходно. Это первый шаг к пониманию. Вот я, например, всю жизнь посвятил этому.

— Она — как живая, — задумчиво сказал Симпсон. — Можно поверить в таинственные рассказы об оживающих портретах. Я читал где-то, что какой-то король сошел с полотна и как только...

Магор рассыпался тихим трескучим смехом.

— Это, конечно, пустяки. Но вот бывает другое, — обратное, так сказать.

Симпсон взглянул на него. В темноте ночи белесым горбом коробился крахмальный перед его рубашки, и рубиновый шишковатый огонь сигары освещал снизу его маленькое морщинистое лицо. Он много выпил вина и был, видимо, в настроении говорить.

— Бывает вот что, — продолжал он неторопливо, — представьте себе, что вместо того, чтобы вызвать написанную фигуру из рамы, человеку удалось бы — самому вступить в картину. Вам смешно, не правда ли? Однако я проделал это не раз. Мне выпало на долю счастье осмотреть все картинные галереи в Европе — от Гааги до Петербурга и от Лондона до Мадрида. Когда мне картина особенно нравилась, я становился прямо перед ней и сосредоточивал всю свою волю на одной мысли: вступить в нее. Мне, конечно, было жутко. Я чувствовал себя как апостол, собирающийся сойти из барки на водную поверхность. Но зато какое потом блаженство! Предо мной было, положим, полотно фламандской школы, со святым семейством на переднем плане, с чистым гладким ландшафтом на заднем. Дорога, знаете, белой змеей, и зеленые холмы. И вот наконец я решился. Я вырывался из жизни и вступал в картину. Чудесное ощущение! Прохлада, тихий воздух, пропитанный воском, ладаном. Я становился живой частью картины, и все оживало кругом. Двигались силуэты пилигримов по дороге. Дева Мария что-то тихо лопотала по-фламандски. Ветерок колебал условные цветы.

Плыли тучи... Но наслаждение длилось недолго; я начинал чувствовать, что мягко стыну, влипаю в полотно, заплываю масляной краской. Тогда я жмурился и, со всех сил дернувшись, выпрыгивал: был нежный хлопающий звук, как когда вытаскиваешь ногу из глины. Я открывал глаза — я лежал на полу, под прекрасной, но мертвой картиной...

Симпсон внимательно и смущенно слушал. Когда Магор остановился, он едва заметно вздрогнул и огляделся. Все было по-прежнему. Сад внизу дышал темнотой, сквозь стеклянную дверь видать было полуосвещенную столовую, а в глубине, сквозь другую открытую дверь, яркий уголок гостиной и три фигуры, играющие в карты. Какие странные вещи говорил Магор!..

— Понимаете, — продолжал он, стряхивая слоистый пепел, — еще бы мгновение, и картина засосала бы меня навсегда. Я ушел бы в ее глубину, жил бы в ее пейзаже, а не то, ослабев от ужаса и не в силах ни вернуться в мир, ни углубиться в новую область, застыл бы написанным на полотне, в виде того анахронизма, о котором говорил Франк. Но, несмотря на опасность, я вновь и вновь поддавался соблазну... А, мой друг, я влюблен в Мадонн! Помню первое мое увлечение — Мадонну в голубой короне, нежного Рафаэля... За ней, в отдалении, у колонн стоят двое и мирно беседуют. Я подслушал их разговор. Они говорили о стоимости какого-то кинжала... Но самая прелестная из всех Мадонн принадлежит кисти Бернардо Луини. Во всех его творениях есть тишина и нежность озера, на берегу которого он родился, — Лаго Маджиоре. Нежнейший мастер... Из имени его даже создали новое прилагательное — «luinesco». У лучшей его Мадонны длинные, ласково опущенные глаза; ее одежда в голубовато-алых, в туманно-оранжевых оттенках. Вокруг чела легкий газ, волнистая дымка, и такою же дымкой обвит ее рыжеватый младенец. Он поднимает к ней бледное яблоко, она смотрит на него, опустив нежные, продолговатые очи... Луиниевские очи... Боже мой, как я целовал их...

Магор замолк, и мечтательная улыбка тронула его тонкие губы, освещенные огнем сигары. Симпсон затаил дыхание, и ему казалось, как давеча, что он медленно плывет в ночь.

— Бывали неприятности, — продолжал Магор, кашлянув. — У меня разболелись почки после чаши крепкого сидра, которым меня однажды угостила дебелая вакханка Рубенса, а на желтом туманном катке одного из голландцев я так простудился, что целый месяц кашлял и харкал мокротой. Вот что бывает, господин Симпсон.

Магор скрипнул креслом, встал, оправляя жилет.

— Заговорился я, — сухо заметил он. — Пора спать. Они Бог знает как долго еще будут хлопать картами. Я пойду; спокойной ночи...

Он прошел через столовую в гостиную и, кивнув на ходу играющим, скрылся в отдаленных тенях. Симпсон остался один на своей балюстраде. В ушах у него звенел тонкий голос Магора. Великолепная звездная ночь подступала к самому балкону, неподвижны были бархатные громады черных дерев. Сквозь двери за полосой темноты он видел розовую лампу в гостиной, стол, нарумяненные светом лица играющих. Вот полковник встал. Встал и Франк. Издали, словно в телефон, донесся голос полковника:

— Я старый человек, я ложусь рано. Спокойной ночи, госпожа Магор...

И смеющийся голос Морийн:

— Я тоже сейчас пойду. А то муж будет сердиться...

Симпсон слышал, как в глубине закрылась дверь за полковником, — и тогда случилась невероятная вещь. Из темноты своей он видел, как Морийн и Франк, оставшиеся одни — там, далеко, в провале мягкого света, — скользнули друг к другу, как Морийн откинула голову и откидывала ее все ниже назад под сильным и долгим поцелуем Франка. Потом, подхватив упавший мех и взъерошив Франку волосы, она скрылась в глубину, мягко хлопнув дверью. Франк, улыбаясь, пригладил волосы, засунул руки в карманы и, посвистывая тихо, пошел через столовую к балкону. Симпсон был до того потрясен, что застыл, вцепившись пальцами в перила, и с ужасом глядел, как близится сквозь стеклянный блеск белый вырез, черное плечо. Франк, выйдя на балкон и увидя в темноте фигуру приятеля, чуть вздрогнул и закусил губы.

Симпсон неловко сполз с перил. Ноги у него дрожали. Он сделал героическое усилие:

— Чудесная ночь. Мы тут с Магором болтали.

Франк спокойно сказал:

— Он много врет — Магор. Впрочем, когда он разойдется, то послушать его не мешает.

— Да, очень любопытно... — слабо поддержал Симпсон.

— Это Большая Медведица, — сказал Франк и зевнул, не открывая рта. Потом добавил ровным голосом: — Я, конечно, знаю, что ты совершенный джентльмен, Симпсон.

4

Утром забусил, замерцал, протянулся бледными нитями по темному фону лиственных глубин мелкий и теплый дождь. К утреннему завтраку явились только трое — сперва полковник и вялый, бледный Симпсон, затем Франк — свежий, чистый, до лоску выбритый, с простодушной улыбкой на слишком тонких губах.

Полковник был сильно не в духе: накануне, во время бриджа, он кое-что заметил, а именно: быстро нагнувшись под стол за упавшей картой, он заметил, что Франк прижался коленом к колену Морийн. Это нужно было прекратить немедленно. Полковник уже некоторое время догадывался, что есть что-то неладное. Недаром Франк рванулся в Рим, где всегда весной бывали Магоры. Пускай сын его делает что хочет — но здесь, в доме, в родовом замке, допустить... нет, надо принять тотчас же самые резкие меры.

Неудовольствие полковника гибельно влияло на Симпсона. Ему казалось, что хозяин тяготится его присутствием, и он не знал, о чем говорить. Только Франк был, как всегда, спокойно весел, блестел зубами, вкусно грыз горячие гренки, смазанные апельсиновым вареньем.

Когда допили кофе, полковник закурил трубку и встал.

— Ты хотел посмотреть новую машину, Франк? Пойдем в гараж. При этом дожде все равно ничего нельзя делать...

Потом, почувствовав, что бедный Симпсон нравственно повис в воздухе, полковник добавил:

— Тут у меня несколько хороших книг, мой дорогой Симпсон. Если вам угодно...

Симпсон встрепенулся и стащил с полки какой-то большой красный том: он оказался «Ветеринарным вестником» за 1895 год.

— Мне нужно два слова тебе сказать, — начал полковник, когда он и Франк, напялив хрустящие макинтоши, вышли в туман дождя.

Франк быстро взглянул на отца.

«Как бы это сказать», — подумал полковник, пыхтя трубкой.

— Слушай, Франк, — решился он, и мокрый гравий сочнее зашуршал под его подошвами. — Мне стало известно, все равно как, — или, проще говоря, я заметил, — э, к черту! Вот что, Франк, какие у тебя отношения с женой Магора?

Франк тихо и холодно ответил:

— Я предпочел бы с тобой об этом не говорить, отец. — Про себя же злобно подумал: «Однако, — скотина какая — донес!»

— Я, разумеется, не могу требовать, — начал полковник и осекся. В теннисе, при первом неудачном ударе, он еще умел сдерживаться.

— Хорошо бы починить этот мостик, — заметил Франк, стукнув каблуком по гнилой балке.

— К черту мост! — сказал полковник. Это был второй промах, и на лбу у него надулась гневная ижица жил.

Шофер, гремевший ведрами у ворот гаража, увидя хозяина, стянул свой клетчатый картуз. Это был маленький плотный человек с подстриженными желтыми усиками.

— Доброе утро, сэр, — мягко сказал он и плечом отодвинул крыло ворот. В полутьме, откуда пахнуло бензином и кожей, поблескивал громадный черный, совершенно новый «роллс-ройс».

— А теперь пройдемся по парку, — глухо сказал полковник, когда Франк вдоволь осмотрел цилиндры, рычаги.

В парке первое, что случилось, было то, что крупная холодная капля упала с ветки полковнику за воротник. Эта капля, собственно говоря, и переполнила чашу. Он пожевал губами, как бы примериваясь к словам, и вдруг грянул:

— Предупреждаю тебя, Франк, никаких приключений в духе французских романов я у себя в доме не допущу. К тому же Магор — мой друг, — понимаешь ты это или нет?

Франк поднял со скамьи ракету, забытую накануне Симпсоном. От сырости она превратилась в восьмерку.

«Подлая», — с отвращением подумал Франк. Грузным грохотом проносились слова отца.

— Не потерплю, — говорил он. — Если не можешь вести себя прилично, так уезжай. Я тобой недоволен, Франк, я тобою страшно недоволен. В тебе есть что-то, чего я не понимаю. В университете ты учишься дурно. В Италии ты делал Бог знает что. Говорят, ты занимаешься живописью. Вероятно, я не достоин того, чтобы ты показывал мне свою мазню. Да, мазня. Я представляю себе... Гений, подумаешь. Ведь ты, наверное, считаешь себя гением, — или еще лучше — футуристом! А тут еще эти романы... Одним словом, если...

И тут полковник заметил, что Франк тихо и беспечно посвистывает сквозь зубы. Он остановился и выпучил глаза.

Франк швырнул, как бумеранг, исковерканную ракету в кусты, улыбнулся и сказал:

— Это все пустяки, отец. В одной книге, где описывалась афганистанская война, я читал о том, что ты тогда сделал и за что получил крест. Это было совершенно глупо, сумасбродно, самоубийственно — но это был подвиг. Вот это главное. А твои рассуждения — пустяки. Добрый день.

И полковник остался один стоять посреди аллеи, оцепенев от изумления и гнева.

5

Отличительная черта всего сущего — однообразие. Мы принимаем пищу в определенные часы, потому что планеты, подобно никогда не опаздывающим поездам, отходят и прибывают в определенные сроки. Без такого строго установленного расписания времени средний человек не может себе представить жизнь. Зато игривый и кощунственный ум найдет немало занятного в соображениях о том, как жилось бы людям, если бы день продолжался нынче десять часов, завтра — восемьдесят пять, а послезавтра — несколько минут. Можно сказать a priori[1], что в Англии такая неизвестность относительно точной продолжительности грядущего дня привела бы прежде всего к необычайному развитию пари и всяких других азартных соглашений.

[1] Заранее, наперед *(лат.)*.

Человек терял бы все свое состояние благодаря тому, что день длился на несколько часов дольше, чем он предполагал накануне. Планеты стали бы подобны скаковым лошадям — и сколько волнений возбуждал бы какой-нибудь гнедой Марс, берущий последний небесный барьер. Астрономы оказались бы в положении букмэкеров, бог Аполлон изображался бы в огненном жокейском картузе — и мир весело сошел бы с ума.

Но, к сожалению, дело обстоит иначе. Точность всегда угрюма, и наши календари, где жизнь мира вычислена наперед, напоминают программу экзамена, от которого не увернешься. Конечно, в этой системе космического Тейлора есть нечто успокоительное и бездумное. Зато как прекрасно, как лучезарно порой прерывается мировое однообразие книгой гения, кометой, преступлением или даже просто одной ночью без сна. Но законы наши, пульс, пищеварение крепко связаны со стройным движением звезд, и всякая попытка нарушить равномерность карается — в худшем случае отсечением головы, в лучшем — головной болью. Впрочем, мир был создан несомненно с добрыми намерениями, и никто не виноват в том, что в нем иногда бывает скучно и что музыка сфер напоминает иным бесконечные повторения шарманки.

Однообразие это особенно остро ощущал Симпсон. Он чувствовал что-то страшное в том, что и сегодня второй завтрак последует за первым, обед — за чаем, с ненарушимой правильностью. Когда он подумал о том, что так будет продолжаться всю жизнь, ему захотелось кричать, биться, как бьется человек, проснувшийся в гробу. За окном все мерцала морось, — и оттого, что приходилось сидеть дома, в ушах жужжало, как когда бывает жар. Магор весь день просидел в мастерской, устроенной для него в башне замка. Он работал над восстановлением лакировки небольшой темной картины, писанной на дереве. В мастерской пахло клеем, терпентином, чесноком, которым очищают картину от сальных пятен; на маленьком верстаке, подле пресса, блестели колбы — соляная кислота, винный спирт, — валялись куски фланели, ноздреватые губки, разнообразные гратуары. Магор был в старом халате, в очках, без воротничков, запонка величиной чуть ли не в дверную кнопку торчала под самым кадыком, шея была тонкая, серая,

в старческих пупырках, и черная мурмолка покрывала плешь. Он рассыпа́л, знакомым уже читателю, мелким вращательным движением пальцев щепотку истолченной смолы, осторожно втирал ее в картину, и старый пожелтевший лак, царапаемый частичками порошка, сам превращался в сухую пыль.

Остальные обитатели замка сидели в гостиной, полковник сердито развернул исполинскую газету, вслух читал, медленно успокаиваясь, чью-то очень консервативную статью. Потом Морийн и Франк затеяли игру в пинг-понг: целлулоидный мячик со звонким грустным треском перелетал через зеленую сетку, натянутую поперек длинного стола, — и Франк, конечно, играл превосходно, двигая одной кистью, легко поворачивая слева направо тонкую деревянную лопатку.

Симпсон прошел по всем комнатам, кусая губы и поправляя пенсне. Так вошел он в галерею. Бледный как смерть, тщательно прикрыв за собой тяжелую тихую дверь, он на носках подошел к Венецианке Фра Бастиано дель Пьомбо. Она встретила его знакомым матовым взглядом, и длинные пальцы ее замерли на пути к меховой оборке, к вишневым спадающим складкам. На него пахнуло медовой темнотой — и он глянул в глубь окна, прерывавшего черный фон. Там по зеленоватой синеве тянулись песочного цвета тучи, к ним поднимались ломаные темные скалы, меж которых вилась бледная тропа, а пониже были смутные деревянные лачуги — и Симпсону почудилось, что на мгновение зажглась в одной из них точка огня. И пока он смотрел в это воздушное окно, он почувствовал, что Венецианка улыбается, но, быстро взглянув на нее, не успел поймать улыбки: только слегка был приподнят правый теневой уголок мягко сложенных губ. И тогда что-то в нем сладко оборвалось, и он весь отдался теплому очарованию картины. Нужно помнить, что был он человек болезненно-восторженного нрава, что жизни он не знал совершенно и что впечатлительность заменяла в нем ум. Холодная дрожь, как быстрая сухая ладонь, скользнула по его спине — и тотчас же он понял, что должен он сделать. Но, быстро оглянувшись и увидев блеск паркета, стол, слепой белый лоск картин там, где падал на них дождливый свет, льющийся в окно, — он почувствовал стыд и страх. И хотя прежнее очарование мгновенно нахлынуло на него опять,

он уже знал, что едва ли может выполнить то, что за минуту до этого он без мысли совершил бы.

Впившись глазами в лицо Венецианки, он попятился от нее и вдруг широко раскинул руки. Копчиком он больно стукнулся обо что-то; обернувшись, увидел сзади себя черный стол. Стараясь ни о чем не думать, он влез на него — и встал во весь рост против Венецианки — и снова, взмахнув руками, приготовился к ней полететь.

— Удивительный способ любоваться картиной. Сам изобрел?

Это был Франк. Он стоял, расставя ноги, в дверях и с холодной усмешкой глядел на Симпсона.

Симпсон дико блеснул на него стеклами пенсне и неловко пошатнулся, как встревоженный лунатик. Потом сгорбился, жарко покраснел и неуклюжими движениями сошел на пол.

Франк поморщился от острого отвращения и молча вышел из залы. Симпсон кинулся за ним:

— Ах, пожалуйста, прошу тебя, не рассказывай... — Франк на ходу, не оглядываясь, брезгливо пожал плечами.

6

К вечеру дождь неожиданно перестал. Кто-то спохватился и завинтил краны. Влажный оранжевый закат задрожал между ветками, расширился, отразился во всех лужах сразу. Из башни был силой извлечен маленький кислый Магор. От него пахло скипидаром и горячим утюгом, он обжег себе руку. Нехотя напялил он черное пальто, поднял воротник и вышел с другими пройтись. Один Симпсон остался дома — под тем предлогом, что ему нужно непременно ответить на письмо, пришедшее с вечерней почтой. На самом же деле отвечать на письмо было незачем, так как было оно от университетского молочника, просившего немедленно заплатить по счету два шиллинга и девять пенсов.

Симпсон долго сидел в наплывающих сумерках, без мысли откинувшись на спинку кожаного кресла, — потом вздрогнул, чувствуя, что засыпает, и стал думать о том, как поскорее выбраться из замка. Проще всего было сказать, что заболел отец: как многие застенчивые люди, Симпсон умел лгать, не моргая. Но уехать было трудно. Что-то темное и сладкое удерживало его. Как хорошо темнели скалы

в провале окна... Как хорошо было бы обнять ее за плечо, взять из левой руки ее корзину с желтыми плодами, тихо пойти с ней вместе по той бледной тропе во мглу венецианского вечера...

Он опять спохватился, что засыпает. Встал, вымыл руки. Снизу донесся круглый, сдержанный обеденный гонг.

От созвездия к созвездию, от обеда к обеду так движется мир, так движется и этот рассказ. Но его однообразие теперь прервется невероятным чудом, неслыханным приключением. Ни Магор, опять тщательно освободивший граненую наготу яблока от блестящих румяных лент, — ни полковник, снова приятно побагровевший после четырех рюмок портвейна — не считая двух стаканов белого бургонского, — не могли, конечно, знать, какие неприятности принесет им завтрашний день. После обеда был неизменный бридж, и полковник с удовольствием заметил, что Франк и Морийн даже не глядят друг на друга. Магор пошел работать, а Симпсон сел в угол, раскрыв папку с литографиями, и только два-три раза взглянул из своего угла на играющих, мельком удивившись тому, что Франк с ним так холоден, а что Морийн как бы поблекла, уступила место другой... Эти мысли были такие ничтожные по сравнению с тем дивным ожиданием, с тем огромным волнением, которое он теперь старался обмануть разглядыванием неясных гравюр.

И когда расходились и Морийн с улыбкой кивнула ему, пожелала спокойной ночи, — он рассеянно, без смущения, улыбнулся ей в ответ.

7

В эту ночь, во втором часу, старый сторож, служивший некогда в грумах у отца полковника, совершал, как всегда, небольшую прогулку по аллеям парка. Он отлично знал, что должность его — пустая условность, так как местность была исключительно тихая. Ложился он спать неизменно в восемь часов вечера, в час трещал будильник — и тогда сторож, громадный старик с седыми почтенными баками, за которые, между прочим, любили таскать его дети садовника, — легко просыпался и, закурив трубку, вылезал в ночь. Обойдя разок тихий, темный парк, он возвращался в комнатку свою и, тотчас же раздевшись и оставшись в

одной нетленной нательной фуфайке, очень шедшей к его бакам, снова ложился спать и уже спал до утра.

В эту ночь, однако, старый сторож заметил кое-что ему не понравившееся. Он заметил из парка, что одно окно в замке слабо освещено. Он знал совершенно точно, что это окно той залы, где висят дорогие картины. Будучи стариком необыкновенно трусливым, он решил притвориться перед самим собой, что этого странного света он не заметил. Но добросовестность взяла верх: он спокойно рассудил, что его дело смотреть, нет ли воров в парке, а воров в доме он не обязан ловить. Так рассудив, старик со спокойной совестью вернулся к себе — он жил в кирпичном домике близ гаража — и сразу заснул мертвецким сном, которого не мог бы прервать даже потрясающий грохот новой черной машины, если бы кто-нибудь в шутку пустил бы ее в ход, нарочно открыв глушитель.

Так приятный безобидный старик, как некий ангел-хранитель, на мгновение проходит через этот рассказ и вскоре удаляется в те туманные области, откуда он вызван был прихотью пера.

8

Но в замке действительно кое-что случилось.

Ровно в полночь Симпсон проснулся. Он заснул только что и, как это иногда бывает, проснулся именно оттого, что уснул. Приподнявшись на руку, он посмотрел в темноту. Сердце его крепко и быстро билось от сознания, что в комнату вошла Морийн. Только что в своем мгновенном сне он говорил с нею, помогал ей подниматься по восковой тропе между черных скал, расколотых тут и там маслянистым лоском. Узкая белая наколка, как лист тонкой бумаги, чуть трепетала на темных ее волосах при дуновении сладкого ветра.

Симпсон, тихо охнув, нащупал кнопку. Брызнул свет. В комнате никого не было. Он ощутил удар пронзительного разочарования, задумался, покачивая головой, как пьяный, — и потом дремотными движениями встал с постели, принялся одеваться, вяло чмокая губами. Им руководило смутное чувство, что ему нужно быть одетым строго и нарядно; потому-то он с какой-то сонной тщательностью застегивал на животе низкий жилет, завязывал

черный бант галстука, долго ловил двумя пальцами несуществующего червячка на атласистом отвороте жакета. Смутно помня, что проще всего можно проникнуть в галерею с улицы, он, как тихий ветер, выскользнул через французское окно в темный мокрый сад. Черные кусты, словно облитые ртутью, блестели под звездами. Где-то гукала сова. Симпсон легко и быстро шел по газону, между сырых кустов, огибая громаду дома. На мгновение свежесть ночи, пристальный блеск звезд отрезвили его. Он остановился, нагнулся, как пустое платье опустился на мураву в узком пространстве между цветником и стеною замка. Дремота навалилась на него; ударом плеча он попытался ее сбросить. Надо было торопиться. Она ждет. Ему казалось, что он слышит ее настойчивый шепот...

Он не заметил, как встал, как вошел, как включил свет, облив теплым блеском полотно Лучиано. Венецианка стояла к нему вполоборота, живая и выпуклая. Темные глаза ее, без сверкания, глядели ему в глаза, розоватая ткань рубашки особенно тепло выделяла смуглую прелесть шеи, нежные складки под ухом. В правом уголку выжидательно сложенных губ застыла мягкая усмешка; длинные пальцы, по два расставленные, тянулись к плечу, с которого сползали мех и бархат.

И Симпсон, глубоко вздохнув, двинулся к ней и без усилия вступил в картину. Сразу закружилась голова от дивной прохлады. Пахло миртом и воском и чуть-чуть лимоном. Он стоял в какой-то голой черной комнате, у вечернего открытого окна, и совсем рядом с ним стояла венецианская настоящая Морийн, высокая, прелестная, вся изнутри освещенная. Он понял, что чудо случилось, и медленно потянулся к ней. Венецианка искоса улыбнулась, тихо поправила мех и, опустив руку в свою корзину, подала ему небольшой лимон. Не сводя глаз с ее заигравших глаз, он взял из ее руки желтый плод — и как только он ощутил его шероховатый твердый холодок и сухой жар ее длинных пальцев, невероятное блаженство вскипело в нем, сладко заклокотало. Вздрогнув, он отвернулся к окну: там, по бледной тропе между скал, шли синие силуэты в капюшонах, с фонариками. Симпсон оглянул комнату, где он стоял, не чувствуя, впрочем,

пола под ногами. В глубине, вместо четвертой стены — светилась, как вода, далекая знакомая зала, с черным островом стола посредине. И тогда внезапный ужас заставил его стиснуть холодный маленький лимон. Очарование рассеялось. Он попробовал взглянуть налево, на Венецианку — но не мог повернуть шею. Он увяз, как муха в меду; дернулся и застыл, и чувствовал, как кровь его и плоть и платье превращаются в краску, врастают в лак, сохнут на полотне. Он стал частью картины, он был написан в нелепой позе рядом с Венецианкой, — и прямо перед ним, еще явственнее, чем прежде, распахивалась зала, полная земным, живым воздухом, которым отныне он дышать не мог.

9

На следующее утро Магор проснулся раньше обыкновенного. Босыми волосатыми ногами, с ногтями как черный жемчуг, он нашарил ночные туфли и мягко прошлепал по коридору к двери жениной спальни. Супружеских отношений между ними не было больше года, но он все равно каждое утро к ней приходил и с бессильным волнением смотрел, как она причесывается, сильно встряхивая головой и стрекоча гребнем по каштановому крылу натянутых волос. Сегодня в этот ранний час, войдя в ее комнату, он увидел, что постель убрана и что к изголовью пришпилен булавкой лист бумаги. Магор достал из глубокого кармана халата огромный футляр с очками и, не надевая их, а только приложив к глазам, наклонился над подушкой и прочел, что было написано знакомым мелким почерком на пришпиленном листе. Прочтя, он бережно вложил очки обратно в футляр, отколол и сложил лист, задумался на мгновение и потом, решительно шаркая туфлями, вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся с лакеем, который испуганно взглянул на него.

— Что, полковник уже встал? — спросил Магор.

Лакей торопливо ответил:

— Да, сэр. Полковник в картинной галерее. Я боюсь, сэр, он очень сердится. Меня послали разбудить молодого господина.

Магор, не дослушав, запахивая на ходу свой мышиного цвета халат, быстро направился в галерею. Полковник, тоже

в халате, из-под которого спадали складками концы полосатых ночных панталон, ходил взад и вперед вдоль стены, усы его щетинились, и лицо, налитое багровой кровью, было страшно. Увидя Магора, он остановился, пожевал губами, примериваясь, и грянул:

— Вот, полюбуйтесь!

Магор, которому было мало дела до гнева полковника, все же невольно взглянул по направлению его руки и увидел действительно невероятную вещь. На полотне Лучиано, рядом с Венецианкой, появилась новая фигура. Это был отличный, хотя и наскоро сделанный портрет Симпсона. Тощий, в черном жакете, резко выступавшем на более светлом фоне, странно вывернув ноги, он протягивал руки, как будто в мольбе, и бледное лицо его было искажено жалким и безумным выражением.

— Нравится? — свирепо осведомился полковник. — Не хуже самого Бастиано, не правда ли? Мерзкий мальчишка! Отомстил мне за мой добрый совет. Ну, посмотрим...

Вошел растерянный лакей:

— Господин Франк не в своей комнате, сэр. И вещи его ушли. Господина Симпсона тоже нет, сэр. Он, вероятно, вышел пройтись, сэр, утро будучи так прекрасно.

— Утро будь проклято, — громыхнул полковник, — чтобы сию...

— Осмелюсь доложить, — робко добавил лакей, — что сейчас приходил шофер и сказал, что из гаража исчезла новая машина.

— Полковник, — тихо сказал Магор, — мне кажется, я могу объяснить вам, что случилось.

Он посмотрел на лакея, и тот на носках вышел.

— Вот в чем дело, — скучным голосом продолжал Магор, — ваше предположение, что именно сын ваш надписал эту фигуру, несомненно правильно. Но кроме того, я заключаю из записки, мне оставленной, что он на рассвете увез мою жену.

Полковник был британцем и джентльменом. Он сразу почувствовал, что выражать свой гнев в присутствии человека, от которого только что сбежала жена, неприлично. Поэтому он отошел к окну — одну половину гнева проглотил, другую выдул, пригладил усы и, успокоившись, обернулся к Магору.

— Позвольте мне, мой дорогой друг, — сказал он учтиво, — уверить вас в моем самом искреннем, самом глубоком сочувствии и не говорить вам о той злобе, которую чувствую по отношению виновника вашего несчастья. Но, несмотря на то что понимаю, в каком вы находитесь состоянии, я должен, я принужден, мой друг, попросить вас немедленно оказать мне услугу. Искусство ваше спасет мою честь. Сегодня приезжает ко мне из Лондона молодой лорд Нортвик, обладатель, как вы знаете, другой картины того же дель Пьомбо.

Магор поклонился.

— Я принесу нужные мне принадлежности, полковник.

Минуты через две он вернулся, все еще в халате, с деревянным ящиком в руках. Немедленно он открыл его, вынул бутылку нашатырного спирта, сверток ваты, тряпочки, скоблилки и сел за работу. Соскабливая и стирая с лака черную фигуру и белое лицо Симпсона, он не думал вовсе о том, что делает, — но о чем думал он, не должно быть любопытно читателю, умеющему уважать чужое горе. Через полчаса портрет Симпсона совершенно сошел, и сыроватые краски, составлявшие его, остались на тряпочках Магора.

— Изумительно, — сказал полковник, — изумительно. Бедный Симпсон исчез бесследно.

Бывает, что какое-нибудь случайное замечание толкает нас на очень важные мысли. Так и теперь Магор, собиравший свои инструменты, вдруг вздрогнул и остановился.

«Странно, — подумал он, — очень странно. Неужели...»

Он посмотрел на тряпки с приставшей к ним краской и вдруг, странно поморщившись, собрал их в кучу и бросил в окно, у которого работал. Потом провел ладонью по лбу, испуганно взглянул на полковника, который, иначе понимая его волнение, старался не глядеть на него, и с необычайной поспешностью вышел из залы, прямо в сад.

Там, под окном, между стеной и рододендронами, садовник, почесывая темя, стоял над человеком в черном, лежавшим ничком на мураве. Магор быстро подошел.

Человек двинул рукой и повернулся. Потом с растерянной усмешкой встал на ноги.

— Симпсон, Господь с вами, что случилось? — спросил Магор, вглядываясь в его бледное лицо.

Симпсон усмехнулся опять:

— Мне ужасно жалко... Так глупо... Я ночью вышел пройтись — и вот заснул, тут на траве. Ах, — ломит... Я видел чудовищный сон... Который час?

Садовник, оставшись один, неодобрительно покачал головой, глядя на примятый газон. Потом наклонился и поднял небольшой темный лимон с отпечатками на нем пяти пальцев. Он сунул лимон в карман и пошел за каменным катком, оставленным на теннисной площадке.

10

Таким образом, сухой сморщенный плод, случайно найденный садовником, является единственной загадкой во всем этом рассказе. Шофер, посланный на станцию, привез обратно черный автомобиль и записку от Франка, вложенную в кожаный карман над сиденьем.

Полковник вслух прочел ее Магору:

«Мой дорогой отец, — писал Франк, — я исполнил два твоих желания. Ты пожелал, чтобы в доме у тебя романтики не было, поэтому я уезжаю, увозя с собой женщину, без которой жить не могу. Ты пожелал также, чтобы я показал тебе образец моего искусства: поэтому я написал для тебя портрет моего бывшего друга, которому ты, кстати, можешь от меня передать, что доносчики мне только смешны. Я писал его ночью, писал с памяти, — и если сходство не совершенно, то виной тому недостаток времени, плохое освещение и понятная моя торопливость. Твой новый автомобиль работает прекрасно. Я оставляю его до востребования в станционном гараже».

— Отлично, — прошипел полковник. — Только мне очень хотелось бы знать, на какие деньги ты будешь существовать.

Магор, бледный, как зародыш в спирту, кашлянул и сказал:

— Причин нет скрывать от вас правду, полковник. Лучиано никогда не писал вашей Венецианки. Это только изумительное подражание.

Полковник медленно встал.

— Это написал ваш сын, — продолжал Магор, и вдруг углы его рта стали дрожать и опускаться. — В Риме. Я ему

достал полотно, краски. Он соблазнил меня своим дарованьем. Половина суммы, вами уплаченной, пошла ему. Ах, Боже мой...

Полковник, играя мускулами скул, посмотрел на грязный платок, которым Магор тер глаза, и понял, что бедняга не шутит.

Тогда он обернулся и посмотрел на Венецианку. На темном фоне светился ее лоб, мягко светились длинные пальцы, рысий мех прелестно спадал с плеча, в уголку губ была тайная усмешка.

— Я горжусь моим сыном, — спокойно сказал полковник.

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

БЛАГОСТЬ

Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, — одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу — что-то крошилось, потрескивало под ногой — и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие, как клочья рваных знамен, вдоль покатого стекла. Впустив утро — прищуренное, жалкое, — я рассмеялся, сам не знаю чему, — быть может, тому, что вот, я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего властелина, — и думал о тебе.

Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил — не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.

Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не видел тебя.

Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина — очертания их менялись благодаря

неверным внутренним переливам стекла, — и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновенье легкую изумленную осеннюю синеву.

Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.

Когда после обеда я вышел на улицу — встретить тебя, — голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.

Я шел и думал о том, что, верно, на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.

Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах — мутная тошнота, что бывает, когда натощак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.

Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.

А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток — открытки, планы, веера цветных снимков, — а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом, — и тоже ждала.

Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится — покупатель или ты. У старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то лоток — очень хорошие, любопытные вещицы. Но я — ничего...»

Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впиваясь яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушая ему: купи, купи... — но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.

Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза, — и нарочно не смотрел, дорожил самообманом.

Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика — желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась книга — путеводитель по Берлину, — и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.

Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.

А старушка уселась снова, и, так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.

Прошло уже с час, — быть может, больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся

иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.

И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движеньем подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину его зеленое плечо.

Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком — если судить по коричневой бахроме пенки, приставшей к краю.

И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца, — и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась, — и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.

Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась к окну — отдать пустую кружку.

Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась она обратно к лотку, выдернула две цветных открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.

Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, — и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня

повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами.

И в этот миг наконец ты пришла, вернее не ты, а чета немцев, — он в непромокаемом плаще, ноги в длинных чулках — зеленые бутылки, — она — худая, высокая, в пантеровом пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка, раскрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена пожала плечом, оттянула его за рукав, — и тогда-то заметил я, что она на тебя похожа, — сходство было не в чертах, не в одежде, — а вот в этой брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они пошли дальше, ничего не купивши, — а старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки, углубилась опять в свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь по вечереющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения, — вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади; ловил я и собирал все это, и крупные, косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить.

Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лязгнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов, — и я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.

В вагоне люди сидели нахохлясь сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких, частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стукались наверху об крышу срываемые ветром каштаны: ток —

и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного счастия повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка, — и снова одиноко падал круглый каштан, — погодя падал и второй, стукаясь и катясь по крыше: ток... ток...

ПОРТ

В низкой парикмахерской пахло прелыми розами. Жарко и тяжело жужжали мухи. Солнце лужами топленого меда горело на полу, щипало блеском флаконы, сквозило сквозь долгую занавеску в дверях: занавеска — глиняные бусы да трубочки из бамбука, вперемежку нанизанные на частые шнуры, — рассыпчато позвякивала и переливалась, когда кто-нибудь, входя, плечом ее откидывал. Перед собой, в тускловатом стекле, Никитин видел свое загорелое лицо, лепные пряди ярких волос, сверканье ножниц, стрекотавших над ухом, — и глаза его были внимательны и строги, как это всегда бывает, когда смотришься в зеркало. Накануне он приехал из Константинополя, где жить стало невтерпеж, в этот древний южнофранцузский порт; утром заходил в русское консульство, в бюро труда, бродил по городу, узкими улочками сползающему к морю, устал, разомлел и теперь зашел постричься, освежить голову. Пол вокруг стула был уже усыпан яркими мышками — обрезками волос. Парикмахер набрал в ладонь жидкого мыла. Вкусный холодок прошел по макушке, пальцы крепко втирали густую пену, — а потом грянул ледяной душ, екнуло сердце, мохнатое полотенце заработало по лицу, по мокрым волосам.

Плечом пробив волнистый дождь занавески, Никитин вышел в покатый переулок. Правая сторона была в тени, по левой в жарком сиянии дрожал вдоль панели узкий ручей, девочка, черноволосая, беззубая, в смуглых веснушках, ловила звонким ведром сверкавшую струю; и ручей, и солнце, и фиолетовая тень, — все текло, скользило вниз, к морю: еще шаг, и там, в глубине, между стен, вырастал его плотный, сапфировый блеск. По теневой стороне шли редкие прохожие. Попался навстречу негр в колониальной

форме, — лицо как мокрая галоша. На тротуаре стоял соломенный стул, с сиденья мягко спрыгнула кошка. Медный провансальский голос затараторил где-то в окне. Стукнул зеленый ставень. На лотке, среди лиловых моллюсков, пахнувших морской травой, шероховатым золотом отливали лимоны.

Сойдя к морю, Никитин с волнением поглядел на его густую синеву, переходившую вдали в ослепительную серебристость, — на световую рябь, нежно игравшую по белому борту яхты, — и потом, пошатываясь от зноя, пошел разыскивать русский ресторанчик, адрес которого он приметил на стене в консульстве.

В ресторанчике, как и в парикмахерской, было жарко, грязновато. В глубине, на широкой стойке, сквозили закуски и фрукты в волнах сизой кисеи, прикрывавшей их. Никитин сел, расправил плечи: рубашка прилипла к спине. За соседним столиком сидели двое русских, видимо матросы с французского судна, а поодаль одинокий старичок в золотых очках, чмокая и посасывая, лакал с ложки борщ. Хозяйка, вытирая полотенцем пухлые руки, материнским взглядом окинула вошедшего. Два лохматых щенка, лопоча лапками, валялись на полу; Никитин свистнул; старая облезлая сука с зеленой слизью в углах ласковых глаз положила морду к нему на колени.

Один из моряков обратился к нему, сдержанно и нетороплиwо:

— Отгоните. Блох напустит.

Никитин потрепал собаку по голове, поднял сияющие глаза.

— Этого, знаете, не боюсь... Константинополь... Бараки... Что вы думаете...

— Недавно прибыли? — спросил моряк. Голос — ровный. Сетка вместо рубашки. Весь прохладный, ловкий. Темные волосы отчетливо сзади подстрижены. Чистый лоб. Общий вид порядочности и спокойствия.

— Вчера вечером, — отвечал Никитин.

От борща, от черного огненного вина он еще больше вспотел. Хотелось смирно сидеть, тихо беседовать. В пройму двери вливалось яркое солнце, трепет и блеск переулочного ручейка, — и поблескивали очки у русского старичка, сидевшего в углу, под газовым счетчиком.

— Работы ищете? — спросил второй матрос, пожилой, голубоглазый, с бледными, моржовыми усами, но тоже весь отчетливый, чистый, отшлифованный солнцем и соленым ветром.

Никитин улыбнулся:

— Еще бы... Вот был сегодня в бюро труда... Предлагают сажать телеграфные столбы, вить канаты, да вот не знаю...

— А вы к нам, — проговорил черноволосый, — кочегаром, что ли. Это, скажу вам, дело... А, Ляля... Наше вам с кисточкой!..

Вошла барышня, в белой шляпе, с некрасивым нежным лицом, прошла между столиков, улыбнулась сперва собачкам, потом морякам. Никитин спросил что-то и забыл свой вопрос, глядя на девушку, на движенье ее низких бедер, по которым всегда можно узнать русскую барышню. Хозяйка нежно взглянула на дочь, устала, мол, просидела все утро в конторе, а не то в магазине служит. Было в ней что-то трогательное, уездное, хотелось думать о фиалочном мыле, о дачном полустанке в березовом лесу. Конечно, за дверью никакой Франции нет. Кисейные движения. Солнечная чепуха.

— Нет, это вовсе не сложно, — говорил моряк, — бывает так: железная бадья, угольная яма. Подгребаете, значит. Сперва легко, — пока уголь скатом: сам в бадью сыплется; потом тяжелее. Наполните бадью, ставите ее на тележку. Подкатываете к старшему кочегару. Тот ударом лопаты — раз! — отпахивает печь, — два! — той же лопатой бросает, знаете, широко, веером, чтобы ровно лег. Работа тонкая. Изволь следить за стрелкой, а если понизится давление...

В окне с улицы появились голова и плечи человека в панаме и белом пиджаке.

— Как изволите поживать, Ляля?

Облокотился о подоконник.

— Да-да, конечно, жарко, так и пышет. Работать нужно в одних штанах да в сетке. Сетка потом черная. А вот я говорил, — о давлении-то. В печи, значит, образуется накипь, каменная кора, разбиваешь эдакой длинной кочергой. Трудно. Зато как потом выскочишь на палубу — солнце хоть и тропическое, а кажется свежим, — да встанешь под душ, да шмыг к себе в кубрик, в гамак, — благодать, доложу я вам...

Тем временем у окна:

— А он, понимаете, утверждает, что видел меня в автомобиле!

Голос у Ляли был высокий, взволнованный. Ее собеседник, белый господин, стоял, облокотясь с внешней стороны подоконника, и в квадрате окна были видны его круглые плечи, бритое мягкое лицо, наполовину освещенное солнцем: русский, которому повезло.

— Вы еще, говорит, были в сиреневом платье, а у меня и нет такого, — взвизгнула Ляля, — а он настаивает: «же ву засюр»[1].

— Нельзя ли по-русски, — обернулся моряк, говоривший с Никитиным.

Человек в окне сказал:

— А я, Ляля, достал эти ноты. Помните?

Так и пахнуло — почти нарочито, словно кто-то забавлялся тем, что выдумывает эту барышню, этот разговор, этот русский ресторанчик в чужеземном порту, — пахнуло нежностью русских захолустных будней, и сразу, по чудному и тайному сочетанию мысли, мир показался еще шире, захотелось плыть по морям, входить в баснословные заливы, везде подслушивать чужие души.

— Вы спрашиваете, какой рейс? Индокитай, — так просто сказал моряк.

Никитин задумчиво застукал папиросой о портсигар; на деревянной крышке выжжен золотой орел.

— Хорошо, должно быть.

— А что? Конечно, хорошо.

— Ну, расскажите что-нибудь. Ну, про Шанхай, про Коломбо.

— Шанхай? Видел. Теплый дождик, красный песочек. Сыро, как в оранжерее. А на Цейлон, например, не попал; вахта, знаете... Моя была очередь...

Человек в белом пиджаке, согнув плечи, через окно говорил Ляле что-то, тихо и значительно. Она слушала, набок склонив голову, одной рукой потрагивая завернувшееся ухо собаки. Собака, выпустив огненно-розовый язык, радостно и быстро дыша, глядела в солнечный просвет двери, верно, раздумывая, стоит ли еще полежать на горячем пороге. И казалось, что собака думает по-русски.

Никитин спросил:

[1] «Я вас уверяю» *(искаж. фр.)*.

— Куда же мне обратиться?

Моряк подмигнул приятелю: уломал, дескать. Затем сказал:

— Очень просто. Завтра пораньше пойдете в старый порт, у второго мола найдете наш «Жан-Бар». Вот и поговорите с помощником капитана. Думаю, что наймет.

Никитин внимательно и ясно посмотрел на чистый, умный лоб моряка.

— Чем вы были раньше, в России?

Тот пожал плечами, усмехнулся.

— Чем? Дураком, — басом ответил за него вислоусый.

Погодя оба встали. Молодой вынул бумажник, заткнутый в штаны спереди под пряжку пояса, на манер французских матросов. Чему-то высоко засмеялась Ляля, подошедшая к ним, подала руку: ладонь, верно, чуть сырая. Копошились щенки на полу. Человек, стоявший за окном, отвернулся, рассеянно и нежно посвистывая. И Никитин, рассчитавшись, неспешно вышел на солнце.

Было часов пять пополудни. На синеву моря в пролетах переулков больно было смотреть. Пылали круговые щиты уличных уборных.

Он вернулся в свою убогую гостиницу — и, медленно заломив руки, в блаженном солнечном опьянении свалился навзничь на постель. Ему приснилось, что он снова офицер, идет по крымскому косогору, поросшему молочаем и дубовым кустарником, — и на ходу стэком скашивает пушистые головки чертополоха. Он проснулся оттого, что во сне засмеялся; проснулся, а в окне уже синели сумерки.

Подумал, высунувшись в прохладную бездну: бродят женщины. Среди них есть русские. Какая большая звезда.

Пригладил волосы, потер концом одеяла пыльные шишковатые носки сапог, заглянул в кошелек — пять франков всего — и опять вышел блуждать, наслаждаться своей одинокой праздностью.

Теперь на улице было люднее, чем днем. Вдоль переулков, спускавшихся к морю, сидели, прохлаждались. Девушка в платке с блестками... Вскинула ресницы... Пузатый лавочник в расстегнутом жилете курил, сидя верхом на соломенном стуле, локтями опираясь на спинку, — и спереди на животе торчал хлястик рубашки. Дети, попрыгивая на корточках, пускали при свете фонаря бумажные лодочки по черной струе, бегущей вдоль узкой панели. Пахло рыбой и вином. Из матросских кабаков, горевших желтым

блеском, неслись трудные звуки шарманки, стук ладоней об стол, металлический возглас. А в верхней части города, по главному бульвару, под облаками акаций, шаркали и посмеивались вечерние толпы, мелькали тонкие лодыжки женщин, белые башмаки морских офицеров. Тут и там, словно цветистый огонь застывшего фейерверка, пылало в лиловом сумраке кафе: круглые столики прямо на тротуаре, тени черных платанов на освещенном изнутри полосатом навесе. Никитин остановился, представив себе мысленно кружку пива, ледяную, тяжелую. В глубине за столиками, как руки, заламывались звуки скрипки, и густым звоном переливалась арфа. Чем банальней музыка, тем ближе она к сердцу.

У крайнего столика сидела женщина, вся в зеленом, усталая, гулящая, покачивала острым носком башмака.

«Выпью, — решил Никитин, — нет, не выпью... А впрочем...»

У женщины были глаза как у куклы. Что-то было очень знакомое в этих глазах, в длинной линии ноги. Подхватив сумку, она встала, словно торопилась куда-то. На ней была длинная кофточка изумрудной шелковой вязки, низко обхватывавшая бедра. Прошла, щурясь от музыки.

«Вот было бы странно, — подумал Никитин. В памяти у него пронеслось что-то, как сорвавшаяся звезда, — и, забыв о пиве, он завернул следом за ней в черный, блестящий переулок. Фонарь вытянул ее тень. Тень мелькнула по стене, перегнулась. Она шла тихо, и Никитин сдерживал шаг, почему-то боясь ее догнать. — Но ведь это несомненно так... Боже мой, как хорошо...»

Женщина остановилась на краю панели. Над черной дверью горела малиновая лампочка. Никитин прошел вперед, вернулся, обошел женщину кругом, стал. Она с воркующим смешком кинула ласковое французское словцо.

При смутном свете Никитин видел ее миловидное, усталое лицо, влажный блеск мелких зубов.

— Послушайте, — сказал он по-русски просто и тихо. — Ведь мы давно знакомы, давайте уж говорить на родном языке.

Она подняла брови:

— Инглиш? Ю спик инглиш?[1]

[1] По-английски? Вы говорите по-английски? *(искаж. англ.)*

Никитин пристально глянул, повторил несколько беспомощно:

— Оставьте. Ведь я знаю.

— T'es polonais, alors?[1] — спросила женщина, по-южному раскатывая последний рокочущий слог.

Никитин сдался, усмехнулся, сунул ей в руку пятифранковую бумажку и, быстро повернувшись, стал переходить покатую площадь. Через мгновенье он услышал за собой поспешный шаг, дыханье, шорох платья. Обернулся. Никого. Пустая, темная площадь. Ночной ветер гнал по плитам газетный лист.

Он вздохнул, усмехнулся опять, глубоко засунул кулаки в карманы штанов — и, глядя на звезды, которые вспыхивали и бледнели, словно их раздували гигантскими мехами, стал спускаться к морю.

Там, над лунным плавным колыханьем волн, на каменной грани старинной пристани, он сел, свесил ноги и так сидел долго, откинув лицо и опираясь на ладони назад отогнутых рук.

Прокатилась падучая звезда с нежданностью сердечного перебоя. Сильный и чистый порыв ветра прошел по его волосам, побледневшим в ночном сиянии.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ЭЛЬФ

1

А на самом деле имя его было Фредерик Добсон. Приятелю своему, фокуснику, он рассказывал о себе так:

«Кто в Бристоле не знал детского портного Добсона? Я — сын его. Горжусь этим только из упрямства. Надо вам сказать, что отец мой пил, как старый кит. Однажды, незадолго до моего рождения, он, пожираемый джином, сунул матери моей в постель эдакую, знаете, восковую фигуру — матроска, лицо херувима и первые длинные штаны. Бедняжка чудом не выкинула... Вы сами понимаете, что все это я знаю понаслышке, но, если мне не наврали добрые люди, вот, кажется, тайная причина того, что...»

[1] Так, значит, ты поляк? *(фр.)*

И Фред Добсон печально и добродушно разводил ладошками. Фокусник со своей обычной мечтательной улыбкой наклонялся, брал Фреда на руки и, вздохнув, ставил его на верхушку шкафа, где Картофельный Эльф, покорно свернувшись в клубок, начинал тихо почихивать и скулить.

Было ему двадцать лет от роду, весил он около десяти килограммов, а рост его превышал лишь на несколько сантиметров рост знаменитого швейцарского карлика Циммермана, по прозванию Принц Бальтазар. Как и коллега Циммерман, Фред был отлично сложен, и — если бы не морщинки на круглом лбу и вокруг прищуренных глаз, да еще этот общий немного жуткий вид напряженности, словно он крепился, чтобы не расти, — карлик бы совсем походил на тихого восьмилетнего мальчика. Волосы его цвета влажной соломы были прилизаны и разделены ровной нитью пробора, который шел как раз посредине головы, чтобы вступить в хитрый договор с макушкой. Ходил Фред легко, держался свободно и недурно танцевал, но первый же антрепренер, занявшийся им, счел нужным отяжелить смешным эпитетом понятие «эльфа», когда взглянул на толстый нос, завещанный карлику его полнокровным озорным отцом.

Картофельный Эльф одним своим видом возбудил ураган рукоплесканий и смеха по всей Англии, а затем и в главных городах на материке. В отличие от других карликов, он был нраву кроткого, дружелюбного: очень привязался к той крохотной пони — Снежинке, на которой прилежно трусил по арене голландского цирка, а в Вене покорил сердце глупого и унылого великана, родом из Омска, тем, что при первой встрече потянулся к нему и по-детски попросил: «Я хочу на ручки».

Выступал он обыкновенно не один. Так, в Вене карлик появлялся вместе с великаном, семенил вокруг него, тщательно одетый, в полосатых штанах, в ловком пиджачке, с большим свитком нот под мышкой. Он подавал великану гитару. Тот стоял как громадная кукла, механическим движением брал инструмент. Длинный сюртук, словно вырезанный из черного дерева, высокие каблуки, цилиндр, схваченный прямыми отблесками, — еще увеличивали рост стройного девятипудового сибиряка. Выпятив могучую челюсть, он бил пальцем по струнам. В антрактах, как

женщина, жаловался на головокружения. Фред очень его полюбил и даже всплакнул при расставании, так как быстро привыкал к людям. Жизнь его шла по кругу, мерно и однообразно, как цирковая лошадь. Однажды в потемках кулис он споткнулся о ведро с малярной краской и мягко в него плюхнулся. Он потом долго это вспоминал как нечто необыкновенное.

Так объехал карлик бо́льшую часть Европы и откладывал деньги, пел серебряным евнушьим дискантом, и в немецких театрах публика ела бутерброды и орехи на соломинках, а в испанских — засахаренные фиалки и тоже орехи на соломинках. Мира он не видел. В памяти у него осталось только: все та же безликая бездна, смеющаяся над ним, а затем — после спектакля — тихий, мечтательный раскат прохладной ночи, которая кажется такой синей, когда выходишь из театра.

Вернувшись в Лондон, он нашел нового партнера — фокусника по имени Шок. У Шока был певучий голос, тонкие, бледные, как бы бесплотные руки и каштановый клин волос, спадающий на бровь. Он напоминал скорее поэта, нежели фокусника, и фокусы свои показывал с какой-то нежной и плавной печалью, без суетливой болтовни, свойственной его профессии. Картофельный Эльф ему смешно прислуживал, а под конец — с радостным воркующим возгласом появлялся в райке, хотя за минуту до того все видели, как фокусник его запирал в черный ящик, стоявший посреди сцены.

Все это происходило в одном из тех лондонских театров, где появляются и акробаты, реющие в звенящем трепете трапеций, и иностранный тенор (неудачник на родине) с народными песнями, и чревовещатель в морской форме, и велосипедисты, и неизменный, мягко шаркающий по сцене клоун-эксцентрик в крошечном котелке и в жилете до полу.

2

За последнее время Фред как-то помрачнел и все чихал, беззвучно и грустно, как японская собачонка. По целым месяцам не испытывая влечения к женщине, девственный карлик переживал изредка пронзительные приступы одинокой любовной тоски, которые проходили так же внезапно, как и вспыхивали, и снова на время он не замечал

ни голых плеч, белеющих за бархатным барьером, ни маленьких акробаток, ни танцовщицы испанской, чьи ляжки обнажались на миг, когда при быстром кружении всхлестывал оранжевый пух ее кудрявых исподних воланов.

— Карлицу бы тебе, — задумчиво сказал Шок, привычным мазком вынув серебряную монету из уха карлика, который отмахнулся согнутой ручкой, словно сгонял муху.

И в эту ночь, когда, после своего номера, Фред в пальтишке и котелке, почихивая и урча, семенил за кулисами по тусклому коридору, — на вершок открывшаяся дверь внезапно брызнула веселым светом, и два голоса позвали его. Это были Зита и Арабелла, сестры-акробатки, обе полураздетые, смуглые, черноволосые, с длинными синими глазами. В комнате был беспорядок, театральная и трепетная пестрота, запах духов. На подзеркальнике валялись пуховки, гребни, граненый флакон с резиновой грушей, шпильки в коробке из-под шоколада, пурпурно-сальные палочки грима.

Сестры мгновенно оглушили карлика своим лепетом. Они щекотали и тискали Фреда, который, весь надувшись темной кровью, смотрел исподлобья и, как шар, перекатывался между быстрых обнаженных рук, дразнивших его. И когда Арабелла, играя, притянула его к себе и упала на кушетку, Фред почувствовал, что сходит с ума, и стал барахтаться и сопеть, вцепившись ей в шею. Откидывая его, она подняла голую руку, он рванулся, скользнул, присосался губами к бритой мышке, к горячей, чуть колючей впадине. Другая, Зита, помирая со смеху, старалась оттащить его за ногу; в ту же минуту со стуком отпахнулась дверь, и, в белом как мрамор трико, вошел француз, партнер акробаток. Молча и без злобы он цопнул карлика за шиворот — только щелкнуло крахмальное крылышко, соскочившее с запонки, — поднял на воздух и, как обезьянку, выбросил его из комнаты. Захлопнулась дверь. Фокусник, бродивший по коридору, успел заметить белый блеск сильной руки и черную фигурку, поджавшую лапки на лету.

Фред больно стукнулся и теперь лежал неподвижно. Сознания он не потерял, только весь как-то обмяк, смотрел в одну точку, мелко стучал зубами.

— Плохо, брат, — вздохнул фокусник, подняв его с полу и прозрачными пальцами потрагивая круглый лоб

карлика. — Говорил тебе — не суйся. Вот и попало. Карлицу бы тебе...

Фред молчал, выпучив глаза.

— Переночуешь у меня, — решил Шок и, неся Картофельного Эльфа на руках, направился к выходу.

3

Существовала и госпожа Шок.

Это была дама неопределенных лет, темноглазая, с желтоватыми белками. Ее худоба, пергаментный оттенок кожи, черные сухие волосы, привычка выдувать через ноздри папиросный дым, обдуманная неряшливость платья и прически, — все это мужчин не привлекало, но, вероятно, нравилось фокуснику, хотя на самом деле он жены будто и не замечал, всегда занятый своими сокровенными вымыслами, зыбкий, ненастоящий, думавший о чем-то своем, когда говорил о пустяках, внимательный и зоркий, когда казался погруженным в астрологические мечты. Нора всегда была настороже, ибо он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого. Так, случалось, что за обедом он изумлял ее необычной прожорливостью, сочно чавкал, обсасывал кости, снова и снова накладывал себе полную тарелку, потом уходил, грустно взглянув на жену, — а погодя горничная, хихикая в передник, докладывала, что господин Шок и не притрагивался к обеду, что весь его обед остался в трех новых кастрюлях под столом.

Она была дочь почтенного художника, писавшего только лошадей, пятнистых псов да охотников в красных фраках, и до свадьбы жила в Чельси, восхищалась дымными закатами над Темзой, рисовала, посещала нелепые собрания, на которых бывала лондонская богема, — и там-то ее отметили призрачные глаза тихого, тонкого человека, который говорил мало и еще никому не был известен. Подозревали, что он лирический поэт. Она стремительно им увлеклась. Поэт рассеянно обручился с нею, а в первый же день после свадьбы объявил с печальной улыбкой, что стихов он писать не умеет, и тут же, во время разговора, превратил старый будильник в никелевый хронометр, а хронометр в крошечные золотые часики, которые Нора и носила с тех пор на кисти. Она понимала, что фокусник Шок все-таки

поэт в своем роде, но только никогда не могла привыкнуть к тому, что он ежеминутно, при всех обстоятельствах жизни, проявляет свое искусство. Мудрено быть счастливой, когда муж — мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств.

4

Она рассеянно стучала ногтем по стеклу банки, в которой несколько золотых рыбок, будто вырезанных из апельсинной корки, дышали и вспыхивали плавниками, когда дверь бесшумно открылась и на пороге появился Шок — цилиндр набекрень, каштановая прядь над бровью, — и держал он на руках скрюченную фигурку.

— Принес, — со вздохом сказал фокусник.

Нора быстро подумала: ребенок... найденный... подобрал... Ее темные глаза повлажнели.

— Усыновить придется, — тихо проговорил Шок, выжидательно застывший в дверях.

Фигурка вдруг ожила, забормотала, стала стыдливо царапать по крахмальной груди фокусника. Нора взглянула на маленькие ботинки в замшевых гетрах, на котелок...

— Меня не так-то легко провести, — сказала она, усмехнувшись в нос.

Фокусник укоризненно взглянул на нее; затем опустил Фреда на плюшевый диван, накрыл его пледом.

— Акробат потрепал, — пояснил Шок и не мог не добавить: — Гирей хватил. По самому животишке.

И Нора, сердобольная, как многие бездетные женщины, почувствовала такую особенную жалость, что чуть не расплакалась. Она принялась нянчиться с карликом, накормила, дала портвейну, душистым спиртом натерла ему лоб, виски, детские впадины за ушами.

На следующий день Фред проснулся спозаранку, побродил по незнакомой комнате, поговорил с золотыми рыбками и потом, тихо чихнув, примостился, как мальчик, на широком подоконнике.

Тающий, прелестный туман омывал серые крыши. Где-то вдали открылось чердачное окно, и стекло поймало блеск солнца. Свежо и нежно пропел автомобильный рожок.

Фред думал о вчерашнем. Странно спутывались смеющиеся голоса акробаток и прикосновения душистых холод-

ных рук госпожи Шок. Его сначала обидели, потом приласкали, а был он очень привязчивый, очень пылкий карлик. Помечтал он о том, что когда-нибудь спасет Нору от сильного грубого человека, вроде того француза в белом трико. Некстати вспомнилась ему пятнадцатилетняя карлица, с которой он где-то выступал вместе. Карлица была востроносая, больная, злющая. Публике ее представили как невесту Фреда, и он, вздрагивая от отвращения, должен был танцевать с нею тесный танго.

Опять одиноко пропел и пронесся рожок. Туман над нежной лондонской пустыней наливался солнцем.

К восьми часам квартира ожила: фокусник, рассеянно улыбаясь, ушел из дома, а куда — неизвестно; вкусно пахло в столовой жареным салом, лежавшим прозрачными ломтиками под горячими пузырями яичницы. Небрежно причесанная, в халате, расшитом парчовыми подсолнухами, появилась госпожа Шок.

После завтрака она угостила Фреда пахучей папиросой, кончик которой был обтянут алым лепестком, и, прикрыв глаза, заставила его рассказывать, как ему живется. В таких случаях голосок Фреда становился чуть басистее, говорил он медленно, подбирая тщательно слова, и эта неожиданная степенность слога — странно сказать — шла к нему. Наклонив голову, сосредоточенный и упругий, он бочком сидел у ног Норы, которая полулежала на плюшевом диване, обнажив острые локти заломленных рук. Карлик, досказав свое, умолк, но все еще поворачивал туда-сюда ладошку, словно продолжал тихо говорить. Его черный пиджачок, наклоненное лицо, мясистый носик, желтые волосы и пробор на макушке неясно умиляли Нору. Глядя на него сквозь ресницы, она старалась представить себе, что это сидит не карлик, а ее несуществующий сын, и рассказывает, как его обижают в школе. Протянув руку, Нора легко погладила его по голове, и в то же мгновение, по непонятному сочетанию мыслей, ей померещилось другое, мстительное и любопытное.

Почувствовав у себя на волосах ее шевелившиеся пальцы, карлик застыл и вдруг начал молча и быстро облизываться. Скосив глаза в сторону, он не мог оторвать взгляд от изумрудного помпона на туфле госпожи Шок.

И внезапно каким-то нелепым и упоительным образом все пришло в движение.

5

В этот сизый, солнечный августовский день Лондон был особенно прекрасен. Легкое, праздничное небо отражалось в гладких потоках асфальта, румяным лаком пылали почтовые тумбы на углах, в гобеленовой зелени парка прокатывал блеск и шелест автомобилей, — весь город искрился, дышал млеющей теплотой, и только внизу, на платформах подземных дорог, было прохладно.

Каждый отдельный день в году подарен одному только человеку, самому счастливому; все остальные люди пользуются его днем, наслаждаясь солнцем или сердясь на дождь, но никогда не зная, кому день принадлежит по праву, и это их незнание приятно и смешно счастливцу. Человек не может провидеть, какой именно день достанется ему, какую мелочь будет вспоминать он вечно — световую ли рябь на стене вдоль воды или кружащийся кленовый лист, да и часто бывает так, что узнает он день свой только среди дней прошедших, только тогда, когда давно уже сорван, и скомкан, и брошен под стол календарный листок с забытой цифрой.

Фреду Добсону, карлику в мышиных гетрах, Господь Бог подарил тот веселый августовский день, который начался нежным гудком и поворотом вспыхнувшей рамы. Дети, возвратившись с прогулки, рассказывали родителям, захлебываясь и изумляясь, что видели карлика в котелке, в полосатых штанах, с тросточкой и парой желтых перчаток в руках.

Страстно простившись с Норой, ожидавшей гостей, Картофельный Эльф вышел на широкую, гладкую улицу, облитую солнцем, и сразу понял, что весь город создан для него одного. Веселый шофер звонким ударом согнул железный флажок таксометра, мимо полилась улица, и Фред то и дело соскальзывал с кожаного сиденья и все смеялся, ворковал сам с собою.

Он вылез у входа в Хайд-Парк и, не замечая любопытных взглядов, засеменил вдоль зеленых складных стульев, вдоль бассейна, вдоль огромных кустов рододендрона, темневших в тени ильмов и лип, над муравой, яркой и ровной, как бильярдное сукно. Мимо проносились всадники, легко подскакивая, скрипя желтой кожей краг, взмахивали тонкие конские морды, звякая удилами, — и черные дорогие

машины, ослепительно вспыхивая спицами, сдержанно катились по крупному кружеву лиловых теней.

Карлик шел, вдыхая теплый запах бензина, запах листвы, как бы уже гниющей от избытка зеленого сока, и вертел тросточкой, надувал губы, словно собираясь свистеть, — такое было в нем чувство свободы и легкости. Нора проводила его с такой торопливой нежностью, так взволнованно смеялась, — видно, ей страшно было, что старик отец, который всегда являлся ко второму завтраку, начнет что-нибудь подозревать, заставши у нее незнакомого господина.

В этот день его видели повсюду — и в парке, где румяная няня в крахмальной наколке, толкавшая детскую коляску, почему-то предложила его прокатить, и в залах Британского музея, и на живой лестнице, медленно выползающей из подземных глубин, полных электрических дуновений, нарядных реклам, гула, и в изысканном магазине, где продаются только мужские платки, и на хребте автобуса, куда подсадили его чьи-то добрые руки.

А потом он устал, ошалел от движения и блеска, стало тревожно от смеющихся глаз. И надо было осмыслить то широкое чувство свободы, гордости, счастья, которое не покидало его.

Когда, проголодавшись, Фред зашел в знакомый ресторанчик, где собирались всякого рода артисты и где его присутствие никого не удивляло, он понял, взглянув на посетителей, на старого, скучного клоуна, уже пьяного, на своего врага француза, дружелюбно ему кивнувшего, понял совершенно отчетливо, что на подмостки он не выйдет больше никогда.

В ресторане было еще по-дневному темновато. Скучный клоун, смахивающий на прогоревшего банкира, и акробат, странно неуклюжий в пиджаке, молча играли в домино. Испанская танцовщица в громадной шляпе, бросавшей синюю тень на глаза, сидела одна за угловым столиком, перекинув ногу на ногу. Было еще семь-восемь человек, незнакомых Фреду; он разглядывал их лица, поблекшие от грима, пока лакей подкладывал ему подушку, вскидывал скатертью, проворно расставлял прибор.

И внезапно поодаль, в сумраке ресторана, Фред узнал тонкий профиль фокусника, который тихо беседовал с пожилым, тучным господином американского пошиба. Фред

не ожидал встретить фокусника, никогда не посещавшего кабаки, да и вообще позабыл об его существовании. Теперь ему стало так жаль бедного Шока, что он сперва решил все скрыть от него; но подумал, что все равно Нора обманывать не умеет и, вероятно, сегодня же объявит мужу (я полюбила Фреда Добсона, я покидаю тебя...), — а ведь это разговор неприятный, трудный, и потому надо ей облегчить дело, — он рыцарь ее, он гордится ее любовью, — и как бы он Шока ни жалел, а огорчить его придется.

Между тем лакей принес порцию пирога с почками и каменную бутылку имбирного пива. Затем включил свет. Там и сям над пыльным бархатом вспыхнули стеклянные цветы, и карлик видел издали, как золотистым блеском засквозила каштановая прядь на лбу у фокусника, как из света в тень переходили его нежные прозрачные пальцы. Его собеседник встал, оправляя под пиджаком кожаный поясок и льстиво улыбаясь Шоку, который проводил его до вешалки. Толстяк нахлобучил широкополую шляпу, пожал легкую руку фокусника и, все еще подтягивая штаны, вышел из ресторана. На миг засветлела полоска остывающего дня, и лампочки в ресторане стали желтее. Бухнула дверь.

— Шок! — позвал Картофельный Эльф, суча ножками под столом.

Шок подошел. На ходу задумчиво вынул из бокового кармана горящую сигару, затянулся, выпустил клуб дыма и сунул ее обратно за пазуху. Как он это делал — неизвестно.

— Шок, — сказал карлик, у которого от имбирного пива покраснел нос, — мне нужно с вами поговорить. Это очень важно.

Фокусник сел рядом, облокотился.

— Голова не болит? — спросил он равнодушно.

Фред вытер губы салфеткой; никак не знал, как начать, чтобы не сделать слишком больно другу.

— А нынче вечером я выступаю вместе с тобой в последний раз, — сказал фокусник. — Американец увозит. Выходит, кажется, недурно.

— Послушайте, Шок. — И карлик, кроша хлеб, стал с трудом подбирать нужные слова. — Вот... Будьте храбрым, Шок. Я люблю вашу жену. Сегодня, когда вы ушли, я с нею... мы с нею... она...

— Только я плохо переношу качку, — задумчиво проговорил фокусник, — а до Бостона неделя... Я плыл в Индию

когда-то. Потом чувствовал себя, как вот нога, когда ее отсидишь.

Фред, багровея, тер о скатерть кулачком. Фокусник тихо засмеялся своим мыслям, затем спросил:

— А ты что-то хотел сказать мне, дружок?

Карлик глянул в его призрачные глаза, смущенно замотал головой:

— Нет, нет... Ничего... С вами невозможно говорить.

Шок протянул руку, хотел, видно, выщелкнуть монету из уха карлика, — но, в первый раз за многие годы мастерских чародейств, монета некстати выпала, слишком слабо захваченная мускулами ладони. Фокусник подхватил ее, встал.

— А я здесь обедать не буду, — сказал он, с любопытством разглядывая макушку карлика, — мне тут не нравится.

Фред, надутый и молчаливый, ел печеное яблоко. Фокусник незаметно ушел. В ресторане было пустынно. Томную испанскую плясунью в большой шляпе увел неловкий, прекрасно одетый молодой человек с голубыми глазами.

«Не хочет слушать, так и не надо», — подумал Фред, облегченно вздохнув и решив про себя, что в конце-то концов Нора объяснит лучше. Потом он попросил бумаги и стал писать ей письмо. Кончалось оно так: «Теперь Вы понимаете, что продолжать прежнюю жизнь я не могу. Каково было бы вам знать, что каждый вечер людское стадо хохочет над Вашим избранником? Завтра же я уезжаю, порвав ангажемент. Напишу Вам снова, как только найду тот мирный уголок, где, после Вашего развода, мы будем любить друг друга, моя Нора».

Так завершился быстрый день, подаренный карлику в мышиных гетрах.

6

Лондон осторожно вечерел. Уличные звуки сливались в тихий музыкальный гул, словно кто-то, перестав играть, все еще нажимал педаль. Черные листья парковых лип выделялись на прозрачном небе, как узоры из пиковых тузов. Иногда, на повороте улицы или между двух траурных башен, появлялся, как видение, пожар заката. Шелестели в окнах шторы, спадали мягкими хлопьями.

Фокусник всегда заезжал домой пообедать и переодеться в профессиональный фрак, чтобы потом сразу отправиться в театр. Нора в этот вечер ждала его с особенным

нетерпением, трепеща от дурной радости. Радовалась она тому, что теперь и она имеет свою тайну. Самого карлика не хотелось вспоминать. Карлик был неприятный червячок.

Тонко щелкнул замок входной двери. Как это часто бывает, когда знаешь, что обманул человека, лицо фокусника показалось ей новым, почти чужим. Кивнув ей, он как-то стыдливо и грустно опустил ресницы; молча сел за стол против нее. Нора взглянула на его легкий серый пиджак, в котором он казался еще тоньше, еще неуловимее, и глаза ее заиграли теплым торжеством, злой живчик задрожал в уголку рта.

Она спросила, наслаждаясь небрежностью вопроса:

— Как поживает твой карлик? Я думала, ты приведешь его.

— Не видал сегодня, — ответил Шок, принимаясь есть. Вдруг он спохватился: вынул пузырек и, осторожно скрипнув пробкой, наклонил его над рюмкой с вином.

Нора с раздражением подумала, что сейчас будет фокус, вино станет ярко-синим или прозрачным, как вода, но цвет вина не изменился. Шок, уловив ее взгляд, туманно улыбнулся.

— Для пищеварения... Капли такие, — объяснил он. Волна задумчивости прошла по его лицу.

— Лжешь, как всегда, — сказала Нора. — У тебя отличный желудок.

Фокусник тихо засмеялся. Потом деловито кашлянул и одним залпом осушил рюмку.

— Да ешь же, — сказала Нора. — Остынет.

Злорадно подумала: «Ах, если б ты знал! Никогда не узнаешь. В этом теперь моя сила».

Фокусник ел молча. Вдруг он поморщился, отодвинул тарелку и заговорил. Как обычно, глядел он не прямо на жену, а чуть повыше ее, и голос был певуч и мягок. Он рассказывал, как сегодня побывал у короля в Виндзоре, куда пригласили его развлекать маленьких герцогов в бархатных куртках и кружевных воротниках. Рассказывал он живописно и легко, передразнивая виденных лиц, посмеивался, чуть вбок наклоняя голову.

— Я выпустил стаю белых голубей из цилиндра, — рассказывал он.

«А у карлика были потные ручки, и ты все врешь», — мысленно вставила Нора.

— ...И, знаешь, эти самые голуби стали летать вокруг королевы. Она от них отмахивалась и улыбалась из вежливости.

Фокусник встал, пошатнулся, легко оперся двумя пальцами об край стола и проговорил, словно доканчивая свой рассказ:

— Мне нехорошо, Нора. Я выпил яду. Ты не должна была мне изменять.

Его горло надулось, и, прижав платок к губам, он вышел из комнаты.

Нора стремительно поднялась, смахнув янтарями длинного ожерелья серебряный нож с тарелки.

«Все нарочно, — злобно подумала она. — Хочет напугать, помучить меня. Нет, брат, ни к чему. Увидишь!»

Ей было досадно, что Шок так просто разгадал ее тайну, но по крайней мере у нее теперь будет повод все ему высказать, крикнуть, что ненавидит его, презирает неистово, что он не человек, а резиновый призрак, что жить с ним дольше она не в силах, что...

Фокусник сидел на постели, сгорбившись и мучительно стиснув зубы, но попытался улыбнуться, когда в спальню ворвалась Нора.

— Так и поверю, так и поверю, — захлебывалась она. — Нет уж, кончено! И я умею обманывать. Ты гадок мне, ах, ты смешон мне своими неудачными фокусами!

Шок, продолжая растерянно улыбаться, старался встать с постели, шаркал подошвой по ковру. Нора замолкла, придумывая, что бы еще крикнуть оскорбительного.

— Не надо... Если что... прости меня... — с трудом выдохнул Шок.

Жила вздулась у него на лбу. Он еще больше скорчился, заклокотал, потряхивая потной прядью волос, — и платок, который он судорожно придавил ко рту, набух бурой кровью.

— Перестань дурака валять, — топнула ногой Нора.

Он выпрямился, бледный как воск, отшвырнул платок в угол:

— Постой, Нора... Ты не понимаешь... Это — мой последний фокус... Больше не буду...

Снова исказилось его страшное, лоснящееся лицо. Он закачался, опустился на постель, откинул голову.

Нора подошла, поглядела, сдвинув брови. Шок лежал, закрыв глаза, скрипя стиснутыми зубами. Когда она

наклонилась над ним, его ресницы вздрогнули, он посмотрел туманно, как бы не узнавая жены, и вдруг узнал, и в его глазах мелькнул влажный луч нежности и страданья.

И мгновенно Нора поняла, что она любит его больше всего на свете, и ужас и жалость вихрем обдали ее. Она закружилась по комнате, для чего-то налила воды в стакан, оставила его на рукомойнике, опять подлетела к мужу, который привстал и, прижав край простыни к губам, вздрагивал, ухал, выпучив бессмысленные, уже отуманенные смертью глаза. Тогда она всплеснула руками, метнулась в соседнюю комнату, где был телефон, долго шатала вилку, спутала номер, позвонила сызнова, со стоном дыша и стуча кулаком по столику, и, когда наконец донесся голос доктора, крикнула, что муж отравился, умирает, бурно зарыдала в трубку и, криво повесив ее, кинулась обратно в спальню.

Фокусник, светлый и гладкий, в белом жилете, в черных чеканных штанах, стоял перед трюмо и, расставив локти, осторожно завязывал галстук. Увидя в зеркало Нору, он, не оборачиваясь, рассеянно улыбнулся ей и, тихо посвистывая, продолжал теребить прозрачными пальцами черные шелковые углы.

7

Городок Драузи, в Северной Англии, был такой сонный на вид, что казалось, будто кто-то позабыл его среди туманных, плавных полей, где городок и заснул навеки. Был почтамт, велосипедный магазин, две-три табачных лавки с красно-синими вывесками, старинная серая церковь, окруженная могильными плитами, на которых потягивалась тень громадного каштана, — и вдоль единственной улицы шли зеленые ограды, садики, низкие кирпичные дома, косо обтянутые плющом. Один из этих домишек был сдан некоему Ф. Добсону, которого никто в лицо не знал, кроме доктора, а доктор болтать не любил. Господин Добсон, по-видимому, никогда не выходил из дому, и его экономка, строгая, толстая женщина, служившая раньше в приюте для душевнобольных, отвечала на случайные вопросы соседей, что господин Добсон — старик-паралитик, обреченный жить в полусумраке и тишине. Его и позабыли в тот же год, как прибыл он в Драузитон: стал он чем-то незаметным, но всеми принятым на веру, как тот безымянный епископ, чей каменный образ стоял так давно в нише

над церковными воротами. По-видимому, у таинственного старика был внук — тихий, белокурый мальчик, который иногда в сумерки выходил из дому господина Добсона мелкой и робкой походкой. Случалось это, впрочем, так редко, что никто не мог сказать наверняка, тот ли это все мальчик или другой, — да и сумерки были туманные, синие, смягчающие все очертания. Так дремотные, нелюбопытные жители городка проглядели вовсе, что мнимый внук мнимого паралитика не растет с годами и что его льняные волосы не что иное, как прекрасно сделанный паричок. Ибо Картофельный Эльф начал лысеть в первый же год своей новой жизни, и вскоре его голова стала такой гладкой и блестящей, что строгой Анне, его экономке, подчас хотелось ладонью обхватить эту смешную круглоту. В остальном он изменился мало: только, пожалуй, чуть отяжелело брюшко да багровые ниточки засквозили на потемневшем, пухлом носу, который он пудрил, когда наряжался мальчиком. Кроме того, и Анна, и доктор знали, что те сердечные припадки, которыми карлик страдал, добром не кончатся.

Жил он мирно и незаметно в своих трех комнатах, выписывал из библиотеки книжки по три, по четыре в неделю — все больше романы, — завел себе черную, желтоглазую кошку, так как смертельно боялся мышей, которые вечером мелко шарахались, словно перекатывали деревяшки, в углу за шкапом; много и сладко ел — иной раз даже вскочит среди ночи и, зябко просеменив по холодному полу, маленький и жуткий в своей длинной сорочке, лезет, как мальчик, в буфет за шоколадными печеньями. И все реже вспоминал он свою любовь и первые страшные дни, проведенные им в Драузитоне.

Впрочем, в столе, среди тонких, прилежно сложенных афиш, еще хранился у него лист почтовой бумаги телесного цвета с водяным знаком в виде дракона, исписанный угловатым, неразборчивым почерком. Вот что стояло на этом листе: «Дорогой господин Добсон. Я получила и второе Ваше письмо, в котором Вы меня зовете приехать к Вам в Д. Я боюсь, что вышло страшное недоразумение. Постарайтесь простить и забыть меня. Завтра мы с мужем уезжаем в Америку и, вероятно, вернемся не скоро. Не знаю, что еще Вам написать, мой бедный Фред».

Тогда-то и случился с ним первый сердечный припадок. Кроткий блеск удивления с тех пор остался у него в глазах.

И в продолжение многих дней он все ходил по дому, глотая слезы и помахивая у себя перед лицом дрожащей маленькой рукой.

А потом Фред стал забывать, полюбил уют, до сих пор им неведомый, — голубые пленки пламени над углями в камине, пыльные вазочки на полукруглых полках, гравюру между окон: сенбернар с флягой у ошейника и ослабевший путник на черной скале. Редко вспоминал он свою прежнюю жизнь. Только во сне порою чудилось ему, что звездное небо наполняется зыбким трепетом трапеций, — и потом захлопывали его в черный ящик, он слышал сквозь стенки певучий, равнодушный голос Шока и не мог найти люк в полу, задыхался в клейком сумраке, — а голос фокусника становился все печальнее, удалялся, таял, — и Фред просыпался со стоном на своей широкой постели в тихой и темной спальне, где чуть пахло лавандой, и долго глядел, задыхаясь и прижимая кулачок к спотыкающемуся сердцу, на бледное пятно оконной занавески.

И с годами все слабее и слабее вздыхала в нем тоска по женской любви, словно Нора мгновенно вытянула из него весь жар, так мучивший его когда-то. Были, правда, некоторые дни, некоторые весенние смутные вечера, когда карлик, стыдливо нарядившись в короткие штаны и прикрыв лысину белокурым паричком, уходил из дому в сумеречную муть и, семеня тропинкой вдоль полей, вдруг замирал и глядел, томясь, на туманную чету влюбленных, оцепеневших у изгороди, под защитой цветущей ежевики. А потом и это прошло, и людей он перестал видеть вовсе. Только изредка заходил доктор, седой, с пронзительными черными глазами, и, сидя против Фреда за шахматной доской, с любопытством и наслаждением разглядывал мягкие ручки, бульдожье лицо карлика, который, обдумывая ход, морщил выпуклый лоб.

Прошло восемь лет. Было воскресное утро. На столе, накрытый колпаком в виде головы попугая, ждал Фреда кувшин какао. В окно лилась солнечная зелень яблонь. Толстая Анна смахивала пыль с крышки маленькой пианолы, на которой карлик иногда играл валкие вальсы; на банку апельсинового варенья садились мухи и потирали передние лапки.

Вошел Фред, слегка заспанный, в клетчатых туфлях на босу ногу, в черном халатике с желтыми бранденбургами.

Сел к столу, щурясь от блеска и поглаживая рукой лысину. Анна ушла в церковь. Фред притянул к себе иллюстрированный листок воскресной газеты, долго разглядывал, то поджимая, то выпячивая губы, премированных щенят, русскую балерину, склоненную в лебедином томлении, цилиндр и мордастое лицо всех надувшего финансиста. Под столом кошка, выгнув спину, терлась об его голую лодыжку. Он допил какао, встал, позевывая; ночью ему было чрезвычайно скверно, — никогда еще так сердце не мучило, и теперь ему было лень одеваться, неприятно холодели ноги. Он перебрался на кресло у окна, сложился калачиком и так сидел, ни о чем не думая, и рядом потягивалась кошка, разевая крошечную розовую пасть.

В передней затренькал звонок.

«Доктор», — подумал Фред равнодушно и, вспомнив, что Анна в церкви, сам пошел открывать.

В дверь хлынуло солнце. На пороге стояла высокая дама, вся в черном. Фред отскочил, пробормотал что-то и, запахивая халат, кинулся в комнаты. На бегу потерял туфлю, не успел подобрать, — надо было скорее спрятаться, только бы не успели заметить, что он карлик. Прерывисто дыша, он остановился среди гостиной. Ах, надо было просто захлопнуть входную дверь!.. И кто это мог зайти к нему? Ошибка какая-нибудь...

И вдруг он отчетливо расслышал стук приближающихся шагов. Он метнулся из гостиной в спальню, хотел запереться, да не было ключа. В гостиной на ковре осталась вторая туфля.

— Это ужасно, — передохнул Фред и прислушался.

Шаги вошли в гостиную. Тогда, с легким стоном, карлик подбежал к платяному шкафу — спрятаться бы!..

Голос, несомненно знакомый, выкликнул его имя, и открылась дверь.

— Фред, отчего вы так боитесь меня?

Карлик, босой, со вспотевшей лысиной, в черном своем халатике, замер у шкафа, все еще держась за кольцо замка. Ему вспомнились очень живо оранжевые рыбки за стеклом.

Она болезненно постарела за эти годы. Под глазами были оливковые тени; отчетливей, чем некогда, темнели волоски над верхней губой. И от черной шляпы ее, от строгих складок черного платья веяло чем-то пыльным и горестным.

— Я никогда не думал... — медленно начал Фред, глядя на нее исподлобья.

Нора взяла его за плечи, повернула к свету, жадными и печальными глазами стала разглядывать его черты. Карлик смущенно мигал, мучительно жалея, что он без парика, и дивясь волненью Норы. Он так давно перестал думать о ней, что теперь, кроме грусти и удивленья, он не чувствовал ничего. Нора закрыла глаза, все еще держа его за плечи, и потом, легонько оттолкнув карлика, отвернулась к окну.

Фред кашлянул:

— Я вас совсем потерял из виду. Скажите, как поживает Шок?

— Фокусы показывает, — ответила рассеянно Нора. — Мы только недавно вернулись в Лондон.

Она, не снимая шляпы, села в кресло у окна, продолжая со странной пристальностью смотреть на Фреда.

— Так, значит, Шок... — торопливо заговорил карлик, чувствуя неловкость от ее взгляда.

— Все тот же, — сказала Нора и, не сводя с него блестящих глаз, стала быстро стягивать и комкать перчатки, глянцевито черные, с белым исподом.

«Неужели она опять...» — отрывисто подумал карлик. Пронеслось в мыслях: банка с рыбками, запах одеколона, изумрудные помпоны на туфлях.

Нора встала: двумя черными комочками покатились перчатки на пол.

— Сад маленький, но в нем яблони, — сказал Фред и все продолжал недоумевать: «Неужели я когда-нибудь мог... Она совсем желтая. С усами. И что это она все молчит?» — Но я редко выхожу, — говорил он, слегка раскачиваясь на стуле и потирая коленки.

— Фред, — сказала Нора, — знаете ли вы, почему я приехала к вам?

Она подошла к нему вплотную. Фред с виноватой усмешкой соскользнул со стула, стараясь увернуться.

Тогда она очень тихо сказала:

— У меня ведь был сын от вас...

Карлик замер, уставившись на крошечное оконце, горевшее на синей чашке. Робкая, изумленная улыбка заиграла в уголках его губ, расширилась, озарила лиловатым румянцем его щеки.

— Мой... сын...

И мгновенно он понял все, весь смысл жизни, долгой тоски своей, блика на чашке.

Он медленно поднял глаза. Нора боком сидела на стуле и плакала навзрыд. Как слеза, сверкала стеклянная головка ее шляпной булавки. Кошка, нежно урча, терлась об ее ноги.

Карлик подскочил к ней, вспомнил роман, недавно читанный.

— Да вы не бойтесь, — сказал он, — да вы не бойтесь, я не возьму его от вас. Я так счастлив.

Она взглянула на него сквозь туман слез. Хотела объяснить что-то, переглотнула, увидела, каким нежным и радостным светом весь пышет карлик, — и не объяснила ничего.

Встала, торопливо подняла с полу липко-черные комочки перчаток.

— Ну вот, теперь вы знаете... Больше ничего не нужно... Я пойду.

Внезапная мысль кольнула Фреда. К дрожи счастья примешался пронзительный стыд. Он спросил, теребя бранденбурги халата:

— А он какой? Он не...

— Нет, нет, — большой, как все мальчики, — быстро сказала Нора и разрыдалась опять.

Фред опустил ресницы:

— Я бы хотел видеть его.

Радостно спохватился:

— О, я понимаю, — он не должен знать, что я вот такой. Но, может быть, вы устроите...

— Да, непременно, непременно, — торопливо, почти сухо говорила Нора, направляясь к двери. — Как-нибудь устроим... А я должна идти... Поезд... Двадцать минут ходьбы до станции.

Обернувшись в дверях, она в последний раз тяжело и жадно впилась глазами в лицо Фреда. Солнце дрожало на его лысине; прозрачно розовели уши. Он ничего не понимал от изумления и счастья. И когда она ушла, Фред еще долго стоял посреди комнаты, боясь неосторожным движением расплескать сердце. Он старался вообразить своего сына и мог только вообразить самого себя, одетого школьником, в белокуром паричке. Он как-то перенес свой облик на сына, — сам перестал ощущать себя карликом.

Он видел, как он входит в дом, встречает сына; с острой гордостью гладит его по светлым волосам... И потом,

вместе с ним и с Норой, — глупая, как она испугалась, что он отнимет мальчика! — выходит на улицу, и на улице...

Фред хлопнул себя по ляжкам. Он даже забыл у Норы спросить адрес.

И тогда началось что-то сумасшедшее, несуразное. Он бросился в спальню, стал одеваться, неистово торопясь; надел все самое лучшее, крахмальную рубашку, полосатые штаны, пиджак, сшитый когда-то в Париже, — и все улыбался, и ломал ногти в щелках тугих ящиков, и дважды должен был присесть, — так вздувалось и раскатывалось сердце, — и снова попрыгивал по комнате, отыскивал котелок, которого так давно не носил, и наконец, мимоходом посмотревшись в зеркало, где мелькнул статный пожилой господин, строго и изящно одетый, Фред сбежал по ступеням крыльца, уже полный новой ослепительной мысли: вместе с Норой поехать в Лондон — он успеет догнать ее — и сегодня же вечером взглянуть на сына.

Широкая, пыльная дорога вела прямо к вокзалу. Было по-воскресному пустынно, но ненароком из-за угла вышел мальчишка с крикетной лаптой в руке. Он-то первый и заметил карлика. Хлопнул себя по цветной кепке, глядя на удалявшуюся спину Фреда, на мелькание мышиных гетр.

И сразу, Бог весть откуда взявшись, появились другие мальчишки и, разинув рты, стали вкрадчиво догонять карлика. Он шел все быстрее, поглядывая на золотые часы, посмеиваясь и волнуясь. От солнца слегка поташнивало. А мальчишек все прибавлялось, и редкие прохожие в изумлении останавливались, где-то звонко пролились куранты, сонный городок оживал и вдруг разразился безудержным, давно таимым смехом.

Не в силах сладить со своим нетерпением, Картофельный Эльф пустился бежать. Один из мальчишек прошмыгнул вперед, заглянул ему в лицо; другой крикнул что-то грубым, гортанным голосом. Фред, морщась от пыли, бежал, и вдруг показалось ему, что мальчишки, толпой следовавшие за ним, — все сыновья его, веселые, румяные, стройные, — и он растерянно заулыбался, и все бежал, крякая, стараясь забыть сердце, огненным клином ломавшее ему грудь.

Велосипедист на сверкающих колесах ехал рядом с ним, прижимал рупором кулак ко рту, ободрял его, как это делается во время состязаний. На пороги выходили женщи-

ны, щурились от солнца, громко смеялись, указывая друг другу на пробегавшего карлика. Проснулись все собаки в городке; прихожане в душной церкви невольно прислушивались к лаю, к задорному улюлюканью. И все густела толпа, бежавшая вокруг карлика. Думали, что это все — великолепная шутка, цирковая реклама, съемки...

Фред начинал спотыкаться, в ушах гудело, запонка впивалась в горло, нечем было дышать. Стон смеха, крик, топот ног оглушили его. Но вот, сквозь туман пота, он увидел перед собой черное платье. Нора медленно шла вдоль кирпичной стены в потоках солнца. И вот — обернулась, остановилась. Карлик добежал до нее, вцепился в складки юбки...

С улыбкой счастья взглянул на нее снизу вверх, попытался сказать что-то — и тотчас, удивленно подняв брови, сполз на панель. Кругом шумно дышала толпа. Кто-то, сообразив, что все это не шутка, нагнулся над карликом и тихо свистнул, снял шапку. Нора безучастно глядела на крохотное тело Фреда, похожее на черный комок перчатки. Ее затолкали. Кто-то взял ее за локоть.

— Оставьте меня, — вяло проговорила Нора, — я ничего не знаю... У меня на днях умер сын...

КАТАСТРОФА

В зеркальную мглу улицы убегал последний трамвай, и над ним, по проволоке, с треском и трепетом стремилась вдаль бенгальская искра, лазурная звезда.

— Что ж, поплетемся пешком, хотя ты очень пьян, Марк, очень пьян...

Искра потухла. Крыши под луной лоснились: серебряные углы, косые провалы мрака.

Сквозь темный блеск шел он домой — Марк Штандфусс, приказчик, полубог, светловолосый Марк, счастливец в высоком крахмальном воротнике. Над белой полоской, сзади, волосы кончались смешным неподстриженным хвостиком, как у мальчика. За этот хвостик Клара и полюбила его — да, клялась, что любит, что забыла стройного, нищего иностранца, снимавшего в прошлом году комнату у госпожи Гайзе, ее матери.

— И все-таки, Марк, ты пьян...

Сегодня друзья чествовали пивом и песнями Марка и рыжую, бледную Клару, а через неделю будет их свадьба, и потом до конца жизни — счастье и тишина, и ночью рыжий пожар, рассыпанный по подушке, а утром — опять тихий смех, зеленое платье, прохлада оголенных рук.

Посреди площади — черный вигвам, красный огонек: починяют рельсы. Он вспомнил, как сегодня целовал ее под короткий рукав, в тот трогательный след, что остался от прививки оспы. И теперь шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля, размахивая тонкой тростью, и в темных домах по той стороне пустынной улицы хлопало ночное эхо в такт его шагов, а потом смолкло, когда он повернул за угол, где у решетки стоял все тот же человек в переднике и картузе, продавец горячих сосисок, и высвистывал по-птичьи, нежно и грустно: «Вюрстхен.... вюрстхен...»[1]

Марку стало сладостно жаль сосисок, луны, голубой искры, пробежавшей по проволоке, — и, прислонясь к забору, он весь сжался, напрягся и вдруг, помирая со смеху, выдул в круглую щелку: «Клара... Клара... о, Клара, моя милая...»

А за черным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь: там, что громадные гроба, стояли мебельные фургоны. Их раздуло от груза. Бог весть что было навалено в них. Дубовые баулы, верно, да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двухспальной кровати. Луна обдавала их крепким блеском. А слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские черные сердца — увеличенная во много раз тень липы, стоявшей близ фонаря на краю тротуара.

Марк все еще посмеивался, когда всходил по темной лестнице на пятый этаж. Вступив на последнюю ступеньку, он ошибся, поднял еще раз ногу — и опустил ее неловко, с грохотом. Пока он шарил в потемках по двери, отыскивая замочную скважину, бамбуковая тросточка выскочила из-под мышки и, легко постукивая, скользнула вниз, по ступенькам. Марк затаил дыханье. Думал, трость повернет там, где поворачивает лестница, и, постукивая, докатится до самого низу. Но тонкий деревянный звон внезапно замер. Остановилась, мол. Он облегченно усмехнулся и,

[1] Сосиски *(нем.)*.

держась за перила — пиво глухо пело в голове, — стал спускаться обратно, наклонился, чуть не упал, тяжело сел на ступень, шаря вокруг себя ладонями.

Наверху дверь на площадку открылась; госпожа Штандфусс — керосиновая лампа в руке, сама полуодетая, глаза мигающие, дым волос из-под чепца — вышла, позвала:

— Ты, Марк?

Желтый клин света захватил перила, ступени, трость, — и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся на площадку, а по стене поднялась за ним его черная, горбатая тень.

Потом, в полутемной комнате, перегороженной красной ширмой, был такой разговор:

— Ты слишком много пил, Марк...

— Ах нет, мама... Такое счастье...

— Ты перепачкался, Марк. У тебя ладонь черная...

— ...такое счастье... А, хорошо — холодная. Полей на макушку... Еще... Меня все поздравляли — да и есть с чем... Еще полей.

— Но, говорят, она так недавно любила другого... иностранца, проходимца какого-то. Пяти марок не доплатил госпоже Гайзе...

— Оставь... Ты ничего не понимаешь... Мы сегодня так много пели. Пуговица оторвалась, смотри... я думаю, мне удвоят жалованье, когда женюсь...

— Ложись, ложись... Весь грязный... новые штаны...

В эту ночь Марку приснился неприятный сон. Он увидел покойного отца. Отец подошел, со странной улыбкой на бледном, потном лице, и, схватив Марка под руки, стал молча и сильно щекотать его — не отпускал.

Только уже придя в магазин, вспомнил он этот сон, вспомнил оттого, что приятель, веселый Адольф, пальцем ткнул его в ребра. На миг в душе распахнулось что-то, удивленно застыло и захлопнулось опять. Опять стало легко и ясно, и галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались, сочувствовали его счастью. Он знал, что вечером увидит Клару, — вот только забежит домой поужинать, — а потом сразу к ней... На днях, когда он рассказывал ей о том, как они уютно и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. Конечно, Марк понял, что это слезы счастья, — так она и объяснила ему, — а потом закружилась по комнате, — юбка — зеленый парус, — и быстро-быстро стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы свои, цвета

абрикосового варенья. И лицо было растерянное, бледное — тоже от счастья. Это ведь так понятно...

— В полоску? Извольте...

Он завязывал на руке галстук, поворачивал руку туда-сюда, соблазняя покупателя. Быстро открывал плоские картонные коробки...

А в это время у матери его сидела гостья, госпожа Гайзе. Она пришла ненароком, и лицо было заплаканное. Осторожно, словно боясь разбиться, опустилась на табурет в крохотной, чистенькой кухне, где госпожа Штандфусс мыла тарелки. На стене висела плоская деревянная свинья, и спичечная коробка с одной обгорелой спичкой валялась на плите.

— Я пришла к вам с дурной вестью, госпожа Штандфусс.

Та замерла, прижав к груди тарелку.

— Это насчет Клары. Вот. Она сегодня как безумная. Вернулся тот жилец, — помните, рассказывала? И Клара потеряла голову. Да, сегодня утром... Она не хочет больше никогда видеть вашего сына... Вы ей подарили материю на платье, будет возвращено. И вот — письмо для Марка. Клара с ума сошла. Я не знаю...

А Марк, кончив службу, уже шел восвояси, и ежом остриженный Адольф проводил его до самого дома. Оба остановились, пожали друг другу руки, и Марк плечом толкнул дверь в прохладную пустоту.

— Куда ты? Плюнь... вместе закусим где-нибудь.

Адольф лениво опирался на трость, как на хвост.

— Плюнь, Марк...

Тот нерешительно потер щеку, потом засмеялся...

— Хорошо... Но платить буду я.

Когда полчаса спустя он вышел из пивной и распрощался с приятелем, огненный закат млел в пролете канала, и влажный мост вдали был окаймлен тонкой золотою чертой, по которой проходили черные фигурки.

Посмотрев на часы, он решил не заходить домой, а прямо ехать к невесте. От счастья, от вечерней прозрачности чуть кружилась голова. Оранжевая стрела проткнула лакированный башмак какого-то франта, выскочившего из автомобиля. Еще не высохшие лужи, окруженные темными подтеками, — живые глаза асфальта — отражали нежный вечерний пожар. Дома были серые, как всегда, но зато крыши, лепка над верхними этажами, золотые громо-

отводы, каменные купола, столбики, — которых днем не замечаешь, так как люди днем редко глядят вверх, — были теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой яркостью своей от тусклых фасадов внизу.

«О, как я счастлив, — думал Марк, — как все чествует мое счастье».

Сидя в трамвае, он мягко, с любовью разглядывал своих спутников. Лицо у него было такое молодое, с розовыми прыщиками на подбородке, счастливые, светлые глаза, неподстриженный хвостик в лунке затылка... Казалось, судьба могла бы его пощадить.

«Я сейчас увижу Клару, — думал он. — Она встретит меня у порога. Скажет, что весь день скучала без меня, едва дожила до вечера».

Встрепенулся. Проехал остановку, где должен был слезть. По пути к площадке споткнулся о ноги толстого человека, читавшего медицинский журнал; хотел приподнять шляпу и чуть не упал — трамвай с визгом поворачивал. Удержался за висячий ремень. Господин медленно втянул короткие ноги, сердито и жирно заурчал. Усы у него были седые, воинственно загнутые кверху. Марк виновато улыбнулся и вышел на площадку. Схватился обеими руками за железные поручни, подался вперед, рассчитывая прыжок. Внизу гладким, блестящим потоком стремился асфальт. Марк спрыгнул. Обожгло подошвы, и ноги сами побежали, принужденно и звучно топая. Одновременно произошло несколько странных вещей... Кондуктор с площадки откачнувшегося трамвая яростно крикнул что-то, блестящий асфальт взмахнул, как доска качели, гремящая громада налетела сзади на Марка. Он почувствовал, словно толстая молния проткнула его с головы до пят, — а потом — ничего. Стоял один посреди лоснящегося асфальта. Огляделся. Увидел поодаль свою же фигуру, худую спину Марка Штандфусса, который, как ни в чем не бывало, шел наискось через улицу. Дивясь, одним легким движением он догнал самого себя, и вот уже сам шел к панели, весь полный остывающего звона.

— Тоже... чуть не попал под омнибус...

Улица была широкая и веселая. Полнеба охватил закат. Верхние ярусы и крыши домов были дивно озарены. Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающие к небу золотые, нестерпимо горящие лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воздушно уходила в небесную даль вся эта зодческая прелесть, и Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих галерей, этих храмов, повисших в вышине.

Больно ударился коленом. Черный знакомый забор. Рассмеялся: ах, конечно — фургоны... Стояли они как громадные гроба. Что же скрыто в них? Сокровища, костяки великанов? Пыльные груды пышной мебели?

— Нет, надо посмотреть... А то Клара спросит, а я не буду знать...

Он быстро толкнул дверь фургона, вошел. Пусто. Только посредине косо стоит на трех ножках маленький соломенный стул, одинокий и смешной.

Марк пожал плечами и вышел с другой стороны. Снова хлынул в глаза жаркий вечерний блеск. И впереди знакомая чугунная калитка, и дальше окно Клары, пересеченное зеленой веткой. Клара сама открыла калитку, подняла оголенные локти — и ждала, оправляя прическу. Рыжий пух сквозил в солнечных проймах коротких рукавов.

Марк, беззвучно смеясь, с разбегу обнял ее, прижался щекой к теплому, зеленому шелку.

Ее ладони легли ему на голову.

— Я весь день так скучала, Марк. И вот теперь ты пришел.

Она отворила дверь, и Марк сразу очутился в столовой, показавшейся ему необыкновенно просторной и светлой.

— Мы так счастливы теперь, что мы можем обойтись без прихожей, — горячо зашептала Клара, и он почуял какой-то особый чудесный смысл в ее словах.

А в столовой, вокруг снежного овала скатерти, сидело множество людей, которых Марк никогда еще не встречал у своей невесты. Среди них был Адольф, смуглый, с квадратной головой; был и тот коротконогий, пузатый, все еще урчащий человек, читавший медицинский журнал в трамвае.

Застенчиво поклонившись всем, он сел рядом с Кларой — и в тот же миг почувствовал, как давеча, удар неис-

товой боли, прокатившей по всему телу. Рванулся он, — и зеленое платье Клары поплыло, уменьшилось, превратилось в зеленый стеклянный колпак лампы. Лампа качалась на висячем шнуре. А сам Марк лежал под нею, и такая грузная боль давила на грудь, такая боль — и ничего не видать, кроме зыбкой лампы, — и в сердце упираются ребра, мешают вздохнуть, — и кто-то, перегнув ему ногу, ломает ее, натужился, сейчас хрястнет. Он рванулся опять — лампа расплылась зеленым сиянием, и Марк увидел себя самого, поодаль, сидящего рядом с Кларой, — и не успел увидеть, как уже сам касался коленом ее теплой шелковой юбки. И Клара смеялась, закинув голову.

Он захотел рассказать, что сейчас произошло, и, обращаясь ко всем присутствующим, к веселому Адольфу, к сердитому толстяку, с трудом проговорил:

— Иностранец на реке совершает вышеуказанные молитвы...

Ему показалось, что он все объяснил, и, видимо, все поняли... Клара, чуть надув губы, потрепала его по щеке:

— Мой бедный... Ничего...

Он почувствовал, что устал, хочет спать. Обнял Клару за шею, притянул, откинулся назад. И тогда опять хлынула боль, и все стало ясно.

Марк лежал забинтованный, исковерканный, лампа не качалась больше. Знакомый усатый толстяк, доктор в белом балахоне, растерянно урча, заглядывал ему в зрачки. И какая боль... Господи, сердце вот-вот наткнется на ребра и лопнет... Господи, сейчас... Это глупо. Почему нет Клары...

Доктор поморщился и щелкнул языком.

А Марк уже не дышал, Марк ушел, — в какие сны — неизвестно.

ГРОЗА

На углу, под шатром цветущей липы, обдало меня буйным благоуханием. Туманные громады поднимались по ночному небу, и когда поглощен был последний звездный просвет, слепой ветер, закрыв лицо рукавами, низко пронесся вдоль опустевшей улицы. В тусклой темноте, над железным ставнем парикмахерской, маятником заходил висячий щит, золотое блюдо.

Вернувшись домой, я застал ветер уже в комнате: он хлопнул оконной рамой и поспешно отхлынул, когда я прикрыл за собою дверь. Внизу, под окном, был глубокий двор, где днем сияли, сквозь кусты сирени, рубашки, распятые на светлых веревках, и откуда взлетали порой, печальным лаем, голоса — старьевщиков, закупателей пустых бутылок, — нет-нет — разрыдается искалеченная скрипка; и однажды пришла тучная белокурая женщина, стала посреди двора, да так хорошо запела, что из всех окон свесились горничные, нагнулись голые шеи, — и потом, когда женщина кончила петь, стало необыкновенно тихо, — только в коридоре всхлипывала и сморкалась неопрятная вдова, у которой я снимал комнату.

А теперь там, внизу, набухала душная мгла, — но вот слепой ветер, что беспомощно сполз в глубину, снова потянулся вверх, — и вдруг — прозрел, взмыл, и в янтарных провалах в черной стене напротив заметались тени рук, волос, ловили улетающие рамы, звонко и крепко запирали окна. Окна погасли. И тотчас же в темно-лиловом небе тронулась, покатилась глухая груда, отдаленный гром. И стало тихо, как тогда, когда замолкла нищая, прижав руки к полной груди.

В этой тишине я заснул, ослабев от счастия, о котором писать не умею, — и сон мой был полон тобой.

Проснулся я оттого, что ночь рушилась. Дикое, бледное блистание летало по небу, как быстрый отсвет исполинских спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шел дождь.

Меня опьянили эти синеватые содрогания, легкий и острый холод. Я стал у мокрого подоконника, вдыхая неземной воздух, от которого сердце звенело как стекло.

Все ближе, все великолепнее гремела по облакам колесница пророка. Светом сумасшествия, пронзительных видений, озарен был ночной мир, железные склоны крыш, бегущие кусты сирени. Громовержец, седой исполин, с бурной бородою, закинутой ветром за плечо, в ослепительном, летучем облачении, стоял, подавшись назад, на огненной колеснице и напряженными руками сдерживал гигантских коней своих: вороная масть, гривы — фиолетовый пожар. Они понесли, они брызгали трескучей искристой пеной, колесница кренилась, тщетно рвал вожжи растерянный пророк. Лицо его было искажено ветром и

напряжением, вихрь, откинув складки, обнажил могучее колено, — а кони, взмахивая пылающими гривами, летели — все буйственнее — вниз по тучам, вниз. Вот громовым шепотом промчались они по блестящей крыше, колесницу шарахнуло, зашатался Илья, — и кони, обезумев от прикосновения земного металла, снова вспрянули. Пророк был сброшен. Одно колесо отшибло. Я видел из своего окна, как покатился вниз по крыше громадный огненный обод и, покачнувшись на краю, прыгнул в сумрак. А кони, влача за собою опрокинутую, прыгающую колесницу, уже летели по вышним тучам, гул умолкал, и вот — грозовой огонь исчез в лиловых безднах.

Громовержец, павший на крышу, грузно встал, плесницы его заскользили, — он ногой пробил слуховое окошко, охнул, широким движением руки удержался за трубу. Медленно поворачивая потемневшее лицо, он что-то искал глазами, — верно, колесо, соскочившее с золотой оси. Потом глянул вверх, вцепившись пальцами в растрепанную бороду, сердито покачал головой, — это случалось, вероятно, не впервые, — и, прихрамывая, стал осторожно спускаться.

Оторвавшись от окна, спеша и волнуясь, я накинул халат и сбежал по крутой лестнице прямо во двор. Гроза отлетела, но еще веял дождь. Восток дивно бледнел.

Двор, что сверху казался налитым густым сумраком, был на самом деле полон тонким, тающим туманом. Посередине, на тусклом от сырости газоне, стоял сутулый, тощий старик в промокшей рясе и бормотал что-то, посматривая по сторонам. Заметив меня, он сердито моргнул:

— Ты, Елисей?

Я поклонился. Пророк цокнул языком, потирая ладонью смуглую лысину:

— Колесо потерял. Отыщи-ка.

Дождь перестал. Над крышами пылали громадные облака. Кругом, в синеватом, сонном воздухе, плавали кусты, забор, блестящая собачья конура. Долго шарили мы по углам, — старик кряхтел, подхватывал тяжелый подол, шлепал тупыми сандалиями по лужам, и с кончика крупного костистого носа свисала светлая капля. Отодвинув низкую ветку сирени, я заметил на куче сору, среди битого стекла, тонкое железное колесо, — видимо, от детской коляски. Старик жарко дохнул над самым моим ухом и, поспешно,

даже грубовато отстранив меня, схватил и поднял ржавый круг. Радостно подмигнул мне:

— Вот куда закатилось...

Потом на меня уставился, сдвинув седые брови, — и, словно что-то вспомнив, внушительно сказал:

— Отвернись, Елисей.

Я послушался. Даже зажмурился. Постоял так с минуту, — и дольше не выдержал...

Пустой двор. Только старая лохматая собака с поседелой мордой вытянулась из конуры и, как человек, глядела вверх испуганными карими глазами. Я поднял голову. Илья карабкался вверх по крыше, и железный обод поблескивал у него за спиной. Над черными трубами оранжевой кудрявой горой стояло заревое облако, за ним второе, третье. Мы глядели вместе с притихшей собакой, как пророк, поднявшись до гребня крыши, спокойно и неторопливо перебрался на облако и стал лезть вверх, тяжело ступая по рыхлому огню.

Солнце стрельнуло в его колесо, и оно сразу стало золотым, громадным, — да и сам Илья казался теперь облаченным в пламя, сливаясь с той райской тучей, по которой он шел все выше, все выше, пока не исчез в пылающем воздушном ущелье.

Только тогда хриплым утренним лаем залился дряхлый пес, — и хлынула рябь по яркой глади дождевой лужи; от легкого ветра колыхнулась пунцовая герань на балконах, проснулись два-три окна, — и в промокших клетчатых туфлях, в блеклом халате я выбежал на улицу и, догоняя первый, сонный трамвай, запахивая полы на бегу, все посмеивался, воображая, как сейчас приду к тебе и буду рассказывать о ночном воздушном крушении, о старом, сердитом пророке, упавшем ко мне во двор.

БАХМАН

Не так давно промелькнуло в газетах известие, что в швейцарском городке Мариваль, в приюте св. Анжелики, умер, миром забытый, славный пианист и композитор Бахман. Я вспомнил по этому поводу рассказ о женщине,

любившей его, переданный мне антрепренером Заком. Вот этот рассказ.

Госпожа Перова познакомилась с Бахманом лет за десять до его смерти. В те дни золотой, глубокий, сумасшедший трепет его игры запечатлевался уже на воске, а заживо звучал в знаменитейших концертных залах. И вот однажды вечером — в один из тех осенних прозрачно-синих вечеров, когда больше боишься старости, нежели смерти, — Перова получила от приятельницы записку: «Я хочу показать тебе Бахмана. Сегодня после концерта он будет у меня. Приходи».

Я особенно ясно представляю себе, как надела она черное, открытое платье, быстрым движеньем надушила себе шею и плечи, взяла веер, трость с бирюзовым набалдашником и, посмотревшись напоследок в тройную бездну трюмо, задумалась и оставалась задумчивой всю дорогу от дома своего до дома подруги. Она знала, что некрасива, не в меру худа, что бледность ее кожи болезненна, — но эта стареющая женщина с лицом неудавшейся мадонны была привлекательна именно тем, чего больше всего стыдилась, — бледностью губ и едва заметной хромотой, заставлявшей ее всегда ходить с тростью. Муж ее, страстный и острый делец, был в отъезде. Лично господин Зак его не знал.

Когда Перова вошла в небольшую, фиолетовым светом залитую гостиную, где тяжело перепархивала от гостя к гостю ее приятельница, тучная, шумливая дама в аметистовой диадеме, — ее внимание тотчас же привлек высокий, бритый, слегка напудренный господин, который стоял, облокотившись на выступ рояля, и что-то рассказывал трем дамам, подошедшим к нему. Хвосты его фрака были на добротной, особенно пухлой, шелковой подкладке, и, разговаривая, он то и дело откидывал темные, маслянистые волосы, раздувая при этом крылья носа — бледного, с довольно изящной горбинкой. Во всей его фигуре было что-то благосклонное, блистательное и неприятное.

— Акустика ужасная! — говорил он, дергая плечом. — А публика вся сплошь простужена. Не дай Бог кому-нибудь кашлянуть, моментально несколько человек подхватят, и поехало... — Он улыбнулся, откидывая волосы. — Это, знаете, как ночью, в деревне, собаки.

Перова подошла, легко опираясь на трость, и сказала первое, что пришло ей в голову:

— Вы, наверное, устали, господин Бахман, после вашего концерта?

Он поклонился, очень польщенный:

— Маленькая ошибка, мадам. Моя фамилия — Зак. Я только импресарио нашего маэстро.

Все три дамы рассмеялись. Перова смутилась и рассмеялась тоже. Об удивительной игре Бахмана она знала только понаслышке и портрета его не видела. В эту минуту к ней хлынула хозяйка, обняла и таинственно, одним движеньем глаз указав в глубину комнаты, шепнула:

— Вот он... посмотри...

И только тогда она увидела Бахмана. Он стоял в стороне от остальных гостей и, расставя короткие ноги в мешковатых черных штанах, читал газету, придвинув к самым глазам мятый лист и шевеля губами, как это делают при чтении полуграмотные. Был он низкого роста, плешивый, со скромным зачесом поперек темени, в отложном крахмальном воротничке, слишком для него широком. Не отрываясь от газеты, он рассеянно проверил одним пальцем ту часть мужской одежды, которая у портных зовется гульфик, и зашевелил губами еще внимательнее. Был у него очень смешной, маленький, круглый подбородок, похожий на морского ежа.

— Не удивляйтесь, — сказал Зак. — Он в буквальном смысле неуч: как придет в гости, так сразу берет что-нибудь и читает.

Бахман вдруг почувствовал, что все смотрят на него. Он медленно повернул лицо и, подняв растрепанные брови, улыбнулся чудесной, робкой улыбкой, от которой по всему лицу разбежались мягкие морщинки.

Хозяйка поспешила к нему:

— Мсье Бахман, позвольте вам презентовать еще одну из ваших поклонниц — госпожу Перову.

Он сунул ей свою бескостную, сыроватую руку:

— Очень приятно, очень даже приятно...

И опять уткнулся в газету.

Перова отошла. Розоватые пятна выступили у нее на скулах. От радостного движения черного, блестевшего стеклярусом веера затрепетали светлые завитки на висках. Зак мне потом рассказывал, что в тот первый вечер она произвела на него впечатление необыкновенно темпераментной — как он выразился, — необыкновенно издерганной

женщины, даром что губы и прическа были у нее такие строгие.

— Эти двое друг друга стоили, — передавал он мне со вздохом. — Бахман-то, и говорить нечего, совершенно был лишен мозгов. А главное — пил, знаете. В тот вечер, когда они встретились, мне пришлось быстро — прямо-таки на крыльях — увести его, так как он вдруг потребовал коньяку, — а ему нельзя было, нельзя было. Мы же просили его: пять дней не пей, только пять дней, — то есть пять концертов, вы понимаете... Ангажемент, Бахман, держись... Что вы думаете, ведь даже какой-то пиит в юмористическом журнале срифмовал «У стойки» и «Неустойки». Мы буквально из сил выбивались. И притом — капризный, знаете, фантастичный, грязненький. Совершенно ненормальный субъект. Но играл...

И Зак молча закатывал глаза, тряся поредевшей гривой.

Просматривая с господином Заком тяжелый, как гроб, альбом газетных вырезок, я убедился, что именно тогда, во дни первых встреч Бахмана с Перовой, началась настоящая, мировая — но какая короткая — слава этого удивительного человека. Когда и где Перова сошлась с ним — этого никто не знает. Но после вечера у приятельницы Перова стала бывать на всех концертах Бахмана, в каком бы городе они ни давались. Сидела она всегда в первом ряду, прямая, гладко причесанная, в черном, открытом платье. Некоторые ее называли так: хромая мадонна.

Бахман выходил на эстраду быстро — как будто вырвавшись из вражеских или просто надоедливых рук. Не глядя на публику, он подбегал к роялю и, нагнувшись над круглым стулом, принимался нежно вращать деревянный диск сиденья, отыскивая какую-то математическую точку высоты. При этом он убедительно и тихо ворковал, усовещевая стул на трех языках. Возился он так довольно долго. В Англии это умиляло публику, во Франции смешило, в Германии — раздражало. Найдя точку, Бахман легонько и ласково хлопал ладонью по стулу — и садился, нашаривая педали подошвами старых лакированных туфель. Потом доставал просторный несвежий платок и, тщательно вытирая им руки, оглядывал с лукавой и вместе с тем робкой улыбкой первый ряд. Наконец он мягко опускал руки

на клавиши. Но вдруг вздрагивал страдальческий живчик под глазом: цокнув языком, он сползал со стула и снова принимался вращать нежно скрипящее сиденье.

Зак думает, что, в первый раз прослушав Бахмана и вернувшись к себе домой, Перова села у окна и просидела так до зари, вздыхая и улыбаясь. Он уверяет, что еще никогда Бахман так хорошо, так безумно не играл и что потом, с каждым разом, он играл все лучше и все безумнее. С несравненным искусством Бахман скликал и разрешал голоса контрапункта, вызывал диссонирующими аккордами впечатление дивных гармоний и — в тройной фуге преследовал тему, изящно и страстно с нею играя, как кот с мышью, — притворялся, что выпустил ее, и вдруг, с хитрой улыбкой нагнувшись над клавишами, настигал ее ликующим ударом рук. Потом, когда его ангажемент в том городе кончился, он, как всегда, на несколько дней исчез, запил.

Посетители сомнительных кабачков, ядовито пылавших в тумане угрюмого предместья, видели плотного низенького господина с растрепанной плешью и глазами, мокрыми, розовыми, как язвы, который садился всегда в сторонку, но охотно угощал каждого, кто пристанет к нему. Старичок-настройщик, давно погибший человек, несколько раз повыпив с ним, решил, что это брат по ремеслу, ибо Бахман, опьянев, барабанил пальцем по столу и тонким голосом брал очень точное «ля». Случалось, что скуластая деловитая проститутка уводила его к себе. Случалось, что он вырывал у кабацкого скрипача инструмент, топтал его и был за это бит. Знакомился он с картежниками, матросами, атлетами, нажившими себе грыжу, — а также с цехом тихих, учтивых воров.

Ночами напролет Зак и Перова его разыскивали. Впрочем, Зак искал только тогда, когда нужно было «завинтить» его — то есть приготовить к концерту. Иногда находили, иногда же, осоловевший, грязный, без воротника, он сам являлся к Перовой; она молча и ласково укладывала его спать и только через два-три дня звонила Заку, что Бахман найден.

В нем сочеталась какая-то неземная робость с озорством испорченного ребенка. С Перовой он почти не говорил. Когда она увещевала его, брала за руки, он вырывался, хлопал ее по пальцам, пискливо вскрикивая, словно легчайшее прикосновенье причиняло ему раздражительную

боль, и потом долго плакал, накрывшись одеялом. Появлялся Зак, говорил: надо ехать в Лондон, в Рим, — и Бахмана увозили.

Три года продолжалась их странная связь. Когда Бахмана, кое-как освеженного, подавали публике, Перова неизменно сидела в первом ряду. Во время далеких гастролей они останавливались в смежных номерах. Несколько раз за это время Перова видалась с мужем. Он, конечно, знал, как знали все, об ее восторженной и верной страсти, но не мешал, жил своею жизнью.

— Бахман мучил ее, — настойчиво повторял мне господин Зак. — Непонятно, как она могла его любить. Тайна женского сердца! Я видел собственными глазами, как в одном доме, где они были вместе, маэстро вдруг защелкал на нее зубами, как обезьяна, и знаете — за что? Она хотела ему поправить галстук. Но играл он в те дни гениально. К тому времени относится его симфония D-молль и несколько сложных фуг. Никто не видел, как он писал их. Самая интересная — так называемая «Золотая фуга». Слыхали? Тематизм в ней совершенно своеобразный. Но я говорил об его капризах, об его растущем помешательстве. Ну так вот. Прошло, значит, два года. И вот однажды в Мюнхене, где он выступал...

И Зак, подходя к концу своего рассказа, все печальнее, все внушительнее щурился.

Оказывается, что в ночь приезда в Мюнхен Бахман удрал из гостиницы, где, как обычно, он остановился вместе с Перовой. Через три дня должен был состояться концерт, и потому Зак находился в истерической тревоге. Поиски ни к чему не привели. Дело было поздней осенью, хлестал холодный дождь. Перова простудилась и слегла. Зак с двумя сыщиками продолжал исследовать кабаки.

В день концерта позвонили из полиции, что Бахман найден. Он был ночью подобран на улице и в участке отлично выспался. Зак молча повез его из участка в театр, сдал его там, как вещь, своим помощникам, а сам поехал в гостиницу за фраком. Перовой через дверь он доложил о случившемся. Потом вернулся в театр.

Бахман, надвинув на брови черную фетровую шляпу, сидел в артистической и печально стучал пальцем по столу. Вокруг него суетливо шептались. Через час в огромной зале публика стала занимать места. Светлая белая эстрада,

с лепными украшениями по бокам в виде органных труб, и блестящий черный рояль, поднявший крыло, и скромный гриб стула ожидали в торжественной праздности человека с мокрыми мягкими руками, который сейчас наполнит ураганом звуков и рояль, и эстраду, и огромный зал, где, как бледные черви, двигались, лоснились женские плечи и мужские лысины.

И вот Бахман вбежал. Не обратив внимания на грохот приветствий, поднявшийся как плотный конус и рассыпавшийся на отдельные потухающие хлопки, он стал вращать, жадно воркуя, деревянный диск стула и, погладив его, сел за рояль. Вытирая платком руки, он робкой улыбкой окинул первый ряд. Внезапно улыбка исчезла, и Бахман поморщился. Платок упал на пол. Он опять внимательно скользнул глазами по лицам; глаза его споткнулись на пустом месте посредине ряда. Тогда Бахман захлопнул крышку, встал, вышел вперед, к самому краю эстрады, и, закатив глаза, подняв, как балерина, согнутые руки, сделал два-три нелепых па. Публика застыла. В глубине вспыхнул смех. Бахман остановился, что-то проговорил, чего никто не расслышал, и затем широким, дугообразным движением показал всему залу кукиш.

— Это произошло так внезапно, — рассказывал мне Зак, — что я просто не успел прилететь на помощь. Я столкнулся с ним, когда после фиги — фиги вместо фуги — он удалялся со сцены. Я спросил: Бахман, куда? Он сказал нехорошее слово и шмыгнул в артистическую.

Тогда Зак сам вышел на эстраду, — и встречен был бурей гнева и гогота. Он выставил вперед ладонь и, добившись молчания, твердо обещал, что концерт состоится. Когда он вернулся в артистическую, то увидел, что Бахман как ни в чем не бывало сидит у стола и, шевеля губами, читает программку.

Зак, взглянув на присутствующих и значительно поведя бровью, метнулся к телефону и позвонил Перовой. Он долго не мог добиться ответа; наконец что-то щелкнуло, и донесся ее слабый голос.

— Приезжайте сию же минуту, — затараторил Зак, стуча ребром руки по телефонному фолианту. — Бахман без вас не хочет играть. Ужасный скандал! Публика начинает — что вы? — да-да, — я же говорю: не хочет. Алло! А, черт! Разъединили...

У Перовой был сильный жар. Доктор, посетивший ее в этот день дважды, с недоумением смотрел на ртуть, так высоко поднявшуюся по красным ступенькам в горячем стеклянном столбике. Повесив телефонную трубку — аппарат стоял у постели, — она, вероятно, радостно улыбнулась. Дрожа и покачиваясь, принялась одеваться. Нестерпимо кололо в груди, но сквозь туман и жужжанье жара звала радость. Мне почему-то кажется, что, когда она стала натягивать чулки, шелк цеплялся на ногти ее холодных ног. Кое-как причесавшись, запахнувшись в коричневую шубу, она, звякая тростью, вышла, велела швейцару кликнуть таксомотор. Черный асфальт блестел. Ручка автомобильной дверцы была ледяная и мокрая. Всю дорогу она, верно, улыбалась смутной и счастливой улыбкой, — и шум мотора и шипение шин сливались с жарким жужжанием в висках. Когда подъехала к театру, то увидела: толпы людей, открывая на ходу сердитые зонтики, вываливаются на улицу. Ее чуть не сшибли с ног. Протиснулась. В артистической Зак ходил взад и вперед, хватая себя то за левую щеку, то за правую.

— Я был в состоянии бешенства! — рассказывал он мне. — Пока я бился у телефона, маэстро бежал. Сказал, что идет в уборную, и улизнул. Когда Перова приехала, я набросился на нее — зачем не сидела в театре. Понимаете, я абсолютно упустил из виду, что она больна. Спрашивает: «Так, значит, он сейчас дома? Значит, мы разъехались?» А я был в состоянии бешенства и кричу: «Какое там, черт, дома! В кабаке. В кабаке. В кабаке!» Потом я махнул рукой и убежал. Нужно было спасать кассира.

И Перова, дрожа и улыбаясь, поехала разыскивать Бахмана. Она знала приблизительно, где искать его, и туда-то, в темный, страшный квартал, повез ее удивленный шофер. Доехав до той улицы, где, по словам Зака, накануне нашли Бахмана, она отпустила таксомотор и, постукивая тростью, пошла по щербатой панели, под косыми потоками черного дождя. Заходила она подряд во все кабаки, — взрывы грубой музыки оглушали ее, мужчины к ней нагло поворачивались, — она оглядывала дымное, кружащееся, разноцветное зальце и опять выходила в хлещущую ночь. Вскоре ей стало казаться, что она заходит все в один и тот же кабак, и мучительная слабость легла ей на плечи. Она шла, хромая и чуть слышно мыча, зажав в озябшей руке бирюзовую

шишку трости. Полицейский, некоторое время следивший за ней, подошел медленными профессиональными шагами, спросил ее адрес; властно и мягко подвел ее к черному ландо ночного извозчика. В зловонном, ухающем сумраке ландо она потеряла сознание, и, когда очнулась, дверца была открыта и кучер, в блестящей клеенчатой накидке, концом кнутовища легонько тыкал ее в плечо. Потом, когда она очутилась в теплом коридоре, ее охватило чувство полного равнодушия ко всему. Она толкнула дверь своего номера, вошла. Бахман, босой, в ночной рубахе под холмом клетчатого одеяла, накинутого на плечи, сидел у нее на постели и, барабаня двумя пальцами по мраморной доске ночного столика, ставил химическим карандашом точки на листке нотной бумаги. Он был так поглощен этим, что не заметил, как отворилась дверь. Перова испустила легкий, ахающий стон. Бахман встрепенулся. Одеяло поползло с его плеча.

Я думаю, это была единственная счастливая ночь во всей жизни Перовой. Думаю, что эти двое, полоумный музыкант и умирающая женщина, нашли в эту ночь слова, какие не снились величайшим поэтам мира. Когда, на следующее утро, негодующий Зак явился в гостиницу, он нашел Бахмана, глядевшего с восторженной тихой улыбкой на Перову, которая лежала без сознания под клетчатым одеялом поперек широкой постели. Неизвестно, о чем думал Бахман, глядя на пылающее лицо подруги и слушая ее судорожное дыхание; вероятно, он понимал по-своему волнение ее тела, трепет и жар болезни, мысль о которой не приходила ему в голову. Зак вызвал доктора. Бахман сперва недоверчиво, с робкой улыбкой глядел на них, потом вцепился доктору в плечо, отбежал, хлопнул себя по лбу и заметался, лязгая зубами. Она умерла в тот же день, не приходя в сознание. Выражение счастья так и не сошло у нее с лица. На ночном столике Зак нашел скомканную страницу нотной бумаги, но фиолетовые точки музыки, рассыпанные по ней, никто не мог разобрать.

— Я увез его сразу, — рассказывал мне Зак, — я боялся приезда мужа, сами понимаете. Бедняга Бахман, он был как тряпочка и все затыкал себе уши. Вскрикивал, как будто его щекотали: «Не надо звуков, звуков не надо!..». Я не знаю, собственно, что потрясло его так: между нами говоря, он никогда не любил этой несчастной женщины. Как-никак она погубила его. Бахман после похорон исчез

бесследно. Теперь вы еще найдете его имя в объявлениях пианольных фирм, но вообще-то он забыт. Только через шесть лет нас снова столкнула судьба. На один момент. Я ждал поезда на маленькой станции в Швейцарии. Был, помню, роскошный вечер. Я был не один. Да, — женщина. Но это уже из личной оперы. И вот, представьте себе, вижу, собралась небольшая толпа, окружила человека, — низенького роста, в черном пальтишке, в черной шляпе. Он совал монету в щелку музыкального автомата и при этом плакал навзрыд. Сунет, послушает мелкую музыку и плачет. Потом что-то испортилось. Монета застряла. Он стал расшатывать ящик, громче заплакал, бросил, ушел. Я узнал его сразу, — но, понимаете, я был не один, с дамой, кругом народ, любопытные, — неудобно было подойти, сказать: «Здравствуй, Бахман...»

ПИСЬМО В РОССИЮ

Друг мой далекий и прелестный, стало быть, ты ничего не забыла за эти восемь с лишком лет разлуки, если помнишь даже седых, в лазоревых ливреях, сторожей, вовсе нам не мешавших, когда, бывало, морозным петербургским утром встречались мы в пыльном, маленьком, похожем на табакерку музее Суворова. Как славно целовались мы за спиной воскового гренадера! А потом, когда выходили из этих старинных сумерек, как обжигали нас серебряные пожары Таврического сада и бодрое, жадное гаканье солдата, бросавшегося по команде вперед, скользившего на гололедице, втыкавшего с размаху штык в соломенный живот чучела, посредине улицы.

Странно: я сам решил, в предыдущем письме к тебе, не вспоминать, не говорить о прошлом, особенно о мелочах прошлого; ведь нам, писателям, должна быть свойственна возвышенная стыдливость слова, а меж тем я сразу же, с первых же строк, пренебрегаю правом прекрасного несовершенства, оглушаю эпитетами воспоминания, которого коснулась ты так легко. Не о прошлом, друг мой, я хочу тебе рассказывать.

Сейчас — ночь. Ночью особенно чувствуешь неподвижность предметов — лампы, мебели, портретов на столе.

Изредка за стеной в водопроводе всхлипывает, переливается вода, подступая как бы к горлу дома. Ночью я выхожу погулять. В сыром, смазанном черным салом берлинском асфальте текут отблески фонарей; в складках черного асфальта — лужи; кое-где горит гранатовый огонек над ящиком пожарного сигнала, дома — как туманы, на трамвайной остановке стоит стеклянный, налитый желтым светом столб, — и почему-то так хорошо и грустно делается мне, когда в поздний час пролетает, визжа на повороте, трамвайный вагон — пустой: отчетливо видны сквозь окна освещенные коричневые лавки, меж которых проходит против движения, пошатываясь, одинокий, словно слегка пьяный, кондуктор с черным кошелем на боку.

Странствуя по тихой, темной улице, я люблю слушать, как человек возвращается домой. Сам человек не виден в темноте, да и никогда нельзя знать наперед, какая именно парадная дверь оживет, со скрежетом примет ключ, распахнется, замрет на блоке, захлопнется; ключ с внутренней стороны заскрежещет снова, и в глубине, за дверным стеклом, засияет на одну удивительную минуту мягкий свет.

Прокатывает автомобиль на столбах мокрого блеска — сам черный, с желтой полоской под окнами, — сыро трубит в ухо ночи, и его тень проходит у меня под ногами. Теперь уже совсем пуста улица. Только старый дог, стуча когтями по панели, нехотя водит гулять вялую, миловидную девицу, без шляпы, под зонтиком. Когда проходит она под красным огоньком, который висит слева, над пожарным сигналом, одна тугая черная доля зонтика влажно багровеет.

А за поворотом, над сырой панелью, — так нежданно! — бриллиантами зыблется стена кинематографа. Там увидишь на прямоугольном, светлом, как луна, полотне более или менее искусно дрессированных людей; и вот с полотна приближается, растет, смотрит в темную залу громадное женское лицо с губами, черными, в блестящих трещинках, с серыми мерцающими глазами, — и чудесная глицериновая слеза, продолговато светясь, стекает по щеке. А иногда появится — и это, разумеется, божественно — сама жизнь, которая не знает, что снимают ее, — случайная толпа, сияющие воды, беззвучно, но зримо шумящее дерево.

Дальше, на углу площади, высокая, полная проститутка в черных мехах медленно гуляет взад и вперед, останавливаясь порой перед грубо озаренной витриной, где подрумяненная восковая дама показывает ночным зевакам свое изумрудное текучее платье, блестящий шелк персиковых чулок. Я люблю видеть, как к этой пожилой, спокойной блуднице подходит, предварительно обогнав ее и дважды обернувшись, немолодой, усатый господин, утром приехавший из Папенбурга. Она неторопливо поведет его в меблированные комнаты, в один из ближних домов, которого днем никак не отыщешь среди остальных, таких же обыкновенных. За входной дверью равнодушный, вежливый привратник сторожит всю ночь в неосвещенных сенях. А наверху, на пятом этаже, такая же равнодушная старуха мудро отопрет свободную комнату, спокойно примет плату.

А знаешь ли, с каким великолепным грохотом промахивает через мост, над улицей, освещенный, хохочущий всеми окнами своими поезд? Вероятно, он дальше предместья не ходит, но мрак под черным сводом моста полон в это мгновенье такой могучей чугунной музыки, что я невольно воображаю теплые страны, куда укачу, как только добуду те лишних сто марок, о которых мечтаю — так благодушно, так беззаботно.

Я так беззаботен, что даже иногда люблю посмотреть, как в здешних кабачках танцуют. Многие тут с негодованием (и в таком негодовании есть удовольствие) кричат о модных безобразиях, в частности о современных танцах, — а ведь мода — это творчество человеческой посредственности, известный уровень, пошлость равенства, — и кричать о ней, бранить ее — значит признавать, что посредственность может создать что-то такое (будь то образ государственного правления или новый вид прически), о чем стоило бы пошуметь. И разумеется, эти-то наши, будто бы модные, танцы на самом деле вовсе не новые: увлекались ими во дни Директории, благо и тогдашние женские платья были тоже нательные, и оркестры тоже — негритянские. Мода через века дышит: купол кринолина в середине прошлого века — это полный вздох моды, потом опять выдох, — сужающиеся юбки, тесные танцы. В конце концов, наши танцы очень естественны и довольно невинны,

а иногда — в лондонских бальных залах — совершенно изящны в своем однообразии. Помнишь, так Пушкин написал о вальсе: «однообразный и безумный». Ведь это все то же. Что же касается падения нравов... Знаешь ли, что я нашел в записках господина д'Агрикура? «Я ничего не видал более развратного, чем менуэт, который у нас изволят танцевать».

И вот, в здешних кабачках я люблю глядеть, как «чета мелькает за четой», как играют простым человеческим весельем забавно подведенные глаза, как переступают, касаясь друг друга, черные и светлые ноги, — а за дверью — моя верная, моя одинокая ночь, влажные отблески, гудки автомобилей, порывы высокого ветра.

В такую ночь на православном кладбище, далеко за городом, покончила с собой на могиле недавно умершего мужа семидесятилетняя старушка. Утром я случайно побывал там, и сторож, тяжкий калека на костылях, скрипевших при каждом размахе тела, показал мне белый невысокий крест, на котором старушка повесилась, и приставшие желтые ниточки там, где натерла веревка («новенькая», сказал он мягко). Но таинственнее и прелестнее всего были серповидные следы, оставленные ее маленькими, словно детскими, каблучками в сырой земле у подножья. «Потопталась маленько, а так — чисто», — заметил спокойно сторож, — и, взглянув на ниточки, на ямки, я вдруг понял, что есть детская улыбка в смерти.

Быть может, друг мой, и пишу я все это письмо только для того, чтобы рассказать тебе об этой легкой и нежной смерти. Так разрешилась берлинская ночь.

Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое — вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, — рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, — я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, — школьники будут скучать над историей наших потрясений, — все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, — в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество.

РОЖДЕСТВО

I

Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, — когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью — то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов.

Флигель соединен был деревянной галереей — теперь загроможденной сугробом — с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согревать его, хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые изразцовые печки истопить — дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновенье в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистатель-

ный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан и что на склоне сугроба — песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнул с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука теребит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, — радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, — он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всею жизнью наполненный, гроб в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, —

каждый удар звонко отпрыгивал в небо, — а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

III

После обеда он поехал туда — в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимые следы его быстрых сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, не зимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, — и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя — чуть коптящая лампа — и скользнуло его большое, бородатое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкап вроде конторского, с выдвижными ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, — и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом,

стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок — кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли — нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.

IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья — груды серого инея — отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

— Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

— Праздничек завтра.

— Не надо, убери... — поморщился Слепцов, и сам подумал: «Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?»

Иван мягко настаивал:

— Зеленая. Пускай постоит...

— Пожалуйста, убери, — повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына —

сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: «Ходил по болоту до Боровичей...», «Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую „Фрегат Палладу“», «Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел...».

Слепцов поднял голову, проглотил что-то — горячее, огромное. О ком это сын пишет?

«Ездил, как всегда, на велосипеде», — стояло дальше. «Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость...»

— Это немыслимо, — прошептал Слепцов, — я ведь никогда не узнаю...

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающий на полях.

«Сегодня — первый экземпляр траурницы. Это значит — осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую...»

«Он ничего не говорил мне...» — вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером; слон — как видишь его сзади — две толстых тумбы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

— Я больше не могу... — простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: — Не—могу—больше...

«Завтра Рождество, — скороговоркой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...»

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

— ...Смерть, — тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь —

горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...

И в то же мгновение щелкнуло что-то — тонкий звук — как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья — еще слабые, еще влажные — все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, — и на стене уже была — вместо комочка, вместо черной мыши — громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темнобархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА

Супруги Келлер вышли из театра поздно. В этом спокойном германском городе, где воздух был чуть матовый и на реке вот уже восьмой век поперечная зыбь слегка тушевала отраженный собор, Вагнера давали с прохладцей, со вкусом, музыкой накармливали до отвалу. Из театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их по мертвым улицам к железной калитке степенного особнячка. Келлер, старый коренастый немец, очень похожий на

президента Крюгера, первый сошел на панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев. Свет на мгновение выхватил крахмальную грудь Келлера и капли стекляруса на платье его жены, которая, выпростав полную ногу, в свой черед лезла из автомобиля. В прихожей их встретила горничная и, с разбегу, испуганным шепотом сообщила им о посещении Чорба. Пухлое, еще свежее лицо Варвары Климовны Келлер задрожало и покраснело от волнения.

— Он вам сказал, что она больна?

Горничная зашептала еще шибче. Келлер толстой ладонью погладил себя по седому бобрику, и его большое, несколько обезьянье лицо, с длинным надгубьем и с глубокими морщинами, по-старчески насупилось.

— Не могу же я ждать до завтра. Мы сию минуту поедем туда, — тряся головой, забормотала Варвара Климовна и грузно покружилась на месте, ловя конец вуали, которой был покрыт ее русый парик. — Господи Боже мой... Недаром около месяца не было писем.

Келлер толчком кулака расправил складной цилиндр и проговорил своим точным, несколько гортанным русским языком:

— Этот человек не в своем уме. Как он смеет, если она больна, завозить ее опять в эту гнусную гостиницу...

Но, конечно, они ошибались, думая, что дочь их больна. Чорб так сказал горничной просто потому, что это было легче всего выговорить. На самом деле он вернулся из-за границы один и только теперь сообразил, что ведь придется все-таки объяснить, как жена его погибла и почему он ничего не писал. Все это было очень трудно. Как объяснить, что он желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его и не разделяя его ни с кем? Ему сдавалось, что ее смерть — редчайший, почти неслыханный случай, что ничего не может быть чище вот такой именно смерти — от удара электрической струи, которая, перелитая в стекла, дает самый чистый и яркий свет.

И с тех пор, как в весенний день на белом шоссе в десяти верстах от Ниццы она, смеясь, тронула живой провод бурей поваленного столба, — весь мир для Чорба сразу отшумел, отошел, и даже мертвое тело ее, которое он нес на руках до ближайшей деревни, уже казалось ему чем-то

чужим и ненужным. В Ницце, где ее должны были хоронить, неприятный чахоточный пастор напрасно добивался от него подробностей, — он только вяло улыбался, целый день сидел на гальке пляжа, пересыпая из ладони в ладонь цветные камушки, — и внезапно, не дождавшись похорон, поехал обратно в Германию через все те места, где в течение свадебного путешествия они побывали вдвоем. В Швейцарии, где они провели зиму и где доцветали теперь яблони, он ничего не узнал, кроме гостиниц; зато в Шварцвальде, по которому они прошли еще осенью, холодноватая весна не мешала воспоминанию. И так же, как на южном пляже, он старался найти тот единственный, круглый, черный, с правильным белым пояском, камушек, который она показывала ему накануне последней прогулки, — точно так же он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом: особенный очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную ель и мостик над белым потоком, и то, что было, пожалуй, роковым прообразом, — лучевой размах паутины в телеграфных проволоках, унизанных бисером тумана. Она сопровождала его: быстро ступали ее высокие сапожки, и все двигались, двигались руки, то срывая листик с куста, то мимоходом поглаживая скалистую стену, — легкие, смеющиеся руки, которые не знали покоя. Он видел ее маленькое лицо, сплошь в темных веснушках, и глаза, широкие, бледновато-зеленые, цвета стеклянных осколков, выглаженных волнами. Ему казалось, что, если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, — ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда. Вот только ночи были невыносимы... По ночам ее мнимое присутствие становилось вдруг страшным, — он почти не спал во время этого трехнедельного путешествия и теперь приехал совсем хмельной от усталости в тихий город, где встретился и венчался с ней, на вокзал, откуда прошлой осенью они вместе уехали.

Было около восьми часов вечера. За домами башня собора отчетливо чернела на червонной полосе зари. На площади перед вокзалом стояли гуськом все те же дряхлые извозчики. Покрикивал тот же газетчик глухим вечерним голосом. Тот же черный пудель с равнодушными глазами поднимал тонкую лапу у рекламной тумбы прямо на красные буквы афиши: «Парсифаль».

У Чорба был ручной чемодан и большой желтый сундук. Он покатил через город на извозчике. Кучер лениво пошлепывал вожжами, придерживая одной рукой сундук. Чорб помнил, что та, которую он никогда не называл по имени, любила ездить на извозчиках.

В переулке, за углом городской оперы, была старая трехэтажная, дурного пошиба гостиница, в которой сдавались комнаты и на неделю, и на час, — черный, в географических облупах дом, с ободранной кисеей за мутными стеклами и с неприметной входной дверью, никогда не запиравшейся на ключ. Бледный, развязный лакей повел Чорба по извилистому коридору, отдающему сыростью и капустой, и когда Чорб вошел за ним в номер, то сразу узнал — по розовой купальщице в золоченой раме над кроватью, — что это та самая комната, где он провел с женой первую совместную ночь. Ей все казалось забавным тогда: и толстяк без пиджака, которого рвало в коридоре, и то, что они выбрали почему-то такую дрянную гостиницу, и то, что в умывальной чашке был чудесный светлый волос, но пуще всего ее смешило то, как они скрылись из дому. Тотчас же по приезде из церкви домой она побежала к себе переодеться, — пока внизу собирались гости к ужину. Келлер в добротном фраке, с рыхлой улыбкой на обезьяньем лице, похлопывал по плечу то того, то другого, сам подавал шнапсы, — а близких друзей Варвара Климовна водила попарно осматривать спальню, предназначенную новобрачным, — с умилением, пришептывая, указывала на исполинскую перину, на апельсиновые цветы, на две пары новеньких ночных туфель — большие клетчатые и маленькие красные с помпончиками, — поставленных рядышком на коврике, по которому готическим шрифтом шла надпись: «Мы вместе до гроба». Затем все двинулись к столам, а Чорб с женой, мгновенно сговорившись, бежали с черного хода и только на следующее утро, за полчаса до отхода экспресса, явились в дом за вещами. Варвара Климовна всю ночь прорыдала; муж ее, для которого Чорб — нищий эмигрант и литератор — был всегда человек подозрительный, проклинал выбор дочери, расход на вино, полицию, которая ничего не могла сделать... И потом, когда молодые уехали, старик ходил смотреть на гостиницу в переулке за оперой, — и с тех пор этот черный, подслеповатый дом стал

для него чем-то отвратительным и влекущим, как воспоминание о преступлении.

Пока вносили сундук, Чорб неподвижно глядел на розовую олеографию. Когда дверь закрылась, он нагнулся над сундуком, отпер его. В углу, под отвернутым лоскутом обойной бумаги, шуркнула и покатилась мышь. Он повернулся на каблуке с быстрым содроганием. Голая лампочка, висевшая на шнуре с потолка, едва-едва качалась. Тень шнура скользила поперек зеленой кушетки, ломаясь по сгибу. На этой самой кушетке он тогда спал. Жена дышала так по-детски ровно. В ту ночь он только поцеловал ее в душку, — больше ничего.

Мышь завозилась опять. Есть такие маленькие звуки, что страшнее канонады. Чорб оставил сундук, прошелся раза два по комнате. Ночной мотылек звонко ударился о лампочку. Он рванул дверь и вышел.

Спускаясь по лестнице, он чувствовал, как тяжело устал, а когда оказался в переулке, голова у него закружилась от мутной синевы майской ночи. Свернув на бульвар, он пошел быстрее. Площадь. Каменный всадник. Черные облака городского сада. Теперь цвели каштаны, а тогда стояла осень. Они долго вдвоем гуляли накануне свадьбы. Как хорош был земляной, влажный, слегка фиалковый запах вялых листьев, покрывавших панель... Небо в те пасмурные, прелестные дни бывало тускловато-белым, и, посреди черной мостовой, ветки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию. Между серых особняков неподвижно и мягко желтели деревья, а перед ее домом увядал тополь, и листья его были цвета прозрачного винограда. За решеткой мелькали стволы берез, — иной в плотном чехле плюща, — и он рассказывал, что в России не бывает плюща на березах, а она говорила, что рыжеватый оттенок их мелкой листвы напоминает пятна нежной ржавчины на выглаженном белье. Вдоль панели стояли дубы и каштаны; по черной коре шла бархатная прозелень; то и дело срывался лист, летел наискось через улицу, как лоскуток оберточной бумаги. Она старалась поймать его на лету при помощи лопатки, которую нашла близ груды розовых кирпичей там, где чинили улицу. Поодаль из трубы рабочего фургона струился сизый дымок, наклонялся, таял между веток, — и отдыхавший каменщик смотрел, подбоченясь, на легкую, как блеклый лист, барышню, плясав-

шую с лопаткой в поднятой руке. Она прыгала и смеялась. Чорб, слегка горбясь, шагал за нею, — и ему казалось, что вот так, как пахнут вялые листья, пахнет само счастье.

Теперь он едва узнавал эту улицу, загроможденную ночною пышностью каштанов. Впереди горел фонарь, над стеклом склонялась ветка, и несколько листьев, на конце пропитанных светом, были совсем прозрачные. Чорб подошел. Тень калитки ломаным решетом хлынула к нему с панели, опутала ему ноги. За оградой, за туманной полосой гравия, вырос темный фасад знакомого дома. Одно окно было открыто и освещено. В этом янтарном провале горничная широким движением стелила яркую простыню. Чорб громко и коротко позвал ее. Одной рукой он держался за калитку, и росистое ощущение железа под ладонью было самым острым из всех воспоминаний.

Горничная уже выбегала к нему. Как она рассказывала Варваре Климовне, ее раньше всего поразило то, что Чорб оставался молча стоять на панели, хотя она сразу отперла калитку. «Он был без шапки, — рассказывала она, — и свет от фонаря падал ему на лоб, и лоб был мокрый от пота, и волосы ко лбу пристали. Я сказала, что господа в театре, и спросила его, почему он один. У него глаза очень страшно блестели, и он как будто давно не брился. Он тихо сказал: „Передайте, что она больна". Я спросила: „Где же вы остановились?" Он сказал: „Все там же", — а потом: „Это все равно. Я завтра утром зайду". Я предложила ему подождать, — но он ничего не ответил, повернулся и ушел».

Так Чорб возвращался к самым истокам своих воспоминаний. Это был мучительный и сладкий искус, который теперь подходил к концу. Оставалось провести всего одну ночь в той первой комнате их брака, а уж завтра — искус будет пройден, и образ ее станет совершенным.

И пока он шел обратно к гостинице по бульвару, где на всех скамьях, в синей темноте, сидели туманные фигуры, он вдруг понял, что, несмотря на усталость, он не заснет один в той комнате с голой лампочкой и шепотливыми углами. Он вышел на площадь и побрел по главной улице, — и уже знал, что нужно сделать. Но искал он долго: город был тихий, целомудренный, — и тот потайной переулок, где продавалась любовь, был Чорбу неизвестен. И только после часу беспомощного блуждания, от которого у него

горели пятки и шумело в ушах, он случайно в тот переулок попал и сразу подошел к женщине, окликнувшей его.

— Ночь, — сказал Чорб сквозь зубы.

Женщина склонила набок голову, покачала сумкой и ответила:

— Двадцать пять.

Он кивнул. Только гораздо позже, случайно взглянув на нее, Чорб равнодушно заметил, что она недурна собой, хотя очень потасканная, и что волосы у нее светлые, стриженые.

Она не раз уже, с другими мужчинами, бывала в гостинице, где стоял Чорб, — и бледный, востроносый лакей, сбегавший по лестнице, дружелюбно ей подмигнул. Пока они шли по коридору, было слышно, как за одной из дверей, равномерно и тяжко, скрипела кровать, словно кто-то пилил бревно. И через несколько дверей, из другого номера опять донесся такой же ноющий звук, — и, проходя мимо, женщина с холодной игривостью оглянулась на Чорба.

Он молча ввел ее в свою комнату и сразу, с глубоким предвкушением сна, стал сдергивать воротник с запонки. Женщина подошла вплотную к нему, спросила с улыбкой:

— А как насчет маленького подарка?

Чорб сонно и рассеянно посмотрел на нее, с трудом сообразил, о чем она говорит.

Получив деньги, она аккуратно сложила их в сумку и, легонько вздохнув, опять подошла, тряхнула волосами:

— Мне раздеваться?

— Да, ложись, — пробормотал Чорб, — утром еще дам.

Она стала поспешно расстегивать пуговки кофточки и все время искоса поглядывала на Чорба, слегка удивляясь его рассеянной угрюмости. Быстро и неряшливо раздевшись, он лег в постель, повернулся к стене.

«Этот, вероятно, с фокусом», — смутно подумала женщина. Медленно она сложила свою сорочку, положила на стул. Чорб уже крепко спал.

Женщина побродила по комнате и, заметив, что крышка сундука, стоявшего у окна, чуть приоткрыта, опустилась на корточки, заглянула под край. Мигая и осторожно вытягивая голую руку, она нащупала женское платье, чулок, какие-то шелковые лоскуточки — кое-как сложенные и пахнувшие так хорошо, что ей стало грустно.

Она разогнулась, зевая, почесала бедро и, как была — голая, в одних чулках, подошла к окну, отодвинула штору. За шторой рама была отворена, и в бархатной бездне улицы виден был угол оперы, черное плечо каменного Орфея, выделявшееся на синеве ночи, и ряд огоньков по туманному фасаду, наискось уходившему в сумрак. Там, далеко, на полукруглых слоях освещенных ступеней кишели, вытекая из яркой проймы дверей, мелкие, темные силуэты, и к ступеням скользили, играя фонарями и блестя гладкими крышами, автомобили. И только когда кончился разъезд и огоньки погасли, женщина опустила штору и, выключив свет, легла в постель, подле Чорба. Засыпая, она думала о том, что уже раза два была именно в этой комнате, запомнила розовую картину на стене.

Спала она не больше часу: ее разбудил страшный истошный вопль. Это крикнул Чорб. Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую с ним рядом. Он крикнул ужасно, всем животом. Белая женская тень соскочила с постели. Когда она, вся дрожа, зажгла свет, — Чорб сидел в спутанных простынях, спиной к стене, и сквозь растопыренные пальцы сумасшедшим блеском горел один глаз. Потом он медленно открыл лицо, медленно узнал женщину. Она, испуганно бормоча, торопливо надевала сорочку.

И Чорб облегченно вздохнул и понял, что искус кончен. Он перебрался на кушетку и, сжимая руками волосатую голень, с равнодушной улыбкой смотрел на женщину. Эта улыбка еще больше испугала ее, и, отвернувшись, она быстро застегнула последний крючок, зашнуровала ботинки, стала надевать шляпу.

И в это мгновение в коридоре зазвучали голоса и шаги.

— Но он вместе с дамой... — уныло повторял голос лакея.

И гортанный раздраженный голос настаивал:

— Я же говорю вам, что это — моя дочь.

Шаги остановились за дверью. Затем раздался стук.

Тогда женщина схватила со стола сумку и решительно открыла дверь. Перед ней стоял изумленный старый господин в матовом цилиндре, с жемчужиной на белой груди рубашки, из-за его плеча выглядывала полная, заплаканная дама в вуали на волосах, а сзади маленький, бледный лакей поднимался на цыпочки, тараща глаза и делая

пригласительные движения рукой. Женщина поняла его знак и проскочила в коридор, мимо старика, который все с тем же недоумением повернул к ней голову — и затем вместе с дамой переступил порог. Дверь закрылась. Женщина и лакей остались стоять в коридоре, испуганно посмотрели друг на друга и, нагнувшись, прислушались. Но в комнате было молчание. Казалось невероятным, что там, за дверью, трое людей. Ни единый звук не доносился оттуда.

— Они молчат, — шепнул лакей и приложил палец к губам.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕРЛИНУ

Утром я побывал в Зоологическом Саду, а теперь вхожу с приятелем, постоянным моим собутыльником, в пивную: голубая вывеска, по ней белыми буквами начертано: «Львиная Брага», и сбоку подмигивает портрет льва, держащего кружку пива. Усевшись, я рассказываю приятелю о трубах, трамваях и прочих важных вещах.

I
ТРУБЫ

Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная черная труба, и на аршин подальше — другая, а там — третья, четвертая: железные кишки улиц, еще праздные, еще не спущенные в земляные глубины, под асфальт. В первые дни после того, как их гулко свалили с грузовиков, мальчишки бегали по ним, ползали на четвереньках сквозь эти круглые туннели, но через неделю уже больше никто не играл, — только валил снег. И теперь, когда в матовой полутьме раннего утра я выхожу из дома, то на каждой черной трубе белеет ровная полоса, а по внутреннему скату, у самого жерла одной из них, мимо которой как раз сворачивают рельсы, отблеск еще освещенного трамвая взмывает оранжевой зарницей. Сегодня на снеговой полосе кто-то пальцем написал «Отто», и я подумал, что такое имя, с двумя белыми «о» по бокам и четой тихих согласных посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу,

лежащему тихим слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной.

II
ТРАМВАЙ

Трамвай лет через двадцать исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чувствую в нем что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. Все в нем немного неуклюже, шатко, и когда, при слишком быстром повороте, перо соскакивает с провода и кондуктор, или даже один из пассажиров, перегнувшись через вагонную корму и глядя вверх, тянет, трясет веревку, норовя привести перо в должное положение, я всегда думаю о том, что возница дилижанса, должно быть, ронял иногда кнут, и осаживал свою четверку, и посылал за кнутом парня в долгополой ливрее, сидевшего рядом на козлах и пронзительно трубившего в рожок, пока, гремя по булыжникам, дилижанс ухал через деревню.

У трамвайного кондуктора, выдающего билеты, совсем особые руки. Они так же проворно работают, как руки пианиста, — но вместо того, чтобы быть бескостными, потными, с мягкими ногтями, руки кондуктора — такие жесткие, что, когда, вливая ему в ладонь мелочь, случайно дотронешься до этой ладони, обросшей словно грубым, сухим хитином, становится нехорошо на душе. Необычайно ловкие, ладные руки — несмотря на грубость их и толщину пальцев. Я с любопытством гляжу, как, зажав черным квадратным ногтем билетик, он прокалывает его в двух местах, как шарит пятерней в кожаном кошеле, загребая монеты для сдачи, и тотчас кошель захлопывает, дергает тренькающий шнур или ударом большого пальца отпахивает окошечко в передней двери, чтобы дать билеты стоящим на площадке. И при этом вагон качает, люди в проходе хватаются за висячие ремни, при каждом толчке подаются то вперед, то назад, — но он не уронит ни одной монеты, ни одного лоскутка, оторванного от билетного ролика. Теперь, в зимние дни, передняя дверца завешана внизу зеленым сукном, окна помутнели от мороза, у остановки, на краю панели, толпятся рождественские елки, — и зябнут у пассажиров ноги, и кондукторская рука подчас бывает в серой вязаной митенке. На конечной станции передний

вагон отцепляется, переходит на другие рельсы, обходит оставшийся, возвращается с тыла, — и есть что-то вроде покорного ожидания самки в том, как второй вагон ждет, чтобы первый, мужеский, кидая вверх легкое трескучее пламя, снова подкатил бы, прицепился. И мне вспоминается, как, лет восемнадцать тому назад, в Петербурге, отпрягали лошадей, вели их вокруг пузатой синей конки.

Конка исчезла, исчезнет и трамвай, — и какой-нибудь берлинский чудак-писатель в двадцатых годах двадцать первого века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой техники столетний трамвайный вагон, желтый, аляповатый, с сиденьями, выгнутыми по-старинному, — и в музее былых одежд отыщет черный, с блестящими пуговицами, кондукторский мундир, — и, придя домой, составит описание былых берлинских улиц. Тогда все будет ценно и полновесно — всякая мелочь: и кошель кондуктора, и реклама над окошком, и особая трамвайная тряска, которую наши правнуки, быть может, вообразят; все будет облагорожено и оправдано стариной.

Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной, — в те дни, когда человек, надевший самый простенький сегодняшний пиджачок, будет уже наряжен для изысканного маскарада.

III

РАБОТЫ

Вот образы разных работ, которые я наблюдаю из трамвайного окна.

На перекрестке вдоль рельс разворочен асфальт; четверо рабочих поочередно бьют молотами по котырге; первый ударил, второй уже опускает размашистым и точным движением молот; второй молот грянул и опять высоко поднимается, пока рушатся равномерно, один за другим, третий, четвертый. Я слушаю их неторопливый звон, чугунные куранты, четыре повторяющиеся ноты.

Молодой белый пекарь в колпаке промахнул на трехколесном велосипеде: есть что-то ангельское в человеке, осыпанном мукой. Дребезжит фургон с ящиками на крыше, в ящиках изумрудно поблескивают ровные ряды пустых бутылок, собранных по кабакам. Таинственно провезли на телеге длинную черную лиственницу: она лежит плашмя, макушка мягко вздрагивает, а корни с землей, завернутые в плотную рогожу, образуют у ее основания огромную, желтовато-бурую бомбу. Почтальон подставил мешок под кобальтовый почтовый ящик, нацепляет его снизу, и тайно, незримо, с поспешным шелестом, ящик опоражнивается, и почтальон захлопывает квадратную пасть отяжелевшего мешка. Но, быть может, прекраснее всего — бланжевые, в розовых подтеках и извилинах, туши, наваленные на грузовик, и человек в переднике, в кожаном капюшоне с долгим затыльником, который берет тяжкую тушу на спину и, сгорбившись, несет ее через панель в румяную лавку мясника.

IV
ЭДЕМ

Во всяком большом городе есть своего рода земной рай, созданный человеком.

Если церкви говорят нам об Евангелии, то зоологические сады напоминают нам о торжественном и нежном начале Ветхого Завета. Жаль только, что этот искусственный рай — весь в решетках, но, правда, не будь оград, лев пожрал бы лань. Все же это, конечно, рай, поскольку человек способен рай восстановить. И недаром против берлинского Зоологического Сада большая гостиница названа так: гостиница «Эден»[1].

Теперь, зимой, когда тропических зверей спрятали, я советую посещать дом земноводных, насекомых, рыб. В полутемной зале ряды озаренных витрин по бокам похожи на те оконца, сквозь которые капитан Немо глядел из своей подводной лодки на морские существа, вьющиеся между развалин Атлантиды. За этими витринами, в сияющих углублениях, скользят, вспыхивая плавниками, прозрачные рыбы, дышат морские цветы, и на песочке лежит живая

[1] Рай *(нем.)*.

пурпурная звезда о пяти концах. Вот, значит, откуда взялась пресловутая эмблема: с самого дна океана — из темноты потопленных Атлантид, давным-давно переживших всякие смуты — опыты глуповатых утопий — и все то, что тревожит нас.

И конечно, нужно посмотреть, как кормят черепах. Эти тяжкие, древние роговые купола привезены с Галапагосских островов. Из-под пятипудового купола медленно (как задержанный снимок в кинематографе), с какой-то дряхлой опаской, высовывается морщинистая плоская голова и две ни на что не способные лапы. И толстым, рыхлым языком, чем-то напоминающим язык гугнивого кретина, которого вяло рвет безобразной речью, черепаха, уткнувшись в кучу мокрых овощей, неопрятно жует листья.

Но этот купол над ней, — ах, этот купол, — вековой, потертый, тусклая бронза, великолепный груз времен...

V

ПИВНАЯ

— Это очень плохой путеводитель, — мрачно говорит мой постоянный собутыльник. — Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлинский Аквариум?

Пивная, в которой мы с ним сидим, состоит из двух помещений, одно большое, другое поменьше. В первом стоит посредине бильярд, по углам — несколько столиков, против входной двери — стойка, и за ней бутылки на полках. В простенке висят, как бумажные знамена, газеты и журналы на коротких древках. В глубине — широкий проход, и там видна тесная комнатка с зеленым диваном вдоль стены, под зеркалом, из которого вываливается полукруглый стол, покрытый клетчатой клеенкой, и прочно становится перед диваном. Эта комната относится к убогой квартирке хозяина. Там жена его, полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребенка.

— Неинтересно, — утверждает с унылым зевком мой приятель. — Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого...

Из нашего угла подле стойки очень отчетливо видны в глубине, в проходе, — диван, зеркало, стол. Хозяйка

убирает со стола посуду. Ребенок, опираясь локтями, внимательно разглядывает иллюстрированный журнал, надетый на рукоятку.

— Что вы там увидели? — спрашивает мой собутыльник и медленно, со вздохом, оборачивается, тяжко скрипя стулом.

Там, в глубине, ребенок остался на диване один. Ему оттуда видно зальце пивной, где мы сидим, — бархатный островок бильярда, костяной белый шар, который нельзя трогать, металлический лоск стойки, двое тучных шоферов за одним столиком и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно привык, его не смущает эта близость наша, — но я знаю одно: что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили супом, — запомнит и бильярд, и вечернего посетителя без пиджака, отодвигавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по шару, — и сизый дым сигар, и гул голосов, и отца за стойкой, наливавшего из крана кружку пива.

— Не понимаю, что вы там увидели, — говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне.

И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?

РОМЭНЪ РОЛАНЪ

НИКОЛКА ПЕРСИКЪ

(COLAS BREUGNON)

ПЕРЕВЕЛЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

ВЛАДИМІРЪ СИРИНЪ

СЛОВО

1922

...ТЕЛЬСТВО «СЛОВО»

РОМЭНЪ РОЛЛАНЪ

НИКОЛКА ПЕРСИКЪ

ПЕРЕВОДЪ В СИРИНА

Ромен Роллан
Николка Персик
Перевод В. Сирина
— 1922 —

Святому Мартыну Галльскому,
покровителю города Клямси

Святой Мартын и пьян, и сыт всегда.
Пускай под мельницей бежит вода...

(Поговорка XVI века).

Предисловие автора

Читатели романа «Jean-Christophe», вероятно, не ожидают новой этой книги. Она удивит их не более, чем удивила меня.

Готовил я иные произведения — драму и роман на современные темы, в несколько мрачном духе «Jean-Christophe». Мне пришлось внезапно отложить набросанные заметки ради беспечного произведения, о котором я и не думал накануне.

Оно как бы порыв свободы, после десятилетней неволи в броне «Jean-Christophe», которая, хоть сперва и была мне в меру, впоследствии стала слишком узка. Я почувствовал непреодолимую потребность в вольном галльском веселии, да, вольном до дерзости. К тому же возврат на родное пепелище, которого я не посещал с детства, снова сблизил меня с краем моим, с нивернейской Бургундией, и разбудил в душе целое прошлое, уснувшее, думал я, навеки, — всех Николок Персиков, таящихся во мне. Пришлось мне за них говорить. Проклятые эти болтуны еще не наговорились в жизни своей! Воспользовались они тем, что у одного из их правнуков оказалась счастливая способность писать (они часто мечтали о ней!), чтобы взять меня в письмоводы. Тщетно я уклонялся:

— Вы, дедушка, достаточно болтали на веку своем. Дайте и мне поговорить. Теперь мой черед!

Они возражали:

— Малыш, ты говорить будешь после. Начнем с того, что у тебя нечего рассказывать более занимательного. Садись, слушай, ни слова не пропусти... Ну-ка, внучек, сделай это ради меня, старика! После ты сам поймешь, после, когда будешь на месте нашем... Самое-то горькое в смерти — это, видишь ли, молчание...

Что поделаешь? Пришлось мне уступить, писать под диктовку. Ныне кончено, и вот я снова свободен (по крайней мере, я так полагаю). Примусь опять за прерванную нить

собственных мыслей, если только иной из старых болтунов моих не вздумает снова из гроба встать, чтобы воспоминания свои передать потомству.

Не смею думать, что общество моего Николки столько же развлечет читателей, сколько развлекало автора. Пусть они все же берут книгу эту как есть, в ней есть круглота, прямота, не норовит она изменить или объяснить мир, ни политики, ни метафизики в ней нет, это книга чисто французская, что смеется над жизнью, потому что любит ее и чувствует себя прекрасно. Одним словом, как говорит Орлеанская Дева (не обойтись без ее имени в заголовке галльского рассказа), друзья, «prenez en gré», — не взыщите.

Май 1914

ЖАВОРОНОК В СРЕТЕНЬЕ

2 февраля

Слава тебе, святой Мартын! Дела не идут. Не стоит из сил выбиваться. Достаточно я поработал в жизни своей. Пора поразвлечься немного. Вот сижу у стола, справа — кружка вина, слева — чернильница, тут же тетрадь, новая, чистая, мне раскрывает объятья. За здоровье твое, дружок, — и давай побеседуем! Внизу, в доме, бушует моя жена, на дворе — зимний ветер дует. Говорят, будет война. Как радостно снова быть вместе, друг против друга, голубок ты мой, толстячок! (Тебе говорю, тебе, — рожа радужная, любопытная, рожа веселая, с длинным бургундским носом, посаженным криво, словно шапка ухарская...) Но что означает, скажи мне, пожалуйста, эта странная радость, — отчего мне так любо склоняться в одиночестве зорком над своим старым лицом, беспечно блуждать по морщинам его, и, как из пьяных бочек моих (да ну их!) без передышки тянуть, в погребе сердца, вино старое воспоминаний? Еще можно, пожалуй, так грезить, но писать, о чем грезишь, — зачем! Грезить, — сказал я? Нет. У меня широко ведь открыты глаза, глаза кроткие и насмешливые, у висков в морщинки собранные. Пусть тешат других пустые мечтанья! Я же передаю только то, что сам видел, что сам говорил и делал... Не безумье ли это? Для кого я пишу? Уж конечно, пишу не для славы; я не темная тварь, знаю я цену себе, слава Богу! Для кого же? Для внуков своих? Но пройдет десять лет, и что от тетради останется? Ревнива старуха моя, — что находит она, то сжигает. Для кого же, ответь наконец? Ну так вот: для себя! Лопну я, коль не буду писать. Недаром я внук своего кропотливого деда, который не мог бы уснуть, не отметив пред тем, чтобы лечь, сколько кружек он выпил и сколько сблевнул. Говорить, говорить я

хочу, а в своем городке, на ристаньях словесных, не могу развернуться как следует. Все я высказать должен, — и подобен я в том брадобрею Мидаса. У меня слишком длинный язык. Если порою подслушают, мне не избегнуть костра. Но что же поделаешь! Будешь бояться всего — задохнешься от скуки. Люблю, как громадные белые волы, — пережевывать вечером пищу дневную. Как приятно потрагивать, щупать, поглаживать все, что за день ты поднял, приметил, подумал; как приятно облизывать, долго вкушать (так, чтоб таяла сладость на языке), смаковать бесконечно все то, чем еще не успел насладиться, все, что жадно ловил на лету! Как приятно дозором свой маленький мир обходить и себе говорить: я им владею. Здесь я хозяин и князь. Ни морозы, ни бури не тронут его. Ни король, ни Папа, ни враг. Ни даже старуха моя брюзжащая.

Итак, перечислим теперь все, что есть в этом мире.

Во-первых: самое лучшее из всего, что принадлежит мне, конечно, — он, Николка Персик, добрый малый, да бургундец, круглый нравом и брюшком, — и хоть юности не первой (что таить — шестой десяток!) — крепче дуба, целы зубы, взор — что свежая плотва, — и, седея потихоньку, не лысеет голова. Не скажу, что, будь она белокурой, вид ее мне бы не нравился, не утверждаю также, что если бы вы предложили мне помолодеть на двадцать или тридцать лет, — я с отвращеньем бы отвернулся. Но все же целых десять пятисвечников — прекрасная вещь!

Смейтесь, смейтесь, юнцы. Не всякий, кто хочет, доходит до этого. Шутка ли сказать, — в продолженье полвека по всем я скитался дорогам французским, да в смуту еще... Боже! Как в спину нас жалили, друже, и зной и дожди! Нас природа то печь принималась, то мыть... И пекла же, и мыла же. Я — старый, смуглый мешок; чего только в него не совал я! На, выложи: горести, радости; тайные хитрости, жизненный ветер и жизненный опыт; солома и сено; виноградные гроздья и смоквы; много сладких плодов и немало зеленых; розы и плевелы; тысяча разных вещей, виденных, читанных, впитанных, — и пережитых. Все это кое-как свалено, спутано. Разобрать хорошо бы... Стой! Куда ты, Николка? Разберемся мы завтра. Если сегодня начну, никогда не докончу рассказа... Надо составить сперва краткий список товаров, которых я ныне хозяин. У меня есть дом, жена, сына четыре и дочь одна (слава Богу, замужем

она), — один зять (нельзя было его не взять!), восемнадцать внучат, серый осел, пес, шесть кур да свинья. Вот как я богат! Напялим-ка очки, разглядим вблизи сокровища эти. Жена, дети — все так, но от дальнейшего осталось только воспоминанье. Войны прошли, прошли и друзья, и враги. Свинья просолена, осел сгинул, погреб выпит, курятник общипан. Но жена моя, но жена, — черт возьми — осталась она, осталась! Послушайте, как она орет. Ни на миг не могу позабыть свое счастье: она моя, моя, красавица эта, я — единственный обладатель ее. Эх, Персик, счастливый мерзавец! Тебе все завидуют. Так что ж, господа, хоть словечко скажите; отдаю, берите! Чем не хозяйка она? Женщина добрая, трезвая, честная — словом, все качества есть (только нечего есть, а я, грешный, признаюсь, что всем тощим добродетелям, вместе взятым, предпочитаю один пухленький порок... Впрочем, за неимением лучшего — будем добродетельны, так Бог велит). Ай, как она мечется, руками машет — Маша, угловатая наша! Весь дом наполняет телом своим долговязым, рыщет, хлопочет, рычит, бурчит, грохочет, гонит пыль и покой! Вот уже скоро тридцать лет, как мы вместе. Черт его знает, — отчего так вышло. Я любил другую, та только смеялась надо мной. Она же именно меня хотела, хоть мне не нужно было от нее ничего. В те дни была она тонкая, матово-бледная, темноволосая, с угрюмо-острыми глазами, которые, казалось, могли меня съесть живьем и жгли меня, подобно тому как две капли водки выедают сталь.

Она любила меня, любила любовью погибельной. Измученный этими преследованьями (как глупы мужчины!), быть может, из жалости, быть может, из гордости, но пуще всего потому, что был утомлен, решил я (подшутил, верно, бес), чтоб от этих нападок отделаться, решил я (как тот балбес, что, спасаясь от дождика, в воду полез) жениться на ней и — женился. С тех пор я у себя в доме содержу добродетель. И мстит же она мне, кроткое существо! Мстит за то, что любила меня. Она меня приводит в ярость, или, по крайней мере, так кажется ей. Но она ошибается. Я влюблен в свой покой и не так глуп, чтоб делать из ссоры повод для грусти. Идет ли дождь — я молчу. Гром ли гремит — свищу. Когда же кричит она — хохочу. И отчего бы ей не покричать? Неужто дерзаю я думать, что могу заставить молчать женщину эту? Где женщина — там и шум;

а ведь смерти ее не хочу я. Она поет, и я пою: каждый из нас свою тянет песенку. Только бы не вздумалось ей заткнуть мне рот (она хорошо знает, как это дорого стоит). Ей же я позволяю щебетать. У каждого свои ноты.

Впрочем, хоть и не согласны струны наши, нам все же удалось исполнить несколько недурных вещиц: одну дочь и четырех сыновей. Все они крепкие, гибкие: труда, материала на них я потратил немало. Однако только в одном из птенцов, в дочери Марфе, я узнаю сущность свою. Ах, ах, попрыгунья! Сколько понадобилось мне терпенья, чтоб до берега брака ее довезти без крушенья. Наконец-то! Теперь-то она успокоилась, — и хоть довериться этому все же опасно, но не мне говорить, не мое это дело. Достаточно я провозился с ней, ночей не спал. Теперь твоя очередь, зять мой, пекарь Флоридор; пеки, опекай!.. Мы с дочерью спорим при каждой встрече, но зато мы друг друга исключительно хорошо понимаем. Она славная девушка; даже в беспечных порывах ее есть какая-то рассудительность, она честная, прямая — в ней качества эти улыбчивы, ибо худшим считает она недостатком, что скуку наводит. Она не боится невзгод: невзгоды ведь это борьба, а борьба ведь — отрада. И жизнь она любит. Она знает, что в жизни хорошего есть. Я тоже, то кровь моя в ней говорит... Только, пожалуй, я расточителен был, сотворяя ее.

Сыновья же вышли похуже. Жена на своем настояла, и тесто не встало. Из них двое — ханжи, и, к довершенью всего, ханжество одного ненавидит личину другого. Первый все трется о черные юбки попов, лицемеров, второй — гугенот, сам черт не поймет, как случилось, что вывел я этих утят! Третий — бродяга-солдат, где-то скитается, где-то воюет, в точности где — я не знаю. А четвертый — ничего из себя не представляет, ровно ничего. Этакий торговый человечек, серенький, с душой овечьей, — ах, зеваю всякий раз, что вспоминаю о нем. Я породу свою узнаю, лишь когда мы сидим вшестером за столом, вооруженные вилками. За столом уж никто не спит, и во мненьях сходятся все. Это прекрасное зрелище: искусно работают челюсти, хлеб трещит, разрушается, в глотку вино, как в бездну поток, вливается.

Поговорим теперь о самом доме. Он тоже чадо мое. Я строил его медленно, по частям, и не раз перестраивал сызнова. Он расположен на берегу Беврона — ленивой,

илистой, зеленой речки, — у входа в предместье, за мостом, что стоит, словно на четвереньках, над самой тиной. Напротив — башня святого Мартына, легкая, гордая, в платьице кружевном, да пестрый портал, да старинные ступени церковные, крутые и черные, ведущие, скажешь ты, в рай. Лачужка моя, игрушка, стоит вне стен городских: а потому всякий раз, что с башни приметят врага на равнине, город ворота свои запирает, и враг приходит ко мне. Хоть я и люблю побеседовать, однако сдается мне, что без общества этого я бы вполне обошелся. Завидя врага, я чаще всего просто ухожу, оставляя ключ под дверью. По возвращеньи случается мне не найти ни ключа, ни дверей. Тогда я строю снова. Мне говорят: Тупоголовый! Ты работаешь на врага. Брось лачужку свою, под защиту стен залезь. — Я ж в ответ: Куралесь! Хорошо мне и здесь. Знаю я, что за крепкой стеной будет полный покой. Но за крепкой стеной — что увижу я? Стену, и только. Буду чахнуть от скуки. Свобода нужна мне, размах, жить хочу королем на речном берегу своем, там работать беспечно, а после работ из садика долго следить вырезной хоровод отражений цветных на поверхности вод, и порою кружки — рыбьи плевки, да кудрявые травы, что дышат на дне; в этой речке хочу и удить, и лохмотья мыть, и в нее свой горшок выливать. И то сказать: хорошо ли, плохо ли, — а жил я всегда там. Поздно менять. Все равно — хуже не будет. Вы настаиваете на том, что мой дом снова снесут? Возможно. Я же, добрые люди, не собираюсь заниматься зодчеством в продолжение вечности всей. Но, клянусь, коль засяду куда-нибудь, не легко сдвинуть меня. Дважды я перестраивал его, перестраивать буду и десять раз. Не то чтоб это весьма развлекало меня. Но в десять раз скучнее было бы переселиться. Я бы словно лишился души. Вы мне предлагаете другой дом — краше, белее, новее. Да ведь он примял бы меня, замучил, или же сам я взорвал бы стены: нет. Нет, предпочитаю жить здесь.

Теперь итог подведем: жена, дети и дом. Все ли владенья свои обозрел я? Нет, осталось еще кое-что — лучшее; приберег я его под конец. Осталось — мое ремесло. Принадлежу я к братству святой Анны. Я — столяр. Несу я во время праздничных шествий трость со знаком разножки и лиры, на котором изображена бабка Божия, объясняющая азбуку малюсенькой дочке своей — тоненькой, нежной

Марии. Вооруженный топориком, пилкой, стамеской, рубанком, я царствую у верстака над дубом упрямым, над орешником ровным. Что возникнет из них? (Это зависит от собственной прихоти, а также от платы.) Сколько образов скрытых и спутанных в дереве спят! Чтоб разбудить красавицу спящую, мне, как и принцу из сказки, достаточно только проникнуть в древесную глубь. Но та красота, которую будит мой струг, — не мишурная ветреница. Иным нравится какая-нибудь лишенная сочности долговязая Диана одного из этих итальянцев, мне же больше по душе наша бургундская мебель с прозеленью на бронзовых частях, крепкая, обильно-выпуклая, тяжелая, гроздистая, баул какой-нибудь огромный, пузатый или резьбой изукрашенный поставец, повторяющий суровое вдохновенье мастера Гуго Самбэна. В лепное кружево наряжаю дома. Развертываю звенья извилистых лестниц. Кресла, столы выбиваю из стен, как яблоки из листвы, — кресла, столы широкие и прочные, как раз заполняющие собой то место, которое я им предназначаю. Высшее же наслаждение я чувствую тогда, когда мне удается на дереве запечатлеть что смеется в моем воображенье — беглое движенье, изгиб, ямочку на бедре, дышащую грудь, завиток веселый, вереницу цветов, тени пляшущие, преувеличенные, рожу прохожего, пойманную на лету. Но лучшее мое созданье (приводящее и меня и священника в восхищенье) вы можете видеть в монтреальской церкви. Там вырезал я на скамье двух буржуа, которые, чокаясь и жуя, покачиваются над столом, и двух львов, вырывающих кость друг у друга.

Выпил, потом поработал, отработал — выпил опять — вот благодать! За собою я слышу упреки и ропот невежд. Они говорят, что для песен веселых выбрал я час неудачный, что горькие годы настали. Нет горьких времен, а только есть горькие люди — бьют они вечно тревогу. То да се, да не смейся, не пой. Не попутчик я им, слава Богу. Всюду бой да разбой. Ну что же, так будет всегда. Клянусь, чрез четыреста лет правнуки правнуков наших будут все так же, как черти, выщипывать шерсть друг у друга. Не скажу, что они не найдут сорок новых способов это делать, что драться будут они лучше нас. Но я совершенно уверен, что нового способа напиваться они не найдут, да не посмеют сказать, что науку эту изучили глубже, чем я.

Кто знает, что будут делать они, мерзавцы, через четыреста лет? Быть может, благодаря траве попа из Мэдона, великолепного Пантагруэлиона, им удастся исследовать области Луны, заводы молний, творила дождя, найти себе временное жилье на небесах и пировать с богами. Ну тогда и я с вами. Разве вы не семя мое? Роитесь, голубчики! Впрочем, там, где я теперь, как-то вернее. Как знать, будет ли через четыре столетия такое же доброе вино? Жена мне ставит в вину мою верность вину. Ничего я не презираю. Люблю я все, что по-своему вкусно, кушанья жирные, вина, могучие радости плоти и радости более мягкие, нежные, нежно-пушистые, которых вкушаешь мечтательно: часы неземного безделья, истинно творческие! (Ты властелин вселенной, молодой, и победный, и ясный. Сам ты весь мир создаешь, слышишь, как всходит трава, с лесом беседу ведешь, с зверьми, с богами.) И тебя я люблю, мой старый, верный спутник, мой друг, мой труд! Как приятно работать на верстаке, пилить, стругать, обрезать, вырезать, прибивать, подпиливать, перебирать, растирать красивое, крепкое дерево, и непокорное и послушное, — тело орешника, нежное, жирное, трепещущее под рукой, подобно плечам чародейки, — тела розоватые и молочно-белые, тела смуглые и золотистые, тела нимф лесных, обнаженных и обезглавленных! Отрада безошибочных рук, пальцев разумных, толстых пальцев, под которыми возникает хрупкое произведенье искусства! Отрада духа, повелевающего силам земным, вкладывающего в дерево, железо или камень стройную прихоть своей благородной грезы! Я себя чувствую королем сказочной страны. Мое поле дает мне плоть свою, виноградник мой — свою кровь. Дух древесного сока, в угоду искусству моему, заставляет расти, разветвляет, упитывает, растягивает и округляет сучья и стволы тех деревьев, которые я буду ласкать.

Руки мои, как безропотные работники, подчинены старому другу-хозяину — мозгу моему, он же подвластен мне и осуществляет все, что только приглянется моей резвой мечте. Кто лучше обслужен, чем я? Я ль не волшебный король? Не имею ли полного права выпить за здоровье свое? И не забудем (я не из рода неблагодарных), не забудем также и здоровья наших верноподданных. Благословляю тот день, в который я родился. Сколько на этом

вертящемся шаре чудных вещей, ласкающих весело взгляд и сладостно-свежих на вкус! Господи Боже, как жизнь хороша, как сочна. Обжираюсь, а все не могу я нажраться, вечно я голоден, должно быть, это болезнь. Слюнки текут у меня всякий раз, что я вижу накрытый стол земли и солнца.

Однако я хвастаюсь, кум: солнце умерло; в мире моем разгулялся мороз. Разбойник, он входит ко мне не стуча. Перо спотыкается в пальцах оцепеневших. Беда! Льдинка образовалась в моем стакане, и нос мой выцвел: отвратительный оттенок, ливрея кладбищенская! Ненавижу все бледное. Эй! Встряхнемся! Колокола святого Мартына звенят и перекликаются. Сегодня — Сретенье Господне. «Мороз либо кончайся, либо крепчай»... Крепчает, подлец! Что ж, наберемся и мы сил. Выйдем на большую дорогу, встретимся с ним лицом к лицу.

Великолепный холод! Сотни иголок колют меня в щеки. На повороте ветер выскакивает из засады и схватывает меня за бороду. Я горю. Слава Богу, нос мой снова окрашивается. Люблю слышать звон скованной земли под ступней. Я себя чувствую совсем молодцом. Попадаются встречные, да все хмурые, понурые.

— Ну что там, ну что, соседка, кто вас так рассердил? Игривый ли ветер, вздувающий юбку? Прав он — молод: как жаль, что я сед, соседка! Он молод, хитер, он знает, куда укусить, он знает, что вкусно. Терпите, ведь всякому хочется жить. Но куда ж вы спешите — с бесенком живым под полой? К обедне? Laus Deo![1] Лукавого Бог победит! Будет смеяться рыдающий, будет кипеть замерзающий. Вы, я вижу, смеетесь уже. Значит, все хорошо. Куда я бегу? В Божий храм, как и вы. Только будет не поп служить, а солнце над чистым полем.

По дороге захожу к дочери, за внучкой своей, Глашей. Мы ежедневно совершаем вместе прогулку. Это мой лучший друг, овечка моя, лягушонка щебечущая. Ей шестой годок стукнул, она смышленей мышонка и лукавей лисички. Не успел я войти, как она уж бежит. Ей хорошо известно, что у меня есть котомка, полная сказок чудесных. Она любит их не меньше, чем я их. Беру ее за руку.

— Пойдем, маленькая. Пойдем жаворонку навстречу.

---

[1] Хвалите Господа! *(лат.)*

— Жаворонку?

— Сегодня — Сретенье. Разве ты не знаешь, что в этот день он к нам обратно прилетает с неба?

— Что он там делал?

— Искал для нас жар.

— Жар?

— Да, то, что на небе горит да накаляет чугунчик мира.

— А жар, значит, ушел от нас?

— Ну да, — на празднике всех Святых. Ежегодно, в ноябре, он идет согревать небесные звезды.

— Как же он возвращается?

— Три птички за ним посылаются.

— Расскажи.

Она семенит по дороге. На синичку похожа она — в этой теплой белой фуфайке и в голубом капоре. Ей мороз нипочем, но все же из ее короткого носика капает, словно из крана, а круглые щечки, как антоновки две, румяны...

— Ты смотри, сморчок, высморкайся, задуй свечку свою. Свет-то на небе вспыхнет.

— Расскажи, дед, про трех птичек...

(Я люблю, когда меня упрашивают.)

— Три птички пустились в дальний путь, три смелых дружка: королек, зарянка и жаворонок. Первый из них, королек, гордый, подвижный, живой, как Мальчик с пальчик, примечает жар, чудный жар, что, подобно пшеничному зернышку, катится по воздуху. Налетает он на него да кричит: «Это я поймал, это я»; и другие кричат: «Я! я! я!» Но уже королек схватил зерно на лету и падает вниз стрелой... «Пожар! пожар! Он горит!» Клюв закрыв, королек из угла в уголок зерно перекатывает, как комочек кипящей каши; нельзя дольше терпеть, почернел язычок; он зерно плюет и его кладет между крылышек...

«Ай, ай! Пожар!» Пламенеют крылышки (ты заметила эти пятна рыженькие, эти перышки вьющиеся?). Зарянка на помощь к нему спешит. Клюет жар-зерно и его кладет за свой шелковый ворот благоговейно. А ворот-то пышный как вдруг заалеет, зардеет. И зарянка кричит: «Довольно, довольно с меня — одежда моя сожжена!» Тут подлетает жаворонок, дружочек храбренький, ловит пламя, как раз в то мгновенье, как оно собиралось взвиться, чтоб на небо вновь возвратиться, ловит — и быстро, точно, легко и стремительно падает на землю и клювом зарывает в ледяную

полевую борозду солнечное зернышко. То-то поля разомлеют!..

Я докончил рассказ свой. Теперь Глаша заквакала. При выходе из города, там, где дорога начинает подниматься в гору, я посадил ее к себе на плечо. Небо ровное, серое, снег хрустит под деревянными подошвами. Тонкие косточки деревьев тщедушных вдеты в мягкие, белые рукавчики. Дым синий дальних домишек струится вверх прямо и медленно. Ничто, кроме голоса внучки, тиши не тревожит. Мы достигаем вершины холма. У ног моих искрится город родной, опоясанный лентами Ионны ленивой, Беврона игривого, — зябкий, продрогший, в снежном уборе; но, хоть и весь он овеян морозною пылью, все же он греет мне сердце, когда я гляжу на него.

Город отблесков нежных — и плавных уклонов... Вкруг тебя переплелись, словно гнезда́ круговые соломинки, линии мягкие вспаханных скатов; удлиненные волны узорчатых гор рядами вздымаются зыбкими — синея вдали, как море... Это море не схоже с неверною бездной, что некогда чуть не сгубила Улисса. Ни бурь, ни течений коварных... Спокойно оно. Лишь порой дуновенье как будто вздувает грудь голубого холма. С волны на волну, не спеша, переходят дороги прямые и, как ладьи, за собой оставляют узкий светлеющий след. Дальше, над гребнем тех вод, Маделэн-Везлэ мачты свои возвышает. А вблизи, над излучиной Ионны змеиной, Басвильские скалы пробивают кустарник клыками своими кабаньими. На дне округленной долины мой город небрежно-нарядный наклоняет над влагой речною сады свои, крыши кривые, ожерелья свои и лохмотья, гармонию и грязноту удлиненного тела, — город мой, гордо украшенный башней своей кружевной...

Так я любуюсь той раковиной, из которой я вытянулся, подобно улитке. Колокола церкви моей наполняют звоном долину; их чистый напев разливается, как ручей хрустальный, в тонком морозном воздухе. Пока я блаженствую, вдыхая их музыку, полоса солнца вдруг прорезает серую пелену, скрывавшую небо. И в тот же миг Глаша бьет в ладоши и восклицает:

— Дед, я слышу! Жаворонок! Жаворонок!

Тогда я смеюсь — так меня радует светлый ее голосок. Я смеюсь и, целуя ее, говорю:

— И мне тоже слышится; да, — жаворонок, весна.

ОСАДА, или ПАСТУХ, ВОЛК И ОВЕЧКА

«Овца из Шаму:
достаточно трех, чтобы
волка задушить».

Середина февраля

Погреб мой опустошается. Сегодня солдаты, которых герцог Неверский сюда послал, чтобы нас охранять, вздумали почать мою бочку последнюю. Не будем время терять — пойдем-ка с ними пить вместе. Если уж прогорать, так весело. Это не первый и, дай Бог, — не последний раз... Милые люди! Они еще больше огорчились, чем я, когда узнали, что уровень жидкости понижается. Среди соседей моих есть господа, которые смотрят на все безнадежно мрачно. Я же больше не способен сетовать. Я пересыщен. Слишком много шутовских представлений видал я на веку своем, чтоб верить в искренность лицедеев. Какие только маски не проходили предо мной — и швейцарцы, и германцы, и гасконцы, и лотаринжцы, все воинственные звери, порабощенные, вооруженные, глотатели серой шерсти, голодные гончие, всегда готовые погубить человека. Кто когда-либо ведал, зачем дерутся они? Вчера они за короля, сегодня за лигу. То они — папские холопы, то — гугеноты. Оба стана стоят друг друга. Лучший из них не окупает и петли виселицы. Не все ли нам равно, этот ли воришка или тот путается при дворе? И смеют они еще вмешивать Бога в свои дела! Клянусь брюшком рыбки, добрые люди: Бог не нуждается в вашей опеке! Он совершеннолетний.

Коль чесотка у вас — царапайтесь, но Бога оставьте в покое. Да и он обойдется без вас. Он, небось, не безрукий, захочет — почешется сам...

Но беда в том, что они думают и меня заставить обжуливать Бога!

Господи, я славлю тебя и верю, говоря без хвастовства, что мы с тобой встречаемся по нескольку раз в день, ибо добрая галльская поговорка гласит: «Кто под хмельком — тот с Богом знаком». Но никогда мне не придет в мысль сказать, что я знаю каждый твой взгляд, что ты мой двоюродный брат, что мне вверены все твои намерения. Ты по справедливости должен признать, что я тебя не беспокою, — и прошу я только одного — поступай так же

по отношению ко мне; у нас с тобою и без того достаточно много домашних хлопот: твоя вселенная и мой маленький мир — оба одинаково требуют забот.

Господи, ты меня сотворил свободным. Будь свободен и ты. А между тем нахалы эти уверяют, что я должен управлять делами твоими, говорить за тебя, указывать, каким именно образом ты желаешь чтобы надоедали тебе, и объявлять врагом, и твоим и моим, всякого, кто дерзает надоедать тебе иначе! Мой враг? Как бы не так! Все люди — друзья мои. Дерутся они — пускай, это их дело. Когда можно, я из игры выпадаю; но они держат меня, негодяи! Будь врагом одного, а то недругом будешь обоих; тот бит, кто стоит на черте между ними. Ну что ж, надо биться и мне. Буду сперва наковальней, но я ль не умею ковать?

Кто мне скажет, зачем появились на свете вороны эти: воры, а не дворяне, правители, законодатели, нашей Франции кровопускатели? О славе страны они твердо поют, а карманы ее-то вывертывают, все берут, им не жаль ее; но идут они далее, угрожают Германии, подползают к Италии, да в гаремы Востока суются; им бы хотелось владеть половиною всей земли, но, получив ее, не могли бы и капусту насадить!.. Стой, успокойся, друг мой, нечего попусту кипятиться. Мир и так хорошо устроен — пока мы его не устроим еще лучше (это будет при первой возможности). Мне как-то рассказывали, что однажды Христос (Господи! я сегодня только и делаю, что говорю о тебе), гуляя с Петром по Вифлеему, увидел женщину, которая, пригорюнившись, сидела у себя на пороге. Она так тосковала, что Создатель, сжалившись над ней, вытащил, говорят, из кармана горсточку вшей и сказал: «На, позабавься, дочь моя!» Тогда женщина, очнувшись, принялась охотиться; и всякий раз, как удавалось ей раздавить насекомое, она смеялась от удовольствия.

Подобное же милосердие выказали небеса, подарив нам для развлеченья те существа двуногие, которые ныне грызут нас. Будем веселы, веси! Присутствие гадости этой, оказывается, признак здоровья (гадины — хозяева наши). Возрадуемся, братья: нет никого, кто был бы здоровее нас; а кроме того, я вам скажу (на ухо): «Терпенье! Мы не в проигрыше. Холод, изморозки, разбойники огородные и благородные — все это до поры до времени. Они уйдут, но земля-то останется, и останемся мы, чтобы ее удобрять...

А пока допьем последний свой бочонок. Нужно место очистить для будущих сборов».

Дочь Марфа мне говорит: «Ты просто бахвал. Тебя слушая, можно подумать, что ты только умеешь болтать, бить баклуши, бухать, как колокол, да забулдыжничать; что в жизни ты только зевака и бражник, что залпом способен ты выпить и Красное море и Белое; на самом же деле не можешь и дня ты провесть, не работая. Ты хочешь, чтоб люди считали тебя жужжащим жуком, простаком, расточительным и бестолковым; однако ты слег бы, наверное, если б твой день хоть слегка изменить — твой скупо расчисленный день, подобный курантам звенящим. Каждый грош у тебя на счету, и еще не родился тот, который тебя бы надул».

Ах, дурачок! Ах, вертопрашный! Бейте беззащитную овечку! «Овца из Шаму: достаточно трех, чтобы волка задушить...» Я смеюсь, — молчу... У нее острый язычок, и она права, но не следовало бы ей говорить все это, женщина на ключ запирает только то, чего она не знает. Марфа меня видит насквозь, недаром я создал ее. Ну, была не была, сознайся, друг мой, Николка: как ни безумствуешь ты, а все же не будешь ты никогда совершенно безумным. Как у всякого, есть у тебя ветреный бес в рукаве. Порою ты кажешь его, но прячешь, когда работа требует свободы рук и ясности в мыслях. В тебе, как и во всех французах, непоколебимы некая рассудительность и врожденное чувство порядка, а потому ты можешь иногда, забавы ради, притворяться головорезом. Это представляет опасность только для тех жалких глупцов, которые глядят на тебя, рот разинув, и желали бы тебе подражать.

Краснословие, гулкие стихи, горынские замыслы — все это не лишено сладости. Воспламеняешься, разгораешься; но мы потребляем только хворост, крупные же поленья остаются лежать ровными рядами в нашем дровяном сарае. Мое воображенье вертится на подмостках перед глазами разума, сидящего в удобном кресле. Все делается в угоду мне. Целый мир — театр мой, и, как неподвижный зритель, я слежу за развлекательным представленьем, рукоплещу Матамору и Франкатриппе, любуюсь рыцарскими поединками и колесницами королей, кричу бис, когда люди разбивают друг другу головы. Нам весело! Порою, чтобы удвоить удовольствие, я делаю вид, что искренно принимаю

участие во всем этом. На самом деле же я лишь верю столько, сколько нужно, чтобы не скучать. Или вот когда слушаешь волшебные сказки. Да и не только волшебные... Есть один сановитый господин, наверху, там, в эмпиреях... Очень уважаем мы его. Когда по нашим улицам он шествует, с крестом горящим во главе, да с песнопеньями, мы простынями белыми занавешиваем стены наших маленьких домов. Но между нами говоря... Болтун, типун тебе на язык! Это пахнет костром... Господине, я ничего не сказал. Шапку снимаю.

* * *

Конец февраля

Осел, ощипав луг, сказал, что больше нет надобности его оберегать, и отправился есть (оберегать то есть) траву на лугу соседнем. Люди господина Невера ушли сегодня утром. Приятно было глядеть на них, так соблазнительно разжирели они. Я гордился кухней нашей. Мы расстались приветливо — руку к сердцу прикладывая, губы в сердечко складывая. Они выразили тысячу пожеланий изящно-вежливых, пожелали нам, чтобы колосья тучны были, чтоб мороз не тронул виноградников.

Трудись, сказал мне на прощанье Якорь Балакирь, мой гость-сержант, трудись, дяденька (так он меня именует, и я оправдал это прозвище вполне: тот мне дяденька, кто меня кормит сладенько). Не жалей своих сил, ступай подрезывать лозы. Через год ты снова нас будешь потчевать...

Милые люди, всегда готовые прийти на помощь честному человеку, когда он сидит за кружкой вина! Как-то легче чувствуешь себя, с тех пор как они ушли.

Соседи осторожно вынимают спрятанные яства. Те, которые еще так недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, точно у них за пазухой возился волк, — теперь из-под земли погребов, из-под соломы чердаков вытаскивают все, что нужно, чтобы накормить досыта хищника этого. И хоть скулили они, очень убедительно жалуясь, что у них ничего не осталось, однако не было ни одного такого негодяя, который бы не нашел способа спрятать лучшее свое вино. Я сам (не знаю, как это случилось), проводив гостя Якоря Балакиря, внезапно вспомнил, шлепнув себя по лбу, о небольшом бочонке шабли, который я по рассеянности оставил в конюшне, прикрыв навозом,

чтоб ему тепло было. Меня это очень опечалило, разумеется, но когда зло сделано — оно сделано, и сделано ладно; нужно примириться. Примириться не трудно. Ах, Балакирь, племянник мой, что вы потеряли. Какой нектар, какой букет!.. Впрочем, — нет, друг мой, нет! вы не потеряли ничего, вы ничего не потеряли, мой друг. Ведь я пью за ваше здоровье!

Бродишь, ходишь по домам. Сосед соседу показывает, что́ нашел он в своем погребе. Как некие авгуры, перемигиваемся, поздравляем друг друга, повествуем о поврежденьях (о женах, об их поврежденьях). Рассказы соседа тебя веселят, свои забываешь несчастья. Наведываешься о здоровье супруги Викентия Брызги. После всякого пребыванья полка в нашем городе эта доблестная женщина расширяется в объеме. Поздравляешь отца, восхищаешься плодородием чресел его. И в шутку, без задней мысли, я добродушно похлопываю по животу счастливца, у которого, говорю я, дом полная чаша, в то время как голы жилища наши. Все, конечно, смеются, но смеются скромно.

Брызга, однако, обижается и объявляет, что было бы лучше, если б я наблюдал за своей женой. «Что касается этого сокровища, — ответил я, — благословенный его обладатель может ослепнуть, оглохнуть и все-таки быть совершенно спокойным, мой друг». И все согласились вокруг.

* * *

Но вот наступают скоромные дни. Оскудели мы, а нужно их отпраздновать; этого требует честь нашего города. Что подумают о Клямси, славном своей колбасой, если к началу масленицы у нас даже горчицы не будет? Слышно, как печи шипят; на улицах воздух пропитан запахом сала приятным.

Блин, блин, пляши! выше, выше! пляши для Глаши моей!.. Бормочут барабаны, лепечут флейты. Хохот и свисты. Это приехали соседи-сплавщики. Приехали проведать Рим[1]. Во главе идет музыка и ватага копьеносцев, толпу пробивающих носом. Носы в виде хоботов, носы в виде

[1] Рим — район Клямси, верхний город, это имя он получил от так называемой «Староримской» лестницы, ведущей от площади св. Марка к Бевронскому предместью. *(Примеч. автора.)*

шпаг, носы как рога, носы как рогатки, носы подобно каштанам, в частых шипах, носы с птицами на концах. Они расталкивают зевак, обшаривают юбки взвизгивающих девиц. Но всё разбегается перед королем носов, который наскакивает, как таран, и катит перед собой на лафете свой смертоносный нос.

Следует колесница царя сушеной рыбы. Лица бледные, зеленоватые, худые, монашеские, неприятные, зябко-дрожащие под чешуйчатыми белоглазыми капюшонами. Сколько рыб! Один несет в каждой руке по карпу или окуню, другой машет трезубцем с насаженными на него пескарями, у третьего вместо головы — щука с плотвою во рту, и, распарывая себе брюхо пилой, он рождает рыб без числа. Меня гадует даже. Иные, распахнув пасть и вглубь засунув пальцы, чтоб расширить ее еще больше, давятся, запихивая себе в глотку слишком крупные яйца. Слева, справа монахи в совиных масках с высоты колесниц удят уличных мальчишек, которые, разинув рот, скачут, как козлята, стараясь поймать и раскусить на лету орешки или навозные шарики, облепленные сахаром.

А сзади шагает дьявол, одетый поваром, постукивая ложкой суповою об кастрюлю. Омерзительной смесью он весело кормит шестерых связанных босых грешников, которые бредут гуськом, просунув меж ребер лестницы уродливые головы в колпаках бумажных.

Но подожди, увидишь самых важных, вот они, торжествующие вожди. На престоле из окороков, под навесом из копченых языков едет королева колбасная, в лоснящемся коричневом венке, в ожерелье из сосисок дымчатых, которое она перебирает с ужимочкой своими пальцами начиненными. Ее сопровождает блестящая жирная стража — колбаса белая, колбаса черная, — вооруженные вертелами. Люблю также этих сановников, у которых вместо туловища пузатый котел или мясной пирог. Они несут, подобно волхвам, — кто голову кабана, кто чашу синеватого вина, кто горшок горчицы дижонской. При звуках труб, литавр, уполовников, сковород, средь общего хохота, — вот, является, верхом на осле, король рогачей, наш друг Брызга... Так-таки избрали его. Сидя лицом к хвосту, в высокой чалме, с рюмкой в кулаке, он слушает, как его телохранители, рогатые дьяволы, сочно рассказывают на хорошем французском языке, не скрывая ничего, о воцаренье и славе

его. Как мудрец истинный, он не выказывает гордости излишней. Беззаботно он пьет, заливается. Но когда ему случается проезжать мимо жилища, той же судьбой отмеченного, он, подняв стакан, восклицает: «Эй, за здоровье твое, собрат!» Наконец, замыкая шествие, проходит Красота Вешняя. Свежая девушка, розовая, веселая, с чистым лбом, с цветиками ясными желтого гасника на мелких локонах. Сережки, сорванные с юного дерева, зеленеют у нее на перевязи, вокруг маленьких круглых грудей, а на бедре колышется кошель-колокольчик. И, корзинку в руке раскачивая, высоко подняв брови бледные, широко раскрыв глаза — цвета лазури утренней, округляя старательно рот, острые зубки показывая, она голосом тонким поет о ласточке незабывчивой. Подле нее, на повозке, которую тянет четверка больших белых волов, сидят другие весенницы — красивые, крупные девицы и девочки в нельстивом возрасте, словно слепые деревца, ростки пустившие, туда, сюда, в каждой не хватает кусочка; но, впрочем, волк остался бы доволен... Дурнышки хорошие! Они держат в руках клетки с перелетными птицами или же, нашаривая в корзине королевы-весны, бросают в толпу гостинцы, сверточки легкие с чепцами и платьицами, орешки, судьбу записанную, любовные стишки, а то — рога.

За рынком, перед башнею девы спрыгивают с повозки и на площади танцуют с писарями и приказчиками. Между тем масленица и король рогачей продолжают свой блистательный путь, останавливаясь через каждые двадцать минут, чтоб сказать человеку истину или же искать ее на дне стакана.

Дай вина, дай вина, дай вина,
ужель разойдемся, не выпив вина?
Нет!
Мы бургундцы, а бургундцы
не такие уж безумцы!

* * *

Но от слишком частого поливанья язык тяжелеет и красноречие плесневеет. Я покидаю доброго Викентия, который со своими спутниками вновь привалил к тени кабака. Нельзя сидеть взаперти, когда день так приятен. Пойдем подышать воздухом полей!

Мой старый друг, поп Шумила, приехавший из деревни своей, чтобы попировать у архиерея, приглашает меня прокатиться. Беру с собой Глашу. Мы оба влезаем в его тележку, запряженную осликом. Пошел, пошел, серенький! Он так мал, что я предлагаю его посадить в повозку между Глашей и мной. Дорога белая растягивается. Солнце дремлет по-старчески; оно больше греется само, нежели нас согревает. Ослик засыпает тоже и останавливается задумчиво. Возмущенный поп его окликает басом.

Ослик вздрагивает, прядет ушами, маячит меж двух колеек и снова замирает, снова задумывается, равнодушный к нашим понуканьям.

— Ах, проклятый, если б не знак креста, которым ты отмечен, — гудит Шумила, тыча палкой ему в зад, — я сломал бы дубину об твою спину.

Чтобы передохнуть, мы останавливаемся у первой же харчевни, при повороте дороги, спускающейся оттуда к деревне Армса, которая, белея внизу над светлой рекой, любуется отраженьем своей тонкой мордочки. Посередине соседнего поля вокруг высокого орешника, вздымающего к белесому небу свои черные руки, свою гордую наготу, — пляшет хоровод девушек. Они только что принесли праздничную дань — жирные блины — кумушке-сороке.

— Агу, сорока, агу, белобока! Глаша, глянь-ка, вот она, высóко, высóко, на краю гнезда. Любопытствует! Чтоб круглый глазок да болтливый язычок чего бы не пропустили, она построила домик свой среди самых высоких ветвей, на ветру...

Промокла сорока, озябла — да что ей? Зато все видно. Она не в духе, она как будто хочет сказать: «Не нужно мне ваших даров. Унесите их, дурни!.. Если бы я пожелала отведать блинов, — неужели вы думаете, я не могла бы взять их у вас? Разве приятно есть то, что дают тебе? Нет, вкусно лишь краденое».

— Дед, почему же тогда ей дарят блины и эти красивые ленты? Почему с пожеланьями добрыми приходят к этой воровке?

— Потому, видишь ли, что нужно быть в жизни со злыми в ладу.

— Однако, Николка Персик, хорошему ты ее учишь, — сердито гудит Шумила.

— Я не говорю, что это — хорошо, — я говорю только, что так все делают, ты — первый, мой друг. Да, да, вращай глазами! Посмей сказать, что, когда тебе надоедают те из твоих прихожан, которые все видят, все знают, всюду нос суют, у которых рот что мешок, полный сплетен лукавых, — ты бы не набил их блинами, чтобы замолкли они!

— Господи! Если б этого было достаточно! — восклицает поп.

— Впрочем, я оклеветал горланью. Она все-таки лучше иной женщины. Язык ее пользу приносит.

— Какую, дедушка?

— Когда близок волк, она стрекочет.

И что же: при этих словах сорока начинает кричать. Она ругается, захлебывается, бьет крыльями, кружится, обрушиваясь трескучей бранью на кого-то, на что-то, что скрыто в долине Армса. На опушке леса ее пернатые кумушки — сойка бойкая и Ворона Ларионовна — вторят ей обиженно и раздраженно. Люди хохочут, люди кричат: «Волки!» Никто этому не верит. Но все же идут посмотреть (верить хорошо, видеть еще лучше)... И что же видят? Экая чертовщина! Из долины по склону поднимается вереница вооруженных людей. Мы их узнаем. Это вражий отряд из Везлэ. Мерзавцы! Им стало известно, что наш город остался без стражи, и они вообразили, что возьмут его голыми руками!

Не долго предаемся созерцанью. Каждый кричит: «Спасайся кто может!» Толкаются, рассыпаются; стремятся сломя голову по дороге, по полям, по скатам. Этот — на животе, как свинья, тот — на другом полушарии тела. Мы трое вскакиваем в свою тележку. Как будто раскусив, в чем дело, ослик срывается, как стрела с лука; Шумила бьет его с постоянством барабанщика, совершенно забыв от волненья, что нужно относиться с почтеньем к спине, отмеченной знаком креста. Мы катимся, обгоняя поток людей, взвизгивающих на бегу, и наконец, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Клямси. Повозка прыгает, ослик несется, земли не касаясь, поп хлещет вовсю, и мы кричим, пролетая через предместье Беяна:

— Враг идет!

Сперва люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. Тогда все завозилось, словно муравейник, в который сунули бы палку. Метались, хлопали дверьми, входили, выходили, снова входили. Мужчины вооружались, женщины

собирали пожитки, всякой всячиной набивали мешки, нагружали тележки; все жители местечка, покинув свои норы, отхлынули к городу, под защиту стен; сплавщики, не снимая нарядов своих и масок, рогатые, когтистые, пузатые, кто в образе Гаргантюа, кто в образе Дьявола, вооруженные острогами, баграми, побежали на бастионы.

Так что, когда передовой отряд неприятеля встал под стенами, мосты уже были подъяты и по ту сторону ямы оставалось лишь несколько бедняков (которые, не имея ничего за душою, не очень торопились спасать свое имущество) — и король рогачей, друг наш Брызга, забытый своим конвоем. Король, полный по самое горлышко и круглый, как Ной, храпел верхом на осле, ухватившись за хвост.

Здесь отмечу, как выгодно иметь врагами французов. Иные олухи, немцы, или швейцарцы, или англичане, которые лучше руками шевелят, чем мозгами, и соображают только на Рождестве то, что им говорят на Пасхе, несомненно подумали бы, что глумятся; и я бы гроша медного не дал за участь бедного Брызги. Но соотечественники понимают друг друга с полуслова: откуда бы ни был ты родом — из Лотарингии, из Турэни, из Шампани или из Бретани, — кто бы ни был ты — гусь ли из Боса, осел из Боны или заяц из Везлэ, — с кем бы из соседей своих ты ни дрался, — славную шутку всегда ты оценишь, как истинный француз. Увидев нашего Силена, весь неприятельский лагерь расхохотался. Смеялись они ртом и носом, животом и подбородком, душой и телом, — и мы, черт возьми, глядя на них с бастионов, лопались со смеху. Потом мы через яму обменялись веселыми ругательствами по примеру Аякса и Гектора. Только наши были смазаны более сочным салом. Хотелось бы мне их привести, но времени нет; я их включу, однако (терпенье!), в сборник, над которым я тружусь вот уже двенадцать лет, сборник всех жирных шуток, галушных, похабных, мною сказанных, читанных, слышанных (право, было бы жаль их утратить) во время паломничества моего в сей долине слез. При одном воспоминаньи я уже чувствую судороги смеха. Ну вот, — я поставил кляксу крупную.

* * *

Когда мы накричались вдоволь, пришлось за дело приняться (действие после разговора — отдохновенье). Ни им, ни нам того не хотелось. Они обманулись в расчете — мы

были защищены. Желанье вскарабкаться по стене их мало занимало: им бы кости переломало. Однако во что бы то ни стало нужно было предпринять что-нибудь. Пожгли пороху, повыпустили бескорыстно петард несколько, но пострадали одни воробьи. Мы же спокойно сидели, прислонившись к стене, у подножия парапета, и ждали, когда пролетят плевки, чтобы самим плюнуть (не целясь, не слишком высовываясь). Мы решались выглянуть только тогда, когда раздавались вопли пленников; поставили их рядком лицом к стене (а было их с дюжину, все мужчины и женщины из Беяна) и хлестали их по оголенным ягодицам. Они ревели белугой, но зло было невелико. В виде мщенья мы потекли вдоль круговой ограды, прикрывающей нас, выявив всякие яства, окорока да колбасы, насажденные на наши колеблющиеся копья.

Исступленные крики проголодавшихся осаждателей развеселили нас, как доброе вино, и, дорожа каждой каплей его (когда найдешь хорошую шутку, чисто кость обглодай!), мы расположились под светлым небом, на траве, в тени стен, вокруг столов, кряхтевших под тяжестью блюд и бутылок. Мы пировали, грохотали неистово, пели, пили за здоровье Масленицы. Те едва не передохли от злобы. Так прошел день — скромно, без особых неприятностей. Был, впрочем, один несчастный случай: толстый Пузо-Пузак, охмелев, пожелал пройтись по самой стене со стаканом в руке, чтоб еще больше раздразнить неприятеля, и мушкетный залп расквасил ему и голову, и стакан. Мы взамен тоже гвозданули двух-трех. Но это не испортило нам настроенья. Известно, что ни единого не обходится праздника без нескольких битых горшков.

Шумила решил ночью под защитой мрака выйти из города и вернуться восвояси. Мы напрасно твердили ему:

— Друг, — это слишком опасно. Подожди, скоро конец. Бог возьмется хранить твою паству.

Он отвечал:

— Место мое средь моих овец. Я десница Господня. Если я не приду, калекой останется Бог. А там я бы делу помог, клянусь.

— Верю, верю тебе, — говорю я. — Ты доказал это, помнишь, когда колокольню твою гугенотов отряд осаждал, и ты забулавил булыжником их капитана?

— И удивлен же был этот язычник! — замечает Шумила. — Я, впрочем, тоже. Незлобивый я человек, видеть бьющую кровь не люблю я. Гадость какая! Но черт его знает — что происходит в тебе, когда средь безумцев стоишь! Превращаешься в волка!

Я в ответ:

— Это правда. Здравый смысл всего легче в толпе потерять. Сто мудрецов составляют безумца, сто овечек — волка. Но, кстати, скажи-ка мне, поп, как согласуешь ты оба закона — закон человека, который живет с глазу на глаз с своей совестью и желает покоя себе и другим, — и закон стада людского, государств, преступленье считающих подвигом, — какой из них Божий?

— Что за вопрос!.. Оба, мой друг. Все от Бога.

— Если так — он не знает, что ему нужно. Но я думаю сам, что, пожалуй, он знает, а все же порою бессилен; с одним человеком он справится: он без труда принуждает его к послушанью, но, когда собирается целое стадо людей, Богу плохо приходится. (Что может один против всех?) Тогда человек чует шепот земли — матери хищной — и дух ее воспринимает. Помнишь сказку о том, что люди по некоторым дням обращаются в волков, а потом снова принимают облик свой обычный? Наши старинные сказки мудрее твоего молитвенника, поп. Люди, собравшиеся в государство, делаются волками. И государства, и короли, их управители, напрасно надевают пастушью одежду, напрасно обманщики эти называют себя меньшими братьями великого пастуха, твоего же Доброго Пастыря, — все равно они только волки да акулы, пасть да брюхо которых ничто насытить не может. И почему? Потому что голод земли безграничен.

— Ты бредишь, язычник, — говорит Шумила. — Бог создал волков, как и создал он все для нашего блага. Разве тебе не известно, что сотворил Иисус первого волка для того, чтобы он охранял от козлят капусту в огородике Богородицы? Он прав был. Склонимся. Мы стонем, на сильного жалуясь вечно. Но если бы, друг мой, властелинами слабые стали, было бы хуже еще. Заключенье: все хорошо — и овцы и волки. Овцам волк нужен, чтоб он их берег. Также и овцы волку нужны, ибо надо же питаться. Я же, друг мой Николка, капусту свою пойду стеречь.

Подоткнул он рясу, сжал в руке дубинку и ушел в безлунную ночь, не без волненья поручив мне ослика своего.

Последующие дни были не так веселы. Мы в первый вечер жрали не считая, из жадности, из хвастовства и просто по глупости. Наши припасы были более чем подгрызаны. Пришлось поджать животы; поджали. Но мы все еще храбрились. Когда вся колбаса исчезла — мы выпустили собственные изделья — кишки, набитые опилками, канаты, вымазанные в сажу, — которые мы проносили на острогах, под самым носом неприятеля. Но подлец выпотрошил хитрость нашу. Пуля пополам перерезала одну из колбас. И кто тогда громче хохотал? Не мы. Наконец разбойники эти, видя, что мы удим с высоты стен, окаймляющих реку, вздумали растянуть на плотинах вверху и внизу по теченью широкие сети, перехватывающие нашу рыбу. Тщетно архиерей наш умолял этих нехристей позволить и нам справлять масленицу. За неимением постного, пришлось питаться своим жиром. Мы, конечно, могли бы попросить помощи у господина Невера. Но, по правде сказать, нам не очень хотелось снова приютить войско его. Иметь врагов снаружи обходилось дешевле, чем иметь друзей внутри. Поэтому мы молчали, пока не было надобности их призывать. И неприятель с своей стороны тоже скромно помалкивал. Мы оба предпочитали обсудить дело вдвоем, без вмешательства третьего. Таким образом, начались неторопливые переговоры. Меж тем в обоих лагерях текла жизнь очень мирная: мы ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары, зевали больше от скуки, чем от голода, и спали так много и так крепко, что хоть и говели, а разжирели. Двигались как можно меньше; но было трудно детей удержать. Они все бегали, пищали, смеялись, вертелись, язык показывали врагу, сыпали в него камнями. У них был целый оружейный склад, состоящий из бузинных спринцовок, пращей веревчатых, палок расщепленных... Обезьянки неистово хохотали (на́ тебе, на́ тебе, бац в самую гущу!), и те, разъяренные, клялись их истребить. Нам крикнули, что первый же шалун, который высунет нос, будет застрелен. Мы обещали наблюдать за ними; но тщетно мы их за уши драли, тщетно на них орали — они у нас меж пальцев проскальзывали. И вот доигрались. (Как вспомню, дрожу.) Как-то вечером слышу я крик: то Глаша (нет! кто бы сказал, спящая эта вода, смиренница эта — ах,

проказница, ах, золотая моя) — Глаша упала с ограды да в яму нырнула! Боже!.. как я ее выдрал бы! На стену вспрыгнул я живо. И все мы, нагнувшись, смотрели... Отличной мишенью мы бы врагу послужили; но враг, как и мы, глядел на дно ямы, куда моя девонька (слава тебе, Богородица!) мягким легким клубочком скатилась. Сидела она средь травы расцвеченной, лицо поднимала и лицам, склоненным с обеих сторон, улыбалась по-детски и срывала цветы. Все мы тоже смеялись в ответ. Господин Рагни, неприятельский вождь, приказал, чтоб ребенка не трогали, а сам даже бросил ей — добрый он был человек — коробочку, полную розовых сахарных лепешек. Но пока мы занимались Глашей, Марфа (с женщинами всегда возня) кинулась спасать овечку свою и вот по тому же скату спускалась стремительно, сбегая, скользя, кувыркаясь, юбку закинув за шиворот и гордо показывая осаждателям свой восток, свой запад, все четыре точки мирозданья и светило, на небе сияющее. Ее успех был блистателен. Она не сробела, схватила дочку и поцеловала ее и отшлепала. Восхищенный ее прелестями, не слушая капитана своего, один громадный солдат в яму спрыгнул и бегом направился к ней. Она ждала. Мы сверху бросили ей метлу. Она ее схватила и смело пошла на врага — ах и трах, бах-бабах (плохо приходилось волоките!) и в зад и в бок, а он наутек. Гремите трубы, ликуйте!

Победительницу вместе с ребенком втащили наверх при общем хохоте; и я тянул, гордый, как павлин, за веревку, на которой мое детище поднималось, являя врагу светило ночное.

Еще целая неделя прошла в обсуждениях (всякий предлог хорош, коли болтать любишь). Ложный слух о приближении господина Невера наконец привел нас к соглашенью; условия мира не были особенно тягостны: мы обещали торговцам города Везлэ десятую долю виноградных сборов. Легко обещать то, чего не имеешь, что будешь иметь, да и будешь ли? Бог весть! Во всяком случае немало воды протечет под мостами, немало вина мы выпьем сами.

Итак, мы были вполне довольны друг другом и еще более довольны собой. Но только ливень миновал, дождь иной захлестал. Случилось это как раз в ночь после договора: в небесах появилось знаменье часу в десятом, вышло оно из дальнего леса, за которым таилось, и, скользя

по звездному полю, растянулось, как змея. Оно походило на шпагу с горячим острием, окруженную кольцами дыма. Рукоятку сжимают пять пальцев; вместо ногтей вопиющие головы, на четвертом — буйноволосая женщина. И ширина той шпаги у рукоятки — целая пядь; у острия — три четверти дюйма, посредине — два дюйма с третью. И цвета она лиловато-кровавого, словно широкая рана. Все дураками глядели на небо; слышно было, как зубы щелкали. И оба лагеря мысленно решали вопрос: к какому относится предсказанье. И наш был уверен, что погибнет ихний. Но у всех поджилки тряслись. У всех, кроме меня. Я страха не ощущал. Впрочем, нужно добавить, что я ничего и не видал; лег я в девять часов, по предписанью альманаха; где бы я ни был, когда альманах приказывает, я безмолвно покоряюсь; ибо это слово евангельское. Но так как мне все потом рассказали, вышло то же, как если бы я сам видел. Я и записал.

Мир заключили, и все вместе — други и недруги — собрались на пир. Пост миновал, масленица была в полном разливе, и отпраздновали же мы ее! Окрестные села послали нам всякой снеди, а с нею и едоков. Прекрасный был день. По всей длине крепостного вала тянулись накрытые столы. Подано было три поросенка, бережно сжаренных, цельных и плотно набитых пряною смесью остатков кабаньих с печенкою цапли; окорока благовонные, в очаге закопченные вместе с ветками можжевельника; пироги со свининой нарубленной — или зайчатиной — в складках румяного теста, чесноком и лавровым листом ароматно пропитанных; колбаса и кишки; улитки и щуки; жареные кушанья, опьяняющие запахом еще издали; головизны телячьи, вкрадчиво нежные; и горы горящие раков, приправленных перцем, опаляющим глотку; и тут же освежающие салаты, — и вина тонкие, разнообразные — шапот, мандр, вофиллу, а под конец — холодные, белые хлопья простокваши, тающие меж небом и языком, да печенья, впитывающие выпитое вино, словно губки.

Никто из нас не отступил ни на шаг, пока было что жрать. Да возблагодарим Господа за то, что он дал нам возможность в такой краткий срок напихать в мешок нашего живота бутылки и блюда! Особенно великолепен был поединок между отшельником Карноухим, которого поддерживали жители Везлэ (этот великий мудрец первый,

говорят, приметил, что осел не может кричать, не подняв хвоста), и нашим (не хочу сказать — ослом) отцом Скоморохом, который утверждал, что он некогда был карпом или щукой, — такое теперь отвращенье вызывала в нем вода, — оттого, верно, что он слишком много выпил ее в иной жизни.

Когда мы встали из-за стола, все мы, люди из Везлэ, люди из Клямси, ценили друг друга гораздо больше, чем во время первого блюда; человека узнаешь за едой. Кто любит вкусное, любим мною, ибо он хороший бургундец.

Наконец, чтобы окончательно нас подружить, явились, пока мы переваривали ужин, подкрепленья, посланные господином Неверским для защиты нашей. Славно посмеялись мы; и оба наши лагеря очень вежливо попросили их уйти откуда пришли. Они не посмели настаивать и отправились назад, смущенно-жалкие, словно собаки, которых бы овцы повели пастись. И мы говорили, обнимая друг друга: «Как глупо было драться ради наших опекунов; если б у нас не было врагов, они бы, черт возьми, выдумали бы каких-нибудь, чтобы иметь возможность нас защищать. Благодарим! Да спасет нас Бог от спасителей наших. Мы и сами спасемся. Бедные овечки! Если б нам нужно было оберегаться только от волка, мы бы знали, как поступать. Но кто нас защитит от пастуха?»

В ГОСТЯХ У ПОПА

Начало апреля

Как только дороги очистились от этих непрошеных гостей, я решил проведать Шумилу в деревне его — Брэв. Не то чтоб тревожился я, — у молодца кулак не на привязи! Но все же спокойнее на душе, когда своими глазами увидишь друга... К тому же нужно было размять себе ноги.

Итак, ни слова не говоря, я отправился. Посвистывая, шел я берегом реки; тянулась она у подножия лесистых холмов. На новеньких листиках дробились капельки дождика маленького — святые слезы весенние. Он замирал на два-три мгновенья и вновь продолжал шелестеть себе тихохонько. В зарослях мяукала влюбленная белка. На лугах

гуси гагакали. Вовсю расходились дрозды; и синичка твердила свое: «тити-путь...»

По дороге, в Дориси, я зашел за другим своим другом, нотариусом Ерником: подобно грациям, мы в полном сборе, только когда мы втроем. Я нашел его за рабочим столом. Он торопливо записывал настроенье погоды, свои сновиденья и политические мненья. Рядом была раскрыта книга: «Пророчества Нострадамуса». Когда всю жизнь сидишь взаперти, мысль освобождается и посещает еще чаще равнины мечты и чащи воспоминанья; и хоть не можешь управлять миром, зато читаешь в будущем его судьбу. Все предсказано, говорят; верю, но признаюсь, судьбу я в книге находил только после того, как свершилась она.

Увидя меня, добрый Ерник просиял; и весь дом сверху донизу задрожал от наших раскатов. Вид этого пузатого человечка радует меня. У него лицо рябое, широкие щеки, красочный нос, глаза узкие, живые, хитрые. Он часто бурчит, людей и погоду бранит, но на самом деле он благодушно-насмешлив и еще пуще меня балагурит. Он умеет и любит, — с видом суровым отпустить не то что красное, а прямо-таки багровое словцо. И приятно глядеть на него, когда, важный, сидит перед бутылкой он, именует бога чревоугодия и бога веселья, распивает и распевает. Довольный моим приходом, он стиснул мне руки в толстых своих лапах — жестких и неуклюжих, но лукавых, как и он сам, лукавых и ловких, когда нужно работать, стругать, вырезывать, переплетать. Все в доме сделано им самим; и не все красиво, но все от него исходит; и — красиво ль оно или нет — это его портрет.

По привычке стал он жаловаться на то на се; а я, из духа противоречия, хвалил и то и это. Он лекарь — «тем хуже», я же лекарь — «тем лучше»: вот и вся игра наша. Далее побранил он своих клиентов; и действительно, они не особенно торопились платить: долги некоторых из них вот уж тридцать пять лет как еще не погашены; да и сам он не очень настаивает. Другие если и платили, так только случайно, и чаще всего натурой: корзиной яиц, курой; таков обычай! Проси он деньгами — обиделись бы. Он ворчал, но не противоречил; и мне кажется, что, будь он на их месте, он поступал бы точно так же. По счастью, у него был известный достаток — питательный капиталец. Жил он незатейливо, старым холостяком, за бабочками не бегал —

а что касается вкусовых наслаждений, то на этот счет сама природа позаботилась — стол накрыт среди наших полей; виноградники наши, плодовые сады, садки являются обильной кладовой. Тратил он только на книги, но скупясь, их показывал только издали, не любил одалживать. Кроме того, у него была плутовская склонность глядеть на луну сквозь те стекла, которые недавно из Голландии к нам прибыли. Он устроил себе на крыше между трубами колеблющуюся площадку, откуда он строго наблюдает вертящийся небосвод; он пытается разобрать, не много, впрочем, понимая, букварь судеб наших. Не верит он в это, но любит обманывать себя. Я его понимаю: приятно из окна своего смотреть на огни небесные, что проходят, как по улице барышни; воображать их любовные приключенья, кружевные романы, и хоть, может быть, ошибаешься — все равно это развлекательно. Мы долго обсуждали чудо — кровавую шпагу, которой взмахнул некто в ночь на четверг. И каждый из нас объяснял знаменье по-своему; каждый, разумеется, утверждал непоколебимо, что его заключенье — правильное. Но под конец оказалось, что ни тот ни другой ничего не видел. В этот вечер звездочет наш как раз задремал на крыше своей. Не так уж скучно, когда в дураках остаешься не один. Мы и повеселели.

И потекли мы в путь, твердо решив ни в чем попу не признаваться. Шли мы полем, разглядывая юные ростки, веретенца розовые кустарников, птиц, начинающих гнезда вить, и ястреба, который колесил над равниной, вспоминали, смеясь, как некогда мы над Шумилой подшутили. В продолжение нескольких месяцев Ерник и я, мы из сил выбивались, чтобы научить крупного дрозда, посаженного в клетку, песне гугенотовской. Когда нам то удалось, мы выпустили его в поповский сад. Он там основался и сделался гласником для всех других деревенских дроздов. И Шумила, которого их хорал невольно отвлекал от молитвенника, крестился, божился и, уверенный, что сам бес к нему в сад залез, его заклинал и, наконец, не помня себя от гнева, притаившись за своей занавеской, стрелял из пищали в Лукавого. Впрочем, поп не совсем оказался простаком: убив дьявола, он съедал его.

Так, беседуя, мы дошли.

Брэв, казалось, спит. Дома дремали на солнце, широко разинув двери. Не было кругом ни одного человеческого

лица, кроме разве голой задницы мальчишки, который, стоя на краю канавы, поливал крапиву. Но по мере того, как мы с Ерником приближались к середине села, по дороге, испещренной соломинками и кучками помета, словно росло густое жужжанье раздраженных пчел. И, выйдя на церковную площадь, мы увидели толпу людей, руками взмахивающих, рассуждающих и взвизгивающих. А на пороге двери, ведущей в поповский сад, Шумила, пунцовый от гнева, вопил, показывая кулаки всем своим прихожанам. Мы старались понять, но голоса сливались в гул. «...Червяки, червячки... Мыши и жуки... Cum spritu tuo...»[1] Шумила кричал:

— Нет! Нет! Не пойду я!

А толпа:

— Врешь! Наш ли ты поп? Ответь, да или нет? Если да (а это так), ты обязан служить нам.

И Шумила в ответ:

— Скоты! Я слуга Господа, а не ваш...

Необычайный был гомон. Шумила, потеряв терпенье, захлопнул железную дверь в лицо им; сквозь решетку просунулись его руки: одна по привычке окропила народ святой водой благословенья, другая же взметнулась, посылая на землю гром проклятия. В последний раз его круглое брюшко и квадратное лицо появилось в окне дома. Тщетно попытавшись перекричать улюлюкающую толпу, он вместо ответа со злобой показал им язык. На сем — ставни закрылись, дом оцепенел. Крикуны повыдохлись, площадь опустела; и, проскользнув между последних зевак, мы могли наконец постучаться к Шумиле.

Стучались мы долго. Осел не хотел нам открыть.

— Батюшка! А, батюшка!

Наш зов был напрасен. (Мы ради шутки изменили голоса.)

— К черту! Меня нет здесь.

И так как мы все-таки настаивали:

— Убирайтесь вон, вон! — загремело изнутри. — Если вы, черти, тотчас не перестанете теребить и ломать мою дверь, я вас так окрещу!..

Он чуть не выплеснул на голову нам свой горшок.

Мы закричали:

---

[1] Духом твоим *(лат.)*.

— Чего там! Плесни уж вином...

При словах этих буря чудом утихла. Красная, как солнце, добродушная рожа попа выглянула из окна.

— Э, да это вы! Персик, Ерник! А я-то собирался проучить вас! Безбожные шутники! Что же вы сразу не сказались?

Он сбежал по лестнице, ступени проглатывая.

— Входите, входите. Во имя Отца и Сына... Дайте я обниму вас. Добрые люди, как я рад видеть лица человеческие после всех этих павианов. Присутствовали вы при том, как бесновались они? И пусть беснуются — пальцем не двину. Поднимемся, — пить будем. Верно, жарко вам? Хотят заставить меня выйти со Святыми Дарами! Дождь-то ведь собирается. Господь и я — мы вымокли бы, как мыши. Разве мы на службе у них? Разве я батрак? Обращаться с человеком Божьим как со скотиной! Изверги! Я создан, чтобы лечить их души, а не поля их...

— Да в чем же дело, — спросили мы, — что морочишь ты нас? Кого ты бичуешь?

— Идемте наверх, — сказал он. — Там нам будет удобнее. Но сначала выпить надо. Мочи нет, задыхаюсь!.. Как вы находите вино это? Оно, что и говорить, не из скверных. Ну вот: поверите ли вы, друзья мои, что эти обезьяны норовят заставить меня служить ежедневно молебствие! И все из-за жуков.

— Каких жуков? У тебя они в мозгу жужжат; ты бредишь, Шумила!

— Какой там бред!.. — воскликнул он в возмущенье. — Нет, это уж слишком!.. Я — жертва их прихотей буйных, и меня же зовут сумасшедшим!

— Тогда объясни, объясни толком!..

— Вы меня оба загоните в гроб, — молвил поп, утирая лоб со злобой. — Как могу я найти покой, когда ко мне и к Богу, к Богу и ко мне лезут день-деньской с дурацкими просьбами? И заметьте (ох, задохнусь, чего доброго), заметьте, что эти язычники о будущей жизни не думают вовсе, не моют души, как и ног не моют, а меж тем от меня требуют то ненастья, то вёдра. Я должен приказывать солнцу, луне: «Немного тепла, теперь — влаги, — не слишком, — теперь солнышка, мягкого, нежного, мутного, теперь ветерка — но не надо морозов, пожалуйста, — полейка еще, смочи виноградник мой, Господи; стой, будет тебе

отливаться... Теперь хорошо бы и чуточку зноя...» Слушая этих разбойников, можно подумать, что Богу одно только и остается: покорно трусить вокруг колодца (и, таким образом, поднимать в нем уровень воды), уподобляясь ослу, которому садовник догадливый подвязал спереди пучок сена. И притом (это лучше всего) они тянут в разные стороны: один дождя просит, другой — солнца. Приходится взять за бока и святых. Там, в вышине, тридцать семь из них доставляют влагу. Идет во главе, с копьем в руке, святой Медард, великий водолей; на другой же стороне — только двое: святой Раймунд и святой Дион, проясняющие небосклон. Но на помощь еще святые спешат: Влас гонит ветер назад, Христофор отстраняет град, Валерий — бури глотает, Аврелий — гром рассекает, Клар — синеву прокладывает. На небесах — раздор. Господа эти важные дубасятся. И вот святые Сузанна, Елена и Схоластика вцепились друг другу в волосы. Не знает Господь, какого слушаться голоса. И если Бог не знает ничего, — что может служитель его? Бедняга! Впрочем, не мое это дело. Я здесь только затем, чтобы молитвы передавать. Исполненье же их зависит от хозяина. Посему я бы ничего и не сказал (хоть, между нами говоря, мне противно такое идолопоклонство: Иисусе кроткий, ужель ты напрасно страдал?), но оказывается, что негодяи эти требуют моего слова в ссорах небесных. Для них святой крест и я сам — только талисман, охраняющий их поля от всяких вредителей. Крыса ли грызет зерно в амбарах, — сейчас крестное шествие, заклинанья и молитвы к святому Никею. День был морозный, декабрьский. На плечах снегу целый мешок. Я потом разогнуться не мог. После — гусеницы: молитвы к святой Гертруде, крестные шествия. А на дворе март. Слякоть, снег талый, дождь ледяной; простужаюсь, конечно, кашляю до сих пор. А теперь — жуки. Пожалуйте, — шествие! Свинцовое солнце, тучи пузатые и черно-синие, словно мясные мухи, вдали глухое рокотанье грома, вспотею хорошенько, потом вымокну, — а хотят ведь, чтоб я обошел все их плодовые сады, распевая стих: «Ibi ceciderunt[1] разносители беззакония, atque expulsi sunt[2] и не могли stare[3]».

---

[1] Там погибнут *(лат.)*.

[2] И изгнаны будут *(лат.)*.

[3] Остаться *(лат.)*.

Но ведь изгнан-то буду, вероятно, — я! «Ibi cecidit[1] Шумила, священник». Нет, нет, нет, благодарю! Я не спешу. Лучшая шутка под конец надоедает. Мне ли, скажите на милость, давить червяков? Если бездельникам этим мешают жуки, пускай сами отжучиваются! Трудись, подмоги не требуй, — поможет тебе небо. Однако удобно было бы сидеть сложа руки и говорить попу: сделай это, сделай то. Нет, я буду поступать как хочет Бог и как я сам хочу: я пью. Пью. Делайте то же. Они же пусть осаждают мой дом. Осада осадой, а я так сяду, засяду и зада со стула не сдвину. Будем пить, друзья.

* * *

Он пил, ослабев после этой бури красноречия, и мы двое, подняв стаканы, глядели сквозь них на небо и на свою судьбу: и то и другое казалось розовым. Настала тишина. Только слышно было, как Ерник щелкал языком да как хлюпало вино в глотке у Шумилы. Он пил залпом, а Ерник потихоньку. Когда струя опрокидывалась вглубь, Шумила всякий раз крякал, подняв к небу глаза. Ерник долго разглядывал свой стакан, сверху, снизу, в тени, на солнце, обнюхивал его, облизывал и взглядом и языком. Я же смаковал вместе и питье и пьющих. Их удовольствие сообщалось мне, и я любовался им. Нёбо и глаза — меж собой друзья; их союз — наслажденье.

Однако это не мешало мне быстро и ловко хлопать стакан за стаканом. И все трое ровно шли в ногу, никто не отставал. Но кто подумать бы мог? Когда каждый из нас подвел итог, оказалось, что на целый глоток опередил всех нотариус.

После того как эта розовая роса нежно увлажнила пищевод и освежила жизненные силы, души наши и лица томно расцвели. Облокотившись на подоконник, мы глядели с умиленьем, с восхищеньем блаженным на юную весну, на веселое солнце, ласкающее первый пушок тонких тополей, на излучистую речку в долине среди полей, резвящуюся как собачонка; и оттуда доносились звонко стук колотушек, смех прачек, кваканье уток-болтушек. И Шумила, прояснившись, говорил, подергивая то меня, то Ерника за рукав:

---

[1] Здесь погиб *(лат.)*.

— Как сладко жить на этой земле! Возблагодарим Отца Небесного за то, что Он нам всем троим дал здесь родиться. Глядите! Что может быть прелестней, улыбчивей, милей, умилительней, соблазнительней, пухлее, сочнее, изящнее! Слезы навертываются на глаза... Просто хочется съесть его, мерзавца!

Мы, кивая, поддакивали, как вдруг он снова разгорячился:

— И как это его угораздило создать на земле животных таких! Он был прав, конечно. Он, полагать надо, знает, что делает... Но я предпочел бы, чтоб он был не прав и чтоб паства моя пошла к черту: погостила бы, что ли, у инкосов или у султана турецкого — мне все равно где, — только бы здесь не оставалась.

Мы сказали ему:

— Шумила, люди везде одинаковы. Что те, что другие. Не стоит менять.

— Значит, — продолжал он, — были сотворены они не для того, чтобы быть мною спасаемы, а для того, чтобы я сам мог спастись, горемычничая на земле. Согласитесь, кумы, согласитесь, что худшее ремесло — это ремесло сельского попа, который выбивается из сил, вбивая священные истины в каменные лбы этих дурней. Тщетно кормишь их соком Евангелия, тщетно в рот ребятишкам суешь сосец Катехизиса: молоко у них тут же выливается из носу; нуждаются эти зобища в более грубой пище. Пожуют они первый слог молитвы, пропоют псалом по-ослиному, но не прочувствуют ни слова единого. И сердце и желудок остаются пустыми. Они просто язычники, как всегда и были. Напрасно в продолжение многих веков мы изгоняем из ручьев, из лесов, из полей духов и фей; напрасно мы дуем (вот-вот щеки и легкие лопнут), задуваем снова и снова эти адские факелы для того, чтоб во мраке выделялся резче единственный свет, свет Бога истинного. Никогда не могли мы убить этих бесов земных, суеверие гнусное — душу вещества. Старые дубовые пни, черные валуны продолжают скрывать это дьявольское отродье. А сколько из них мы разбили, подрезали, искрошили, сожгли, искоренили! Пришлось бы перевернуть каждую кочку, каждый камень, всю землю Галлии, матери нашей, чтобы окончательно оторвать беса, который вцепился ей в тело; но и этого мало. Природа проклятая проскальзывает

у вас меж пальцев; вы ей лапы отрубаете, а у нее вырастают крылья. На месте каждого уничтоженного бога появляется десять новых. Все — бог, все дьявол для этих варваров. Они верят в оборотней, в белого коня безглавого и в черную курицу, в исполинского змия, в эльфов и в колдующих уток... Вообразите же, какой должен иметь вид среди всех этих искалеченных чудовищ, вырвавшихся из ковчега Ноева, кроткий Сын Марии и плотника благочестивого!

Ерник отвечал:

— Кум, «око — чужое око видит, но не видит себя самого». Твои прихожане безумны, нет слов; но ты сам — ты здоров? Поп, не тебе говорить; ты как они поступаешь точь-в-точь. Неужели святые твои лучше их эльфов и фей? Недостаточно было иметь одного Бога в трех или трех в одном, да еще богиню-мать; пришлось населить ваш Пантеон кучкой божков в штанах и в юбках, дабы заместить тех, которых вы разбили, и заполнить чем-нибудь опустевшие ниши. Но, Боже правый, боги эти не стоят старых! Темно их происхожденье. Отовсюду вылезают, как улитки, кривобокие боги, жидкие, вшивые, неумытые, струпьями покрытые, в ранах и в шишках. Один выставляет вместо руки окровавленный обрубок, а на бедре у него лоснящаяся язва; у другого в виде изящной шляпы — всаженный топор. Этот прогуливается, держа под мышкой свою собственную голову; тот с гордостью вытряхивает кожу свою, как рубашку. Но зачем идти так далеко: что сказать, поп, о святом, восседающем в церкви твоей, о столпнике Симоне, который сорок лет простоял на одной ноге, подобно цапле?

Шумила вздрогнул и воскликнул:

— Стой, язычник. Брани, коль хочешь, других святых. Я не обязан защищать их. Но этот — мой святой, мой... я у него в доме. Мой друг, будь вежлив.

— Так и быть (я твой гость). Оставим его стоять на лапке; но скажи мне, что думаешь ты об аббате Корбиньи, утверждающем, что у него есть в бутылках молоко Пресвятой Девы; и как тебе нравится господин Сермизель, который однажды, страдая от поноса, употребил в виде промывательного средства раствор мощей в святой воде?

— Что думаю? — сказал Шумила. — Думаю, насмешник, что, если б у тебя болел живот, ты, пожалуй, поступил бы

так же. Что же касается аббата Корбиньи, то и он, и вообще все эти монахи, чтоб только переманить наших покупателей, торговали бы молоком архангельским, сливками ангельскими и маслом серафимским. Не будем говорить о них. Монах и поп что собака и кот.

— Итак, Шумила, не веришь ты в мощи?

— В эти — нет. Но у меня есть другие: святой Диетрины ключица, очищающая мочу и угреватые лица. А также лобная кость святого Ступа; благодаря ей бес из брюха овечьего прочь ступает. Не смей смеяться. Ты что, Ерник, ерзаешь? Или вправду не веришь? У меня есть свидетельства, на пергаменте писанные, слепец сомневающийся. Пойду принесу их. Увидишь, увидишь их подлинность!

— Сиди, сиди, оставь свои бумаги в покое. Ведь и ты сам не веришь. Вижу я, — нос твой движется. Какая б она ни была, — откуда бы ни пришла, — кость всегда только кость, и тот, кто боготворит ее, — идолопоклонник. Всякой вещи свое место: место мертвых на кладбище. Я же верю в живых, верю, что светит солнце вовсю, что сам я пью и рассуждаю — и рассуждаю отменно, верю, что дважды два — четыре, что земля наша — неподвижное светило, потерянное в пространстве крутящемся; верю в ниневрейца Гви Кокиля и могу, если хочешь, тебе наизусть прочитать с начала до конца его сборник Обычаев; верю также тем книгам, сквозь которые наука и опыт человеческий просачиваются по капле; и сверх всего верю в свой рассудок. И (само собой разумеется) верую в слово Божие. Нет человека осторожного и мудрого, который бы сомневался в истине его. Ты доволен, поп?

— Нет! — воскликнул тот, не на шутку раздраженный. — Кто ты: кальвинист, еретик, гугенот? Бранишь Библию, учишь мать свою — Церковь, думаешь (змеиный выкидыш!) обойтись без отца духовного?

Ерник, рассердившись в свою очередь, заявил, что он не позволит, чтоб его считали протестантом, что он истинный француз, истый католик, но притом человек сознательный, у которого два крепких кулака, да и ум не однорукий, что в полдень он видит без очков, зовет дурака дураком, а его — Шумилу — тремя дураками в одном или одним в трех (как ему больше нравится), и что, наконец, он, почитая Бога, почитает человеческий разум, лучший луч этого великого светила.

* * *

На сем они оба замолкли и стали пить, ворча и дуясь, облокотившись на стол спиной ко мне. Я же расхохотался. Тогда они заметили, что я еще ничего не сказал, и я внезапно сам заметил это. До этой минуты я был занят тем, что наблюдал их и слушал, развлекаясь их доводами, отражая на лице своем каждое их выражение, повторяя про себя каждое слово, беззвучно шевеля губами, как кролик, жующий лист капусты. Но вот эти страстные спорщики потребовали, чтобы я высказался за одного из них.

— Стою за обоих, — ответил я, — и еще за несколько других. Мало ли кто рассуждает о том же? Чем больше безумцев, тем больше смеха, чем больше смеешься, тем мудрее становишься. Когда, друзья мои, вам хочется точно узнать все, что вы имеете, начинаете вы с того, что на листе выписываете ряд чисел; потом складываете их. Отчего бы таким же образом не соединить звенья ваших воззрений? Быть может, все вместе они составляют истину? Истина вам кукиш показывает, когда вы пытаетесь ее схватить сразу. Да, дети мои, все на свете объясняется по-разному, и объяснений много. Я принимаю всех ваших богов, и языческих, и христианских, а также — бога разума.

При этих словах они оба, разгневавшись, обозвали меня скептиком и афеем.

— Что же вам нужно? Что вы хотите от меня? Если ваш Бог или ваши боги, закон или законы приходят ко мне, я их принимаю. Я — гостеприимен. Господь мне очень нравится, а святые его — еще больше. Я люблю их, почитаю, улыбаюсь им... И они, добрые люди, — тоже не прочь со мной покалякать. Но должен признаться, что одного Бога мне недостаточно. Что поделаешь? Я жаден — а меня заставляют поститься. У меня есть и свои святые, феи и духи, небесные и земные, древесные и водяные; я верю в разум. Верю также безумцам, ясновидящим да колдунам, люблю воображать, как земля качается средь облаков, и я бы желал беспрестанно трогать, разбирать и вновь пускать в ход чудесные пружинки и колесики мировых часов. А также люблю слушать, как звенят небесные сверчки, круглоглазые звездочки, люблю примечать в луне человека с вязанкой хвороста... Вы пожимаете плечами? Вы — вы стоите за порядок. Что ж, порядок имеет свою цену. Но нужно платить. Порядок — значит не делать того, что хочешь, и де-

лать то, чего не хотел бы: протыкать себе один глаз, чтобы лучше видеть другим, вырубать леса, чтобы проводить большие прямые дороги. Это удобно, удобно. Но, Господи, как это некрасиво! Я старый галл; много вождей, много законов, все братья, и каждый для себя. Верь мне, не верь, но не мешай мне поступать как я хочу — верить или не верить. Почитай разум. А главное, друг мой, не трогай богов. Они кишат, кипят, льются сверху, снизу, над головой, из-под ног; земля от них раздулась, как свинья поросая. Я их всех уважаю. И я вам позволяю мне привести и других. Но вы не сможете отнять у меня ни одного и не заставите меня ни одного разжаловать, — если, разумеется, мерзавец не слишком злоупотребит моей доверчивостью.

Ерник и поп спросили жалостливо, как я нахожу путь свой среди всей этой сумятицы.

— Нахожу его без труда, — сказал я. — Все тропинки мне знакомы, я гуляю там свободно. Когда я иду лесом из Шаму в Везлэ, неужели вы думаете, что мне нужна большая дорога? Я иду с закрытыми глазами, путями облавщиков. И если я, может быть, и опаздываю — зато прихожу домой с полной сумой. Все в ней на своем месте, все разложено бережно — рядком, да под ярлыком. Бог — в церкви, святые — в часовнях; феи — среди полей, разум — за моим лбом. Живут они в согласии: у каждого есть подруга, работа и дом. Они не подчинены неограниченному правителю; но, подобно жителям Берна и соседям их, образуют между собой союзы. Некоторые из них слабее других. Но не гнушайся ими. Против сильных иногда нужны слабые. Конечно, Господь могущественнее фей. А все же и он должен быть с ними ласков. И он один не сильнее, чем все вместе взятые. Сильный всегда найдет более сильного, который и проглотит его. Глотатель проглатывается. Да... Я, видите ли, твердо верю, что все-таки *самого великого Господа Бога* еще не видал никто. Он очень глубоко, очень высоко, совсем в глубине, совсем в вышине. Как и наш король. Мы знаем (слишком хорошо знаем) его людей, слуг и солдат. Но он сам остается в своем Лувре. Сегодняшний Бог, тот, которому все молятся, это, так сказать, господин Кончини... Ладно, ладно, не бей меня, Шумила. Я скажу, чтобы тебя не раздражать, что это не он, а наш добрый герцог, господин Нивернейский (Господь его храни). Я почитаю его и люблю. Но перед властелинами

Лувра он все же уползает во мрак, и хорошо делает. Да будет так.

— Да будет так! — воскликнул Ерник. — Но, увы, это не так. «*В отсутствие господина слуга зазнается*». С тех пор как умер наш Генрих и королевство обабилось, принцы забавляются прялкой, прядильщицей. «Забавы принцев радуют только их самих». Эти воришки суют нос в великий садок и опустошают сокровищницы Арсенала, полные золота и грядущих побед, казну, оберегаемую господином Сюлли. Гряди, мститель, и заставь их выплюнуть душу вместе со съеденным золотом!

К этому мы еще добавили многое, но передать слова наши было бы неосторожно. Мы стройно пели одну и ту же песнь. Сделали мы несколько вариаций на тему принцев в юбках, лжепророков в туфлях, жирных прелатов и монахов-бездельников. Я должен сказать, что Шумила в данном случае нашел самые лучшие, самые яркие созвучия. И наша троица продолжала в полном согласии, переходя от приторных к ядовитым, от лицемерных к слепо верующим, перебирая ханжей всевозможных, безумных и полуумных, всех тех, которые, желая воспитать в нас любовь к Богу, думают вселить ее в тело ударами дубины или кинжала. Бог не погонщик ослов: не палкой он действует. А кто безбожничает — пусть идет к черту. Нужно ли еще мучить и жечь его при жизни? Оставьте нас в покое. Пусть живет каждый, как хочет, во Франции нашей и дает жить ближнему своему. Христианин — из всех самый нечестивый: он не понимает, что Христос был распят не только за него. Добрый и злой, в конце концов, похожи друг на друга, как две капли воды.

После чего, устав говорить, мы запели в три голоса, затянув хвалебную песню в честь Вакха, единственного бога, в бытии которого никто из нас не сомневался. Шумила громко объявлял, что его он предпочитает всем тем, которых славят мерзкие монахи Лютера и Кальвина да всякие косноязычные проповедники. Вакх же отчетливый, ощутимый бог, достойный уважения, — бог из древнего рода французского... — что говорю? — христианского, дорогие братья: разве Иисус не бывает изображен на некоторых старинных картинах в виде Вакха, попирающего грозди? Выпьем же, други, за него, за Искупителя нашего, христианского Вакха, смеющегося Иисуса, чья пурпурная

чудная кровь струится под зеленью наших холмов, вносит благоухание в виноградники наши, в душу и в речь, и льется и льется — сладчайшая, любвеобильная, милостивая, невинно-насмешливая, льется через ясную Францию... Да здравствует радость и разум!

Но пока мы чокались, прославляя французский веселый здравый смысл, который во всем избегает крайности («между двух мнений садится мудрец»... а потому садится он часто на пол), пока мы разглагольствовали, грохот закрываемых дверей, стук грузных шагов на лестнице, заглушенные восклицания («ох, Иисусе Христе, ох, Господи!») и тяжелые вздохи известили нас о нашествии ключницы попа, по прозванью Попойка.

Она отдувалась, утирая свое широкое лицо уголком передника и восклицая:

— Скорей, скорей. На помощь, батюшка!

— В чем дело, дура ты этакая? — спросил тот нетерпеливо.

— Они близятся, близятся. Это они!

— Да кто же? Гусеницы, гуськом ползущие через поля? Я тебе уже сказал: не смей напоминать мне об этих язычниках — моих прихожанах.

— Но они вам угрожают!

— Чем? Судом? Мне-то что! Я готов. Пойдем.

— Ах, сударь, если б это было так!

— В чем же дело? Говори.

— Они там, у Великого Пика, — колдуют, заклинания творят и распевают: *«Покидайте, мыши и жуки, покидайте поля, забирайтесь к попу в сад и в погреб».*

При этих словах Шумила так и подскочил.

— Ах, проклятые! Жуки в моем плодовом саду! И в моем погребе! Ах, они режут меня! Они уже не знают, что выдумать! Ах, Господи, ах святой Симон, придите на помощь к вашему служителю...

Мы, смеясь, попробовали было его успокоить.

— Смейтесь, смейтесь, — крикнул он. — Вы на моем месте, умники, не смеялись бы столько. Заслуга невелика: будь я в вашей коже, я бы смеялся тоже. Но хотел бы я видеть, как приняли бы вы подобное известие, как стали бы накрывать стол, готовить комнату для принятия этих гостей. Их жуки! Какая гадость. А мыши... Не хочу, не хочу! Это черт знает что такое...

— Но позволь, — сказал я, — разве ты не священник? Отклони заклинанья их. Разве ты не во сто раз умнее прихожан своих? Разве ты не сильнее их?

— Эх, эх. Как знать! Великий Пик очень хитер. Ах, друзья мои! Ах, друзья! Какая новость! Какие разбойники! А я-то был так спокоен, так доверчив. Ах, ничего нет верного на свете... Один Бог велик. Что могу я сделать? Я пойман. Они держат меня. Поди, милая, поди скажи им, чтоб они остановились. Впрочем, нет. Я сам иду, сам иду, — ничего не поделаешь. Ах, мерзавцы! Когда, в свою очередь, я буду в предсмертный их час властвовать над ними!.. А пока (Fiat voluntas[1]) я должен исполнять все их прихоти. Ну что ж, надо выпить чашу. Я выпью ее. Это не первая...

Он встал. Мы спросили:

— Куда же ты собираешься?

— В крестовый поход, — ответил он, — против майских жуков.

ПРАЗДНЫЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Апрель, тонкая дочь весны, худенькая девонька, я вижу твои глаза прелестные, я вижу, как цветут грудки твои крошечные на ветке абрикосовой, на ветке белоснежной, чьи заостренные розовые почки солнце нежит утром свежим, под моим окном, в саду моем. Что за утро славное! И как отрадно думать, что увидишь, что видишь уже этот день. Я встаю, руки заламываю: о приятный, хрустящий отзвук труда долгого, упрямого!

Мы хорошо поработали, я и помощники мои, за последние две недели. Наверстать часы принужденной праздности мы хотели — опилки так и летели, и дерево пело под стругом. Но, увы! эту жажду труда не утоляют заказы. Нам приходится туго. Покупателей мало; иной-то берет, да платить не спешит, выдыхаются кошельки, истекают кровью сокровищницы; но жизни все еще много в наших мышцах и в наших полях. Земля плодородна. Из нее сотворен я, и на ней я живу. Ara, ora et labora[2]. Королем будешь скоро,

---

[1] Да будет воля *(лат.)*.

[2] Паши, молись и трудись *(лат.)*.

все мы короли в Клямси или же станем ими, черт возьми: ибо я слышу с утра, как шумят плотины, скрежещут меха кузнецов, пляшут звонкие молоты на наковальне, топоры мясников рубят кости на склизкой доске, фыркают лошади на водопое, поет и гвозди вбивает сапожник; слышу скрип колес на дороге, стук башмаков деревянных, щелканье бичей, болтовню прохожих, голоса, колокола, гаканье города работающего, приговаривающего: «Pater noster[1], месим тесто, месим panem nostrum[2] ежедневный, покамест сам его не дашь. Это все-таки верней».

А над головой моей — милое небо синей весны, белые облака, гонимые прихотью ветерка, и солнце юное, и воздух прохладный.

И мне чудится: молодость воскресает. Она возвращается стремительно из глубины времен, чтоб снова свить, как ласточка, гнездо свое под навесом старого сердца, ожидающего ее.

Дивная, дальняя, как радует твое возвращенье! Радуешь ты гораздо больше, гораздо полнее, чем в начале жизни...

В это мгновенье скрипнул жестяной петушок на крыше, и услышал я визгливый голос моей старухи, что-то кричащей, кого-то зовущей — быть может, меня. Я старался не слушать, — но, увы, пугливая ласточка молодости исчезла. Ах, подлый петушок!

И вот яростная моя подруга, приблизившись, оглушает меня своей вечной песнью:

— Что ты здесь делаешь? Что валандаешься? Верхогляд проклятый! Чего встал, разинув пасть, подобно колодцу? Ты птиц небесных пугаешь. Чего же ты ждешь? Того ли, что жареный жаворонок или плевок ласточки попадет тебе прямо в рот? А я-то пока убиваюсь, пóтом обливаюсь, из сил выбиваюсь, как старая кляча, угождая тебе, урод!

— Что же, бедная женщина, таков жребий твой!

— А вот нет, нет! Всевышний не предполагал, что на нас ляжет вся работа, а что Адам, заложив руки за спину, пойдет себе гулять беззаботно. Я хочу, чтоб он тоже мучился, и хочу я, чтоб он скучал. Сам Бог пришел бы в отчаяние, если б было иначе, если б Адам веселился. Но, по счастью, я здесь и мне, мне поручено исполнять его святые желанья.

---

[1] Отче наш *(лат.)*.

[2] Хлеб наш *(лат.)*.

Перестанешь ли ты смеяться? Работай, работай, коль хочешь быть сытым. Он словно не слышит! Ну, пошевеливайся...

Я отвечаю с кроткой улыбкой:

— Да, разумеется, моя красавица. Грех сидеть дома в такое прекрасное утро.

Возвращаюсь в мастерскую, кричу подмастерьям:

— Друзья, мне нужна гибкая, гладкая, твердая доска. Посмотреть иду, не найду ли такую на складе у Рейка. Эй, Конек, Шутик! Пойдемте выбирать.

Мы втроем вышли. А старуха моя все кричала. Я сказал:

— Пой, милая, пой.

Но это был излишний совет. Что за музыка! Я стал свистеть, чтобы дополнить ее.

Добрый Конек говорил:

— Что вы, хозяйка, можно подумать, что мы отправляемся в длинное путешествие! Через четверть часа будем дома.

— Этому разбойнику, — ответила она, — никогда нельзя довериться.

* * *

Было девять часов. Мы шли в Беян, — путь недолог. Но на мосту Бевронском мы остановились (это вежливости долг), чтобы приветствовать Фиту, Треску и Гадюку, которые начинали день с того, что глядели на протекающую воду. Побранили, похвалили погоду, потом пошли дальше, как и полагается. Люди мы добросовестные, выбираем путь кратчайший, не разговариваем с встречными (правда, что ни одного и не было). Но только живо воспринимая красоту природы, любуешься небом, первыми весенними ростками, — а там в овраге цветет яблоня, там скользнула ласточка, — останавливаешься, рассуждаешь о направленье ветра... На полпути вспоминаю вдруг, что я еще сегодня не видел Глаши. Говорю:

— Идите себе. Мне нужно сделать крюк. У Рейка я вас догоню.

Когда я пришел, Марфа, дочь моя, занималась тем, что мыла, воды не жалея, лавку свою, но это не мешало ей болтать, болтать, болтать то с тем, то с другим, с мужем своим, с приказчиками да с Глашей, да с двумя-тремя зашедшими кумушками, хохотала она во все горло и не

переставала болтать, болтать, болтать. Кончив, она с размаху выплеснула ведро на улицу. Я стоял близ порога, любуясь ею (у меня и сердце и глаза радуются всякий раз, как я гляжу на это яркое мое созданье), и таким образом поток воды хлестнул меня по ногам. Она только пуще стала смеяться, но я хохотал еще громче. Вот она, смеющаяся галльская красавица! Я видел ее черные волосы, полускрывающие лоб, густые твердые брови, горящие глаза, и губы, горящие еще больше, красные, как пламя угля, сочные, как спелые сливы, и голую шею, и голые руки, и решительно скрученную юбку.

— Ты вовремя подоспел, — заметила она. — Все ли ты получил, по крайнего мере?

Я отвечал:

— Почти все; впрочем, я воды только тогда боюсь, когда она в моем стакане.

— Входи, — сказала Марфа, — входи, Ной, не взятый волной, Ной-винoделец.

Вхожу, вижу Глашу в коротком платьице, у прилавка притаившуюся.

— Здравствуй, булочка!

— Бьюсь об заклад, — сказала Марфа, — что я знаю, почему ты так рано дом свой покинул.

— Ты не можешь проиграть. Ты хорошо знаешь причину, она тебя вскормила.

— Так, значит, — мать?

— Вестимо!

— Как трусливы мужчины!

Как раз входил Флоридор, и это словцо ему брызнуло прямо в лицо. Он насупился.

Я же сказал:

— Это мне предназначено. Не обижайся, друг.

— Есть и для двух, — сказала она. — Раздели, не жадничай.

Тот все хранил вид задетого достоинства. Он истинный мещанин. Он не допускает, чтобы могли смеяться над ним; и когда видит нас вместе, он косится, наблюдает, пытливый и подозрительный, стараясь угадать, какие слова выйдут из наших смеющихся уст.

Бедные мы простаки! Как нас чернят!

Я сказал бесхитростно:

— Ты шутишь, Марфа; я знаю, что Флоридор хозяин в доме своем. Он не раздавлен, как я, под чужим башмаком.

Его Флоридориха кротка, скромна, безвольна, безмолвна, послушна, добра. Она унаследовала от своего бедного, забитого отца эту робость и покорность...

— Долго ли ты еще будешь смеяться над людьми, — заметила Марфа, которая, опустившись на колени, снова принялась тереть (я же тебя, я же тебя, тру, тру поутру), тереть стекла и половицы с яростной радостью.

Она работала, я глядел на нее, — и мы оба между тем вели и трезвые и резвые речи. А в дальнем углу лавки, которую Марфа наполняла движением, бодрым разговором, всей крепкой жизнью своей, — притаился сумрачный Флоридор, ужаленный, накрахмаленный. Он в нашем обществе никогда не чувствует себя свободным. Сырые словечки, полнокровные галльские шутки коробят его, оскорбляют в нем чувство достоинства. Он не может понять жизнерадостных. Сам он маленький, бледненький, худенький, хмурый; он любит жаловаться по всякому поводу. Его шея куриная была полотенцем обвернута, он казался встревоженным, глаза его бегали.

Наконец он сказал:

— Мы здесь на ветру, словно на башне стоим. Все окна открыты.

Марфа, не переставая тереть, отвечала:

— Что же делать, мне душно.

Флоридор попробовал было устоять, но не выдержал (по правде сказать, ветерок был свеженький) и вышел разгневанный.

Та подняла голову и сказала добродушно-насмешливо:

— Хотел бы распечь, да пошел печь.

Я хитро спросил, продолжает ли она жить в мире и согласии с мужем своим. Она и не думала отрицать это. Ах, упрямая! Если уже она совершила ошибку, можно четвертовать ее — она не сознается в ней.

— Отчего бы и не быть согласию? — сказала она. — Он мне приходится по вкусу.

— Еще бы. Я сам бы отведал. Но у тебя рот большой; ты скоро съедаешь пирожок такой.

— Нужно удовлетворяться тем, что есть.

— Хорошо сказано. А все-таки на месте пирожка я, признаюсь, не совсем был бы спокоен.

— Отчего? Ему бояться нечего, я честно торгую. Но пускай и он сам поступает как должно. Измени мне, попро-

буй-ка, брат. В тот же день я скажу: «Ага, ты рогат». У каждого доля своя. Это — мое, это — твое. Итак, исполняй свой долг.

— Исполняй до конца, — я добавил.

— Конечно. Посмел бы он жаловаться, что девица слишком прекрасна.

— Ах, чертовка. Если не ошибусь, — ты отвечала за всех, когда гусь принес приказ от небес.

— Я знаю немало гусей, но только бесперых. Какого ты разумеешь?

— Разве ты не слыхала, — спросил я, — рассказа о гусе, которого кумушки к Отцу небесному послали. Они просили, чтоб детишки, только-только вылупившись, уж могли разгуливать... Отвечал Господь: что же, я не прочь (он любезен с дамами). Но взамен поставлю я условие маленькое: чтоб отныне жены, девы, девочки спали б одинешеньки... С посланьем этим верный гусь спустился с неба. К сожаленью, там я не был и не видел, как он прибыл... Но я знаю, что посланник наслышался слов таких...

Марфа, сидя на корточках, остановилась и разразилась неистовым хохотом. А потом, толкая меня, с ног сшибая, воскликнула:

— Старый болтун! Горшок с горчицей, болтун, слюнтяй, замуслюга! Ступай, ступай вон отсюда. Пустомеля! И на что ты годишься? Теряю с тобой только время. Ну, убирайся. И уведи с собой собачонку эту бесхвостую, Глашу твою. Она все у меня в ногах путается; только что я выгнала ее из пекарни, а вот она снова, кажется, сунула лапки в тесто (так и есть, нос весь белый). Отправляйся-ка вместе. Дайте мне, бесенята, дайте мне поработать спокойно, а не то я пойду за метлою...

Она нас вытолкала. Мы пошли, очень довольные, направляясь к Рейку. Немного только замешкались мы на берегу Ионны. Глядели, как удят, советы давали. И очень радовало нас, когда нырял поплавок или выпрыгивала уклейка из зеленого зеркала. Но Глаша, видя на крючке червяка, который корчился от смеха, сказала мне с детским отвращением:

— Дедушка, ему больно, он будет съеден.

— Ну конечно, деточка, конечно, — отвечал я. — Для него это только маленькая неприятность. Не нужно думать

об этом. Подумай лучше о том, кто съест его, о блестящей рыбе. Она скажет: «Как вкусно!»

— Но если бы ты, дедушка, был на месте червячка?

— Ну что ж, я бы тоже сказал: «Как вкусно! Счастливый мерзавец! Как везет тому молодцу, который меня глотает». Вот, моя девочка, вот каким образом удается дедушке быть довольным всегда. Я ли ем, меня ли едят, все хорошо. Нужно только разместить это у себя в голове. Все хорошо, все вкусно, говорит бургундец.

Так рассуждая, мы незаметно дошли (еще не было и одиннадцати). Конек и Шутик мирно ждали, вытянувшись на бережку; последний, прихвативший на всякий случай удочку, поддразнивал рыбку. Вошел я в сарай. Когда нахожусь средь прекрасных деревьев, простертых, совсем оголенных, и запах приятный опилок меня опьяняет — тогда все равно мне: пусть годы и воды текут, протекают. Без конца я их нежные бедра ласкаю. Дерево больше люблю я, чем женщину. У всякого есть своя страсть. Уж я выбрал, а все не могу оторваться. Если б я был у султана и видел на рынке избранницу сердца — среди двадцати обнаженных прекрасных рабынь, — неужели любовь помешала бы мне, мимоходом, глазами ласкать красоту остальных? Нет, я не глупец. Зачем же Господь даровал мне глаза ненасытные? Для того ль, чтоб держать их закрытыми? Нет, я распахнул их, как двери широкие. Все входит, ничто не теряется. Я, испытанный, зоркий, умею сквозь хитрость убогую женщины мысли, желанья ее разглядеть; и также под гладкой иль грубой корою деревьев моих разгадать я могу затаенную душу, которая выглянет из скорлупы, — если я захочу быть наседкой.

Пока я решаюсь, нетерпеливый Конек сердится (он глотает, не глядя; только мы, старики, умеем смаковать) и переругивается со сплавщиками, которые разгуливают на том берегу или же стоят, оцепенев как цапли, на мосту Беяна. В обоих предместьях нравы те же. По целым часам, раздавливая ягодицы о перила, прохлаждаешься на реке, а то освежаешь рыло в соседнем кабаке. Обычная беседа между жителем Беврона и жителем заречным состоит из прибауток. Эти господа обзывают нас мужиками, бургундскими улитками и навозными жуками. Тогда мы стреляем тоже, именуя их жабами и рыбьими рожами. «Мы», говорю, ибо, когда молебствие слышу, я по совести должен

сказать свое: Ora pro nobis[1]. Да, вежливость раньше всего. Коль с тобой говорят — отвечай.

Честь честью мы перекинулись словечками прихотливыми и только тогда (вот те на, колокольный звон: это полдень. Я потрясен. Погоди, время, погоди. Спешат песочные часы твои), только тогда я прошу добрых сплавщиков помочь нам тележку нагрузить и отвезти в Беврон дерево, выбранное мной.

Они много кричат:

— Персик проклятый! Ты не стесняешься!

Они много кричат, но слушаются. Они меня любят, в сущности. Домой мы неслись во весь дух. С порогов лавчонок глядели люди, любуясь стараньем нашим. Но когда близ Беврона упряжка моя на мосту очутилась и нашла трех других молодцев неподкупных, Фиту, и Треску, и Гадюку, все так же склоненных над тихо текущей водой, то вместо ног языки заработали. Одни презирали других за то, что они какое-то делают дело. А те презирали бездельников. Много песен у каждого было в запасе. Я на камне рубежном сидел и ожидал конца, чтоб наградить лучшего певца. Но вдруг чей-то голос раздался над самым ухом моим.

— Разбойник! Наконец-то! Объяснишь ли ты мне, что ты делал в продолжение девяти часов на пути из Беврона в Беян. Бездельник, болван. Горе мне, горе! Когда б ты вернулся, если б я тебя не поймала? Ну, живее домой. Мой обед сгорел.

Я сказал:

— Награда досталась тебе. А вы не трудитесь, друзья.

Она знает такие песни... Не придумаешь лучше, хоть тресни. Моя похвала тщеславие в ней разожгла. Нас угостила она еще кое-чем. И воскликнул я:

— Славно! А теперь воротимся домой. Иди вперед. Я за тобой.

* * *

Она шла, держа за руку Глашу, и шагали за ней мои оба помощника. Я, покорный, но неторопливый, собирался последовать, как вдруг ко мне ветер донес ликующий гул голосов в верхнем городе, восклицанья рожков да

---

[1] Молись за нас *(лат.)*.

перезвоны веселые на башне святого Мартына, и я, словно старый охотничий пес, стал обнюхивать воздух в предчувствии новой картины. Вот что было: с господином д'Амази сочеталась девица Лукреция де Шампо, дочь сборщика податей. Все бросаются опрометью и бегут в гору сломя голову к площади замковой, чтобы успеть увидать вход шествия в церковь. Поверьте, что я не замешкался. Находка ведь редкая. Одни только праздношатаи Треска, Фита и Гадюка не соблаговолили отлепиться от моста, объяснив, что унизительно было бы для них, жителей предместья, ходить в гости к представителям городского сословия. Конечно, мне гордость нравится, и самолюбие — прекрасное качество. Но жертвовать ему удовольствием своим — благодарю. Проявление этой любви напоминает мне того попа-наставника, который в детстве драл меня: это-де ради твоего же блага.

Хоть я и проглотил залпом сорокаведерную лестницу, ведущую к святому Мартыну, я достиг площади (увы) слишком поздно. Свадьба уже вошла. Оставалось (и это было совершенно необходимо) ждать выхода ее, но проклятые попы никогда не устают слушать свои голоса. Мне стало скучно. Я с большим трудом, сразу вспотев, протиснулся в церковь, осторожно сдавливая брюшки — добродушные и мясистые подушки; но тут же у паперти меня плотно окутал пуховик человеческий, и я очутился словно в теплой, мягкой постели. Не будь я в святом месте, у меня, признаюсь, появились бы некоторые резвые мысли. Но все в свое время. Иногда следует хранить вид степенный. Это мне так же хорошо удается, как ослу. Невзначай показывается кончик длинного уха, а порой осел даже кричит.

Так и теперь случилось: пока я, набожный и скромный, глядел разинув рот (чтоб лучше видеть) на радостное приношение в жертву целомудренной Лукреции, четыре охотничьих рога святого Губерта, перебивая церковную службу, заиграли в честь охотника; недоставало только своры. Весьма мы о ней пожалели. Я задушил смех; но, естественно, не мог удержаться, чтобы (тихохонько) не просвистеть фанфару. Когда же настал роковой миг и невеста на вопрос любопытного попа отвечала: «Да», и трубачи, молодцевато раздув щеки, возвестили затраву, я уже не стерпел и крикнул:

— Ура!

Хохотали бы до утра. Да вошел привратник, не суля мне добра. Я свернулся в комок и, скользя вдоль чужого бедра, выкатился. Очутился я на площади. Там не ощущалось недостатка в обществе. Все это были люди хорошие, умеющие пользоваться глазами, чтобы видеть, ушами — чтоб впитывать, что поймали чужие глаза, языком — чтобы рассказывать то, о чем можно говорить и не видев.

Вовсю я развернулся... Искусно врать можно и не придя издалека. Время прошло быстро — для меня по крайней мере, — и вот под звуки органа распахнулись церковные двери. Появились охотники. Впереди, счастливый и гордый, выступал д'Амази, под руку с добычей своей, которая, как лань, поворачивала туда и сюда свои глаза прекрасные. Не хотел бы я быть охранителем этой красавицы. Будет немало хлопот тому, кто ее увезет. Кто зверя берет, берет и рога. Но я только мельком видал охотника и добычу, закольщика и заколотую. И я бы не мог описать даже (кроме как для хвастовства) одежду удачника и наряд новобрачной. Дело в том, что в этот же миг наше вниманье было отвлечено важным вопросом: в каком порядке должны выступать остальные участники шествия?

Мне говорили, что уже, когда входили они (ах, зачем я там не был), стряпчий кастелянства — он же судья — и шеффен — мэр «ex officio»[1], как два барана, сцепились на самом пороге. Но толще, сильнее был мэр, и досталось ему первенство. Теперь же решить мы старались, кто же выйдет первый, кто первый появится на священной паперти? Гадали, спорили. Но не выходил никто. Словно разрубленная змея, передняя часть шествия продолжала свой путь; задняя же — не следовала. Наконец, приблизившись к церкви, мы увидали внутри, слева и справа, у самых дверей наших двух разъяренных зверей, друг другу путь преграждающих. Так как в храме святом кричать они оба не смели, то шевелили губами и носом, выпучивали глаза, выгибали спину по-кошачьи, морщили лоб, тяжело дышали, щеки надували; и все это — безгласно. Мы помирали со смеху. И смеясь и гадая, мы приняли тоже участие. Пожилые стояли за судью, представителя герцога (кто сам уваженья требует, тот всем его проповедует); а юнцы-петушки стояли за мэра,

[1] Вне должности *(лат.)*.

боевого блюстителя наших свобод. Я же был на стороне того, которому больше попадет. И мы кричали каждый своему любимцу:

— Ну-ка, ну-ка, откуси-ка ему гребешок, валяй, проучи гордеца! Ну пошел, пошел, старый осел!

Но эти два глупца только и делали, что выплевывали ярость свою, а не вступали в рукопашную, вероятно, из боязни испортить одежды праздничные. При этих условиях спор бы длился до бесконечности (можно было не опасаться, что иссякнет их красноречие), но пришел на помощь поп, не желающий опаздывать к ужину. Он сказал:

— Мои милые дети, слышит вас Бог, ждет вас пирог; никогда не нужно забывать об ужине. Никогда не нужно досаду свою обнаруживать перед Господом, да еще в храме его. Разберемся мы дома.

Если он этого и не сказал (я ничего не слыхал), то, вероятно, смысл был таков: я видел, как его толстые лапы, обхватив головы спорщиков, слили их рыла в поцелуй мира. После чего они одновременно вышли — словно два равных столпа, обрамляющих брюхо попа. Вместо одного главаря — целых три. Ничего не теряет народ, когда ссорятся главари.

* * *

Все они прошли, все возвратились в замок, где приготовлен был ужин заслуженный; а мы, дураки, ротозеи, продолжали стоять на площади вокруг невидимого котла, будто чувствуя запах вкусного. Чтобы наслаждаться, полней называли мы блюда. Нас было трое лакомок — Кишка, Балдахин и Персик — ваш покорный слуга. Мы смеясь переглядывались при каждом выкликаемом кушанье да локтем друг друга подталкивали. Одобряли это, порицали то: можно было бы и лучше выбрать при содействии людей опытных; но все же мы избегли и школьных ошибок и греха смертного; и в общем обед вышел на славу. Когда дело дошло до одного жаркого из зайца, каждый из нас объяснил свой способ приготовления; высказались и слушатели. Но тут вспыхнул спор (это вопросы жгучие; только черствые люди могут обсуждать их хладнокровно). Особенно был он оживлен между госпожой Периной и госпожой Попкой, которые обе готовят праздничные обеды в городе. Они соперницы. Каждая имеет своих сторонников, и за столом

одна сторона пытается затмить другую. Великолепные схватки! В наших городах хорошие обеды — те же бои на копьях.

Но хоть я и любитель хитрых прений, ничто так не утомляет меня, как слушать повествование о чужих подвигах, когда я сам бездействую; и я не способен долго питаться соком собственных мыслей и запахом выдуманных блюд. Потому-то я обрадовался, когда Кишка (бедняга тоже страдал) наконец мне сказал:

— Если слишком долго о кушаньях рассуждать, становишься подобен любовнику, который бы слишком много о любви своей говорил. Мочи нет, ох, я близок к гибели, друг мой, пламенею, сгораю, внутренности мои дымятся. Пойдем-ка их поливать и питать зверя, который гложет мне чрево.

— Мы справимся с ним, — отвечал я. — Положись на меня. Против болезни голода лучшее средство — есть, говорили древние.

Отправились мы в трактир «Червонец» на углу Большой улицы. Теперь, в третьем часу пополудни, и думать нельзя было о возвращении восвояси. Мой друг, как и я, слишком боялся найти дома остывшую похлебку и вскипевшую жену.

День был рыночный, зала битком оказалась набита. У себя за столом в одиночестве есть как-то лучше, уютней. Но зато в тесноте средь веселых товарищей лучше ты ешь; итак, все всегда хорошо.

Долгое время мы оба молчали. Зато наши челюсти с хрустом и шелестом признавались в любви солонине с капустой, и она, розовея прелестно, благоухала и таяла. Потом — вина красного добрую кружку, чтоб рассеять туман перед глазами (в старину говорилось: есть, но не пить — себя ослепить). После чего с ясным взглядом и глоткой промытой я снова мог снисходительно глядеть на жизнь и на людей: они кажутся более прекрасными после того, как поел. За соседним столом поп заезжий сидел против старой откупщицы, которая к нему ластилась. Она нагибалась, говорила, вбирая, как черепаха, голову, а то, скрутив ее на сторону, поднимала к нему лицо с улыбкой приторной — словно на исповеди. Тот бочком слушал, но не слышал и на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не теряя, впрочем, ни одного глотка, — и, казалось, говорил:

— Иди, дочь моя, absolvo te[1]. Все грехи твои оставлены. Господь добрый. Я хорошо пообедал, ибо Господь добрый. И эта колбаса тоже очень недурна.

Немного поодаль сидел нотариус наш, Деловой, и говорил с собратом, толкуя о собственности, о добродетели, о деньгах, о политике, о договорах, о республике... римской (он республиканец только в стихах латинских; а в жизни — как и всякий осторожный мещанин — он верный слуга королю).

В глубине мой порхающий взгляд отыскал Петруху кухаря в синей блузе, накрахмаленной круто, — Петруху Гордеца, который, в тот же миг подняв глаза, воскликнул, встал, позвал меня (я уверен, что он меня видел с самого начала, но притаился, хитрец; он помнит, что не заплатил за два прекрасных поставца из орешника, которые я для него смастерил два года тому назад). Подошел он ко мне, поднес стакан:

«Все мое сердце, сердце мое вас приветствует... —
поднес еще один. —

Чтоб ходить прямо, на обеих ногах ходить надо...» —
предложил мне пообедать вместе.

Он надеялся, что я, будучи сыт, откажусь. Но я, перехитрив его, сказал, что согласен. Что ж, долг платежом красен. Итак, снова я начал, но ныне степенней, спокойней, чем прежде: голодная смерть мне уже не грозила. Мало-помалу покинули залу невежды, что наскоро жрут, словно звери, насытиться только желая. Лишь добрые люди остались, почтенные и даровитые: благо истину и красоту умеют такие ценить. Хорошее блюдо для них, что хорошее дело.

Дверь открыта была, воздух и солнце вплывали; с порога три черные курочки, вытянув жесткие шейки, крошки клевали под ближним столом между лапами дряхлого сонного пса. С улицы звуки неслись: тараторенье женщин, стекольщика зов, да: «Рыбка, свежая рыбка...» — да где-то по-львиному рыкал осел. А дальше, на площади пыльной, два белых вола, запряженных в повозку, лежали недвижно, ноги поджав, с благодушным спокойствием жвакая; и лоснились бока их раздутые. На крыше, согретые солнцем, гулюкали голуби. И мы понимали их счастье. Так было нам

[1] Отпускаю тебе *(лат.)*.

всем хорошо, что казалось — погладь нас ладонью вдоль по спине, и мы станем блаженно мурлыкать.

Завязался общий разговор. Все мы были друзья, все братья, все равные: поп, кухарь, нотариус, товарищ его и трактирщица, отмеченная именем нежным (имя то: Целуйка. Она, впрочем, еще дальше пошла). Чтоб удобнее было беседовать, я переходил от одного стола к другому, присаживался тут и там. Говорили о политике. Мысли о черных временах только пополняют послеобеденную усладу. Все эти господа скорбно жаловались на нищету, на дороговизну, на безработицу, мрачно рассуждали о гибели Франции, об упадке племени нашего, о правителях, о притеснителях. Но предусмотрительно не называли имен. У великих мира сего и уши велики; того и гляди, из-под двери покажется кончик. Но так как у нас, бургундцев, — истина на дне кружки, то друзья мои, разгораясь мало-помалу, решались поносить тех из хозяев наших, которые были подальше. Особенно попало итальянцам — мерзким блохам, которых наша королева, флорентийская девка дебелая, принесла с собой под полой. Если у себя в кухне вы найдете двух жадных псов — вашего и чужого, — вы прогоните первого, но зашибете второго. Из чувства справедливости да из духа противоречия я сказал, что следовало бы карать обоих псов; слушая ваши рассуждения, говорил я, можно подумать, что во всем виноваты итальянцы и что только всего и есть плохого во Франции, что итальянское. На самом же деле у нас, слава Богу, немало других бед, немало других плутов.

Все в один голос ответили, что итальянский плут стоит трех наших, а что три честных итальянца не стоят и трети честного француза.

Я возражал:

— Здесь и там, где бы люди ни жили, звери все те же — один зверь не хуже другого, а хороший человек всегда хорош, живет ли он за горами или рядом сидит. И когда он сидит у меня, я радуюсь и сердечно люблю его, будь он и итальянец.

Тут они все напали на меня, насмехаясь, говоря, что вкус мой известен, называя меня Персиком вечно вертящимся, паломником, бродягой, Персиком пыльным, как придорожник...

Правда, в былые дни странствовал я немало. Когда добрый наш герцог, отец нынешнего, послал меня в Мантую

и в Альбиссолу для изученья глазуренья и других искусств, пересаженных с тех пор на почву нашу, — я не жалел ни чужих дорог, ни собственных ног. Расстояние от святого Мартына до святого Андрея Мантуанского прошел я пешком, с палкой в руке. Сладостно путь под ступней распутывать, приятно ощупывать тело земли. Но не следует слишком думать об этом: а то я, пожалуй, снова начну.

Зубоскалят они...

— Э, да что там, — я галл. Я из тех, кто мир разграблял...

— Да ты что награбил? — со смехом они говорят. — Что ты с собою унес?

— Столько же, сколько и галлы. Что видел я — тем и владею. Правда, карманы пусты, но голова всякой всячиной туго набита...

Господи, что за блаженство видеть, слышать, вкушать, а потом вспоминать. Все видеть, все ведать, — увы, невозможно; но возьми сколько влезет. Я словно губка, впитавшая весь океан. Или, вернее, — я гроздь винограда, пузатая, зрелая, полная чудного сока — сока земли. Какая б была выручка, если б ее выдавить! Нашли дурака, братцы. Выпью сам, никому не дам. Да, впрочем, вы пренебрегаете этим питьем. Что же, тем лучше. Не буду настаивать. Когда-то хотел я с вами поделиться теми крошками счастья, которые собрал я, — поделиться волшебными воспоминаньями о странах лучезарных. Но в нашем городке люди не любознательны. Самое для них занимательное — пронюхать, что делает сосед, а главное — соседка. «Остальное слишком далеко, не верю в него. Коль хочешь, пойди погляди; а я столько же вижу и здесь. Дыра — позади, дыра — впереди, не станешь умней, хоть весь мир обойди».

Отлично. Пускай говорят. Заставлять никого я не буду. Не хотите — ну ладно; а виденное я оставлю у себя за веками, в глубине глаз. Зачем людям счастье дарить против их воли? Я поступаю умнее: иногда, живя с ними, я счастлив по-ихнему, иногда же — по-своему. Два счастья лучше, чем одно.

Вот почему, зарисовывая незаметно широкие ноздри Делового и рядом попа, который словно крыльями бьет, когда говорит, я слушаю и повторяю знакомый мне припев: *«Что за радость, что за гордость родом быть из Клямси»*.

И я думаю так, черт возьми. Хороший город, да иначе и быть не могло — он ведь создал меня. В нем растенье

разумное вольно живет, соком обильное, без шипов и беззлобное, разве что злой у него язычок. Мы его хорошо заострили. Ничего — поноси ближнего, от него не убудет, он тем же ответит, лишь больше его ты полюбишь.

Деловой напоминает нам (и все мы, даже поп, чувствуем гордость) о спокойной насмешливости Ниврнейца среди безумничанья остальных, — о шеффене нашем, который отклонял одинаково и еретиков и католиков, Рим и Женеву, бешеных собак да волков, и святого Варфоломея, к нам приходившего мыть свои руки окровавленные. Все мы, сплоченные вокруг герцога нашего, образовали островок здравого смысла, о который волны разбивались. Умер старый герцог, умер и король Генрих — нельзя говорить о них без умиленья. Как мы любили друг друга! Они, казалось, созданы для нас, а мы — для них. Разумеется, они, как и мы, не были безгрешны, но недостатки их человечны были и как-то сближали нас. Мы смеясь говорили: «Верь не верь, а не весь еще вышел Невер» или: «Год будет урожайный, — детишки так и посыплются, старый волокита наделит нас еще сынком...»

Эх, лучшие денечки-то миновали. Любим мы о них говорить. Деловой знавал герцога Людовика, я также. Но зато один только я видал короля. Я пользуюсь этим: не дожидаясь их просьб, начинаю рассказывать в сотый. Мне-то всегда кажется, что это впервой, им, надеюсь, — тоже (коль душа в них французская), как явился он мне, король серенький, в шляпе серой, в серой одежде (локти насквозь торчали), верхом на сером коне, серОволосый, сероглазый, весь серый снаружи, внутри же — чистое золото...

По несчастью, вбежавший писец перебил меня, объявив нотариусу, что один из его клиентов при смерти и хочет его видеть. Тот нехотя отправился, но успел, однако, нас угостить рассказом, который он готовил вот уже целый час. Я заметил, как он вертел его на языке; но живо вставил свою собственную повестушку. Будем справедливы, — славный был рассказ, хохотали мы от души. В области шуток резвых Деловой не имеет соперников.

* * *

После чего, успокоенные, смягченные, омытые с головы до пят, мы все вместе вышли (было, вероятно, часов пять.

Что ж, за эти три часочка судьба успела послать мне — кроме двух жирных обедов и нескольких веселых воспоминаний — заказ нотариуса на два баула)... Общество разбрелось, предварительно выпив по рюмке наливки черносмородинной у знакомого аптекаря. Там Деловой докончил рассказ свой, а потом пошел дальше с нами, желая услышать другой, и только у городских ворот расстались мы окончательно, да сперва постояли брюхом к стенке, отливаясь что есть мочи.

Так как было слишком поздно и слишком рано домой возвращаться, спустился я вниз к предместью. Угольщик рядом со мной шел за тележкой своей, звонко дуя в рожок. Потом мне попался навстречу тележник: бежал и гнал перед собой колесо, и когда начинало оно ковылять, подскакивал он, ударяя с размаху по ободу. Так бежишь-надрываешься за колесом торопливой Фортуны. Вот хочешь вскочить на него, а оно от тебя убегает. Я образ отметил, авось пригодится.

Меж тем приходилось решить, каким путем возвратиться — коротким иль длинным. Пока я решал, из соседней больницы вдруг шествие выплыло с крестом во главе. Подпирая крест животом, держал его, словно копье, мальчуган, ростом не выше ноги моей, собрату язык он показывал, косясь на верхушку святого шеста. За ним следом — старца четыре, растопыря опухшие красные руки, несли кое-как в гробу, простыней обернутом, беднягу уснувшего: он, хранимый попом, отправлялся доканчивать сон свой в земле. Из вежливости я его проводил до жилища. Вдвоем веселее идти. А кроме того, мне хотелось послушать вдову, завывающую рядом с попом, говорила она о последней болезни покойника, о том, как лечили его, и о том, как он сам умирал, о его добродетелях, телосложенье, любви, о всей жизни его и о жизни супруги. Эта жалоба чередовалась с напевом церковным.

Мы, внимательно слушая, следовали; и по пути набирали сердца сочувственные и уши чуткие.

Наконец восвояси он прибыл — в обитель крепкого сна. Поставили гроб на краю могилы зияющей; и так как бедняк не имеет права уйти в рубахе своей деревянной (можно спать ведь и голым), предварительно сняв простыню и крышку от гроба, в яму свалили труп. Горсточку бросив земли, чтоб плотнее закутан он был, и перекрестив-

шись, чтоб темные сны отстранить, ушел я, весьма собою доволен: все я видел, все слышал, с другими делил и веселье и горе; раздулась котомка моя. Пора возвратиться. Я думал, достигнув слияния обеих рек, пойти бережком вдоль Беврона — до самого дома; но был вечер так чуден, что я, незаметно от города все удаляясь, пошел за Ионной, волшебно влекущей. Спокойная гладкая влага струилась без складки единой на платье лучистом; взор мой был пойман, как рыба, крючок проглотившая; все небо запуталось вместе со мною в сетях чародейной реки. Оно в ней купало свои облака; те плыли, цепляясь за травы и за тростники; и солнце в воде умывало свои золотистые пряди.

Сел я близ старика, пасущего сонно двух тощих коров; справился я о здоровье его, совать посоветовал листья крапивы в чулки, чтобы ноги не ныли (порою не прочь я и знахарить). Поведал он весело мне свою повесть, болезни свои и несчастья, да слегка был обижен, что на пять иль на шесть годков его я моложе считал (а было ему ровно семьдесят пять), — гордился он этим, гордился, что, дольше прожив, он больше имел испытаний. Он не дивился невзгодам, не дивился тому, что страдает и добрый и злой, — ведь зато улыбается счастье и добрым и злым без разбора. В конце-то концов, все равны: богатый и бедный, горбатый и стройный — все почивать они будут спокойно, на лоне Отца единого...

И думы, слова старика, его голос надтреснутый, и кузнечиков звон под травой, водоверт у плотины соседней, запах дерева, дегтя, струящийся по ветру с пристани дальней, влаги теченье и тишь, нежные заблесты — все это вместе сливалось и таяло средь покоя прозрачного вечера.

Старик ушел, я один возвращался; руки сложив за спиной, потихоньку я шел, глядя, как вьются круги по воде. Я был так поглощен хороводом видений на глади Беврона, что забыл, куда я иду и где нахожусь; и вдруг я так и подпрыгнул: с противного берега звал меня голос, голос, мне слишком знакомый. Я очутился, очнулся, у самого дома. Моя кроткая подруга — моя жена — мне кулак показывала из окна. Притворился я, что меня занимает быстрина, притворился, что я оглох; а между тем, шутя сам с собой, я глядел, как она металась, руками махала, стоя вниз головой в зеркале влаги речной. Я молчал, втихомолку смеясь, и брюшко подо мной перекатывалось. Чем больше

смеялся я, тем глубже ныряло, пошатываясь, отраженье ее возмущенья; и чем больше клевала она головой, тем веселее смеялся я. Наконец она в ярости хлопнула всеми дверьми по очереди и как буря вылетела из дому с целью меня захватить. Слева ли? Справа ли? Как быть? Мы находились между двух мостов. Она выбрала тот, который был справа. И, разумеется, когда я увидел ее на этом пути, взял я влево и вернулся по главному мосту, где как цапля Гадюка стоял, непоколебимый с самого утра.

Очутился я дома. А ночь на дворе. Однако как день-то летит. Я, к счастью, не Тит, этот лентяй, этот Римлянин, который вечно жаловался, что теряет он время. Я ничего не теряю, доволен я своим днем... Но хотелось бы мне два таких или три иметь ежедневно; все мне мало. Только пить начинаю, а стакан мой уж пуст; трещина, что ли, на дне? Я знаю людей, которые долго прихлебывают и все кончить не могут. Или у них стакан глубже? Эй, ты, содержатель трактира под вывеской Солнца, ты, день разливающий, лей мне полную меру. Впрочем, нет! Я, Боже, тебе благодарен, ибо Ты дал мне отраду иную: из-за стола я встаю голодным всегда и так люблю дневную лазурь и ночную мглу, что и той и другой мне все мало. Как ты летишь, апрель! Как ты спешишь, мой день! Ну, что ж. Насладился я солнцем, поймал я его, удержал. И я целовал твои малые грудки, девонька худенькая, весны дочь тщедушная...

Здравствуй, теперь твоя очередь, ночь. Беру я тебя. Мы будем рядышком спать. Эх, вот уж напасть — между нами ведь лежит другая... Старуха моя возвращается.

ЛАСКА

Май

Три месяца тому назад мне дан был заказ — баул с высоким поставцем, для замка Ануанского; но я не мог начать работу, не рассмотрев хорошенько комнаты и в ней — места, ему предназначенного. Ибо такое изделие подобно яблоку в плодовом саду, оно бы не могло существовать без дерева; и каково дерево, таков и плод.

Не говорите же мне о той красоте, которая одинаково хороша и здесь и там, — о красоте, приспособляющейся ко

всякой среде, словно корыстная девка. Это — богиня трущоб. Для нас искусство — свой человек, заботливый дух очага, друг, спутник, умеющий ясно выразить то, что смутно мы чувствуем все; искусство — наш домовой. Коль хочешь узнать его самого — узнай его жилище; бог создан для человека, а творение рук человеческих — для того места, которое оно может украсить и заполнить. Красота — это то, что всего прекраснее на своем месте.

Итак, я пошел осматривать будущую обитель созданья моего; там я провел большую часть дня, там я пил и питался: да не отвлечет тебя творческий дух от требований плоти. Оба они — и тело и дух — насытились, успокоились, и я, выйдя на дорогу, отправился бодро домой.

Достиг я уже перекрестка, и хотя, бессомненно, мне было известно, по какому пути следовало пойти, а покосился я на другую дорогу, струящуюся через поля, меж цветущих изгородей.

«Как было бы сладко, — шепнул я себе, — вон там побродить! К черту большие дороги, ведущие прямо к цели! Солнечен, долог день. Зачем же, мой друг, опережать Аполлона? Дом от тебя не уйдет. А старуха пускай подождет — язычок ее не отпадет. Боже, как радует глаз вон сливное то деревцо белокрылое... Пойдем-ка навстречу ему, ведь путь недалек. Вот подул ветерок — и с него, как снежок, посыпались перышки; сколько щебечущих птиц! Благодать, благодать великая! А вот ручеек, мурлыкая, скользит, полускрытый травой, словно котенок, играющий мягким мотком под ковром! А мы следом пойдем. Вот занавеска листвы дорогу ему преграждает. Ручеек-простачок попадется! Э, да куда же он юркнул, хитрюга? Здесь он, вот здесь, под ногами опухшими и узловатыми этого старого лысого вяза. Какова проказа! Но куда же, куда ты, дорога, меня приведешь?..»

Так болтал я, идя по пятам своей тени, игривый; и я притворялся — о лицемерный! — что не знаю, в какую сторону меня увлекает тропинка задорная. Как ты лжешь хорошо, Николка! Ты искусней Улисса, ты надуваешь себя самого. Ты ведь знаешь, куда направляешься. Ты знал это, плут, с той минуты, как замок покинул. Вон там, в версте отсюда, живет — любовь нашей юности, Ласка. Мы ее удивим... Но кто из двух удивится сильнее? Ведь столько лет прошло с тех пор, как я ее видел! Что осталось теперь

от лукавого личика, от мордочки тонкой моей Ласки? Теперь-то могу я встретиться с ней без опаски; уж сердце мое она не станет грызть-разгрызать зубками острыми! Сердце мое высохло, как старая лоза виноградная. Да и есть ли у нее зубы еще? Ах, Ласка, Ласочка, как умела смеяться, кусаться ты! Как играла ты бедным Персиком! По воле твоей он вертелся волчком, винтовал, извивался. Что ж! Коли весело было тебе, поступила ты правильно. И осел же я был!..

Снова я вижу себя, ротозея: локти расставив, опираюсь руками о край рубежной стены мастера Ландехи, меня научившего благому искусству ваяния. А с другой стороны, в большом огороде, смежном со двором, нам мастерскою служащим, меж грядок земляники и латука, редисок розовых, огурцов зеленых, дынь золотистых — ходила высокая, ловкая девушка: ноги босы, обнажены руки и шея ее, тяжелые рыжие волосы, да короткая юбка, да сорочка сырцовая, сквозь которую рисуются острые, твердые груди, — вот и вся одежда ее. Несла она в загорелых и крепких руках две лейки, полных воды, раскачивая их над лиственными головками растений, раскрывших крошечные рты. И я тоже разинул рот — отнюдь не крошечный. Так ходила она, выливая лейки свои, потом шла к колодцу их наполнять, опускала зараз обе руки, как тростник разгибалась и опять возвращалась, осторожно ступая по мокрой земле борозды, словно ощупывая длинными чуткими пальцами ног ягоды зрелые крупной клубники. У нее были круглые, крепкие колени, как у юноши. Я съедал ее глазами. Она, казалось, не замечала моего взгляда. Но она приближалась, разливая дождичек свой; и когда оказалась совсем рядом, внезапно стрельнула глазом...

Ай, я чувствую, как опутывают меня частые сети этих озер. Как верно сказано: «Пауку подобен женский взор».

Попав в западню, стал я биться. Но поздно уж было! Я, словно глупая муха, прилип к своей клейкой стене.

Она больше мною не занималась. На корточках сидя, она щипала капусту. Но порою лукавица косилась в мою сторону, убеждаясь в том, что добыча попалась. Я видел — злорадно она зубоскалила, и напрасно себе говорил я: «Друг мой бедный, ступай — она над тобой издевается». Видя усмешку ее, я посмеивался тоже. Ну и рожа была у меня, дурацкая рожа!.. Вдруг девица в сторону — прыг!

Переметнулась через одну грядку, другую, третью, бежит она, скачет, ловит на лету цветень одуванчика, проплывающий мягко по воздушным ручьям, и, руками махая, кричит, на меня глядя:

— Вот и еще влюбленный пойман!

После чего она сунула челнок-пушинку в пройму сорочки, между грудей. Я же, — хоть и дуралей, да не из числа унылых влюбленных, — я крикнул ей: «Суньте и меня туда же!» Тут она расхохоталась и, подбоченясь, ноги расставив, глядя мне прямо в лицо, отвечала:

— Ишь ты, сластена какой! Нечего зубы точить на яблоки мои наливные...

Так случилось, что под вечер, в конце августа я встретил ее, Ласку, Ласочку, садовницу прекрасную.

Лаской звали ее потому, что у ней, как и у зверька узкомордого, было длинное тело и маленькая голова, — с лукавым пикардийским носом, со слегка выдающимся ртом, широким, смешливым, резким, предназначенным грызть сердца и орешки. Но та нить-паутина, которой тенетница рыжая людей оплетала, извлекалась из глаз ее — сумрачно синих, как даль грозовая ведряного дня, — да из углов ее нежно-русалочных, веселых, язвительных губ.

Отныне, вместо того чтоб работать, я день-деньской ротозейничал на стене своей, покамест нога хозяина, пинком в пéпеки, не заставляла меня возвратиться на землю. Иногда же Ласочка кричала, потеряв терпенье:

— Ну что, досыта оглазел, спереди, сзади? Чего еще не видал? А ведь пора тебе знать меня!

Я же, хитро подмигнув, говорил:

— «Непрозрачна дыня, непрозрачна и женщина».

И хотелось же мне ломоть себе отрезать!.. Быть может, и плод из иного сада пришелся бы мне по вкусу. Я был молод, резвилась кровь, влекли сердце мое все красавицы подлунные; ее ли я любил? Бывают в жизни дни, когда, кажись, волочился бы за козой в кружевной наколке. Нет, нет, ты кощунствуешь, Николка, ты не веришь сам тому, что говоришь. Первая полюбившаяся — вот истинная, вот единственная, нам предназначенная: звезды ее создали ради нашей услады. Но я не испил из чаши ее, и вот поэтому, верно, меня жажда мучит, жажда вечная, неутолимая.

Как мы понимали друг друга! Только и делали мы, что друг друга раздразнивали. У обоих остер был язык. Она

поносила меня, я же за каждую осьмушку высыпал четверик. На, выкуси!

Часто смеялись мы до упаду, и она, злую шутку смакуя, наземь бухалась, над грядкою скрючивалась, точно желая согреть свои репы и луковицы.

Вечерком она приходила поболтать у стены моей. Вижу я вновь, как она, и смеясь и болтая, дерзкими ищет глазами в глазах моих недуг мой страстный, пытаясь заставить его простонать; вижу, как, руки подняв, к себе тянет она ветвь вишенины, всю в красных подвесках; вокруг ее рыжих волос они образуют венец прихотливый, и, вытянув шею, лицо приподняв, она, не срывая плодов, их клюет, оставляя висячие косточки. Образ мгновенья, совершенный и вечный, юность, жадная юность, губами дразнящая сосцы неба! С тех пор сколько раз вырезывал я на дереве, в виде узора гроздистого, изгиб этих рук прекрасных, шеи, груди, ненасытного рта, головы запрокинутой!.. А тогда, перегнувшись через стену мою, вытянув руку, схватил я порывисто, оторвал эту ветку, прильнул к ней губами, стал жадно обсасывать влажные косточки.

* * *

Мы встречались тоже по воскресеньям на гулянках, в Веселом Погребке. Мы плясали: я проворен был, как чурбан; но любовь даровала мне крылья: любовь учит, говорят, и ослов плясать. При этом мы с ней, как помнится, ни на миг не переставали браниться... Как меня вередила она, как щедро отпускала ядовитые шутки насчет носа моего кривого, зияющей ртины, в которой, говорила она, можно было бы испечь пирог, и всего облика моего, сотворенного, как уверяет поп, по образу Бога. (Если это так, — ну и посмеюсь же, когда увижу Его.) Ни на минуту не отставала она. Но и я не был ни заикой, ни калекой.

Игра длилась, и мы начинали, черт возьми, горячиться... Ты помнишь, Никола, осенние сборы на винограднике Ландехи? И Ласка там работала. Мы стояли рядом, склоняясь средь лоз. Головы наши почти прикасались, и порою рука моя, срывая ягоды, случайно дотрагивалась до бедра ее. Тогда она поднимала лицо свое зардевшееся; словно молодая кобыла, меня лягала она, а то нос мне подкрашивала виноградным соком; и я, не отставая, черную тяжелую

гроздь норовил расквасить на шее ее золотистой, опаляемой солнцем... Она защищалась яростно. Тщетно упорствовал я, ни разу мне не удалось совладать с нею. Мы следили друг за другом. Она раздувала огонь и, усмехаясь, глядела, как я пламенел..

— Ты меня не поймаешь, Николка...

А я, с видом невинным, притаясь на стене, будто раздувшийся кот, что дремлет притворно, сквозь узкие щелки полураскрывшихся век наблюдая за пляшущей мышкой, — я заране облизывался:

— Ничего, я еще посмеюсь...

Помнится, как-то в полдень, на исходе мая (было тогда гораздо жарче, чем теперь в том же месяце), стоял нестерпимый зной. Небо, подернутое белизной, обдавало дыханьем горячим, словно открытая хлебная печь; в этом гнезде прикурнув, уж больше недели гроза, тужась, наседала, но все понапрасну. Таяло все от жары; рубанок мой плавился, к ладони мой коловорот прилипал. Не слыша голоса Ласки, которая только что пела, глазами искал я ее. В саду — никого...

Вдруг примечаю ее — вон там, на ступени, под тенью лачужки. Дремала она, рот открыв, голову свесив назад. Одна рука праздно висела вдоль лейки. Так ее сон опрокинул с налету. Беззащитная, полунагая, лежала она, как Даная, распростертая сонно-блаженно под пламенным небом. Я себя Юпитером вообразил. Перелез я через стену, раздавил мимоходом листы капусты и латука, в охапку схватил ее, жадно стал целовать; она была теплая, голая, влажная; она отдавалась мне, дремотная, сладостно-томная. Глаза ее были закрыты, губы искали моих губ и возвращали мне поцелуи. Что произошло во мне? Какое странное уклонение! Неистовое желание так и переливалось по жилам моим; я был опьянен, я сжимал это сладострастное тело; желанная добыча, жареный жаворонок — прямо в рот мне попал. И вот (о глупец!) я уже не смел взять ее. Не знаю, что за глупое сомненье нашло на меня. Я слишком любил ее. Мне больно было думать, что я держал тело, связанное сном, а не душу ее, и что торжествую исподтишка над моей гордой садовницей. Я оторвался от счастья, разъединил губы и руки наши, расторгнул узы, сковавшие нас. Нелегко это было: мужчина — пламя, женщина — пакля; мы оба горели, я дрожал и отдувался, как

и тот дурень, который победил Антиопу. Наконец я восторжествовал, то есть — удрал. Прошло с тех пор тридцать лет, а все же, вспомнив, краснею. Эх, сумасбродная юность!.. Как приятно передумывать прежние промахи, и как дорого это сердцу стоит! С этого дня она стала по отношению ко мне прямой ведьмой. Чудачлива, как три стада беснующихся коз, переменчива, как облака, она то уязвляла меня оскорбительным презрением, то обстреливала томными взглядами, улыбками заманчивыми; спрятавшись за дерево, она метила комом земли, который невзначай расплющивался у меня на затылке, или же — бац по щипцу! — попадала в меня сливяной косточкой, когда я воздух обнюхивал. И притом она на гулянках кудахтала, кукарекала, калякала с кем попало. А худшее было то, что она, пытаясь вконец мне досадить, надумала на крючок посадить молодца моего же пошиба, лучшего моего товарища, по прозванию Пинок. Он и я, мы были словно два пальца одной руки, — Орест и Пилад. Не было такой драки или попойки, где б одного без другого видели, действующего либо челюстями, либо кулаком. Он был жилист, как дуб, коренаст, твердоплечий и твердоголовый, прямой на словах и на деле. Он убил бы всякого, кто вздумал бы на меня напасть. Его-то она и выбрала, чтоб повредить мне. Это ей было нетрудно. Достаточно четырех вкрадчивых взглядов да полдюжины ужимок обычных. Напускать на себя вид невинности, томности, дерзости, усмехаться, шушукать, миндальничать, моргать, мерцая ресницами, зубки показывать, губу то прикусывать, то язычком заостренным облизывать, шеей вертеть, на ходу извиваться да задом подпрыгивать, как трясогузка, — вот вековые приманки дочери змия — не устоишь перед ними! Пинок же утратил свой слабый рассудок. С тех пор мы оба торчали рядком на стене и, как в бреду задыхаясь, следили за ласицей. Мы уже молча кидали друг на друга яростные взгляды. Она же огонь мешала и, чтоб он бойче горел, порой орошала его ледяной струей. Я хохотал до упаду, несмотря на досаду. Но Пинок, точно конь ретивой, копытом бил землю, вернувшись на двор. Он чертыхался неистово, проклинал, угрожал, бушевал. Он был не способен понять шутку, если только не он ее сочинил (и, кроме него, никто в этом случае не понимал ее; он же хохотал за троих). Кокетка меж тем наслаждалась, как муха в меду, так и впивая любовную ругань; грубый этот подход

не в моем был вкусе; и хотя галлианка лукавая, девица задорная, была ближе ко мне, чем к этому жеребцу, который ржал, дыбился, лягался, бзырял, она, прельстясь жестокой забавой, только и делала, что метала на него обещающие взгляды, манила улыбками. Но когда приходилось исполнять обещанья свои и когда уже дуралей, бахвал, собирался взбежать на вал, она смеялась ему в лицо, и он уходил с носом. Я, разумеется, смеялся тоже; и Пинок, негодуя, обрушивался на меня; он подозревал, что я исподтишка украл красавицу. Дошло до того, что однажды он без обиняков потребовал, чтобы я уступил ему место. Я кротко сказал:

— Брат, только что я хотел тебя попросить о том же.

— Ну что ж, брат, — сказал он, — придется подраться.

— Я об этом думал, — ответил я, — но верь, Пинок, тяжело мне это.

— Не легче и мне, друг Персик. Ступай же, прошу тебя: довольно одного петуха в курятнике.

— Справедливо, — согласился я. — Ну вот и уходи: ведь курочка-то моя.

— Твоя? Врешь ты все, мужик, трухомет, гнилоед! Она моя, я держу ее, и никто другой ее не слопает.

— Мой бедный друг, говорю, ты разве себя самого не видел? Рожа ты глупая, неотесанная, тебе бы редьку жрать; а пирожок этот редкий мне принадлежит; он мне нравится, он как раз мне по вкусу. Не поделюсь я с тобой. Ступай брюкву выкапывать.

За угрозой угроза — глядь, и недалеко до побоев. Все же жаль нам было, очень уж друг друга любили мы.

— Послушай, — сказал он, — оставь ее мне, Персик, ведь полюбился-то ей не ты, а я.

— Рассказывай... я, а не ты.

— Хорошо, порасспросим ее. Лишний удалится.

— По рукам! Пусть выбирает.

Да, но вот поди же обратись с таким вопросом к женщине. Слишком приятно ей длить ожиданье, позволяющее ей мысленно брать любого, и не брать ни того ни другого, и вертеть, вертеть на огне вздыхателей... Невозможно поймать ее!

Когда мы ее спросили, Ласка отвечала нам взрывом хохота. Воротились мы в мастерскую, скинули куртки.

— Ничего не поделаешь. Один из нас должен околеть.

Перед тем чтоб схватиться, Пинок мне сказал:

— Чмокнемся.

Мы поцеловались дважды.

— Теперь — начнем!

Дело закипело. Мы не скупились: крупная была ставка. Пинок, бухая кулаком, норовил надвинуть мне череп на глаза; а я коленком въезжал ему в брюхо. Никто, как друзья, не умеет так хорошо враждовать. Через несколько мгновений мы уже были в крови; и рудые ручьи, что бургонское, из носу били... Я уж не знаю, чем бы все это кончилось; верно, один у другого так-таки отнял бы шкуру, если бы, к счастью, соседи столпившиеся и мастер Ландеха, который домой возвращался, нас не разняли. Нелегко это было: освирепели мы, словно цепные псы; пришлось нас бить, чтобы заставить друг друга выпустить. Ландеха взял кнут кучерской: высек он нас, отхлестал, потом разговаривать стал. После крепкой драки чувствуешь себя мудрецом; гораздо легче рассудка слушаться. Не особенно гордо мы друг на друга глядели. И тут подоспел третий плут.

Иван Блябла был жирный мельник, бритый и рыжий. Щеки его были так вздуты, а глаза — так малы, что казалось, он вечно дует в рожок.

— Хороши петушки! — сказал он, осклабясь. — Чего вы добьетесь, когда ради курищи этой вы друг у дружки отхватите гребешечки да почки? Ни шиша! Как она хороша, как она хорохорится, пока вы здесь ссоритесь! Еще бы: приятно ведь женщине тащить за собой целое стадо ярых влюбленных... Вот вам добрый совет, ничего за него не возьму: помиритесь да плюньте, сыночки, — она ведь смеется над вами. Спиной повернитесь к ней и ступайте вы оба. Очень ей будет досадно. Хошь не хошь, а придется ей выбрать, и увидим тогда, кого любит она. Ну-ка, рысью, айда! Отрубай, что болит! Смелее! Доверьтесь мне, братцы! Пока пыльные ваши подошвы будут таскаться по дорогам большим — я здесь буду, друзья... Остаюсь, чтобы вам услужить: брат брату должен помочь. Буду следить за красоткой, буду вас извещать о жалобах сердца ее. Как только она решится, я тотчас дам знать счастливцу; другой же пусть удалится. А теперь пойдем пить! Пить да пить — значит жажду и память и пыл утопить.

Мы так их хорошо потопили (мы пили, как губки), что в тот же вечер, выйдя из кабака, мы собрали свои манатки,

взяли посохи; и вот потекли мы в путь, в ночь безлунную, ушли мы, дурни, зады торжественные, и умиленно благодарили доброго Бляблу; а он, подлец, как сало сиял, и глазки его под жирными веками хихикали.

На следующий день мы уже меньше гордились собой. Не признавались мы в этом, тонко лукавили. Но каждый тужился, тужился, не в силах уже понять удивительное это средство: бежать, дабы победить.

По мере того как солнце скатывалось с круглого неба, мы все больше и больше чувствовали себя простаками. Завечерело; мы наблюдали друг за другом, небрежно о погоде болтая, и думали про себя: «Как славно говоришь ты, дружище! И хотелось бы тебе улизнуть незаметно! Не удастся, брат. Я слишком люблю тебя, чтобы оставить тебя одного. Куда бы ни пошел ты (я знаю, надуть ты горазд!), я за тобою последую».

После многих хитростей лисьих, когда ночью, притворно храпя, мы лежали на соломе, терзаемые страстью и блохами, Пинок вдруг вскочил и воскликнул:

— Двадцать чертей! Я горю, горю, горю! Нет мочи ждать! Иду обратно.

И мой ответ был:

— Идем.

Мы потратили день целый на то, чтобы вернуться восвояси. Солнце садилось. Мы таились, пока совсем не стемнело, в лесу. Не очень-то нам хотелось, чтобы видели наше возвращение: задразнили бы нас. И притом льстила нам мысль ненароком явиться к Ласке, найти ее сетующей, одинокой, плачущей, себя укоряющей: «Ах, зачем ты ушел, друг сердечный?» Что грызет она ноготки да вздыхает — это конечно, но кто же был милый? Каждый из нас отвечал: «Я».

И вот, бесшумно вдоль сада ее проползая (щекотала нам сердце тревога глухая), под открытым окном ее, влажной луной облитом, мы увидели вдруг, что на яблонной ветке висит... Что?.. Как вы думаете?.. Яблоко?.. Нет — шапка мельника!.. Что рассказывать дале? Слишком приятно было бы вам, добрые люди. Ох, я уже вижу, как вы, шутники, зубоскалите!.. Горе соседа — ваша забава. Рогачам приятно, когда умножается братия.

Пинок разбежался и подскочил, как олень (у оленя он и украл украшенье); ухватился за яблоню, скинув плод,

убеленный мукой, перелез через стену, в комнату внедрился, и оттуда тотчас послышались крики, вопли, телячье мычанье да ругань.

— Черт тебя гни, черт тебя май, подлец, скопец, караул, бьют, караул, хорь, холуй, хахаль, холера тебе в кишки, я те всыплю, елки зеленые, зад распорю, на тебе, на тебе, харя хвостатая.

И треск и затрещины. И хлоп! И храп! Трататах! Стекла трах, посуда вдребезги, девка визжит, олухи лаются, стулья валятся, телеса катятся, сумятица... Не мудрено, что на эти адские звуки (сзывайте, трубы!) сбежался весь околоток! Я до конца не остался. Довольно с меня было. Ушел я тем же путем, что пришел, смеясь одним глазом и плача другим, повесив уши и нос задрав.

— Однако, Николка, — говорил я себе, — легко ты отделался!

Но в душе Николка жалел, что не попался на удочку. Я старался подшучивать, вспоминал суматоху, передразнивал мельника, девку, осла, испускал горедушные вздохи...

— Ах, как это забавно! Ах, как сетует сердце мое! Ах, помру, — говорил я, — со смеху...

Нет, с тоски. Еще бы немножко, и по прихоти гадины этой я бы оказался под вьюком презренным брака. Ах, если бы случилось так! Пусть изменяла бы она, а все же была бы моей! Сладко быть хоть ослом своей милой. Далила, Далила! Отрада и дыра!..

Две недели подряд я так маячил между желанием смеяться и желанием ныть. Я, кривоносый, в себе совмещал всю древнюю мудрость — Гераклита плаксивого и Демокрита веселого. Но люди безжалостные смеялись надо мной. Были часы, когда при мысли о милой я способен был удавиться. Часы эти длились недолго. К счастью!.. Любить — спору нет — прекрасно; но, ей-Богу, друзья мои, не стоит ради любви умирать! Предоставим это рыцарям мечтательным и учтивым. Мы же, бургонцы, не годимся в герои сказочные. Мы живем, живем. Когда нас на свет производили, никто не спросил у нас, никто не осведомлялся — желаем ли жить; но раз я уже попал сюда, остаюсь я здесь, черт возьми. Мир нуждается в нас... А может быть, и наоборот: он нам нужен. Хорош ли он или плох, — а выставишь нас только силой. Коль вино разлито — так пей. Выпью — еще выжму из виноградников сочных!

У нашего брата досуга нет помирать. А страдать и мы умеем, нечего вам этим кичиться. В продолжение нескольких месяцев я, как пес, скулил. Но время — перевозчик, слишком тяжелые горести наши оставляет на том берегу. И ныне сказать я могу:

— Это ведь все равно, как если б имел ты ее...

Ах, Ласка, Ласочка! Нет, на самом-то деле я ее не имел. Он, Блябла, этот требух, пузогной, мешок мучной, рожа тыквенная, подтыкает, ласкает ласицу мою вот уж тридцать лет... Тридцать лет!.. Уж теперь он, пожалуй, вдоволь наелся. Впрочем, как мне говорили, пресытился он на второй уже день после свадьбы. Проглоченный кус стал казаться обжоре невкусным. Если б не кавардак ночной, если б кукушка в гнезде не попалась (и орал же Пинок!), блюдолиз никогда бы не сунул толстого пальца в колечко узкое... Ах, Гименей, Гименей! Вот и сидит в дураках! Ты тоже, Ласка: ибо мельник озлобленный на тебе вымещает досаду. Но как-никак я пострадал больше всех. Что ж, Персик, смейся скорей; смейся (забавно, ей-ей) над собою, над ним и над ней...

И, продолжая смеяться, вдруг я увидел в двадцати шагах от себя, при повороте просади (ужели болтал я два часа сряду, о Господи!), домик знакомый, с красною крышею, с зелеными ставнями, домик молочно-белый; виноградные лозы его наготу прикрывали змеиным извивом своих целомудренных листьев. И перед дверью открытой, под тенью орешника, над колодиной каменной, где шелестела, блестела вода, стояла склоненная женщина; узнал я ее (хоть многие годы были меж нами), узнал я и замер...

Ах, если б мог, убежал. Но меня увидала она, и вот в лицо мне смотрела, продолжая воду черпать. И я заметил, что вдруг и она меня вспомнила... Не подала она виду, слишком много было в ней гордости, но ведро из рук ее вылилось обратно в колодец. И сказала она:

— Бродяга беспечный, куда же ты вдруг поспешил? Постой...

Я же в ответ:

— Разве меня ты ждала?

— Я? Ничуть, очень мне нужен ты!

— Что же, и мне дела нет до тебя, а все-таки как-то приятно...

— Да и ты не мешаешь мне...

Торчали мы друг против друга, руками покачивая; и друг на друга глядели, хоть это нам было нестерпимо тяжело.

В колодце все булькало ведро.

— Входи же, — сказала она, — время-то ведь есть у тебя?

— Две-три минутки найдутся. Я тороплюсь немного.

— Незаметно что-то... Зачем же сюда ты пришел?

— Зачем? Да, так, невзначай... — твердо ответил я, — прогуливаюсь.

— Разбогател, знать?

— Я богат — да не золотом, а мечтами.

— Перемены нет, — сказала она, — все тот же ты сумасброд.

— Кто родился безумным, безумцем помрет.

Вошли мы во двор. Она прикрыла дверь. Мы стояли одни среди кудахтавших кур. Все работники были в поле. Не то стараясь смущенье скрыть, не то привычке следуя, она нашла нужным затворить или отпереть (я уж точно не помню) дверь чердака и побранить пса. И я, чтобы развязным казаться, стал говорить о хозяйстве, о курах, о голубях, о петухе, о собаке, о кошке, об утках, о свинье. Перечислил бы я весь Ноев Ковчег! Но она вдруг прервала:

— Персик!

У меня захватило дыхание.

Она повторила:

— Персик!

И мы друг на друга взглянули.

— Поцелуй меня, Персик...

Я просить себя не заставил. Когда стар уже, это вреда не приносит; хоть нет и отрады большой (нет, отрадно всегда). Глаза зачесались, когда я почувствовал у себя на щеке, на старой жесткой щеке, ее старую сморщенную щеку. Но я не заплакал, — вот еще глупости!.. Она мне сказала:

— Ты колешься.

— Что же делать, — я отвечал, — если бы мне утром сказали, что я поцелую тебя, я бы побрился. Борода моя мягче была — тридцать пять лет тому назад, когда мне хотелось (а ты не хотела), когда мне хотелось, пастушка моя (ах, тронь, тронь, тронь, девочка, огонь...), ее потереть о твою ладонь.

— Ты еще думаешь, видно, об этом? Да?

— Нет, нет, никогда...

Мы взоры скрестили, смеясь, — посмотрим, кто первый опустит глаза!

— Гордец, строптивец, упрямая башка! Как ты был на меня похож, — сказала она. — Но ты, серко, все не хочешь состариться. Что таить, друг мой Персик, не стал ты казистей, у тебя под глазами мешочки, нос твой раздулся. Но ты ведь всю жизнь был лицом непригож, нечего было терять тебе, ничего ты и не потерял. Ни одного даже волоса, жмотик ты этакий! Разве только щетина твоя посерела местами.

Я сказал:

— Голова шальная, ты знаешь, никогда не белеет.

— Эх, подлецы мужчины, вам все нипочем, вы прохлаждаетесь. Но мы стареем, мы стареем за вас. Ведь я развалина! Увы, то тело, что было так крепко и нежно на вид, — и еще нежнее на ощупь, те бедра, и грудь, и румянец, красота моя сочная, что нетронутый плод... где это все и где я сама, где потерялась? Разве в толпе ты узнал бы меня?

— Я, не глядя, узнал бы, средь всех.

— Да, не глядя, а если б глядел? Посмотри — щеки впали и выпали зубы, нос заострен, удлинен, глаза покраснели, шея поблекла, груди обрюзгли, живот изуродован...

Я сказал (хоть все это давно я приметил):

— Белая ярочка никогда не старится.

— Да разве не видишь?

— У меня глаза зоркие, Ласка.

— Ах, куда ж завернула ласочка, ласка твоя?

Я ответил:

— «Вот он юркнул, зверек, в веселый лесок». Он притулился, он скрылся — в самую глубь. Но я все вижу его, вижу тонкую мордочку, хитрые глазки, что следят за мной и манят в норку.

— Небось, ты в нее не войдешь, — сказала она. — Лис, разжирел ты на диво! Что-что — а любовное горе тебя похудеть не заставило.

— Горе нужно питать, — ответил я.

— Так пойдем же, покормим детище.

Мы вошли в дом и сели за стол. Хорошенько не помню, что ел и что пил, — было сердце иным занято, но, какникак, я не зевал. Облокотившись на стол, она наблюдала за мной; потом спросила, труня:

— Ну что ж, поубавилось горя?

— Песенка есть, — сказал я. — В теле пусто — душа тоскует; насмаковался — душа ликует.

Молчали ее тонкие и насмешливые губы, а я хлыщом этаким представлялся, городил ералаш, но глаза наши встречались, полные прошлого.

— Персик! — вдруг сказала она. — Знаешь что? Никогда не говорила, а теперь скажу, раз это больше ничего не значит: ведь любила-то я — тебя.

— Знал, — ответил я, — всегда знал.

— Знал, негодяй? Что же ты не сказался?

— Из любви к спору перечила бы ты мне, отрицала.

— А тебе-то что? Ведь думала я иначе. Целовал бы ты губы мои, а не слушал, что говорят они.

— В том-то и суть, что твои-то губы не только слова говорили. Мне это узнать довелось, когда я, в ночи, Бляблу нашел у тебя на печи.

— Твоя вина, — отвечала она, — печь топилась не для него. Конечно, и я была виновата; но зато понесла наказание. Ты, всезнайка, однако, не знаешь, что мельника я оттого выбрала, что бегство твое разозлило меня. Ах, как сердилась я! Сердилась с тех пор, как (помнишь?) ты мной пренебрег.

— Я пренебрег?

— Да, повеса. Вошел ты в мой сад, чтоб плод сорвать, пока я дремала, а потом с презреньем оставил его на сучке.

Заволновался я, стал объяснять. Она перебила:

— Поняла, поняла. Не старайся так! Глупая тварь! Я уверена, что если бы сызнова...

— Было бы то же, — сказал я.

— Дурень! Потому-то тебя и любила я. В наказанье решила я мучить тебя. Я не думала, что ты (о глупость, о трусость) удерешь от крючка, вместо того чтобы его проглотить.

— Благодарю! — сказал я. — Рыбка любит приманку, да жаль живота.

Тогда, улыбаясь хитро, не мигая:

— Когда мне сказали, что вы деретесь и что он, эта скотина — как бишь его? — тебе голову отгрызает (я в это время белье полоскала на речке), из рук моих выскочил и поплыл по теченью валек (с Богом, челнок!), и, путаясь в мокром тряпье, расталкивая кумушек, я побежала, босая, понеслась, задыхаясь, и чуть не кричала тебе: «Персик, да

что ты, с ума сошел? Я ведь люблю тебя! Что же будет, когда этот волк отхватит лучшую, может быть, часть твою? Не хочу я мужа такого — изрубленного, вывороченного. Хочу целого...» Ай люли, люлюши-люли, ведь пока хлопотала я так, уж голубчик мой канул в кабак, как ни в чем не бывало, а потом позорно, позорно бежал от овечки под ручки с волком!.. Я тебя проклинала, Николка! Когда, старик, я вижу тебя, когда ныне вижу тебя и себя, мне все это кажется очень смешным. Но тогда, дружок, я б охотно тебя общипала, живым бы зажарила; вместо тебя я себя, злясь и любя, наказала. Подвернулся тут мельник. И, в сердцах, я взяла его. Не тот осел, так другой. Не пустовала б обитель. Ах, что за месть! О тебе я все думала, в то время как он...

— Да, я слушаю!

— ...в то время как он мстил за меня. Я думала: «Пусть вернется теперь. Трещит ли башка у тебя? Персик, доволен ли ты? Пусть возвращается, пусть!..» Увы, ты слишком скоро вернулся... Остальное известно тебе. С дурнем этим я на всю жизнь была связана. И осел (кто, он или я?) остался на мельнице.

Смолкла она. Я спросил:

— Ну что ж, хорошо ль там живется тебе?

Она плечом повела:

— Не хуже, чем всякому.

— Черт возьми! — я воскликнул. — Тогда этот дом сущий рай!

Она рассмеялась:

— Ты прав, гультай.

Говорили потом о другом, о посевах, о людях, о семье, о скоте. Но, как ни старались, все к одному возвращались. Я думал было, что ей хотелось узнать мелочи жизни моей, домашние дрязги, но вскоре я понял (о любопытство женское!), что она на этот счет знала почти столько же, сколько и я. Так, помаленьку, болтали мы о том и о сем, вправо и влево, в гору и под гору, бесцельно, беспечно, лишь ради каляканья. Потом перешли на галушки шипучие, сальные: перебивали друг друга, сломя шею спешили. И нужды не было напирать на слова; не успевали они из печи выскочить, как уже были проглочены.

Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, как услышал, что на колокольне бьет шесть.

— Однако, — сказал я, — мне пора.

— Посиди еще, Персик, время есть.

— Нет, того и гляди, муж твой вернется. Видеть его не хочу.

— А я-то! — подхватила она.

Из окошка видать было поле. Оно уже на ночь рядилось: пальцы вечернего солнца золотою пыльцой осыпали дрожащие шейки былинок бесчисленных. По гладким галькам прыгал ручей. Корова лизала ветловую ветку. Неподвижно две лошаденки мечтали в лучистой тиши: одна — вороная со звездою на лбу положила голову на спину к другой — серой в яблоках. Вливался в прохладный дом запах золотого навоза, солнца, сирени, травы неостывшей. И в сумерках комнаты, глубоких, сочных, слегка отдающих прелью, поднимался из каменной чаши, зажатой в руках моих, аромат задушевный бургонской наливки смородовой. И воскликнул я:

— Как хорошо тут!

Она мою руку схватила:

— И могло бы так быть всякий день.

Но я отвечал (не затем я пришел, чтоб ее заставлять сожалеть):

— А знаешь, Ласка, в конце-то концов, лучше, пожалуй, что путь наш таков! Хорошо это на день. Но на всю жизнь... нет, и тебя и себя я знаю, тебе надоело бы скоро. Ты не можешь представить себе, каким я бываю несносным — негодяем, бездельником, бражником, болтуном, сумасбродом, упрямцем, обжорой, хитрюгой, звездоглядом, брюзгой, бредой, пустомелей. Ты жила бы в вечном аду и мстила бы мне. Как об этом подумаю только, волосы дыбом встают у меня — с обеих сторон лба. Благо Господь все предвидел! Что случилось, — и ладно.

Лукавый и вдумчивый взгляд ее слушал. Она головой покачала:

— Твоя правда, Емеля. Я знаю, я знаю, ты плут в самом деле. (Она так не думала.) Да, конечно, ты бил бы меня и носил бы рога. Но что же поделаешь, раз все равно через это нужно пройти (так написано на небеси), не лучше ль пройти вместе?

— Конечно, — сказал я, — конечно...

— Ты не уверен как будто.

— Видишь ли, кажется мне, что без этого счастья двойного нужно уметь обойтись.

И, встав, в заключенье сказал я:

— Прочь сожаленье, Ласка! Так ли иль этак, а ныне все было бы то же. Можно друг друга любить и обманывать можно, но когда, как теперь, книга дней уж дописана, — что было, то сгинуло, да и было ли?

Она мне ответила:

— Лжешь!

(И как верно сказала она!)

* * *

Поцеловал я ее, да и ушел. Она глазами меня провожала с порога, прислонившись к дверному косяку. Между нами тянулась тень высокого орешника. Я больше не оглядывался до тех пор, пока не свернула дорога, и тогда я уж знал, что ничего не увижу. Остановился я, передохнул. Воздух был полон благоуханья висячих глициний. Издали, с полей, доносилось мычанье белых волов.

Я продолжал свой путь; и, сокращая его, покинул тропину, по скату полез, сквозь виноградник пробрался и вышел на лес. Я, однако, все это проделал не для того, чтоб скорее вернуться. Нет, — с получасу прошло, а я все стоял на опушке, под ветками дуба, — стоял неподвижно, считая ворон. Я был потрясен. Я грезил, я грезил. Небо румяное гасло. Отливы его умирали на лозах веселого бога, на маленьких новеньких листьях, блестящих, лощеных, виноцветных, позолоченных. Пел соловей. Со дна моей памяти, в сердце моем опечаленном, другой соловей отвечал. Вечер такой же, как этот. Я с подругою был. Мы бродили по склону средь лоз виноградных. Мы юны и радостны были, любили болтать, хохотать.

Внезапно над нами странное что-то скользнуло, дуновенье вечернего звона, дыханье земли, что струится с последним лучом и трепещет и шепчет: «Приди», печаль золотая, что с неба луна навевает... Приумолкли мы оба и вдруг взялись за руки — и так — бессловесно, друг на друга не глядя, стояли, застыв на месте. Тогда-то взвился с виноградного склона, к которому вешняя ночь прикоснулась, напев соловья. Боясь задремать среди лоз, чьи коварные нити росли, все росли, все росли, да лапки его опутать могли, — боясь задремать, безумолчно взметал соловей — чародей — вековую песню свою.

Лоза, лезь ввысь, ввысь, ввысь.
Не сплю я, — все пою.

И я почувствовал, что рука Ласочки мне говорит: «Я поймала тебя, и я поймана. Лоза, тянись, тянись и свяжи нас!»

Мы спустились с холма. Приблизившись к дому, разлучили мы руки. С тех пор никогда уже больше их не сплетали. Ах соловей, запеваешь ты вновь. Для кого же поешь? Лоза, ты растешь. Для кого твои вязи, любовь?..

И разостлалась ночь. И, к небу подняв нос, опираясь на руки задом, а руками об палку, я стоял, как дятел на хвосте своем, и все глядел в лиственную высь, где зацветала луна. Я старался расторгнуть чары, сковавшие меня. Но тщетно. Верно, дуб околдовал душу своею тенью волшебной, заставляющей терять и дорогу, и желание ее найти. Дважды, трижды я обошел дерево, — всякий раз я возвращался к тому же месту, скованный.

Тогда решился я; на траве растянулся, да и проночевал так, в гостях у луны. Но не много я спал. Я с тихой тоской обдумывал длительно жизнь свою. Я думал о том, чем могла она быть, чем была, я думал о грезах своих распыленных. Господи, сколько грусти находишь в долинах былого, в эти ночные часы, когда душа обескрылена! Каким себе кажешься слабым и сирым, когда пред глазами обманутой старости всплывает юности образ, расцвеченный надеждой!.. Я пересчитывал снова приход и расход и мои богатства скудные: дурная жена, дурная лицом, сыновья, живущие далече и во всем со мною несходные, — даром что плоть-то одна; измены друзей и людское безумье; кровавые веры и межусобные войны; раны отчизны; души моей вымыслы, создания рук моих разворованные; жизнь моя — горсточка пепла, — и ветер смерти недальней... И, плача тихонько, губами прильнув к телу дерева, я поверил ему свои горести, прикурнув меж корней, как в объятьях отца. И я знаю — оно меня слушало. И, верно, потом в свой черед и оно зашептало, меня утешало. Ибо когда через час или два я проснулся (храпел я ничком на земле), от тоски моей горькой уже ничего не осталось — разве что смутное чувство ломоты в душе и такое же чувство в суставах.

Солнце очнулось. Дерево, полное птиц, распевало. Прыскали песни, как сок, когда жмешь виноградную гроздь.

Павлик-зяблик, да Манька-зарянка, да серая, болтливая Маленочка-Малиновка и дрозд, куманек, который всего мне милей, оттого что ему нипочем и холод, и ветер, и дождь, и всегда он доволен, раньше всех запевает, позже всех умолкает, да и носик его так же ярко раскрашен, как мой. Ах, как усердно пищат они, пташки-парняшки! От ужасов ночи они вот спаслись. Ночь, неверная ночь всякий раз над ними, как сеть, опускается. Мороки душные... кто доживет до утра?.. Но, вири-вири-ра... как только завес ночной разрывается, как только улыбка бледная дальней зари оживлять начинает оледенелый лик и уста побелевшие жизни... ой-ти, ой-ти, ля-ля-и, ля-ля-ля, удери, удрала... каким криком, мой свет, каким взрывом любви они славят рассвет! Все, что мучило, все, что страшило, немое безумие, сон ледяной, сумрак, все-все, ой-ти, все позабыто. День, новый день! Посвяти меня, дрозд, в свою тайну, как с каждой зарей душой воскресать, веря в нее неизменно!.. Дрозд продолжал посвистывать. Насмешка его молодецкая меня освежила. На землю присев, я вторил ему. Кукушка в лесной глубине играла в прятки... «Ку-ку, ку-ку, черт сидит в уголку!» Раньше чем встать, я кувыркнулся. Пробегающий зайчик передразнил меня. Он смеялся; губа рассеклась у него — так он смеялся. Я пустился в путь и пел во все горло:

— Все хорошо, друзья! Кругла земля. Все хорошо. Не умеешь плавать — идешь на дно. Распахнул я окна, распахнул я двери, я вижу, я верю, входи, Божий мир, вливайся ты в кровь мою! Стану ли я обижаться на жизнь, как дурак, за то, что не все получил от судьбы? Как начнем желать: «Ах, если бы да кабы...», остановиться уже невозможно. Всякий бывает в надеждах обманут, всякий мечтает о том, чего нет у него. Даже герцог Неверский. Даже Король. Даже сам Господь Бог. Всему есть границы, у каждого свой уголок. Стану ль беситься, стонать оттого, что мне выйти нельзя из него? Лучше ль мне будет в пределе ином? Это мой дом, и я здесь остаюсь, и останусь как можно подольше. И на что же мне сетовать? Мне, в конце-то концов, ничего не должны. Я бы мог не родиться. Как подумаю, Боже, мурашки ползут по коже. Этот славный маленький мир, эта жизнь без Персика! И Персик без жизни! Ах, друзья, как было бы здесь безотрадно! Что есть, то и ладно.

С опозданием на день я вернулся домой. Сами судите, какая мне встреча была уготована. Все равно, — не впервой. Я спокойно полез на чердак и, как видите, все записал, тряся головой, бормоча сам с собой, высунув косо язык, записал печали свои да утехи, утехи печалей моих...

О тяжело пережитом
поведать сладостно потом.

ПТИЦЫ ПЕРЕЛЕТНЫЕ

Июнь

Вчера утром мы узнали о проезде через Клямси двух именитых гостей — графа Мальбоя с невестой. Они не останавливались, а продолжали путь свой к замку Ануанскому, где должны были провести три или четыре недели. Совет старшин положил послать на следующий день отрядных, чтоб от имени общины поздравить этих важных птиц с счастливым прибытием (будто чудо какое, когда одна из этих скотин в своем бархатном рыдване, в тепле, из Парижа в Невер прикатит, не сбившись с пути и костей не сломав!). Продолжая следовать обычаю, совет порешил прибавить к приветствию несколько соблазнительных гостинцев, крупных засахаренных печений — гордость нашего города (мой зять пекарь Флоридор изготовил три дюжины! Старшины полагали, что будет достаточно двух; но наш Флоридор любит широкий размах: платит-то город).

Наконец, дабы очаровать сразу все телесные чувства, руководствуясь мыслью, что лучше кушается под музыку (хотя я лично глух, когда ем и пью), снарядили четырех отборных звукохватов — две виолы, два гобоя да бубен — послали их ко дворцу исполнить на своих брякушках приветственную песнь, в виде вступления.

И я со своею свирелью втесался без приглашения в шествие это. Не мог упустить я случая увидеть новые лица, особенно когда дело касалось этаких птиц (не дворовых конечно — дворцовых). Люблю оперение их нежное, их болтовню и движения, когда они перья приглаживают или идут переваливаясь, задом виляя, нос задирая, и лапками, крыльями дуги описывают. Впрочем, при дворе ли живут они

или на заднем дворе, мне все равно, лишь бы мне подавали новизну, — вот тогда хорошо. Сын я Пандоры, поднимать люблю крышки всяких коробок, всяких душ человеческих, белых, загаженных, жирных или тощих, благородных иль низких; люблю я копаться в сердцах, узнавать, что в них происходит, справляться о том, что меня не касается, всюду соваться, обнюхивать, всасывать, пробовать. Из любопытства я бы на пытку пошел. Но я никогда не забуду — уж будьте спокойны — совместить с приятным полезное. У меня в мастерской был как раз выполнен графский заказ — пара стенных, резьбою покрытых щитов, и — благо провоз был бесплатен — они поехали на той же тележке вместе с послами, виолами и пирогами. Мы прихватили также Глашу, дочь Флоридора. Прокатиться даром всегда приятно; другой старшина взял с собою сынка. Аптекарь же нагрузил на повозку бутылки сиропов разных да медов, банки варенья — все его собственные произведенья, которые он намеревался поставить на счет города. Отмечу, что зять мой осудил этот прием, говоря, что нет такого обычая и что если каждый мастер, сапожник, мясник, цирюльник, булочник так поступал бы, город пропал бы, вконец разорившись. Он, пожалуй, не так ошибался; но тот, как и он, — старшиной был: ничего не поделаешь тут. Малые мира сего подвластны законам; остальные же их издают. Городской голова, щиты, гостинцы, ребятишки, четверо музыкантов да четверо старшин — все они уехали на тележках двух. Я же пошел пешком. Пусть немощных возят — трух-трух, — как на бойню телят иль на рынок старух! По правде сказать, погодка была неважная. Тяжкое, предгрозовое, мучнисто-белое небо; око жгучее, круглое Феба нас в затылок кололо. Пыль да слепни поднимались с дороги. Но кроме Флоридора, который боится загара не меньше, чем барышня, мы все были довольны: деленная неприятность — развлеченье.

Пока не исчезла вдали башня святого Мартына, щеголи наши имели вид сосредоточенный. Но как только мы оказались вне наблюдения города, все лица прояснились, и умы, как и я, скинули куртки. Сперва в виде закуски перекинулись словечками острыми. Потом один песенку затянул, другой подхватил. Мне кажется, прости Господи, что сам голова был запевалой. Я заиграл на свирели. Все остальные запели. И, пробивая хор голосов и гобоев,

тоненький голос Глаши моей поднимался, порхал и чирикал, как воробей.

Мы не очень спешили. По воле своей ослы на подъемах останавливались, отдувались, стреляли, задрав хвост. Мы дожидались, пока музыка их не иссякнет, и ехали дальше. В одном месте дороги наш маклер, Петр Деловой, заставил нас проделать крюк (мы ему отказать не могли: он один еще не просил ничего). Хотелось ему заехать к одному клиенту составить черновик завещания. Все мы одобрили его; но немножко было долго; и Флоридор, соглашаясь в этом с аптекарем, снова нашел предлог для укоров. Но Деловой дело свое докончил без спеха. И волей-неволей примирился аптекарь.

Наконец мы прибыли (этим всегда кончается). Птицы наши вставали из-за стола, когда появилось пирожное, принесенное нами. Пришлось им снова засесть. Птицы всегда могут есть. Господа отрядные, подъезжая к замку, не преминули еще разок привалить, дабы нарядиться в одежды праздничные, бережно сложенные, тайком от солнца, — в красивые, световые одежды, греющие глаз, ласкающие сердце, из зеленого шелка для городского старшины, из светло-желтой шерсти для его сподручников: скажешь, огурчик и четверо тыковок. Мы вошли с музыкой. На шум высунулись из окон холопы праздные. Шерстяные и шелковый взошли на крыльцо, у двери которого соблаговолили показаться (я различал плохо) на кружевных брыжжах две головы завитые, лентами перевитые, словно барашки. Мы же, трын-трава, трынкали посередине двора. Потому я и не слышал чудной латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я утешился: лишь один Деловой слушал ее. Зато я любовался крошечной Глашей моей, которая поднималась шажками мелкими по ступеням лестницы, точно Дева Мария, во храм вводимая, и прижимала к груди, обеими лапками, корзину печений, башнею вздымающихся до самого носа ее. Она не сронила ни одного: она их глазами, руками лелеяла, — озорница, сластушечка, душечка... Господи!.. я так и съел бы ее...

Очарование младенчества словно музыка; она проникает в сердца вернее, чем та, с которой пришли мы. Самые черствые сразу смягчаются, становишься ребенком, на миг забываешь гордыню и сан. Невеста графская внучке моей улыбнулась ласково, поцеловала ее, на колени себе посади-

ла, взяла ее за подбородочек и, разломив посередочке сладкий сухарь, сказала: «На, поделимся, клювик разинь» — и сунула бо́льший кусок в крошечный круглый роток. Тогда во весь голос я радостно крикнул: «Да здравствует ясная, добрая, родины нашей цветок!» И выдул из дудки веселую погудку, и звук пронесся резвый, как с криком острым ласточка.

Все кругом рассмеялись, ко мне обернувшись; и Глаша в ладоши захлопала:

— Дедушка, дедушка!

А граф Ануанский сказал:

— Это Персик — безумец.

(Нашелся судья! Он такой же безумец, как я.) Подозвал он меня. Я подхожу со свирелью своей, по ступеням всхожу бойким шагом, кланяюсь.

(Шапка в руке, речь учтива, труд не велик, а ладно на диво.)

...кланяюсь направо, налево, кланяюсь вперед, назад, кланяюсь каждому, каждой. А меж тем скромным взглядом я наблюдаю и стараюсь кругом обойти барышню, висящую в облаке обширных фижм, будто язык в колоколе; и, раздевая ее (мысленно, конечно), я смеюсь, видя ее потерянной, худенькой, голенькой под своими уборами. Она была стройная и узкая, смугловатая, но убеленная пудрой; прекрасные карие глаза блестели, как камни самоцветные, нос был как рыльце поросеночка, юркого и жадного, пухло краснели поцелуйные губы, и на щеки спадали завиточки. Заметив меня, она спросила с видом снисходительным:

— Это славное дитя — ваше?

Я отвечаю тонко:

— Как знать, сударушка! Вот зятек мой. Он отвечает за это, не я. Во всяком случае, это наше добро. Никто его от нас не требует назад. Не то что деньги... «Дети — богатство бедных».

Она удостоила меня улыбкой, а граф Ануанский шумно расхохотался. Флоридор смеялся тоже; но смех его был кисловат. Я остался бесстрастным — простаком я прикидывался. Тогда мужчина в брыжжах и дама в фижмах соблаговолили расспросить меня (они меня оба приняли за бродячего музыканта), много ли дохода приносит мое ремесло. Я ответил как и полагалось:

— Да никакого.

Не сказал, впрочем, чем действительно я занимаюсь. Зачем говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, я хотел видеть, я развлекался. Меня забавляла та надменность привычная и условная, с которой все эти пышные господа считают нужным обращаться с теми, у кого нет ничего. Всегда кажется, что они им дают урок. Бедняк — дитя малое, он умом недалек. И к тому же (не говорят так, но думают) он сам виноват: Бог его наказал — отлично; Господи, слава тебе!

Как будто и не было меня. Мальбой громко говорил своей невесте:

— Нам все равно нечего делать, воспользуемся же этим голышом; вид у него юродивый! Он бродит там и сям, на свирели играя; он должен знать хорошо населенье кабаков. Порасспросим его о том, что здешний народ думает, если...

— Ш-ш!..

— ...если вообще он думает.

Тут-то меня и спросили:

— Скажи-ка, старик, каково настроенье в стране?

Я повторяю с видом совершенного одуренья:

— Строенья?

И подмигиваю толстому графу Ануанскому, который поглаживал бородку и давал мне полную волю, посмеиваясь за широкой лапой своей.

— Ум не очень-то, кажется, в ходу в здешней стороне, — сказал тот насмешливо. — Я спрашиваю тебя, старик, что думают здесь, во что верят? Слушаются ли Церкви? Покорны ли королю?

Я говорю:

— Бог велик, и король очень велик. Их обоих любят.

— А о принцах что думают?

— Они тоже — важные господа.

— Так, значит, стоят за них?

— Да, ваша светлость, да.

— И против Кончини?

— И за него стоят тоже.

— Но как же, помилуй! Они ведь враги!

— Да, я что же... возможно... Стоят за обоих.

— Нужно выбрать, черт подери!

— Нужно ли, сударь мой? Неужто нельзя обойтись? За кого я стою? Я вам это скажу на одной из семи моих пятниц. Пойду я подумаю. Но нужен мне срок.

— Чего же ты ждешь?

— Да хочу я узнать, кто сильнее окажется.

— Мерзавец, — и не стыдно тебе? Ужели не можешь ты отличить солнца от облаков и короля от его врагов?

— Что ж, сударь мой, я уж таков... Слишком вы многого требуете. Я не слепой, вижу я небо-то. Но если уже выбирать между людьми короля и людьми голдовных вельмож, оно, право, трудненько сказать, кто из них лучше пьет и больше убытка приносит. Я не виню их; ешь на здоровье. Вам желаю того же: люблю едоков хороших; я на их месте так же бы делал, но (зачем утаю?) друзей моих больше люблю.

— Ты, значит, не любишь, болван, ничего?

— Сударь, я люблю свое добро.

— Но ты разве его не отдашь своему господину, своему королю?

— Что ж, я готов, если так уже надо. Но все же хотел бы я знать, что попадало бы в рот королю, если бы не было в нашем краю несколько мирных людей, любящих лозы свои и луга. У всякого в мире свое ремесло. Одни нажираются. А другие... другие, увы, пожираются. Политика — это искусство есть. Мы, бедняки, что могли бы мы делать? Вам — управленье, а нам — земля! Нам не годится иметь свое мненье. Мы ведь невежды. Что же, мы знаем одно только разве, что знал Адам, наш отец. (Он был и ваш, говорят; я-то не верю, простите, может быть, был он вам дядя.) Что ж мы умеем? Лишь только землю свою удобрять, чтоб была бы она плодородна, разрывать, бороздить ее тело, сеять, овес и пшеницу растить, прививать да подрезывать лозы, косить, колосья жать, веять зерно, гроздь попирать, давить вино, хлеб испекать, раскалывать дерево, камень гранить, сукно кроить, кожу сшивать, железо ковать, ваять, столярить, проводить дороги и воду, строить, вздымать города и соборы, с любовью увенчивать землю убранством садов, расплетать на стенах, на их латах дубовых волшебство световое; из камня, как из тугого чехла, извлекать обнаженного белого бога; ловить на лету средь лазури скользящие звуки, заключая их в грудь золотисто-коричневой стонущей скрипки или в полую эту свирель; владеть, наконец, всей французской землей, ветрами, огнем да водой и заставлять их служить вам в забаву... Что же еще мы умеем и смеем ли думать, что можем судить о делах управленья,

о ссорах вельмож, о затеях святых короля и о подобных тому чудесах? Сказано, сударь: не плюй выше носа. Мы животные вьючные, созданы мы для побоев... Согласен. Но чей кулак нам по вкусу, чья дубина приятнее тычет нас в спину... важный вопрос это, сударь, он для меня слишком труден. По правде сказать, — кулак ли, иль палка — мне наплевать; чтоб ответить вам точно, пришлось бы дубину в руке подержать, взвесить, сравнить. А нельзя — так терпенье! Страдай, страдай, наковальня. Страдай, пока ты наковальня. Ударь, когда молотом станешь...

Тот в нерешимости глядел на меня, сморщив нос, и не знал, смеяться ли ему или сердиться. Но тут один щитоносец, который видал меня некогда у покойного нашего герцога, сказал:

— Ваша светлость, я знаю его, чудака: он хороший работник, искусный столяр и большой говорун. По ремеслу он — ваятель.

Но граф, по-видимому, не изменил своего мненья насчет Персика, не выказал никакого любопытства по отношению к его маленькой личности (это из скромности сказано, дети мои, на самом-то деле вешу я около берковца), пока щитоносец покойного герцога и граф Ануанский ему не поведали, что такой-то и такой-то вельможа дорожит моими твореньями. После чего он не меньше других восхищался фонтаном, который ему во дворе показали. На нем изваял я девицу босую, в переднике несущую двух уток бьющихся, клюв разинувших, крылом трепещущих. Потом он смотрел во дворце утварь работы моей. Граф Ануанский блаженствовал. Скотины богатые! Будто создали сами они то, за что заплатили! Мальбой, чтоб польстить мне, нужным нашел подивиться, что я остаюсь в своем уголке, прозябаю вдали от великих парижских светил и застываю на этих работах. В них, говорит, есть терпенье и правда, но нового нет ничего, есть прилежанье, но нет вдохновенья, есть наблюденье, но нет мыслей высоких, образов, иносказаний, нет баснословия, нет любомудрия, нет, одним словом, всего, что судью-знатока бы заставило это творенье великим считать. (Великие мира сего лишь в великом находят приятность.)

Я скромно ответил (смирен я, придурковат), что знаю, как мало я стою, что всякий в границах своих оставаться должен. Бедные люди, как я, ничего не видали, ничего не

слыхали, ничего и не знают; а потому проживаешь на ярусе нижнем Парнаса, где избегаются высокие, горние замыслы; и, боязливый взор отводя от вершины, над которой рисуются крылья коня священного, роешь да камни ломаешь внизу у подножья горы, чтоб из них можно было жилище построить себе. Бедностью ум наш придавлен, ничего он не может, ничего он не смыслит, кроме забот обиходных. Искусство полезное — вот наш удел.

— Искусство полезное? Эти два слова не вяжутся, — воскликнул мой дурень. — Прекрасно — только ненужное.

Я в ответ:

— Великая мысль! Как это верно! Так везде и в искусстве и в жизни. Нет ничего ведь прекрасней алмаза, вельможи иль розы.

Он отошел, очень мною довольный. Граф Ануанский меня за руку взял и шепнул:

— Проклятый шутник! Перестанешь ли ты издеваться? Да, валяй дурака, я ведь знаю тебя. Не отрицай. Забавляйся этой парижской розой сколько угодно, дружок! Но если ты, дерзкий, когда-нибудь вздумаешь и на меня так напасть, держись тогда, Персик! Поколочу тебя всласть.

Я отпирался:

— Как, ваша светлость, на вас нападать!.. На моего благодетеля-то, защитника! Ну можно ли Персика этак чернить? Пусть еще буду я черным, но не дай Бог быть глупым. Предоставляю другим. Мы этим, ей-ей, не грешим. Слишком я шкурой своей дорожу, чтобы не уважать шкуру того, кто может заставить себя уважать. Я не трону ее, не такой я дурак. Ведь вы же не только сильнее меня (это само собой), но гораздо хитрее. Куда мне! Пред вами, Улисс, я только лисенок. Сколько проказ в мешке у вас! Сколько юных и старых, осторожных и шалых попали в него!

Лицо его расплылось. Нам всего приятнее, когда хвалят в нас ту способность, которой в нас нет.

— Ладно, — сказал он, — ладно, болтун. Оставим мешок мой в покое; посмотрим-ка лучше, что скрыто в твоем. Мне сдается, что раз уж пришел ты, так, верно, недаром.

— Чудеса! Вы опять угадали! Все прозрачны для вас. Вы читаете в книге сердец, словно как Бог-отец.

Развернул я щиты свои, а также итальянское произведенье (Фортуна на колесе, купленная когда-то в Мантуе),

которое, сам того не заметя, выдал я, ветреник старый, за свое. Похвалили их умеренно. Потом (ах, смущенье, смешенье) я показал им собственное творенье (головку девушки — стенное украшенье), которое выдал я за итальянское. Крики, выкрики, охи да ахи. Все опьянели от восхищенья. Мальбой, который так и сиял, говорил, что в нем виден отсвет латинского солнца, земли, дважды благословенной богами, Христом и Юпитером. Граф Ануанский, который так и сиял, мне за него отсчитал тридцать шесть червонцев, а за другое — три.

* * *

Мы домой отправились на закате. Во время пути я рассказал, чтоб позабавить товарищей, как однажды герцог Бельгардий приехал в Клямси поохотиться. Душа моя не видел за четыре шага. Моя должность была опрокидывать деревянную птицу, когда раздавался выстрел, и вместо нее ловко и быстро подносить другую с простреленным сердцем. Очень смеялись, и после меня каждый по очереди что-нибудь да выболтал смешное касательно этих господ... Добрые люди! Когда в величии своем они так роскошно скучают, ах, если б знали, как они нас забавляют!

О путанице недавней я рассказал, только когда уже подходили к дому. Узнав о ней, Флоридор стал горько упрекать меня за то, что я так дешево сбыл итальянское произведенье, раз они так оценили мое собственное. Я отвечал, что, хоть я и люблю над людьми подтрунить, мне обирать их не хочется. Он упорствовал, ядовито спрашивал, хорошо ли кормит такая односторонняя забава! На какой черт людей морочить, если это прибыли не приносит!

Тут Марфа, мудрая дочь моя, сказала ему:

— В нашей семье, Флоридор, мы все таковы — большие и малые. Всегда мы довольны, всегда балагурим, всегда мы смеемся над тем, чем друг друга мы потчуем. Мой милый, не жалуйся очень-то. Ибо вот почему ты еще не олень с седьмой головой. Мысль, что могу всякий миг тебе изменить, так меня тешит, что изменять-то не стоит. Но не гляди так сердито. Не сетуй, муж; ведь сводится это к тому же. Спрячь рожки, улита, я вижу их тень.

ЧУМА

Первые дни июля

Верно сказано было: «Беда уходит пешком, а приезжает верхом». К нам-то явилась она вершником орлеанских погонщиков.

В понедельник на прошлой неделе случай чумы был примечен в Фаробе. Зерна растений сорных произрастают быстро. К субботе случаев этих уже было десять. Потом, приблизившись к нам, чума вспыхнула в Кулигах Винных. Суматоха в луже утиной! Храбрецы опрометью бросились бежать. Мы уложили жен и ребятишек и отправили их в дальний городок Мутновулай. Чем-нибудь да полезна беда: в доме нет болтовни. Флоридор тоже уехал с дамами, отговорившись тем — ох, лицемер, — что Марфа на сносе. Всякие важные люди нашли очень важные предлоги, чтобы пойти погулять; запрягли повозку; показалось им нужным как раз в этот день осмотреть свои нивы.

Мы же, оставшиеся, бахвалились. Мы издевались над теми, которые предосторожности брали. Старшины поставили стражу у ворот городских, наказали им всех прогонять, бродяг и смердов, всех, кто войти бы попробовал. Остальные же, знать и те из мещан, у которых кошель был здоров, должны были подчиниться осмотру трех наших врачей: Ефима Пташкина, Мартына Теркина и Филиппа Телькина. Каждый из них налепил на себя в защиту от мора длинный нос, пропитанный мазью целебной, да большие очки. Это нас очень смешило; и Теркин (добрый он был человек) не выдержал. Сорвал он свой нос, говоря, что он не желает дурындиться, да и не верит в эту белиберду. Правда, — остался он с носом. Впрочем, и Пташник, который верил в личину свою (и даже на ночь ее не снимал), помер с таким же успехом. И один только выскочил Телькин — самый догадливый: он бросил не нос свой, а службу...

Стой, я мчусь сломя голову и уже оказался на кончике сказки, хоть еще не успел округлить хорошенько вступленье. Начнем сызнова, сын мой, снова возьмем козла за бородку. Ну что, ухватился?..

Итак, мы притворялись бесстрашными рыцарями. Так все были уверены, что чума не почтит нас приездом!

Говорят, у нее тонкое чутье; запах наших кожевен отогнал бы ее (всякий знает, что нет ничего здоровее). В последний раз, когда посетила она наш край (это было в тысячу пятьсот восьмидесятом году, мне было — возраст старого быка — четырнадцать лет), она только приблизила нос к порогу нашей двери и, понюхавши, воротилась восвояси.

С хохотом вспоминали мы об этом — добрые малые, удалые, смелые, разумные. Чтобы показать, что мы далеки от таких суеверий, а также от предрассудков врачей и старшин, мы храбро отправились к городским воротам и там через ров переговаривались с теми, кто остался на противном берегу. Даже одни, из озорства, выскальзывали наружу и шли промочить себе горло в ближний кабак с некоторыми из тех, для которых врата рая были заперты да блюдимы сторожевыми ангелами (и то сказать, они не очень-то строги были). Я поступал так же. Мог ли я оставить их одних? Мог ли я допустить, чтоб другие под самым носом моим веселились, резвились да смаковали вместе свежее винцо и свежие вести? Я сдох бы с досады! Итак, я вышел, увидя старого съемщика, которого я знал, — деда Хлебоеда. Мы с ним чокнулись. То был благодушный толстяк, круглый, красный и коренастый, который так и сиял на солнце пóтом и здоровьем. Он молодцевал еще больше меня, презирал болезнь, объявляя, что все это выдумки врачей. Умирают, мол, одни только робкие голяки, да и то от страха. Он говорил мне:

— Вот мое лекарство, отдаю его бесплатно:

Ноги бережно кутай,
пей в меру, мой друг,
не видайся с Анютой, —
не тронет недуг.

Мы провели добрый час вместе, дыша друг другу в лицо. У него была привычка во время разговора похлопывать собеседника по плечу, мять его ляжку или руку. Я об этом тогда не думал, но припомнил на следующий день. Утром первое слово моего подмастерья было:

— А знаете, дед Хлебоед-то... помер.

Ох! невесело стало мне, холодок прошел по спине. Я сказал себе: «Мой бедный друг, можешь снять сапоги. Ты обречен, недолго ждать».

Иду к верстаку, принимаюсь строгать, дабы рассеяться; но уверяю вас, что не очень-то меня занимала работа. Я думал:

«Глупец! Так тебе и надо...» Но у нас в Бургундии не в обычае ломать себе голову над тем, что нужно было делать третьего дня. Живем мы сегодняшним. Эй, держись за него. Защищаться придется. Враг еще на меня не насел. Я думал было обратиться для совета к врачу. Но потом передумал. Я, несмотря на волненье, еще мог рассуждать по-нашему:

«Сыне, лекарь столько же знает, сколько и ты. Они возьмут твои денежки и чего ради пошлют тебя маяться в чумник, где очумеешь вконец. Держи, не выдай им тайны своей. Ты ведь еще не совсем обезумел? Если дело стоит лишь за тем, чтобы душу отдать, мы ее отдадим и без них. И клянусь (так было и будет), *«несмотря на врачей, мы проживем до кончины своей»*.

Но напрасно я себя разжигал, ободрял, — меня начинало поташнивать. Я ощупал себя тут, там... Ай! — вот она, наконец... И худшее то, что, когда наступило время обеда и я уселся перед полной тарелкой жирных красных бобов, вареных в вине вместе с ломтями просольной свинины (как вспомню я ныне, плачу слезами обиды), силы в себе не нашел я раздвинуть челюсти. Сжалось сердце мое. Я подумал: «Нет сомненья, я отхожу. Выть пропала. Это начало... Посему надо хотя бы дела свои привести в порядок. Если я позволю себе здесь умереть, эти разбойники-старшины прикажут дом мой сжечь, под предлогом (бредни!), что другие в нем заболеют. Новый-то дом! Нужно же быть злодеем иль дураком! Нет, предпочитаю на навозе подохнуть. Мы их надуем! Не станем же время терять...»

Встаю, одеваюсь в самое ветхое платье, беру несколько хороших книг, несколько изречений прекрасных, сальные галльские сказки, апофегмы римские, «З о л о т ы е с л о в а» Катона,«Les fées», «Шутки» Буше да «Н о в ы й П л у т а р х» Жиля Коррозэ; кладу их в карман вместе со свечкой и краюхой хлеба; отпускаю подмастерья, запираю все двери и храбро отправляюсь в свой малый вертоград, лежащий на склоне холма вне города. Жилище неприхотливо. Лачужка. Угол для склада вручья, тюфяк соломенный да пробитый стул. Сожгут ее — не беда.

Не успел я прийти, как уже щелкал зубами, что ворона клювом. Меня трясла огневица, ломило в боку, желудок был точно выворочен... Что же тогда я сделал, добрые люди? О чем поведаю вам? О дивных ли поступках, о великодушии, достойном Рима, о стойкости перед судьбой вражеской и болью внутренней?.. Добрые люди, я был один, никто не видел меня. Поверьте, я и не пытался перед стеной разыгрывать Регула Римского! Упал я ничком на солому и давай выть! Неужто ничего не расслышали? Голос мой был очень ясен. Он дошел бы до самой луны.

— Ах, Господи! — хныкал я. — Ну можно ли так мучить кроткого человека, который не причинил тебе никакого зла?.. Ох! голова моя! Ох! бока! Как тяжело умирать во цвете лет! Горе мне, горе! Ужель непременно ты хочешь так скоро видеть меня? Ох — спина!.. Конечно, я был бы рад — польщен то есть — тебя посетить, но, раз встреча наша все равно неизбежна, к чему эта гонка? Ох, селезенка!.. Повременим. Господи, я только бедный червячок. Если уж выхода нет, — да святится воля твоя. Видишь, как кроток, покорен я... Мерзавец! Уберешься ли ты отсюда? Долго ли будет зверь этот грызть меня в бок?

Поорав хорошенько, я не то чтоб унял боль, но растратил все свое жалобное красноречие. Я подумал: «Пустое. Или нет у него ушей, или он слушать не хочет. Коль правда, что я — его образ, он поступит по-своему, напрасно вою я. Пощадим легкие. Жизни осталось-то, может быть, на часок или на два, что же безрассудно тратить ее! Будем наслаждаться тем, что еще не ушло, этим добрым, старым телом, с которым придется расстаться (эх, дружище, не хочу, а надо!). Умираешь раз. Удовлетворим хотя бы любопытство свое. Посмотрим-ка, каким способом из шкуры вылезают. Когда я ребенок был, умел я лучше всех выделывать из сучьев ивовых чудесные свистелки. Рукояткой ножа я бил по коре, пока она не растрескивалась. Мне думается, что Тот, который смотрит на меня с неба, тешится точно так же моим телом. Бей! тресну ли? Ай, удар был хорош! И не стыдно ему, пожилому такому, находить прелесть в мальчишеской забаве! Стой, Персик, не сдавайся, и, пока еще держится кора, понаблюдаем, запишем, что под ней происходит. Рассмотрим бочку свою, вспеним мысли, изучим, продумаем, упьемся соками, что в поджелудочной железе нашей переливаются, вращаются, вздорно ссорятся;

просмакуем эти боли острые, взвесим, ощупаем кишки свои да почки...»[1]

Так, созерцаю себя. Порою же прерываю исследования, чтобы реветь. Ночь тянулась бесконечно. Зажигаю свечку, втыкаю ее в горлышко старой бутылки (нежно пахнет она смородиной, но далече наливка: образ того, чем предполагал я стать в ближайшем будущем! Тело ушло, оставался только дух). Извиваясь на соломенном своем тюфяке, я пытался читать. Возвышенные апофегмы римлян не имели никакого успеха. К черту этих бахвалов! «Не всяк создан для того, чтобы в Рим попасть». Ненавижу глупую гордость. Желаю я посетовать всласть, коли резь у меня в животе... Но когда затихает она, коль могу, хочу я смеяться. И я смеялся. Вы не поверите? Да, хоть страдало тело мое, как зерно под жерновом, хоть зуб на зуб не попадал, — раскрыв наугад книгу «Шуток» доброго этого Буше, я нашел в ней одну такую крупную, хрустящую и золотистую... шут его побери! — что я захлебнулся от хохота. Я говорил себе:

— Вот дурень! Эй, перестань. Тебе же будет хуже.

И что ж: посмеюсь, а после повою, повою, опять засмеюсь. И мычу я, и ржу я... Чума и та хохотала. Ах! мой бедный мальчишечка, стону-то, смеху-то!..

Когда забрезжило утро, я уже годился в покойники. Не мог я стоять. Ползком дотащился я до единственного оконца. Выходило оно на дорогу. Дождавшись прохожего, его я окликнул слабым, надтреснутым голосом. Нужды не было слышать, чтобы понять. Он увидел меня и, крестясь, пустился бежать. Через четверть часа уже стояло — какая честь! — двое стражников перед домом моим; и запрещено мне было переступать порог оного. Увы! я и не пытался. Только просил я их послать в Дорнси за старым другом моим, нотариусом Ерником, дабы составить завещанье. Но они так трусили, что страшило их самое

---

[1] Тут мы позволим себе пропустить несколько строк. Рассказчик не избавляет нас ни от одной подробности касательно состояния его внутренностей; внимание, с которым он к ним относится, заставляет его распространяться о предметах, не особенно приятных на запах. Добавим, что физиологические познания его, которыми он, видимо, гордится, порой несколько сомнительны. *(Примеч. автора.)*

дуновенье голоса моего; и мне кажется, честное слово, что из боязни чумы они затыкали себе уши. Наконец поленичек-подкидыш, пастушок при гусях (доброе сердечко!), который меня полюбил после того, как я его однажды поймал, когда он поклевывал вишни в саду моем, и сказал ему: «Дрозденек, сорви-ка заодно и для меня», — пастушок подкрался к окну, подслушал и воскликнул:

— Господин Персик, я побегу!

...Что произошло потом, очень мне было бы трудно вам рассказать. Знаю только, что в продолженье долгих часов я в бреду валялся на соломе, язык высунув, как теленок. Хлопанье бича, звон бубенцов на дороге, могучий знакомый голос... Ну, думаю, приехал Ерник... Стараюсь приподняться. Ах! жизнь моя тяжкая! Мне казалось, что несу я святого Мартына на затылке и черта на заду. Говорю себе: «Когда бы в придачу были еще скалы Басвильские, все равно надо тебе встать...» Мне хотелось, видите ли, узаконить (ночью-то я успел многое передумать) некоторые намеренья, сделать в пользу Марфы и Глаши оговорку в завещанье, которую не могли бы оспаривать мои четыре сына. Я взвалил на подоконник голову свою; весила она не меньше нашего огромного городского колокола, падала вправо, влево... Увидел я на дороге двух милых толстяков, которые глаза таращили с выраженьем ужаса. То были Антон Ерник и поп Шумила. Верные мои друзья примчались во весь дух, чтоб успеть застать меня в живых. Должен заметить, что, когда увидели они меня, пыл их остыл. Они оба шагнули назад (верно, для того, чтобы лучше судить о картине). И проклятый этот Шумила, в виде утешенья, повторял:

— Господи, как ты гадок! Ах! мой бедный друг! Ты гадок, гадок... Гадок, как сало желтое...

Я же сказал (запах здоровья их ободрял телесные мои чувства):

— Что же вы не войдете? Вам, должно быть, жарко.

— Нет, спасибо, нет, спасибо! — воскликнули они в один голос. — Очень нам здесь хорошо.

Ускорив отступленье, остановились они под прикрытьем повозки; Ерник для вида тряс удила ослика своего, который и так изнемог.

— Как поживаешь? — спросил Шумила, привыкший беседовать с умирающими.

— Эх, мой друг, кто болен, тот не спокоен, — отвечал я, головой качая.

— Как мало мы стоим! Вот, Николка-бедняга, что тебе я всегда говорил? Бог всемогущ. А мы только дым, навоз. Сегодня пляшу, а завтра — в гробу. Сегодня в цветах, а завтра в слезах. Ты не хотел мне верить, все шуткой казалось тебе. Было сладко, дошел до осадка. Что ж, Персик, не горюй. Бог отзывает тебя. Ах, что за честь, мой сын! Но надо для этого быть прилично одетым. Давай, душу вымою. Приготовься, грешник.

Я в ответ:

— Сейчас. Еще есть время, поп.

— Несчастный! Перевозчик не ждет.

— Ничего, я пойду пешком.

Он рукой замахал:

— Персик, дружок, братец! Ах! Ты явно еще прикован к сомнительным благам земли. Что же в ней такого хорошего? Все-то в ней суета сует, бедствие, ложь, лукавство, коварство, глупость, кривда, боль, увяданье. Что мы тут делаем?

— Ты меня приводишь в отчаянье, — говорю, — я не в силах оставить тебя здесь.

— Мы увидимся там.

— Да почему же не пойти вместе? Ну, ладно, — прохожу вперед. За мной, честные люди!

Они притворились, что не слышат. Шумила возвысил голос:

— Время тает, Персик, и ты таешь вместе с ним. Лукавый, некошный подстерегает тебя. Неужели ты хочешь, чтобы жадный зверь схапал твою измызганную душу? Не упрямься, Николка, покайся, приготовься, сделай это, мой мальчик, сделай это ради меня, куманек.

— Я это сделаю, — говорю, — сделаю ради тебя, ради себя и ради Него. Боже меня упаси отнестись ко всем вам без должного вниманья! Но, пожалуйста, я хочу сперва два слова сказать господину нотариусу.

— Потом скажешь.

— Никаких. В первую голову — Ерник.

— И не стыдно тебе, Персик, ставить Вечного после маклера?

— Вечный может подождать или пойти погулять, если хочет: я с ним все равно встречусь. Но земное меня

покидает. Вежливость требует, чтобы я посетил на прощанье того, кто принял меня, прежде нежели идти в гости к тому, кто меня примет... может быть.

Он стал настаивать, умолять, кричать. Я не сдался. Антон Ерник достал свой прибор письменный и, сидя на межевом камне, составил в кругу зевак и собак мое всенародное завещанье. После чего я с кротостью очистил душу свою. Когда все было кончено (Шумила продолжал свои увещеванья), я сказал умирающим голосом:

— Поп, передохни. Все, что ты говоришь, прекрасно. Но соловья баснями не кормят. Ныне, когда душа моя готова к отъезду, я хотел бы по крайней мере выпить на прощанье. Друзья, бутылку!

Ах, молодцы! Хоть жили по завету Божьему, оставались они истыми бургонцами, и верно они угадали мое последнее желанье! Вместо одной бутылки они притащили целых три: шабли, пуи, иранси. Из окна моего, точно с лодки, готовой к отплытью, я кинул веревку. Поленичек подвязал старую корзинку, и я из последних сил втянул последних своих друзей.

Снова упал я на солому; все удалились, но я чувствовал себя уже менее одиноким. Не попытаюсь вам рассказать, как прошли следующие за этим часы. Странное дело, я никак не могу их найти. Верно, кто-нибудь под шумок своровал штучек восемь, а не то — десяток. Знаю только, что я был поглощен обширной беседой со святой троицей бутылок; и ничего не помню из того, что говорилось. Теряю Николку Персика: куда он мог улизнуть? Около полночи я снова вижу себя. Сижу в своем саду, распластав зад на грядке земляники, сочной, влажной, свежей, и гляжу на небо сквозь ветки маленькой сливы. Сколько огней там в вышине, сколько теней здесь внизу! Луна мне казала рожки. Поодаль видел я ворох старых лоз виноградных, черных, кривых и когтистых, как змеи, кишели они и, чудовищно корчась, за мной наблюдали. Но кто объяснит мне, что я здесь делаю?.. Кажется мне (все перепуталось в мыслях моих слишком пышных), что сказал я себе:

— Встань, христианин. Император Римский не должен, Николка, в постели своей умирать. В бутылках пусто. Больше нечего делать нам здесь! Пойдем просвещать капусту!

Мне кажется тоже, что я собирался нарвать чесноку, ибо он, говорят, очумляет чуму. Помню ясно лишь то, что, когда я ногу поставил (и тут же плюхнулся) на мать-землю сырую, меня охватило внезапно очарованье ночи. Небо, словно огромный орешник, круглый и темный, надо мной расширялось. На ветвях его тысячи тысяч плодов повисало. Колыхаясь мягко, блистая как яблоки, звезды зрели в сумраке теплом. Плоды моего вертограда мне казались звездами. Все наклонялись ко мне, чтобы видеть меня. Чувствовал я, что тысяча глаз за мною следит. Шушуканье, смех пробегали в земляничных кустиках. На сучке надо мной груша маленькая, краснощекая и золотистая, голосом тонким, светлым и сладким мне напевала:

Вкоренись, вкоренись,
человечек седой!
Чтобы в рай вознестись,
за меня зацепись,
стань ползучей лозой.
Вкоренись, вкоренись,
человечек седой!

И со всех ветвей сада земного и сада небесного хор голосков, шепчущих, трепетных, песенных, вторил:

Вкоренись, вкоренись!

Тогда погрузил я руки в землю и сказал:

— Хочешь ли меня? Я-то хочу.

Земля моя добрая, мягкая, сочная! В нее я по локти вошел; как грудь, она таяла, и мял я ее коленями, пальцами. Я к ней прижался вплотную, запечатлел в ней свой след с головы до пяток; в ней постлал я постель себе, лег; во всю длину растянувшись, я глядел на небо, на грозди звезд, рот разинув, как будто я ожидал, что одна из них мне на язык вот-вот упадет. Июльская ночь заливалась «Песнею песен». Безумный кузнечик кричал, кричал, кричал во все нелегкие. Часы святого Мартына внезапно пробили двенадцать, или четырнадцать, или шестнадцать (поистине это был звон необычный). И вот уже звезды, звезды на небе и звезды в саду моем перезвон затевают... Что за музыка, Господи! Сердце мое чуть не лопалось; грохотало в ушах,

как грохочут оконные стекла в грозу. И я видел со дна своей ямы, как восходило дерево райское: лоза виноградная, гроздями увешанная, из пупа моего вырастала. Вместе с нею и я поднимался. И весь мой сад сопутствовал мне, распевая. На самой высокой ветке звезда висячая плясала как шалая, и, запрокинув лицо, чтобы видеть ее, лез я, тянулся я к ней и во все горло орал:

Виноградинка моя,
Подожди, молю я!
Лезу я, сорву тебя!
Аллилуйя.

Я лез, вероятно, большую часть ночи. Распевал не умолкая в продолжение целых часов, как передавали мне после. Пел я на все лады, духовное, светское, песни похоронные и песни свадебные, кондаки и тропари рождественские, погудки охотничьи и плясовые, песни наставительные и другие — веселенькие, и наигрывал я то на гитаре, то на волынке, бил в барабан, трубил. Сбежавшиеся соседи надрывали себе животики и говорили:

— Ну и гомон! Это Николка дух испускает. Он спятил с ума, спятил с ума!..

На следующий день я, так сказать, не соперничал с солнцем: оно встало раньше меня. Было за полдень, когда я проснулся. Ах, как приятно было мне, друже, снова увидеть себя в яме своей земляной. Не то чтобы мягкостью ложе мое отличалось, по правде сказать, чертовски болела спина. Но как сладостно знать, что спина еще есть! Итак, не ушел ты, Персик, милый дружок. Дай — поцелую тебя, мой сынок. Дай — ощупаю я это тельце, это славное личико! Да, это ты. Как я рад! Если б меня ты покинул, никогда я, Николка, не мог бы утешиться. Здравствуй, о сад мой! Дыни мои улыбаются радостно мне. Зрейте, касатики.

Прервал мое созерцание рев двух ослов, раздавшийся вдруг за стеной:

— Персик! Персик! Ты умер?

То Ерник и Шумила, которые, не слыша больше моего голоса, горюют на дороге и уже, вероятно, возносят мои добродетели. Я встаю (ах! поясница промятая!). Подхожу тихонько и, вдруг высунувши голову из дырки оконца, кричу:

— Ку-ку, вот и он!

Они так и отпрянули.

— Персик, ты, значит, не умер!

Они от радости разом смеялись и плакали. Я показал им язык.

— Человечек живехонек!..

Поверите ли вы, что эти скоты меня оставили в продолжение двух недель в чертоге моем под замком, пока не уверились в том, что я выздоровел! Впрочем, я должен сказать, что я благодаря им не ощущал недостатка ни в манне небесной, ни в воде ключевой (разумею вино я — водицу Ноя). Даже вошло у них в привычку по очереди приходить, чтобы, сидя под окном моим, поведать мне новости дня.

Когда я в первый раз вышел, Шумила сказал мне:

— Друг дорогой, видишь — святой Рох тебя спас. Пойди же отблагодари его. Сделай это, прошу!

Я в ответ:

— Не он — а, скорее, святой Иранси, святой Шабли или Пуи.

— Ну ладно, Николка, поступим мы так: пойди ко святому Роху ради меня, я ж, ради тебя, пойду на поклон к святой Бутылке.

Пока совершали мы это двойное паломничество (взяли мы также и Ерника), я заметил:

— Сознайтесь, друзья, что вы с меньшей охотой бы чокнулись в день, когда я на прощанье хотел с вами выпить? Вы не казались особенно рады за мною последовать.

— Люблю я тебя, — сказал Ерник, — люблю я, клянусь; но что же поделаешь? Себя я тоже люблю. Верно сказано: «Своя рубашка ближе к телу».

— Грешен я, грешен, — гремел Шумила и бил себя в грудь, как в барабан, — я трус, такова уж природа моя.

— Куда же, Ерник, ты дел уроки Катона? А ты, поп, к чему послужила тебе вера твоя?

— Ах, мой друг, как сладостна жизнь, — оба сказали они со вздохом глубоким.

Поцеловались мы тут, рассмеялись и вместе сказали:

— Добрый человек не дорого стоит. Брать его нужно как есть. Бог его сделал. Он правильно сделал.

СМЕРТЬ СТАРУХИ

Конец июля

Я принялся вновь наслаждаться жизнью. Мне не стоило это большого труда, как вы понимаете сами. Даже, Бог весть почему, мне казалась она еще слаще, волокней, чем прежде, — нежной, пухлой и золотистой, на диво поджаренной, сочно-хрустящей в зубах и тающей на языке. Ненасытность воскресшего! Лазарь, должно быть, здорово ел!

Однажды, как после работы радостной, бой мы с друзьями вели на оружье Самсона, входит крестьянин, пришедший из дальней деревни.

— Сударь, — он мне говорит, — я третьего дня видел вашу хозяйку.

— Ишь ты! Везет же тебе, — говорю, — ну как поживает старуха?

— Прекрасно. Она отправляется.

— Куда же?

— Она отправляется, сударь, бежит со всех ног в лучший мир.

— Он это свойство утратит, — заметил какой-то шутник.

Другой подхватил:

— Отходит она; но ты остаешься. За твое здоровье, Николка. Было счастье одно, а вот и второе.

Я же, чтоб им подражать (встревожился я, как-никак):

— Чокнемся! Бог человека любит; Он у него отнимает жену, когда уж не знает, что с нею делать.

Но вино показалось мне вдруг горьковатым, не мог я стакан свой допить; тогда, взяв дубинку, я встал и ушел, ни с кем не простившись. Они закричали мне вслед:

— Что за муха тебя укусила?

Но я уже был далеко, не ответствовал я, сердце сжималось... Видите ли, можно старуху свою не любить, можно друг друга пилить ночью и днем, в продолжение четверти века, — но когда безносая смерть приходит за нею, за тою, которая, плотно прижавшись к тебе в слишком узкой постели, потея, грела тебя столько лет и в своем тощем теле взлелеяла семя твое, — чувствуешь что-то вот здесь; подступает к горлу комок; это как будто часть от тебя отделяется; и хоть она некрасива, хоть тебе она вечно мешала, все же больно тебе за нее, за себя, жалеешь ее... Прости, Господи! любишь...

Я прибыл на следующий день, когда уж темнело. Мне стоило только взглянуть, чтоб увидеть, как хорошо поработал великий ваятель. Из-под ветхой завесы сморщенной кожи лик смерти, угрюмый, глядел. Но еще более верным предвестием скорой кончины было то, что, когда я вошел, она мне сказала:

— Мой бедный старик, ты не слишком устал?

Заботливость эта глубоко меня умилила. Я подумал: «Сомневаться нельзя. Умирает старушка. Она подобрела».

Сел я подле постели, взял ее руку. Слишком ослабнув, чтобы говорить, она глазами благодарила меня за то, что пришел я. Стараясь ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал ей, как я только что надул поторопившуюся чуму. Она ничего об этом не знала. Так взволновал ее мой рассказ (эх, косолапый!), что ей сделалось дурно, чуть не скончалась она. Когда же она очнулась, у нее вернулась способность говорить (слава те, Боже, слава те, Боже). И злость вернулась тоже. Вот начинает она, заплетаясь и дрожа (слова не хотели выходить или выходили совсем не те: это ее бесило), начинает она меня осыпать бранью, говоря, что с моей стороны было грешно ее не оповестить, что нет у меня сердца, что я хуже пса, что, как пес, я должен был бы подохнуть тогда, катаясь от боли на своем навозе. Выслушал я много еще таких нежностей. Старались ее успокоить. Говорили мне:

— Уходи! Видишь, ты причиняешь ей боль. Удались на мгновение.

Но я, я смеюсь, нагнувшись над ее постелью, и говорю:

— Вот и ладно. Я тебя опять узнаю. Еще есть надежда. Ты все так же бранчлива.

И, взяв ее голову в свои толстые лапы, поцеловал я ее, от всего сердца, дважды, в щеки. И она вдруг заплакала.

Неподвижные, безмолвные, остались мы с ней одни в спальной, где за обоями сухо тикал буравец, словно маятник роковой. Другие удалились в соседнюю комнату. Она мучительно хрипела, ей, видно, говорить хотелось.

Я сказал:

— Не утомляйся, жена. За эти двадцать пять лет мы все успели друг другу высказать. Мы понимаем друг друга без слов.

— Мы не высказали ничего, — упорствовала она. — Я должна говорить, Николка; иначе рай... куда мне не попасть...

— Да что ты, что ты...

— Иначе рай мне покажется горше яда адова. Я была, Николка, резка и сварлива...

— Да нет же, нет же, — сказал я. — Немного горечи для здоровья полезно.

— Брюзглива, ревнива, придирчива, вспыльчива. Злобой своей наполняла я дом; я тебе досаждала во всем.

Легонько пошлепал я руку ее:

— Дело не в том... У меня шкура твердая.

Она продолжала, еле дыша:

— Все оттого, что тебя я любила.

— Еще бы, не сомневался я в этом. Всякий любовь выражает по-своему. Ты выражалась темно.

— Я любила тебя; а ты — ты меня не любил. Вот почему ты был добр, а я так несносна: я мстила тебе за эту твою нелюбовь; ты же и в ус не дул. У тебя был смех свой, Николка, тот же смех, как и ныне... Господи, как он помучил меня! Ты кутался в нем от дождя; и сколько угодно могла я дождить, не в силах была я тебя промочить, разбойник. Ах! Сколько ты зла причинил мне! Сколько раз, Николка, я околеть собиралась!

— Бедняжка, ты знаешь, я ведь воды не люблю.

— Ты смеешься, бесстыжий! Что ж! Ты прав. Смех согревает. Ныне, как холод земли уже ноги сковал мне, я смех твой лучше могу оценить; одолжи мне свой плащ. Смейся досыта, муж; я на тебя перестала сердиться; и ты, Николка, прости мне.

— Ты была хорошей женой, — сказал я, — честною, бодрою, верною. Не всегда ты, пожалуй, любезна бывала. Но нет средь людей совершенства: непочтительно было бы это по отношению к тому, кто один — совершенство (говорю понаслышке). И в черные часы (не в часы ночи, когда серы все кошки, а в годы бедствий и тощих коров) ты не была так плоха. Ты работала бодро, не жалуясь; и угрюмость твоя мне даже прекрасной казалась, когда ты боролась против злобной судьбы, не уступая ни пяди. Не станем же ныне мучить себя из-за прошлого. С нас довольно того, что мы уж разок несли, не сгибаясь, его и не запятнали себя унижением принятым. Что сделано — сделано, и переделать нельзя: ноша лежит на земле. Может, хозяин теперь взвесит ее, если хочет! Это нас не касается. Ух! Отдохнем, старина. Нам только осталось ремень отстегнуть, который

впился нам в спину, да потереть закоснелые руки, избитые плечи да выкопать яму в земле, где бы спать мы могли, рот разинув, храпя, как орган (Requiescat![1] Мир вам, поработавшим много!), сладостно спать, беспробудно...

Она слушала, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она глаза открыла, руку протянула:

— Друг мой, спокойной ночи. Ты завтра разбудишь меня.

Опустилась рука.

Тогда, любя до конца порядок, она вытянулась во всю длину на постели своей, подвела под самый подбородок простыню так, чтобы ни единой не было складки, и прижала к худой груди распятье; после чего, с решительным видом, сморщив нос, устремив в одну точку взгляд, она, готовая к отбытию, стала ждать. Но, видно, старые кости ее до того, как покой обрести, должны были для очищения пройти сквозь горе — огонь земли (таков наш удел). Ибо в тот же миг дверь распахнулась, и, в комнату стремительно влетев, хозяйка прерывающимся голосом закричала:

— Сюда, сюда, скорей, сударь!

Я спросил, не понимая:

— Что случилось? Говорите тише.

Но та, которая уже пустилась в великое странствие, могла, казалось, с вышины дорожной повозки обернувшись, видеть через головы наши то, что не видел я; она приподнялась на смертном одре, выпрямилась, как пробужденный Христом, протянула руки и закричала:

— Моя Глаша!

В свою очередь понял и я, потрясенный возгласом этим и хриплым кашлем в соседней комнате. Побежал я туда, нашел мою бедную синичку, которая старалась лапками своими разжать руку, взявшую ее за горло, и, красная вся, горящая, молча молила, раскрыв непонимающие глаза, трепеща, как раненая птичка...

Как прошла эта ночь — и рассказать я не в силах. Ныне, через пять дней точно отсчитанных, при воспоминании одном у меня отнимаются ноги; должен я сесть. Ох! Дайте мне отдышаться... Надо ж, чтобы был на небесах некий Хозяин, которого бы забавляло длительно мучить крошечных этих зверьков, ощущать, как в пальцах его детская тонкая шейка хрустит, видеть, как бьются они! Как может

---

[1] Да упокоится! *(лат.)*

он переносить упрек удивленный их взгляда! Я понимаю, что можно бить таких старых ослов, как я, боль причинять тому, кто защищаться умеет, — крепким гусям, самкам спинастым. Да, приятно тебе заставлять нас кричать, коли можешь, ну что же, Господи, жарь! Человек — подобье твое. Да, ты, как и он, не всегда благодушен бываешь. Иногда ты причудлив, лукав, вредишь из желанья сломать, силу свою испытать иль потому, что ты раздражен, встал с левой ноги, а не то — просто так — от нечего делать... Да, я это еще понимаю. Мы достаточно взрослые, можем за себя постоять. Если уже надоедаешь ты нам чересчур, мы высказать это умеем. Но целиться в бедных ягнят, у которых еще молоко на губах не обсохло, — нет, стой! Нет, это слишком жестоко, мы не позволим! Ни Бог, ни король не должен злоупотреблять своим правом. Предупреждаем мы, Господи, если будет так продолжаться, нам, к сожаленью, придется тебя развенчать... Но не хочу я думать, что все это дело рук твоих, я слишком тебя уважаю. Чтобы объяснить такие преступленья, Отче наш, допустить надо, что либо нет у тебя глаз, либо не существуешь ты вовсе. Ай! Вот словцо непристойное, беру его назад. Доказательство быта твоего — это то, что мы сейчас беседу с тобою ведем. Сколько споров бывало у нас! И, между нами говоря, сколько раз, Господине, я заставил тебя замолчать. В эту злосчастную ночь, ах, как я звал тебя, звал, поносил, устрашал, отрицал, умолял, заклинал! То к тебе я протягивал сжатые руки, то показывал сжатый кулак... Все ни к чему, ты и не дрогнул. По крайней-то мере, ты не можешь сказать, что я не старался! И раз ты и слушать не хочешь, черт с тобой! Мы знаем других, мы к другим обратимся!

Мы бодрствовали, я да старая хозяйка (Марфа, которая почувствовала в дороге родильные боли, остановилась в Дорнси, поручив Глашу бабушке). Когда мы заметили поутру, что маленькая наша мученица вот-вот отдаст душу, тогда приняли мы решительные меры. Я на руки поднял ее прелестное бедное тельце, легкое, как перышко (у нее даже не хватало сил биться; свесив вздрагивающую головку, она чуть трепетала, как воробушек). Посмотрел я в окно. Был ветер и дождь. Роза склонялась на стебле у самой оконницы, как будто желая войти. Предвестие смерти. Я перекрестился и дверь распахнул. Буйный ветер влажный вметнулся в комнату. Я рукой прикрыл головку птенчика

моего, боясь, как бы буря не задула огонька его. Мы вышли. Впереди шла хозяйка с подарками. Вглубились мы в лес, окаймлявший дорогу, и вскоре увидели на краю трясины дрожащую осину. Над толпою камышей гибковыйных царствовала она, высокая и стройная, как башня. Трижды мы кругом ее обошли. Маленькая моя стонала, и ветер в листве, как и она, щелкал зубами. К ручке ребенка мы привязали один конец ленты, другой же — к суку этого старого, дрожащего дерева; и мы оба, я да хозяйка беззубая, повторяли:

Трепет, милая осина,
Отними ты у меня.
Именем Отца и Сына,
Именем Святого Духа
Заклинаю я тебя.
Если ж ты мольбу мою
Из упрямства не поймешь,
Дрожь мою не заберешь,
Берегись! Тебя срублю.

Потом старуха между корней вырыла ямку, выплеснула в нее кружку вина, два зубка чесноку, ломтик сала и сверху положила грош. Трижды мы обошли вокруг лежащей шапки моей, полной камышей. И на третий раз в нее плюнули, приговаривая:

— Да задушит вас жаба, гниючие жабы, поджавшие лапы!

На обратном пути, у опушки леса, мы встали на колени перед кустом шиповника, опустили девочку к его подножью и через него обратились к Сыну Божьему с молитвой.

Когда мы домой воротились, казалась она бездыханной. По крайней мере, мы сделали все, что могли.

Меж тем жена-то моя все умереть не решалась. Любовь к внучке ее не пускала. Она бесновалась, кричала:

— Нет, я не уйду, Господи Боже, Иисусе, Мария, пока не узнаю, что с нею хотите вы сделать, переживет ли она или нет. Переживет, так хочу я, хочу я — и все тут!

Видно, это было не все, — досказав, она вновь начинала! А я-то думал было, что она вот-вот испустит последний вздох. Коль это последний, — здоров же голубчик... Персик, гадкий мальчишка, ты опять зубоскалишь... и не стыдно тебе? Что поделаешь, друг мой! Я уж так создан. Смеяться — мне не мешает страдать; но страдать — никогда

не помешает бургундцу смеяться. И смеется он или хнычет, первым делом должен он смотреть во все глаза!..

Итак, мне от этого было не легче слушать, как дышит и задыхается моя старушка; и хотя мне было не менее больно, чем ей, я старался ее успокоить, я ей говорил те слова, которыми детей утешаешь, я ласково кутал ее в одеяло. Но она вырывалась, сердито кричала:

— Пустоколп! Будь ты мужчиной, ее удалось бы спасти. Сам ведь ты спасся, небось. А на что ты годишься? Тебе б умереть, а не ей.

Я в ответ:

— Да что ж, я с тобою согласен, жена, ты права. Если кто-нибудь хочет шкуру мою — отдаю. Но, верно, там в небесах спроса нет на нее; слишком она ведь поношена. На что мы с тобою годимся? Только на то, чтоб страдать. Будем же мучиться молча. А ей-то, невинненькой, может быть, лучше, может быть, легче, мало ли что ожидало ее.

Тогда прижалась старушка щекою к щеке моей, и наши слезы лились и сливались. Вокруг ощущалась тяжкая тень крыльев ангела смерти...

И вдруг он исчез. Свет вернулся опять. Кто сотворил это чудо? Бог ли небесный, лесные ли боги, или Христос мой жалостивый, или земля угрозная, льющая, пьющая зло? Было ли это действие наших молитв, или страха жены моей, или же старой осины, которой я лапку подмаслил? Никогда не узнаем. И, пребывая в сомненье, благодарю я (это вернее) всех их да еще прибавляю тех, с которыми я не знаком. (Быть может, они-то и есть наилучшие.) Как бы то ни было, самое важное то, что с этого дня жар у нее стал спадать, заструилось дыхание из крошечных легких, как ручеек легкий; и покойница малая, вырвавшись вдруг из объятий ангела, чудом воскресла.

Сладко растаяло старое сердце наше. Оба запели мы: «Nunc dimittis[1], Господи!» И старуха моя, ослабев, слезами счастья рыдая, уронила тогда на подушку тяжелую голову (камень, идущий ко дну) и шепнула:

— Наконец-то уйти я могу!..

Тотчас потух ее взгляд, щеки впали, как будто ветер с налету сорвал ее душу. И я, наклонясь над постелью, на которой ее уже не было, я смотрел, как смотришь в омут

[1] Ныне отпущаеши *(лат.)*.

речной, где вогнутый след потонувшего тела остается на миг и, вращаясь, стирается. Я прикрыл ей глаза, поцеловал ее лоб восковой, сложил ее руки, жесткие руки, при жизни не знавшие роздыху, и, беспечально оставя лампаду погасшую, сел я возле нового пламени: дом отныне оно осветит. Я стерег его сон, я глядел с умиленной улыбкой и думал (нельзя запретить себе думать): «Не странно ли, что можешь так привязаться к этакой маленькой штучке? Без нее ничего нам не любо. С нею — все хорошо, даже — самое худшее. Да, я вполне бы мог умереть, черт меня подери! Только б жила она, только б жила, — остальное все пустяки!.. Это, однако, уже чересчур! Как, я здесь, я живу, я здоров, я хозяин пяти своих чувств (да еще многих других в придачу, из коих самое лучшее — чувство здравого смысла), никогда не роптал я на жизнь; чтобы быть в состоянье всегда нажираться, в брюхе несу я десяток аршин кишек пустых, крепок, ясен мой разум, искусна рука, ляжка крепка, я хороший работник, бодрый бургундец, и все это, все это готов я пожертвовать ради крошечной твари, которой я даже не знаю! Ибо кто же она, наконец? Смешной кочешок, игрушечка нежная, попугайчик, поршок... Она еще ныне ничто, но *будет*, быть может... И вот ради этого «может быть» я расточил бы свое «я есмь, и я — здесь, и мне здесь хорошо...»? Да! ведь это «быть может» — мой лучший цветок, отрада жизни моей. Когда закишит червями тело мое, когда растает оно на скудельнице, Господи, я буду жить, я воскресну в другом, прекрасней, счастливей, добрее... Да, как знать? Почему же он, этот «другой», будет лучше меня? Потому что он встанет на плечи ко мне, на могилу мою, и дальше увидит... О вы, из меня возникшие, вы, которые станете солнечный свет впивать, когда уже я, так любивший лучи, не буду обласкан ими, знайте: через ваши глаза наслаждаюсь багряными жатвами дней и ночей грядущих, вижу, как годы чредятся, годы, века, упиваюсь я тем, что предчувствую, и тем, что я знать не могу. Все проходит вокруг, вернее-то, я прохожу; иду я все дальше, все выше, поддержанный вами. К землице своей я уже не прикован. Дальше, все дальше, за жизнью, за полем моим, тянутся борозды; мир обнимают они, через небо стремятся, как Млечный Путь расширяясь, узорят они весь лазоревый свод. Вы — желанье мое, упованье и горсти семян, которые щедро я рассыпаю в пространствах бездонных».

СОЖЖЕННЫЙ ДОМ

Середина августа

Отметим ли день сей? Жесткий кусок... Он еще не совсем переварен. Смелее, старик, смелее! Это будет лучший способ заставить его растаять.

Говорят: летний ливень — мешок гривен. В таком случае я должен был стать богаче Креза: дождь все лето хлестал меня по спине, без передышки; однако я наг и бос, как юродивый. Только успел я пройти сквозь двойное испытанье (Глаша вылечилась, и жена моя тоже, одна от болезни, другая от жизни), как я получил от сил, управляющих миром (должно быть, на небесах есть женщина, которая сердится на меня; что я ей сделал?.. Меня любит она, черт возьми!), такой яростный удар, что ныне я гол, избит, ноет все тело, но (что ж, это главное) кости целы.

Хотя и оправилась внучка, я все же не торопился вернуться восвояси; я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровленьем еще больше, чем она сама. Когда ребенок так воскресает, это как будто видишь сотворенье мира; вселенная кажется свежеснесенной и млечно-белой. Итак, я бродил без дела, рассеянно слушая вести, которыми угощались, отправляясь на рынок, кумушки. И вот однажды мимолетное слово заставило меня навострить уши (...старый ослик, чувствующий близость дубины хозяйской). Говорили, что вспыхнул пожар в Клямси, в предместье Бевронском, и что дома пылают как хворост. Ничего больше я узнать не мог. Начиная с этой минуты я стоял (из сочувствия) как на угольях. Напрасно говорили мне:

— Будь покоен! Дурные весточки быстры, как ласточки. Если б дело касалось тебя, ты уже знал бы. Кто говорит о твоем доме? Мало ль ослов в Бевроне...

Но я места себе не находил, я бормотал:

— Это он... Он пламенеет. Пахнет горелым.

Взял я посох, отправился в путь. Я думал: «Ну и дурак! Впервые я покидаю Клямси, ничего не спрятав». Я, бывало, всегда, завидя врага, уносил под защиту стен, на другую сторону моста, свои пенаты, деньги, те созданья искусства моего, которыми я всего более горжусь, вручье и утварь да всякие безделушки: уродливы они, громоздки, а не отдам их за все золото мира, ибо они святые останки наших бедных радостей. В этот раз я о них не позаботился...

И слышалось мне, как старуха моя с того света кричит, корит за глупость. Я же отвечал ей:

— Виновата ты, из-за тебя ведь я так поспешил!

Повздоривши вдоволь (это заняло по крайней мере часть пути), я попробовал себя и ее убедить, что тревога напрасна. Но поневоле назойливая мысль возвращалась, садилась, как муха, мне на нос; я видел ее беспрестанно; и холодный пот щекотал мне спину. Я шел быстрым шагом. Прошел полдороги и начал подниматься по длинному лесному склону, как увидел на косогоре кибитку, едущую мне навстречу, и в ней осельника Жожоха, который, узнав меня, остановился, поднял к небу кнут и вскричал:

— Мой бедный дружок!..

Это было как в брюхо пинок. Я замер, разинув рот, на краю дороги.

Он продолжал:

— Куда ты спешишь?.. Воротись-ка, Николка. Не иди ты в город, что толку? Горе одно. Все скошено, все сожжено. Ничего не осталось.

Каждое слово скотины мне надрывало нутро. Я попробовал было храбриться, проглотил я слюну, понатужился:

— Поди, я-то знаю давно.

— Так зачем же, — спросил он с досадой, — туда ты идешь?

Я отвечал:

— Взять обломки.

— Да я же тебе говорю, ничего не осталось, ну ничего, ни соломки.

— Жожох, не поверю: ужели же оба мои подмастерья и добрые соседи смотрели, как дом мой горел, не пытаясь извлечь из огня хоть что-нибудь, ради меня, по-братски...

— Несчастный! Соседи твои? Да ведь это они твой дом подожгли!

Тут я опешил. А он, торжествуя:

— Вот видишь, ты ничего и не знаешь!

Не хотелось мне сдаться. Но он, уверенный в том, что он первый о беде мне поведал, стал, довольный и сердобольный, мне про жареху рассказывать.

— Виновата чума, — говорил он. — Все они спятили с ума. И вольно же было господам городского совета, шеффенам, стряпчему нас покидать? Ушли пастухи! Овцы взбесились.

А тут объявилась зараза в предместье Бевронском; стали кричать: «Сжигайте дома зачумленные!» Сказано — сделано. Ты был далек, вот и начали с твоего. Работали рьяно, всякий делал что мог: думали — это во имя общего блага. Ну и, конечно, друг друга задорили. Когда разрушать начинаешь, странное что-то творится. Хмелеешь, рубишь сплеча, нельзя перестать... Вспыхнул дом, и они стали кругом плясать. Это было безумье какое-то... Если б ты их увидал, ты, пожалуй бы, сам заплясал. Доски в твоей мастерской пылали, трещали... Словом, мой друг, все сгорело дотла!..

— Хотел бы я видеть. Верно, славное зрелище было, — сказал я.

И это я думал. Но думал я также: я убит! Они добили меня. Эти чувства я скрыл от Жожоха.

— Так, значит, тебе все равно? — Он спросил с недовольным видом. (Конечно, любил он меня и жалел; но порой мы не прочь — проклятое племя людское! — видеть соседа в слезах — хотя бы затем, чтобы иметь удовольствие его утешать.)

Я сказал:

— Жаль, что они с этим пышным пожаром не подождали до праздников.

Я двинулся.

— И ты все-таки в город идешь?

— Иду. Будь здоров, Жожох.

— Ну и чудак ты!

Подстегнул он лошадку.

Я шел или, верней, притворялся идущим, пока не исчезла повозка за поворотом. Десяти-то шагов я пройти бы не мог, мне ноги въезжали в живот; я сел с размаху на камень, как на горшок.

Проходили мгновенья — скверные были мгновенья. Не стоило больше бахвалиться. Я мог горевать, горевать сколько душе угодно. Я не лишил себя этого. Думал я: «Все я утратил, жилище и даже надежду построить себе новый дом, мои сбереженья, которые я накопил по капле медленным, сладким трудом, воспоминанья жизни моей, пропитавшие стены, тени былого, подобные светочам. И еще больше того, — я утратил свободу.

Куда же теперь я денусь? Придется мне поселиться у одного из детей моих. Я люблю их, еще бы; они любят

меня, все так. Но я не дурак, я знаю, что всякая птица в своем гнезде оставаться должна, и старики стесняют юных, да и сами они стеснены. Каждый печется о яйцах, снесенных им же, и забывает о тех, из которых он вылупился. Старик, не желающий сдохнуть, докучает, как незваный гость, если при этом пристанет он к новому племени; тщетно стараешься быть незаметным; долг остальных — относиться к тебе с уваженьем. На кой черт — уваженье! Вот причина всех зол: ты им не ровня. Я приложил все усилья к тому, чтобы дети мои не уважали слишком меня; как будто достиг я успеха; но что б ты ни делал и как бы они ни любили тебя, ты будешь всегда им казаться чужим: страны, откуда пришел ты, неведомы им, а сам ты не знаешь тех стран, куда они тянутся; так как же возможно друг друга понять? Ты им в обузу, и душно тебе, раздражает все это... И к тому же (это больно сказать) человек, другими любимый, должен как можно меньше искушать любовь своих близких; какая б беда ни случилась, не надо от рода людского просить невозможного. У меня хорошие дети; вот и ладно. Они были бы лучше еще, если бы не приходилось к ним прибегать. Словом, у всякого гордость своя. Не люблю отнимать я у тех, которым я дал. Это как будто ты требуешь плату. Незаработанный хлеб застревает в горле; чудится тысяча глаз, примечающих каждый твой кус. Нет, я зависеть желаю только от друга-труда. Мне свобода нужна, хочу у себя быть хозяином, входить, выходить по воле своей.

Горе мне, старому! Хуже просить подаянье у близких, чем у прохожих просить. Первые принуждены тебе дать; никогда ты не знаешь, от всей ли души помогают они; и лучше в сто крат околеть, чем знать, что они стеснены».

Так стонал я, мучился, чувствуя, что задеты душевная моя гордость, привязанности, личная свобода, все, что любил я (...воспоминанья прошлого, растаявшего как дым...), все, — и лучшее и худшее, что было во мне; и знал я, что волей-неволей, а придется мне, придется избрать самый горький путь. Сознаюсь, что я не разыгрывал бесстрастного мудреца. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, которое подпилили бы по уровню земли да и свалили. Но вот, сидя на камне своем, как на горшке, ища вокруг чего-нибудь,

за что уцепиться, вдруг заметил я невдалеке полускрытые кудрявой листвой просади зубчатые башни знакомого замка... И вспомнил я внезапно о всех тех красивых произведеньях, которыми я за двадцать пять лет наполнил его, вспомнил я утварь, безделушки, резную лестницу, все то, что хозяин, добрый Филберт, мне заказывал. Вот был чудак! Иногда он меня в бешенство приводил. Однажды, помнится, он вздумал заставить меня изваять его любовницу в уборах Евы, а себя в латах Адама, Адама разудалого, резвого, — после внушений змия. И в гербовой зале я, по прихоти его, должен был так изваять оленьи головы на щитах, чтобы они походили на благодушных рогачей наших краев! Смеху-то было! Но черту трудно угодить. Кончил одно, принимайся за другое... И деньги его видел я редко... Ничего! Он способен был любить прекрасное, будь это дерево или тело, и в обоих случаях он любил одинаково (так и следует: люби произведенье искусства, как женщину, сладострастно, всей душой, всеми чувствами), и хотя он мне и не платил, скупец, зато спас он меня! Тут я дышу, там — я погиб. Дерево моего былого срублено; но плоды его остались; они защищены от огня и от стужи. И мне захотелось их повидать, облизать их как можно скорее, дабы снова почувствовать сладость жизни.

Вошел я в замок. Там хорошо меня знали. Хозяин отсутствовал; но под мнимым предлогом снять мерку для новых работ я направился туда, где я знал, что найду своих детей. Уже несколько лет я их не видел. Пока художник все еще чувствует крепость в чреслах, он творит и забывает о сотворенном. Впрочем, в последний раз, когда хотел я войти, хозяин мне путь заградил со странным смешком. Я подумал, что он прячет там потаскушку какую-нибудь, жену чужую; и, будучи уверен, что она — не моя, я не настаивал. И к тому же не стоит спорить с причудами этих дородных скотин... Челядь тамошняя и не пытается понять господина: он-де слегка того...

Итак, я стал храбро подниматься по лестнице огромной. Но не сделал я и пяти шагов, как, подобно жене Лота, я замер, окаменел. Виноградные грозди, персиковые ветки, цветущие лианы, которые свивались вокруг перил резных, были искромсаны размашистыми ударами ножа. Я глазам не поверил, я охапал ладонями бедных калек: почувствовал

я под пальцами глубокие раны их. Застонав, задохнувшись, я взбежал очертя голову по ступеням: меня потрясало страшное предчувствие. Но то, что увидел я, превосходило всякое воображенье.

В столовой, в зале гербовой, в опочивальне, у всех выпуклых истуканчиков на хоромном наряде были отрезаны у кого рука или голень, а не то — фиговый листок. На пузах баулов, вдоль чувалов, на длинных бедрах столбов узорчатых — зияли глубокие надписи, выкроенные ножом, — имя хозяина, какая-нибудь мысль дурацкая или же день и час этого геркулесова труда. В глубине пространного покоя моя тонкая, голая русалочка, опирающаяся коленом о шею львицы мохнатой, послужила мишенью: живот ее был пробит пищальными выстрелами. И везде, где попало, дыры и вырезы, отстроганные щепки, пятна чернил и вина, усы приклеенные или похабные шуточки... Словом, все то нелепое, что скука, и одиночество, и дурость, и глупость могут внушить богатому болвану, который в замке своем уж не знает, что выдумать, и только и умеет, что разрушать. Будь он рядом, я, пожалуй, убил бы его. Я мычал, тужился. Долго не мог я говорить. Шея была багровая, и вздулись жилы на лбу. Вращал я глазами, как рак. Наконец двум-трем ругательствам удалось пройти. Пора!.. Еще немножко, и я бы лопнул... Втулка выскочила, и уж я, братцы мои, ух как разошелся! В продолженье десяти минут я, дыханье не переводя, поминал всех богов и выблевывал свою злобу.

— Ах, пес, — кричал я, — для того ли привел я в берлогу твою моих дивных детей, чтоб ты мог их ломать, истязать, осквернять, растлевать!

Увы, мои кроткие крошки, рожденные в радости, думал я, будете вы моими наследниками, создал я вас здоровыми, крепкими, пухлыми, не было в вас недостатков телесных, вы созданы из дерева, живущего тысячу лет, — а ныне, о горе, искалечены вы, изуродованы — снизу, сверху, спереди, сзади, с кормы до носа, с погреба до чердака, покрыты ранами, как шайка старых грабителей по окончаньи похода! Неужели же я отец всех этих уродов!.. Господи, внемли, позволь мне (тебе, быть может, молитва моя излишней покажется) не в твой рай идти после смерти, а в ад, где жарит Дьявол грешные души, — в ад, где буду я сам

вертеть, вертеть на огне убийцу детей моих, на вертел его посадив, как на кол!

Пока я так плакал, ко мне подошел знакомый слуга, старый Антоша, и попросил меня перестать... Толкая меня к двери, добряк старался по пути утешить меня.

— Ну можно ли, — говорил он, — приходить в такое состоянье из-за кусков дерева? Что б ты сказал, если пришлось бы тебе, как нам, жить бок о бок с этим безумцем? Пускай забавляется он (это и право его) досками, им же купленными. Хуже было бы, если б он так поступал с честными людьми, со мной иль с тобой...

— Эх, — отвечал я, — пусть он дубасит тебя! Неужели ты думаешь, что я бы не согласился быть высеченным ради одного из этих кусков дерева, оживленного моими пальцами? Человек — ничто; творчество — вот что свято. Трижды преступен тот, кто убивает вымысел!..

Многое еще мог бы я сказать, и все с тем же красноречием; но увидел я, что слушатели мои ничего не поняли и что я казался Антоше не менее безумным, чем господин его. И когда я обернулся с порога, чтобы в последний раз обнять взором поле сраженья, смешная сторона положенья (вид моих бедных безносых богов и глупо-спокойные глаза Антоши, сочувствия полные, и я сам, дурень, сетующий, разглагольствующий один среди бревен) — вспыхнула передо мной; и, сразу забыв гнев свой и печаль, я расхохотался в лицо Антоше остолбеневшему — и был таков.

Я очутился опять на дороге. Я говорил:

— Уж теперь они взяли у меня все. Я гожусь в покойники. Осталась одна шкура... Да, но в ней, черт возьми, есть кое-что. Некий осажденный, отвечая тому, который угрожал, если не сдастся он, перебить всех его детей, сказал: «Как хочешь!.. У меня здесь есть орудие для созданья новых». Так и я не всего еще лишен, одного у меня отнять они не могли. Мир — равнина бесплодная, но кое-где колосятся нивы, нами, художниками, взлелеянные. Твари земные и небесные клюют, жуют, топчут их. Не в силах творить, они только и делают, что разрушают. Грызите, губите, животные, попирайте мои колосья, — я взращу иные. Созрели ли они или зачахли, — что мне жатва? В лоне земли пухнут новые зерна. Я грядущее, а не прошедшее. И если настанет день, когда сила моя угаснет, отуманятся

глаза и не будет у меня ни этих ноздрей мясистых, ни той бездны, в которую вино вливается, ни языка моего неугомонного, — когда у меня уже рук не будет, и ловкость пальцев и живая бодрость моя исчезнут, когда я буду очень стар, без жара в жилах, без здравого смысла... в тот день, Персик мой, меня не будет в живых. Нет, будьте покойны! Можете ли вы вообразить себе Персика, который бы не чувствовал, не творил, Персика, который не смеялся бы, не жил полной жизнью? Не можете, а не то — выскочил он из шкуры своей. Тогда сожгите ее. Оставляю вам свое лоскутье...

Продолжал я идти по направленью к Клямси. И вот, достигнув вершины холма (шел я поступью молодецкой, играя палкой; по правде сказать, я чувствовал себя уже утешенным), увидел я белокурого человечка, который плача бежал мне навстречу; это был Шутик, мой маленький подмастерье, мальчуган лет тринадцати; он, бывало, во время работы обращал больше внимания на мух порхающих, нежели на труд, и на дворе был чаще, чем дома; там попрыгивал он да косился на икры проходящих девиц. Я его, беспечного, угощал подзатыльниками день-деньской. Но он ловок был, как мартышка, пальцы его были так же хитры, как и он сам, работали искусно; и я любил, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, острые зубки, впалые щеки, лукавые глаза и вздернутый нос. Он это знал, нахал. Напрасно я кулак поднимал, громыхал: он видел смех в глазу у Юпитера. Получив удар, только встряхивался, равнодушный, как ослик, и потом начинал снова, лай не лай. Это был совершенный негодяй.

Поэтому я был немало удивлен, видя, что плачет он, как водометный тритон; крупные, грушевидные слезы вытекали, капали из глаз его, из носа. Вот бросается он ко мне, целует куда попало, воя и обливая слезами грудь мою. Я ничего не понимал.

— Эй, пусти, что с тобою. Пусти же меня. Нужно сморкаться, сопляк, раньше чем лезть целоваться.

Но вместо того, чтобы перестать, он, обхватив меня, соскальзывает, как по стволу сливному, к ногам моим и заливается пуще прежнего. Я начинаю тревожиться:

— Будет, будет, мальчишечка! Вставай! Что случилось?

Беру его за руки, поднимаю... гопки!.. и вижу, что рука у него перевязана; кровь выступала сквозь тряпки, ресницы

его были опалены, одежды изорваны. Я сказал (уже забыл я о своем горе):

— Проказник, что ты еще натворил?

Он простонал:

— Ох, хозяин, беда какая!

Посадил я его рядом с собой на откосе, спросил:

— Ответишь ли наконец?

Он воскликнул:

— Все сожжено.

И снова брызнули водопады слез. Тогда только я понял, что все это большое горе было из-за меня, из-за пожара, и несказанно тепло стало на сердце.

— Бедняжка, вот из-за чего ты плачешь!

Он сказал (показалось ему, что не понял я):

— Мастерская сгорела!

— Вестимое дело! Знаю я, знаю новость твою. За один час мне о ней уши прожужжали. Что же реветь? Беда как беда.

Он облегченно взглянул на меня. Но, видно, очень было ему грустно.

— Ты, значит, любил свою клетку, дрозд, мечтавший только, как бы вылететь из нее? Э, да я подозреваю, что ты сам, мошкара, плясал с другими вокруг костра? — (Я и первому слову не верил.)

Он с возмущеньем ответил:

— Это неправда, это неправда! Дрался я. Мы сделали все, что могли, чтобы огонь потушить, но было нас только двое. И Конек, больной (это был мой другой подмастерье) соскочил с постели, хотя его и трясла горячка, и встал вместе со мной перед дверью. Поди ж, устой! Экие звери! Они налетели толпой, смели нас, сшибли, растоптали, смяли. Мы напрасно лягались, кулачились; они перешли через нас, как река, когда открыто творило. Конек на ноги встал, побежал за ними: они его чуть не убили. Я же, пока боролись они, шмыгнул в мастерскую горящую... Господи, что за огнище!.. Там сразу все занялось, это было как светоч смоленый, который кажет язык свой белый и красный, свистящий, и в лицо плюется вам дымом да искрами. Плакал я, кашлял, уж тело мое начинало шипеть. «Шутик, сказал я себе, ты пойдешь на жаркое! Чего там, посмотрим еще!» Я разбежался и, как в Иванову ночь, прыгнул... скок!

Штаны прожжены, поджарен бок... Падаю я в трескучую кучу щепок... Так! Подскочил, боднулся и растянулся, головой уткнувшись в верстак. Оглушило меня. Но очнулся я скоро. Слышал я, — пламя вокруг так и храпит, а на улице эти разбойники пляшут. Подняться пробую, падаю снова, ушибся я здорово; на четверенки встаю и в пяти шагах вижу маленькую вашу святую Магдалину: огонь уже лизал ее тоненькое, голенькое тело, волосы распущенные на плечиках пухленьких...

«Стой!» — крикнул я и побежал, схватил, погасил ее чудные, вспыхнувшие ноги, прижал ее к сердцу; я уж не знаю, не знаю, что делал, целовал ее, плакал, шептал: радость моя, я держу, я держу тебя, нет, ты не бойся, я крепко держу, ты не сгоришь, даю тебе слово. И ты тоже должна мне помочь. Мы спасемся, милая... Дольше мешкать нельзя было... Грох!.. рушится потолок. Невозможно вернуться тем же путем. Мы стояли у оконца круглого, выходящего на реку; пробиваю стекло кулаком, мы проходим насквозь, как через обруч: как раз места хватило. Я скатываюсь, я ныряю на дно Беврона. По счастью, дно от поверхности недалеко, и, так как жирно и мягко оно, Магдалина, упав, шишек себе не наделала. Я был менее счастлив: ее не выпустил я, я барахтался, в иле захлебывался. Выпил, наелся я больше, чем нужно. Словом, я вылез, вы видите нас. Хозяин, простите, что всего я не спас.

Развязав благоговейно свой узел, из свернутой куртки вытащил он Магдалину; ноги ее обгорели, но улыбались, как прежде, глаза невинно-задорные. Я так умилен был, что слезы (хоть я не рыдал ни над мертвой женой, ни над внучкой больной, ни над потерей добра и слепым избиеньем творений моих), слезы брызнули.

И, обнимая обоих, о третьем я вспомнил, спросил:

— А Конек?

Шутик ответил:

— С горя он помер.

На колени я встал, посреди дороги, землю поцеловал.

— Спасибо, мой сын.

И, взглянув на ребенка, слепок державшего в раненых сжатых руках, я сказал небесам, на него указав:

— Вот из работ моих самая лучшая: души, которые я изваял. Их не возьмут у меня. Дерево можете сжечь! Душа — навеки моя.

БУНТ

Конец августа

Когда прошло волненье, я сказал Шутику:

— Нуте-ка! Что сделано — сделано. Посмотрим, что остается сделать.

Я заставил его рассказать все, что в городе произошло за те две недели, пока я отсутствовал.

— Говори ясно и коротко, без лишней болтовни: что прошло, то прошло; главное, знать настоящее наше положение.

Я узнал, что над Клямси царят чума и страх, страх пуще чумы: ибо последняя, по-видимому, уже отправилась искать счастье в иных краях, уступив место разбойникам, которые, привлеченные запахом, поспешили вырвать у нее добычу. Они были хозяева положения. Сплавщики, проголодавшись и обезумев от страха заразы, не мешали им или же поступали так же. Законы онемели. Те, которые должны были их блюсти, рассеялись.

Из четырех наших шеффенов один умер, двое бежало; стряпчий задал лататы. Начальник замка, старик смелый, но одержимый подагрой, однорукий, со вспухшими ногами и телячьими мозгами, достиг лишь того, что на шесть кусков разорвали его. Оставался последний шеффен — Ракун; под напором этих вырвавшихся зверей он, вместо того чтобы их отбить, решил (из страха, из слабости, из хитрости), что благоразумнее будет им уступить; и к тому же он, не признаваясь себе в этом (я знаю его, я разгадал), норовил натравить свору поджигателей на тех, счастье которых злило его, или на тех, которым он хотел отомстить. Я понимал теперь, отчего дом мой избрали в первую голову!.. Я спросил:

— А другие, мещане-то, что они поделывают?

— Бебекают, — отвечал Шутик, — они ведь овцы; ждут у себя, чтоб пришли их резать. Нет у них больше ни пастуха, ни собак.

— А я-то, Шутик, на что? Посмотришь-ка, дружок, остались ли у меня зубы. Пойду к ним, малыш.

— Хозяин, что может сделать один?

— Отчего же не попробовать...

— А коль мерзавцы эти поймают вас?

— Больше нет у меня ничего. Наплевать мне на них. Поди ж, причеши облысевшего дьявола!

Он заплясал:

— Весело-то как будет! Финти-фирюльки, люльки, пульки, тара-тарарусы, вот как, вот как!

И, на бегу вскинув обожженные руки, он перекувырнулся и чуть не растянулся на дороге. Я принял вид строгий.

— Эй, мартышка, — сказал я, — не дело этак вертеться, уцепившись хвостом за ветку! Стой! остепенимся... Надо слушаться.

Он слушал с горящими глазами.

— Ты не долго будешь смеяться. Вот: иду я один в Клямси, иду теперь же.

— А я! А я!

— Тебя же я посылаю в Дорнси предупредить господина Николу, нашего шеффена, человека осторожного, с добрым сердцем и с еще лучшими ногами, любящего себя нежней, чем сограждан своих, но больше себя самого любящего свое добро, — что завтра утром собираются пить его вино. Далее, склонив путь в Сардий, ты найдешь в голубятнике своем Василия Куртыгу, стряпчего, и передашь ему, что в Клямси дом его будет непременно сожжен, разграблен и прочее, если не вернется он до ночи. Он вернется. Вот и все. Ты сам найдешь, что́ сказать, и без уроков моих знаешь, как врать.

Мальчик почесал у себя за ухом:

— Трудность не в том. Не хочется мне вас покидать.

— Спрашиваю ли я тебя, что хочешь ты и чего не хочешь? Я хочу, я. Ты должен слушаться.

Он упорствовал. Я сказал:

— Будет!

И видя, что он, малыш, беспокоится о судьбе моей:

— Я тебе не запрещаю бежать бегом. Когда все исполнишь, ты сможешь меня нагнать. Лучший способ помочь мне — это подвести подкрепление.

— Я приведу их, — сказал он, — будут нестись они, Куртыга и Никола, сломя голову, обливаясь потом, задыхаясь; коль нужно будет, привяжу им к хвосту кастрюлю!

Он полетел как пуля, потом остановился опять.

— Хозяин, скажите мне толком, что хотите вы предпринять!

С важным, таинственным видом я отвечал:
— Я уже знаю! — (Душа вон, ничего я не знал!)

* * *

Вечером около восьми я прибыл в Клямси. Под золотыми облаками село красное солнце. Ночь только-только начиналась. Что за славная летняя ночь! Но некому было наслаждаться ею. Ни зевак, ни сторожей у городских ворот. Входишь как на пустую мельницу. На большой улице тощая кошка грызла корку; увидя меня, ощетинилась, потом улепетнула. Дома́, зажмурясь, казали деревянные мертвые лица. Ни звука. Я подумал: «Все они умерли. Я пришел слишком поздно».

Но вот почуял я, что за ставнями слушают уши звон шагов моих. Я стал стучать, кричать:

— Отворите!

Дверь и не дрогнула. Подошел я к другому дому. Постучал снова ногой и дубиной. Изнутри мне послышалось — будто шурк мышиный. Тогда я понял.

— Зарылись они, несчастные! Шут их дери, покусаю им ляжки!

Кулаком, каблуком я стал барабанить по ставням книжной лавки:

— Эй, братец! Эй, Денис Сулой, сукин сын! Все раскатаю, коль не откроешь. Открой, каплун, я — Николка Персик.

Тогда (как будто от прикосновения феиной волшебной палочки) все ставни растворились, и я увидел на подоконниках, по бокам улицы, словно ряды луковиц, растерянные лица, уставившиеся на меня. Они глядели, глядели, глядели... Я и не знал, что я так прекрасен; ощупал я себя. Расплылись сморщенные их черты. Они, казалось, довольны были.

«Добрые люди! Как любят они меня!» — подумал я, не признаваясь себе в том, что радость их была внушена моим успокоительным присутствием в сей час, на сем месте.

Тогда-то завелась беседа между Персиком и лукавцами. Все говорили сразу; и, один против всех, я держал ответ.

— Отколе? Что делал? Что видел? Что хочешь? Как мог ты войти? Где ты пролез?

— Стойте, стойте! Не горячитесь. Я рад заметить, что язык-то у вас остался, хоть душа ушла в пятки, а пятки —

в землю вросли. Эй, что вы там делаете? Выходите-ка, полезно вдыхать свежесть вечернюю. Штаны, что ли, украли у вас, что вы сидите дома?

Но вместо ответа они спросили:

— Персик, на улицах, пока шел ты сюда, кого ты встретил?

— Дураки, кого же я встретить мог, раз вы все взаперти?

— А буяны?

— Буяны?

— Они грабят, сжигают.

— Где же?

— В Беяне.

— Так пойдем задержать их! Что же вы притаились в курятне?

— Мы свой дом сторожим.

— Коль хотите свой дом оберечь, помогайте чужим.

— Мы в первую очередь, ибо спешим. Всякий свое добро защищает.

— Да, я знаю погудку: люблю я соседей своих, но нет мне дела до них. Слепцы! Вы играете на руку разбойникам. После соседей вы попадетесь. Каждый пройдет через это.

— Шеффен Ракун нам сказал, что лучшее в данном случае — притулиться до тех пор, пока порядок не будет восстановлен.

— Кем?

— Господином Невером.

— До тех пор немало воды протечет под мостами. Господин Невер занят своими делами. Когда он вспомнит о ваших, то будет уже поздно. Вперед, дети, вперед. Тот права на жизнь не имеет, кто ее защищать не умеет.

— Они вооружены, неисчислимы.

— Не так черен черт...

— У нас нет вождей.

— Будьте ими.

Они продолжали болтать, из того, из другого окна, как птицы на жердочке; пререкались они, но — ни с места. Я выходил из терпенья.

— До зари, что ли, вы заставите меня здесь простоять, посередине улицы, нос задирать, шею вывертывать? Я не пришел сюда затем, чтобы распевать у вас под окнами, пока вы там зубами щелкаете. То, что хочу вам сказать, спеть нельзя, и кричать о нем тоже не следует! Отворите!

Отворите мне, ради Бога, а то подожгу я всю улицу. Эй, выходите, самцы (коль еще таковые остались); довольно и кур, чтобы насест беречь.

Полусмеясь, полубранясь, одна приоткрывалась дверь, потом и другая; осторожно высунулся нос, потом и весь зверь, и как только вышел один, все, как овцы, последовали. Всяк норовил заглянуть мне в глаза.

— Ты вылечился?

— Здоров, как вода.

— И никто на тебя не напал?

— Никто, разве стадо гусей, шип пустивших мне вслед.

Увидя, что эта двойная беда с меня сошла, как с гуся вода, они свободней вздохнули и нежней полюбили меня. Я сказал:

— Вглядитесь же: тело-то цело. Части все налицо. Нет, ни одной не пропало. Хотите очки мои?.. Цыц, будет с вас. Завтра яснее увидите. Время не ждет, вперед, полно дурачиться. Где бы могли мы переговорить?

Гайно сказал:

— У меня в кузнице.

В кузнице у Гайна, где пахло копытом, где почва была лошадьми утоптана, мы скучились в ночи, как стадо.

Заперли двери. На полу мерцал огарок, и огромные, перегнутые тени наши плясали по своду, черному от копоти. Все молчали. И внезапно, все разом, заговорили. Гайно взял молот и ударил по наковальне. Звук этот прорвал гул голосов. Сквозь пройму вошла назад тишина. Я ею воспользовался:

— Пощадим легкие. Я уже знаю, в чем дело. Разбойники — у нас. Ладно! Выставим их.

Те сказали:

— Они слишком сильны. За них — сплавщики.

— Сплавщиков томит жажда. Им не нравится смотреть, как пьют другие. Я вполне понимаю их. Никогда не нужно искушать Бога, и тем более сплавщика. Раз вы допускаете грабеж, не удивляйтесь, что иной — будь он и не тать — может предпочитать, чтобы плод воровства был у него, а не у соседа в кармане. К тому же повсюду есть добрые и злые.

— Но ведь шеффен Ракун запрещает нам двигаться: в отсутствие остальных, наместника, стряпчего, надлежит ему оберегать город.

— Оберегает ли?

— Он говорит...

— Оберегает ли, да или нет?

— Стоит только взглянуть!

— Ну, так мы примемся за это.

— Шеффен Ракун обещал, что, если мы притулимся, нас пощадят. Бунт останется в пределах предместий.

— Откуда он это знает?

— Пришлось ему заключить с ними союз, вынужденный, насильный.

— Но ведь союз — это преступленье!

— Этак-де лучше, проведу их.

— Кого ж он проведет, вас или их?

Гайно снова стукнул по наковальне (такая уж была у него привычка, он, так сказать, шлепал себе по ляжке) и сказал:

— Персик прав.

У всех был вид пристыженный, пугливый и злобный. Денис Сулой нос повесил:

— Если б все говорить, что думаешь, многое можно было бы рассказать.

— Что ж, говори, зачем молчать? Все мы здесь братья. Чего ж вы боитесь?

— Самые стены слышат.

— Ах, вот как! Ну-ка, Гайно, возьми-ка молот, стань-ка перед дверью, дружище... Первому, кто захочет войти или выйти, вдвинь череп в живот! Слышат ли стены или нет, клянусь я, ничего они не передадут. Ибо когда выйдем мы, то сразу же выполним решение, которое примем сейчас. А теперь говорите! Кто молчит, тот предатель.

Славный был гомон! Вся ненависть и страх затаенный так и хлынули. Они вопили, кулаки показывали.

— Он держит нас, лгун, мерзавец Ракун. Продал нас, Иуда, нас и добро наше. Что делать-то нам? Связаны мы по рукам. Все у него — сила, стража, закон...

Я спросил:

— Где скрывается он?

— В городской думе. Там он таится, ночью и днем, безопасности ради, и окружен толпой негодяев, которые блюдят его или, скорее, наблюдают за ним.

— Словом, он пленник! Ладно. Мы тотчас же пойдем освобождать его. Гайно, отвори дверь!

Они еще, казалось, не убеждены.

— За чем дело стало? Рассуждать не время.

Но Сулой сказал, почесывая темя:

— Шаг опасен. Драки мы не боимся. Но, Персик, в конце-то концов, права нет у нас. Человек этот — закон. Идти против него — значит брать на себя, как-никак, тяжелую...

Я прервал:

— ...от-вет-ствен-ность? Что ж, я беру ее. Не беспокойся. Когда я вижу, Сулой, что подлец подличает, я начинаю с того, что его оглушаю; а уж потом спрашиваю, как зовут его, будь он стряпчий иль Папа, все равно. Друзья, поступайте так же. Когда порядок в беспорядке, последний должен порядок восстановить и тем спасти закон.

Гайно сказал:

— Я с тобой.

Он шел, вскинув на плечо молот, согнув огромные руки (только четыре пальца на шуйце, указательный был оттяпан); одноглазый, смуглый, высокий, широкий — он походил на движущуюся башню. А за ним спешили остальные, под защитой его спины. Каждый побежал в лавочку свою взять пищаль, а не то секач или боек. И, признаться, я не могу поручиться, что вернулись все: иной остался у себя, не найдя (бедняга!) своих доспехов. По правде сказать, нас оставалось немного, когда достигли мы главной площади. Тем лучше: остатки сладки.

По счастью, дверь городской думы была открыта: пастух был так уверен в том, что овцы его, не бекая, дадут себя остричь, что, пообедав вкусно, он и его собаки спали крепким сном праведных. В приступе нашем, что и говорить, ничего геройского не было. Голыми руками взяли мы подлеца, из норки вытянули мы его, беспорточного, как зайца ободранного.

Ракун был жирен, с круглым розовым лицом, с мясистыми подушечками на лбу, над самыми глазами; вид у него был слащавый, не глупый, но и не добрый. Он это доказал на деле. С первых же мгновений он знал совершенно точно то, что ему угрожало. Только мелькнула молния страха и ярости в глазах его серых, закрытых под комочками век. Тотчас же он спохватился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы хлынули в обитель закона.

Я сказал:

— Мы пришли, чтоб очистить твою кровать.

Он стал пуще негодовать. Тогда Сулой:

— Не время, Ракун, угрожать нам. Вы здесь обвиняемый. Послушаем-ка оправданье ваше. Начинайте.

Тот внезапно иную песенку затянул:

— Дорогие мои сограждане, я просто не понимаю, что вы от меня хотите. Кто жалуется? И на что? С опасностью для жизни не остался ли я, чтоб охранять вас? Все другие бежали, мне пришлось одному отбивать и воров, и чуму. В чем укоряют меня? Почему? Я ли виновен в беде, которую я же устранить стараюсь?

— Знаем, — сказал я, — знаем: усопшему мир, а лекарю пир. Ты, Ракун, врач, врун, откармливаешь крамолу, упитываешь чуму, а потом выжимаешь вымя обеим твоим скотинам. Соглашаешься ты с ворами. Поджигаешь наши дома. Тех предаешь, которых ты должен хранить, тех направляешь, которых ты должен бить. Но скажи нам, изменник, из трусости или из скупости творишь ты эти дела? Что на шею подвесить тебе? Какую надпись? «Вот человек, продавший свой город за тридцать серебреников?» Тридцать серебреников? Что за счеты! Поднялись цены со времен Искариота. А не то: «Вот старшина, который, желая шкуру спасти, пустил в оборот шкуры сограждан».

Он опять пришел в ярость и сказал:

— Я поступил как нужно, это право мое. Все те дома, где харчевала чума, я сжег. Таков закон.

— И ты навечаешь заразу, ты отмечаешь крестом жилище всех тех, кто тебя называет врачом. «Кто хочет собаку свою утопить, говорит, что взбесилась она». Но ты ведь позволил мятежникам грабить дома зачумленные? Так-то с чумой ты воюешь?

— Я не мог удержать их. Вам же лучше, если грабители эти потом околеют, как крысы. Двойной удар. Полная чистка!

— Ишь ты, — значит, ты с вором идешь на чуму, а с чумою на вора! И так, помаленьку, дойдешь до того, что останешься ты победителем в разрушенном городе! Я же говорил! Умер больной, и болезнь умерла, один только лекарь все здравствует... Полно, Ракун, мы с этого дня постараемся как-нибудь, друг, обойтись без твоих услуг, будем сами лечиться; но так как за всякую помощь должно заплатить, мы для тебя приготовили...

Гайно прогремел:

— Постель на погосте.

Это было как будто в свору кинули костью. Бросились все на добычу, с воем; и один закричал:

— Уложим младенца!

Младенец, по счастью, забился в куток, и, прислонившись к стене, бледный, смотрел он на морды, готовые цапнуть. Я удержал собак:

— Цыц! Дайте мне...

Они сделали стойку. Несчастный, затравленный, голодный, розовый, как жижка, дрожал от страха и от холода. Мне его жалко стало:

— Ну-ка, натяни порты! Достаточно мы любовались, дружок, твоим задом.

Смеялись друзья до упаду. Я воспользовался мигом затишья, чтобы их образумить. Зверь меж тем влезал в свою шкуру; зубы у него говорили, и взгляд был недобрый: чувствовал он, что опасность миновала. Он оделся и, уверенный в том, что еще не сегодня зайчишку затравят, приободрился и принялся нас поносить; он называл нас бунтовщиками и угрожал покарать нас за оскорбленье начальства.

Я сказал:

— Ты уж не начальство. Шеффен, тебя я свергаю.

Тогда-то обрушился он на меня. Желанье отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня насквозь, что я советами своими вскружил голову этим полоумным буянам, что на меня падет вся тяжесть их преступленья, что я негодяй. В своей ярости он резким, свистящим голосом ругал меня, вываливал за кучей кучу крепких словечек.

Гайно спросил:

— Прикончить его, что ли?

Я сказал:

— Ты хитро сделал, Ракун, что меня разорил. Ты хорошо знаешь, что я не могу повесить тебя, не навлекая на себя подозренья: отомстил-де за сожженье дома своего. Однако тебе, подлецу, пеньковый ошейник был бы к лицу. Но мы другим предоставим право тебя им украсить. Подождешь, с тебя не убудет. Главное то, что мы держим тебя. Ты ничто. Мы срываем с тебя твою пышную ризу. Мы отныне беремся за руль и за весла.

Он сказал:

— Персик, знаешь ли ты, что в ставку идет?

— Знаю, братец, — моя голова. И я ставлю ее. Коль проиграю — выигрыш городу.

Повели его в тюрьму. Он нашел в ней теплое местечко, недавно занятое старым сержантом, которого засадили за неисполненье его приказанья. Пристава́ и привратник городской думы теперь, когда дело сделано было, наш поступок одобрили, сказав, что они всегда думали, что Ракун — предатель. Не думай, а действуй!

* * *

До сих пор замысел наш исполнялся гладко — будто скользил рубанок по ровной доске, узлов не встречая. Это меня удивляло.

— Где же разбойники?

Вдруг пронесся крик:

— Пожар!

Вот оно что! Грабили они в другом месте. От запыхавшегося человека мы узнали, что они всей шайкой растаскивали склад Петра Пуляхи, жгли, били, пили, били-билибом. Я сказал спутникам:

— Пойдем! Им скрипки нужны, чтобы плясать!

Мы побежали на Мирандолу. С вершины холма виден был нижний город, и оттуда, среди ночи, поднимался неистовый гул. На башне святого Мартына, задыхаясь, гремел набат.

— Друзья, придется спуститься, — сказал я, — туда, в этот ад. Жаркое будет дело. Все ли готовы? Да, ведь нужно вождя! Сулой, не избрать ли тебя?

— Нет, нет, нет, — залепетал он, отступая, — не хочу. С вас довольно того, что я в полночь по улицам принужден разгуливать с этим старым пукалом. Что нужно, выполню, но какой же я вождь? Прости, Господи, нет у меня своей воли...

Я спросил:

— Кто же возьмется?

Но те — ни гугу. Знал я их, молодцов! Говорить, ходить — это туда-сюда. Но вот действовать — тут уж беда. Привыкли они, мелюзга мещанская, с судьбою хитрить, колебаться, торгуясь, ощупывать сто раз подряд полотно

на прилавке, а там, глядь, и случай прошел, и полотно полиняло! Случай проходит, я руку вытягиваю.

— Коль не хочет никто, что ж, я за это берусь, я!

Они воскликнули:

— Да будет так!

— Только должны вы слушаться меня, не рассуждая! Иначе — погибли мы. До утра я предводитель. Завтра — судите. Решено?

Отвечали все:

— Решено!

Мы по склону сошли. Я шел впереди. Слева шагал Гайно. Справа — Бардашка, городской глашатай, со своим барабаном. У входа в предместье, на площади, мы уже стали встречать необычайно веселые толпы, целые семьи, жены, мальчики, девочки, которые по простоте душевной устремлялись туда, где грабили. Скажешь, праздник. Иная хозяйка захватила с собою корзинку, будто на рынок шла. Остановились они, чтобы полюбоваться нашим полком; и ряды их вежливо сторонились перед нами; они не понимали и слепо следовали сзади. Один из них, паричник Паршук, бумажный фонарь мне поднес под самый нос, узнал и сказал:

— А, Персик, друг сердечный, ты вернулся... Что ж — как раз!.. Вместе выпьем.

— На все есть время, Паршук, — отвечал я. — Выпьем мы завтра.

— Ты стареешь, друг мой Николка. Пить можно всегда. Завтра вина уж не будет. Они разливают его. Скорей! Или, быть может, сентябрьская дань тебе стала противна теперь?

— Мне противно краденое.

— Краденое? Да нет — спасенное. Когда горит дом, нужно ведь быть дураком, чтоб оставить все лучшее в нем!

Я его отстранил:

— Вор!

И прошел.

— Вор! — повторили Гайно, Бардашка, Сулой, все остальные.

Прошли они. Тот был сражен; потом я услышал гневные крики его; и, обернувшись, увидел, что бежит он, кулак показывая. Мы притворились глухими, слепыми. Нас обогнав, он внезапно замолк и стал рядом шагать.

Достигнув берега Ионны, мы увидели, что по мосту невозможно пройти. Народ так и кишел. Я приказал бить в барабан. Ряды раздвинулись, не очень понимая, в чем дело. Мы вошли кабаном, но тут же застряли. Я увидел двух знакомых сплавщиков, короля Калабрийского и Гада. Они сказали мне:

— Стой, стой, господин Персик! На кой черт вы влезли сюда со своей телячьей шкурой и всеми этими ряжеными, важными, как ослы? Шутку ли шутите или впрямь в поход собрались?

— Ты угадал, Калабрия. Смотри, я до зари предводитель и иду город свой защищать от врагов.

— Враги? Что ты, с ума сошел! Кто же они?

— Да те, кто там поджигает.

— А тебе-то что? Твой дом ведь давно уж сожжен (сожалеем; это, знаешь, ошибка была). Но дом Пуляхи, этого повесы, разжиревшего на счет трудящихся, этого вертуна, гордящегося шерстью, которую он состриг с нашей спины, дом Пуляхи, оголившего нас, презиравшего нас с высоты своей добродетели, — это иная песенка. Обворовавший его попадет прямо в рай. Не мешай! Тебе-то что? Не хочешь — не грабь, но не смей нам мешать! Терять нечего, а выгоды — ух!

Я сказал (тяжело мне было бить этих жалких олухов, не постаравшись их сначала образумить):

— Нет, потерять можешь все, Калабрия. А вот честь нашу нужно спасти.

— Нашу честь! — сказал Гад. — Это что за диковина? Пьется ли? Жрется ли? Может, завтра помрешь. Что от тебя останется? Ничего не останется. Что о тебе будут думать? Ничего не подумают. Честь — гостинец для богатых, для скотин, которых хоронят с эпитафиями, мы же кучей будем свалены в общую яму, как помои. Поди разбери, что пахнет честью и что дерьмом!

Не ответив Гаду, я обратился к другу его:

— Всякий сам по себе ничто, это правда, король Калабрии; но все вместе взятые — сила. Сто малых составят большого. Когда исчезнут нынешние богачи, когда испепелятся, с их эпитафиями, ложь их гробниц да имя их рода, будут еще поминать сплавщиков города Клямси; они в летописях останутся, благородные по-своему, с руками

жесткими, с головой крепкой, как их кулаки, и я не хочу, чтобы назвали их мерзавцами.

Гад сказал:

— Чхать мне на это.

Но король Калабрии, сплюнув, воскликнул:

— Коль так, ты подлец! Персик прав. Знать, что так говорят, меня бы тоже обидело. И, видит Бог, это не скажется. Честь не одно достоянье богатого. Мы ему это докажем. Кто бы он ни был — он нас не стоит!

Гад сказал:

— Что там стесняться! Они-то стесняются разве? Не сыщешь больших обжор, чем все эти герцоги, принцы — Кондэ, Суассон и сам наш Невер, — которые, пузо набивши, как свиньи, еще натрескиваются до отвала золотом и, когда король умирает, растаскивают казну! Вот их честь, как они понимают ее! Право, мы были бы глупцами, если б не подражали им.

Король Калабрии выругался:

— Да, они — хрюки. Когда-нибудь добрый наш Генрих восстанет из гроба, чтобы взять их за горло, или ж сами мы их зажарим, набитых, подправленных золотом. Коли знать свинячится — в жилу ее пырнем, кровь пустим; но в их свинячестве мы подражать им не будем. Больше доблести в ляжке сплавщика, чем в сердце вора дородного.

— Итак, мой король, ты идешь?

— Иду; и вот те крест, Гад тоже пойдет.

— Нет, черт тя дери.

— Ты пойдешь, говорю, а то — реку видишь: я те бух, ты плюх: эй, шевелись. Посторонись, дурачье, я прохожу!..

Он прошел, расталкивая народ, и мы следом за ним плыли в зыби, как мелюзга за громадной рыбой. Встречные были слишком пьяны, чтобы с ними можно было рассуждать. Все в свое время: сперва языком, потом кулаком. Мы старались только их тихонько наземь посадить, не слишком их разрушая: пьянчуга — это святое!

Наконец мы очутились у дома Петра Пуляхи. В нем грабители кишели, словно вши в шерсти. Одни выволакивали сундуки, тюки; другие нарядились в тряпье наворованное; бесшабашные шутники кидали, смеху ради, чашки и горшки из окон. Посреди двора катали бочки. Я видел одного, который пил, присосавшись к дырке, пока не плюх-

нулся вверх тормашками, под красно бьющей струей. Вино выливалось в лужи, и тут же дети его лакали. Дабы лучше видеть, воры во дворе навалили гору утвари и подожгли ее. В глубине погребов слышно было, как бойки разбивали бочки, бочонки; доносились вопли, стоны, кашель задыхающихся: весь дом так крякал, как будто у него в брюхе было стадо хрюшек. И уже там и сям из отдушин возникали языки дыма да лизали решетки.

Мы проникли во двор. Ни один вор нас не заметил. Всякий занят был делом своим. Я сказал:

— Бей, барабан!

Затрещал Бардашка, провозгласил права, данные мне городом; и, в свою очередь голос возвысив, я приказал грабителям разойтись. Заслыша треск барабанный, они собрались, как мушиный рой, когда стукнешь по котелку. И только звук этот утих, все они начали вновь яростно жужжать и кинулись на нас, свища, гогойкая, осыпая нас камнями. Я принялся было ломать двери погреба; но из окошек они роняли черепицы и балки. Мы все же вошли, оттесняя этих мерзавцев. Гайну оторвало еще два пальца, а у короля Калабрии вытек левый глаз. Я же, отталкивая закрывающуюся дверь, застрял, как лиса в западне, угодив большим пальцем в щель. У, стерва! Я размяк, как женщина, чуть с души не скинуло. По счастью, заметил я пробитый бочонок водки; я окунул в него палец и всполоснул нутро. После чего, клянусь, мне уж не хотелось белки вывертывать. Но зато я тоже разъярился. Горчица в нос ударила.

Мы теперь боролись на ступеньках лестницы, ведущей в погреб. Пора было кончить. Эти рогатые черти разряжали в лицо нам пищали свои — так близко, что бородища Сулого вспыхнула. Гад задушил огонь в мозолистых своих руках. Добро, что у этих пьяниц в глазах двоилось, когда они целились; не то ни один из нас живым не вернулся бы. Нам пришлось отступить и засесть у входа. Тут я заметил лукавый огонь, скользящий с одного крыла на другое по направленью к внутреннему жилью, где находился погреб, и приказал заставить выход камнями, обломками разными, образовавшими крепкую ограду; и над нею торчали наши копья и строги, подобно колючей спине свернувшегося ежа.

— Разбойники, — крикнул я, — ах, так вы огонь любите! Ладно же, ешьте его!

Большинство пьяниц на дне погреба опасность поняло слишком поздно. Но когда чудовищное пламя растрескало стены и перегрызло бревна, со дна поднялась неистовая кутерьма; целый поток голяков (из коих некоторые уже пламенели) хлынул, как пенистое вино, выбившее втулку. Первые шлепнулись об нашу стену, а следующие, прижавши их, плотно заткнули выход. Изнутри слышно было, как рычал огонь и скрежетали грешники. И могу вас уверить, что музыка эта не очень-то услаждала нас! Не весело слушать мычанья мучимой плоти. И будь я частным лицом, всегдашним Персиком, я воскликнул бы:

— Спасем их!

Но ратный вождь не имеет права слушать и чувствовать: глаз да разум, зренье да воля — вот главное. Действовать нужно безжалостно. Спасти негодяев значило бы город погубить: ибо по выходе они оказались бы многочисленнее и сильнее нас; созревшие для виселицы, они, однако, не дали бы себя сорвать с дерева.

— Осы — в гнезде; пусть они там и останутся!..

И я увидел, как оба крыла огня сближались и над средним жильем замыкались, свиристя и раскидывая вокруг себя летучие перышки дыма...

И вот в этот самый миг я приметил — над первыми рядами тех, которые скучились у входа в погреб и так слиплись, что могли шевелить только бровями, глазами да орать во все горло, — я приметил моего старого куманька, негодяя не злого, но пьющего (как он попал туда, Господи, в это осье?), который теперь смеялся и плакал, не понимающий, ошеломленный. Гультай, лентяй, заслужил он это! Но все-таки было невмочь мне смотреть, как он жарится... Мы детьми вместе играли и в храме святого Мартына вместе ели тело Господне: были мы братья по причастью первому...

Я отстранил рогатины, перепрыгнул через ограду, пошел по головам яростным (кусались они!), шагая по этому дымящемуся человеческому тесту, добрался до того места, где торчал Гамзун, которого схватил за шиворот.

«Дело дрянь! Как я его вытащу из этих тисков? — подумал я. — Придется, пожалуй, срубить его...»

По странной, счастливой случайности (я сказал бы, что есть Бог для пьянчуг, если б друг мой один был пьян), Гамзун оказался на краю ступеньки и клонился назад, когда те, которые поднимались, на плечи подхватили его

таким образом, что он уж земли не касался, а наполовину выскочил, как косточка сливы, сжатая меж двух пальцев. Действуя ногами, чтобы раздвинуть справа и слева чужие плечи, защемившие ребра его, мне удалось, не без труда, вырвать кость из пасти толпы. Как раз успел! Огонь вихрем вздымался из отверстья лестницы, как из трубы. Я слышал — потрескивали тела в глубине печи, и, нагнувшись, широко шагая, не глядя, куда погружались подошвы мои, я воротился, волоча Гамзуна за жирные волосы.

Мы вышли из ада и удалились, предоставляя огню окончить дело свое. И меж тем, чтобы волненье свое задушить, мы тумачили Гамзуна, эту скотину, которая хоть и чуть не околела, удержала, прижав их к сердцу, два блюда эмалевых и миску расцвеченную, Бог весть где наворованные!.. И Гамзун, отрезвившись, шел рыдая, раскидывая свои посудины, останавливался на ветру, выпуская крутую струю, и кричал:

— Все, что накрал, все отдаю!

На рассвете стряпчий, Василий Куртыга, прибыл в сопровождении Шутика, который гнал вовсю. Тридцать ратников да кучка вооруженных крестьян дополняли шествие. В продолжение дня пришли еще другие, которых привел Никола. На следующий день наш добрый герцог послал еще подкрепленья. Они ощупали теплую золу, составили перечень повреждений, сосчитали убытки, прибавили к этому стоимость своего путешествия и — поминай как звали...

Смысл всего сказанного: «Помоги себе, король поможет тебе».

КАК МЫ НАДУЛИ ГЕРЦОГА

Конец сентября

Восстановился порядок, пепел остыл, и о заразе никто уже не говорил. Но город сперва был как будто придавлен. Жители пережевывали свой ужас. Они почву ощупывали; не были еще уверены, стоят ли они на ней или она над ними находится. В большинстве случаев в норках таились, а если и выходили на улицу, то семенили вдоль стены, развесив уши и хвост поджав. Да что ж, нечем было гордиться; смотреть в глаза друг другу — и то не смели, и не

радовало видеть лицо свое в зеркале: слишком хорошо осмотрели они друг друга, раскусили; человеческую природу застали врасплох, в одной рубашке, — вид неприятный! Они пристыжены были и недоверчивы. Я тоже, с своей стороны, неважно себя чувствовал: мысль об избиении, гарь пожара, а пуще всего воспоминанья о подлости, трусости, жестокости, обезобразившие знакомые лица, преследовали меня. Они это знали и втайне на меня досадовали. Понимаю: я был еще больше смущен; если б я мог, то сказал бы им: «Друзья, простите, я ничего не ведал...» И душное сентябрьское солнце тяготело над городом измученным — жар и застой последних летних дней.

Наш друг Ракун уехал под верной стражей в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этим недоразумением, он, вероятно, рассчитывал проскользнуть у них меж пальцев, сквозь которые они, добрые люди, глядели на мои проступки. Оказывается, что, спасая Клямси, я совершил два или три крупных преступленья, пахнувших каторгой. Но так как не случилось бы этого, если б не скрылись законные наши вожди, то ни я, ни они не стали настаивать. Не люблю на глазах правосудия проветривать шкуру свою. Вины за собой не чувствуешь — а как знать? Как пальцем попадешь в это чертовское колесо, прости, рука! Отрубай, отрубай, не мешкая, если не хочешь быть съеденным...

Итак, заключили мы молчаливое условие: я ничего не сделал, они ничего не видели, а то, что произошло в ту ночь под моим руководством, то было ими же совершено. Но как ни старайся, а сразу стереть прошлое нельзя. Вспоминаешь кое о чем, и вот совестно. Боялись меня: я читал это во всех глазах; и я боялся себя тоже, боялся того Персика незнакомого, нелепого, который такие совершил подвиги. К черту этого Цезаря, Аттилу, грозу эту! Грозы хмельные — это люблю. Но военные — нет, не мое это дело!.. Словом, мы были пристыжены, телом разбитые и утомленные; ныло сердце, и ныло под ложечкой. С жаром мы за работу принялись вновь. Труд впитывает стыд и горести, как губка. Труд обновляет душу и кровь. Работы было много: сколько развалин повсюду! И тут нам пришла на подмогу — земля. Никогда не бывало такого обилья плодов, урожая такого; и под конец высшей наградой ее оказался сбор винограда. Можно было подумать, что матушка

наша земля хотела вернуть нам вином всю кровь, поглощенную ею. Отчего бы так, в самом деле? Ничего не теряется; не должно потеряться. Если б терялось, куда же девалось оно? Вода льется с небес и туда же потом возвращается. Не так ли вино в сделках наших с землей нам за кровь отдается? Сок-то один. Я — лоза, или был я лозой, или ею когда-нибудь стану. Мне любо так думать; я хочу ею быть и не ведаю вечности лучшей, чем претвориться в лозу, в вертоград; тело мое разбухает и выливается в чудные, круглые, сочные ягоды, в черные, бархатно-нежные грозди, они раздуваются, лопаясь в летних лучах, а потом (это слаще всего) их едят.

Как бы то ни было, сок винограда в этот год бил отовсюду, бил через край, земля истекала кровью. Глядь, и бочек уже не хватило; за недостатком сосудов пришлось виноград оставлять в давильном чане, а не то в стирной лохани, даже его не сжимая! Да что! Дивное диво случилось: старик Кулиман, не зная, как быть, продал излишек за тридцать копеек за бочку, с условием только, что сами пойдут виноград собирать. Посудите, каково было наше волненье! Можно ль смотреть хладнокровно, как Господа Бога теряется кровь!

Нечего делать, пришлось ее выпить! Мы собою пожертвовали, мы совестливые. Но был труд геркулесовый, и не раз Геркулес бухался наземь. Однако хорошо в деле этом было то, что перекрасились мысли наши; разошлись морщины, просветлели лица.

А все-таки какая-то горечь оставалась на дне стакана, осадок, вкус ила; мы чуждались друг друга; исподлобья следили. Правда, мы расхрабрились слегка (убив муху); но сосед соседа дичился еще; пил в одиночку, в одиночку смеялся: это очень вредно... Так продолжалось бы долго, не видать было выхода; но судьба с хитрецой. Она умеет найти тот единственный потешный способ, который бы прочно людей связал, а именно: она нас сплочает против кого-нибудь. Любовь тоже соединяет. Но то, что из тысячи рук выливает единый кулак, — это враг. Кто же враг? — Господин наш!

Случилось, что в эту осень герцог Неверский вздумал нам запретить хороводы вести. Однако! Черт подери! Даже седые, хромые и те почувствовали в икрах мурашки. Как всегда, предметом спора был Голдовный луг. Это вечный

тупик, не выйти никак. Этот прекрасный луг находится у подножья горы, у ворот городских, и близ него, как небрежно брошенный серп, серебрится Беврон излучистый. Вот уж триста лет, как его вырывают друг у дружки огромная пасть герцога и наша — более скромных размеров, но зато умеющая удержать схваченное. Впрочем, никакой вражды ни с той, ни с этой стороны; смеемся, соблюдаем вежливость, говорим: «Друг мой, други мои, повелитель наш...»

Но только поступаем мы по-своему, и ни мы, ни он не хотим уступить ни пяди земли. По правде сказать, в наших тяжбах мы никогда не одерживали верх. Суд окружной, суд местный, высшая ведомость — все выносили приговор за приговором, устанавливающие, что наш луг — не наш... Правосудие, как известно, — корыстное искусство называть черным то, что на вид белое; нас это не очень тревожило. Судиться — ничто, иметь — все. Бела ли корова или черна, оставь ее у себя, старина. Мы так и сделали; оставались на своем лугу. Так удобно! Подумайте! Это единственный луг, которым бы не владел только один из нас: принадлежа герцогу, он принадлежит нам всем. Посему мы, без всяких угрызений совести, можем портить его. И видит Бог, мы не стесняемся! Все, что нельзя делать дома, делаем мы там: работаем, чистим, выколачиваем тюфяки, выбиваем старые ковры, сорим, играем, гуляем, коз пасем, пляшем под скрипку, упражняемся в стрельбе из пищалей, бьем в барабан, а ночью любимся там, в траве, бумажками расцвеченной, на берегу шелестящего Беврона, которого ничем не удивишь (видал он виды)!

Пока здравствовал герцог Людовик, все шло хорошо: он притворялся слепым. Это был человек, который умел, чтобы лучше держать в руках своих подданных, отпускать поводья. Пускай-де покажется им, что они на свободе, пускай накудесят они, все равно... на деле хозяин-то я! Но сын его, глупый гордец, который предпочитает казаться чем-то, нежели чем-нибудь быть (это понятно, он — ничто), и хватается за нож, как только икнешь. А нужно, однако, чтобы пел француз и смеялся над властью. Когда не смеется он, то восстает. Ему невтерпеж послушанье, если его господин во всем требует этого; смех нас равняет. Но этот птенчик вздумал нам запретить играть, плясать, топтать, портить траву на Голдовном лугу. В добрый час!

После всех наших бед он нас лучше избавил бы от податей!.. Да, но мы ему доказали, что жители Клямси не из дерева, годного для топки, а скорее из крепкого дуба, в который туго входит топор: врезавшись, он еще с бóльшим трудом вырывается. Не пришлось друг друга под локоть подталкивать. Галдеж был отменный. Отбирают наш луг! Отбирают подарок, нам данный или который мы сами присвоили (все одно: добро украденное, но триста лет сохраненное, — трижды святое имущество вора), добро тем более для нас дорогое, что было нашим оно, а мы пядь за пядью упорством и долгим терпеньем его покорили, единственное добро, нам не стоившее ничего, кроме усилий забрать его! Этак опротиветь может даже и такое усилье! К чему жить тогда? Если б мы уступили, сами мертвые из могил возопили бы! Честь города всех нас объединила.

Вечером того же дня, когда бирюк с барабаном провозгласил роковое постановленье (он словно сопровождал преступника на шибеницу), все люди с весом, предводители братств и общин, да палочники собрались на рыночной площади. Разумеется, и я там был, представлял я мою покровительницу, бабку Господню святую Анну. Насчет порядка действия мнения расходились; но что действовать нужно — на этом согласились все. Гайно и Калабрия были сторонники решительных мер: их замысел был — поджечь городские ворота, разбить ограды и стражников и начисто скосить луг. Но пекарь Флоридор и садовник Маклай — люди кроткие, мягкие, разумно стояли за то, чтобы продолжать войну на пергаменте: целомудренные воззванья и прошения, обращенные к герцогу (сопровожденные, вероятно, бесплатными произведениями природы — из сада и из печи). По счастью, нас было трое: я, Иван Бобыль да Евмений Пафура, которые равно не желали, дабы герцога образумить, как лизать, так пинать его в зад. Добродетель in media stat[1]. Истый галл, когда хочет над людьми посмеяться, умеет это делать спокойно, открыто, не пуская в ход рук, а главное — ничего не платя. Мало что мстишь, надо еще позабавиться. Итак, вот что решили мы... Но должен ли я наперед рассказывать вам славную шутку, которую я придумал? Нет, нет, это значило бы ее обезвкусить.

[1] Посередине стоит *(лат.)*.

Достаточно заметить, нам в честь, что эта великая двухнедельная тайна была всему городу известна и свято им хранима. И хоть начальная мысль и принадлежит мне (горжусь), однако всякий прибавил к ней украшенье какое-нибудь, локон, ленту: таким образом, дитя оказалось хорошо обеспеченным; отцов было у него сколько угодно. Шеффены скромно, тайком, справлялись ежедневно о здоровье ребенка; и Деловой еженочно, скрывая нос под плащом, приходил для переговоров, разъяснял, как можно закон переступать, оказывая ему должное почтенье, и торжественно вытаскивал из кармана какую-нибудь витьеватую записку по-латыни, которая прославляла герцога и наше послушанье, а вместе с тем могла выражать как раз обратное.

* * *

Наконец великий день наступил. На площади святого Мартына ждали мы, вожди и собратья, чисто выбритые, расфуфыренные, ровно расположившись вокруг наших жезлоносцев. Ждали шеффенов. Когда часы пробили десять, зазвонили все башенные колокола. Тотчас же на обоих концах площади двери городской думы и двери храма широко распахнулись и на обоих порогах показались (словно выпускные куклы часобоев) с одной стороны попы в белых рясах, с другой — шеффены, желтые и зеленые, как яблоки. Увидя друг друга, они через наши головы обменялись величавыми приветствиями. Потом спустились они на площадь: первым предшествовали расцвеченные служки, красные одежды и красные носы, вторым — пристава, увешанные всякой всячиной; и звенели их нагрудные цепи, подпрыгивали по мостовой их длинные палаши. Мы же стояли на краю площади, вдоль домов, образуя широкий круг; и власти, столпившиеся как раз посредине, олицетворяли пуп. Никто не опоздал, все были тут: приказные сутяги, подьячие, нотариусы, аптекари, знахари да врачи, тонкие знатоки мочи (у всякого свои причуды) — окружали голову и дряхлого архиерея, как священная стража из гусиных перьев и стеклянных спрысков. Из господ городского сословия не появился, кажется, только один: стряпчий — представитель герцога, однако честный гражданин, муж дочери одного из шеффенов. Узнав о задуманном и боясь

высказывать свое мненье, он накануне разумно решил удалиться.

Довольно долго мы топтались на месте, кипя от нетерпенья. Площадь напоминала чан, в котором бродит сок виноградный. Что за радостный гул! Все смеялись, говорили, скрипки пиликали, собаки лаяли. Ждали... Кого? Терпенье! И вот она грядет, радость-то. Еще до появленья ее рой голосов вылетает вперед и ее возвещает; и все шеи повертываются, как жестяные ветреницы при дуновеньи. Показалась из-за угла Рыночной улицы — и на плечах восьми дюжих парней ходуном заходила над толпой — пирамидальная деревянная постройка, — три неравных стола, поставленные один на другой, с ножками, пестрой тесьмой перевитыми, нарядные, в светлых шелковых штанишках, а на верхушке, под пышно расшитым балдахином, с которого спадали потоки цветных лент, высилась завещанная статуя. Никто и не подумал удивиться: все были посвящены в тайну. Каждый, шапку сняв, поклонился ей; но мы, хитрые черти, смеялись в кулак. Как только сооруженье это выдвинулось на самую середку, между городским головой и архиереем, все общины с музыкой прошествовали, сперва обращаясь вокруг неподвижной оси, потом углубляясь в переулок, который, окаймляя портал храма, спускается к Бевронским воротам. Впереди, как и полагается, выступал святой Никола, король Калабрии, облаченный в ризу, с золотым солнцем, вытканным на спине; скажешь — пестрый жук. Держал он в черных, узловатых руках жезл, согнутый на концах, в виде той ладьи, с которой Никола благословил трех детишек, сидящих в плавучей лохани. Четверо старых моряков сопровождали его, неся четыре желтых свечи, толстых, как бедра, и крепких, как дубины, коими они готовы были действовать в случае надобности. И Калабрия, насупив брови и подняв к своему святому свой единственный глаз, шагал, широко раздвигая ноги и выпячивая остаток брюха.

Следовали товарищи Жестяного Горшка, сыновья святого Ильи, кожевники, слесари, тележники, кузнецы; им предшествовал Гайно, держа над головой в двупалой руке, словно в клещах, крест с резьбой на подножье, изображающей молот и наковальню. И гобои играли: «У короля Дагобера штаны наизнанку».

За этими шли бондари, виноделы, поющие гимн вину и его святому — Викентию, который, стоя тычком на конце жезла, сжимал в одной руке кружку, в другой — сочную гроздь. Столяры, плотники, святой Иосиф и святая Анна, зять и теща, все люди с широкими глотками, следовали за святым покровителем кабаков, языком пощелкивая и косясь на водку. Далее пекари, жирно убеленные мукой, на остроге вздымали, как римское знамя, круглую булку в бледно-золотом венце.

После белых шли черные — сапожники смоленые; плясали они и хлопали летягами вокруг своего святого. Наконец в виде сладкого — святой Фиакр, весь в цветах. Садовники, садовницы несли на носилках ворох гвоздик; на шляпах колебались вереницы роз, в руках — заступы, грабли.

На их красных шелковых знаменах, зыблемых осенним ветром, изображен был сам Фиакр с голыми икрами: высоко подоткнув полы, он скрючил большой палец ноги на ребре воткнутой лопаты.

Вслед тронулась занавешенная постройка. Девочки в белом семенили впереди и мяукали песнопенья. Городской голова и трое шеффенов шли с обеих сторон, держась за желуди лент, свисающих с балдахина. Сзади шествовал привратник, как петух, выпятив грудь колесом; и архиерей, сопровожденный двумя попами (один — длинный, как день без хлеба, другой — плоский, как хлеб без дрожжей), напевал глубоким басом каждые десять шагов обрывок молитвы, но не утомлял себя, давал петь другим и спал на ходу, шевеля губами и сжав руки на брюхе.

Наконец толпище народа цельным куском катилось сзади, как тесто густое и мягкое, как жирный поток. А мы были — творило.

Вышли мы из города. Прямо на луг отправились. Ветер кружил листья яворов. По дороге полки их мчались на солнце. И медленная река увлекала их золотые латы. У ворот три стражника и новый начальник замка притворились, что нас не хотят пропустить. Но кроме последнего, только что прибывшего в город наш и все принимающего за чистую монету (несчастный прибежал из замка сломя голову и теперь яростно таращил глаза), все мы, словно воришки на рынке, действовали по соглашенью. Все-таки

побранились мы, потолкались: это входило в наш уговор, мы играли честно; но очень было трудно смех удержать. Однако не следовало слишком растягивать шутку: Калабрия и вправду начинал кипятиться; святой Никола на кончике своего жезла становился угрожающим; и свечи так и тряслись в руках, притягиваемые спинами стражников. Тогда голова выступил, снял колпак и крикнул:

— Шапки долой!

В тот же миг упала завеса, скрывающая статую под балдахином.

— Сторонись! Идет герцог!

Сразу шум затих. Святые Никола, Илья, Викентий, Иосиф и Анна — все в струнку вытянулись; стражники и дебелый начальник, без шапки, растерянный, уступили дорогу; и тогда выдвинулся, покачиваясь над носителями, увенчанный лаврами, в ухарской шапке, со шпагой на брюхе — подобие герцога нашего. Надпись, составленная Деловым, так нарекала его во всеуслышанье; но по правде сказать (и это самое смешное), мы, не имея ни времени, ни средств придать сходство портрету, просто-напросто взяли с чердака ратуши старую статую (так никто и не знал, кого она изображала и кем была изваяна); на подножии можно было только прочесть полустертое имя: Вальтазар). Но не все ли равно? Вера спасает. Изображенья святых Ильи, Николы или Иисуса Христа — точны ли? Стоит только верить, чтобы видеть во всем то, что хочешь видеть. Нужен бог? Для меня достаточно, пожалуй, куска дерева, где бы мог я его поселить, его и веру мою. Нужен был герцог в этот день. Мы его и нашли. Меж склоненных знамен прошествовал он. Луг ему принадлежал, он на него и ступил. А мы все, отдавая ему должное, сопровождали его; развевались знамена, трещали барабаны, гремели трубы, пели попы. Что ж тут дурного? Один только холуй герцога, жалкая душонка, ни рыба ни мясо, стоял в стороне, но и ему пришлось решиться. Он должен был либо задержать герцога, либо присоединиться к его свите. Избрал он второе.

Все шло хорошо, как вдруг у самой цели дело чуть не рухнуло. При входе святой Илья толкнул Николу, а святой Иосиф огрызнулся на свою тещу. Каждый пройти хотел первым, не думая ни о возрасте, ни о вежливости. И так

как в этот день все были готовы к бою и настроены воинственно, руки у нас зачесались. По счастью, я, преданный разом и святому Николе по имени, и святому Иосифу с Анной по ремеслу, не говоря уже о молочном брате моем — святом Викентии, который виноград сосет, — я, стоящий за всех святых, с условием, чтобы они стояли за меня, я приметил телегу, нагруженную гроздями багряными, и куманька моего Гамзуна, шатающегося подле, и крикнул:

— Друзья? Главного-то и нет между нами. Поцелуемся! Вот тот, который всех нас объединит, наш единственный, наш хозяин (после герцога, конечно). Он грядет. Приветствуйте его! Да здравствует Вакх!

И, за ягодицы взяв моего Гамзуна, я взвалил его на телегу, и заскользил он, перекувыркнулся среди благодати раздавленного винограда. Потом схватил я поводья, и на Голдовный луг выехали мы первыми; Вакх, купая гузло в красном соку, дрыгал ногами и хохотал, увитый гроздьями. Все святые, все святые, за руки взявшись, плясали позади зада Вакха торжествующего. Славно было на траве! Там, вокруг доброго герцога, скакали мы, ели, играли, отдыхали день-деньской... И поутру луг был подобен свиному загону. Не осталось ни былинки. Подошвы наши отпечатались в нежной почве, и следы эти свидетельствовали об усердии, с которым город чествовал властителя своего. Он, верно, очень доволен был. Да и мы тоже, черт подери! По правде сказать, стряпчий, вернувшись на следующий день, нашел нужным возмутиться, укорять, угрожать. Угроз он не выполнил, нашли дурака! Да, но открыл он следствие; впрочем, он не закрыл его: полезнее оставлять двери открытыми. Никто не стремился что-либо найти.

* * *

Таким-то образом мы доказали, что граждане Клямси могут быть покорными подданными герцога своего и короля и, одновременно, действовать в свою голову: она у нас дубовая. И это вернуло бодрость городу претерпелому. Мы себя чувствовали воскресшими. При встрече перемигивались, обнимались, думали: «Мы еще не выпотрошили свой мешок хитростей. Лучшего-то у нас не взяли. Все хорошо».

И воспоминанье несчастий наших улетучилось.

ПОД ЧУЖИМ КРОВОМ

Наконец мне пришлось подумать и о жилище будущем. Я откладывал как можно дольше. Пятишься, чтобы дальше прыгнуть. С тех пор как дом мой испепелился, я кочевал, приваливая то здесь, то там. Очень многие мне охотно давали приют на одну, две ночи. Пока воспоминание об ужасе пережитом тяготело над всеми, собирались мы в стадо, и всякий чувствовал себя у чужих как дома. Но так не могло продолжаться долго. Опасность удалялась. Тело каждого вползало обратно в свою раковину. Но у тех не было тела, у тех — скорлупы. Не мог же я расположиться в харчевне! У меня четыре сына и дочь, люди степенные, они бы мне этого не позволили. Не то чтоб мои молодцы очень расчувствовались бы! Но что станет город говорить?.. Однако они не спешили меня приютить. Я тоже не торопился. Моя откровенность слишком не ладит с их святошеством. Кто уступит из двух? Бедные малые! Они были, как и я, в замешательстве. Но им повезло: славная Марфа моя вправду любит меня. Ты придешь, говорит, во что бы то ни стало... Да, но что скажет зять? Не очень-то хочет меня он принять, я вполне понимаю его.

И вот с этих пор все они стали за мной следить глазами сердитыми, исподтишка. А я избегал их; мне казалось, что старое тело мое продают с молотка.

Я поселился на время в лачужке своей среди виноградников. Там-то в июле (озорнишка ты мой!) шашни завел я с чумой. И вот что забавно: полоумные эти, ради общего блага, здравый мой дом-то сожгли, а не тронули тот, в который смерть заглянула. Я-то ее не боюсь, безносой барыни этой, и потому был очень доволен найти лачужку свою, где валялись еще на полу земляном осколки предсмертного пира. Но не мог я себе не признаться, что в этой дыре зимовать мудрено. Разъехалась дверь, разбито окно, сыро, капает с крыши, как с полки для сыра. Но сегодня дождика нет, а завтра — о завтрашнем дне я успею подумать. Не люблю я ломать себе голову над сомнительным будущим. И когда не могу я удачно распутать вопроса, я его до конца недели откладываю. «К чему это? — мне говорят. — Все равно ведь придется тебе проглотить пилюлю». — «И то, — отвечаю. — Но как знать, может быть, через восемь-то дней мир погибнет? Как мне будет

досадно, что я поспешил, если тут загремят трубы архангелов! Мой друг, ни на миг не откладывай счастья! Пьется оно в свежем виде. Но неприятные хлопоты могут пождать. Лопнет бутылка — тем лучше».

Итак, стал я ждать, иль, вернее, заставил я ждать то решенье скучное, которое мне все равно пришлось бы назавтра принять. И чтобы ничто до тех пор меня не тревожило, запер я дверь и загородился. Не тягостны были думы мои. Я копался в своем огороде, расчищал тропинки, прикрывал сеянцы под упавшими листьями, артишоки трепал, врачевал болячки старых деревьев пораненных — словом, расчесывал косы земли-сударушки пред тем, как свернется она под периной зимы. Потом, вознаграждая себя, я ощупывал щечки какой-нибудь маленькой груши рыжей иль желто-рябой, забытой на ветке... Господи! что за блаженство, когда набирается в рот и течет себе вниз, вдоль по глотке течет, душистый и сладостный сок!.. Решался я в город идти только запасы свои обновлять (съестное, питье и новости). Избегал я встречаться с потомством своим. Я им сказал, что собираюсь в чужие края. Не ручаюсь, что мне они так и поверили; но, как послушные дети, они не посмели во лжи уличить меня. Мы словно в прятки играли, как те ребятишки, которые робко аукают: «Волк, ты здесь?» — и долго еще мы могли бы игру продолжать, отвечая: «Волка здесь нет». Но мы упустили из виду Марфу: коль женщина станет играть, не преминет она плутовать. Марфа знала меня; Марфа перехитрила отца своего. Не шутит она, когда дело касается кровных уз.

Как-то я вечерком выхожу на порог, глядь, она по дороге идет. Я вернулся в лачужку и заперся. Прижавшись к стене, не двигался я. Она подошла, постучалась, окликнула. Как листик завялый, я замер, дыханье тая (как назло, мне хотелось прокашляться). Она не сдавалась.

— Откроешь ли ты, наконец? Я знаю, ты там.

И кулаком, и башмаком она дверь колотила. Я же думал: «Ишь расходилась! Если сломается дверь, мне крепко достанется». И я уж хотел отворить и Марфу расцеловать. Но это игру бы испортило. А когда я играю, всегда я выиграть хочу. Я упорствовал. Она еще покричала, потом плюнула. Я слышал уже, как шаги ее удалялись, шаги нерешительные. Тогда я вылез из норки своей и стал хохотать, хохотать и кашлять... Задыхаться от хохота. Нахохотался я всласть,

глаза вытирал, как вдруг за собой, с вершины стены услышал голос:

— И не стыдно тебе?

Я чуть не упал. Подпрыгнув, я обернулся и увидел: дочь моя на стене повисла и строго в глаза мне глядела.

— Старый шут, я поймала тебя.

Растерявшись, ответил я:

— Да, я попался.

И оба давай хохотать. Пристыженный, дверь я открыл. Она, словно Цезарь, вошла, встала передо мной и, взяв меня за бороду:

— Проси прощенья.

Я сказал:

— Mea culpa.[1]

(Это как на духу: знаешь, что завтра же снова начнешь.) Она все держала меня за бородку, бородушку и ее дергала да причитала:

— Стыдно! Стыдно! Седень, с этаким белым хвостом на подбородке, а не умней сосуночка.

Дважды, трижды она, как звонарь, потянула ее, влево, вправо, вверх, вниз, потом по щекам потрепала меня и поцеловала:

— Что ж ты не шел ко мне, гадкий? Ты ведь знал, что я жду тебя!

— Дай мне, дочка, тебе объяснить.

— Объяснишь у меня. Ну-ка, пошел!

— Э! Стой! Я еще не готов. Дай мне вещи собрать.

— Вещи! Экая важность. Давай уложу их.

Она мне кинула на спину старый мой плащ, нахлобучила на голову мне поблекшую шляпу, перевязала меня, встряхнула.

— Вот и ладно! Теперь вперед!

— Обожди минутку, — сказал я. И сел на ступеньку.

— Как! — возмущенно воскликнула Марфа. — Ты упираешься? Ты не хочешь идти ко мне?

— Не упираюсь я, что там! Придется-то ведь все равно идти к тебе — некуда больше.

— Однако, любезен ты! Вот любовь твоя какова!

— Очень люблю я тебя, моя милая, очень люблю. Но я предпочитал бы видеть тебя у себя, чем себя у чужих.

[1] Моя вина *(лат.)*.

— Я, значит, чужая!

— Ты половина чужого.

— Вот еще. Ни половина, ни четверть. Я целиком с головы до ног — я. Я жена его: это возможно! Но зато он — мой муж. Я исполняю желанья его, если он исполняет мои. Будь спокоен: он с радостью примет тебя. Посмел бы он быть недоволен!

— Верно вполне. Город наш тоже бывает ведь рад, когда герцог Неверский размещает у нас свой отряд. Приютил я немало солдат. Но я не привык быть на месте тех, которым дают приют.

— Привыкнешь. Не возражай. Пошел!

— Ладно. Но только условие.

— Условие уже? Быстро ты привыкаешь!

— Я сам себе выберу комнату.

— Хочешь ты быть самодуром, я вижу! Ну, уж ладно!

— По рукам.

— По рукам.

— И потом...

— Довольно, болтун. Пошел!

За руку она меня — цоп! Ну и хватка! Волей-неволей пришлось зашагать. Достигли дома, она показала мне комнату, мне предназначенную: уютную, с ней по соседству, за лавкой. Добрая Марфа со мной обращалась как с младенцем грудным. Постель была постлана: пуховка нежнейшая, свежие простыни. А на столе в стакане пучок цветущего вереска. Я смеялся в душе, умиленный, развеселенный; отблагодарить ее надо, подумал я себе. Уж тебя как помучаю, Марфинька... И объявил я сухо:

— Не подходит.

Она, досадуя, мне показала другие, нижние комнаты, — я качал головой и наконец, подметив каморку под самой крышей, сказал:

— Вот мой выбор.

Она на меня замахала руками, но я стоял на своем:

— Как хочешь, красавица. Бери, не бери. Комнатка эта мне нравится, в ней поселюсь либо назад возвращусь.

Ей пришлось уступить. Но с этих пор ежедневно и ежечасно она приставала ко мне:

— Ты не можешь здесь оставаться, внизу тебе будет удобней; что тебе не понравилось? Скажи, башка деревянная, отчего ты не хочешь там жить?

Я отвечал лукаво:

— Не хочу, вот и все.

— Ты сведешь меня в гроб! — кричала она в возмущенье. — А я знаю причину. Гордец! Гордец! Не хочешь ты быть должником у детей своих. Эх, избить бы тебя.

Я отвечал:

— Ты бы этим меня заставила принять от тебя хоть заушины.

— Сердца нет у тебя, вот что, — сказала она.

— Девонька...

— Да, юли... прочь лапы, урод.

— Моя умница, моя душенька, красавица ты моя.

— Ишь, набрал меду в рот, увивается! Льстец, пустобай, обманщик! Долго ль ты будешь, скажи, мне смеяться в лицо, брыла свои выворачивать?

— Посмотри на меня... Ты смеешься ведь тоже.

— Нет.

— А смеешься ведь...

— Нет, нет, нет.

— Вижу я, вижу: смешки-то вот здесь.

И надавил я пальцем щеку ее, которая вздулась и лопнула.

— Как это глупо, — сказала она. — Мне обидно, я тебя ненавижу, а вот поди же, не могу я даже сердиться. Старая эта мартышка, как начнет корчить рожи, меня поневоле смешит! Да, я тебя ненавижу. Голыш, ни гроша за душой, а пред своими нос задирает! Скажи, по какому праву?

— У меня прав других нет.

Она мне сказала немало еще слов заостренных. И я ее попотчевал другими, не менее тонкими. У нас у обоих язык, как точильщик, проводит слова по воронилу. Благо, что в миг высшей злобы скажешь словечко смешное и хошь не хошь, а хохочешь. И начинай все сначала. Почесав язычок хорошенько (я давно уж не слушал ее), она примолкла.

— Теперь отдохнем, — сказал я, — завтра снова начнем.

— Спи спокойно. Итак, ты не хочешь?

Но я ни гу-гу.

— Гордец! Гордец! — повторила она.

— Послушай, голубушка. Да, я гордец, бахвал, павлин, все что хочешь. Но ответь мне по совести: будь ты на месте моем, ты бы как поступила?

Подумав, она ответила:

— Так же.

— Ну, вот видишь! Теперь поцелуй меня. Спокойной ночи.

Она меня нехотя чмокнула и, уходя, бормотала:

— На кой черт подарило мне небо этих двух дурандасов?

— Так, так, — подхватил я, — поучай его, милая, не меня, а его.

— Так и будет, — сказала она. — Но и тебе достанется.

Мне и досталось. С утра она сызнова начала. Не знаю, что пришлось на долю неба, но моя доля была здоровенная.

В первые дни я был как сыр в масле. Все холили меня, баловали. Сам Флоридор старался мне угодить и мне оказывал больше вниманья, чем нужно. Марфа следила за ним недоверчиво. Глаша меня угощала своей болтовней. Дали мне лучшее кресло. За столом подавали мне первому. Когда я говорил, все внимательно слушали. Было очень уютно... Ух! не выдержу... Мне было не по себе; и не мог усидеть я на месте; я сходил, поднимался по сто раз в час по чердачной лестнице. Всех это бесило. Марфа, безмолвная и раздраженная, так и вздрагивала, заслыша скрипучий мой шаг. Будь это летом, я бы по крайней мере баклуши бил на дворе. Я их бил, — но дома. Осень была ледяная; широкий туман занавесил поля, и дождик крапал, крапал ночью и днем. А я был к месту прикован. Да к тому же к месту чужому, черт их дери! У бедного Флоридора чувство изящного не Бог весть какое, убого оно и жеманно; Марфа не замечает; а мне-то все в доме, утварь и мелочи, глаз раздражало; страдал я; хотелось мне все переделать и переставить по-своему, — руки так и чесались. Но хозяин на страже; если кончиком пальца я только касался одной из вещей его, целая буря вздымалась. Главный мой враг был в столовой — кувшин, на котором представлены были два целующихся голубка и слащавая барышня рядом с пресным возлюбленным. От них мне претило; я просил Флоридора хотя бы убрать эту вещь со стола, за которым я ел; куски застревали в горле, я задыхался. Но скотина (что ж, он был вправе) отказался. Он гордился своим миндальником. Для него это высшее было искусство. И мои ужимки сердитые только народ смешили.

Что поделаешь? Я правда смешон был: дуралей, да и только. Ночью я на постели вертелся, словно котлета, меж

тем как на рашпере, то есть на крыше, дождь шипел безумолчно. И я не смел по чердачнику расхаживать: пол дрожал под моими шагами тяжелыми. И вот однажды, когда я сидел на кровати, болтая ногами голыми и сам с собою болтая, «Милый мой Персик, — сказал я себе, — не знаю как и не знаю когда — но дом я выстрою снова». С этой минуты стало мне легче: я составлял заговор. Конечно, я скрыл от детей решенье свое: они бы сказали, что в смысле жилища мне богадельня подходит как раз. Но где денег достать? Со времен Орфея и Амфеона камни уже не ведут хороводы, не строят, друг друга подсаживая, стены, дома, разве что только под песнь кошеля; мой-то давно утратил свой голосишко...

Я обратился за помощью к карману приятеля Ерника. Добряк, по правде сказать, не предлагал мне ее. Но если приятно мне у друга просить услуги, мне кажется, что и ему приятно мне услужить. Когда прояснилось немного, я отправился в путь, в Дорнси. Было небо низко и серо. Ветер влажный, усталый пролетал, как большая промокшая птица. К ногам прилипала земля, и желтые листья орешника реяли через поля.

С первых же слов Ерник прервал меня и, беспокойный, стал сетовать на отсутствие дел и денег, на худых клиентов; так он ныл, что сказал я:

— Ерник, что ж, я могу одолжить тебе грош.

Я был обижен. Он еще пуще. И друг на друга мы дулись, говорили мы холодно о том и о сем, — я разъяренный, он пристыженный. На скупость свою он досадовал. Бедный старик был не злой человек; любил он меня, разумеется; он с радостью дал бы мне денег, если бы это ему ничего не стоило; и даже, будь я настойчивей, получил бы я что хотел; не его вина, что он носит в себе девять колен жидоморов. Можно, конечно, быть и богатым и великодушным. Но истый мещанский достаточник, если мошну его тронешь, сперва-наперво «нет» говорит. Друг мой Ерник в эту минуту много бы дал, чтоб ответить мне: да; но я не упрашивал, в том-то и штука. Есть у меня своя гордость; когда о чем-либо друга прошу, он должен быть очень доволен; а если колеблется он, ничего мне не нужно, тем хуже тогда для него! Итак, друг с другом говорили мы: голос сердитый, тяжелое сердце. Я отказался обедать (вконец я его огорчил). Я встал, чтоб уйти. Повесив голову, он проводил меня

до порога. Но перед тем, как дверь отворить, я не выдержал, обхватил я дряблую шею его и безмолвно поцеловал. Он отвечал мне тем же. Робко спросил он:

— Николка, Николка, хочешь?..

Но я:

— Забудем, — (упрям я).

— Николка, — повторил он жалким голосом, — отобедай хотя бы.

— Это дело другое, — сказал я. — Друг Ерник, за стол!

Мы ели за четверых, но я оставался каменным, не изменил я решенья. Знаю, что этим себя я наказывал. Но и он был наказан.

Я в Клямси воротился. Надлежало выстроить дом без работников и без денег. От этого дело не стало. То, что вбил я в башку, меня по ногам уж не свяжет! Я начал с того, что прилежно осмотрел место пожара, отбирая все, что могло впрок послужить: балки подгнившие, кирпичи подгоревшие, оковки старые; стены шатались, черные, как трубочисты. Потом тайком я пробрался в Шеврошки, в каменоломню, и помню, копал там, тесал, разбивал самую кость земли, — камень красивый, жаркого цвета, с багровыми жилами, словно обрызганный кровью. И даже возможно, что я, проходя по тропине лесной, помог какому-нибудь утомленному, старому дубу покой обрести. Это против закона? И то. Но если бы делать только то, что дозволено, жизнь была бы слишком трудна. Леса городу принадлежат, ими можно пользоваться. Всякий так поступает, тихонько, конечно. И не жадничаешь, говоришь себе: «После меня другие». Взять-то легко. Еще нужно доставить. Благо соседи пришли мне на помощь; тот телегу свою одолжил, этот — волов, а иной саморучно помог, что ему стоило? Можно все попросить у ближнего, даже жену, все, кроме денег. Я понимаю: деньги — все то, что *можешь иметь*, что *будешь иметь*, что *имел бы* за деньги, все то, о чем ты мечтаешь; остальное имеешь: то есть нет у тебя ничего.

Холода уже наступили, когда я да Шутик начали ставить леса. Меня называли безумцем. Дети пилили меня деньденьской; а те, кто был поснисходительней, мне советовали подождать до весны. Никого я не слушался. Страсть я люблю раздражать людей, королей... Я знал, дуралей, что сам-друг, да к тому же зимою не могу я жилище построить.

Но мне достаточно было бы крыши, лачужки, кроличьей клетки. Я общежителен, да, но с условием быть таковым, когда я хочу, и не быть им, когда не желаю. Я болтлив, люблю я лясы точить, да; но порою мне хочется говорить в одиночестве: сам Персик лучший мой собеседник; и ради этого друга я бы отправился в путь босиком, без штанов, под вьюгой.

И вот почему продолжал я строить упорно, невзирая на общее мненье и смеясь над благим красноречьем чад своих...

Эх-ма! Последним смеялся не я... Как-то утром, в конце листопада (заиндевел город, и лоснилась на мостовой серебристая пена наледицы), я, в вышине, по бревнам карабкаясь, вдруг поскользнулся и — бух! — слез я скорее, чем влез.

Шутик вскричал:

— Он убит!

Подбежали ко мне и давай поднимать. Я на себя был сердит.

— Э, да что, — говорю, — я это сделал нарочно...

Попробовал встать. Ай! лодыга, лодыжка! Снова упал я. Лодыжка была переломлена. На носилках меня унесли. Рядом шла Марфа, руки ломая; и кумушки сопровождали меня, охая и о событье толкуя; все это напоминало святую картину: сын Божий в гробу. И Марии слез не щадили, суетились, кричали. Они разбудили бы мертвого. Мертвым я не был, но таковым притворялся, иначе свалилось бы все это на спину мне.

И, кроткий на вид, неподвижный, лицо запрокинув и вытянув бороду клином, я злобой кипел под казистой личиной.

ЧТЕНИЕ ПЛУТАРХА

Конец октября

Ну вот, теперь я привязан за лапку. За лапку! Господи Боже, неужто не мог ты сломать мне (если тебя это так забавляет) ребро иль руку вместо подставок моих? Я не меньше бы ныл, но ныл бы я стоя. Ах, злой, ах, проклятый (да святится имя твое!). Он словно из сил выбивается,

чтобы как-нибудь мне досадить. Он знает, что выше всех благ земных, работы, довольства, любви, дружбы ставлю ту, которую я покорил, дочь не богов, а людей — свободу. Вот почему он за ножку (ах, как смеется, лукавец!) держит меня в этой норке. На спине лежу я, как жук, и с вниманьем гляжу на паутины, на балки чердачные. Вот она, воля-то!.. Нет, ты еще не совсем, голубчик, держишь меня! Свяжи мою тушу, опутай, скрепи, окрути, вот так, еще раз, верти ты меня, верти, как на вертеле куру! Что, теперь держишь меня? А душу — забыл ты? Глядь, и полетела она вместе с воображеньем моим. Ищи ветра в поле! Надо быстрые ноги иметь, чтобы догнать ее... Воображенье мое, ух, как несется! Ну-ка, беги за ним, друг мой!..

Должен признаться, что сперва я был зол, как черт. Язык у меня оставался, я им пользовался, чтоб ругаться. Не советовалось ко мне подходить в эти дни. Однако я знал, что бранить я мог только себя самого. Эх! Отлично я знал это. Все мои посетители уши мне прожужжали:

— Ведь говорили же тебе! Зачем тебе было по крышам разгуливать? Тебе, старику-то! Предупредили тебя, а ты в ус и не дул. Хочется, мол, порыскать. Вот и рыскай теперь! Поделом!

Хорошо утешенье! Когда ты пришиблен, друзья доказать тебе силятся, что в придачу еще ты дурак! Марфа, мой зять, приятели, люди с улицы — все утверждали то же. И я должен был выносить их укоры, неподвижный, пойманный и разъяренный. Даже Глаша — и та говорила:

— Ты не послушался, дедушка, и поделом!

Я метнул в нее ночным колпаком.

— Вон! Убирайтесь все вон!

С тех пор я один оставался, но веселее не было. Добрая Марфа настаивала, чтоб перенесли мой тюфяк в нижнюю комнату. Признаться, мне было бы это очень приятно; но если я говорю «нет», значит, черт вас дери, нет! И к тому же несладко недужному людям показываться. Марфа без устали снова и снова на приступ шла, назойливая, как могут быть только мухи и женщины. Если б она не так много жужжала, я б уступил ей, пожалуй. Она была слишком упряма: согласись я — она бы с зари до заката победу свою разглашала. Прогнал я ее. И кончилось тем, что остался один я на грустном своем чердачишке. Не сетуй, Николка, ты сам виноват!..

Но главной причины, почему я артачился так, я не высказывал. Когда живешь у чужих, боишься стеснять их. Расчет этот плох, коли хочешь, чтоб они любили тебя. Нет глупости худшей, как заставить забыть себя... Меня и забыли. Не видели, не посещали меня. Даже Глаша мне изменила. Я слышал, как внизу смеялась она; и, слушая, сердце мое тоже смеялось. Но и вздыхал я: больно хотелось мне знать, что же ее рассмешило... Неблагодарная! Я укорял ее, но, верно, будь я на месте ее, поступал бы я так же... «Веселись, моя радость!» Только затем, чтобы мысли занять, я, изнуренный и хмурый, подражал Иову, который бранится, валяясь на вшивой шкуре.

И вот однажды Ерник пришел. Что таить, не очень радушно я принял его. Он стоял предо мной, у изножья кровати. Держал он благоговейно книгу завернутую. Он пытался разговор завести, предмет за предметом ощупывал. Я всем им свертывал шею, безгласно, безжалостно, с яростным видом. Он уже не знал, что сказать, покашливал да по грядке постели постукивал пальцами. Я просил его перестать. Тогда он замолк и шевелиться не смел. Я втайне смеялся. Я думал: «Эге, братец, теперь тебя мучит совесть. Если б ты деньги мне одолжил, когда я просил, не пришлось бы мне каменщика разыгрывать. Я себе ногу сломал: выкуси! Сам виноват! Скупость твоя загнала меня в эту дыру». Не мог он вымолвить слова; я же старался держать язык за зубами, но терзался желаньем дать ему волю. Наконец я грянул:

— Говори же, ну, говори. Или ты думаешь, я умираю? Черта с два! Не приходят людей навещать, чтобы только молчать! Эй, говори или вон убирайся. Не верти ты глазами. Оставь эту книгу. Что это ты мнешь?

Бедняга привстал.

— Я вижу, Николка, что раздражаю тебя. Я ухожу. Принес я книжицу — видишь, это Плутарх, «Жизнь знаменитых людей» перевел на французский Жак Амио. Мне казалось (он еще не совсем был уверен)... что, может быть, ты... (Господи! Как это было трудно) найдешь удовольствие, то есть, хочу я сказать, утешенье в обществе книжицы этой.

Я, зная, как этот старый скупяга, еще больше червонцев любящий книги свои, страдал (стоило только тронуть на полке одну из них, чтобы сразу принял он вид

оскорбленный, словно влюбленный, который бы видел, что пьяный за груди схватил его милую), я умилен был величием жертвы его. Я сказал:

— Старый товарищ мой, ты лучше меня, я скотина, я обидел тебя. Подойди же, дай поцелую.

Я обнял его. Взял из рук его книгу. Он еще отобрал бы ее с радостью.

— Ты будешь с ней обходиться бережно, да?

— Будь спокоен, — ответил я, — под голову положу.

Ушел он нехотя, еще не совсем убежденный.

* * *

И вот с глазу на глаз остался со мною Плутарх Херсонесский; небольшая пузатая книжка, поперек себя толще, тысяча триста страниц, частых и туго набитых; насыпаны были слова, как зерна в мешок. Я сказал себе: если три года подряд тройка ослов бы тут ела, — и то бы хватило.

Сперва забавлялся я тем, что разглядывал долго головки в витых, закрученных оправах в начале каждой главы, — лики великих людей в густых лавровых венках. Недоставало им только щепотки петрушки на самом носу. Я подумал: «Что мне до этих греков и римлян? Они умерли, умерли, а мы — мы живем. Что нового могут они рассказать мне? Что человек зверь презлой, но забавный, что вино чем старее, тем лучше — в отличье от женщины, и что во всякой стране большие трескают меньших, а эти над ними смеются. Все римские бахвалы на диво витийствуют. Я очень люблю красноречье, но предупреждаю, что они не одни будут баить; я им глотку заткну...»

Так поразмыслив, я снисходительно стал перелистывать книгу, в белые волны закинув рассеянный взгляд, будто удочку в реку. И сразу попался я, други... ах, други, улов же какой! Поплавок не успел прикоснуться к воде, как уже он тонул, и каких я не вытащил только волшебных карпов да щук! Рыб неведомых, рыб золотых и серебряных, радужных, бисером пестрым обрызганных и рассыпающих тысячи искр... И жили они, плясали, перегибались, прыгали, жабрами так и дышали, били хвостом! А я-то считал их за мертвых! С этого мига так я увлекся, что, рухни земля, не заметил бы я ничего: я следил за лесою: клюет ведь,

клюет! Что за чудище выйдет из вод? И хлысь! Чудесная рыба летит на крючке, белобрюхая, в латах чешуйчатых, либо как колос зеленая, либо как слива лиловая и на солнце лоснящаяся!

Дни, проведенные так (дни иль недели?), жемчужины жизни моей. Да святится моя хромота!

И вас я благословляю, мои глаза: через вас просочилось в меня виденье волшебное, скрытое в книгах! Глаза ведуна, которые могут из кружева знаков жирных и частых, чье темное стадо бредет между белесых полей по страницам, вызвать погибшие войска, сгоревшие грады, римлян речистых, ратников рьяных, героев, красавиц, ведущих их за нос, и ветер свободный в степях, озаренное море, и небо Востока, и все голубое былое!..

Предо мною являются: Цезарь, бледный, хилый и тонкий, распростертый на пышных носилках, среди дряхлых, ворчливых солдат; и брюхоня Антоний, который плетется полями со своими походными кухнями, девками, чашами всякими, чтобы жором жрать, пировать на опушке рощи зеленой; Антоний, который съедает за ужином восемь кабанов зажаренных и выуживает старую рыбу соленую; и Помпей рассудительный, Флорой ужаленный; и Полеоркет в своей шляпе широкой, в плаще золоченом, украшенном шаром земным и кругами небесными; и великий Артаксеркс, царящий, как бык, над стадом белым и черным своих многочисленных жен; и Александр прекрасный, наряженный Вакхом, на высоком помосте, влекомый восьмеркой коней; Александр на высоком помосте, покрытом свежей листвой да коврами багряными, из Индии едущий вспять под звуки скрипок, дудок, гобоев; и его воеводы веселые с цветами на шляпах, и войско его позади охмелевшее, и толпы женщин, по-козьему скачущих... Не чудо ли это? Клеопатра — царица, свирельница Ламиа и Статира, такая прекрасная, что больно смотреть на нее, — они все мои; под носом Антония иль Артаксеркса наслаждаюсь я ими, владею, вхожу в Экбатан, пирую с Таисой, ложе с Роксаной делю, уношу на шее, в связке тряпья, закутанную Клеопатру.

С Антиохом, давно в Стратонису влюбленным, страстно, стыдливо пылаю любовью к теще своей; уничтожаю (дивное диво!) галлов, прихожу, гляжу, побеждаю, и все это (как славно!) без капли пролитой крови.

Я богат. Каждый рассказ — каравелла, везущая мне из Берберии или из Индии золото, медь, старые вина в мехах, чудесных зверей, полоненных рабов... эх, молодцы! Что у них за грудище! Что за спина! Все это мое, мое... Царства жили, росли и умирали ради моей забавы.

Экое ряженье! Я надеваю одну за другою личины героев. Влезаю в их шкуру, пригоняю их члены, их страсти и пляшу. Одновременно я и плясун, и песенник, я сам добрый Плутарх, да, да, это я записал (удачно, не правда ли?) все эти шуточки... Как любо чувствовать музыку слов и круговую их пляску, тебя уносящие вдаль, и летишь ты со смехом и плеском, свободный от уз телесных, страданий, старости!.. Дух человеческий — это ведь Бог! Слава Святому Духу!

Порой, прерывая чтенье, я стараюсь представить себе продолженье, и потом я сличаю творенье грезы моей с тем, что искусство иль жизнь изваяли. Когда это дело искусства, я часто решаю задачу: ибо старый я лис, все я знаю уловки, и, смекнув, я смеюсь про себя. Но когда расчудачится жизнь, тогда ошибаюсь я часто. Перелукавить нас ей нипочем, и нам не под стать ее вымыслы. Ах, шалая кумушка!.. Одно только она никогда не считает нужным менять: окончанье рассказа. Войны, любовь, дурачества — все кончается тем же нырком в глубину беспросветную. Тут она повторяется. Так ребенок чудачливый ломает игрушки, ему надоевшие. Я сержусь, я кричу: гадкий, жестокий, стой, стой, оставь их мне!.. Поздно! он все перебил...

И со странной усладой лелею, как Глаша, остатки куклы. И эта смерть, возвращаясь после каждого круга стрелки, словно бой часовой, принимает, звуча, красоту перезвона. Гудите, колокола, колокольца, бом, бом, бом!..

«Я — Кир, покоривший Азию, царь персиян, и прошу тебя, друг мой, меня не корить за ту горстку земли, под которой сокрыто бедное тело мое».

Читаю я эту надгробную надпись, и читает со мной Александр, и дрожит он всем телом, чувствуя тленность свою, ибо мнится ему, что он сам из могилы взывает. О, Кир, Александр, как ясно я вижу вас ныне, что умерли вы!

Наяву ли, во сне ли их вижу? Щиплю себя, говорю: «Эй, Николка, ты спишь?» Тогда со столика рядом с постелью беру две монеты (я их в саду откопал прошлым летом):

на одной Коммодус косматый, на другой Криспина Августа, с жирным двойным подбородком, с хищным клювом: «Нет, не сплю я, глаза мои зорко раскрыты, я Рим на ладони держу».

Как приятно теряться в догадках о зле и добре, спорить с самим же собой, ставить ребром мировые вопросы, мечом разрешенные встарь, переходить Рубикон... нет, на краю оставаться... пройдем, не пройдем? — драться то с Брутом, то с Цезарем, с ним соглашаться, ему же перечить красноречиво и после запутаться так, что уж больше не знаешь, за что ты стоишь! Это-то вот и забавно: с намерением твердым речь начинаешь, доказываешь, вот-вот и докажешь, возражаешь, — на тебе! Грудью берешь, горячишься, ну, брат, держись! А в конце-то концов попадаешь впросак! Сбить с ног себя самого! Поразительно. А все виноват плут Плутарх. Как начнет он слова золотить да повторять добродушно «мой друг», — всегда, всегда, согласишься ты с ним; меняет он мненье свое с каждым новым рассказом. Словом, из всех героев его мой любимый — последний в последней главе. Все они, впрочем, как мы, покорны все той же богине, к ее колеснице привязаны...

Победы Помпея, бледнеете вы! Миром правит она, Фортуна, чье колесо вертится, вертится и никогда «не бывает в состоянии недвижном, в чем подобна луне», как говорит у Софокла рогач Менелай. И это скорей утешительно — по крайней мере для тех, кто находится в первой четверти.

Порой я себе говорю: «Но, Персик, мой друг, на кой черт ты читаешь все это? Что тебе римская слава? И тем паче — безумства царей-шелопаев? Довольствуйся шалью своей, она тебе впору. Видно, нечего делать тебе, что копаешься ты в пороках, в страданьях людей, со смерти которых прошло восемнадцать веков. Ведь, братец, в конце-то концов (то бубнит Персик разумный, трезвый, толковый, расчетливый, знающий цену деньгам и себе), признайся, что этот твой Цезарь, Антоний и Клео, их сука, твои все вельможи восточные, которые режут своих сыновей, а дочерей себе в жены берут, — все они, друг мой, мерзавцы. Они умерли; в жизни своей творили они только зло. Не тревожь их праха. Как могут тебя, старика, забавлять такие нелепицы? Взять хотя бы твоего Александра; неужто тебе не противно смотреть, как он тратит, ради

похорон Ефестиона, ради красавца такого, — сокровища целой страны? Резать так резать: племя людское — не Бог весть какое. Но деньгами сорить! Видно, этим шутам достались они без труда. И тебе это нравится, да? Ты пучишь глаза, ты счастлив и горд, как будто все эти червонцы из рук твоих выпали! Если бы выпали вправду, я безумным бы назвал тебя. Ты безумен вдвойне, коль находишь отраду в безумствах чужих».

Я отвечаю: «Персик, слова твои — золото: прав ты всегда. Однако дороже мне жизни вся эта белиберда; и клянусь я — в призраках этих, давно бестелесных, крови-то будет побольше, чем в людях живых. Я их знаю, я их люблю.

Чтобы он, Александр, надо мною рыдал, как над Клитом, я б сейчас согласился быть также убитым. У меня сжимается сердце, когда я вижу, как Цезарь в сенате мечется под остриями кинжалов, словно затравленный зверь между псов и охотников. Я стою с разинутым ртом, когда Клеопатра мимо плывет на своем корабле золотом с толпой нереид средь снастей, с ватагою крошечных, голых пажей. И, ноздри расширя, морские ловлю благовония. Плачу я ревмя, когда Антония окровавленного, полумертвого, связанного, втаскивает возлюбленная: она, наклонясь из оконца башни своей, тянет изо всех сил (только бы, только бы он не сорвался), тянет беднягу, к ней протянувшего руки...

Что же волнует меня и с ними роднит? Э, да они из той же семьи, как и я, они — Человек.

Как я жалею тех обездоленных, которым неведома сладость, таимая в книгах! Иные гордо плюют на былое и настоящего держатся. Дубины, не видите вы дальше носа! Да, настоящее вкусно. Но все вкусно, черт подери, я харчую у всех и не хмурюсь перед накрытым столом. Вы бы не хаяли, если б отведать могли, — разве что, други, желудок у вас плоховат. Обнимайте что держите, да, но ведь вы обнимаете слабо и милая ваша — худа. Благо в количестве малом, — очень ведь мало. Нужно мне больше... Настоящим довольствоваться можно было, друзья, во время Адама седого, который ходил нагишом, за неименьем одежд, и, ничего не видав, только мог и любить что свою половину. Но мы, счастье имевшие после него родиться, в доме, куда наши предки свалили все то, что собрали, мы были бы

очень глупы, коль сожгли бы житницы наши под предлогом, что нивы еще плодородны!

Старый Адам был только ребенок! Я сам — старый Адам: ибо все тот же я человек, но я вырос с тех пор. Дерево — то же, но я только более высокая ветвь. Всякий удар, поражающий сук отдаленный, листья мои сотрясает. Горести, радости мира — мои. Скорблю я с рыдающим, смеюсь с ликующим. Лучше, чем в жизни, я чувствую в книгах своих братство, которое всех нас связует, всех — голышей и царей: ибо от тех и других остается лишь пепел да пламень их духа, который восходит единый и многоликий, и в небе его языки багряные, неисчислимые поют, прославляя Всесильного».

* * *

Так на своем чердаке я мечтаю. Ветер гаснет. Спадает свет. Кончиком крыльев снег чуть касается стекол оконных. Крадется тень. В глазах туманится. Я наклоняюсь над книгой, слежу я рассказ, убегающий в ночь. Тыкаю носом в бумагу: точно гончая, чую я дух человечества. Ночь приближается. Ночь опустилась. Добыча моя ускользает и углубляется в чащу. Тогда замираю я в сумраке леса и с бьющимся сердцем, погоней взволнованный, слушаю тающий шорох. Закрываю глаза, чтобы лучше видеть сквозь мрак. И, мечтая, недвижно лежу.

Я не сплю, разбираю мысли свои; вижу я небо в квадрате окошка. Рукой достаю до стекла; вижу я черный, лоснящийся купол: каплею крови стекает звезда... Еще и еще... Дождь огневой в ноябрьской ночи...

Я вспоминаю звезду хвостатую Цезаря. Это, быть может, течет его кровь в темноте...

День возвращается. Грежу еще. Воскресенье. Колокола распевают. Грезу мою опьяняет их гул и гуденье. Она наполняет весь дом, от подвала до крыши. Она покрывает заметами книгу бедного Ерника. Моя комната ходит от грома колес, колесниц, ратных сонмищ, грохота меди и конницы. Дрожат половицы, оконницы, звон в ушах у меня, сердце лопнет сейчас, я готов закричать: «Ave, Цезарь, гряди, император!»

А мой зять — Флоридор, вошедший со мной поздороваться, смотрит в окно, шумно зевает и хмурится:

— Ни пса нет сегодня на улице!

ЗА ЗДОРОВЬЕ ПЕРСИКА

Святой Мартын
11 ноября

Сегодня с утра теплынь стояла необычайная. Блуждала она по воздуху, нежная, как прикосновенье шелковое. Терлась она о прохожих, словно ласковая кошка; вливалась в окно, как сладкое, золотое вино. Небо разомкнуло свои облачные вежды и спокойными бледно-голубыми глазами смотрело на меня; и на крыше соседней смеялся луч белокурого солнца.

Я, глупый старик, чувствовал себя томным и мечтательным, как юноша (я отказался стареть, возвращаюсь против теченья лет: еще немножко, и стану совсем крошкой). Итак, сердце мое было полно сказочного ожиданья, как сердце пастушка, что, бекая, бежит за своей пастушкой. Я на все глядел с умиленьем. Не причинил бы я вреда в этот день даже мухе. И уже пуст был мой ларчик лукавств.

Я думал, что я один, но вдруг увидел я Марфу, сидящую поодаль; я и не заметил, как она вошла. Против обыкновенья, ничего она мне не сказала, расположилась в уголку с работой в руках и на меня не глядела. Я же ощущал потребность поделиться с другими тем чувством полного довольства, которое меня охватило. И сказал я наудачу (чтобы беседу завязать, всякий предмет хорош):

— Что это утром в колокола зазвонили?

Она пожала плечами и отвечала:

— Да ведь праздник — святой Мартын.

Я с облаков скатился. Замечтавшись, я и позабыл о боге города своего!

— Вот оно что! Святой Мартын...

И почудилось мне тут же, что среди толпы молодчиков и молодух Плутарховских появляется мой старый друг (он им под стать), появляется он, всадник с саблей, режущей плащ. Ах, Мартын, Мартышка, мой старый кум, неужто забыл я тебя!

— Ты удивляешься! — сказала Марфа. — Пора! Ты все забываешь — Господа Бога, семью, чертей и святых, Мартышку и Марфиньку, весь мир ради этих твоих проклятых книжищ!

Я смеюсь, я давно заметил нехороший взгляд ее, когда, входя ко мне утром, она видела, что я делю ложе с Плутархом. Никогда женщина не любит книг любовью бескорыстной. Она видит в них то любовников, то соперниц. Девушка ли она или жена, когда читает она, то грезит любовью и обманывает нас. Посему, застав нас за книжкой, они вопиют: измена.

— Виноват Мартын, — отвечал я, — он больше не появляется. Однако осталась у него половина плаща. Он хранит ее, это невеликодушно. Милая дочь, что поделаешь? В жизни не следует давать себя забыть. Кто так поступает, того забывают. Запомни этот урок.

— Я в нем не нуждаюсь, — сказала она. — Где бы я ни была, все знают, где я.

— Правда, видят тебя ясно, еще яснее — слышат. Сегодня исключенье. Отчего ты лишила меня укоров своих обычных? Мне их недостает. Ну-ка...

Но она не глядя:

— Ничем тебя не проймешь. Вот я и молчу.

С упрямым лицом, закусывая нитку, она шила; вид у нее был грустный и пришибленный; и победа моя была мне в тягость. Я сказал:

— Приди же поцеловать меня, по крайней мере. Хоть я и забыл Мартына, Марфу помню еще. Сегодня праздник твой, подойди же, есть у меня для тебя подарок. Приди взять его.

Она брови насупила:

— Злостный шутник!

— Да я не шучу, подойди, подойди же, сама увидишь.

— Мне недосуг.

— О, дочь извращенная, как, нет у тебя времени меня поцеловать?

Нехотя встала она, недоверчиво приблизилась.

— Какую шутку бесстыжую ты еще выкинешь?

Протянул я руки:

— Дай мне тебя обнять.

— А подарок? — спросила она.

— Да вот он, ты держишь его. Это — я сам.

— Хорош подарок! Воробышек хоть куда.

— Хорош ли, иль гадок я, все равно, что могу, то даю, сдаюсь без всяких условий. Делай со мной что хочешь.

— Ты согласен занять нижнюю комнату?

— Свяжи по рукам, по ногам, я твой пленник.

— И ты будешь послушным, позволишь себя любить, водить, журить, баловать, оберегать, унижать?

— Я отрешился от воли своей.

— Ах! Как буду мстить. Ах, старинушка ты мой! Скверный мальчишка! Как ты добр! Старый упрямец! Как ты меня злил!

Она меня обняла, встряхнула, как узел, и прижала к груди, словно куклу. Она и часу ждать не желала. Отправили меня. Флоридор и три поваренка в колпаках бумажных протащили меня по узкой лестнице ногами вперед и запекли в большую постель, в светлой комнате, где Марфа и Глаша меня стали кутать, дразнить, без конца повторяя:

— Теперь-то мы держим тебя, держим крепко, держим, попрыгун!

Как славно...

И вот я попался, спрятал гордость свою подальше; Марфы слушаюсь я, старый урод. И, незаметно, Николка Персик все в доме ведет.

* * *

Отныне Марфа часто располагается рядом со мной. И мы беседуем. Вспоминаем мы о другом, давнишнем случае, когда мы так же сидели друг подле дружки. Но тогда не я, а она была за ножку привязана, вывихнув ее как-то ночью (ишь, влюбленная кошка), когда прыгнула из окошка, чтобы бежать за своим любезным. Несмотря на вывих, эх, крепко я выдрал ее. Теперь ее это смешит, она говорит, что я еще недостаточно ее колотил. Но в те дни я тщетно бил, строго берег; однако я не простак; а она была хитрее меня во сто раз и проскальзывала у меня между пальцев. Оказалось, что она не так глупа, как я думал. Что-что, а головы она не потеряла; потерял-то ее, видно, любезный, ибо он ныне муж ее.

Со смехом вспоминает она безумства былые и потом говорит с тяжким вздохом, что прошла пора смеха, что лавры срезаны и уже не ходить ей за ними в лесок. Заговорили мы об ее муже. Как добрая женщина, она находит, что он порядочен, не далек, но и не близок ей. Брак — не забава, говорит она. Все это знают. И ты лучше, чем кто-либо. Нечего делать. А стараться найти любовь в супружестве так же глупо, как решетом воду черпать. Я не шалая,

не жалуюсь, что не имею того, что желала бы. Тем, что есть у меня, я довольствуюсь: что есть, то и ладно. Не стоит сетовать... А все же ныне я вижу, как далеко от того, что желаешь, то, что можешь, и от того, о чем грезишь в юности, то, что рад иметь под старость. Это умилительно или смешно: не знаешь, что из двух. Все эти надежды, отчаянья, и пламенность, и томность, и прекрасные эти обеты, и золотые рассветы — все это, все это только огонь, на котором поставишь горшок и сваришь суп! Он вкусен, конечно, для нас он хорош. Но если б тогда я знала... Впрочем, у нас остается всегда, чтоб подсластить обед, наш смех, важная приправа, с нею хоть камни ешь, право. Чудное средство, оно у меня, у тебя всегда под рукой. Состоит оно в том, что ты можешь смеяться сам над собой, коли видишь, что был дураком!

Мы так и поступаем не только по отношенью к себе, но и к другим. Порой мы смолкаем, смутно мечтаем, перебираем мысли, я — уткнувшись в книгу, она — в рукоделье свое; но языки под шумок продолжают работать, подобно тому как два ручейка текут под землей и вдруг выходят на солнце, весело прыгая. Марфа прерывает молчанье взрывом хохота; и язычки ну плясать сызнова!

Я попробовал ввести Плутарха в общество наше. Я хотел, чтобы Марфа оценила его чудные сказки и проникновенность чтенья моего. Но мы не имели никакого успеха. Греция и Рим занимали ее столько же, сколько яблоко — рыбу. Даже тогда, когда она и старалась из вежливости слушать, через мгновенье мысли ее были далеки и где-то бегали взапуски; или, вернее, обходили дозором снизу доверху дом. В самом трепетном месте рассказа, тогда как искусно я оттягивал миг высшего волненья и подготавливал, дрожащим голосом, блестящую развязку, она прерывала меня, чтобы крикнуть что-нибудь Глаше или Флоридору, находящимся на другом конце дома. Меня брала досада. Я отказывался продолжать. Не следует просить у женщины разделять наши пустые грезы. Женщина половина мужчины. Да, но какая? Верхняя? Или другая? Во всяком случае, не в разуме общность их: у каждого свой короб дури. Подобно двум побегам, выросшим из одного ствола, через сердце они сообщаются.

Не распростился я с миром. Хоть я и седень завялый, обнищалый, искалеченный, однако хватает во мне хитрости

на то, чтобы собирать ежедневно вокруг постели моей веселую стражу из юных прекрасных соседок. Приходят они под предлогом важной новости или хозяйственной просьбы. Все предлоги для них хороши: войдя, они их тут же забывают. Словно на рынке, жмутся они — Акулька румяная, Анюта шустрая, Сашенька, Дашенька, Пашенька — вокруг тельца на постели; и болтаем мы, ах, кумушки, кумушки, шумно, без умолка, как безумные. Они колокольца, я бурлила-колокол. У меня всегда есть в мешке две-три тонкие сказочки, щекочущие кошечек за ухом; ах, как они помирают! На улице слышны раскаты их смеха.

И Флоридор, обиженный моим успехом, спрашивает насмешливо, в чем его тайна. Я отвечаю:

— Тайна? Молод я, старина.

— А кроме того, — говорит он с досадой, — многое значит твоя дурная слава. Женщины всегда любят старых пролазов.

— Конечно. Разве не уважают старого воина? Все спешат увидеть его: он, мол, возвращается из страны доблести. А вот эти говорят: Николка совершал поход в страну любви. Он ее знает, он знает нас... И потом — как знать? — быть может, он еще повоюет.

— Старый шалун, — восклицает Марфа, — ишь ты какой! Не вздумал ли ты влюбиться?

— Отчего бы нет? Это — мысль. Раз так, я возьму и женюсь, чтоб вас извести.

— Эй, женись, женись, брат, угомонись. Юность должна ведь пройти!

* * *

Николин день

В день святого Николы я покинул постель и в кресле подкатили меня к окну. Под ногами — грелка. Передо мной — деревянный столик с дыркой для свечки. Около десяти община моряков — «водителей вод» — и рабочих, «товарищей речки», со скрипками во главе прошествовали мимо дома нашего, взявшись за руки, приплясывая позади жезлоносца. До того как в церковь идти, они обходили кабаки. Увидя меня, они громко меня приветствовали. Я привстал, поклонился моему святому, который ответил мне тем же. Через подоконник пожал я их черные руки,

вылил бутылку в воронку их огромных зияющих глоток (капля в море!).

В полдень сыновья мои вчетвером пришли поздравить меня. Можно не ладить друг с другом, однако именины отца — священны: это — ось, вокруг которой сложилась семья; празднуя день этот, они сближаются. Я стою за него.

Итак, в этот день они все четверо собрались у меня. Не очень-то радовала их такая встреча. Они друг друга мало любят, и сдается мне, что я так-таки единственное звено между ними. В наши времена все то исчезает, что могло бы соединять людей: дом, семья, вера; всякий считает, что один прав, и каждый живет для себя. Не подражаю я тем старикам, которые возмущаются и обижаются и думают, что с ними умрет и весь мир. Мир не пропадет; и мне кажется, что молодые знают лучше старых, что им подходит. Но старику невесело. Мир вокруг него меняется; и, коль он сам не изменится, места нет для него! Я же иначе смотрю на вещи. Сижу я в кресле. Что ж, остаюсь я в нем! А если нужно, чтобы место сохранить, мненья свои изменить, изменю их, да; устроюсь всегда, оставаясь (разумеется) все тем же. А пока, сидя в кресле своем, я гляжу на меняющийся мир и на молодцов моих спорящих; любуюсь ими, а меж тем скромно выжидаю, чтобы повести их по своему усмотренью...

Вот они передо мной вокруг стола: Иван-ханжа — справа, слева Антон-гугенот, который в Лионе живет... Сидели они, друг на друга не глядя, задом увязнув и аршин проглотив. Иван, цветущий, полнощекий, с холодными глазами и с улыбкой на губах, говорил нескончаемо о делах своих, хвастался, выставлял богатство свое, успех, выхвалял свои сукна и Бога, ему помогающего их продавать. Антон, бритоусый, с козлиной бородкой, хмурый, прямой и бесстрастный, говорил словно про себя, о книжной своей торговле, о путешествиях в Женеву, о своих деловых сношеньях и вере и тоже восхвалял Бога, но другого. Каждый говорил по очереди, не слушая песни соседа, замолкал и снова начинал. Но потом оба они, раздраженные, стали обсуждать предметы, которые могли выбить из колеи собеседника, этот — успехи веры истинной, тот — достиженья истинной веры. При этом они упрямо продолжали не внимать друг другу; и, неподвижные, словно

в воротниках железных, горько и яростно поносили они Бога вражеского.

Между ними стоял, глядел на них, пожимал плечами и громко смеялся мой третий сын, Михайло, солдат удалый (неплохой он малый). Не мог устоять он на месте и пошел кружить, как волк в клетке; барабаня по стеклам, напевая: ток, ток, а то останавливался, чтобы сглазить спорщиков да расхохотаться им в лицо; или же грубо прерывал их, объявляя, что две жирные овцы, будь они красным или синим крестом отмечены, равно хороши и что им это докажут на деле... «Каких мы только не ели!..»

Анис, последний мой сын, в ужасе глядел на него. Анис, удачно названный, пороха не выдумавший... Споры его тревожили. Ничто на земле не занимает его. Дай ему только спокойно позевывать да скучать с утра до вечера. Посему зовет он орудием дьявола дела государства и веры, изобретенные-де, чтобы тревожить мирный сон умных людей или ум людей сонных... «Дурна ли вещь иль хороша, но раз она у меня, зачем менять? Постель, запечатлевшая вдавленный след тела моего, постлана для меня. Не хочу я новой простыни...»

Но хотел ли он или нет, а тюфяк его потряхивали. И в порыве возмущенья, боясь за свой покой, кроткий человек этот был способен палачу предать всех будил. А пока, растерянный, слушал он разговор остальных; и как только голоса повышались, голова его втягивалась в плечи. Я же, напрягая слух и зрение, забавлялся тем, что разбирал, в чем эти четверо на меня походили. Однако они сыновья мои, за это я отвечаю. Но хоть и вышли они из меня, не вышли они; и как, черт возьми, они в меня забрались? Я себя ощупываю: как мог я носить в чреслах своих вон этого проповедника, этого холопа папского да бешеную овцу? (Оставляю в стороне бродягу...) О природа, предательница! Они, значит, были во мне? Да, я носил в себе их зародыши; узнаю родственные движенья, обороты речи и даже — мышленья; я себя вижу в них преображенным. Но под удивленной личиной человек остается тот же. Тот же — единый и многоликий. Всякий носит в себе двадцать разных людей — смеющегося, плачущего, деревянно-равнодушного и, смотря по погоде, — волка, собаку и овцу, доброго малого и шелопая, но один из этих двадцати — самый

сильный, и, присваивая себе право слова, он может заткнуть глотку остальным. Вот почему те и удирают, когда видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и сделали. Бедняги! Я виноват. Так далеко они от меня и так близко!..

Да что ж! Они как-никак — мои детеныши. Когда говорят они глупости, мне хочется просить у них прощенья за то, что я создал их глупыми. По счастью, они довольны и судьбой и собой!.. Пусть, я за них рад. Но не могу я переносить одно — то, что они не могут допускать, чтобы другие уродовали себя, если им это нравится.

Выпрямившись на боднях своих, угрожая взглядом и клювом, они все четверо походили на сердитых петухов, готовых прыгнуть друг на друга. Я безмятежно наблюдал, потом сказал:

— Ладно, ладно, овечки мои, я вижу, что вы себя не дадите остричь. Кровь красна (еще бы? она моя), а голос еще краше. Вдоволь наговорились вы, теперь — мой черед. Язык у меня чешется. А вы отдохните.

Они, однако, не торопились послушаться. Одно слово прорвало грозовые тучи. Иван, вскочив, поднял стул. Михайло обнажил свою длинную шпагу, Антон вынул нож; Анис же ревел благим матом: «Пожар, потоп!» Того и гляди, эти четыре волка друг друга зарежут. Схватил я первый предмет, попавшийся под руку (как раз оказался он, случайно, тем кувшином, который приводил меня в отчаянье, а Флоридора в восторг), и, кокнув им по столу, разбил его вдребезги. Меж тем Марфа, вбежав, размахивала дымящимся котлом и угрожала вылить его им на голову. Заорали они, как стадо ослят; но когда я реву, нет осла, который бы не опустил хвоста.

— Я здесь хозяин, я приказываю. Молчать. Что вы, с ума сошли? Разве мы здесь собрались, чтоб обсуждать символ веры Никея? Я люблю поспорить, еще бы, но попросил бы я вас, друзья, выбирайте предметы поновее. Я устал от этих, смертельно устал. Шут вас дери, обсуждайте, коль ваше здоровье требует того, бургонское это вино иль колбасу — все то, что можно видеть или выпить, тронуть иль съесть: мы выпьем, съедим, чтоб проверить. Но спорить о Боге! О Святом Духе, Господи, — какое скудоумие! Я не порицаю верующих, я верую, мы веруем, вы веруете... во все что угодно. Но поговорим о другом: мало ли что есть

на свете! Каждый из вас войдет в рай. Ладно, валяй. Ждут вас там, местечко уготовлено для каждого избранника; остальные же останутся за дверью; верю... Но пускай Господь Бог сам, как хочет, размещает гостей своих: это его дело, и не мешайте вы ему... У всякого царство свое. У Бога — небо, у нас — земля. Украшать ее, коль можно, — вот наш долг. Работников и так не слишком много. Думаете ли вы, что можно обойтись хотя бы без одного из вас? Вы все четверо полезны стране. Она столько же нуждается в твоей вере, Иван, сколько и в твоей, Антон; нужен ей и твой нрав беспокойный, Михаил, и твоя косность, Анис. Вы четыре столба. Подайся один, и весь дом рухнет. Вы остались бы ненужными развалинами. К этому ли вы стремитесь? Рассудительно, нечего сказать! Что подумали бы вы о четырех моряках, которые в море, в непогоду, вместо того чтобы править судном, только бы делали, что ссорились. Помнится мне, слышал я некогда разговор между королем Генрихом и герцогом Неверским. Они оба жаловались на дурь французов, норовящих всегда переколоть друг друга. «Черт им в пузо, — говорил король, — я бы желал, дабы их успокоить, всунуть их в мешок по двое, монаха бешеного и проповедника неистового, да в реку, как котят, кинуть их».

А герцог, смеясь: «По мне, достаточно было бы отправить их на тот остров, куда, говорят, граждане Берна высаживают мужей и жен сварливых; месяц спустя, когда корабль за ними приходит, они воркуют нежно, как влюбленные голубки». Вот какое вам нужно леченье! Ворчите, уроды? Спиной друг к другу становитесь? Эй, взгляните на себя, детки. Напрасно каждый из вас думает, что он лучше и краше изваян, чем братец его. Все вы одного помола. Персики чистые, бургундцы истые...

Стоит только взглянуть на этот большой дерзкий нос, развернувшийся поперек лица, на этот широкий, топором вырубленный рот — воронка для вина, на глаза эти заросшие, которые очень бы хотели казаться злыми, а смеются! Да на вас клеймо! Поймите же, что, вредя друг другу, вы сами себя уничтожаете! У вас образ мыслей разный? Велика важность! Или вы желали бы пахать одно и то же поле? Чем больше у нашей семьи будет полей и мыслей, тем счастливее и сильнее мы будем. Распространяйтесь, умножайтесь

и берите все, что можете, от земли и от мысли. У каждого свое, и сплочены все, — ну-ка, сыны, поцелуйтесь, дабы громадный нос Персиков расплетал тень свою через нивы и вдыхал красоту мира!

Они молчали, насупившись, но заметно было, что еще немножко, и они рассмеются. Михаил расхохотался первым и, протянув руку Ивану, сказал:

— Ну-ка, старший носач!

Они обнялись.

— Эй, Марфа, тащи заздравное!

Тут я заметил, что когда я в сердцах разбил кувшин, то порезал себе кисть. На столе алело несколько капель крови. Антон, неизменно торжественный, поднял руку мою, подставил под нее стакан, собрал в нем сок моей жилы и сказал напыщенно:

— Выпьем все четверо из стакана этого, чтобы скрепить наш союз!

— Стой, стой, Антон, не смей портить Божье вино! Фу! Как это противно! Изволь выплеснуть эту бурду. Кто хочет испить самой крови моей, пусть осушит до дна кружку вина!

На сем чокнулись мы и о вкусе питья не спорили.

По уходе моих сыновей Марфа, обвязывая руку мою, сказала мне:

— Старый стервец, добился ты наконец!

— Добился чего? Того ли, что их помирил?

— Я о другом.

— О чем же?

Она указала на стол, на котором лежал разбитый кувшин.

— Ты отлично меня понимаешь. Не притворяйся овечкой... Признайся... ты должен признаться... Ну, скажи на ушко! Никто не узнает...

Я прикидывался удивленным, возмущенным, полоумным, но смех меня разбирал... Я задыхался. Она повторила:

— Негодяй, негодяй!

Я сказал:

— Он был слишком уродлив. Послушай, милая дочка: он или я — один из нас должен был сгинуть.

— Тот, который остался, не краше.

— Что до него, он, может быть, гадок. Пускай... Мне все равно. Я не вижу его.

* * *

Сочельник

На петлях своих намасленных вертится год. Дверь закрывается и вновь отворяется. Словно сложенное сукно, падают дни в бархатный ларь ночей. Они входят с одной стороны и выходят с другой, удлиняясь на блошиный прыжок. Сквозь щель я вижу глаза блестящие нового года.

Сижу у большого камина в рождественскую ночь и гляжу как бы со дна колодца ввысь на звездное небо, на его мерцающие веки, на его сердечки дрожащие, и слышу, как близятся колокола, летящие по гладкому воздуху, звонящие к заутрене. Мне любо думать, что Младенец родился в этот поздний час, в этот час темнейший, когда будто мир кончается. Его голосок поет: «День, ты вернешься! Ты грядешь уже. Новый Год, вот и ты!» И надежда теплыми крыльями голубит ночь ледяную и смягчает ее.

Я один в доме; дети мои в церкви. Остаюсь с собакой моею Лимоном и кошкою Потапошкой. Мы грезим и смотрим, как пламя подлизывает под хайло. Вспоминаю вечер недавний. Только что выводок мой был подле меня; я рассказывал Глаше моей круглоглазой волшебные сказки о гадком утенке, о Мальчике с пальчик, о ребенке, что разбогател, петуха продавая тем людям, которые день перевозят в тележках. Очень весело было. Остальные слушали и смеялись, и каждый сказал свое слово. А потом примолкли, следили кипящую воду, горящие угли и трепет снежинок на стеклах и сверчка под золой. Ах, славные зимние ночи, молчанье, теплый семейный уют, грезы в час бденья, в час, когда ум любит кудесить, но знает это, и если и бредит, то в шутку...

А ныне, что кончился год, подвожу я приход и расход и подмечаю, что за шесть месяцев я все потерял: жену, дом, деньги и ноги свои. Но забавно то, что в конце-то концов я, как прежде, богат. Нет у меня ничего, говорят? Да, нечего больше нести на себе. Легче стало... Никогда не бывал я так бодр и свободен, никогда так легко я не плыл по теченью грезы своей...

Однако кто бы сказал мне в прошлом году, что так весело приму беду! Разве не клялся я, что до гроба хочу оставаться у себя господином единым, твердым и самостоятельным, что только себя должен благодарить я

за дом и за пищу и только себе отчет отдавать в своих бреднях!

Судьба решила иначе, а все-таки ладно вышло. И человек в общем — животное кроткое. Все ему нравится. Он приспособляется с одинаковой легкостью к счастью, к скорби, к скоромному, к постному. Дай ему четыре ноги или две отними, лиши его слуха, зренья, голоса, — он все-таки как-то устроится так, чтобы видеть, слышать иль говорить. Он словно воск растяжимый и сжимчивый. И сладостно знать, что в уме и в ногах есть у тебя эта гибкость, что можешь быть рыбой в воде, птицей в воздухе, саламандрой в огне, а на земле — человеком, воюющим весело со всеми стихиями. Так, чем беднее ты, тем ты богаче, ибо душа создает все, что хочет иметь: широкое дерево по обрезании веток выше растет. Чем меньше имею, тем больше я сам.

Полночь. Бьют часы.

«Он родился, младенец божественный».

Я распеваю:

«Играйте, гобои, звените, волынки!
Как прекрасен и нежен Христос».

Дремота долит. Я засыпаю, плотно усевшись, чтобы в очаг не упасть.

Звените, волынки, играйте, гобои бойкие.
Он родился, Младенец Иисус.

* * *

Крещение

Однако, я крупно шучу! Ибо чем меньше имею, тем больше есть у меня. И я это твердо знаю. Удается мне, нищему, быть богачом: богатство — чужое. Что говорят мне о дряхлых отцах, разграбленных, все, все отдавших — портки и рубашку — детям своим бессердечным и ныне забытых, покинутых всеми, чующих тысячу рук, их толкающих в яму могильную? Вот, уж правда, неловкие! Никогда не бывал я, ей-ей, так ласкаем, любим, как в дни моей бедности. Дело в том, что не отдал я сдуру всего, а кое-что все же сберег. Не только ведь денежки можно отдать. Я-то,

отдав их, самое лучшее крепко держу — веселость мою, все, что собрал за полвека жизни шатучей, а набрал я немало хорошего, радости, хитрости, мудрости шалой, безумия мудрого. И еще мой запас не иссяк, мешок мой для всех открываю: берите пригоршнями, так! Разве это пустяк? Коли дети мне дарят свое, я тоже дарю — поверстались! И если иной дает меньше других, что ж — любовь доплатит недоимку; и жалоб не слышно.

Смотрите, вот он, бесцарственный царь, Иоанн Беземельный, счастливый мерзавец, вот он, Персик из Галлии, вот он сидит на престоле, управляя пиром гремящим!

Сегодня Крещенье: днем проходили по улице нашей три волхва, и их свита, белое стадо, шесть пастушков, шесть пастушек, и, шествуя, пели они; и собаки брехали. А ныне вечером все мы сидим за столом, все дети мои и детища детищ моих. Всех нас за ужином две с половиною дюжины, и все тридцать кричат:

— Пьет король!

А король — это я. Мой венец — горшок тестяной. Королева же Марфа: я, как в Писании, женился на дочери. Всякий раз, что стакан подношу я к губам, меня чествуют, я хохочу и глотаю с поперхой... но все же глотаю, ничего не теряю. Королева моя тоже пьет и, грудь оголив, сует свой красный сосок детенышу красному в рот. И пьет гологузый слюнтяйчик, последний мой внук. И пес под столом из миски лакает и тявкает; и кот, гудя и кобенясь, удирает с костью.

И думаю я (громко: не люблю я думать про себя):

— Жизнь хороша. Ах, друзья! Ее недостаток единственный тот, что она коротка: платишь много, дают недостаточно. Вы скажете мне: «Будь доволен: твоя часть хороша, и ты ее съел». Не отрицаю. Но съел бы я вдвое. И как знать! Может быть, если не буду кричать слишком громко, получу я второй кусок пирога... Грустно лишь то, что хоть я и в живых, столько добрых малых пропали бесследно, увы! Боже, как годы проходят, а с ними и люди! Где король Генрих и добрый наш герцог Людовик?

И вот отправляюсь по дорогам былого собирать цветочки завялые воспоминаний; и я пью, и я вью свои сказки, не устаю, пересказываю. Мне дети мои не мешают болтать, и порою, когда нахожу я не сразу нужное слово или запутываюсь, они мне тихонько подскажут конец; и тут я

очнусь от мечтании своих, окруженный глазами любовно-лукавыми.

— Да что, старина (говорят мне они), хорошо было жить в двадцать лет? У женщин тогда была грудь и полней и прекрасней, у мужчин было сердце и все остальное — на месте. Стоило только взглянуть на Генриха и на его куманька Людовика! Нет больше изделий из этого дерева...

Я отвечаю:

— Черти, смеетесь вы? Что же, вы правы, смеяться полезно. Не глуп я, не думаю я, что нет винограда у нас иль молодцов, чтоб его собирать. Я знаю: когда уходит один, приходят трое, и дуб, из которого строят галлов, удалых ребят, растет все по-прежнему прямо, и густо, и крепко. Дерево то же, но ныне изделье другое, саженей сколько б вы ни рубили, никогда не создастся король мой Генрих иль герцог Людовик. А их-то любил я... Стой, стой, Николка, чего распускаешь ты нюни! Слезы? Ах, дурень, неужто ты станешь жалеть о том, что не можешь всю жизнь пережевывать тот же все кус? Изменилось вино? Вкусно оно все равно. Будем пить! Да здравствует залпом пьющий король! Да здравствует также народ. Погреб его!..

И то: по правде сказать, дети мои, хоть добрый король и хорош, а лучше все же — я сам. Будем свободны, французы милые, и пошлем пастухов наших травку щипать! Я да земля — мы любим друг друга, ничего нам не нужно. На что мне король — на земле иль на небе? У каждого пядь земли и руки, чтоб ее разворачивать.

Вот твое место на солнце, вот твоя тень. Есть у тебя десятина, есть и руки, чтобы сеять, пахать! Что же еще тебе нужно? И если король бы вошел ко мне, я бы сказал: «Ты мой гость. За здоровье твое! Садись. Ты, брат, не один. Всякий француз — властелин. И я, твой слуга, у себя господин».

Л. КАРРОЛЬ

Аня въ странѣ чудесъ

Пер. съ англ. В. Сирина
съ рисунками
С. Залшу-
пина

...О ГАМАЮНЪ
...ИНЪ
...23

Л КАРРОЛЬ

Аня въ странѣ чудесъ

ИЗД. ГАМАЮНЪ

БЕРЛИНЪ

1923

Льюис Кэрролл

Аня в Стране чудес

Перевод В. Сирина

— *1923* —

Глава 1
НЫРОК В КРОЛИЧЬЮ НОРКУ

Ане становилось скучно сидеть без дела рядом с сестрой на травяном скате; раза два она заглянула в книжку, но в ней не было ни разговоров, ни картинок. «Что проку в книжке без картинок и без разговоров?» — подумала Аня.

Она чувствовала себя глупой и сонной — такой был жаркий день. Только что принялась она рассуждать про себя, сто́ит ли встать, чтобы набрать ромашек и свить из них цепь, как вдруг, откуда ни возьмись, пробежал мимо нее Белый Кролик с розовыми глазами.

В этом, конечно, ничего особенно замечательного не было; не удивилась Аня и тогда, когда услыхала, что Кролик бормочет себе под нос: «Боже мой, Боже мой, я наверняка опоздаю». (Только потом, вспоминая, она заключила, что говорящий зверек — диковина, но в то время ей почему-то казалось это очень естественным.) Когда же Кролик так-таки и вытащил часы из жилетного кармана и, взглянув на них, поспешил дальше, тогда только у Ани блеснула мысль, что ей никогда не приходилось видеть, чтобы у кролика были часы и карман, куда бы их совать. Она вскочила, сгорая от любопытства, побежала за ним через поле и как раз успела заметить, как юркнул он в большую нору под шиповником.

Аня мгновенно нырнула вслед за ним, не задумываясь над тем, как ей удастся вылезти опять на свет Божий.

Нора сперва шла прямо в виде туннеля, а потом внезапно оборвалась вниз — так внезапно, что Аня не успела и ахнуть, как уже стоймя падала куда-то, словно попала в бездонный колодец.

Да, колодец, должно быть, был очень глубок, или же падала она очень медленно: у нее по пути вполне хватало времени осмотреться и подумать о том, что может дальше

случиться. Сперва она взглянула вниз, чтоб узнать, что ее ожидает, но глубина была беспросветна; тогда она посмотрела на стены колодца и заметила, что на них множество полок и полочек; тут и там висели на крючках географические карты и картинки. Она падала вниз так плавно, что успела мимоходом достать с одной из полок банку, на которой значилось: «Клубничное Варенье». Но, к великому ее сожалению, банка оказалась пустой. Ей не хотелось бросать ее из боязни убить кого-нибудь внизу, и потому она ухитрилась поставить ее в один из открытых шкафчиков, мимо которых она падала.

«Однако, — подумала Аня, — после такого испытанья мне ни чуточку не покажется страшным полететь кувырком с лестницы! Как дома будут дивиться моей храбрости! Что лестница! Если бы я даже с крыши грохнулась, и тогда б я не пикнула! Это уже, конечно».

Вниз, вниз, вниз... Вечно ли будет падение? «Хотела бы я знать, сколько верст сделала я за это время, — сказала она громко. — Должно быть, я уже приближаюсь к центру Земли. Это, значит, будет приблизительно шесть тысяч верст. Да, кажется, так... (Аня, видите ли, выучила несколько таких вещей в классной комнате, и хотя сейчас не очень кстати было высказывать свое знание, все же такого рода упражнение ей казалось полезным.)... Да, кажется, это верное расстояние, но вопрос в том, на какой широте или долготе я нахожусь?» (Аня не имела ни малейшего представления, что такое долгота и широта, но ей нравился пышный звук этих двух слов.)

Немного погодя она опять принялась думать вслух: «А вдруг я провалюсь сквозь землю. Как забавно будет выйти на той стороне и очутиться среди людей, ходящих вниз головой! Антипатии, кажется». (На этот раз она была рада, что некому слышать ее: последнее слово как-то не совсем верно звучало.)

«Но мне придется спросить у них название их страны. Будьте добры, сударыня, сказать мне, куда я попала: в Австралию или в Новую Зеландию?» (Тут она попробовала присесть — на воздухе-то!) «Ах, за какую дурочку примут меня! Нет, лучше не спрашивать: может быть, я увижу это где-нибудь написанным».

Вниз, вниз, вниз... От нечего делать Аня вскоре опять заговорила: «Сегодня вечером Дина, верно, будет скучать

без меня. (Дина была кошка.) Надеюсь, что во время чая не забудут налить ей молока в блюдце. Дина, милая, ах, если бы ты была здесь, со мной! Мышей в воздухе, пожалуй, нет, но зато ты могла бы поймать летучую мышь! Да вот едят ли кошки летучих мышей? Если нет, почему же они по крышам бродят?» Тут Аня стала впадать в дремоту и продолжала повторять сонно и смутно: «Кошки на крыше, летучие мыши...» А потом слова путались и выходило что-то несуразное: летучие кошки, мыши на крыше... Она чувствовала, что одолел ее сон, но только стало ей сниться, что гуляет она под руку с Диной и очень настойчиво спрашивает у нее: «Скажи мне, Дина, правду: ела ли ты когда-нибудь летучих мышей?» — как вдруг...

Б у х! Б у х!

Аня оказалась сидящей на куче хвороста и сухих листьев. Падение было окончено. Она ничуть не ушиблась и сразу же вскочила на ноги. Посмотрела вверх — там было все темно. Перед ней же был другой длинный проход, и в глубине еще виднелась спина торопливо семенящего Кролика. Аня, вихрем сорвавшись, кинулась за ним и успела услышать, как он воскликнул на повороте: «Ох, мои ушки и усики, как поздно становится!» Она была совсем близко от него, но, обогнув угол, потеряла его из виду. Очутилась она в низкой зале, освещенной рядом ламп, висящих на потолке.

Вокруг всей залы были многочисленные двери, но все оказались запертыми! И после того как Аня прошлась вдоль одной стороны и вернулась вдоль другой, пробуя каждую дверь, она вышла на середину залы, с грустью спрашивая себя, как же ей выбраться наружу.

Внезапно она заметила перед собой столик на трех ножках, весь сделанный из толстого стекла. На нем ничего не было, кроме крошечного золотого ключика, и первой мыслью Ани было, что ключик этот подходит к одной из дверей, только что испробованных ею. Не тут-то было! Замки были слишком велики, ключик не отпирал. Но, обойдя залу во второй раз, она нашла низкую занавеску, которой не заметила раньше, а за этой занавеской оказалась крошечная дверь. Она всунула золотой ключик в замок — он как раз подходил!

Аня отворила дверцу и увидела, что она ведет в узкий проход величиной с крысиную норку. Она встала на колени и, взглянув в глубину прохода, увидела в круглом просвете уголок чудеснейшего сада. Как потянуло ее туда из сумрачной залы, как захотелось ей там побродить между высоких нежных цветов и прохладных светлых фонтанов! — но и головы она не могла просунуть в дверь. «А если б и могла, — подумала бедная Аня, — то все равно без плеч далеко не уйдешь. Ах, как я бы хотела быть в состоянии складываться, как подзорная труба! Если б я только знала, как начать, мне, пожалуй, удалось бы это». Видите ли, случилось столько необычайного за последнее время, что Ане уже казалось, что на свете очень мало действительно невозможных вещей.

Постояла она у дверцы, потопталась, да и вернулась к столику, смутно надеясь, что найдет на нем какой-нибудь другой ключ или по крайней мере книжку правил для людей, желающих складываться по примеру подзорной трубы; на этот раз она увидела на нем сткляночку (которой раньше, конечно, не было, подумала Аня), и на бумажном ярлычке, привязанном к горлышку, были напечатаны красиво и крупно два слова: «ВЫПЕЙ МЕНЯ».

Очень легко сказать: «Выпей меня», но умная Аня не собиралась действовать опрометчиво. «Посмотрю сперва, — сказала она, — есть ли на ней пометка „яд“». Она помнила, что читала некоторые милые рассказики о детях, которые пожирались дикими зверями и с которыми случались всякие другие неприятности, — все только потому, что они не слушались дружеских советов и не соблюдали самых простых правил, как, например: если будешь держать слишком долго кочергу за раскаленный докрасна кончик, то обожжешь руку; если слишком глубоко воткнешь в палец нож, то может пойти кровь; и, наконец, если глотнешь из бутылочки, помеченной «яд», то рано или поздно почувствуешь себя неважно.

Но в данном случае на стклянке никакого предостережения не было, и Аня решилась испробовать содержимое. И так как оно весьма ей понравилось (еще бы! это был, какой-то смешанный вкус вишневого торта, сливочного мороженого, ананаса, жареной индейки, тянушек и горячих гренков с маслом), то стклянка вскоре оказалась пуста.

. . . .

«Вот странное чувство! — воскликнула Аня. — Должно быть, я захлопываюсь, как телескоп».

Действительно, она теперь была не выше десяти дюймов росту, и вся она просияла при мысли, что при такой величине ей легко можно пройти в дверцу, ведущую в дивный сад. Но сперва нужно было посмотреть, перестала ли она уменьшаться: этот вопрос очень ее волновал. «Ведь это может кончиться тем, что я вовсе погасну, как свеча, — сказала Аня. — На что же я тогда буду похожа?» И она попробовала вообразить себе, как выглядит пламя после того, как задуешь свечу. Никогда раньше она не обращала на это внимания.

Через некоторое время, убедившись в том, что ничего больше с ней не происходит, она решила не медля отправиться в сад. Но, увы! Когда бедная Аня подошла к двери, она спохватилась, что забыла взять золотой ключик, а когда пошла за ним к стеклянному столику, то оказалось, что нет никакой возможности до него дотянуться: она видела его совершенно ясно, снизу, сквозь стекло, и попыталась даже вскарабкаться вверх по одной из ножек, но слишком было скользко, — и, уставшая от тщетных попыток, бедняжка свернулась в клубочек и заплакала.

«Будет тебе плакать. Что толку в слезах? — довольно резко сказала Аня себе самой. — Советую тебе тотчас же перестать». Советы, которые она себе давала, обычно были весьма добрые, хотя она редко следовала им. Иногда она бранила себя так строго, что слезы выступали на глазах, а раз, помнится, она попробовала выдрать себя за уши за то, что сплутовала, играя сама с собой в крокет. Странный этот ребенок очень любил представлять из себя двух людей. «Но это теперь ни к чему, — подумала бедная Аня. — Ведь от меня осталось так мало! На что я гожусь?..»

Тут взгляд ее упал на какую-то стеклянную коробочку, лежащую под столом: она открыла ее и нашла в ней малюсенький пирожок, на котором изящный узор изюминок образовал два слова: «СЪЕШЬ МЕНЯ!»

«Ну что же, и съем! — сказала Аня. — И если от этого я вырасту, то мне удастся достать ключ; если же я стану еще меньше, то смогу подлезть под дверь. Так или иначе, я буду в состоянии войти в сад. Будь что будет!»

Она съела кусочек и стала спрашивать себя: «В какую сторону, в какую?» — и при этом ладонь прижимала к темени, чтобы почувствовать, по какому направлению будет расти голова; однако, к ее великому удивлению, ничего не случилось: она оставалась все того же роста. Впрочем, так обыкновенно и бывает, когда ешь пирожок, но она так привыкла на каждом шагу ждать одних только чудес, что жизнь уже казалась ей глупой и скучной, когда все шло своим порядком.

Поэтому она принялась за пирожок, и вскоре он был уничтожен. . . . .
. . . .

Глава 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Чем дальнее, тем странше! — воскликнула Аня (она так оторопела, что на мгновение разучилась говорить правильно). — Теперь я растягиваюсь, как длиннейшая подзорная труба, которая когда-либо существовала. Прощайте, ноги! — (Дело в том, что, поглядев вниз, на свои ноги, она увидела, что они все удаляются и удаляются — вот-вот исчезнут.) — Бедные мои ножки, кто же теперь на вас будет натягивать чулки, родные? Уж конечно, не я! Слишком велико расстояние между нами, чтобы я могла о вас заботиться; вы уж сами как-нибудь устройтесь. Все же я должна быть с ними ласкова, — добавила про себя Аня, — а то они, может быть, не станут ходить в ту сторону, в какую я хочу! Что бы такое придумать! Ах, вот что: я буду дарить им по паре сапог на Рождество».

И стала она мысленно рассуждать о том, как лучше осуществить этот замысел. «Сапоги придется отправить с курьером, — думала она. — Вот смешно-то! посылать подарки своим же ногам! И как дико будет выглядеть адрес:

ГОСПОЖЕ ПРАВОЙ НОГЕ АНИНОЙ
Город Коврик
Паркетная губерния

«Однако, какую я чушь говорю!»

Тут голова ее стукнулась о потолок; тогда она схватила золотой ключик и побежала к двери, ведущей в сад.

Бедная Аня! Всего только и могла она, что, лежа на боку, глядеть одним глазом в сад; пройти же было еще труднее, чем раньше. И, опустившись на пол, она снова заплакала.

«Стыдно, стыдно! — вдруг воскликнула Аня. — Такая большая девочка (увы, это было слишком верно) — и плачет! Сейчас же перестань! Слышишь?» Но она все равно продолжала лить потоки слез, так что вскоре на полу посредине залы образовалось довольно глубокое озеро.

Вдруг она услыхала мягкий стук мелких шажков. И она поскорее вытерла глаза, чтобы разглядеть, кто идет. Это был Белый Кролик, очень нарядно одетый, с парой белых перчаток в одной руке и с большим веером в другой. Он семенил крайне торопливо и бормотал на ходу: «Ах, Герцогиня, Герцогиня! Как она будет зла, если я заставлю ее ждать!»

Аня находилась в таком отчаянии, что готова была просить помощи у всякого: так что, когда Кролик приблизился, она тихо и робко обратилась к нему: «Будьте добры...» Кролик сильно вздрогнул, выронил перчатки и веер и улепетнул в темноту с величайшей поспешностью.

Аня подняла и перчатки, и веер и, так как в зале было очень жарко, стала обмахиваться все время, пока говорила:

«Ах ты Боже мой! Как сегодня все несуразно! Вчера все шло по обыкновению. Неужели же за ночь меня подменили? Позвольте: была ли я сама собой, когда утром встала? Мне как будто помнится, что я чувствовала себя чуть-чуть другой. Но если я не та же, тогда... тогда... кто же я, наконец? Это просто головоломка какая-то!» И Аня стала мысленно перебирать всех сверстниц своих, проверяя, не превратилась ли она в одну из них.

«Я наверно знаю, что я не Ада, — рассуждала она. — У Ады волосы кончаются длинными кольчиками, а у меня кольчиков вовсе нет; я убеждена также, что я и не Ася, потому что я знаю всякую всячину, она же — ах, она так мало знает! Кроме того, она — она, а я — я. Боже мой, как это все сложно! Попробую-ка, знаю ли я все те вещи, которые я знала раньше. Ну, так вот: четырежды пять —

двенадцать, а четырежды шесть — тринадцать, а четырежды семь — ах, я никогда не доберусь до двадцати! Впрочем, таблица умножения никакого значения не имеет. Попробую-ка географию. Лондон — столица Парижа, а Париж — столица Рима, а Рим... Нет, это все неверно, я чувствую. Пожалуй, я действительно превратилась в Асю! Попробую еще сказать стихотворение какое-нибудь. Как это было? „Не знает ни заботы, ни труда..." Кто не знает?»

Аня подумала, сложила руки на коленях, словно урок отвечала, и стала читать наизусть, но голос ее звучал хрипло и странно, и слова были совсем не те:

Крокодилушка не знает
Ни заботы, ни труда.
Золотит его чешуйки
Быстротечная вода.
Милых рыбок ждет он в гости,
На брюшке средь камышей:
Лапки врозь, дугою хвостик,
И улыбка до ушей...

«Я убеждена, что это не те слова, — сказала бедная Аня, и при этом глаза у нее снова наполнились слезами. — По-видимому, я правда превратилась в Асю, и мне придется жить с ее родителями в их душном домике, почти не иметь игрушек и столько, столько учиться! Нет, уж решено: если я — Ася, то останусь здесь, внизу! Пускай они тогда глядят сверху и говорят: „Вернись к нам, деточка!" Я только подниму голову и спрошу: „А кто я? Сперва скажите мне, кто я. И если мне понравится моя новая особа, я поднимусь к вам. А если не понравится, то буду оставаться здесь, внизу, пока не стану кем-нибудь другим". Ах, Господи! — воскликнула Аня, разрыдавшись. — Как я все-таки хотела бы, чтобы они меня позвали! Я так устала быть одной!»

Тут она посмотрела на свои руки и с удивлением заметила, что, разговаривая, надела одну из крошечных белых перчаток, оброненных Кроликом.

«Как же мне удалось это сделать? — подумала она. — Вероятно, я опять стала уменьшаться». Она подошла к столу, чтобы проверить рост свой по нему. Оказалось, что она уже ниже его и быстро продолжает таять. Тогда ей стало ясно, что причиной этому является веер в ее руке. Она

поспешно бросила его. Еще мгновенье — и она бы исчезла совершенно!

«Однако, едва-едва спаслась! — воскликнула Аня, очень испуганная внезапной переменой и вместе с тем довольная, что еще существует. — А теперь — в сад!» И она со всех ног бросилась к двери, но — увы! — дверца опять оказалась закрытой, а золотой ключик лежал на стеклянном столике, как раньше. «Все хуже и хуже! — подумало бедное дитя. — Я никогда еще не была такой маленькой, никогда! Как мне не везет!»

При этих словах она поскользнулась, и в следующее мгновенье — бух! — Аня оказалась по горло в соленой воде. Ее первой мыслью было, что она каким-то образом попала в море. «Ведь в таком случае, — сказала она про себя, — я просто могу вернуться домой поездом». (Аня только раз в жизни побывала на берегу моря и пришла к общему выводу, что, какое бы приморское место ни посетить, все будет то же: вереница купальных будок, несколько детей с деревянными лопатами, строящих крепость из песку, дальше ряд одинаковых домов, где сдаются комнаты приезжающим, а за домами железнодорожная станция.) Впрочем, она скоро догадалась, что находится в луже тех обильных слез, которые она пролила, будучи великаншей.

«Ах, если бы я не так много плакала! — сказала Аня, плавая туда и сюда в надежде найти сушу. — Я теперь буду за это наказана тем, вероятно, что утону в своих же слезах. Вот будет странно! Впрочем, все странно сегодня».

Тут она услыхала где-то вблизи барахтанье и поплыла по направлению плеска, чтобы узнать, в чем дело. Сперва показалось ей, что это тюлень или гиппопотам, но, вспомнив свой маленький рост, она поняла, что это просто мышь, угодившая в ту же лужу, как и она.

«Стоит ли заговорить с мышью? — спросила себя Аня. — Судя по тому, что сегодня случается столько необычайного, я думаю, что, пожалуй, эта мышь говорить умеет. Во всяком случае, можно попробовать». И она обратилась к ней: «О Мышь, знаете ли Вы, как можно выбраться отсюда? Я очень устала плавать взад и вперед, о Мышь!» — (Ане казалось, что это верный способ обращения, когда говоришь с мышью; никогда не случалось ей делать это прежде, но она вспомнила, что видела в братниной

латинской грамматике столбик слов: мышь, мыши, мыши, мышь, о мыши, о мышь!)

Мышь посмотрела на нее с некоторым любопытством и как будто моргнула одним глазком, но ничего не сказала.

«Может быть, она не понимает по-русски, — подумала Аня. — Вероятно, это французская мышь, оставшаяся при отступлении Наполеона», — (Аня хоть знала историю хорошо, но не совсем была тверда насчет давности разных происшествий).

— Où est ma chatte?[1] — заговорила она опять, вспомнив предложение, которым начинался ее учебник французского языка. Мышь так и выпрыгнула из воды и, казалось, вся задрожала от страха.

— Ах, простите меня, — залепетала Аня, боясь, что обидела бедного зверька. — Я совсем забыла, что вы не любите кошек.

— Не люблю кошек! — завизжала Мышь надрывающимся голосом. — Хотела бы я знать, любили ли бы вы кошек, если б были на моем месте!

— Как Вам сказать? Пожалуй, нет, — успокоительным тоном ответила Аня. — Не сердитесь же, о Мышь! А все-таки я желала бы, — продолжала она как бы про себя, лениво плавая по луже, — ах, как я желала бы вас познакомить с нашей Диной: Вы научились бы ценить кошек, увидя ее. Она такое милое, спокойное существо. Сидит она, бывало, у меня, мурлыкает, лапки облизывает, умывается... И вся она такая мягкая, так приятно нянчить ее. И она так превосходно ловит мышей... Ах, простите меня! — опять воскликнула Аня, ибо на этот раз Мышь вся ощетинилась, выражая несомненную обиду. — Мы не будем говорить о ней, если вам это неприятно.

— Вот так-так — мы не будем!.. — воскликнула Мышь, и дрожь пробежала по ее телу с кончиков усиков до кончика хвоста. — Как будто я первая заговорила об этом! Наша семья всегда ненавидела кошек. Гадкие, подлые, низкие существа! Не упоминайте о них больше!

— Разумеется, не буду, — сказала Аня и поспешила переменить разговор. — А вы любите, ну, например, собак?

Мышь не ответила, и Аня бойко продолжала:

---

[1] Где моя кошка? *(фр.)*

— В соседнем домике такой есть очаровательный песик, так мне хотелось бы вам показать его! Представьте себе: маленький яркоглазый фоксик, в шеколадных крапинках, с розовым брюшком, с острыми ушами! И если кинешь что-нибудь, он непременно принесет. Он служит и лапку подает и много всяких других штук знает — всего не вспомнишь. И принадлежит он, знаете, мельнику, и мельник говорит, что он его за тысячу рублей не отдаст, потому что он так ловко крыс убивает и... ах, Господи! Я, кажется, опять Вас обидела!

Действительно, Мышь уплывала прочь так порывисто, что от нее во все стороны шла крупная рябь по воде. Аня ласково принялась ее звать: «Мышь, милая! Вернитесь же, и мы не будем больше говорить ни о кошках, ни о собаках, раз вы не любите их».

Услыхав это, Мышь повернулась и медленно поплыла назад; лицо у нее было бледно (от негодования, подумала Аня), а голос тих и трепетен. «Выйдем на берег, — сказала Мышь, — и тогда я Вам расскажу мою повесть. И вы поймете, отчего я так ненавижу кошек и собак».

А выбраться было пора; в луже становилось уже тесно от всяких птиц и зверей, которые в нее попали: тут были и Утка, и Дронт, и Лори, и Орленок, и несколько других диковинных существ. Все они вереницей поплыли за Аней к суше.

Глава 3
ИГРА В КУРАЛЕСЫ И ПОВЕСТЬ В ВИДЕ ХВОСТА

Поистине, странное общество собралось на берегу: у птиц волочились перья, у зверей слипалась шкура — все промокли насквозь, вид имели обиженный и чувствовали себя весьма неуютно.

Первым делом, конечно, нужно было найти способ высохнуть. Они устроили совещание по этому вопросу, и через несколько минут Аня заметила — без всякого удивления, — что беседует с ними так свободно, словно знала их всю жизнь. Она даже имела долгий спор с Лори, который под конец надулся и только повторял: «Я старше Вас и

поэтому знаю лучше», а это Аня не могла допустить, но на вопрос, сколько же ему лет, Лори твердо отказался ответить, и тем разговор был исчерпан.

Наконец Мышь, которая, по-видимому, пользовалась общим почетом, крикнула: «Садитесь все и слушайте меня. Я вас живо высушу!» Все они тотчас же сели, образуя круг с Мышью посередине, и Аня не спускала с нее глаз, так как чувствовала, что получит сильный насморк, если сейчас не согреется.

Мышь деловито прокашлялась:

— Вот самая сухая вещь, которую я знаю. Прошу внимания! Утверждение в Киеве Владимира Мономаха мимо его старших родичей повело к падению родового единства в среде киевских князей. После смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а сыновьям и обратился, таким образом, в семейную собственность Мономаховичей. После старшего сына Мономаха, очень способного князя Мстислава...

— Ух! — тихо произнес Лори, и при этом его всего передернуло.

— Простите? — спросила Мышь, нахмурившись, но очень учтиво. — Вы, кажется, изволили что-то сказать?

— Нет, нет, — поспешно забормотал Лори.

— Мне, значит, показалось, — сказала Мышь. — Итак, я продолжаю: очень способного князя Мстислава, в Киеве один за другим княжили его родные братья. Пока они жили дружно, их власть была крепка; когда же их отношения обострились...

— В каком отношении? — перебила Утка.

— В отношении их отношений, — ответила Мышь довольно сердито. — Ведь вы же знаете, что такое «отношенье».

— Я-то знаю, — сказала Утка. — Я частенько «отношу» своим детям червячка или лягушонка. Но вопрос в том: что такое отношенье князей?

Мышь на вопрос этот не ответила и поспешно продолжала:

— ...обострились, то против них поднялись князья Ольговичи и не раз силою завладевали Киевом. Но Мономаховичи в свою очередь... Как Вы себя чувствуете, моя милая? — обратилась она к Ане.

— Насквозь промокшей, — уныло сказала Аня. — Ваши слова на меня, видно, не действуют.

— В таком случае, — изрек Дронт, торжественно привстав, — я предлагаю объявить заседание закрытым, дабы принять более энергические меры.

— Говорите по-русски, — крикнул Орленок. — Я не знаю и половины всех этих длинных слов, а главное, я убежден, что и вы их не понимаете!

И Орленок нагнул голову, скрывая улыбку. Слышно было, как некоторые другие птицы захихикали.

— Я хотел сказать следующее, — проговорил Дронт обиженным голосом. — Лучший способ, чтобы высохнуть, — это игра в куралесы.

— Что такое куралесы? — спросила Аня — не потому, что ей особенно хотелось это узнать, но потому, что Дронт остановился, как будто думая, что кто-нибудь должен заговорить, а между тем слушатели молчали.

— Неужели Вы никогда не вертелись на куралесах? — сказал Дронт. — Впрочем, лучше всего показать игру эту на примере.

(И так как вы, читатели, может быть, в зимний день пожелали бы сами в нее сыграть, я расскажу вам, что Дронт устроил.)

Сперва он наметил путь для бега в виде круга («Форма не имеет значенья», — сказал он при этом), а потом, а потом участники были расставлены тут и там на круговой черте. Все пускались бежать, когда хотели, и останавливались по своему усмотрению, так что нелегко было знать, когда кончается состязание. Однако после получаса бега, вполне осушившего всех, Дронт вдруг воскликнул:

— Гонки окончены!

И все столпились вокруг него, тяжело дыша и спрашивая:

— Кто же выиграл?

На такой вопрос Дронт не мог ответить, предварительно не подумав хорошенько. Он долго стоял неподвижно, приложив палец ко лбу (как великие писатели на портретах), пока другие безмолвно ждали. Наконец Дронт сказал:

— Все выиграли и все должны получить призы.

— Но кто будет призы раздавать? — спросил целый хор голосов.

— Она, конечно, — сказал Дронт, тыкнув пальцем на Аню. И все тесно ее обступили, смутно гудя и выкрикивая:

— Призы, призы!

Аня не знала, как ей быть. Она в отчаянии сунула руку в карман и вытащила коробку конфект, до которых соленая вода, к счастью, не добралась. Конфекты она и раздала в виде призов всем участникам. На долю каждого пришлось как раз по одной штуке.

— Но она и сама, знаете, должна получить награду, — заметила Мышь.

— Конечно, — ответил Дронт очень торжественно.

— Что еще есть у Вас в карманах? — продолжал он, обернувшись к Ане.

— Только наперсток, — сказала она с грустью.

— Давайте-ка его сюда! — воскликнул Дронт.

Тогда они все опять столпились вокруг нее, и напыщенный Дронт представил ее к награде: «Мы имеем честь просить Вас принять сей изящный наперсток», — сказал он, и по окончании его короткой речи все стали рукоплескать.

Это преподношение казалось Ане ужасной чепухой, но у всех был такой важный, сосредоточенный вид, что она не посмела рассмеяться. И так как она ничего не могла придумать, что сказать, она просто поклонилась и взяла из рук Дронта наперсток, стараясь выглядеть как можно торжественнее.

Теперь надлежало съесть конфекты, что вызвало немало шума и волнения. Крупные птицы жаловались, что не могли разобрать вкуса конфекты, а те, которые были поменьше, давились, и приходилось хлопать их по спине. Наконец все было кончено, и они опять сели в кружок и попросили Мышь рассказать им еще что-нибудь.

— Помните, Вы рассказ обещали, — сказала Аня. — Вы хотели объяснить, почему так ненавидите С. и К., — добавила она шепотом, полу-боясь, что опять Мышь обидится.

— Мой рассказ прост, печален и длинен, — со вздохом сказала Мышь, обращаясь к Ане.

— Да, он, несомненно, очень длинный, — заметила Аня, которой послышалось не «прост», а «хвост». — Но почему Вы его называете печальным?

Она стала ломать себе голову, с недоумением глядя на хвост Мыши, и потому все, что стала та говорить, представлялось ей в таком виде:

В темной комнате,
с мышью остав-
шись вдвоем, хит-
рый пес объявил:
«Мы судиться пой-
дем! Я скучаю
сегодня: чем вре-
мя занять? Так
пойдем же: я
буду тебя об-
винять!» «Без
присяжных, — вос-
кликнула мышь, —
без судьи! Кто
же взвесит
тогда оправ-
данья мои?»
«И судью, и
присяжных
я сам заме-
ню», хитрый
пес объя-
вил. «И
тебя
я каз-
ню!»

— Вы не слушаете, — грозно сказала Мышь, взглянув на Аню. — О чем Вы сейчас думаете?

— Простите, — кротко пролепетала Аня, — Вы, кажется, дошли до пятого погиба?

— Ничего подобного, никто не погиб! — не на шутку рассердилась Мышь. — Никто. Вот Вы теперь меня спутали.

— Ах, дайте я распутаю... Где узел? — воскликнула услужливо Аня, глядя на хвост Мыши.

— Ничего Вам не дам, — сказала та и, встав, стала уходить. — Вы меня оскорбляете тем, что говорите такую чушь!

— Я не хотела! Простите меня, — жалобно протянула Аня. — Но Вы так легко обижаетесь!

Мышь только зарычала в ответ.

— Ну пожалуйста, вернитесь и доскажите Ваш рассказ, — вслед ей крикнула Аня. И все остальные присоединились хором:

— Да, пожалуйста!

Но Мышь только покачала головой нетерпеливо и прибавила шагу.

«Как жаль, что она не захотела остаться!» — вздохнул Лори, как только Мышь скрылась из виду; и старая Рачиха воспользовалась случаем, чтобы сказать своей дочери:

— Вот, милая, учись! Видишь, как дурно сердиться!

— Закуси язык, мать, — огрызнулась та. — С тобой и устрица из себя выйдет.

— Ах, если бы Дина была здесь, — громко воскликнула Аня, ни к кому в частности не обращаясь. — Дина живо притащила бы ее обратно!

— Простите за нескромный вопрос, — сказал Лори, — но скажите, кто это — Дина?

На это Аня ответила с радостью, так как всегда готова была говорить о своей любимице.

— Дина — наша кошка. Как она чудно ловит мышей — я просто сказать Вам не могу! Или вот еще — птичек. Птичка только сядет, а она ее мигом цап-царап!

Эти слова произвели совершенно исключительное впечатление на окружающих. Некоторые из них тотчас же поспешили прочь. Дряхлая Сорока принялась очень тщательно закутываться, говоря: «Я, правда, должна бежать домой: ночной воздух очень вреден для моего горла». А Канарейка дрожащим голосом стала скликать своих детей: «Пойдемте, родные! Вам уже давно пора быть в постельках!» Так все они под разными предлогами удалились, и Аня вскоре осталась одна.

«Напрасно, напрасно я упомянула про Дину! — уныло сказала она про себя. — Никто, по-видимому, ее здесь не любит, я же убеждена, что она лучшая кошка на свете. Бедная моя Дина! Неужели я тебя никогда больше не увижу!» И тут Аня снова заплакала, чувствуя себя очень угнетенной и одинокой. Через несколько минут, однако, она услышала шуршанье легких шагов и быстро подняла

голову, смутно надеясь, что Мышь решила все-таки вернуться, чтобы докончить свой рассказ.

Глава 4
КТО-ТО ЛЕТИТ В ТРУБУ

Это был Белый Кролик, который тихо семенил назад, тревожно поглядывая по сторонам, словно искал чего-то. И Аня расслышала, как он бормотал про себя: «Ах, герцогиня, герцогиня! Ах, мои бедные лапки! Ах, моя шкурка и усики! Она меня казнит, это ясно, как капуста! Где же я мог их уронить?» Аня сразу сообразила, что он говорит о веере и о паре белых перчаток, и она добродушно стала искать их вокруг себя, но их нигде не было видно, — да и вообще все как-то изменилось с тех пор, как она выкупалась в луже, — и огромный зал, и дверца, и стеклянный столик исчезли совершенно.

Вскоре Кролик заметил хлопочущую Аню и сердито ей крикнул: «Маша, что ты тут делаешь? Сию же минуту сбегай домой и принеси мне пару белых перчаток и веер! Живо!» И Аня так перепугалась, что тотчас же, не пытаясь объяснить ошибку, метнулась по направлению, в которое Кролик указал дрожащей от гнева лапкой.

«Он принял меня за свою горничную, — думала она, пока бежала. — Как же он будет удивлен, когда узнает, кто я в действительности. Но я, так и быть, принесу ему перчатки и веер — если, конечно, я их найду».

В эту минуту она увидела перед собой веселый чистенький домик, на двери которого была блестящая медная дощечка со словами: ДВОРЯНИН КРОЛИК ТРУСИКОВ. Аня вошла не стуча и взбежала по лестнице очень поспешно, так как боялась встретить настоящую Машу, которая, вероятно, тут же выгнала бы ее, не дав ей найти веер и перчатки.

«Как это все дико, — говорила Аня про себя, — быть на побегушках у Кролика! Того и гляди, моя Дина станет посылать меня с порученьями». И она представила себе, как это будет: «Барышня, идите одеваться к прогулке!» — «Сейчас, няня, сейчас! Мне Дина приказала понаблюдать за этой щелкой в полу, чтобы мышь оттуда не выбежала!»

«Но только я не думаю, — добавила Аня, — что Дине позволят оставаться в доме, если она будет так людей гонять!»

Взбежав по лестнице, она пробралась в пустую комнату, светлую, с голубенькими обоями, и на столе у окна увидела (как и надеялась) веер и две-три пары перчаток. Она уже собралась бежать обратно, как вдруг взгляд ее упал на какую-то бутылочку, стоящую у зеркала. На этот раз никакой пометки на бутылочке не было, но она все-таки откупорила ее и приложила к губам. «Я уверена, что что-то должно случиться, — сказала она. — Стоит только съесть или выпить что-нибудь; отчего же не посмотреть, как действует содержимое этой бутылочки. Надеюсь, что оно заставит меня опять вырасти, мне так надоело быть такой малюсенькой!»

Так оно и случилось — и куда быстрее, чем она ожидала: полбутылки еще не было выпито, как уже ее голова оказалась прижатой к потолку, и она принуждена была нагнуться, чтобы не сломалась шея. Она поспешно поставила на место бутылочку. «Будет! — сказала она про себя. — Будет! Я надеюсь, что больше не вырасту... Я и так уже не могу пройти в дверь. Ах, если бы я не так много выпила!»

Увы! Поздно было сожалеть! Она продолжала увеличиваться и очень скоро должна была встать на колени. А через минуту и для этого ей не хватало места. И она попыталась лечь, вся скрючившись, упираясь левым локтем в дверь, а правую руку обвив вокруг головы. И все-таки она продолжала расти. Тогда, в виде последнего средства, Аня просунула руку в окно и ногу в трубу, чувствуя, что уж больше ничего сделать нельзя.

К счастью для Ани, действие волшебной бутылочки окончилось: она больше не увеличивалась. Однако очень ей было неудобно, и так как все равно из комнаты невозможно было выйти, она чувствовала себя очень несчастной.

«Куда лучше было дома! — думала бедная Аня. — Никогда я там не растягивалась и не уменьшалась, никогда на меня не кричали мыши да кролики. Я почти жалею, что нырнула в норку, а все же, а все же — жизнь эта как-то забавна! Что же это со мной случилось? Когда я читала волшебные сказки, мне казалось, что таких вещей на свете не бывает, а вот я теперь оказалась в середине самой что ни есть волшебной сказки! Хорошо бы, если б книжку напи-

сали обо мне, — право, хорошо бы! Когда я буду большой, я сама напишу; впрочем, — добавила Аня с грустью, — я уже и так большая: во всяком случае, тут мне не хватит места еще вырасти.

Что же это такое? — думала Аня. — Неужели я никогда не стану старше? Это утешительно в одном смысле: я никогда не буду старухой... Но зато, зато... всю жизнь придется долбить уроки! Ох, уж мне эти уроки!

Глупая, глупая Аня, — оборвала она самое себя, — как же можно тут учиться? Едва-едва хватит места для тебя самой! Какие уж тут учебники!»

И она продолжала в том же духе, принимая то одну сторону, то другую и создавая из этого целый разговор; но внезапно снаружи раздался чей-то голос, и она замолчала, прислушиваясь.

«Маша! А, Маша! — выкрикивал голос. — Сейчас же принеси мне мои перчатки!» За этим последовал легкий стук шажков вверх по лестнице.

Аня поняла, что это пришел за ней Кролик, и так стала дрожать, что ходуном заходил весь дом. А между тем она была в тысячу раз больше Кролика, и потому ей нечего было его бояться.

Вскоре Кролик добрался до двери и попробовал ее открыть: но так как дверь открывалась внутрь, а в нее крепко упирался Анин локоть, то попытка эта окончилась неудачей. Аня тогда услыхала, как он сказал про себя: «В таком случае я обойду дом и влезу через окно!»

«Нет, этого не будет!» — подумала Аня и, подождав до тех пор, пока ей показалось, что Кролик под самым окном, вдруг вытянула руку, растопыря пальцы. Ей ничего не удалось схватить, но она услыхала маленький взвизг, звук паденья и звонкий треск разбитого стекла, из чего она заключила, что Кролик, по всей вероятности, угодил в парник для огурцов.

Затем послышался гневный окрик Кролика:

— Петька, Петька! Где ты?

И откликнулся голос, которого она еще не слыхала:

— Известно где! Выкапываю яблоки, Ваше Благородие!

— Знаю твои яблоки! — сердито фыркнул Кролик. — Лучше пойди-ка сюда и помоги мне выбраться из этой дряни. — (Опять звон разбитого стекла.)

— Теперь скажи мне, Петька, что это там в окне?

— Известно, Ваше Благородие, — ручища! — (Он произнес это так: рчище.)

— Ручища? Осел! Кто когда видел руку такой величины? Ведь она же все окно заполняет!

— Известно, Ваше Благородие, заполняет. Но это рука, уж как хотите.

— Все равно, ей там не место, пойди и убери ее!

Затем долгое молчанье. Аня могла различить только шепот и тихие восклицания вроде: «Что говорить, не ндравится мне она, Ваше Благородие, не ндравится!» — «Делай, как я тебе приказываю, трус этакий!» Наконец она опять выбросила руку, и на этот раз раздались два маленьких взвизга и снова зазвенело стекло.

«Однако, сколько у них там парников! — подумала Аня. — Что же они теперь предпримут! Я только была бы благодарна, если бы им удалось вытащить меня отсюда. Я-то не очень хочу здесь оставаться!»

Она прислушалась. Некоторое время длилось молчанье. Наконец послышалось поскрипыванье тележных колес и гам голосов, говорящих все сразу.

«Где другая лестница?» — «Не лезь, мне было велено одну принести, Яшка прет с другой». — «Яшка! Тащи ее сюда, малый!» — «Ну-ка, приставь их сюды, к стенке!» — «Стой, привяжи их одну к другой!» — «Да они того... не достают до верха». — «Ничего, и так ладно, нечего деликатничать». — «Эй, Яшка, лови веревку!» — «А крыша-то выдержит?» — «Смотри-ка, черепица шатается». — «Сейчас обвалится, берегись!» — (Грох!) — «Кто это сделал?» — «Да уж Яшка, конечно». — «Кто по трубе спустится?» — «Уволь, братцы, не я!» — «Сам лезь!» — «Врешь, не полезу!» — «Пусть Яшка попробует». — «Эй, Яшка, барин говорит, что ты должен спуститься по трубе.

«Вот оно что! Значит, Яшка должен по трубе спуститься, — сказала про себя Аня. — Они, видно, все на Яшку валят. Ни за что я не хотела бы быть на его месте; камин узок, конечно, но все-таки, мне кажется, я могу дать ему пинок».

Она продвинула ногу как можно дальше в трубу и стала выжидать. Вскоре она услышала, как какой-то зверек (она не могла угадать его породу) скребется и возится в трубе. Тогда, сказав себе: «Это Яшка!», она дала резкий пинок и стала ждать, что будет дальше.

Первое, что она услыхала, был общий крик голосов:

— Яшка летит!

Потом, отдельно, голос Кролика:

— Эй, ловите его, вы, там, у плетня!

Затем молчанье и снова смутный гам:

«Подними ему голову. Воды!» — «Тише, захлебнется!» — «Как это было, дружище?» — «Что случилось?» — «Расскажи-ка подробно!»

Наконец раздался слабый, скрипучий голосок («Это Яшка», — подумала Аня): «Я уж не знаю, что было... Спасибо, спасибо... Мне лучше... Но я слишком взволнован, чтобы рассказывать. Знаю только одно — что-то ухнуло в меня и взлетел я, как ракета».

— Так оно и было, дружище! — подхватили остальные.

— Мы должны сжечь дом, — сказал голос Кролика. И Аня крикнула из всех сил:

— Если вы это сделаете, я напущу Дину на вас!

Сразу — мертвое молчанье. Аня подумала: «Что они теперь будут делать? Смекалки у них не хватит, чтобы снять крышу».

Через две-три минуты они опять задвигались и прозвучал голос Кролика:

— Сперва одного мешка будет достаточно.

— Мешка чего? — спросила Аня. Но не долго она оставалась в неизвестности: в следующий миг стучащий дождь мелких камушков хлынул в окно, и некоторые из них попали ей в лоб.

«Я положу конец этому!» — подумала Аня и громко крикнула: «Советую вам перестать!» Что вызвало опять мертвое молчанье.

Аня заметила не без удивленья, что камушки, лежащие на полу, один за другим превращались в крохотные пирожки, — и блестящая мысль осенила ее. «Что, если я съем один из этих пирожков! — подумала она. — Очень возможно, что он как-нибудь изменит мой рост. И так как я увеличиваться все равно больше не могу, то полагаю, что стану меньше».

Сказано — сделано. И Аня, проглотив пирожок, с радостью заметила, что тотчас рост ее стал убавляться.

Как только она настолько уменьшилась, что была в состоянии пройти в дверь, она сбежала по лестнице и, выйдя наружу, увидела перед домом целое сборище зверьков и

птичек. Посредине был бедненький Яшка-Ящерица, поддерживаемый двумя морскими свинками, которые что-то вливали ему в рот из бутылочки. Все они мгновенно бросились к Ане, но она проскочила и пустилась бежать со всех ног, пока не очутилась в спасительной глубине частого леса.

«Первое, что нужно мне сделать, — это вернуться к своему настоящему росту; а второе — пробраться в тот чудесный сад. Вот, кажется, лучший план».

План был, что и говорить, великолепный — очень стройный и простой. Единственной заторой было то, что она не имела ни малейшего представления, как привести его в исполнение; и пока она тревожно вглядывалась в просветы между стволами, резкое тявканье заставило ее поспешно поднять голову.

Исполинский щенок глядел на нее сверху огромными круглыми глазами и, осторожно протягивая лапу, старался дотронуться до ее платья. «Ах ты мой бедненький!» — проговорила Аня ласковым голосом и попыталась было засвистать. Но ей все время ужасно страшно было, что он, может быть, проголодался и в таком случае не преминет съесть ее, несмотря на всю ее ласковость.

Едва зная, что делает, Аня подняла с земли какую-то палочку и протянула ее щенку. Тот с радостным взвизгом подпрыгнул на воздух, подняв сразу все четыре лапы, и игриво кинулся на палочку, делая вид, что хочет ее помять. Тогда Аня, опасаясь быть раздавленной, юркнула под защиту огромного чертополоха, но только она высунулась с другой стороны, как щенок опять кинулся на палочку и полетел кувырком от слишком большой поспешности. Ане казалось, что это игра с бегемотом, который может каждую минуту ее растоптать. Она опять обежала чертополох, и тут щенок разыгрался вовсю: он перебирал лапами вправо и влево, предпринимал ряд коротких нападений, всякий раз немного приближаясь и очень далеко отбегая, и все время хрипло полаивал, пока, наконец, не устал. Тогда он сел поодаль, трудно дыша, высунув длинный, малиновый язык и полузакрыв огромные глаза.

Это для Ани и послужило выходом: она кинулась бежать и неслась до тех пор, пока лай щенка не замер в отдалении.

«А все же, какой это был душка!» — сказала Аня, в изнеможении прислоняясь к лютику и обмахиваясь одним из его листков.

— Как хорошо, если бы я могла научить его всяким штукам, но только вот — я слишком мала! Боже мой! Я и забыла, что не выросла снова! Рассудим, как бы достигнуть этого? Полагаю, что нужно что-либо съесть или выпить. Но что именно — вот вопрос.

Аня посмотрела вокруг себя — на цветы, на стебли трав. Ничего не было такого, что можно было бы съесть или выпить. Вблизи был большой гриб, приблизительно одного роста с ней; и после того, как она посмотрела под ним и с боков, ей пришла мысль, что можно посмотреть, не находится ли что-либо наверху.

Она, встав на цыпочки, вытянула шею и тотчас же встретилась глазами с громадной голубой гусеницей, которая, скрестив руки, сидела на шапке гриба и преспокойно курила длинный кальян, не обращая ни малейшего внимания ни на Аню, ни на что другое.

Глава 5
СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ

Гусеница и Аня долго смотрели друг на друга молча.

Наконец Гусеница вынула кальян изо рта и обратилась к Ане томным, сонным голосом.

— Кто ты? — спросила Гусеница.

Это было не особенно подбадривающим началом для разговора. Аня отвечала несколько застенчиво:

— Я... я не совсем точно знаю, кем я была, когда встала утром, а кроме того, с тех пор я несколько раз «менялась».

— Что ты хочешь сказать этим? — сердито отчеканила Гусеница. — Объяснись!

— В том-то и дело, что мне трудно себя объяснить, — отвечала Аня, — потому что, видите ли, я — не я.

— Я не вижу, — сухо сказала Гусеница.

— Я боюсь, что не могу выразиться яснее, — очень вежливо ответила Аня. — Начать с того, что я сама ничего не понимаю: это так сложно и неприятно — менять свой рост по нескольку раз в день.

— Не нахожу, — молвила Гусеница.

— Может быть, Вы этого сейчас не находите, — сказала Аня, — но когда Вам придется превратиться в куколку —

а это, Вы знаете, неизбежно, — а после в бабочку, то Вы наверно почувствуете себя скверно.

— Ничуть, — ответила Гусеница.

— Ну, тогда у Вас, вероятно, другой характер, — подхватила Аня. — Знаю одно: мне бы это показалось чрезвычайно странным.

— Тебе? — презрительно проговорила Гусеница. — Кто ты?

И разговор таким образом обратился в сказку про белого бычка.

Аню немного раздражало то, что Гусеница так скупа на слова, и, выпрямившись, она твердо сказала:

— Мне кажется, Вы сперва должны были бы сказать мне, кто Вы.

— Почему? — спросила Гусеница.

Опять — затруднительный вопрос. Аня не могла придумать ни одной уважительной причины, и так как Гусеница казалась в чрезвычайно дурном расположении духа, то она пошла прочь.

— Стой! — крикнула Гусеница. — У меня есть нечто важное тебе сообщить.

Это звучало соблазнительно. Аня воротилась.

— Владей собой, — молвила Гусеница.

— Это все? — спросила Аня, с трудом сдерживая негодование.

— Нет, — сказала Гусеница.

Аня решила, что она может подождать, благо ей нечего делать: может быть, она услышит что-нибудь любопытное. В продолжение нескольких минут Гусеница молчаливо попыхивала, но наконец раскрестила руки, опять вынула изо рта кальян и сказала:

— Значит, ты считаешь, что ты изменилась, не так ли?

— Так, — подтвердила Аня. — Я не могу вспомнить вещи, которые всегда знала, и меняю свой рост каждые десять минут.

— Какие вещи? — спросила Гусеница.

— Вот, например, я попробовала прочесть наизусть: «Птичка Божия не знает», а вышло совсем не то, — с грустью сказала Аня.

— Прочитай-ка «Скажи-ка, дядя, ведь недаром», — приказала Гусеница.

Аня сложила руки на коленях и начала:

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Тебя считают очень старым:
    Ведь, право же, ты сед,
И располнел ты несказанно.
Зачем же ходишь постоянно
На голове? Ведь, право ж, странно
    Шалить на склоне лет!»

И молвил он: «В былое время
Держал, как дорогое бремя,
    Я голову свою...
Теперь же, скажем откровенно,
Мозгов лишен я совершенно
И с легким сердцем, вдохновенно
    На голове стою».

«Ах, дядя, повторяю снова:
Достиг ты возраста честнóго,
    Ты — с весом, ты — с брюшком...
В такие годы ходят плавно.
А ты, о старец своенравный,
Влетел ты в комнату недавно —
    Возможно ль? — кувырком!»

«Учись, юнец, — мудрец ответил. —
Ты, вижу, с завистью приметил,
    Как легок мой прыжок.
Я с детства маслом мазал ножки,
Глотал целебные лепешки
Из гутаперчи и морошки —
    Попробуй-ка, дружок!»

«Ах, дядя, дядя, да скажи же,
Ты стар иль нет? Одною жижей
    Питаться бы пора!
А съел ты гуся — да какого!
Съел жадно, тщательно, толково,
И не осталось от жаркого
    Ни одного ребра!»

«Я как-то раз (ответил дядя,
Живот величественно гладя)
    Решал с женой моей
Вопрос научный, очень спорный,
И спор наш длился так упорно,
Что отразился благотворно
    На силе челюстей».

«Еще одно позволь мне слово:
Сажаешь ты угря живого
На угреватый нос.
Его подкинешь два-три раза,
Поймаешь... Дядя, жду рассказа:
Как приобрел ты верность глаза?
Волнующий вопрос!»

«И совершенно неуместный, —
Заметил старец. — Друг мой, честно
Ответил я на три
Твои вопроса. Это много».
И он пошел своей дорогой,
Шепнув загадочно и строго:
«Ты у меня смотри!»

— Это неправильно, — сказала Гусеница.

— Не совсем правильно, я боюсь, — робко отвечала Аня, — некоторые слова как будто изменились.

— Неправильно с начала до конца, — решила Гусеница, и за этим последовало молчанье.

Гусеница первая заговорила.

— Какого роста ты желаешь быть? — спросила она.

— Ах, это мне более или менее все равно, — ответила Аня поспешно. — Но только, знаете ли, неприятно меняться так часто.

— Я не знаю, — сказала Гусеница.

Аня промолчала: никто никогда не перечил ей так, и она чувствовала, что теряет терпенье.

— А сейчас Вы довольны? — осведомилась Гусеница.

— Да как Вам сказать? Мне хотелось бы быть чуточку побольше, — сказала Аня. — Три дюйма — это такой глупый рост!

— Это чрезвычайно достойный рост! — гневно воскликнула Гусеница, взвиваясь на дыбы (она была как раз вышиной в три дюйма).

— Но я к этому не привыкла! — жалобно протянула бедная Аня. И она подумала про себя: «Ах, если бы эти твари не были так обидчивы!»

— Со временем привыкнешь! — сказала Гусеница и опять сунула в рот кальянную трубку и принялась курить.

Аня терпеливо ждала, чтобы она вновь заговорила. Через несколько минут Гусеница вынула трубку, раз, два зев-

нула и потянулась. Затем она мягко слезла с гриба и уползла в траву. «Один край заставит тебя вырасти, другой — уменьшиться», — коротко сказала она не оглядываясь.

«Один край чего? Другой край чего?» — подумала Аня.

«Грибной шапки», — ответила Гусеница, словно вопрос задан был громко, — и в следующий миг она скрылась из виду.

Аня осталась глядеть задумчиво на гриб, стараясь уяснить себе, какая левая сторона и какая правая. И так как шапка была совершенно круглая, вопрос представлялся нелегкий. Наконец она протянула руки насколько могла, обхватила шапку гриба и отломала обеими руками по одному кусочку с того и другого края.

«Какой же из них заставит меня вырасти?» — сказала она про себя и погрызла кусочек в правой руке, чтобы узнать последствие. Тотчас же она почувствовала сильный удар в подбородок и в ногу — они столкнулись!

Внезапность этой перемены очень ее испугала. Нельзя было терять времени — она быстро таяла. Тогда она принялась за другой кусочек. Подбородок ее был так твердо прижат к ноге, что нелегко было открыть рот. Но, наконец, ей это удалось, и она стала грызть кусочек, отломанный с левого края.

. . . .

«Слава Богу, голова моя освободилась!» — радостно воскликнула Аня, но тотчас же тревожно смолкла, заметив, что плечи ее исчезли из вида. Все, что она могла различить, глядя вниз, была длиннейшая шея, взвивающаяся из моря зелени.

«Что это зеленое? — спросила себя Аня. — И куда же исчезли мои бедные плечи? И как же это я не могу рассмотреть мои бедные руки?» Она двигала ими, говоря это, но вызывала только легкое колебанье в листве, зеленеющей далеко внизу.

Так как невозможно было поднять руки к лицу, она попробовала опустить голову к рукам и с удовольствием заметила, что шея ее, как змея, легко сгибается в любую сторону. Она обратила ее в изящную извилину и уже собиралась нырнуть в зелень (которая оказалась не чем иным, как верхушками тех самых деревьев, под которыми она недавно бродила) — но вдруг резкое шипенье заставило ее

откинуться: крупный голубь, налетев на нее, яростно бил ее крыльями по щекам.

— Змея! — шипел Голубь.

— Я вовсе не змея, — в негодовании сказала Аня.

— Змея, — повторил Голубь, но уже тише, и прибавил, как бы всхлипнув: — Я уже испробовал всевозможные способы и ничего у меня не выходит.

— Я совершенно не знаю, о чем Вы говорите, — сказала Аня.

— Пробовал я корни деревьев, и речные скаты, и кустарники, — продолжал Голубь, не обращая на нее вниманья, — но эти змеи! Никак им не угодишь!

Недоуменье Ани все росло. Но ей казалось, что не стоит перебивать Голубя.

— И так нелегко высиживать яйца, — восклицал он, — а тут еще изволь днем и ночью оберегать их от змей! Да ведь я глаз не прикрыл за последние три недели!

— Мне очень жаль, что Вас тревожили, — сказала Аня, которая начинала понимать, к чему он клонит.

— И только я выбрал самое высокое дерево во всем лесу, — продолжал Голубь, возвышая голос до крика, — и только успел порадоваться, что от них отделался, как нате вам, они, вертлявые гадины, с неба спускаются. Прочь, змея!

— Да я же говорю Вам — я вовсе не змея! — возразила Аня. — Я... я... я...

— Ну? Кто же ты? — взвизгнул Голубь. — Вижу, что ты стараешься придумать что-нибудь.

— Я — маленькая девочка, — проговорила Аня не совсем уверенно, так как вспомнила, сколько раз она менялась за этот день.

— Правдоподобно, нечего сказать! — презрительно прошипел Голубь. — Немало я видел маленьких девочек на своем веку, но девочки с такой шеей — никогда! Нет, нет! Ты — змея, и нечего это отрицать. Ты еще скажи, что никогда не пробовала яиц!

— Разумеется, пробовала, — ответила правдивая Аня, — но ведь девочки столько же едят яйца, как и змеи.

— Не думаю, — сказал Голубь. — Но если это и правда, то, значит, они тоже в своем роде змеи — вот и все.

Ане показалось это совсем новой мыслью, и она замолчала на несколько мгновений, что дало Голубю возможность добавить:

— Ты ищешь яйца, это мне хорошо известно, и безразлично мне, девочка ты или змея!

— Мне это не все равно, — поспешно сказала Аня. — Но дело в том, что я яиц не ищу, а если б и искала, то во всяком случае мне не нужны были бы Ваши: я не люблю их сырыми.

— Тогда убирайся, — проворчал Голубь и с обиженным видом опустился в свое гнездо. Аня же скрючилась между деревьями, причем шея ее все запутывалась в ветвях, и ей то и дело приходилось останавливаться, чтобы распутать ее.

Вспомнив, что в руках у нее остались оба кусочка гриба, она осторожно принялась за них, отгрызая немного то от одного, то от другого и становясь то выше, то ниже, пока наконец не вернулась к своему обычному росту.

Так много времени прошло с тех пор, как была она сама собой, что сперва ей показалось это даже несколько странным. Но вскоре она привыкла и стала сама с собой говорить.

«Ну вот, первая часть моего плана выполнена! Как сложны были все эти перемены! Никогда не знаешь, чем будешь через минуту! Как бы ни было, а теперь я обычного роста. Следующее — это пробраться в чудесный сад — но как это сделать, как это сделать?»

Так рассуждая, она внезапно вышла на прогалину и увидела крошечный домик около четырех футов вышины.

«Кто бы там ни жил, — подумала Аня, — нехорошо явиться туда в таком виде: я бы до чертиков испугала их своей величиной!» Она опять принялась за правый кусочек гриба и только тогда направилась к дому, когда уменьшилась до десяти дюймов.

Глава 6
ПОРОСЕНОК И ПЕРЕЦ

Некоторое время она глядела на домик молча. Вдруг из леса выбежал пышный лакей (она приняла его за лакея благодаря ливрее: иначе, судя по его лицу, она назвала бы его рыбой) — и громко постучал костяшками рук о дверь. Отпер другой лакей, тоже в пышной ливрее,

раскоряченный, лупоглазый, необычайно похожий на лягушку. И у обоих волосы были мелко завиты и густо напудрены.

Ане было очень любопытно узнать, что будет дальше, и, стоя за ближним стволом, она внимательно прислушивалась.

Лакей-Рыба начал с того, что вытащил из-под мышки запечатанный конверт величиной с него самого и, протянув его лакею, открывшему дверь, торжественно произнес:

— Для Герцогини. Приглашение от Королевы на игру в крокет.

Лакей-Лягушка таким же торжественным тоном повторил, слегка изменив порядок слов:

— От Королевы. Приглашение для Герцогини на игру в крокет.

Затем они оба низко поклонились и спутались завитками.

Аню это так рассмешило, что она опять скрылась в чащу, боясь, что они услышат ее хохот, и когда она снова выглянула, то уже Лакея-Рыбы не было, а другой сидел на пороге, тупо глядя в небо.

Аня подошла к двери и робко постучала.

— Стучать не к чему, — сказал лакей, не глядя на нее, — ибо, во-первых, я на той же стороне от двери, как и Вы, а во-вторых, в доме такая возня, что никто Вашего стука все равно не услышит.

И действительно, внутри был шум необычайный: безостановочный рев и чиханье, а порою оглушительный треск разбиваемой посуды.

— Скажите мне, пожалуйста, — проговорила Аня, — как же мне туда войти?

— Был бы какой-нибудь прок от Вашего стука, — продолжал лакей, не отвечая ей, — когда бы дверь была между нами. Если б Вы, например, постучали бы изнутри, то я мог бы Вас, так сказать, выпустить.

При этом он не отрываясь глядел вверх, что показалось Ане чрезвычайно неучтиво. «Но, быть может, он не может иначе, — подумала она. — Ведь глаза у него на лбу. Но по крайней мере, он мог бы ответить на вопрос».

— Как же я войду? — повторила она громко.

— Я буду здесь сидеть, — заметил лакей, — до завтрашнего дня.

Тут дверь дома на миг распахнулась, и большая тарелка, вылетев оттуда, пронеслась дугой над самой головой лакея, легко коснувшись кончика его носа, и разбилась о соседний ствол.

— И, пожалуй, до послезавтра, — продолжал лакей совершенно таким же голосом, как будто ничего и не произошло.

— Как я войду? — настаивала Аня.

— Удастся ли вообще Вам войти? — сказал лакей. — Вот, знаете, главный вопрос.

Он был прав. Но Ане было неприятно это возражение. «Это просто ужас, — пробормотала она, — как все эти существа любят рассуждать. С ними с ума можно сойти!»

Лакей воспользовался ее молчаньем, повторив прежнее свое замечание с некоторым дополненьем.

— Я буду здесь сидеть, — сказал он, — по целым дням, по целым дням... без конца...

— А что же мне-то делать? — спросила Аня.

— Все, что хотите, — ответил лакей и стал посвистывать.

— Ну его, все равно ничего не добьюсь, — воскликнула Аня в отчаянии. — Он полный дурак! — И она отворила дверь и вошла в дом.

Очутилась она в просторной кухне, сплошь отуманенной едким дымом. Герцогиня сидела посредине на стуле о трех ногах и нянчила младенца; кухарка нагибалась над очагом, мешая суп в огромном котле.

«Однако сколько в этом супе перца!» — подумала Аня, расчихавшись.

Да и весь воздух был заражен. Герцогиня и та почихивала; ребенок же чихал и орал попеременно, не переставая ни на одно мгновение. Единственные два существа на кухне, которые не чихали, были кухарка и большой кот, который сидел у плиты и широко ухмылялся.

— Будьте добры мне объяснить, — сказала Аня робко, так как не знала, учтиво ли с ее стороны заговорить первой. — Почему это Ваш кот ухмыляется так?

— Это — Масляничный Кот, — отвечала Герцогиня, — вот почему. Хрюшка!

Последнее слово было произнесено так внезапно и яростно, что Аня так и подскочила; но она сейчас же поняла, что оно обращено не к ней, а к младенцу, и, набравшись смелости, заговорила опять:

— Я не знала, что такие коты постоянно ухмыляются. Впрочем, я вообще не знала, что коты могут это делать.

— Не всегда коту масленица, — ответила Герцогиня. — Моему же коту — всегда. Вот он и ухмыляется.

— Я этого никогда не знала, — вежливо сказала Аня. Ей было приятно, что завязался умный разговор.

— Ты очень мало что знаешь, — отрезала Герцогиня. — Это ясно.

Ане не понравился тон этого замечания, и она подумала, что хорошо бы перевести разговор на что-нибудь другое.

Пока она старалась найти тему, кухарка сняла с огня котел с супом и тотчас же принялась швырять в Герцогиню и в ребенка все, что попадалось ей под руку: кочерга и утюг полетели первыми, потом градом посыпались блюдца, тарелки, миски. Герцогиня не обращала на них никакого вниманья, даже когда они попадали в нее; ребенок же орал беспрестанно, так что все равно нельзя было знать, когда ему больно — когда нет.

— Ах, ради Бога, будьте осторожны! — вскрикивала Аня, прыгая на месте от нестерпимого страха. — Ах, вот отлетел его бесценный нос! — взвизгнула она, когда большая тарелка чуть не задела младенца.

— Если б никто не совался в чужие дела, — сказала хриплым басом Герцогиня, — земля вертелась бы куда скорее.

— Что не было бы преимуществом, — заметила Аня, воспользовавшись случаем, чтобы показать свое знанье. — Подумайте только, как укоротился бы день. Земля, видите ли, берет двадцать четыре часа...

— В таком случае, — рявкнула Герцогиня, — отрубить ей голову.

Аня с тревогой поглядела на кухарку, не собирается ли она исполнить это приказанье, но кухарка ушла с головой в суп и не слушала.

Аня решилась продолжать:

— Двадцать четыре часа, кажется, — или двенадцать? Я...

— Увольте, — сказала Герцогиня. — Я никогда не могла выносить вычисленья!

И она стала качать своего младенца, выкрикивая при этом нечто вроде колыбельной песни и хорошенько встряхивая его после каждого стиха:

Вой, младенец мой прекрасный,
А чихнешь — побью!
Ты нарочно — это ясно...
Баюшки-баю.

Хор
(при участии кухарки и ребенка)
Ау! Ау! Ау! Ау!

То ты синий, то ты красный,
Бью и снова бью!
Перец любишь ты ужасно.
Баюшки-баю.

Хор
Ау! Ау! Ау! Ау! Ау! Ау!

«Эй Вы там, можете понянчить его, если хотите, — сказала Герцогиня, обращаясь к Ане, и, как мяч, кинула ей ребенка. — Я же должна пойти одеться, чтобы отправиться играть в крокет с Королевой». И она поспешно вышла. Кухарка швырнула ей вслед кастрюлю, но промахнулась на волос.

Аня схватила ребенка с некоторым трудом: это было несуразное маленькое существо, у которого ручки и ножки торчали во все стороны («Как у морской звезды», — подумала Аня). Оно, бедное, напряженно сопело и, словно куколка, то скрючивалось, то выпрямлялось, так что держать его было почти невозможно.

Наконец Аня нашла верный способ (то есть скрутила его в узел и крепко ухватилась за его правое ушко и левую ножку, не давая ему таким образом раскрутиться) и вышла с ним на свежий воздух.

«Не унеси я его, они бы там, конечно, его убили, — подумала Аня. — Было бы преступленье его оставить».

Последние слова она произнесла громко, и ребенок в ответ хрюкнул (он уже перестал чихать к тому времени).

«Не хрюкай, — сказала Аня. — Вежливые люди выражаются иначе».

Но младенец хрюкнул опять, и Аня с тревогой взглянула на него. Странное было личико: вздернутый нос, вроде свиного рыльца, крохотные гляделки, вовсе не похожие на детские глаза. Ане все это очень не понравилось. «Но,

может быть, он просто всхлипывает», — подумала она и посмотрела, нет ли слез на ресницах. Но не было ни ресниц, ни слез.

«Если ты собираешься, мой милый, обратиться в поросенка, — твердо сказала Аня, — то я с тобой никакого дела иметь не хочу. Смотри ты у меня!» Бедное маленькое существо снова всхлипнуло (или хрюкнуло — разобрать было невозможно), и Аня некоторое время несла его молча.

Аня начинала уже недоумевать — что же она с ним будет делать дома, как вдруг он хрюкнул так громко, что она с некоторым испугом поглядела ему в лицо. На этот раз сомненья не оставалось: это был самый настоящий поросенок, так что глупо было с ним возиться. Аня опустила поросенка наземь, и тот, теряя чепчик на бегу, спокойно затрусил прочь и вскоре скрылся в чаще, что очень обрадовало ее.

«Он в будущем был бы ужасно уродлив как ребенок, — сказала она про себя, — но свинья, пожалуй, вышла бы из него красивая». И она стала размышлять о других ей знакомых детях, которые годились бы в поросята. «Если б только знать, как изменить их», — подумала она и вдруг, встрепенувшись, заметила, что на суку ближнего дерева сидит Масляничный Кот.

Он только ухмыльнулся, увидя Аню. Вид у него был добродушный, хотя когти были длиннейшие, а по количеству зубов он не уступал крокодилу. Поэтому Аня почувствовала, что нужно относиться к нему с уважением.

— Масляничный Котик, — робко заговорила она, не совсем уверенная, понравится ли ему это обращение. Однако он только шире осклабился. «Пока что — он доволен», — подумала Аня и продолжала: — Котик, не можете ли Вы мне сказать, как мне выйти отсюда.

— Это зависит, куда Вам нужно идти, — сказал Кот.

— Мне-то, в общем, все равно куда, — начала Аня.

— Тогда Вам все равно, какую дорогу взять, — перебил ее Кот.

— Только бы прийти куда-нибудь, — добавила Аня в виде объяснения.

— Прийти-то Вы придете, — сказал Кот, — если будете идти достаточно долго.

Аня почувствовала, что отрицать этого нельзя. Она попробовала задать другой вопрос:

— Какого рода люди тут живут?

— Вон там, — сказал Кот, помахав правой лапой, — живет Шляпник, а вон там (он помахал левой) живет Мартовский Заяц. Навести-ка их: оба они сумасшедшие.

— Но я вовсе не хочу общаться с сумасшедшими, — заметила Аня.

— Ничего уж не поделаешь, — возразил Кот. — Мы все здесь сумасшедшие. Я безумен. Вы безумны.

— Откуда Вы знаете, что я безумная? — спросила Аня.

— Должны быть. Иначе Вы сюда не пришли бы.

Аня не нашла это доказательством. Однако она продолжала:

— А как Вы знаете, что Вы сами сумасшедший?

— Начать с того, — ответил Кот, — что собака, например, не сумасшедшая. Вы с этим согласны?

— Пожалуй, — сказала Аня.

— Ну так вот, — продолжал Кот, — собака рычит, когда сердита, и виляет хвостом, когда довольна. Я же рычу, когда доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Заключенье: я — сумасшедший.

— Я называю это мурлыканьем, а не рычаньем, — проговорила Аня.

— Называйте чем хотите, — сказал Кот. — Играете ли Вы сегодня в крокет с Королевой?

— Я очень бы этого хотела, — ответила Аня, — но меня еще не приглашали.

— Вы меня там увидите, — промолвил Кот — и исчез.

Это не очень удивило Аню: она уже привыкла к чудесам. Пока она глядела на то место, где только что сидел Кот, он вдруг появился опять.

— Кстати, что случилось с младенцем? — спросил он.

— Он превратился в поросенка, — ответила Аня совершенно спокойно, словно Кот вернулся естественным образом.

— Я так и думал, — ответил Кот и снова испарился.

Аня подождала немного, думая, что, может, он опять появится, а затем пошла по тому направлению, где, по его словам, жил Мартовский Заяц.

«Шляпников я и раньше видала, — думала она. — Мартовский Заяц куда будет занятнее, и к тому же, так как мы теперь в мае, он не будет буйно-помешанный, по крайней мере, не так буйно, как в марте». Тут она

взглянула вверх и опять увидела Кота, сидящего на ветке дерева.

— Вы как сказали — поросенок или опенок? — спросил Кот.

— Я сказала — поросенок, — ответила Аня. — И я очень бы просила Вас не исчезать и не появляться так внезапно: у меня в глазах рябит.

— Ладно, — промолвил Кот и на этот раз стал исчезать постепенно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая еще осталась некоторое время после того, как остальное испарилось.

«Однако! — подумала Аня. — Мне часто приходилось видеть кота без улыбки, но улыбку без кота — никогда. Это просто поразительно».

Вскоре она пришла к дому Мартовского Зайца. Не могло быть сомнения, что это был именно его дом: трубы были в виде ушей, а крыша была крыта шерстью. Дом был так велик, что она не решилась подойти раньше, чем не откусила кусочек от левого ломтика гриба. И даже тогда она робела: а вдруг он все-таки буйствует! «Пожалуй, лучше было бы, если бы я посетила Шляпника!»

Глава 7
СУМАСШЕДШИЕ ПЬЮТ ЧАЙ

Перед домом под деревьями был накрыт стол: Мартовский Заяц и Шляпник пили чай. Зверек Соня сидел между ними и спал крепким сном. Они же облокачивались на него, как на подушку, и говорили через его голову. «Соне, наверно, очень неудобно, — подумала Аня. — Но, впрочем, он спит, не замечает».

Стол был большой, но почему-то все трое скучились в одном конце.

— Нет места, нет места, — закричали они, когда Аня приблизилась.

— Места сколько угодно, — сказала она в возмущеньи и села в обширное кресло во главе стола.

— Можно Вам вина? — бодро предложил Мартовский Заяц.

Аня оглядела стол: на нем ничего не было, кроме чая и хлеба с маслом.

— Я никакого вина не вижу, — заметила она.

— Никакого и нет, — сказал Мартовский Заяц.

— В таком случае не очень было вежливо предлагать мне его, — рассердилась Аня.

— Не очень было вежливо садиться без приглашения, — возразил Мартовский Заяц.

— Я не знала, что это Ваш стол, — сказала Аня. — Тут гораздо больше трех приборов.

— Обстричь бы Вас, — заметил Шляпник. Он все время смотрел на волосы Ани с большим любопытством, и вот были его первые слова.

Аня опять вспылила:

— Потрудитесь не делать личных замечаний, это чрезвычайно грубо.

У Шляпника расширились глаза, но все, что он сказал, было:

— Какое сходство между роялем и слоном?

«Вот это лучше, — подумала Аня. — Я люблю такого рода загадки. Повеселимся».

— Мне кажется, я могу разгадать это, — добавила она громко.

— Вы говорите, что знаете ответ? — спросил Мартовский Заяц.

Аня кивнула.

— А Вы знаете, что говорите? — спросил Мартовский Заяц.

— Конечно, — поспешно ответила Аня. — По крайней мере, я говорю, что знаю. Ведь это то же самое.

— И совсем не то же самое, — воскликнул Шляпник. — Разве можно сказать: «Я вижу, что ем» вместо: «Я ем, что вижу»?

— Разве можно сказать, — пробормотал Соня, словно разговаривая во сне, — «Я дышу, пока сплю» вместо: «Я сплю, пока дышу»?

— В твоем случае можно, — заметил Шляпник, и на этом разговор иссяк, и все сидели молча, пока Аня вспоминала все, что знала насчет роялей и слонов, — а знала она не много.

Шляпник первый прервал молчанье.

— Какое сегодня число? — спросил он, обращаясь к Ане. При этом он вынул часы и тревожно на них глядел, то встряхивая их, то прикладывая их к уху.

Аня подумала и сказала:

— Четвертое.

— На два дня отстают, — вздохнул Шляпник. — Я говорил тебе, что твое масло не подойдет к механизму, — добавил он, недовольно глядя на Мартовского Зайца.

— Масло было самое свежее, — кротко возразил Мартовский Заяц.

— Да, но вероятно и крошки попали, — пробурчал Шляпник. — Ты не должен был мазать хлебным ножом.

Мартовский Заяц взял часы и мрачно на них посмотрел, потом окунул их в свою чашку, расплескав чай, и посмотрел опять.

— Это было самое свежее масло, — повторил он удивленно.

Аня с любопытством смотрела через его плечо.

— Какие забавные часы! — воскликнула она. — По ним можно узнать, которое сегодня число, а который час — нельзя.

— Ну и что же, — пробормотал Шляпник. — Или по Вашим часам можно узнать время года?

— Разумеется, нет, — бойко ответила Аня. — Ведь один и тот же год держится так долго.

— В том-то и штука, — проговорил Шляпник.

Аня была ужасно озадачена. Объяснение Шляпника не имело, казалось, никакого смысла, а вместе с тем слова были самые простые.

— Я не совсем понимаю, — сказала она, стараясь быть как можно вежливее.

— Соня опять спит, — со вздохом заметил Шляпник и вылил ему на нос немножко горячего чая.

Соня нетерпеливо помотал головой и сказал, не открывая глаз:

— Конечно, конечно, я совершенно того же мнения.

— Нашли разгадку? — спросил Шляпник, снова повернувшись к Ане.

— Сдаюсь! — объявила Аня. — Как же?

— Не имею ни малейшего представления, — сказал Шляпник.

— И я тоже, — сказал Мартовский Заяц.

Аня устало вздохнула:

— Как скучно так проводить время!

— Если бы Вы знали Время так, как я его знаю, — заметил Шляпник, — Вы бы не посмели сказать, что его провожать скучно. Оно самолюбиво.

— Я Вас не понимаю, — сказала Аня.

— Конечно нет! — воскликнул Шляпник, презрительно мотнув головой. — Иначе Вы бы так не расселись.

— Я только села на время, — кротко ответила Аня.

— То-то и есть, — продолжал Шляпник. — Время не любит, чтобы на него садились. Видите ли, если бы Вы его не обижали, оно делало бы с часами все, что хотите. Предположим, было бы десять часов утра, Вас зовут на урок. А тут Вы бы ему, Времени-то, намекнули — и мигом закружились бы стрелки: два часа, пора обедать.

— Ах, пора! — шепнул про себя Мартовский Заяц.

— Это было бы великолепно, — задумчиво проговорила Аня. — Но только, знаете, мне, пожалуй, не хотелось бы есть.

— Сначала, может быть, и не хотелось бы, — сказал Шляпник, — но ведь Вы бы могли подержать стрелку на двух часах до тех пор, пока не проголодались бы.

— И Вы так делаете? — спросила Аня.

Шляпник уныло покачал головой.

— Куда мне? — ответил он. — Мы с Временем рассорились в прошлом Мартобре, когда этот, знаете, начинал сходить с ума (он указал чайной ложкой на Мартовского Зайца), а случилось это так: Королева давала большой музыкальный вечер, и я должен был петь:

«Рыжик, рыжик, где ты был?
На полянке дождик пил?»

Вы, может быть, эту песню знаете?

— Я слышала нечто подобное, — ответила Аня.

— Не думаю, — сказал Шляпник. — Дальше идет так:

«Выпил каплю, выпил две,
Стало сыро в голове!»

Тут Соня встряхнулся и стал петь во сне: «Сыро, сыро, сыро, сыро...» — и пел так долго, что остальным пришлось его щипать, чтобы он перестал.

— Ну так вот, — продолжал Шляпник, — только начал я второй куплет, вдруг Королева как вскочит да гаркнет: «Он губит время! Отрубить ему голову!»

— Как ужасно жестоко! — воскликнула Аня.

— И с этой поры, — уныло добавил Шляпник, — Время отказывается мне служить: теперь всегда пять часов.

— Потому-то и стоит на столе так много чайной посуды? — спросила Аня.

— Да, именно потому, — вздохнул Шляпник. — Время всегда — время чая, и мы не успеваем мыть чашки.

— Так, значит, вы двигаетесь вокруг стола от одного прибора к другому? — сказала Аня.

— Да, — ответил Шляпник, — от одного к другому, по мере того как уничтожаем то, что перед нами.

— А что же случается, когда вы возвращаетесь к началу? — полюбопытствовала Аня.

— Давайте-ка переменим разговор, — перебил Мартовский Заяц, зевая. — Мне это начинает надоедать. Предлагаю, чтобы барышня рассказала нам что-нибудь.

— Я ничего не знаю, — сказала Аня, несколько испуганная этим предложением.

— Тогда расскажет Соня! — воскликнули оба. — Проснись, Соня!

И они одновременно ущипнули его с обеих сторон.

Соня медленно открыл глаза.

— Я вовсе не спал, — проговорил он слабым хриплым голосом. — Я слышал, господа, каждое ваше слово.

— Расскажи нам сказку, — попросил Мартовский Заяц.

— Да, пожалуйста, — протянула Аня.

— И поторопись! — добавил Шляпник. — А то уснешь, не докончив.

— Жили-были три сестренки, — начал Соня с большой поспешностью, — и звали их: Мася, Пася и Дася. И жили они на глубине колодца...

— Чем они питались? — спросила Аня.

— Они питались сиропом, — сказал Соня, подумав.

— Это, знаете, невозможно, — кротко вставила Аня, — ведь они же были бы больны.

— Так они и были очень больны, — ответил Соня.

Аня попробовала представить себе такую необычайную жизнь, но ничего у нее не вышло. Тогда она задала другой вопрос:

— Почему же они жили на глубине колодца?

— Еще чаю? — вдумчиво сказал Мартовский Заяц, обращаясь к Ане.

— Я совсем не пила, — обиделась Аня, — и потому не могу выпить е щ е.

— Если Вы еще чаю не пили, — сказал Шляпник, — то Вы можете еще чаю выпить.

— Никто не спрашивал Вашего мнения, — воскликнула Аня.

— А кто теперь делает личные замечанья? — проговорил Шляпник с торжествующим видом.

Аня не нашлась, что ответить. Она налила себе чаю и взяла хлеба с маслом. Потом она обратилась к Соне:

— Почему же они жили на глубине колодца?

Соня опять несколько минут подумал и наконец сказал:

— Это был сироповый колодец.

— Таких не бывает, — рассердилась было Аня, но Шляпник и Мартовский Заяц зашипели:

— Шш, шш!

А Соня, надувшись, пробормотал:

— Если Вы не можете быть вежливы, то доканчивайте рассказ сами.

— Нет, пожалуйста, продолжайте, — сказала Аня очень смиренно. — Я не буду Вас больше прерывать. Пожалуйста, хоть какой-нибудь рассказ!

— Какой-нибудь, — возмущенно просопел Соня. Однако он согласился продолжать: — Итак, эти три сестрички, которые, знаете, учились черпать...

— Что они черпали? — спросила Аня, забыв свое обещанье.

— Сироп! — сказал Соня, уже вовсе не подумав.

— Я хочу чистую чашку, — перебил Шляпник, — давайте подвинемся.

Шляпник подвинулся, за ним Соня. Мартовскому Зайцу досталось место Сони. Аня же неохотно заняла стул Мартовского Зайца. Один Шляпник получил выгоду от этого перемещенья: Ане было куда хуже, чем прежде, ибо Мартовский Заяц только что опрокинул кувшин с молоком в свою тарелку.

Аня очень боялась опять обидеть Соню, но все же решилась спросить:

— Но я не понимаю, откуда же они черпали сироп.

Тут заговорил Шляпник:

— Воду можно черпать из обыкновенного колодца? Можно. Отчего же нельзя черпать сироп из колодца сиропового — а, глупая?

— Но ведь они были в колодце, — обратилась она к Соне, пренебрегая последним замечаньем.

— Конечно, — ответил Соня, — на самом дне.

Это так озадачило Аню, что она несколько минут не прерывала его.

— Они учились черпать и чертить, — продолжал он, зевая и протирая глаза (ему начинало хотеться спать), — черпали и чертили всякие вещи, все, что начинается с буквы М.

— Отчего именно с М? — спросила Аня.

— Отчего бы нет? — сказал Мартовский Заяц.

Меж тем Соня закрыл глаза и незаметно задремал; когда же Шляпник его хорошенько ущипнул, он проснулся с тоненьким визгом и скороговоркой продолжал:

— ...с буквы М, как, например, мышеловки, месяц, и мысли, и маловатости... видали ли вы когда-нибудь чертеж маловатости?

— Раз уж Вы меня спрашиваете, — ответила Аня, чрезвычайно озадаченная, — то я должна сознаться, что никогда.

— В таком случае нечего перебивать, — сказал Шляпник.

Такую грубость Аня уже вытерпеть не могла; она возмущенно встала и удалилась. Соня тотчас же заснул опять, а двое других не обратили никакого вниманья на ее уход, хотя она несколько раз оборачивалась, почти надеясь, что они попросят ее остаться. Оглянувшись последний раз, она увидела, как Шляпник и Мартовский Заяц стараются втиснуть Соню в чайник.

«Будет с меня! — думала Аня, пробираясь сквозь чащу. — Это был самый глупый чай, на котором я когда-либо присутствовала».

Говоря это, она вдруг заметила, что на одном стволе — дверь, ведущая внутрь. «Вот это странно! — подумала она. — Впрочем, все странно сегодня. Пожалуй, войду».

Сказано — сделано.

И опять она оказалась в длинной зале, перед стеклянным столиком. «Теперь я устроюсь лучше», — сказала она

себе и начала с того, что взяла золотой ключик и открыла дверь, ведущую в сад. Затем съела сбереженный кусочек гриба и, уменьшившись, вошла в узенький проход; тогда она очутилась в чудесном саду среди цветов и прохладных фонтанов.

Глава 8
КОРОЛЕВА ИГРАЕТ В КРОКЕТ

Высокое розовое деревцо стояло у входа в сад. Розы на нем росли белые, но три садовника с озабоченным видом красили их в алый цвет. Это показалось Ане очень странным. Она приблизилась, чтобы лучше рассмотреть, и услыхала, как один из садовников говорил:

— Будь осторожнее, Пятерка! Ты меня всего обрызгиваешь краской.

— Я нечаянно, — ответил Пятерка кислым голосом. — Меня под локоть толкнул Семерка.

Семерка поднял голову и пробормотал:

— Так, так, Пятерка! Всегда сваливай вину на другого.

— Ты уж лучше молчи, — сказал Пятерка. — Я еще вчера слышал, как Королева говорила, что недурно было бы тебя обезглавить.

— За что? — полюбопытствовал тот, который заговорил первый.

— Это, во всяком случае, Двойка, не твое дело! — сказал Семерка.

— Нет врешь, — воскликнул Пятерка, — я ему расскажу: это было за то, что Семерка принес в кухню тюльпановых луковиц вместо простого лука.

Семерка в сердцах кинул кисть, но только он начал: «Это такая несправедливость...» — как взгляд его упал на Аню, смотревшую на него в упор, и он внезапно осекся. Остальные взглянули тоже, и все трое низко поклонились.

— Объясните мне, пожалуйста, — робко спросила Аня, — отчего вы красите эти розы?

Пятерка и Семерка ничего не ответили и поглядели на Двойку. Двойка заговорил тихим голосом:

— Видите ли, в чем дело, барышня: тут должно быть деревцо красных роз, а мы по ошибке посадили белое; если Королева это заметит, то она, знаете, прикажет всем нам

отрубить головы. Так что, видите, барышня, мы прилагаем все усилия, чтобы до ее прихода...

Тут Пятерка, тревожно глядевший в глубину сада, крикнул:

— Королева! — И все три садовника разом упали ничком. Близился шелест многих шагов, и Аня любопытными глазами стала искать Королеву.

Впереди шли десять солдат с пиками на плечах. Они, как и садовники, были совсем плоские, прямоугольные, с руками и ногами по углам. За ними следовали десять придворных с клеверными листьями в петлицах и десять шутов с бубнами. Затем появились королевские дети. Их было тоже десять. Малютки шли парами, весело подпрыгивая, и на их одеждах были вышиты розовые сердца. За ними выступали гости (все больше короли и королевы), и между ними Аня заметила старого своего знакомого — Белого Кролика. Он что-то быстро-быстро лопотал, подергивал усиками, улыбался на все, что говорилось, и прошел мимо, не видя Ани. После гостей прошел Червонный Валет, несущий на пунцовой бархатной подушке рубиновую корону. И, наконец, замыкая величавое шествие, появился Король Червей со своей Королевой.

Аня не знала, нужно ли ей пасть на лицо, как сделали садовники. Она не могла вспомнить такое правило. «Что толку в шествиях, — подумала она, — если люди должны ложиться ничком и, таким образом, ничего не видеть?» Поэтому она осталась неподвижно стоять, ожидая, что будет дальше.

Когда шествие поравнялось с Аней, все остановились, глядя на нее, а Королева грозно спросила:

— Кто это?

Вопрос был задан Червонному Валету, который в ответ только поклонился с широкой улыбкой.

— Болван! — сказала Королева, нетерпеливо мотнув головой, и обратилась к Ане: — Как тебя зовут, дитя?

— Меня зовут Аней, Ваше Величество, — ответила Аня очень вежливо, а затем добавила про себя: «В конце концов, все они — только колода карт. Бояться их нечего».

— А кто эти? — спросила Королева, указав на трех садовников, неподвижно лежащих вокруг дерева. Так как они лежали ничком и так как крап на их спинах был точь-в-точь как на изнанке других карт, то Королева не

могла узнать, кто они — садовники, солдаты, придворные или трое из ее же детей.

— А я почем знаю? — сказала Аня, дивясь своей смелости. — Мне до этого никакого дела нет!

Королева побагровела от ярости, выпучила на нее свои горящие волчьи глаза и рявкнула:

— Отрубить ей голову! Отруб...

— Ерунда! — промолвила Аня очень громко и решительно, и Королева замолкла.

Король тронул ее за рукав и кротко сказал:

— Рассуди, моя дорогая, ведь это же только ребенок.

Королева сердито отдернула руку и крикнула Валету:

— Переверни их!

Валет сделал это очень осторожно носком одной ноги.

— Встать! — взвизгнула Королева, и все три садовника мгновенно вскочили и стали кланяться направо и налево Королю, Королеве, их детям и всем остальным.

— Перестать! — заревела Королева. — У меня от этого голова кружится.

И, указав на розовое деревцо, она продолжала:

— Чем вы тут занимались?

— Ваше Величество, — сказал Двойка униженным голосом и опустился на одно колено, — Ваше Величество, мы пробовали...

— Понимаю! — проговорила Королева, разглядывая розы. — Отрубить им головы!

И шествие двинулось опять. Позади остались три солдата, которые должны были казнить садовников. Те подбежали к Ане, прося защиты.

— Вы не будете обезглавлены! — сказала Аня и посадила их в большой цветочный горшок, стоящий рядом. Солдаты побродили, побродили, отыскивая осужденных, а затем спокойно догнали остальных.

— Головы отрублены? — крикнула Королева.

— Голов больше нет, Ваше Величество! — крикнули солдаты.

— Превосходно! — крикнула Королева. — В крокет умеешь?

Солдаты промолчали и обернулись к Ане, так как вопрос, очевидно, относился к ней.

— Да! — откликнулась Аня.

— Тогда иди! — грянула Королева, и Аня примкнула к шествию.

— Погода... погода сегодня хорошая! — проговорил робкий голос. Это был Белый Кролик. Он шел рядом с Аней и тревожно заглядывал ей в лицо.

— Очень хорошая, — согласилась Аня. — Где Герцогиня?

— Тише, тише, — замахал на нее Кролик. И, оглянувшись, он встал на цыпочки, приложил рот к ее уху и шепнул: — Она приговорена к смерти.

— За какую шалость? — осведомилась Аня.

— Вы сказали: «Какая жалость»? — спросил Кролик.

— Ничего подобного, — ответила Аня. — Мне вовсе не жалко. Я сказала: за что?

— Она выдрала Королеву за уши, — начал Кролик. Аня покатилась со смеху.

— Ах, тише, — испуганно шепнул Кролик. — Ведь Королева услышит! Герцогиня, видите ли, пришла довольно поздно, и Королева сказала...

— По местам! — крикнула Королева громовым голосом, и мигом подчиненные разбежались во все стороны, наталкиваясь друг на друга и спотыкаясь. Вскоре порядок был налажен и игра началась.

Аня никогда в жизни не видела такой странной крокетной площадки: она была вся в ямках и в бороздах; шарами служили живые ежи, молотками — живые фламинго. Солдаты же, выгнув спины, стояли на четвереньках, изображая дужки.

Аня не сразу научилась действовать своим фламинго. Ей наконец удалось взять его довольно удобно, так что тело его приходилось ей под мышку, а ноги болтались сзади. Но как только она выпрямляла ему шею и собиралась головой его стукнуть по свернутому ежу — фламинго нет-нет да и выгнется назад, глядя ей в лицо с таким недоуменьем, что нельзя было не расхохотаться. Когда же она опять нагибала ему голову и собиралась начать сызнова, то с досадой замечала, что еж развернулся и тихонько уползает. Кроме того, всякие рытвины мешали ежу катиться, солдаты же то и дело раскрючивались и меняли места. Так что Аня вскоре пришла к заключенью, что это игра необычайно трудная.

Участники играли все сразу, не дожидаясь очереди, все время ссорились и дрались из-за ежей, и вскоре Королева была в неистовой ярости, металась, топала и не переставая орала: «Отрубить голову, отрубить...»

Ане становилось страшновато: правда, она с Королевой еще не поссорилась, но ссора могла произойти каждую минуту. «Что тогда будет со мной? — подумала она. — Здесь так любят обезглавливать. Удивительно, что есть еще живые люди!»

Она посмотрела кругом, ища спасенья и рассуждая, удастся ли ей уйти незаметно, как вдруг ее поразило некое явленье в воздухе. Вглядевшись, она поняла, что это не что иное, как широкая улыбка, и Аня подумала: «Масляничный Кот! Теперь у меня будет с кем потолковать».

— Как Ваши дела? — спросил Кот, как только рот его окончательно наметился

Аня выждала появленья глаз и тогда кивнула. «Смысла нет говорить с ним, пока еще нет у него ушей или по крайней мере одного из них», — сказала она про себя. Еще мгновенье — и обозначилась вся голова, и тогда Аня, выпустив своего фламинго, стала рассказывать о ходе игры, очень довольная, что у нее есть слушатель. Кот решил, что он теперь достаточно на виду, и, кроме головы, ничего больше не появлялось.

— Я не нахожу, что играют они честно, — стала жаловаться Аня. — И так они все спорят, что оглохнуть можно. И в игре никаких определенных правил нет, а если они и есть, то во всяком случае никто им не следует, и Вы не можете себе представить, какой происходит сумбур от того, что шары и все прочее — живые существа. Вот сейчас, например, та дуга, под которую нужно было пройти, разогнулась и вон там прогуливается. Нужно было моим ежом ударить по ежу Королевы, а тот взял да и убежал, когда мой к нему подкатил.

— Как Вам нравится Королева? — тихо спросил Кот.

— Очень не нравится, — ответила Аня. — Она так ужасно... (тут Аня заметила, что Королева подошла сзади и слушает) ...хорошо играет, что не может быть сомненья в исходе игры.

Королева улыбнулась и прошла дальше.

— С кем это ты говоришь? — спросил Король, приблизившись в свою очередь к Ане и с большим любопытством

разглядывая голову Кота.

— Это один мой друг, Масляничный Кот, — объяснила Аня. — Позвольте его Вам представить.

— Мне не нравится его улыбка, — сказал Король. — Впрочем, он, если хочет, может поцеловать мою руку.

— Предпочитаю этого не делать, — заметил Кот.

— Не груби! — воскликнул Король. — И не смотри на меня так! — Говоря это, он спрятался за Аню.

— Смотреть всякий может, — возразил Кот.

Король с решительным видом обратился к Королеве, которая как раз проходила мимо.

— Мой друг, — сказал он, — прикажи, пожалуйста, убрать этого Кота.

У Королевы был только один способ разрешать все затрудненья, великие и малые.

— Отрубить ему голову! — сказала она, даже не оборачиваясь.

— Я пойду сам за палачом, — с большой готовностью воскликнул Король и быстро удалился.

Аня решила вернуться на крокетную площадку, чтобы посмотреть, как идет игра. Издали доносился голос Королевы, которая орала в яростном исступлении. Несколько игроков уже были присуждены к смерти за несоблюденье очереди, и стояла такая сумятица, что Аня не могла разобрать, кому играть следующим. Однако она пошла отыскивать своего ежа.

Еж был занят тем, что дрался с другим ежом, и это показалось Ане отличным случаем, чтобы стукнуть одного об другого; но, к несчастью, ее молоток, то есть фламинго, перешел на другой конец сада, и Аня видела, как он, беспомощно хлопая крыльями, тщетно пробовал взлететь на деревцо.

Когда же она поймала его и принесла обратно, драка была кончена и оба ежа исчезли. «Впрочем, это неважно, — подумала Аня. — Все равно ушли все дуги с этой стороны площадки». И, ловко подоткнув птицу под мышку, так чтобы она не могла больше удрать, Аня пошла поговорить со своим другом.

Вернувшись к тому месту, где появился Масляничный Кот, она с удивлением увидела, что вокруг него собралась большая толпа. Шел оживленный спор между палачом, Королем и Королевой, которые говорили все сразу. Осталь-

ные же были совершенно безмолвны и казались в некотором смущеньи.

Как только Аня подошла, все трое обратились к ней с просьбой разрешить вопрос и повторили свои доводы, но так как они говорили все сразу, Аня не скоро могла понять, в чем дело.

Довод палача был тот, что нельзя отрубить голову, если нет тела, с которого можно ее отрубить; что ему никогда в жизни не приходилось это делать и что он в свои годы не намерен за это приняться.

Довод Короля был тот, что все, что имеет голову, может быть обезглавлено, и что «ты, мол, порешь чушь».

Довод Королевы был тот, что, если «сию, сию, сию, сию же минуту что-нибудь не будет сделано», она прикажет казнить всех окружающих (это-то замечание и было причиной того, что у всех был такой унылый и тревожный вид).

Аня могла ответить только одно:

— Кот принадлежит Герцогине. Вы бы лучше ее спросили.

— Она в тюрьме, — сказала Королева палачу. — Приведи ее сюда.

И палач пустился стрелой.

Тут голова Кота стала таять, и когда наконец привели Герцогиню, ничего уже не было видно. Король и палач еще долго носились взад и вперед, отыскивая приговоренного, остальные же пошли продолжать прерванную игру.

Глава 9
ПОВЕСТЬ ЧЕПУПАХИ

— Ты не можешь себе представить, как я рада видеть тебя, моя милая деточка! — сказала Герцогиня, ласково взяв Аню под руку.

Ане было приятно найти ее в таком благодушном настроении. Она подумала, что это, вероятно, перец делал ее такой свирепой тогда, в кухне.

«Когда я буду герцогиней, — сказала она про себя (не очень, впрочем, на это надеясь), — у меня в кухне перца вовсе не будет. Суп без перца и так хорош. Быть может, именно благодаря перцу люди становятся так

вспыльчивы, — продолжала она, гордясь тем, что нашла новое правило. — А уксус заставляет людей острить, а лекарства оставляют в душе горечь, а сладости придают мягкость нраву. Ах, если б люди знали эту последнюю истину! Они стали бы щедрее в этом отношении...»

Аня так размечталась, что совершенно забыла присутствие Герцогини и вздрогнула, когда около самого уха услыхала ее голос.

— Ты о чем-то думаешь, моя милочка, и потому молчишь. Я сейчас не припомню, как мораль этого, но, вероятно, вспомню через минуточку.

— Может быть, и нет морали, — заметила было Аня.

— Стой, стой, деточка, — сказала Герцогиня, — у всякой вещи есть своя мораль — только нужно ее найти.

И она, ластясь к Ане, плотнее прижалась к ее боку.

Такая близость не очень нравилась Ане: во-первых, Герцогиня была чрезвычайно некрасива, а во-вторых, подбородок ее как раз приходился Ане к плечу, и это был острый, неудобный подбородок. Однако Ане не хотелось быть невежливой, и поэтому она решилась терпеть.

— Игра идет теперь немного глаже, — сказала она, чтобы поддержать разговор.

— Сие верно, — ответила Герцогиня, — и вот мораль этого: любовь, любовь, одна ты вертишь миром!

— Кто-то говорил, — ехидно шепнула Аня, — что мир вертится тогда, когда каждый держится своего дела.

— Ну что ж, значенье более или менее то же, — сказала Герцогиня, вдавливая свой остренький подбородок Ане в плечо. — И мораль этого: слова есть — значенье темно иль ничтожно.

«И любит же она из всего извлекать мораль!» — подумала Аня.

— Я чувствую, ты недоумеваешь, отчего это я не беру тебя за талию, — проговорила Герцогиня после молчанья. — Дело в том, что я не уверена в характере твоего фламинго. Произвести ли этот опыт?

— Он может укусить, — осторожно ответила Аня, которой вовсе не хотелось, чтобы опыт был произведен.

— Справедливо, — сказала Герцогиня, — фламинго и горчица — оба кусаются. Мораль: у всякой пташки свои замашки.

— Но ведь горчица — не птица, — заметила Аня.

— И то, — сказала Герцогиня. — Как ясно ты умеешь излагать мысли!

— Горчица — ископаемое, кажется, — продолжала Аня.

— Ну конечно, — подхватила Герцогиня, которая, по-видимому, готова была согласиться с Аней, что бы та ни сказала. — Тут недалеко производятся горчичные раскопки. И мораль этого: не копайся!

— Ах, знаю! — воскликнула Аня, не слушая. — Горчица — овощ. Не похожа на овощ, а все-таки овощ.

— Я совершенно такого же мненья, — сказала Герцогиня. — Мораль: будь всегда сама собой. Или проще: не будь такой, какой ты кажешься таким, которым кажется, что ты такая, какой ты кажешься, когда кажешься не такой, какой была бы, если б была не такой.

— Я бы лучше поняла, если б могла это записать, — вежливо проговорила Аня. — А так я не совсем услежу за смыслом Ваших слов.

— Это ничто по сравнению с тем, что я могу сказать, — самодовольно ответила Герцогиня.

— Ах, не трудитесь сказать длиннее! — воскликнула Аня.

— Тут не может быть речи о труде, — сказала Герцогиня. — Дарю тебе все, что я до сих пор сказала.

«Однако, подарок! — подумала Аня. — Хорошо, что на праздниках не дарят такой прелести». Но это сказать громко она не решилась.

— Мы опять задумались? — сказала Герцогиня, снова ткнув остреньким подбородком.

— Я вправе думать, — резко ответила Аня, которая начинала чувствовать раздраженье.

— Столько же вправе, сколько свиньи вправе лететь, и мор...

Тут, к великому удивлению Ани, голос Герцогини замолк, оборвавшись на любимом слове, и рука, державшая ее под руку, стала дрожать. Аня подняла голову: перед ними стояла Королева и, скрестив руки, насупилась, как грозовая туча.

— Прекрасная сегодня погодка, Ваше Величество, — заговорила Герцогиня тихим, слабым голосом.

— Предупреждаю! — грянула Королева, топнув ногой. — Или ты, или твоя голова сию минуту должны исчезнуть. Выбирай!

Герцогиня выбрала первое и мгновенно удалилась.

— Давай продолжать игру, — сказала Королева, обратившись к Ане. И Аня была так перепугана, что безмолвно последовала за ней по направлению к крокетной площадке. Остальные гости, воспользовавшись отсутствием Королевы, отдыхали в тени деревьев. Однако, как только она появилась, они поспешили вернуться к игре, причем Королева вскользь заметила, что, будь дальнейшая задержка, она их всех казнит.

В продолжение всей игры Королева не переставая ссорилась то с одним, то с другим и орала: «Отрубить ему голову». Приговоренного уводили солдаты, которые при этом должны были, конечно, переставать быть дугами, так что не прошло и получаса, как на площадке не оставалось более ни одной дужки и уже все игроки, кроме королевской четы и Ани, были приговорены к смерти.

Тогда, тяжело переводя дух, Королева обратилась к Ане:

— Ты еще не была у Чепупахи?

— Нет, — ответила Аня. — Я даже не знаю, что это.

— Это то существо, из которого варится поддельный черепаховый суп, — объяснила Королева.

— В первый раз слышу, — воскликнула Аня.

— Так пойдем, — сказала Королева. — Чепупаха расскажет тебе свою повесть.

Они вместе удалились, и Аня успела услышать, как Король говорил тихим голосом, обращаясь ко всем окружающим: «Вы все прощены».

«Вот это хорошо», — подумала Аня. До этого ее очень угнетало огромное число предстоящих казней.

Вскоре они набрели на Грифа, который спал на солнцепеке.

— Встать, лежебока! — сказала Королева. — Изволь проводить барышню к Чепупахе, и пусть та расскажет ей свою повесть. Я должна вернуться, чтобы присутствовать при нескольких казнях, которые я приказала привести в исполнение немедленно.

И она ушла, оставив Аню одну с Грифом.

С виду животное это казалось пренеприятным, но Аня рассудила, что все равно, с кем быть — с ним или со свирепой Королевой.

Гриф сел и протер глаза. Затем смотрел некоторое время вслед Королеве, пока та не скрылась, и тихо засмеялся.

— Умора! — сказал Гриф не то про себя, не то обращаясь к Ане.

— Что умора? — спросила Аня.

— Да вот она, — ответил Гриф, потягиваясь. — Это, знаете ль, все ее воображенье: никого ведь не казнят. Пойдем!

— Все тут говорят — пойдем! Никогда меня так не туркали, никогда!

Спустя несколько минут ходьбы они увидели вдали Чепупаху, которая сидела грустная и одинокая на небольшой скале. А приблизившись, Аня расслышала ее глубокие, душу раздирающие вздохи. Ей стало очень жаль ее.

— Какая у нее печаль? — спросила она у Грифа, и Гриф отвечал почти в тех же словах, что и раньше:

— Это все ее воображенье. У нее, знаете, никакого и горя нет!

Они подошли к Чепупахе, которая посмотрела на них большими телячьими глазами, полными слез, но не проронила ни слова.

— Вот эта барышня, — сказал Гриф, — желает услышать твою повесть.

— Я все ей расскажу, — ответила Чепупаха глубоким, гулким голосом. — Садитесь вы оба сюда и молчите, пока я не кончу.

Сели они, и наступило довольно долгое молчанье. Аня подумала: «Я не вижу, как она может кончить, если не начнет». Но решила терпеливо ждать.

— Некогда, — заговорила наконец Чепупаха, глубоко вздохнув, — я была настоящая черепаха.

Снова долгое молчанье, прерываемое изредка возгласами Грифа — Хкрр, хкрр... — и тяжкими всхлипами Чепупахи.

Аня была близка к тому, чтобы встать и сказать: «Спасибо, сударыня, за Ваш занимательный рассказ», но все же ей казалось, что должно же быть что-нибудь дальше, и потому она оставалась сидеть смирно и молча ждала.

— Когда мы были маленькие, — соизволила продолжать Чепупаха, уже спокойнее, хотя все же всхлипывая по временам, — мы ходили в школу на дне моря. У нас был старый, строгий учитель, мы его звали Молодым Спрутом.

— Почему же вы звали его молодым, если он был стар? — спросила Аня.

— Мы его звали так потому, что он всегда был с прутиком, — сердито ответила Чепупаха. — Какая Вы, право, тупая!

— Да будет Вам, стыдно задавать такие глупые вопросы! — добавил Гриф. И затем они оба молча уставились на бедняжку, которая готова была провалиться сквозь землю. Наконец Гриф сказал Чепупахе:

— Валяй, старая! А то никогда не окончишь.

И Чепупаха опять заговорила:

— Мы ходили в школу на дне моря — верьте не верьте...

— Я не говорила, что не верю, — перебила Аня.

— Говорили, — сказала Чепупаха.

— Прикуси язык, — добавил Гриф, не дав Ане возможности возразить. Чепупаха продолжала:

— Мы получали самое лучшее образованье — мы ходили в школу ежедневно.

— Я это тоже делала, — сказала Аня. — Нечего Вам гордиться этим.

— А какие были у Вас предметы? — спросила Чепупаха с легкой тревогой.

— Да всякие, — ответила Аня, — география, французский...

— И поведенье? — осведомилась Чепупаха.

— Конечно нет! — воскликнула Аня.

— Ну так ваша школа была не такая хорошая, как наша, — сказала Чепупаха с видом огромного облегченья. — У нас, видите ли, на листке с отметками стояло между прочими предметами и «поведенье».

— И Вы прошли это? — спросила Аня.

— Плата за этот предмет была особая, слишком дорогая для меня, — вздохнула Чепупаха. — Я проходила только обычный курс.

— Чему же Вы учились? — полюбопытствовала Аня.

— Сперва, конечно, — чесать и питать. Затем были четыре правила арифметики: служенье, выметанье, уморженье и пиленье.

— Я никогда не слышала об уморженьи, — робко сказала Аня. — Что это такое?

Гриф удивленно поднял лапы к небу.

— Крота можно укротить? — спросил он.

— Да... как будто можно, — ответила Аня неуверенно.

— Ну так, значит, и моржа можно уморжить, — про-

должал Гриф. — Если Вы этого не понимаете, Вы просто дурочка.

Аня почувствовала, что лучше переменить разговор. Она снова обратилась к Чепупахе:

— Какие же еще у вас были предметы?

— Много еще, — ответила та. — Была, например, лукомория, древняя и новая, затем — арфография (это мы учились на арфе играть), затем делали мы гимнастику. Самое трудное было — язвительное наклонение.

— На что это было похоже? — спросила Аня.

— Я не могу сама показать, — сказала Чепупаха. — Суставы мои утратили свою гибкость. А Гриф никогда этому не учился.

— Некогда было, — сказал Гриф. — Я ходил к другому учителю — к Карпу Карповичу.

— Я никогда у него не училась, — вздохнула Чепупаха. — Он, говорят, преподавал Ангельский язык.

— Именно так, именно так, — проговорил Гриф, в свою очередь вздохнув. И оба зверя закрылись лапками.

— А сколько в день у вас было уроков? — спросила Аня, спеша переменить разговор.

— У нас были не уроки, а укоры, — ответила Чепупаха. — Десять укоров первый день, девять — в следующий и так далее.

— Какое странное распределенье! — воскликнула Аня.

— Поэтому они и назывались укорами — укорачивались, понимаете? — заметил Гриф.

Аня подумала над этим. Потом сказала:

— Значит, одиннадцатый день был свободный?

— Разумеется, — ответила Чепупаха.

— А как же вы делали потом, в двенадцатый день? — с любопытством спросила Аня.

— Ну, довольно об этом! — решительным тоном перебил Гриф. — Расскажи ей теперь о своих играх.

Глава 10
ОМАРОВАЯ КАДРИЛЬ

Чепупаха глубоко вздохнула и плавником стерла слезу. Она посмотрела на Аню и попыталась говорить, но в продолжение двух-трех минут ее душили рыданья.

— Совсем будто костью подавилась! — заметил Гриф, принимаясь ее трясти и хлопать по спине. Наконец к Чепупахе вернулся голос. И, обливаясь слезами, она стала рассказывать:

— Может быть, Вы никогда не жили на дне моря («Не жила», — сказала Аня) и, может быть, Вас никогда даже не представляли Омару (Аня начала было: «Я как-то попроб...» — но осеклась и сказала: «Нет, никогда!»). Поэтому Вы просто не можете себе вообразить, что это за чудесная штука — Омаровая Кадриль.

— Да, никак не могу, — ответила Аня. — Скажите, что это за танец?

— Очень просто, — заметил Гриф. — Вы, значит, сперва становитесь в ряд на морском берегу...

— В два ряда! — крикнула Чепупаха. — Моржи, черепахи и так далее. Затем, очистив место от медуз («Это берет некоторое время», — вставил Гриф), вы делаете два шага вперед...

— Под руку с омаром, — крикнул Гриф.

— Конечно, — сказала Чепупаха.

— Два шага вперед, кланяетесь, меняетесь омарами и назад в том же порядке, — продолжал Гриф.

— Затем, знаете, — сказала Чепупаха, — вы закидываете...

— Омаров, — крикнул Гриф, высоко подпрыгнув.

— Как можно дальше в море...

— Плаваете за ними, — взревел Гриф.

— Вертитесь кувырком в море, — взвизгнула Чепупаха, неистово скача.

— Меняетесь омарами опять, — грянул Гриф.

— И назад к берегу — и это первая фигура, — сказала Чепупаха упавшим голосом, и оба зверя, все время прыгавшие как сумасшедшие, сели опять очень печально и тихо и взглянули на Аню.

— Это, должно быть, весьма красивый танец, — робко проговорила Аня.

— Хотели ли бы Вы посмотреть? — спросила Чепупаха.

— С большим удовольствием, — сказала Аня.

— Иди, давай попробуем первую фигуру, — обратилась Чепупаха к Грифу. — Мы ведь можем обойтись без омаров. Кто будет петь?

— Ты пой, — сказал Гриф. — Я не помню слов.

И вот они начали торжественно плясать вокруг Ани, изредка наступая ей на ноги, когда подходили слишком близко, и отбивая такт огромными лапами, между тем как Чепупаха пела очень медленно и уныло:

«Ты не можешь скорей подвигаться? —
Обратилась к Улитке Треска. —
Каракатица катится сзади,
Наступая на хвост мне слегка.
Увлекли черепахи омаров
И пошли выкрутасы писать.
Мы у моря тебя ожидаем,
Приходи же и ты поплясать.
Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь,
Ты не хочешь, скажи, поплясать?
Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь,
Ты ведь хочешь, скажи, поплясать?»

«Ты не знаешь, как будет приятно,
Ах, приятно! — когда в вышину
Нас подкинут с омарами вместе
И — бултых! — в голубую волну!
Далеко, — отвечает Улитка, —
Далеко ведь нас будут бросать.
Польщена, говорит, предложеньем,
Но прости, мол, не тянет плясать.
Не хочу, не могу, не хочу я,
Не могу, не хочу я плясать.
Не могу, не хочу, не могу я,
Не хочу, не могу я плясать».

Но чешуйчатый друг возражает:
«Отчего ж не предаться волне?
Этот берег ты любишь, я знаю,
Но другой есть — на той стороне.
Чем от берега этого дальше,
Тем мы ближе к тому, так сказать,
Не бледней, дорогая Улитка,
И скорей приходи поплясать.
Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь,
Ты не хочешь, скажи, поплясать?
Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь,
Ты ведь хочешь, скажи, поплясать?»

— Спасибо, мне этот танец очень понравился, — сказала Аня, довольная, что представленье кончено. — И как забавна эта песнь о треске.

— Кстати, насчет трески, — сказала Чепупаха. — Вы, конечно, знаете, что это такое.

— Да, — ответила Аня, — я ее часто видела во время обеда.

— В таком случае, если Вы так часто с ней обедали, то Вы знаете, как она выглядит? — продолжала Чепупаха.

— Кажется, знаю, — проговорила Аня задумчиво. — Она держит хвост во рту и вся облеплена крошками.

— Нет, крошки тут ни при чем, — возразила Чепупаха. — Крошки смыла бы вода. Но, действительно, хвост у нее во рту, и вот почему, — тут Чепупаха зевнула и прикрыла глаза. — Объясни ей причину и все такое, — обратилась она к Грифу.

— Причина следующая, — сказал Гриф. — Треска нет-нет да и пойдет танцевать с омарами. Ну и закинули ее в море. А падать было далеко. А хвост застрял у нее во рту. Ну и не могла его вынуть. Вот и все.

Аня поблагодарила:

— Это очень интересно. Я никогда не знала так много о треске.

— Я могу Вам еще кое-что рассказать, если хотите, — предложил Гриф. — Знаете ли Вы, например, откуда происходит ее званье?

— Никогда об этом не думала, — сказала Аня. — Откуда?

— Она трещит и трескается, — глубокомысленно ответил Гриф.

Аня была окончательно озадачена.

— Трескается, — повторила она удивленно. — Почему?

— Потому что она слишком много трещит, — объяснил Гриф.

— Я думала, что рыбы немые, — шепнула Аня.

— Как бы не так, — воскликнул Гриф. — Вот есть, например, белуга. Та прямо ревет. Оглушительно.

— Раки тоже кричат, — добавила Чепупаха. — Особенно когда им показывают, где зимовать. При этом устраиваются призрачные гонки.

— Отчего призрачные? — спросила Аня.

— Оттого, что приз рак выигрывает, — ответила Чепупаха.

Аня собиралась еще спросить что-то, но тут вмешался Гриф.

— Расскажите-ка нам о Ваших приключеньях, — сказал он.

— Я могу вам рассказать о том, что случилось со мной сегодня, — начала Аня. — О вчерашнем же нечего говорить, так как вчера я была другим человеком.

— Объяснитесь! — сказала Чепупаха.

— Нет, нет! Сперва приключенья, — нетерпеливо воскликнул Гриф. — Объясненья всегда занимают столько времени.

И Аня стала рассказывать о всем, что она испытала с того времени, как встретила Белого Кролика. Сперва ей было страшновато — оба зверя придвигались так близко, выпучив глаза и широко разинув рты, — но потом она набралась смелости. Слушатели ее сидели совершенно безмолвно, и только когда она дошла до того, как Гусеница заставила ее прочитать «Скажи-ка, дядя» и как вышло совсем не то, — только тогда Чепупаха со свистом втянула воздух и проговорила:

— Как это странно!

— Прямо скажу — странно, — подхватил Гриф.

— Я бы хотела, чтобы она и теперь прочитала что-нибудь наизусть. Скажи ей начать!

И Чепупаха взглянула на Грифа, словно она считала, что ему дана известная власть над Аней.

— Встаньте и прочитайте «Как ныне сбирается», — сказал Гриф.

«Как все они любят приказывать и заставлять повторять уроки! — подумала Аня. — Не хуже, чем в школе!»

Однако она встала и стала читать наизусть, но голова ее была так полна Омаровой Кадрилью, что она едва знала, что говорит, и слова были весьма любопытны:

Как дыня, вздувается вещий Омар.
«Меня, — говорит он, — ты бросила в жар;
Ты кудри мои вырываешь и ешь,
Осыплю я перцем багровую плешь».
Омар! Ты порою смеешься, как еж,
Акулу акулькой с презреньем зовешь;
Когда же и вправду завидишь акул,
Ложишься ничком под коралловый стул.

— Это звучит иначе, чем то, что я учил в детстве, — сказал Гриф.

— А я вообще никогда ничего подобного не слышала, — добавила Чепупаха. — Мне кажется, это необыкновенная ерунда.

Аня сидела молча. Она закрыла лицо руками и спрашивала себя, станет ли жизнь когда-нибудь снова простой и понятной.

— Я требую объясненья, — заявила Чепупаха.

— Она объяснить не может, — поспешно вставил Гриф и обратился к Ане: — Продолжай!

— Но как же это он прячется под стул, — настаивала Чепупаха. — Его же все равно было бы видно между ножками стула.

— Я ничего не знаю, — ответила Аня. Она вконец запуталась и жаждала переменить разговор.

— Продолжай! — повторил Гриф. — Следующая строфа начинается так: «Скажи мне, кудесник...».

Аня не посмела ослушаться, хотя была уверена, что опять слова окажутся не те, и продолжала дрожащим голосом:

«Я видел, — сказал он, — как, выбрав лужок,
Сова и пантера делили пирог:
Пантера за тесто, рыча, принялась,
Сове же на долю тарелка пришлась.
Окончился пир — и сове, так и быть,
Позволили ложку в карман положить.
Пантере же дали и вилку, и нож.
Она зарычала и съела — кого ж?»

— Что толку повторять такую белиберду? — перебила Чепупаха. — Как же я могу знать, кого съела пантера, если мне не объясняют. Это головоломка какая-то!

— Да, Вы уж лучше перестаньте, — заметил Гриф, к великой радости Ани.

— Не показать ли Вам вторую фигуру Омаровой кадрили? — продолжал он. — Или же Вы хотели бы, чтобы Чепупаха Вам что-нибудь спела?

— Пожалуйста, спойте, любезная Чепупаха, — взмолилась Аня так горячо, что Гриф даже обиделся.

— Гм! У всякого свой вкус! Спой-ка ей, матушка, «Черепаховый Суп».

Чепупаха глубоко вздохнула и, задыхаясь от слез, начала петь следующее:

Сказочный суп — ты зелен и прян.
Тобой наполнен горячий лохан!
Кто не отведает? Кто так глуп?
Суп мой вечерний, сказочный суп,
Суп мой вечерний, сказочный суп!

Ска-азочный су-уп,
Ска-азочный су-уп,
Су-уп мой вечерний,
Ска-азочный, ска-азочный суп!

Сказочный суп — вот общий клич!
Кто предпочтет рыбу или дичь?
Если б не ты, то, право, насуп-
Ился бы мир, о, сказочный суп!
Сбился бы мир, о, сказочный суп!

Ска-азочный су-уп,
Ска-азочный су-уп,
Су-уп мой вечерний,
Ска-азочный, ска-азочный СУП!

— Снова припев! — грянул Гриф, и Чепупаха принялась опять петь, как вдруг издали донесся крик: «Суд начинается!»

— Скорей! — взвизгнул Гриф и, схватив Аню за руку, понесся по направлению крика, не дожидаясь конца песни.

— Кого судят? — впопыхах спрашивала Аня, но Гриф только повторял: «Скорей!» — и все набавлял ходу. И все тише и тише звучали где-то позади обрывки унылого припева:

Су-уп мой вечерний,
Ска-азочный, ска-азочный суп!

Глава 11
КТО УКРАЛ ПИРОЖКИ?

Король Червей и его Королева уже восседали на тронах, когда они добежали. Кругом теснилась громадная толпа — всякого рода звери и птицы, а также и вся колода карт: впереди выделялся Валет, в цепях, оберегаемый двумя солдатами, а рядом с Королем стоял Белый Кролик, держа в одной руке тонкую трубу, а в другой пергаментный

свиток. Посредине залы суда был стол, а на нем большая тарелка с пирожками: они казались такими вкусными, что, глядя на них, Аня ощущала острый голод. «Поскорее кончилось бы, — подумала она, — поскорее бы начали раздавать угощенье». Но конец, по-видимому, был неблизок, и Аня от нечего делать стала глядеть по сторонам.

Ей никогда раньше не приходилось бывать на суде, но она кое-что знала о нем по книжкам, и теперь ей было приятно, что она может назвать различные должности присутствующих.

«Это судья, — сказала она про себя, — он в мантии и парике».

Судьей, кстати сказать, был Король, и так как он надел корону свою на парик (посмотрите на картинку, если хотите знать, как он ухитрился это сделать), то, видимо, ему было чрезвычайно неудобно, а уж как ему это шло — посудите сами.

Рядом с Аней на скамеечке сидела кучка зверьков и птичек.

«Это скамейка присяжников», — решила она. Слово это она повторила про себя два-три раза с большой гордостью. Еще бы! Не многие девочки ее лет знают столько о суде, сколько она знала. Впрочем, лучше было бы сказать: «скамья присяжных».

Все двенадцать присяжников деловито писали что-то на грифельных досках.

— Что они делают? — шепотом спросила Аня у Грифа. — Ведь суд еще не начался, записывать нечего.

— Они записывают свои имена, — шепнул в ответ Гриф, — боятся, что забудут их до конца заседания.

— Вот глупые! — громко воскликнула Аня и хотела в возмущеньи добавить что-то, но тут Белый Кролик провозгласил: «Соблюдайте молчанье», и Король напялил очки и тревожно поглядел кругом, чтобы увидеть, кто говорит.

Аня, стоя за присяжниками, заметила, что все они пишут на своих досках: «Вот глупые!» Крайний не знал, как пишется «глупые», и обратился к соседу, испуганно хлопая глазами.

«В хорошеньком виде будут у них доски по окончании дела!» — подумала Аня.

У одного из присяжников скрипел карандаш. Переносить это Аня, конечно, не могла, и, улучив минуту, она протянула руку через его плечо и выдернула у него карандаш. Движенье это было настолько быстро, что бедный маленький присяжник (не кто иной, как Яша-Ящерица) никак не мог понять, куда карандаш делся. Он тщетно искал его — и наконец был принужден писать пальцем. А это было ни к чему, так как никакого следа на доске не оставалось.

— Глашатай, прочти обвиненье! — приказал Король.

Тогда Белый Кролик протрубил трижды и, развернув свой пергаментный список, прочел следующее:

Дама Червей для сердечных гостей
В летний день напекла пирожков.
Но пришел Валет, и теперь их нет:
Он — хвать — и был таков!

— Обсудите приговор, — сказал Король, обращаясь к присяжникам.

— Не сейчас, не сейчас! — поспешно перебил Кролик. — Еще есть многое, что нужно до этого сделать.

— Вызови первого свидетеля, — сказал Король. И Белый Кролик трижды протрубил и провозгласил:

— Первый свидетель!

Первым свидетелем оказался Шляпник. Он явился с чашкой чая в одной руке, с куском хлеба в другой и робко заговорил:

— Прошу прощенья у Вашего Величества за то, что я принес это сюда, но дело в том, что я еще не кончил пить чай, когда меня позвали.

— Пора было кончить, — сказал Король. — Когда ты начал?

Тот посмотрел на Мартовского Зайца, который под руку с Соней тоже вошел в залу.

— Четырнадцатого Мартобря, кажется, — ответил он.

— Четырнадцатого, — подтвердил Мартовский Заяц.

— Шестнадцатого, — пробормотал Соня.

— Отметьте, — обратился Король к присяжникам, и те с радостью записали все три ответа один под другим, потом сложили их и вышло: 44 копейки.

— Сними свою шляпу! — сказал Король Шляпнику.

— Это не моя, — ответил Шляпник.

— Украл! — воскликнул Король, и присяжники мгновенно отметили это.

— Я шляпы держу для продажи, — добавил Шляпник в виде объяснения. — Своих у меня вовсе нет. Я — шляпник.

Тут Королева надела очки и стала в упор смотреть на свидетеля, который побледнел и заерзал.

— Дай свои показанья, — сказал Король, — и не ерзай, а то я прикажу казнить тебя тут же.

Это не очень подбодрило Шляпника. Он продолжал переступать с ноги на ногу, тревожно поглядывая на Королеву. В своем смущеньи он откусил большой кусок чашки вместо хлеба.

В ту же минуту Аню охватило странное ощущенье, которое сначала ее очень озадачило. И вдруг она поняла, в чем дело: она снова начала расти. Ей пришло в голову, что лучше покинуть залу, но потом она решила остаться, пока хватит места.

— Ух, Вы меня совсем придавили, — пробурчал Соня, сидящий рядом с ней. — Я еле могу дышать.

— Не моя вина, — кротко ответила Аня. — Я, видите ли, расту.

— Вы не имеете права расти здесь, — сказал Соня.

— Ерунда! — перебила Аня, набравшись смелости. — Вы небось тоже растете.

— Да, но разумным образом, — возразил Соня, — не раздуваюсь, как Вы.

И он сердито встал и перешел на другой конец залы.

Все это время Королева не переставала глазеть на Шляпника, и вдруг она сказала, обращаясь к одному из стражников:

— Принеси-ка мне список певцов, выступавших на последнем концерте.

Шляпник так задрожал, что скинул оба башмака.

— Дай свои показанья, — грозно повторил Король, — иначе будешь казнен, несмотря на твое волненье.

— Я бедный человек, Ваше Величество, — залепетал Шляпник. — Только что я начал пить чай, а тут хлеб, так сказать, тоньше делается, да и в голове стало сыро.

— Можно обойтись без сыра, — перебил Король.

— А тут стало еще сырее, так сказать, — продолжал Шляпник, заикаясь.

— Ну и скажи так! — крикнул Король. — За дурака, что ли, ты меня принимаешь!

— Я бедный человек, — повторил Шляпник. — И в голове еще не то случалось, но тут Мартовский Заяц сказал, что...

— Я этого не говорил, — поспешно перебил Мартовский Заяц.

— Говорил! — настаивал Шляпник.

— Я отрицаю это! — воскликнул Мартовский Заяц.

— Он отрицает, — проговорил Король, — выпусти это место.

— Во всяком случае, Соня сказал, что... — И тут Шляпник с тревогой посмотрел на товарища, не станет ли и он отрицать. Но Соня не отрицал ничего, ибо спал крепким сном. — После этого, — продолжал Шляпник, — я нарезал себе еще хлеба.

— Но что же Соня сказал? — спросил один из присяжников.

— То-то и есть, что не могу вспомнить, — ответил Шляпник.

— Ты должен вспомнить, — заметил Король, — иначе будешь обезглавлен.

Несчастный Шляпник уронил свою чашку и хлеб и опустился на одно колено.

— Я бедный человек, Ваше Величество, — начал он.

— У тебя язык беден, — сказал Король.

Тут одна из морских свинок восторженно зашумела и тотчас была подавлена стражниками. (Делалось это так: у стражников были большие холщовые мешки, отверстия которых стягивались веревкой. В один из них они и сунули вниз головой морскую свинку, а затем на нее сели.)

«Я рада, что видела, как это делается, — подумала Аня. — Я так часто читала в газете после описания суда: были некоторые попытки выразить ободрение, но они были сразу же подавлены. До сих пор я не понимала, что это значит».

— Если тебе больше нечего сказать, — продолжал Король, — можешь встать на ноги.

— Я и так стою, только одна из них согнута, — робко заметил Шляпник.

— В таком случае встань на голову, — отвечал Король.

Тут заликовала вторая морская свинка и была подавлена.

— Ну вот, с морскими свинками покончено, теперь дело пойдет глаже.

— Я предпочитаю допить свой чай, — проговорил Шляпник, неуверенно взглянув на Королеву, которая углубилась в список певцов.

— Можешь идти, — сказал Король.

Шляпник торопливо покинул залу, оставив башмаки.

— И обезглавьте его при выходе! — добавила Королева, обращаясь к одному из стражников; но Шляпник уже был далеко.

— Позвать следующего свидетеля, — сказал Король. Выступила Кухарка Герцогини. Она в руке держала перечницу, так что Аня сразу ее узнала. Впрочем, можно было угадать ее присутствие и раньше: публика зачихала, как только открылась дверь.

— Дай свое показанье, — сказал Король.

— Не дам! — отрезала Кухарка.

Король в нерешительности посмотрел на Кролика; тот тихо проговорил: «Ваше Величество должно непременно ее допросить».

— Надо так надо, — уныло сказал Король, и, скрестив руки, он угрюмо уставился на Кухарку, так насупившись, что глаза его почти исчезли. Наконец он спросил глубоким голосом: — Из чего делают пирожки?

— Из перца главным образом, — ответила Кухарка.

— Из сиропа, — раздался чей-то сонный голос.

— За шиворот его! — заорала Королева. — Обезглавить его! Вышвырнуть его отсюда! Подавить! Защипать! Отрезать ему уши!

В продолжение нескольких минут зала была в полном смятении: выпроваживали Соню. Когда же его вывели и все затихли снова, оказалось, что Кухарка исчезла.

— Это ничего, — сказал Король с видом огромного облегчения. — Позвать следующего свидетеля.

И он добавил шепотом, обращаясь к Королеве: «Знаешь, милая, ты бы теперь занялась этим. У меня просто лоб заболел».

Аня с любопытством следила за Кроликом. «Кто же следующий свидетель? — думала она. — До сих пор допрос ни к чему не привел».

Каково же было ее удивление, когда Кролик провозгласил высоким, резким голосом:

— Аня!

Глава 12
ПОКАЗАНИЕ АНИ

— Я здесь! — крикнула Аня, и, совершенно забыв в своем волнении о том, какая она стала большая за эти несколько минут, она вскочила так поспешно, что смахнула юбкой скамейку с присяжниками, которые покатились кувырком вниз, прямо в толпу, и там, на полу, стали извиваться, что напомнило Ане стеклянный сосуд с золотыми рыбками, опрокинутый ею как-то на прошлой неделе.

— Ах, простите меня! — воскликнула она с искренним огорчением и стала подбирать маленьких присяжников, очень при этом торопясь, так как у нее в голове мелькало воспоминанье о случае с золотыми рыбками. И теперь ей смутно казалось, что если не посадить обратно на скамеечку всех этих вздрагивающих существ, то они непременно умрут.

— Суд не может продолжаться, — сказал Король проникновенным голосом, — пока все присяжные не будут на своих местах. Все, — повторил он и значительно взглянул на Аню.

Аня посмотрела на скамейку присяжников и увидела, что она впопыхах втиснула Яшу-Ящерицу вниз головой между двух Апрельских Уточек, и бедное маленькое существо только грустно поводило хвостиком, сознавая свою беспомощность.

Аня поспешила его вытащить и посадить правильно. «Впрочем, это имеет мало значенья, — сказала она про себя. — Так ли он торчит или иначе — все равно особой пользы он не приносит».

Как только присяжники немного успокоились после пережитого волнения и как только их доски и карандаши были найдены и поданы им, они принялись очень усердно записывать историю несчастья — все, кроме Яши, который, казалось, слишком потрясен, чтобы что-либо делать, и мог только глядеть в потолок, неподвижно разинув рот.

— Что ты знаешь о преступленьи? — спросил Король у Ани.

— Ничего, — ответила Аня.

— Решительно ничего? — настаивал Король.

— Решительно ничего, — сказала Аня.

— Это очень важно, — проговорил Король, обернувшись к присяжникам. Те было начали заносить сказанное, но тут вмешался Кролик.

— Неважно — хотите сказать, Ваше Величество? — произнес он чрезвычайно почтительным голосом, но с недобрым выражением на лице.

— Неважно, да, да, конечно, — быстро поправился Король и стал повторять про себя: «Важно — неважно, неважно — важно», — словно он старался решить, какое слово звучит лучше.

Некоторые из присяжников записали «важно», другие — «неважно». Аня могла заметить это, так как видела их доски. «Но это не имеет никакого значенья», — решила она про себя.

В эту минуту Король, который только что торопливо занес что-то в свою записную книжку, крикнул: «Молчанье!» — и прочел из этой же книжки следующее: «Закон сорок четвертый. Все лица, чей рост превышает одну версту, обязаны удалиться из залы суда».

Все уставились на Аню.

— Превышаешь! — молвил Король.

— И многим, — добавила Королева.

— Во всяком случае, я не намерена уходить, — сказала Аня. — А кроме того, это закон не установленный, Вы сейчас его выдумали.

— Это старейший закон в книге, — возразил Король.

— Тогда он должен быть законом номер первый, а не сорок четвертый, — сказала Аня.

Король побледнел и захлопнул записную книжку.

— Обсудите приговор, — обратился он к присяжникам, и голос его был тих и трепетен.

— Есть еще одна улика, — воскликнул Белый Кролик, поспешно вскочив. — Только что подобрали вот эту бумажку.

— Что на ней написано? — полюбопытствовала Королева.

— Я еще не развернул ее, — ответил Кролик. — Но, по-видимому, это письмо, написанное подсудимым... к... к кому-то.

— Так оно и должно быть, — сказал Король. — Разве только, если оно написано к никому, что было бы безграмотно, — не правда ли?

— А как адрес? — спросил один из присяжников.

— Адреса никакого нет, — сказал Кролик. — Да и вообще ничего на внешней стороне не написано. — Он развернул листок и добавил: — Это, оказывается, вовсе не письмо, а стихи.

— А почерк чей, подсудимого? — спросил вдруг один из присяжников.

— В том-то и дело, что нет, — ответил Кролик. — Это-то и есть самое странное.

Присяжники все казались озадаченными.

— Он, должно быть, подделался под чужой почерк, — решил Король. Присяжники все просветлели.

— Ваше Величество, — воскликнул Валет, — я не писал этого, и они не могут доказать, что писал я: подписи нет.

— То, что ты не подписал, ухудшает дело, — изрек Король. — У тебя, наверно, совесть была нечиста, иначе ты бы поставил в конце свое имя, как делают все честные люди!

Тут раздались общие рукоплесканья: это была первая действительно умная вещь, которую Король сказал за весь день.

— Это доказывает его виновность, конечно, — проговорила Королева. — Итак, отруб...

— Это ровно ничего не доказывает, — перебила Аня. — Вы же даже не знаете, о чем говорится в этих стихах.

— Прочесть их, — приказал Король.

Белый Кролик надел очки.

— Откуда, Ваше Величество, прикажете начать? — спросил он.

— Начни с начала, — глубокомысленно ответил Король, — и продолжай, пока не дойдешь до конца. Тогда остановись.

В зале стояла мертвая тишина, пока Кролик читал следующие стихи:

При нем беседовал я с нею
О том, что он и ей, и мне
Сказал, что я же не умею
Свободно плавать на спине.

Хоть я запутался — не скрою, —
Им ясно истина видна;
Но что же станется со мною,
Когда вмешается она?

Я дал ей семь, ему же десять,
Он ей — четыре или пять.
Мы не успели дело взвесить,
Как все вернулись к нам опять.

Она же высказалась даже
(Пред тем, как в обморок упасть)
За то, что надо до продажи
Ей выдать целое, нам часть.

Не говорите ей об этом
Во избежанье худших бед.
Я намекнул вам по секрету,
Что это, знаете, секрет.

— Вот самое важное показание, которое мы слышали, — сказал Король. — Итак, пускай присяжные...

— Если кто-нибудь из них может объяснить эти стихи, я дам ему полтинник, — проговорила Аня, которая настолько выросла за время чтения, что не боялась перебивать. — В этих стихах нет и крошки смысла — вот мое мненье.

Присяжники записали: «Нет и крошки смысла — вот ее мненье», но ни один из них даже не попытался дать объяснение.

— Если в них нет никакого смысла, — сказал Король, — то это только, знаете, облегчает дело, ибо тогда и смысла искать не нужно. Но как-никак, мне кажется, — продолжал он, развернув листок на коленях и глядя на него одним глазом, — мне кажется, что известное значенье они все же имеют. «Сказал, что я же не умею свободно плавать на спине». Ты же плавать не умеешь? — обратился он к Валету.

Валет с грустью покачал головой.

— Разве, глядя на меня, можно подумать, что я хорошо плаваю? — спросил он. (Этого, конечно, подумать нельзя было, так как он был склеен весь из картона и в воде расклеился бы.)

— Пока что — правильно, — сказал Король и принялся повторять стихи про себя: «...Им ясно истина видна» — это, значит, присяжным. «...Когда вмешается она...» — это, должно быть, Королева. «Но что же станется со мною?» ...да, это действительно вопрос! «...Я дал ей семь, ему же десять...» ...ну конечно, это насчет пирожков.

— Но дальше сказано, что «все вернулись к нам опять», — перебила Аня.

— Так оно и есть — вот они! — с торжеством воскликнул Король, указав на блюдо с пирожками на столе. — Ничего не может быть яснее! Будем продолжать: «...Пред тем, как в обморок упасть...» Ты, кажется, никогда не падала в обморок, моя дорогая? — обратился он к Королеве.

— Никогда! — рявкнула с яростью Королева и бросила чернильницей в Ящерицу. (Бедный маленький Яша уже давно перестал писать пальцем, видя, что следа не остается, а тут он торопливо начал сызнова, употребляя чернила, струйками текущие у него по лицу.)

— В таком случае это не совпадает, — сказал Король, с улыбкой обводя взглядом присутствующих. Гробовое молчанье.

— Это — игра слов! — сердито добавил он, и все стали смеяться.

— Пусть присяжные обсудят приговор, — сказал Король в двадцатый раз.

— Нет, нет, — прервала Королева. — Сперва казнь, а потом уж приговор!

— Что за ерунда? — громко воскликнула Аня. — Как это возможно?

— Прикуси язык! — гаркнула Королева, густо побагровев.

— Не прикушу! — ответила Аня.

— Отрубить ей голову, — взревела Королева. Никто не шевельнулся.

— Кто вас боится? — сказала Аня. (Она достигла уже обычного своего роста.) — Ведь все вы — только колода карт.

И внезапно карты взвились и посыпались на нее: Аня издала легкий крик — не то ужаса, не то гнева — и стала

от них защищаться и... очнулась... Голова ее лежала на коленях у сестры, которая осторожно смахивала с ее лица несколько сухих листьев, слетевших с ближнего дерева.

— Проснись же, Аня, пора! — сказала сестра. — Ну и хорошо же ты выспалась!

— Ах, у меня был такой причудливый сон! — воскликнула Аня и стала рассказывать сестре про все те странные приключения, о которых вы только что читали. Когда она кончила, сестра поцеловала ее и сказала:

— Да, действительно, сон был причудливый. А теперь ступай, тебя чай ждет; становится поздно.

И Аня встала и побежала к дому, еще вся трепещущая от сознанья виденных чудес.

А сестра осталась сидеть на скате, опершись на вытянутую руку. Глядела она на золотой закат и думала о маленькой Ане и обо всех ее чудесных приключениях и сама в полудремоте стала грезить.

Грезилось ей сперва лицо сестренки, тонкие руки, обхватившие голое колено, яркие, бойкие глаза, глядящие ей в лицо. Слышала она все оттенки детского голоса, видела, как Аня по обыкновению своему нет-нет да и мотнет головой, откидывая волосы, которые так настойчиво лезут на глаза. Она стала прислушиваться, и все кругом словно ожило, словно наполнилось теми странными существами, которые причудились Ане.

Длинная трава шелестела под торопливыми шажками Белого Кролика; испуганная Мышь барахталась в соседнем пруду; звякали чашки — то Мартовский Заяц со своими приятелями пили нескончаемый чай; раздавался резкий окрик Королевы, приказывавшей казнить несчастных гостей своих; снова поросенок-ребенок чихал на коленях у Герцогини, пока тарелки и блюда с грохотом разбивались кругом; снова вопль Грифа, поскрипыванье карандаша в руках Ящерицы и кряхтенье подавляемых Морских Свинок наполняли воздух, мешаясь с отдаленными всхлипываниями горемычной Чепупахи.

Так грезила она, прикрыв глаза, и почти верила в страну чудес, хотя знала, что стоит глаза открыть — и все снова превратится в тусклую явь: в шелестенье травы под ветром, в шуршанье камышей вокруг пруда, сморщенного дуно-

веньем, — и звяканье чашек станет лишь перезвоном колокольчиков на шеях пасущихся овец, а резкие крики Королевы — голосом пастуха. И все остальные звуки превратятся (знала она) в кудахтанье и лай на скотном дворе, и дальнее мычанье коров займет место тяжелого всхлипыванья Чепупахи.

И затем она представила себе, как эта самая маленькая Аня станет взрослой женщиной, и как она сохранит в зрелые годы свое простое и ласковое детское сердце, и как она соберет вокруг себя других детей и очарует их рассказом о том, что приснилось ей когда-то, и как она будет понимать их маленькие горести и делить все простые радости их, вспоминая свое же детство и длинные, сладкие летние дни.

В. СИРИНЪ

ГРОЗДЬ

СТИХИ

...ЛИНЪ

...2 3

В. СИРИНЪ

ГОРНІЙ ПУТЬ

...О „ГРАНИ" БЕРЛИНЪ

1923

АНДРЕЙ БАЛАШОВЪ и В. В. НАБОКОВЪ.

АЛЬМАНАХЪ

ДВА ПУТИ.

СТИХИ.

ПЕТРОГРАДЪ.

Типо-Литографія Ним. М. С. Персона, Казанская 33.

1918.

Стихотворения

1918—1925

ИЗ АЛЬМАНАХА

ДВА ПУТИ

* * *

Темно-синие обои
Голубеют.
Все — в лучах!
Жизнь — как небо голубое!
Радость, радость, я с тобою!
Ты смеешься, а в глазах
Золотые пляшут чертики.
Душно... Блики на ковре.
Откроем форточку...
Ах, поет шарманка во дворе!
— Утомленная,
Нежно-сонная,
Сонно-нежная,
Безнадежная. —
Здравствуй, солнечная высь,
Здравствуй, счастье впереди!
— Звуки плавные,
Звуки длинные,
Своенравные
И старинные.
Губы яркие приблизь, —
Но, целуя, ввысь гляди!

* * *

Плывут поля, болота мимо.
Стволы рябые выбегают,
Потом отходят. Клочья дыма,
Кружась, друг друга догоняют.

Грохочет мост. Столбов миганье
Тройную проволоку режет.
Внезапно переходит в скрежет
Глухое рельсов бормотанье.
Шлахбаум. Как нить, дорога рвется.
В овраг шарахаются сосны.
Свисток протяжный раздается,
И чаще, чаще стук колесный.
И вот, — платформа подплывает.
Все так знакомо! Предо мною —
Весна. Чуть ветерок ласкает,
И пахнет вспаханной землею.
Весна! Застенчивая липка
Платочком машет изумрудным.
Весь мир — как детская улыбка.
Все ясным кажется, нетрудным...

СОНЕТ

Вернулся я к моей любви забытой.
(О, ствол березы — белый как фарфор!)
Зеленый лес, лучами перевитый,
Молчал, певучий затаив укор.
Иван-да-Марья сам с собою спор
Завел. Над сыроешкой домовитой
Смеялся добродушно мухомор.
Я шел тропинкой, золотом залитой;
Часы текли, как солнечные сны;
Я думал думу светлой тишины:
«Могла ли мне иная радость сниться?»
Я чьи-то вздохи вспомнил у ручья,
Где незабудки в платьицах из ситца
Смотрели грустно, как шалит струя.

* * *

Дождь пролетел и сгорел на лету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист,
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.

Май 1917

* * *

Мятежными любуясь облаками,
В порыве юном, в солнечном бреду —
Веселыми, широкими шагами
Навстречу ветру по полю иду.

В душе поет восторг безбрежной воли...
Весь мир в лучах! Вся жизнь передо мной!
Как сердце, бьется огненное поле
Под лаской ветра, буйной, молодой.

Весь мир горит, весь мир благоухает!
Срывает ветер шляпу с головы.
Шумит, блестит, отходит, набегает
Волна высокой, трепетной травы...

* * *

Гроза растаяла. Небо ясно.
Трава подернута серебром.
Светло и сыро. Хочу ужасно
Пройти по радуге босиком;
С веселой песнею подниматься
И на верхушку дуги цветной
Верхом усесться и пошептаться
С последней тучкою грозовой!
Я буду радостен и бесстрашен.
Кругом — сияние синих снов,
Внизу — квадратики пестрых пашен,
Зигзаг речонки и пух лесов.
А если радуга вдруг исчезнет,
Бледнея, спрячется в синеву, —
Я с ней погибну в лазурной бездне
Иль в мир надсолнечный уплыву!

* * *

С дождем и ветром борются березы.
На крыше мокрой — желтые листы.
Еще души не выплаканы слезы,
Еще живут измятые цветы!
День сердится, как взбалмошный ребенок.
Так рано, бедного, уводят спать!
Дождь ввечеру становится так тонок,
Что можно в парке сумрачном гулять.
Блуждаю в парке. Думаю о дальней.
В сырой траве боровичков ищу
Иль на песке — задумчиво, печально —
Все то же имя палкою черчу.

ОСЕНЬ

Была в тот день светлей и шире даль,
В тот день упал увядший лист кленовый...
Он первый умер — дымчато-лиловый,
Весь нежная, покорная печаль...
Он падал медленно; мне было больно.
Он, может быть, не знал, что упадет
И в тихий, слишком тихий день умрет —
Такой красивый и такой безвольный...

СОНЕТ

Безоблачная высь и тишина...
Голубоватый снег; оцепененье;
Ветвей немых узорное сплетенье; —
Моя страна — волшебная страна.
Когда в снегу сияющем она
Стоит как серебристое виденье —
Душа в таинственное влюблена,
В душе покой и кроткое смиренье.
«Березка стройная под дымкой снежной,
Ты заколдована, скажи, навек?
Наверно, девушкой была ты нежной...»

«Ты, елочка, устала? Давит снег?
Ну погоди, я осторожно сброшу
С ветвей поникших снеговую ношу...»

* * *

Я незнакомые люблю вокзалы,
Люблю вагоны дальних поездов.
Свист паровоза — властный зов.
Ночь. Мелкий дождь. Спешу я, запоздалый.

И в полночь вновь у чуждых городов
Вхожу один, взволнованно-усталый,
В пустынные, тоскующие залы,
Где нет в углу знакомых образов.

Люблю вокзалов призраки: печаль,
Прощаний отзвук, может быть обманы...
Зеленый луч кидает семафор;

Газ бледен; ночь черна; безвестна даль.
Там ждут, зовут, тоскуют великаны.
Но будет миг: метнется алый взор.

* * *

Вечный ужас. Черные трясины.
Вопль, исполненный тоски ночной.
Бегемота с шеей лебединой
Силуэт над лунною водой.

Тех существ — чудовищ без названья —
Кто тебе позволил пережить?
Кем тебе дано самосознанье,
Белый зверь, умеющий грешить?

Может быть, я эту знаю тайну:
Поутру, бродя в лесной глуши,
Острый камень ты нашел случайно
И впотьмах младенческой души

Боязливо, как слепой, пошарил,
Камень прочно к палке прикрепил,
Подстерег врага, в висок ударил
И задумался, когда убил.

* * *

У мудрых и злых ничего не прошу;
   Гляжу, улыбаясь, в окно
И левой рукою сонеты пишу
   О розе... Не правда ль, смешно?

И все, что написано левой рукой,
   Весенним прочтут вечерком
Какой-нибудь юноша с ватной душой
   И девушка с ватным лицом.

Я тихо смеюсь, беззаботный левша.
   Кто знает, что в сердце моем?
О розе, о грезе пишу не спеша
   В цветной, глянцевитый альбом.

Но та, что живет у ворот золотых,
   У цели моей огневой,
Хранит на груди мой единственный стих,
   Написанный правой рукой.

ГРОЗДЬ

I. ГРОЗДЬ

* * *

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит?
Как тесно яблоки висят!
Как бы сквозь них, блаженно солнце светит,
стекая в сад.

И сонный, сладостный, в аллеях лепет слышен:
то словно каплет на песок
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен
пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают;
на листьях солнечный отлив...
Деревья спят, и осы не слетают
с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?
Кто вертограда господин?
В тени аллей, один, лилейно-белый,
живет павлин.

* * *

Придавлен душною дремотой,
я задыхался в черном сне.
Как птица, вздрагивало что-то
непостижимое во мне.

И возжелал я в буйном блеске
свободно взмыть, — и в сердце был
тяжелый шорох, угол резкий
каких-то исполинских крыл.

И жизнь мучительно и чудно
вся напряглась и не могла
освободить их трепет трудный —
крутые распахнуть крыла.

Как будто каменная сила, —
неизмеримая ладонь —
с холодным хрустом придавила
их тяжкий шелковый огонь.

Ах, если б звучно их раскинуть,
исконный камень превозмочь,
громаду черную содвинуть,
прорвать глухонемую ночь, —

с каким бы громом я воспрянул,
огромен, светел и могуч!
какой бы гром в ответ мне грянул
из глубины багряных туч!

* * *

Есть в одиночестве свобода,
и сладость — в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю меду
я заключаю в стих.

И еженочно умирая,
я рад воскреснуть в должный час,
и новый день — росинка рая,
а прошлый день — алмаз.

* * *

Из блеска в тень, и в блеск из тени
с лазурных скал ручьи текли,
в бреду извилистых растений
овраги вешние цвели.

И в утро мира это было:
дикарь еще полунемой,
с душой прозревшей, но бескрылой, —
косматый, легкий и прямой, —

заметил, взмахивая луком,
при взлете горного орла,
с каким густым и сладким звуком
освобождается стрела.

Забыв и шелесты оленьи,
и тигра бархат огневой, —
он шел, в блаженном удивленьи
играя звучной тетивой.

Ее притягивал он резко
и с восклицаньем отпускал.
Из тени в блеск, и в тень из блеска
ручьи текли с лазурных скал.

Янтарной жилы звон упругий
напоминал его душе
призывный смех чужой подруги
в чужом далеком шалаше.

И это было в утро мира,
и угасая, и горя,
казалось, призрачная лира
звенит в руках у дикаря.

* * *

Я нá море гляжу из мраморного храма:
в просветах меж колонн, так сочно, так упрямо
бьет в очи этот блеск, до боли голубой.
Там — благовония, там — звоны, там — прибой,
а тут на вышине — одна молитва линий,
стремительно простых; там словно шелк павлиний,
тут целомудренность бессмертной белизны.
О муза, будь строга! Из храма, с вышины, —
гляжу на вырезы лазури беспокойной, —
и вот, восходит стих, мой стих нагой и стройный,

и наполняется прохладой и огнем,
и возвышается, как мраморный, и в нем
сквозят моей души тревоги и отрады,
как жаркая лазурь в просветах колоннады.

* * *

Туман ночного сна, налет истомы пыльной
смываю мягко-золотой,
тяжелой губкою, набухшей пеной мыльной,
благоуханной и густой.

Голубоватая, в купальне млечно-белой,
вода струит чуть зримый пар,
и благодарное я погружаю тело
в ее глухой и нежный жар.

А после, насладясь той лаской шелковистой,
люблю я влагой ледяной
лопатки окатить... Мгновенье — и пушистой
я обвиваюсь простыней.

Чуть кожа высохла — прохлада легкой ткани
спадает на́ плечи, шурша...
Для песен, для борьбы, для сказочных исканий
готовы тело и душа.

Так мелочь каждую — мы, дети и поэты,
умеем в чудо превратить,
в обычном райские угадывать приметы,
и что ни тронем — расцветить...

* * *

На черный бархат лист кленовый
я, как святыню, положил:
лист золотой с пыльцой пунцовой
между лиловых тонких жил.

И с ним же рядом, неизбежно,
старинный стих — его двойник,
простой и радужный и нежный,
в душевном сумраке возник.

И все нежнее, все смиренней
он лепетал, полутаясь,
но слушал только лист осенний,
на черном бархате светясь...

* * *

Нас мало — юных, окрыленных,
не задохнувшихся в пыли,
еще простых, еще влюбленных
в улыбку детскую земли.

Мы только шорох в старых парках,
мы только птицы; мы живем
в очарованье пятен ярких,
в чередованье звуковом.

Мы только смутный цвет миндальный,
мы только первопутный снег,
оттенок тонкий, отзвук дальний, —
но мы пришли в зловещий век.

Навис он, грубый и огромный,
но что нам гром его тревог?
мы целомудренно бездомны,
и с нами звезды, ветер, Бог.

* * *

На годовщину
смерти Достоевского

Садом шел Христос с учениками...
Меж кустов на солнечном песке,
вытканном павлиньими глазками,
песий труп лежал невдалеке.

И резцы белели из-под черной
складки, и зловонным торжеством
смерти — заглушен был ладан сладкий
теплых миртов, млеющих кругом.

Труп гниющий, трескаясь, раздулся,
полный склизких, слипшихся червей...
Иоанн, как дева, отвернулся,
сгорбленный поморщился Матфей.

Говорил апостолу апостол:
«Злой был пес; и смерть его нага,
мерзостна»...
Христос же молвил просто:
«Зубы у него как жемчуга...»

* * *

На смерть Блока

1

За туманами плыли туманы,
за луной расцветала луна...
Воспевал он лазурные страны,
где поет неземная весна.

И в туманах Прекрасная Дама
проплывала, звала вдалеке, —
словно звон отдаленного храма,
словно лунная зыбь на реке.

Узнавал он ее в трепетанье
розоватых вечерних теней
и в мятелях, смятенье, молчанье
чародейной отчизны своей.

Он любил ее гордо и нежно,
к ней тянулся он, строен и строг, —
но ладони ее белоснежной
бледный рыцарь коснуться не мог.

Слишком сумрачна, слишком коварна
одичалая стала земля,
и, склонившись на щит лучезарный,
оглянул он пустые поля.

И обманут мечтой несказанной,
и холодною мглой окружен,
он растаял, как месяц туманный,
как далекий молитвенный звон...

2

Пушкин — радуга по всей земле,
Лермонтов — путь млечный над горами,
Тютчев — ключ струящийся во мгле,
Фет — румяный луч во храме.

Все они, уплывшие от нас
в рай, благоухающий широко,
собрались, чтоб встретить в должный час
душу Александра Блока.

Выйдет он из спутанных цветов,
из ладьи, на белые ступени...
Подойдут божественных певцов
взволновавшиеся тени.

Пушкин — выпуклый и пышный свет,
Лермонтов — в венке из звезд прекрасных,
Тютчев — веющий росой, и Фет —
в ризе тонкой, в розах красных.

Подойдут с приветствием к нему,
возликуют, брата принимая
в мягкую цветную полутьму
вечно дышащего мая.

И войдет таинственный их брат,
перешедший вьюги и трясины,
в те сады, где в зелени стоят
Серафимы, как павлины.

Сядет он в тени ветвей живых
в трепетно-лазоревых одеждах,
запоет о сбывшихся, святых
сновиденьях и надеждах.

И о солнце Пушкин запоет,
Лермонтов — о звездах над горами,
Тютчев — о сверканье звонких вод,
Фет — о розах в вечном храме.

И средь них прославит жданный друг
ширь весны нездешней, безмятежной,
и такой прольется блеск вокруг,
будут петь они так нежно, —

так безмерно нежно, что и мы,
в эти годы горести и гнева,
может быть, услышим из тюрьмы
отзвук тайный их напева.

* * *

Ивану Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.
Ты любишь мир и юный месяц, — лист
желтеющий над смуглым, сочным плодом.

Ты любишь змей — тяжелых, злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих, один горит, один,
над маревом губительных годин, —
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росою ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод, в мире новом,
кощунственном, — но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

II. ТЫ

* * *

Когда, туманные, мы свиделись впервые,
когда задумчиво вернулся я домой,
мне все мерещились глаза твои живые
сквозь дымку чуждости. Я заперся в немой
и светлой мастерской, моих видений полной,
где в солнечной пыли белеет бог безмолвный,
где музу радуют два бронзовых борца,
их мышцы вздутые, лоснящиеся спины,
и в глыбе голубой сырой и нежной глины
я призрак твоего склоненного лица
руками чуткими по памяти наметил:
но за туманами еще таилась ты,
и сущности твоей тончайшие черты
в тот день я не нашел. И вновь тебя я встретил,
и вновь средь тишины высокой мастерской,
забыв наружный мир, с восторгом и тоской,
я жадно стал творить, и вновь прервал работу...
Чредой сияли дни, чредой их позолоту
смывала мгла ночей. Я грезил и ваял,
и приходил к тебе, простые слышал речи,
глубокий видел взор, и после каждой встречи
чертою новою, волшебной пополнял
несовершенное твое изображенье.
Порой казалось мне, что кончен тонкий труд,
что под рукой моей уста твои поют,
что я запечатлел живое выраженье,
все тени, все лучи любимого лица...
но, встретившись с тобой, я чувствовал, как много
еще не найдено, как смутно, как убого
подобие твое... Далече до конца,

но будет, будет час, когда я, торжествуя,
нас разделявшую откину кисею;
сверкнет твоя душа; и Счастьем назову я
работу лучшую, чистейшую мою.

* * *

Мечтал я о тебе так часто, так давно,
за много лет до нашей встречи,
когда сидел один, и кралась ночь в окно,
и перемигивались свечи.

И книгу о любви, о дымке над Невой,
о неге роз и море мглистом,
я перелистывал — и чуял образ твой
в стихе восторженном и чистом.

Дни юности моей, хмельные сны земли,
мне в этот миг волшебно-звонкий,
казались жалкими, как мошки, что ползли
в янтарном блеске по клеенке...

Я звал тебя. Я ждал. Шли годы, я бродил
по склонам жизни каменистым
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,
и вспоминаю суеверно,
как те глубокие созвучья — зеркала
тебя предсказывали верно.

6 июля 1921

СОНЕТ

Весенний лес мне чудится... Постой,
прислушайся... На свой язык певучий
переведу я тысячу созвучий,
что плещут там средь зелени святой.

И ты поймешь, и слух прозрачный твой
все различит: и солнца смех летучий,
и в небе вздох блестящей легкой тучи,
и песню пчел над шепчущей травой.

И ты войдешь тропинкою пятнистой
туда, в мой лес, и яркий и тенистый,
где сердце есть у каждого листка;

туда, где нет ни жалоб, ни желаний,
где азбуке душистой ветерка
учился я у ландыша и лани.

* * *

Позволь мечтать. Ты первое страданье
и счастие последнее мое,
я чувствую движенье и дыханье
твоей души... Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье...
Позволь мечтать, о, чистая струна,
позволь рыдать и верить в упоенье,
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.

31 июля 1921

* * *

Ее душа, как свет необычайный,
как белый блеск за дивными дверьми,
меня влечет. Войди, художник тайный,
и кисть возьми.

Изобрази цветную вереницу
волшебных птиц; огнисто распиши
всю белую, безмолвную светлицу
ее души.

Возьми на кисть росинки с розы чайной
и красный сок раскрывшейся зари.
Войди, любовь, войди, художник тайный,
мечтай, твори.

* * *

Когда захочешь, я уйду,
утрату сладостно прославлю, —
но в зацветающем саду,
во мгле пруда тебе оставлю
одну бесценную звезду.

Заглянешь ты в зеркальный пруд
и тронешь влагу, и движенья
беспечных рук звезду вспугнут;
но зыбь утихнет; отраженье
вернется вновь, шепнет: я тут...

Ты кинешь камешек, и вновь
зыбь круговая гладь встревожит.
О нет, — звезде не прекословь, —
растаять в сумраке не может
мой лучший луч, моя любовь...

Над влагой душу наклоня,
так незаметно ты привыкнешь
к кольцу тончайшего огня;
и вдруг поймешь, и тихо вскрикнешь,
и тихо позовешь меня...

* * *

О светлый голос, чуть печальный,
слыхал я прежде отзвук твой,
пугливый, ласково-хрустальный,
в тени, под влажною листвой,
и в старом доме, в перезвоне
подвесок-искорок... Звени,
и будут ночи, будут дни
полны видений, благовоний;
забуду ветер для тебя,
игравший в роще белоствольной,
навек забуду ветер вольный,
твой лепет сладостный любя...
Очарованье звуковое,
не умолкай, звени, звени.

Я вижу прошлое живое,
между деревьями огни
в усадьбе прадеда, и окна
открыты настежь, и скользят —
как бы шелковые волокна —
цветные звуки в темный сад,
стекая с клавишей блестящих
под чьей-то плещущей рукой
и умолкая за рекой,
в полях росистых, в синих чащах.

* * *

Все окна открыв, опустив занавески,
ты в зале роялю сказала: живи!
Как легкие крылья, во мраке и в блеске
задвигались руки твои.

Под левой — мольба зазвенела несмело,
под правою — отклик волнисто возник,
за клавишем клавиш, то черный, то белый,
звеня, погружался на миг.

В откинутой крышке отливы лоснились,
и руки твои, отраженные там,
как бледные бабочки, плавно носились
по черным и белым цветам.

И звуки холмились во мраке и в блеске,
и ропот взбирался, и шепот сбегал,
и ветер ночной раздувал занавески
и звездное небо впускал.

* * *

В полнолунье, в гостиной пыльной и пышной,
где рояль уснул средь узорных теней, —
опустив ресницы, ты вышла неслышно
из оливковой рамы своей.

В этом доме ветхом, давно опустелом,
над лазурным креслом, на светлой стене
между зеркалом круглым и шкапом белым
улыбалась ты некогда мне.

И блестящие клавиши пели ярко,
и на солнце глубокий вспыхивал пол,
и в окне, на еловой опушке парка,
серебрился березовый ствол.

И потом не забыл я веселых комнат,
и в сиянье ночи, и в сумраке дня,
на чужбине я чуял, что кто-то помнит
и спасет и утешит меня.

И теперь ты вышла из рамы старинной,
из усадьбы любимой, и в час тоски
я увидел вновь платья вырез невинный,
на девичьих висках завитки.

И улыбка твоя мне давно знакома
и знаком изгиб этих тонких бровей,
и с тобою пришло из родного дома
много милых, душистых теней. —

Из родного дома, где легкие льдинки
чуть блестят под люстрой, и льется в окно
голубая ночь, и страница из Глинки
на рояле белеет давно...

* * *

О любовь, ты светла и крылата, —
но я в блеске твоем не забыл,
что в пруду неизвестном когда-то
я простым головастиком был.

Я на первой странице творенья
только маленькой был запятой, —
но уже я любил отраженья
в полнолунье и в день золотой.

И, дивясь темно-синим стрекозкам,
я играл, и нырял, и всплывал,
отливал гуттаперчевым лоском
и мерцающий хвостик свивал.

В том пруду изумрудно-узорном,
где змеились лучи в темноте,
где кружился я живчиком черным, —
ты сияла на плоском листе.

О любовь. Я за тайной твоею
возвращаюсь по лестнице лет...
В добрый час водяную лилею
полюбил головастик-поэт...

ГЛАЗА

Под тонкою луной, в стране далекой, древней
так говорил поэт смеющейся царевне:

Напев сквозных цикад умрет в листве олив,
погаснут светляки на гиацинтах смятых,
но сладостный разрез твоих продолговатых
атласно-темных глаз, их ласка, и отлив
чуть сизый на белке, и блеск на нижнем веке,
и складки нежные над верхним, — верь, навеки
останутся в моих сияющих стихах,
и людям будет мил твой длинный взор счастливый,
пока есть на земле цикады и оливы
и влажный гиацинт в алмазных светляках.

Так говорил поэт смеющейся царевне
под тонкою луной, в стране далекой, древней...

* * *

Пускай все горестней и глуше
уходит мир в стальные сны...
Мы здесь одни, и наши души
одной весной убелены.

И вместе, вместе, и навеки,
построим мир — незримый, наш;
я в нем создам леса и реки,
ты звезды и цветы создашь.

И в этот век огня и гнева
мы будем жить в веках иных, —
в прохладах моего напева,
в долинах ландышей твоих.

И только внуки наших внуков, —
мой стих весенний полюбя, —
сквозь тень и свет воздушных звуков
увидят — белую — тебя...

III. УШЕДШЕЕ

ПАСХА

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели —
не ослепительная ложь, —
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

* * *

Молчи, не вспенивай души,
не расточай своей печали, —
чтоб слезы душу расцвечали
в ненарушаемой тиши.

Слезу — бесценный самоцвет —
таи в сокровищнице черной...
В порыве скорби непокорной
ты погасил бы тайный свет.

Блаженно-бережно таи
дар лучезарный, дар страданья, —
живую радугу, рыданья
неизречимые свои...

Чтоб в этот час твои уста,
как бездыханные, молчали...
Вот целомудрие печали,
глубин священных чистота.

ТРИСТАН

I

По водам траурным и лунным
не лебедь легкая плывет, —
плывет ладья и звоном струнным
луну лилейную зовет.

Под небом нежным и блестящим
ладью, поющую во сне,
с увещеваньем шелестящим
волна передает волне.

В ней рыцарь раненый и юный
склонен на блеклые шелка,
и арфы ледяные струны
ласкает бледная рука.

И веют корабли далече
и не узнают никогда
что это — плачет и лепечет, —
луна ли, ветер иль вода...

II

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых
и спал на ложе изо льда...
Изольда, золото волос твоих волнистых
во сне являлось мне всегда.

Деревья надо мной цветущие змеились,
другие, легкие, как сны,
мерцали белизной... Изольда, мы сходились
под сенью сумрачной сосны.

Я тигра обагрял средь тьмы и аромата,
и бег лисицы голубой
я по снегу следил... Изольда, мы когда-то
вдвоем охотились с тобой.

Встречал я по пути гигантов белозглазых,
пушистых сморщенных детей...
В полночных небесах, Изольда, в их алмазах
ты не прочтешь судьбы моей.

30 августа 1921

* * *

Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья,
горящие на дне, в хрустальных тайниках,
и на заломленных русалочьих руках,
его я не отдам. Нет глубже упоенья,
нет сладостней тоски, чем любоваться им
в те чуткие часы, средь ночи одинокой,
когда бывает дух ласкаем и язвим
воспоминаньями о родине далекой...
И многоцветные мне чудятся года,
и колокольчики лиловые смеются;
над полем небеса колеблются и льются,
и жаворонка звон мерцает, как звезда...
О прошлое мое, я сетовать не вправе!
О Родина моя, везде со мною ты!
Есть перстень у меня: крупица красоты,
росинка русская в потускневшей оправе...

* * *

Я помню только дух сосновый,
удары дятла, тень и свет...
Моряк косматый и суровый,
хожу по водам много лет.

Во мгле выглядываю сушу
и для кого-то берегу
татуированную душу
и бирюзовую серьгу.

В глуши морей, в лазури мрачной
в прибежном дымном кабаке —
я помню свято стук прозрачный
цветного дятла в сосняке.

РОЖДЕСТВО

Мой календарь полуопалый
пунцовой цифрою зацвел.
На стекла пальмы и опалы
мороз колдующий навел:

Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся лозой,
и мандаринами и бором
в гостиной пахнет голубой.

23 сентября 1921

НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

На кладбище — солнце, сирень и березки,
и капли дождя на блестящих крестах.
Местами отлипли сквозные полоски
и в трубки свернулись на светлых стволах.

Люблю целовать их янтарные раны,
люблю их стыдливые гладить листки...
То медом повеет с соседней поляны,
то тиной потянет с недальной реки.

Прозрачны и влажны зеленые тени.
Кузнечики тикают — шепчут кусты, —
и бледные крестики тихой сирени
кропят на могилах сырые кресты.

VIOLA TRICOLOR

Анютины-глазки, веселые-глазки,
в угрюмое марево наших пустынь
глядите вы редко из ласковой сказки,
из мира забытых святынь.

Анютины-глазки... Расплывчато вьется
по черному бархату мягкий узор,
лиловый и желтый, — и кротко смеется
цветов целомудренный взор.

Мы к чистой звезде потеряли дорогу,
мы много страдали, котомки пусты,
мы очень устали... Скажите вы Богу,
скажите об этом, цветы.

Простим ли страданью, найдем ли звезду мы?
Анютины-глазки, молитесь за нас,
чтоб стали все люди, их чувства и думы,
немного похожи на вас.

В ЗВЕРИНЦЕ

Тут не звери — тут боги живут.
Ослепленный любуется люд
павлинами, львами...
А меня почему-то привлек
ты, пушистый, ушастый зверек
с большими глазами.
Отыскал тебя в дальних краях
путешественник в синих очках,
в кокосовой шапке,
и, с добычей вернувшись назад,
написал по-латыни доклад
о складке на лапке.

Ходит, ходит, не видя людей,
желтый лев за решеткой своей,
как маятник медный;
рядом белый сияет павлин...
Кто заметит тебя? Ты один,
тушканчик мой бедный.
И с тоскою великой любви,
я в глаза углубляюсь твои,
большие, больные:
в них вся жалоба жизни моей,
в них предсмертная кротость детей,
страданья родные...

НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Я помню вечера в начале листопада,
ночную глубину тоскующего сада,
где дуба одного листва еще густа;
и млеет мглистая густая темнота
под ветками его, и нежные ночницы
еще к нему летят в лиловый сонный час:
трепещут в темноте незримые ресницы,
порхают призраки пушистые...
Для вас,
ночные бабочки, приманку я готовлю:
предчувствуя с утра удачливую ловлю,
я пиво пьяное смешаю пополам
с согретой патокой, потом прибавлю рому.

И в сад я выхожу, к туманам, к чудесам,
и липким золотом я мажу по сырому
дубовому стволу, и с кисти каплет сок,
по трещинам ползет, блестящий и пахучий...
Шафранный шар луны всплывает из-за тучи,
и дуб, сообщник мой, развесист и высок.
Впитал он не одно земное сновидение;
я жду в лиловой мгле, и он со мною ждет.

И вот, таинственно-внезапно, как паденье
звезды, — задумчиво-беззвучно, как полет
цветочного пушка, — одна, затем другая

тень малая скользит, белеясь и мигая:
рождаются во тьме седые мотыльки.

На ствол я навожу круг лампочки карманной
и вижу: пять ночниц вбирают сок дурманный,
блаженно выпустив витые хоботки
и крылья серые на розовой подкладке
подняв, оцепенев, — и вдруг, взмахнув крылом,
скрываются во мрак — и вновь на запах сладкий
слетаются легко. Стою перед стволом,
внимательно слежу наряд их полуявный,
окраску и узор, и, выбрав мотылька,
над самою корой я всплескиваю плавно
белесой кисеей широкого сачка.

Чудесные часы! Восторг воспоминанья!
Волнуется душа... Латинские названья
кружатся в голове, — а ночь тепла, мутна...
Висит в набухшей мгле лимон луны огромный.
Вдали, между ветвей, за клумбами, за темной
площадкою, — горят в усадьбе три окна.
Оттуда в должный час меня окликнуть можно,
сказать, что спать пора, и, выглянув в окно,
увидеть: черный сад, фонарик осторожный,
мелькнувшего сачка белесое пятно...

И возвращаюсь я с добычею воздушной:
еще стучится жизнь о стенки коробка,
на вату лью эфир, холодный, сладко-душный;
под грудку я беру малютку мотылька, —
слабеет, гаснет он — крылатый человечек,
и в пробковую щель меж липовых дощечек
поимки бережно я вкалываю в ряд.
Усните, крылышки, глазастые головки,
тончайшие сяжки!..
Вот пухлый шелкопряд,
рябой, как палый лист; вот крылья черной совки
с жемчужной ижицей на жилке узловой;
вот веер крохотный с бахромкой световой;
вот кроткий старичок, монашек в темной рясе;
и вот царевна их, невеста ветерка:
две ленты бархата на розовом атласе,
фламинговый пушок на кончике брюшка...

Спасибо, нежные!.. шли годы за годами,
вы таяли с теплом и вспыхивали вновь.
Неизъяснимую я чувствовал любовь,
мечтательно склонясь над вашими рядами
в стеклянных ящиках, душистых и сухих,
как легкие листы больших, поблекших библий
с цветами блеклыми, заложенными в них...
Не знаю, мотыльки, быть может, вы погибли;
проникла плесень, моль, подъели червячки,
сломались крылышки, и лапки, и сяжки, —
иль руки грубые заветный шкап открыли
и хрустнуло стекло, — и вы превращены
в цветную горсточку благоуханной пыли...

Не знаю, нежные, — но из чужой страны
гляжу я в глубину тоскующего сада;
я помню вечера в начале листопада,
и дуб мой на лугу, и запах медовой,
и желтую луну над черными ветвями, —
и плачу, и лечу, и в сумерки я с вами
витаю и дышу под ласковой листвой.

IV. ДВИЖЕНЬЕ

В ПОЕЗДЕ

Я выехал давно, и вечер неродной
рдел над равниною нерусской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный...

По занавескам свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колес, — я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью!

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный...
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
и жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.

4 июля 1921

ЭКСПРЕСС

На сумрачном вокзале по ночам
торжественно и пусто, как в соборе, —
но вот вдали вздохнуло словно море,
скользнула дрожь по двум стальным лучам,
бегущим вдаль, сходящимся во мраке, —
и щелкнули светящиеся знаки,
и в черной глубине рубин мигнул,
за ним — полоска янтарей, и гул
влетел в вокзал, могучий гул чугунный, —
из бездны бездн, из сердца ночи лунной,
как бы катясь с уступа на уступ.

Вздохнул и стал; раскрылись две-три двери.
Вагоны удлиненные под дуб
окрашены. На матовой фанере
над окнами ряд смугло-золотых
французских слов — как вырезанный стих,
мою тоску дразнящий тайным зовом...

За тенью тень скользит по бирюзовым
прозрачным занавескам. Плотно скрыв
переходные шаткие площадки,
чернеют пыльно кожаные складки

над скрепами вагонов. Весь — порыв
сосредоточенный, весь — напряженье
блаженное, весь — жадность, весь — движенье, —
дрожит живой, огромный паровоз,
и жарко пар в железных жилах бьется,
и в черноту по капле масло льется
с чудовищных лоснящихся колес.

И через миг колеса раскачнулись
и буферов забухали щиты —
и пламенисто-плавно потянулись
в зияющий колодец темноты
вагоны удлиненные... И вскоре
забыл вокзал их звон и волшебство,
и стало вновь под сводами его
торжественно и пусто, как в соборе.

* * *

Как часто, как часто я в поезде скором
сидел и дивился плывущим просторам,
и льнул ко стеклу холодеющим лбом!..
И мимо широких рокочущих окон
свивался и таял за локоном локон
летучего дыма; и столб за столбом
проскакивал мимо, порыв прерывая
взмывающих нитей; и даль полевая
блаженно вращалась в бреду голубом.

И часто я видел такие закаты,
что поезд, казалось, взбегает на скаты
крутых огневых облаков и по ним
спускается плавно, взвивается снова
в багряный огонь из огня золотого, —
и с поездом вместе по кручам цветным
столбы пролетают в восторге заката,
и черные струны взмывают крылато,
и ангелом реет сиреневый дым.

ГОРНИЙ ПУТЬ

Памяти моего отца

...Погиб и кормщик и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Пушкин

ПОЭТУ

Болота вязкие бессмыслицы певучей
покинь, поэт, покинь, и в новый день проснись!
Напев начни иной — прозрачный и могучий;
словами четкими передавать учись
оттенки смутные минутных впечатлений,
и пусть останутся намеки, полутени
в самих созвучиях, и, помни, — только в них,
чтоб созданный тобой по смыслу ясный стих
был по гармонии таинственно-тревожный,
туманно-трепетный; но рифмою трехсложной,
размером ломаным не злоупотребляй.
Отчетливость нужна и чистота и сила.
Несносен звон пустой, неясность утомила:
я слышу новый звук, я вижу новый край...

* * *

Живи. Не жалуйся, не числи
ни лет минувших, ни планет,
и стройные сольются мысли
в ответ единый: смерти нет.

Будь милосерден. Царств не требуй.
Всем благодарно дорожи.
Молись — безоблачному небу
и василькам в волнистой ржи.

Не презирая грез бывалых, —
старайся лучшие создать.
У птиц, у трепетных и малых,
учись, учись благословлять!

* * *

Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!
Неправда ль, все — как встарь, и дом — все так же тих —
стоит меж старых лип? Неправда ли, страданье,
сомненье — сон пустой? Звени, мой верный стих...
Пусть будет снова май, пусть небо вновь синеет.
Раскрыты окна в сад. На кресла, на паркет
широкой полосой янтарный льется свет,
и дивной свежестью весенний воздух веет.
Но чу! Вздыхает парк... Там — радость без конца,
там вольные мечты сулит мне рай зеленый.
Туда, скорей, туда! Встречаю у крыльца
старушку мирную с корзинкою плетеной.
Меня приветствуя, лохматый, черный пес
визжит и прыгает и хлопает ушами...
Вперед! Широкий парк душистыми листами
шумит пленительно. Виляют меж берез
тропинки мшистые; дубовая аллея
пересекает их и, влажно зеленея,
стрелой уходит вдаль; средь трепетных ветвей,
склоненных до земли, вся белая, сияет
скамейка. Ярких мух беспечный рой играет
над спинкой вырезной, и решето лучей
желтеет на песке. Последняя тропинка
окаймлена волной сиреневых кустов.
Я выхожу на луг. Здесь тени облаков
бегут по мураве. Здесь каждая былинка
живет по-своему; таинственно звенит
в прозрачном воздухе жужжанье насекомых.
Вперед! Сквозь белизну молочную черемух
зеленая река застенчиво блестит,
кой-где подернута парчою тонкой тины...
Спешу к тебе, спешу, знакомая река!
Неровный ветерок несет издалека
крик сельских петухов и мерный шум плотины.

Напротив берега я вижу мягкий скат,
на бархатной траве разбросанные бревна,
а дале — частокол, рябин цветущих ряд,
в лучах, над избами, горящий крест церковный
и небо ясное... Как хорошо! Но вот
мой слух певучий скрип уключин различает.
Вот лодка дачная лениво проплывает,
и в лодке девушка одной рукой гребет...
Склоненного плеча прелестно очертанье;
она, рассеянно, речные рвет цветы.
Ах, это снова ты, все ты и все не ты!

Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье...

* * *

Когда с небес на этот берег дикий
роняет ночь свой траурный платок, —
полушутя, дает мне Сон безликий
небытия таинственный урок.

Я крепко сплю, не чая пробужденья;
но день встает, и в лучезарный миг
я узнаю, что были сновиденья,
и что конца еще я не постиг.

ЭЛЕГИЯ

Я помню влажный лес, волшебные дороги,
узорные лучи на дышащей траве...
Как были хороши весенние тревоги!
Как мчались облака по вольной синеве!
Сквозная стрекоза, мой жадный взор чаруя,
легко покоилась на освещенном пне.
Со струнами души созвучья согласуя,
чудесно иволги сочувствовали мне:
я чутко различал в зеленой вышине —
то плач прерывистый, то переливы смеха.
Березы, вкрадчиво шумящие вокруг,
учили сочетать со звуком точный звук,
и рифмы гулкие выдумывало эхо,

когда, средь тишины темнеющего дня,
бродя по прихоти тропы уединенной,
своими кликами даль мирную дразня,
я вызывал его из рощи отдаленной.

ДВА КОРАБЛЯ

У мирной пристани, блестя на солнце юга,
с дремотной влагой в лад снастями шевеля,
задумчивы, стояли друг близ друга
    два стройных корабля.

Но пробил час. Они пустились в море,
и молчаливо разошлись они.
Стонали ветры на просторе;
    текли за днями дни.

Знакомы стали им коварные теченья,
знакома — верная, сияющая ночь;
а берега вдали вставали, как виденья,
    и отходили прочь...

Порой казалось им: надежда — бесполезна.
Катился бури гром, и быстрой чередой
сменялась черная, зияющая бездна
    всплывающей волной.

А иногда, с тревогою угрюмой,
они оглядывались вдруг,
и каждый полон был одной и той же думой:
    «Где ты, мой бедный друг?»

Да, много было бурь, да, много снов печальных, —
обманных маяков и скрытых скал,
но ангел вещий, ангел странствий дальних,
    их строго охранял.

И срок иной настал... Угомонились бури;
а корабли куда-то вновь спешат,
и с двух сторон выходят из лазури,
    и вот — плывут назад!

Они сошлись и снова рядом встали,
о шири шелестя изведанных морей,
а волны слушали, но нет, — не узнавали
тех старых кораблей...

* * *

Цветет миндаль на перекрестке;
мерцает дымка над горой;
бегут серебряные блестки
по глади моря голубой.

Щебечут птицы вдохновенней;
вечнозеленый ярче лист.
Блажен, кто в этот день весенний
воскликнет искренно: «Я чист!»

* * *

О ночь, я твой! Все злое позабыто,
и жизнь ясна, и непонятна смерть.
Отражена в душе моей раскрытой
блистательная твердь...

И мнится мне, что по небу ночному
плыву я вдаль на призрачном челне,
и нет конца сиянью голубому;
я — в нем, оно — во мне.

Плыву, плыву. Проходят звезды мимо;
к одной, к другой причаливает челн
и вновь летит под шум неуловимый
алмазно-чистых волн.

Я твой, о ночь! В душе — твое сиянье;
все грешное осталось на земле,
и ангелов я чувствую дыханье
на поднятом челе!

* * *

Ты войдешь и молча сядешь
близ меня, в вечерний час,
и рассеянно пригладишь
    на груди атлас.

Тихо книгу я закрою,
тихо подниму глаза;
пронесется надо мною
    прежняя гроза.

Ты устало усмехнешься;
я коснусь твоей руки;
побледнеешь, отвернешься,
    полная тоски.

«Жизнь моя, — скажу я властно, —
не сердись, — ты не права!» —
но пойму я, что напрасны
    старые слова.

Ты ногтем забарабанишь:
поздно, поздно уж теперь!
Оглядишься, быстро встанешь...
    скрипнет, стукнет дверь...

Отодвину занавески,
головой прижмусь к стеклу:
ты мелькнешь в закатном блеске
    и уйдешь во мглу.

* * *

Вот дачный сад, где счастливы мы были:
стеклянный шар, жасмин и частокол.
Как некогда, каймою рдяной пыли
верхи берез день тающий обвел.

Все тот же вьется мотылек капустный
(он опоздал — беспечный — на ночлег).
Сегодня мне как будто и не грустно,
что кануло все прежнее навек.

Уж светляки зеленые лампадки
зажгли в траве, и нежно — как тогда —
мне шлет привет свой девственный и сладкий
алмаз вечерний, — первая звезда.

БЕРЕЗА В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ

Среди цветущих, огненных дерев
грустит березка на лугу,
как дева пленная в блистательном кругу
иноплеменных дев.

И только я дружу с березкой одинокой,
тоскую с ней весеннею порой: —
она мне кажется сестрой
возлюбленной далекой.

ОРЕШНИК И БЕРЕЗА

Два дерева... одно — развесистый орешник —
листвой изнеженной, как шелком, шелестит;
роскошным сумраком любви и лени льстит...
Остановись под ним, себялюбивый грешник!

Ляг, позови подруг, беспечных, как и ты.
Не слушай совести, не прекословь мгновенью;
пей темное вино, пой песни упоенью —
да будут в лад шуметь широкие листы.

Но если, путник, ты — душою чист и светел
и если долго ты дорогою крутой
неутомимо шел и на пути не встретил
ни друга верного, ни радости простой, —

тогда не позабудь: есть дерево другое.
Близ дерева греха березу ты найдешь...

На озаренный дождь наряд ее похож,
ее жемчужный ствол — что облачко прямое.

Садись в тень жидкую, но продолжай в мечтах
свой путь; и шепотом невинным и тревожным
расскажет каждый лист о милом невозможном,
о дальней родине, о ветре, о лесах...

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Все реже, реже влажный звон;
кой-где светлеет небосклон;
отходят тучи грозовые,
жемчужным краем бороздя
просветы пышно-голубые,
и падают лучи косые
сквозь золотую сеть дождя.

Олеиз

* * *

Как пахнет липой и сиренью,
как золотеет серп луны!
Неторопливо, тень за тенью,
подходят сумерки весны.
Я возвращаюсь, молодею,
мне прошлого не превозмочь!
Вплывает в узкую аллею
незабываемая ночь.
И в полутьме, — то завлекая,
то отступая, веешь вновь,
ты — призрак северного мая,
ты — отроческая любовь!
И памятному сновиденью
я предаюсь средь тишины...
Как пахнет липой и сиренью,
как золотеет серп луны!

ЛЕСТНИЦА

Ты — лестница в большом, туманном доме. Ты
устало вьешься вверх средь мягкой темноты:
огонь искусственный — и то ты редко видишь.
Но знаю, — ты живешь, ты любишь, ненавидишь,
ты бережешь следы бесчисленных шагов:
уродливых сапог и легких башмачков,
калош воркующих и валенок бесшумных,
подошв изношенных, но быстрых, неразумных,
широких, добрых ног и узких, злых ступней...
О да! Уверен я: в тиши сырых ночей,
кряхтя и охая, ты робко оживаешь,
и вспомнить силишься, и точно повторяешь
всех слышанных шагов запечатленный звук:
прыжки младенчества и палки деда стук,
стремительную трель поспешности любовной,
дрожь нисходящую отчаянья, и ровный
шаг равнодушия, шаг немощи скупой,
мечтательности шаг, взволнованный, слепой, —
всегда теряющий две или три ступени, —
и поступь важную самодовольной лени,
и торопливый бег вседневного труда...
Не позабудешь ты, — я знаю, — никогда,
и звон моих шагов... Как, разве в самом деле
они — веселые — там некогда звенели?
А луч, по косяку взбегающий впотьмах,
а шелест шелковый, а поцелуй в дверях?
Да — сердце верило, да — было небо сине...
Над ручкой медною — другое имя ныне,
и сам скитаюсь я в далекой стороне.
Но ты, о лестница, в полночной тишине
беседуешь с былым. Твои перила помнят,
как я покинул блеск еще манящих комнат,
и как в последний раз я по тебе сходил;
как с осторожностью преступника закрыл
одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной
таинственно ушел — свободный, безнадежный...

* * *

Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь,
как черный этот сад, и дальний плеск волны,
и в небе облачном зеркальный блеск луны...
Но — думается мне — ты счастлива не будешь.
Быть может, я не прав. Я только ведь поэт;
непостоянный друг печали мимолетной
и краткой радости, мечтатель беззаботный,
художник, любящий равно и мрак и свет.
Но ясновиденье подобно вдохновенью:
прозреньем окрылен тревожный голос мой!
Вот почему твой путь, и ясный и прямой,
туманю наперед пророческою тенью.
Предсказываю я: ты будешь мирно жить,
как вдруг о пламенном в тебе тоска проснется,
но, — видишь ли, — другой тех звезд и не коснется,
которыми тебя могу я окружить!

ОЗЕРО

Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда,
ни мощные дубы, ни тонкая осока, —
хоть отражаются так ярко, так глубоко, —
не оставляют в нем следа.

Взгляни и в душу мне: как трепетно, как ясно
в ней повторяются виденья бытия!
Как в ней печаль темна, как радость в ней прекрасна...
— и как спокоен я!

* * *

О чем я думаю? О падающих звездах...
Гляди, вон там одна, беззвучная как дух,
алмазною стезей прорезывает воздух,
и вот уж путь ее — потух...

Не спрашивай меня, куда звезда скатилась.
О, я тебя молю, безмолвствуй, не дыши!
Я чувствую — она лучисто раздробилась
на глубине моей души.

* * *

(Евангелие Иакова Еврея гл. XVIII)

И видел я: стемнели неба своды,
и облака прервали свой полет,
и времени остановился ход...
Все замерло. Реки умолкли воды.
Седой туман сошел на берега,
и, наклонив над влагою рога,
козлы не пили. Стадо на откосах
не двигалось. Пастух, поднявши посох,
оцепенел с простертою рукой,
взор устремляя ввысь; а над рекой,
над рощей пальм, вершины опустивших, —
хоть воздух был бестрепетен и нем —
повисли птицы на крылах застывших.
Все замерло. Ждал чутко Вифлеем...

И вдруг в листве проснулся чудный ропот,
и стая птиц звенящая взвилась,
и прозвучал копыт веселый топот,
и водных струй послышался мне шепот,
и пастуха вдруг песня раздалась!
А вдалеке, развея сумрак серый,
как некий Крест, — божественно-светла,
звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой,
где в этот миг Мария родила.

СОЛНЦЕ БЕССОННЫХ
Sun of the Sleepless

(Из Байрона)

Печальная звезда, бессонных солнце! Ты
указываешь мрак, но этой темноты
твой луч трепещущий, далекий, — не рассеет.
С тобою я сравню воспоминаний свет,
мерцанье прошлого, — иных, счастливых лет, —
дрожащее во мгле; ведь, как и ты, не греет
примеченный тоской бессильный огонек, —
лучист, но холоден, отчетлив, но далек...

ЛУННАЯ НОЧЬ

Поляны окропил холодный свет луны.
Чернеющая тень и пятна белизны
застыли на песке. В небесное сиянье
вершиной вырезной уходит кипарис.
Немой и стройный сад похож на изваянье.
Жемчужною дугой над розами повис
фонтан, журчащий там, где сада все дороги
соединяются. Его спокойный плеск
напоминает мне размер сонета строгий;
и ритма четкого исполнен лунный блеск.
Он всюду — на траве, на розах, над фонтаном —
бестрепетный; а там, в аллее, вдалеке,
тень черная листвы дробится на песке,
и платье девушки, стоящей под каштаном,
белеет, как платок на шахматной доске...

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Был грозен волн полночный рев...
Семь девушек на взморье ждали
невозвратившихся челнов
и, руки заломив, рыдали.

Семь звездочек в суровой мгле
над рыбаками четко встали
и указали путь к земле...

* * *

Вдали от берега, в мерцании морском,
я жадной глубиной был сладостно влеком.
Я видел небосвод сквозь пену золотую,
дрожащий серп луны, звезду одну, другую...
Тускнел далекий свет, я медленно тонул.
Манил из глубины какой-то чудный гул.
В волшебном сумраке мой призрак отражался.
В блестящий траур волн я тихо погружался.

ПОЭТ

Среди обугленных развалин,
средь унизительных могил, —
не безнадежен, не печален,
но полон жизни, полон сил, —

с моею музою незримой
так беззаботно я брожу
и с радостью неизъяснимой
на небо ясное гляжу.

Я над собою солнце вижу
и сладостные слезы лью,
и никого я не обижу
и никого не полюблю.

Иное счастье мне доступно,
я предаюсь иной тоске,
а все, что жалко иль преступно,
осталось где-то вдалеке.

Там занимаются пожары,
там, сполохами окружен,
мир сотрясается, и старый
переступается закон.

Там опьяневшие народы
ведет безумие само, —
и вот на чучеле свободы —
бессменной пошлости клеймо!

Я в стороне. Молюсь, ликую,
и ничего не надо мне,
когда вселенную я чую
в своей душевной глубине.

То я беседую с волнами,
то с ветром, с птицей уношусь
и со святыми небесами
мечтами чистыми делюсь.

23 сентября (6 окт.) 1918

ЖУРАВЛИ

Шумела роща золотая,
ей море вторило вдали,
и всхлипывали, пролетая,
кочующие журавли

и в небе томном исчезали,
все тише, все нежней звеня.
Мне два последних рассказали,
что вспоминаешь ты меня...

* * *

За полночь потушив огонь мой запоздалый,
в притворном забытьи покоюсь я, бывало,
и вот, преодолев ревнивый сумрак туч,
подкрадывается неуловимый луч
и разгорается и освещает странно
картины на стене. Доносится нежданно
до слуха моего необъяснимый звук
и повторяется отчетливей, и вдруг —
все оживляется! Волшебное — возможно:
халат мой с вешалки сползает осторожно
и, протянув ко мне пустые рукава,
перегибается, и чья-то голова
глядит, лукавая, из мусорной корзины
под письменным столом; а по стене картины
кружатся, вылетев из неподвижных рам,
как попугайчики, и шкаф дубовый сам
завистливо кряхтит, с волненьем наблюдая,
как по полу бежит одна туфля ночная
вдогонку за другой.
    Но только двинусь я, —
глядь, — все рассеялось, и комната моя
мгновенно приняла свой вид обыкновенный.
В окне дрожит луна невинно и смиренно,
халат — на вешалке, повсюду тишина...
Ах, знаю я тебя, обманщица луна!

* * *

Разгорается высь,
тает снег на горе...
Пробудись, отзовись,
говори о заре!
Тает снег на горе
пред пещерой моей,
и вся даль в серебре
осторожных лучей.
Повторяй мне, душа,
что сегодня — весна,
что земля хороша,
что и смерть не страшна;
что над первой травой
дышит горный цветок,
наряженный в живой,
мягко-белый пушок;
что лепечут ручьи
и сверкают кругом
золотые струи;
что во всех и во всем
тихий Бог, тайный Бог
неизменно живет;
что весенний цветок,
ветерок, небосвод,
нежных тучек кайма
и скала, и поток,
и, душа, ты сама —
все — одно и все — Бог!

11 (24) ноября 1918

* * *

В хрустальный шар заключены мы были
и мимо звезд летели мы с тобой,
стремительно, безмолвно мы скользили
из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели;
нас вечности восторг соединил;
по небесам, обнявшись, мы летели,
ослеплены улыбками светил.

Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,
остановил наш огненный порыв,
и поцелуй прервал наш безначальный,
и в пленный мир нас бросил, — разлучив.

И на земле мы многое забыли:
лишь изредка воспомнится во сне
и трепет наш, и трепет звездной пыли,
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно —
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,
могу узнать по этой пыли звездной,
оставшейся на кончиках ресниц...

13 (26) ноября 1918
Крым

* * *

Лишь то, что писано с трудом, —
читать легко.

Жуковский

Если вьется мой стих и летит и трепещет,
как в лазури озер облака,
если солнечный звук так стремительно плещет,
если песня так зыбко-легка, —

ты не думай, что не было острых усилий,
что напевы мои, как во сне,
незаметно возникли и вдаль поспешили
своевольные, чуждые мне.

Ты не знаешь, как медлил восход боязливый
этих ясных созвучий — лучей...
Долго-долго вникал я, бесплотно-пытливый,
в откровенья дрожащих ночей.

Выбирал я виденья с любовью холодной;
я следил и душой и умом,
как у бабочки влажной, еще не свободной,
расправлялось крыло за крылом.

Каждый звук был проверен и взвешен прилежно,
каждый звук, как себя, сознаю, —
а меж тем назовут и пустой и небрежной
быстролетную песню мою...

ОСЕННЯЯ ПЛЯСКА

Кружитесь, падайте...
        Мы, — смуглые дриады, —
осенним шорохам и рады и не рады:
лес обнажается, и фавны видят нас,
и негде спрятаться от их янтарных глаз.

Шуршите, блеклые...
        Вчера мы на поляне
плясали в розовом предутреннем тумане;
подбрасывали мы увядшие листы,
и сыпались они так мягко с высоты, —
холодным золотом на плечи к нам спадали...

Шуршите, блеклые...
        Вчера нас увидали,
и встрепенулись мы и разбежались вмиг;
за нами топот был, и чей-то звучный клик
то рядом, то вдали — звенел и повторялся...

Шуршите, блеклые...
        Край неба разгорался,
и шумно мчались мы, кто плача, кто смеясь,
и пестрые листы, за нами вслед кружась,
летели, шелестя, по рощам и по скатам,
и дальше, — по садам, по розам, нами смятым, —
до моря самого...
        А мы — опять назад,
в леса, да на холмы, — куда глаза глядят!

БАШМАЧОК

Ты его потеряла в траве замирающей,
в мягком сумраке пряных волн.
Этот вечер был вздохов любви умоляющей
и любви отвечающей полн.

Отклонившись с улыбкой от ласок непрошенных,
от моих непонятных слов,
ты метнулась, ты скрылась в тумане нескошенных,
голубых и мокрых лугов.

Я бежал за тобою сквозь дымку закатную,
но догнать я не скоро мог...
Ты вздыхала, раздвинув траву ароматную:
«Потеряла я башмачок!»

Наклонились мы рядом. Твой локон взволнованный
чуть коснулся щеки моей;
ничего не нашли мы во мгле заколдованной
шелестящих, скользких зыбей.

И, счастливый, безмолвный, до садика дачного
я тебя донес на руках,
и твой голос звенел чище неба прозрачного
и на сонных таял цветах.

Как теперь далеко это счастье душистое!
Одинокий, в чуждой стране,
вспоминаю я часто минувшее чистое,
а недавно приснилось мне,

что, бродя по лугам несравненного севера,
башмачок отыскал я твой —
свежей ночью, в траве, средь туманного клевера, —
и в нем плакал эльф голубой...

* * *

Сторожевые кипарисы
благоуханной веют мглой,
и озарен Ай-Петри лысый
магометанскою луной.

И чья-то тень из-за ограды
упорно смотрит на меня,
и обезумели цикады,
в листве невидимо звеня.
И непонятных, пряных песен
грудь упоительно полна,
и полусумрак так чудесен,
и так загадочна луна!
А там, — глаза Шехеразады
в мой звездный и звенящий сад
из-за белеющей ограды,
продолговатые, глядят.

* * *

Ты многого, слишком ты многого хочешь!
Тоскливо и жадно любя,
напрасно ты грезам победу пророчишь,
когда он глядит на тебя.

Поверь мне: он женщину любит не боле,
чем любят поэты весну...
Он молит, он манит, а сердце — на воле
и ценит лишь волю одну!

И зори, и звезды, и радуги мая —
соперницы будут твои,
и в ночь упоенья, тебя обнимая,
он вспомнит о первой любви.

Пусть эта любовь мимолетно-случайно
коснулась и канула... Пусть!
В глазах у него замечтается тайна —
тебе непонятная грусть...

Тогда ты почувствуешь холод разлуки.
Что ж делать! Целуй и молчи;
сияй безмятежно, и в райские звуки
твои превратит он лучи!

Но ты... ты ведь любишь властительно-душно,
　　　потребуешь жертв от него;
а он лишь вздохнет, отойдет равнодушно —
　　　и больше не даст — ничего...

* * *

Феина дочь утонула в росинке,
ночью, играя с влюбленным жучком.
Поздно спасли... На сквозной паутинке
тихо лежит. Голубым лепестком
Божьи коровки ей ножки покрыли,
пять светляков засияли кругом,
ладаном синим ей звезды кадили,
плакала мать, заслонившись крылом.
А на заре пробудилась поляна:
бабочка скорбную весть разнесла...
Что — ей до смерти? Бела и румяна,
пляшет в луче и совсем весела.
Все оживляются... «Верьте, не верьте, —
шепчут друзьям два нескромных цветка, —
Феина дочь за мгновенье до смерти
здесь, при луне, целовала жучка!»
Мимо идет муравей деловитый.
Мошки не поняли, — думают — бал,
Глупый кузнечик, под лютиком скрытый,
звонко твердит: «Так и знал, так и знал...»
Каждый спешит, кто — беспечно, кто — мрачно.
Два паука, всех пугая, бегут.
Феина дочь холодна и прозрачна,
и на челе чуть горит изумруд.
Как хороша! Этот тоненький локон,
плечики эти, — кто б мог описать?
Чуткий червяк, уж закутанный в кокон,
просто не вытерпел, вылез опять.
Смотрят, толкаются... Бледная фея
плачет, склонившись на венчик цветка.
День разгорается, ясно алея...
Вдруг спохватились: «Не видно жучка!»

Феина дочь утонула в росинке,
и на заре, незаметен и тих,
красному блику на мокрой былинке
молится маленький, черный жених...

* * *

Ты на небе облачко нежное,
ты пена прозрачная на море,
ты тень от мимозы на мраморе,
ты — эхо души неизбежное...
И песня звенит безначальная...
Зову ли тебя, — откликаешься,
ищу ли, — молчишь и скрываешься,
найду ли? Не знаю, о Дальняя...

Ты сон навеваешь таинственный.
Взволнован я ночью туманною,
живу я мечтой несказанною,
дышу я любовью единственной.
И счастье мне грезится дальнее,
и снится мне встреча блаженная,
и песня звенит вдохновенная,
свиваясь в кольцо обручальное.

10 (23) декабря 1918
Крым

НА КАЧЕЛЯХ

В листву узорчатую зыбко
плеснула тонкая доска,
лазури брызнула улыбка,
и заблистали небеса.

И на мгновенье, над ветвями,
я замер в пламени весны,
держась простертыми руками
за две звенящие струны.

Но ослепительно метнулась
ликующая синева,

доска стремительно качнулась,
и снизу хлынула листва.

И лиловеющая зелень
вновь заслонила небосвод,
и очарованно-бесцелен
дугообразный стал полет.

Так реял я, то опускаясь —
мелькая тенью по листам,
то на мгновенье приближаясь
к недостижимым облакам.

НОВЫЙ ГОД

«Скорей, — мы говорим, — скорей!»
И звонко в тишине холодной
захлопнулись поочередно
двенадцать маленьких дверей...
И удалившихся не жаль нам:
да позабудутся они!
Прошли те медленные дни
в однообразии печальном.
А те, — другие, — что вошли
в полуоткрывшиеся двери, —
те не печали, не потери,
а только радость принесли.
Но светлые дары до срока
они, — туманные, — тают;
столпились и во мгле стоят,
нам улыбаясь издалека...

* * *

Ю. Р.

Как ты, — я с отроческих дней
Влюблен в веселую опасность...
Друг милый, родственную ясность
я узнаю в душе твоей.

Мы беззаботно сердцем юны...
(Пусть муза хмурится моя!)
На хрупкой арфе бытия
перебираем те же струны;

и в соловьином забытьи
поем, беспечно принимая
от неба жизненного мая
грозу и радугу любви.

Нам до грядущего нет дела,
и прошлое не мучит нас.
Дверь черную в последний час
мы распахнем легко и смело.

Я верю сказкам вековым
и откровеньям простодушным:
мы встретимся в краю воздушном
и шуткой звезды рассмешим...

УТРО

Как светлозарно день взошел!
Ну не улыбка ли Господня?
Вот лапки согнутые поднял
нежно-зеленый богомол.

Ведь небеса и для него...
Гляжу я, кроткий и счастливый...
Над нами — солнечное диво,
одно и то же Божество!

* * *

На ярком облаке покоясь,
ты проплываешь надо мной.
Под липами, в траве сырой
я отыскал твой узкий пояс.
Он ослепляет серебром...
Я удаляюсь... В песне четкой

я расскажу дриаде кроткой
об одиночестве моем...
Под липами — ручей певучий;
темнеют быстрые струи...
Подкидывают соловьи
цветные шарики созвучий...
Вот и янтарная луна.
В луче вечернем, чародейном,
ты дуновеньем легковейным
на небеса унесена...

СКИФ

Ночь расплелась над Римом сытым,
и голубела глубь амфор,
и трепетал в окне раскрытом
меж олеандров звезд узор.

Как бы струя ночной лазури,
плыл отдаленный лиры звон.
Я задремал на львиной шкуре
средь обнаженных, сонных жен.

И сон мучительный, летучий
играл и реял надо мной.
Я плакал: чудились мне тучи
и степи Скифии родной!

* * *

Я был в стране Воспоминанья,
где величаво, средь сиянья
небес и золота песков,
проходят призраки веков
по пирамидам смугло-голым;
где вечность, медленным глаголом
вникая в сумерки души,
волнует путника, — в тиши
пред сфинксом мудрым и тяжелым.
Ключ неразгаданных чудес

им человечеству завещан...
О, глаз таинственный разрез!..

На глыбе голубой, средь трещин,
застыл божественный Рамзес
в движенье тонко-угловатом...
Изиды близится закат;
и пальмы жестко шелестят,
и туч — над Нилом розоватым —
чернеют узкие струи...

Там — на песке сыром, прибрежном
я отыскал следы твои...
Там, — в полудымке, в блеске нежном, —
пять тысяч лет тому назад, —
прошла ты легкими шагами
и пела, — глядя на закат
большими, влажными глазами...

* * *

О, встречи дивное волненье!
Взгляд зоревой... Крылатый крик...
Ты осязаемо, виденье!
К тебе я трепетно приник...

Я по морям туманным плавал,
томился в пасмурной стране,
и скучный бог и скучный дьявол
бесцельно спорили во мне.

И на полночных перепутьях
Страсть появлялась предо мной —
босая, в огненных лоскутьях,
с закинутою головой...

Но не просил я ласок ложных;
я тосковал в садах земных...
Среди сомнительных и сложных
искал я верных и простых.

О достиженье, крылья, зори!
Мечта оправдана вполне!
С алмазной песнею во взоре
ты наклоняешься ко мне...

ПЧЕЛА

По ночам, — во мгле лазурной, —
вспоминаю жизнь мою;
поцелуев мед пурпурный
в сотах памяти таю.

На заре, — в тени росистой, —
о грядущем сны мои,
о цветах — в траве душистой
по краям путей любви.

А уж в полдень полновластный —
в ту весеннюю страну
прилечу пчелою красной
и к твоим устам прильну!

ПЕТР В ГОЛЛАНДИИ

Из Московии суровой
он сюда перешагнул.
Полюбил он моря гул,
городок наш изразцовый;

и бродил вдоль берегов, —
загорелый, грубый, юный.
Ветер. Пепельные дюны.
Стук далеких топоров.

Разноцветные заплаты
парусов над рябью вод.
Стая чаек. Небосвод, —
как фаянс, зеленоватый.

Были мудры вечера.
Кружки. Сонные соседи.
Думы голосом победы
звали плотника-Петра.

У стола мечтал он важно.
Четко тикали часы.
Помню: жесткие усы,
взор жестокий и отважный,

тень локтей и головы,
полки в маленькой таверне,
а на печке — блеск вечерний
и квадраты синевы.

РОССИЯ

Не все ли равно мне — рабой ли, наемницей,
иль просто безумной — тебя назовут?
Ты светишь... Взгляну — и мне счастие вспомнится...
Да, эти лучи не зайдут!

Ты в страсти моей, и в страданьях торжественных,
и в женском медлительном взгляде была...
В полях озаренных, холодных и девственных
цветком голубым ты цвела.

Ты осень водила по рощам заплаканным;
весной целовала ресницы мои.
Ты в душных церквах повторяла за дьяконом
слепые слова ектеньи.

Ты летом за нивой звенела зарницами;
в день зимний я в инее видел твой лик...
Ты ночью склонялась со мной над страницами
властительных, песенных книг.

Была ты и будешь... Таинственно создан я
из блеска и дымки твоих облаков.
Когда надо мною ночь плещется звездная,
я слышу твой реющий зов!

Ты — в сердце, Россия! Ты — цель и подножие,
ты — в ропоте крови, в смятенье мечты!
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты...

* * *

Эту жизнь я люблю исступленной любовью...
По заре выхожу на крыльцо.
Из-за моря багряного пламенной кровью
солнце буйно мне плещет в лицо...

Дуновенья весны, как незримые девы,
с ярким смехом целуют меня.
Многозвучная жизнь! Лепестки и напевы,
и на всем — паутина огня!

И когда все уйдет и томиться я буду
у безмолвного Бога в плену, —
о клянусь, — ничего, ничего не забуду
и на мир отдаленный взгляну.

С сожаленьем безмерным и с завистью чудной
оглянусь — и замру я, следя,
как пылает и катится шар изумрудный
в полосе огневого дождя!

И я вспомню о солнце, о солнце победном,
и о счастии каждого дня.
Вдохновенье я вспомню и ангелам бледным
я скажу: отпустите меня!

Я не ваш. Я сияньем горю беззаконным
в белой дымке бестрепетных крыл,
и мечтами я там, где ребенком влюбленным
и ликующим богом я был!

5 (18) марта 1919
Крым

КИПАРИСЫ

Склонясь над чашею прозрачной, —
над чашей озера жемчужной,
три кипариса чудно-мрачно
шумят в лазури ночи южной.

Как будто черные монахи,
вокруг сияющей святыни,
в смятенье вещем, в смутном страхе,
поют молитвы по-латыни.

* * *

Еще безмолвствую — и крепну я в тиши.
Созданий будущих заоблачные грани
еще скрываются во мгле моей души,
как выси горные — в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день!
Все шире, шире даль, — светлей, разнообразней;
и на звенящую, на первую ступень
всхожу, исполненный блаженства и боязни.

23 марта (5 апр.) 1919
Крым

СТАМБУЛ

Всплывает берег на заре,
летает ветер благовонный.
Как бы стоит корабль наш сонный
в огромном, круглом янтаре.

Кругами влагу бороздя,
плеснется стая рыб дремотно,
и этот трепет мимолетный —
как рябь от легкого дождя.

Стамбул из сумрака встает:
два резко черных минарета
на смуглом золоте рассвета,
над озаренным шелком вод.

Золотой Рог

* * *

По саду бродишь и думаешь ты.
Тень пролилась на большие цветы.

Звонкою ночью у ветра спроси:
так же ль березы шумят на Руси?

Страстно спроси у хрустальной луны:
так же ль на родине реки ясны?

Ветер ответит, ответят лучи...
Все ты узнаешь, но только смолчи.

Фалер

* * *

Что нужно сердцу моему,
чтоб быть счастливым? Так немного...
Люблю зверей, деревья, Бога,
и в полдень луч, и в полночь тьму.

И на краю небытия
скажу: где были огорченья?
Я пел, а если плакал я —
так лишь слезами восхищенья...

ВЕРБА

Колоколов напев узорный;
волненье мартовского дня;
в спирту зеленом чертик черный,
и пестрота, и толкотня;
и ветер с влажными устами,
и почек вербных жемчуга,
и облака над куполами,
как лучезарные снега;
и красная звезда на палке,
и писк бумажных языков,
и гул, и лужи, как фиалки,
в просветах острых меж лотков;

и шепот дерзких дуновений:
лети, признаний не таи! —
О юность, полная видений!
О песни первые мои!

Париж

РУСАЛКА

Пахнуло с восходом огромной луны
сладчайшею свежестью в плечи весны.

Колеблясь, колдуя в лазури ночной,
прозрачное чудо висит над рекой.

Все тихо и хрупко. Лишь дышит камыш;
над влагой мелькает летучая мышь.

Волшебно-возможного полночь полна.
Река предо мною зеркально-черна.

Гляжу я, — и тина горит серебром,
и капают звезды в тумане сыром.

Гляжу, — и, сияя в извилистой мгле,
русалка плывет на сосновом стволе.

Ладони простерла и ловит луну:
качнется, качнется и канет ко дну.

Я вздрогнул, я крикнул: взгляни, подплыви!
Вздохнули, как струны, речные струи.

Остался лишь тонкий, сверкающий круг, —
да в воздухе тает таинственный звук...

* * *

Разбились облака. Алмазы дождевые,
сверкая, капают, то тише, то быстрей,
с благоухающих, взволнованных ветвей.

Так Богу на ладонь дни катятся людские;
так — отрывается дыханьем бытия
и звучно падает в пределы неземные
песнь каждая моя...

* * *

Мне так просто и радостно снилось:
ты стояла одна на крыльце
и рукой от зари заслонилась,
а заря у тебя на лице.

Упадали легко и росисто
луч на платье и тень на порог,
а в саду каждый листик лучистый
улыбался, как маленький бог.

Ты глядела, мое сновиденье,
в глубину голубую аллей,
и сквозное листвы отраженье
трепетало на шее твоей.

Я не знаю, что все это значит,
почему я проснулся в слезах...
Кто-то в сердце смеется и плачет,
и стоишь ты на солнце в дверях.

ПАМЯТИ ДРУГА

В той чаще, где тысяча ягод
краснели, как точки огня,
мы двое играли; он на год,
лишь на год был старше меня.

Игру нам виденья внушали
из пестрых, воинственных книг,
и сказочно сосны шуршали,
и мир был душист и велик.

Мы выросли... Годы настали
борьбы, и позора, и мук.

Однажды мне тихо сказали:
«Убит он — веселый твой друг...»

Хоть проще все было, суровей, —
играл он все в ту же игру.
Мне помнится: каплями крови
краснела брусника в бору.

* * *

Простая песня, грусть простая;
меж дальних веток блеск реки.
Жужжат так густо, пролетая,
большие майские жуки.

Закатов поздних несказанно
люблю алеющую лень...
Благоуханна и туманна,
как веер выцветший, сирень.

Ночь осторожна, месяц скромен;
проснулся филин; луг росист.
Берез прелестных четко-темен
на светлом небе каждый лист.

Как жемчуг в раковине алой,
мелькает месяц вдалеке,
и веет радостью бывалой
девичья песня на реке...

ВЬЮГА

Тень за тенью бежит — не догонит,
вдоль по стенке... Лежи, не ворчи.
Стонет ветер? И пусть себе стонет...
Иль тебе не тепло на печи?

Ночь лихая... Тоска избяная...
Что ж не спится? Иль ветра боюсь?
Это — Русь, а не вьюга степная!
Это корчится черная Русь!

Ах, как воет, как бьется — кликуша!
Коли можешь — пойди и спаси!
А тебе-то что? Полно, не слушай...
Обойдемся и так, — без Руси!

Стонет ветер все тише, все тише...
Да как взвизгнет! Ах, жутко в степи...
Завтра будут сугробы до крыши...
То-то вьюга! Да ну ее! Спи.

* * *

Катится небо, дыша и блистая...
Вот он — дар Божий, бери не бери!
Вот она — воля, босая, простая,
холод и золото звонкой зари!

Тень моя резкая — тень исполина.
Сочные стебли хрустят под ступней.
В воздухе звон. Розовеет равнина.
Каждый цветок — словно месяц дневной.

Вот она — воля, босая, простая!
Пух облаков на рассветной кайме...
И, как во тьме лебединая стая,
ясные думы восходят в уме.

Боже! Воистину мир Твой чудесен!
Молча, собрав полевую росу,
сердце мое, сердце, полное песен,
не расплескав, до Тебя донесу...

ОСЕНЬ

И снова, как в милые годы
тоски, чистоты и чудес, —
глядится в безвольные воды
румяный, редеющий лес.

Простая, как Божье прощенье,
прозрачная ширится даль.

Ах, осень, мое упоенье,
моя золотая печаль!

Свежо, и блестят паутины...
Шурша, вдоль реки прохожу;
сквозь ветви и гроздья рябины
на тихое небо гляжу.

И свод голубеет широкий,
и стаи кочующих птиц —
что робкие, детские строки
в пустыне старинных страниц.

* * *

М. W.

Часы на башне распевали
над зыбью ртутною реки,
и в безднах улиц возникали,
как капли крови, огоньки.

Я ждал. Мерцали безучастно
скучающие небеса.
Надежды пели ясно-ясно,
как золотые голоса.

Я ждал, по улицам блуждая,
и на колесах корабли,
зрачками красными вращая,
в тумане с грохотом ползли.

И ты пришла, необычайна,
меня приметила впотьмах,
и встала бархатная тайна
в твоих языческих глазах.

И наши взгляды, наши тени
как бы сцепились на лету,
и как ты вздрогнула в смятеньи,
мою предчувствуя мечту!

И в миг стремительно-горящий,
и отгоняя, и маня,
с какой-то жалобой звенящей
оторвалась ты от меня.

Исчезла, струнно улетела...
На плен ласкающей любви
ты променять не захотела
пустыни вольные свои.

И снова жду я, беспокойный —
каких чудес, какой тиши?
И мечется твой ветер знойный
в гудящих впадинах души.

Лондон. Marble Arch

* * *

Звон, и радугой росистой
малый купол окаймлен...
Капай, частый, капай, чистый,
серебристый перезвон...

Никого не забывая,
жемчуг выплесни живой...
Плачет свечка восковая,
голубь дымно-голубой...

И ясны глаза иконок,
и я счастлив, — потому
что церковенька-ребенок
распевает на холму...

Да над нею, беспорочной,
уплывает на восток
тучка вогнутая, точно
мокрый, белый лепесток...

Cambridge

* * *

Будь со мной прозрачнее и проще:
у меня осталась ты одна...
Дом сожжен, и вырублены рощи,
где моя туманилась весна,

где березы грезили, и дятел
по стволу постукивал... В бою
безысходном друга я утратил,
а потом — и родину мою.

И во сне я с призраками реял,
наяву с блудницами блуждал;
и в горах я вымыслы развеял,
и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне
тосковать у твоего огня...
Будь нежней, будь искреннее... Помни,
ты одна осталась у меня.

12 ноября 1919

ЗИМА

Только елочки упрямы —
зеленеют — то во мгле,
то на солнце. Пахнут рамы
свежим клеем; на стекле
перламутровый и хрупкий
вьется инея цветок;
на лазури в белой шубке
дремлет сказочный лесок.

Утро. К снежному сараю
в гору повезли дрова.
Крыша искрится; по краю —
ледяные кружева.
Где-то каркает ворона;
чьи-то валенки хрустят;
на ресницы с небосклона
блестки пестрые летят...

* * *

Мой друг, я искренно жалею
того, кто, в тайной слепоте,
пройдя всю длинную аллею,
не мог приметить на листе
сеть изумительную жилок,
и точки желтых бугорков,
и след зазубренный от пилок
голуборогих червяков.

ВЕСНА

Взволнован мир весенним дуновеньем,
вернулись птицы, и звенят ручьи
бубенчиками влаги. С умиленьем
я разбираю мелочи любви
на пыльных полках памяти. Прохладно
в полях и весело в лесу; куда
ни ступишь — крупный ландыш. Как вода,
дрожит лазурь — и жалобно и жадно
глядит на мир. Березы у реки —
там, на поляне, сердцем не забытой,
столпились и так просто, деловито,
развертывают липкие листки,
как будто это вовсе и не чудо;
а в синеве два тонких журавля
колеблются, и, может быть, оттуда
им кажется зеленая земля
неспелым, мокрым яблоком...

* * *

Маркиза маленькая знает,
как хороша его любовь.
В атласный сад луна вступает,
подняв напудренную бровь.
Но медлит милый, — а былинке
былинка сказывает сон:

на звонком тонком поединке
он шпагой мстительной пронзен.
Фонтаны плещут, и струисто
лепечет жемчуг жемчугу:
лежит он, мальчик серебристый,
комочком шелка на лугу.
Она бледнеет, и со страхом,
ища примет, глядит на птиц,
полет их провожая взмахом
по-детски загнутых ресниц.
И все предчувствие живее;
рыданий душит горький зной,
и укорачивает веер
полупрозрачный, вырезной,
то смутно-розовый, то сизый,
свою душистую дугу, —
а рот у маленькой маркизы —
что капля крови на снегу...

СМЕРТЬ

Выйдут ангелы навстречу —
многорадужная рать;
на приветствия отвечу:
не хочу я умирать!

Надо мной сомкнутся крылья,
заблистают, зазвенят...
Только вспомню, что любил я
теплых и слепых щенят.

13 июня 1924

КАПЛИ КРАСОК

I
ВСЕПРОЩАЮЩИЙ

Он горстью мягкою земли
и кровь и слезы многим вытер;
Он милосерден. В рай вошли
блудница бледная и мытарь.

И он своим святым простит,
что золотые моли гибли
в лампадах и меж слитых плит
благоуханно-блеклых библий.

II

JOIE DE VIVRE[1]

И в утро свежее любви
на берег женственно-отлогий
мы выбегали, и твои
босые вспыхивали ноги.

Мы задыхались в серебре
осоки сочной; и, бывало,
подставя зеркальце к заре,
ты отраженье целовала.

III

КРЫМСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Черешни, осы — на лотках;
и точно отсвет моря синий,
на знойно-каменных стенах
горят, горят глаза глициний.

Белы до боли облака;
ручей звездой в овраге высох,
и, как на бархате мука,
седеет пыль на кипарисах.

IV

БЫЛИНКИ

Мы пели в поле, и луны
блуждало блещущее диво.
Былинки были так бледны,
так колебались боязливо.

[1] Радость жизни *(фр.).* — *(Здесь и далее примеч. ред.)*

Мы шли, — и, может быть, цветок,
между былинками, в тревоге
шепнул: «Я вижу, — я высок:
блуждают блещущие боги...»

V
ХУДОЖНИК

Он отвернулся от холста
и в сад глядит, любуясь свято
полетом алого листка
и тенью клена лиловатой;

любуясь всем, как сын и друг, —
без недоверья, без корысти,
и капля радужная вдруг
спадает с вытянутой кисти.

VI
ЯБЛОНИ

Где ты, апреля ветерок —
прелестный, в яблони влюбленный?
Цветут, цветут, а ты снежок
сдуваешь этот благовонный...

В былые, благостные дни,
в холодном розовом тумане —
да, сладко сыпались они —
цветы простых очарований...

VII
РЕЧНАЯ ЛИЛИЯ

На лодке выцветшей — вдвоем —
меж камышей мы проплываем.
Я вялым двигаю веслом,
ты наклоняешься над краем.

И зеленеет глубина,
и в лени влаги появленье
лилеи — белой, как луна, —
встречаешь всхлипом восхищенья...

VIII
В ЛЕСУ

Шептала, запрокинув лик,
ты о разлуке предстоящей, —
а я глядел, как бился блик
на дне шушукающей чащи;

как — в дымке — ландыша душа
дышала, и как с тонкой ношей
полз муравей, домой спеша, —
такой решительный, хороший...

IX
ВДОХНОВЕНЬЕ

Когда-то чудо видел я;
передаю созвучьям ныне
то чудо, — но душа моя —
как птица белая на льдине,

и хоть горит мой стих живой,
мне чуждо самому волненье.
Я скован. Холод заревой
кругом. И это — вдохновенье...

X
LA MORTE DE ARTHUR[1]

Все, что я видел, но забыл,
ты, сказка гулкая, напомни;
да: робким рыцарем я был —
и пряжка резала плечо мне.

---
[1] Смерть Артура *(фр.)*.

Да. Злая встреча у ручья —
в тот вечер шелково-зеленый.
Кольчуги вражьей чешуя,
и конь под траурной попоной.

16 декабря 1919

XI
DÉCADENCE[1]

Там, — говорят, — бои, гроза...
а в Риме сумеречном, — тонко
подкрасив грустные глаза, —
стихи расплескиваю звонко.

Но завтра... сердца стебелек
я обнажу; из нежной раны —
в воде надушенной — дымок
возникнет матово-румяный...

XII
КРЕСТОНОСЦЫ

Когда мы встали пред врагом,
под белоснежными стенами,
и стрелы взвизгнули кругом, —
Христос явился между нами.

Взглянул, — и стрелы на лету
в цветы и в звезды превратились
и роем радостным Христу
на плечи плавно опустились.

XIII
КИМОНО

Дыханье веера, цветы,
в янтарном небе месяц узкий...
Зевая, спрашиваешь ты,
как слово «happiness» по-русски.

---

[1] Упадок *(фр.)*.

А в тучках нежность хризантем,
и для друзей я отмечаю,
что месяц тающий — совсем —
лимона ломтик в чашке чаю.

XIV
MERETRIX[1]

Твой крест печальный — красота,
твоя Голгофа — наслажденье.
Скользишь, безвольна и чиста,
из сновиденья в сновиденье;

не изменяя чистоте
своей таинственной, — кому бы
ни улыбались в темноте
твои затравленные губы.

XV
ДОСТОЕВСКИЙ

Тоскуя в мире, как в аду, —
уродлив, судорожно-светел, —
в своем пророческом бреду
он век наш бедственный наметил.

Услыша вопль его ночной,
подумал Бог: ужель возможно,
что все дарованное Мной
так страшно было бы и сложно?

XVI
АЭРОПЛАН

Скользнув по стоптанной траве,
взвился он звучно, без усилья,
и засияли в синеве
давно задуманные крылья.

[1] Блудница *(лат.)*.

И мысли гордые текли
под музыку винта и ветра...
Дно исцарапанной земли
казалось бредом геометра.

XVII
НАПОЛЕОН В ИЗГНАНИИ

Дом новый, глухо знойный день, —
и пальма, точно жестяная...
Вот он идет; глядит на тень
свою смешную, вспоминая

тень пестрых, шелковых знамен —
у сфинкса тусклого на лапе...
Остановился; жалок он
в широкополой этой шляпе...

Лондон

ДЕТСТВО

I

При звуках, некогда подслушанных минувшим, —
любовью молодой и счастьем обманувшим, —
пред выцветшей давно, знакомою строкой,
с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,
порой мы говорим: ужель все это было?
И удивляемся, что сердце позабыло,
какая чудная нам жизнь была дана...

II

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:
братишка мой в саду, — Бог весть во что играя, —
клал камни на карниз. Вдруг, странно замирая,
подумал я: ужель и я таким же был?
И в этот миг все то, что позже я любил,
все, что изведал я, — обиды и успехи, —

все затуманилось при тихом, светлом смехе
восставших предо мной младенческих годов.

III

И вот мне хочется в размер простых стихов
то время заключить, когда мне было восемь,
да, только восемь лет. — Мы ничего не просим,
не знаем в эти дни, но многое душой
уж можем угадать. — Я помню дом большой,
я помню лестницу, и мраморной Венеры
меж окон статую, и в детской — полусерый
и полузолотой непостоянный свет.

IV

Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,
предпочитал я сон действительности ясной.
Конечно, — не всегда: как торопил я страстно
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)
Потом до десяти, склонившись над столом,
писал я чепуху на языке Шекспира,
а после шел гулять...

V

Отдал бы я полмира,
чтоб снова увидать мир яркий, молодой, —
который видел я, когда ходил зимой
вдоль скованной Невы великолепным утром!
Снег, отливающий лазурью, перламутром,
туманом розовым подернутый гранит, —
как в ранние лета все нежит, все пленит!

VI

Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный...
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!
А горка изо льда меж липок городских,
смех девочек-подруг, стук санок удалых,
рябые воробьи, чугунная ограда?
О сказка милая, о чистая отрада!

VII

Увы! Все, все теперь мне кажется другим:
собор не так высок, и в сквере перед ним
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,
на серой площади никто не продает...
Да что и говорить! Мой город уж не тот...

VIII

Зато остались мне тех дней воспоминанья:
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,
позавтракав, ложусь в кроватку на часок.
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...
Садилась рядом мать и мягко целовала
и пароходики в альбом мне рисовала...
Полезней всех наук был этот миг тиши!

IX

Я разноцветные любил карандаши,
пахучих сургучей густые капли, краски,
бразильских бабочек и английские сказки.
Я чутко им внимал. Я был героем их:
как грозный рыцарь, смел, как грустный рыцарь, тих,
коленопреклонен пред смутной, пред любимой...
О как влекли меня — Ричард непобедимый,
свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!

X

Картинку помню я: по озеру плывет
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,
на траурном шелку, средь белых роз, а слева
от мертвой, на корме, таинственный старик
седою головой в раздумии поник,
и праздное весло скользит по влаге сонной,
меж лилий водяных...

XI

Глядел я, как влюбленный,
мечтательной тоски, видений странных полн,
на бледность этих плеч, на этот черный челн;
и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:
к каким он берегам — неведомым — причалит,
и дева нежная проснется ли когда?

XII

Назад, скорей назад, счастливые года!
Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,
ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,
прожитых без борьбы, забытых без труда.
Иль нет, ошибся я, далекие года!
Одно в душе моей осталось неизменным, —
и это — преданность виденьям несравненным, —
молитва ясная пред чистой красотой.
Я ей не изменил, и ныне пред собой
Я дверь минувшего без страха открываю
и без раскаянья былое призываю!

XIII

Та жизнь была тиха, как ангела любовь.
День мирно протекал. Я вспоминаю вновь, —
безоблачных небес широкое блистанье,
в коляске медленной обычное катанье
и в предзакатный час — бисквиты с молоком.
Когда же сумерки сгущались за окном,
и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,
спускались, шелестя, и свет полупечальный,
полуотрадный ламп даль комнат озарял, —
безмолвно, сам с собой, я на полу играл;
в невинных вымыслах, с беспечностью священной,
я жизни подражал по-детски вдохновенно;
из толстых словарей мосты сооружал,
и поезд заводной уверенно бежал
по рельсам жестяным...

XIV

Потом — обед вечерний.
Ночь приближается, и сердце суеверней.
Уж постлана постель, потушены огни.
Я слышу над собой: Господь тебя храни...
Кругом чернеет тьма, и только щель дверная
полоской узкою сверкает, — золотая.
Блаженно кутаюсь и, ножки подобрав,
вникаю в радугу обещанных забав...
Как сладостно тепло! И вот я позабылся...

XV

И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,
что я проснулся лишь — теперь, и что во сне,
во сне младенческом, приснилась юность мне;
что страсть, тревога, мрак — все шутка домового,
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова
и в уголку свой мяч и паровоз найду...
Мечты!..

XVI

Пройдут года, и с ними я уйду,
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,
и после, может быть, потомок любопытный,
стихи безбурные внимательно прочтя,
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!

АНГЕЛЫ

О лучезарных запою,
лазурь на звуки разбивая...
Блистает лестница в раю,
потоком с облака спадая.
О, дуновенье вечных сил!
На бесконечные ступени
текут волнующихся крыл
цветные, выпуклые тени.

Проходят ангелы в лучах.
Сияют радостные лики,
сияют ноги, и в очах
Бог отражается великий.
Струится солнце им вослед;
и ослепителен и сладок —
над ступенями — свежий свет
пересекающихся радуг...

I
СЕРАФИМЫ

Из пламени Господь их сотворил, и встали
они вокруг Него, запели, заблистали
и, — ослепленные сияньем Божества, —
расправили крыла и заслонились ими,
и очи вспыхнули слезами огневыми.
«Бог — лучезарная, безмерная Любовь!» —
шестикрылатые запели Серафимы;
метнулись, трепеща, приблизились и вновь
откинулись, огнем божественным палимы;
и слезы райские из ангельских очей
свободно полились, блеснув еще светлей...
Одне на небесах остались, и звездами
их люди назвали. Оне горят над нами,
как знаки Вечности... Другие — с высоты
упали в этот мир, и на земле их много:
живые отблески небесной красоты,
хвала, предчувствие сияющего Бога,
и пламенной любви блаженная тревога,
и вдохновенья жар, и юности мечты.

II
ХЕРУВИМЫ

Они над твердью голубой, —
покрыв простертыми крылами
Зерцало Тайн, — перед собой
глядят недвижными очами,
и созерцают без конца
глубокую премудрость Бога;

и, содрогаясь вкруг Творца
и нагибаясь, шепчут строго
друг другу тихое: «Молчи!» —
и в сумрак вечности вникают,
где жизней тонкие лучи
из мира в мир перелетают,
где загораются они
под трепетными небесами,
как в ночь пасхальную огни
свеч, наклонившихся во храме.
И бытие, и небосвод,
и мысль над мыслями людскими,
и смерти сумрачный приход —
все им понятно. Перед ними,
как вереницы облаков,
плывут, над безднами творенья,
плывут расчисленных миров
запечатленные виденья.

III
ПРЕСТОЛЫ

Стоял он на скале высокой, заостренной...
В широкой утопала мгле
земля далекая. Стоял он на скале,
весь солнцем озаренный.

От золотых вершин равнину заслонив,
клубились тучи грозовые,
и только вдалеке сквозь волны их седые
чуть вспыхивал залив.

И на горе он пел, задумчиво-прекрасный,
и видел под собой грозу, —
извивы молнии, сверкнувшие внизу, —
и слышал гром неясный.

За тучей туча вдаль торжественно текла.
Из трещин вылетели с шумом
и пронеслись дугой над сумраком угрюмым
два царственных орла.

Густая пелена внезапно встрепенулась,
и в ней блеснул просвет косой.
Прорвал он облака. Волшебно пред горой
равнина развернулась.

И рощи темные, и светлые поля,
и рек изгибы и слиянья,
и радуги садов, и тени, и сиянья, —
вся Божия земля!

И ясно вдалеке виднелась ширь морская,
простор зеркально-голубой.
И звучно ангел пел, из мира в край иной
неспешно улетая.

И песнь растаяла в блуждающих лучах,
наполнила все мирозданье.
Величие Творца и красоту созданья
он славил в небесах...

IV
ГОСПОДСТВА

Заботлива божественная мощь.
Ей радостный дивится небожитель.
Оберегает мудро Промыслитель
волну морей и каждый листик рощ.

Земных существ невидимый Хранитель,
послушных бурь величественный Вождь, —
от молнии спасает Он обитель
и на поля ниспосылает дождь.

И ангелы глядят, как зреет нива,
как луг цветет. Когда ж нетерпеливо
мы предаемся гибельным страстям,

и поздняя объемлет нас тревога, —
слетает в мир посланник чуткий Бога
и небеса указывает нам.

V
СИЛЫ

Поведал ангел мне:
порочная жена
для ветреных утех покинула супруга,
и вскоре умер он, — жестокого недуга
недолгий, кроткий раб...
Из-за морей она,
вину свою познав, тревожно возвратилась;
прощенья жаждала и только прах нашла...
Ночь беспросветная, печали ночь сошла.
Вдова бессонная рыдала и молилась,
томима памятью блистательных грехов,
и медленно брела по дому. Звон шагов,
скрип половиц гнилых в покоях одиноких —
все было как упрек; и слезы без конца
лились и сердце жгли. Исчез с ее лица
румянец радостный. В ее мольбах глубоких,
в дрожанье сжатых рук смерть ранняя была.
Тускнели впалые, заплаканные очи, —
но скорбная душа ответа все ждала.
Воистину она раскаялась в те ночи!
И это видел Бог, и Он меня призвал
и чудо совершить позволил:
я из рая
спустился в некий сад, могилу отыскал,
как вихорь пролетел над гробовым крестом,
и сила дивная, мне данная Творцом,
вдохнула снова жизнь в безóбразное тело...
Земля растрескалась. Могила опустела.
Передо мной стоял недавний труп, — теперь —
широкоплечий муж; и я, взмахнув крылами:
«Иди!» — сказал ему, и твердыми шагами
он к дому подошел, раскрыл бесшумно дверь,
вошел — как некогда — высокий, тихий стройный,
благословил ее, в чело поцеловал —
и вновь ушел во мрак с улыбкою спокойной.

VI
ВЛАСТИ

Чу! Крыльев шум... и слуги сатаны
рассеялись пред ангелами Власти.
И в нас самих, как бурей, сметены
виденья зла, виденья темной страсти.
Шум крыльев, клик... Летят они, трубя,
могучие, багряно-огневые.
Стремясь, гремят их песни грозовые.
Летят они, все грешное губя.
Спускаются; неправых строго судят,
и перед ними падаем мы ниц.
Они блестят, как множество зарниц,
они трубят и души сонных будят.
Открыло им закон свой Божество, —
Царь над царями грозно величавый,
и в отблеске Его безмерной славы,
шумя, кружатся ангелы Его.

VII
НАЧАЛА

На чьем плече, как голубь, спит луна,
и чья ладонь — под облаком румяным?
Кем ставится стеклянная стена
перед волной, на берегу песчаном?

Гул наших струн, и жизни каждый вздох,
и бред земли — кто, кроме смертных, слышит?
Вот — ночь, вот — день; скажи, кто там колышет
кадило зорь? — Я вижу четырех:

на четырех цветных вершинах горных
они стоят, и ты не знаешь, чей
прекрасней лик, и тысячи очей
горят у них на крыльях нежно-черных.

Один — всю твердь, как чашу, поднимает;
отхлынуть тот велит волнам морским;
один — земле взывающей внимает;
тот — властвует над пламенем благим.

VIII
АРХАНГЕЛЫ

Поставь на правый путь! Сомнения развей...
Ночь давит над землей, и ночь — в душе моей.
Поставь на правый путь.

И страшно мне уснуть, и бодрствовать невмочь.
Небытия намек я чую в эту ночь.
И страшно мне уснуть.

Я верю, — ты придешь, наставник неземной;
на миг, на краткий миг восстанешь предо мной.
Я верю, ты придешь!

Ты знаешь мира ложь, бессилье, сумрак наш,
невидимого мне попутчика ты дашь.
Ты знаешь мира ложь.

И вот подходишь ты. Немею и дрожу,
Движенье верное руки твоей слежу.
И вот отходишь ты.

Средь чуждой темноты я вижу путь прямой.
О дух пророческий, ты говоришь, он — мой?
Средь чуждой темноты...

Но я боюсь идти: могу свернуть, упасть.
И льстива и страшна ночного беса власть.
О, я боюсь идти...

«Не бойся: по пути ты не один пойдешь.
Не будешь ты один и если соскользнешь
с высокого пути...»

29 сентября (12 окт.) 1918

IX
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

В часы полуночи унылой
отчетливее сердца стук,
и ближе спутник яснокрылый,
мой огорченный, кроткий друг.

Он приближается, но вскоре
я забываюсь, и во сне
я вижу бурю, вижу море
и дев, смеющихся на дне.

Земного, темного неверья
он знает бездны и грустит,
и светлые роняет перья,
и робко в душу мне глядит.

И веет, крылья опуская,
очарованьем тишины,
и тихо дышит, разгоняя
мои кощунственные сны...

И я, проснувшись, ненавижу
губительную жизнь мою;
тень отлетающую вижу
и вижу за окном зарю.

И падают лучи дневные...
От них вся комната светла:
они ведь — перья золотые
с его незримого крыла.

КРЫМ

Назло неистовым тревогам
ты, дикий и душистый край,
как роза, данная мне Богом,
во храме памяти сверкай.
Тебя покинул я во мраке:
качаясь, огненные знаки
в туманном небе спор вели
над гулом берегов коварных.
Кругом на столбиках янтарных
стояли в бухте корабли.
В краю неласковом скучая,
все помню, — плавные поля,
пучки густые молочая,
вкус теплых ягод кизиля.

Я любовался мотыльками
степными — с красными глазками
на темных крылышках... Текла
от тени к тени золотистой,
подобна музыке волнистой,
неизъяснимая Яйла!

О, тиховейные долины,
полдневный трепет над травой,
и холм — залет перепелиный...
О, странный отблеск меловой
расщелин древних, где у края
цветут пионы, обагряя
чертополоха чешую,
и лиловеет орхидея...
О, рощи буковые, где я
подслушал, Пан, свирель твою!

Воображаю грань крутую
и прихотливую Яйлы, —
и там — таинственную тую,
а у подножия скалы —
сосновый лес... С вершины острой
так ясно виден берег пестрый, —
хоть наклонись да подбери.
Там я не раз, весною дальной,
встречал, как счастье, луч начальный
и ветер сладостный зари...

Там — ночью звездной — я порою
о крыльях грезил... Вдалеке,
меж гулким морем и горою,
огни в знакомом городке,
как горсть алмазных ожерелий,
небрежно брошенных, горели
сквозь дымку зыбкую, и шум
далеких волн и шорох бора
мне посылали без разбора
за роем рой нестройных дум!

Любил я странствовать по Крыму...
Бахчисарая тополя

встают навстречу пилигриму,
слегка верхами шевеля.
В кофейне маленькой, туманной
эстампы английские странно
со стен засаленных глядят.
Лет полтораста им — и боле:
бои былые — тучи, поле,
и куртки красные солдат.

И посетил я по дороге
чертог увядший. Лунный луч
белел на каменном пороге.
В сенях воздушных капал ключ
очарованья, ключ печали,
и сказки вечные журчали
в ночной прозрачной тишине,
и звезды сыпались над садом.
Вдруг, Пушкин встал со мною рядом
и ясно улыбнулся мне...

О, греза, — где мы не бродили!
Дни чередились, как стихи...
Баюкал ветер, а будили,
в цветущих селах, петухи.
Я видел мертвый город: — ямы
былых темниц, глухие храмы,
безмолвный холм Чуфуткалэ...
Небес я видел блеск блаженный,
кремнистый путь, и скит смиренный,
и кельи древние в скале.

На перевале отдаленном,
приют старик полуслепой
мне предложил с поклоном сонным.
Я утомлен был... Над тропой
сгущались душные потемки.
В плечо мне врезался котомки
линючий, узкий ремешок.
К тому ж, над лысиною горной,
повисла туча, словно черный
разбухший, бархатный мешок.

И тучу, полную жемчужин,
проткнула с хохотом гроза, —
и был уютен малый ужин
в татарской хижине: буза,
черешни, пресный сыр овечий.
Темнело. Тающие свечи
на круглом низеньком столе,
покрытом пестрой скатеркой, —
мерцали ласково и кротко
в пахучей, теплой полумгле.

И синим утром я обратно
спустился к морю по пятам
своей же тени. Неопрятно
цвели на кручах, тут и там,
деревья тусклые Иуды.
На камнях млели изумруды
дремотных ящериц. Тропа
вилась меж садиков веселых.
Пел ручеек. На частоколах
белели козьи черепа.

О заколдованный, о дальний
воспоминаний уголок!
Внизу, над морем, цвет миндальный,
как нежно-розовый дымок,
и за поляною поляна,
и кедры мощные Ливана —
аллей пленительная мгла
(любовь любви моей туманной!),
и кипарис благоуханный,
и восковая мушмула...

Меня те рощи позабыли...
В душе остался мне от них
лишь тонкий слой цветочной пыли...
К закату листья дум моих
при первом ветре обратятся, —
но если Богом мне простятся
мечты ночей, ошибки дня
и буду я в раю небесном, —
он чем-то издавна известным
повеет, верно, на меня!

Лондон

СОН НА АКРОПОЛЕ

Я эти сны люблю и ненавижу.
Ты знаешь ли их странную игру?
На миг один, как стая птиц роскошных,
в действительность ворвется вдруг былое
и вкруг тебя, сверкая, закружится
и улетит, всю душу взволновав.

Я в первый раз Акрополь посещал...
Убогий грек со стразом на мизинце,
все добросовестно мне объясняя,
вводил меня в разрушенные храмы
своих непостижимых предков.
Маки
алели меж камней; и мимолетно
подумал я, что мраморные глыбы,
усеянные маками, похожи
на мертвецов с пурпурными устами...

Мы миновали желтые колонны
и с вышины увидели окрестность.
Взглянул я вниз, и чудо совершилось...
То южное ли солнце подшутило
над северной, тоскующей душой,
иль слишком жадные глаза поэта
мучительно и чудно обманулись —
не ведаю... Но вдруг исчезли горы,
гладь синяя мерцающего моря
в цветущую равнину превратилась:
ромашек золотистые сердца
и вдовий цвет, лиловый и пушистый,
и колокольчики — я различал
в траве густой, лоснящейся на солнце...

Преобразились белые Афины.
Передо мной — знакомое село:
все — сизые, полуслепые избы,
кабак с зеленой вывеской, часовня,
да мальчики, играющие в бабки,
да жалобно мычащая корова,
да пьяница, и пьяный русский ветер,
вздувающий рубашку на спине...

А там вдали, меж полем и деревней,
я вижу лес, — как молодость, веселый,
березовый, бледно-зеленый лес,
и просветы тропинок своенравных...
Как хочется предаться их извивам,
блуждать, мечтать, срывать кору с берез
и обнимать янтарный, влажный ствол —
льнуть, льнуть к нему и грудью и губами
и кровь его медовую впивать!
Все вижу: блеск песчинки на тропе,
и труп крота близ горки чернозема,
и пестрого жука на черной шкурке...

А сам я (о, как сладко-совершенно
мне это чудилось!) — я сам стою
на деревенском кладбище, где дышит
так пряно тень черемухи склоненной,
где меж могил алеет земляника,
где сыплются ольховые сережки
на старые, горбатые кресты...

И нехотя очнулся я, и голос
поскрипывал, прилежно рассуждая
о стройности дорических колонн
и о былых властительных богинях.
Что мне до них? Я видел сон иной.

День увядал. Внизу горели окна.
На запад шли оранжевые тучи.
«Благодарю», — промолвил я поспешно,
и на ладонь услужливого грека
упало несколько монет дырявых.

Так — за мечту платил я серебром...

Афины

СТРАНСТВИЯ

Ты много странствовал. Рассказ холодный твой
я ныне слушаю не с завистью живой,
а с чувством сложного, глухого сожаленья.
Мне горько за тебя. Скитался долго ты;
везде вокруг себя единой красоты

разнообразные ты видел проявленья,
и многих городов в записках путевых
тобой приведены звенящие названья.
Но ты не испытал тоски очарованья.
На желтом мраморе святилищ вековых,
на крыльях пестрых птиц, роскошных насекомых
узор ты примечал, не чуя Божества;
стыдливой музыке наречий незнакомых
с улыбкой ты внимал, а выучил слова
приветствий утренних, вечерних пожеланий;
в пустынях, в городах иль ночью на поляне,
сияющей в лесу, как озеро, — о нет! —
не содрогался ты, внезапно потрясенный
сознаньем бытия... И через много лет
ты возвращаешься, — но смотришь изумленно,
когда я говорю, что сладостно потом
о странствиях мечтать, о прошлом золотом,
и вдруг припоминать, в тревоге, в умиленье
мучительном, — не то, что знать бы всякий мог,
а мелочь дивную, оттенок, миг, намек, —
звезду над деревом да песню в отдаленье.

* * *

Над землею стоит голубеющий пар.
Почки лип озарили аллею;
и с нелепою песенкой первый комар
мне щекочет настойчиво шею...

И тоску по иной, сочно-черной весне —
вдохновенное воспоминанье, —
ах, какую тоску! — пробуждает во мне
комариное это жужжанье...

FOOTBALL

Я видел, за тобой шел юноша, похожий
на многих; знал я все: походку, трубку, смех...
Да и таких, как ты, немало ведь, — и что же,
люблю по-разному их всех.

Вы проходили там, где дружественно-рьяно
играли мы, кружась под зимней синевой.
Отрадная игра! Широкая поляна;
пестрят рубашки; мяч живой

то мечется в ногах, как молния кривая,
то — выстрела звучней — взвивается, и вот
подпрыгиваю я, с размаху прерывая
его стремительный полет!

Увидя мой удар уверенно-умелый,
спросила ты, следя вращающийся мяч:
«Знаком ли он тебе, — вон тот в фуфайке белой,
худой, лохматый, как скрипач?»

Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,
и, трубку пососав, заметил мимоходом,
что я — приятный человек.

И дальше вы пошли. Туманясь, удалился
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг
последовал, дымя, потом остановился
и трубку стукнул об каблук.

А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы,
что вот один из тех беспечных игроков,
в молчанье, по ночам, творит, — неторопливый, —
созвучья для иных веков.

26 февраля 1920
Cambridge

* * *

Безвозвратная, вечно-родная, —
эти слезы, чуть слышно звенящие,
проливал я, тебя вспоминая!
Поглядел я на звезды, горящие,
как высокие, скорбные мысли,
и лучи удлинились колючие,
ослепили меня, и повисли
на ресницах жемчужины жгучие.

О, стекайте по тайным морщинам,
слезы яркие, слезы тяжелые!
Над минувшим, над счастьем единым —
разгорайтесь, лучи невеселые...
Все ушло, все дороги смешались,
разлюбил я напевы искусные...
Только звезды у сердца остались,
только звезды, большие и грустные...

ДВИЖЕНЬЕ

Искусственное тел передвиженье —
вот разума древнейшая любовь,
и в этом жадно ищет отраженья
под кожею кружащаяся кровь.

Чу! По мосту над бешеною бездной
чудовище с зарницей на хребте,
как бы грозой неистово-железной
проносится в гремящей темноте!

И чуя, как добычу, берег дальний —
стоокие — по морокам морей
плывут и плещут музыкою бальной
чертоги исполинских кораблей!

Наклон, оправданное вычисленье,
да четкий, повторяющийся взрыв —
и вот оно, Дедала сновиденье,
взлетает, крылья струнные раскрыв!

9 марта 1920

ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ

Столбов однообразных, придорожных
фарфоровые бубенцы и шесть
гудящих струн.

Скользит за вестью весть, —
шум голосов бесчисленных, тревожных
и жалобных, скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги, —
ты, странник загорелый, босоногий,
замедли шаг и с ветром замирай,
внимая проплывающему пенью...

Гудит, гудит уныние равнин,
И каждый столб ложится длинной тенью,
и путь далек, и ты один...

11 мая 1920

КАШТАНЫ

Цветущие каштаны, словно храмы
открытые, сияют вдоль реки.
Их красоту задуют ветерки
задорные, но в этот вечер — самый
весенний из весенних вечеров —
они чудесней всех твоих даров,
незримый Зодчий! Кто-то тихо, чисто
в цветах звенит (кто — ангел или дрозд?),
и тени изумрудные слоистой
листвы и грозди розовые звезд
в воде отражены.
Я здесь, упрямый
юродивый, у паперти стою,
и чуда жду, и видят грусть мою
каштаны — восхитительные храмы...

* * *

Люблю в струящейся дремоте
сливаться с вечером, когда
вы смутно в памяти поете,
о потонувшие года!

Люблю я тайные кочевья...
Целую умерших, во сне.
Колосья, девушки, деревья —
навстречу тянутся ко мне.

Еще не дышит вдохновенье,
а мир обычного затих:

то неподвижное мгновенье —
уже не боль, еще не стих.

И полумысли, полузвуки
вплывают в дымчатый мой сон,
белея в сумерках, как руки
недорисованных Мадонн...

20 мая 1920

* * *

(Отрывок)

Твоих одежд воздушных я коснулся,
и мелкие посыпались цветы
из облака благоуханной ткани.
Стояли мы на белых ступенях,
в полдневный час, у моря, — и на юге,
сверкая, колебались корабли.
Спросила ты:
что на земле прекрасней
темно-лиловых лепестков фиалок,
разбросанных по мрамору? —
Твои
глаза, твои покорные глаза... —
я отвечал.
Потом мы побрели
вдоль берега, ладонями блуждая
по краю бледно-каменной ограды...
Синела даль. Ты слабо улыбалась,
любуясь парусами кораблей,
как будто вырезанными из солнца...

29 мая 1920

РОМАНС

И на берег весенний пришли мы назад
сквозь туман исступленных растений.
По сырому песку перед нами скользят
наши узкие черные тени.

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне, —
а над морем, над золотоглазым,
кипарисы на склонах струятся к луне, —
и внимаю я райским рассказам.

Отражаясь в воде, колокольчики звезд
непонятно звенят, — а над морем
повисает горящий, змеящийся мост —
и, как дети, о прошлом мы спорим.

Вспоминаем порывы разбрызганных дней...
Это больно, и это не нужно...
Мы идем, и следы наших голых ступней
заполняются влагой жемчужной.

8 июня 1920

ЛАСТОЧКИ

Инок ласковый, мы реем
над твоим монастырем,
и над озером, горящим
синеватым серебром.

Завтра, милый, улетаем, —
утром сонным в сентябре.
В Цареграде — на закате,
в Назарете — на заре.

Но на север мы в апреле
возвращаемся, и вот —
ты срываешь, инок тонкий,
первый ландыш у ворот;

и, не понимая птичьих
маленьких и звонких слов, —
ты нас видишь над крестами
бирюзовых куполов.

10 июня 1920

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Час задумчивый строгого ужина...
Предсказанья измен и разлуки...
Озаряет ночная жемчужина
олеандровые лепестки.

Наклонился апостол к апостолу...
У Христа — серебристые руки.
Ясно молятся свечи, и по столу
ночные ползут мотыльки.

12 июня 1920

* * *

E. L.

Она давно ушла, она давно забыла...
Ее задумчивость любил я... Это было
в апреле лет моих, в прелестные лета,
на севере земли... Печаль и чистота
сливались в музыку воздушную, в созвучья
нерукотворные, когда, раздвинув сучья,
отяжелевшие от желтых звезд и пчел,
она меня звала. Я с нею перечел
все сказки юности, туманные, как ивы
над серым озером, на скатах, где, тоскливый,
играл я лютикам на лютне, под луной...
Ее задумчивость любил я. Надо мной
она как облако склонялась золотое,
о чем-то сетуя и в счастие простое
уверовать боясь. Ее полуобняв,
рассказывал я сны. Тогда, глаза подняв
(и лучезарная в них осень улыбалась),
она глядела вдаль; и плавно колебалась
тень ивовой листвы на платье, на плечах
ее девических, а волосы в лучах
горели призрачно... и все так странно было...
Она давно ушла, она давно забыла...

* * *

М. Ш.

Я видел, ты витала меж алмазных
стволов и черных листьев, под луной;
воздушно выбегала из бессвязных
узоров сумрака на луг лесной.

Твое круженье было молчаливо,
как ночь, и вдохновенно — как любовь...
Руками всплескивала, и тоскливо
склонялась ты, и улетала вновь.

И волосы твои струились, ноги
стремительно сияли, и луна
в глазах плясала... Любовались боги
лесные, любовалась тишина...

А жизнь, а жизнь, распутывая тени,
к тебе тянулась, бредила, звала, —
но пеньем согласованных движений
ты властно заколдована была...

* * *

Кто меня повезет,
по ухабам, домой —
мимо сизых болот
и струящихся нив?
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?
Кто откроет мне дверь?
Кто заплачет в сенях?
А теперь — вот теперь —
есть ли там кто-нибудь,
кто почуял бы вдруг,
что в далеком краю
я брожу и пою,
под луной, о былом? —

8 августа 1920
Берлин

ПАВЛИНЫ

Павы ходили, перье ронили,
а за павами красная Панна,
Панна Марыя перье зберала,
веночек вила.
(*Стих пинских калик перехожих*)

Видели мы — нищие, как Мария Дева
проходила мимо округлого дворца;
словно отголосок нездешнего напева —
веяло сиянье от тонкого лица.

Облаков полдневных, бесшумно-своенравных,
в синеве глубокой дробилось серебро.
Из-под пальмы выплыли три павлина плавных,
и роняли перья, и каждое перо —

то в тени блестящее, то — на солнце сонном
легкое, зеленое, с бархатным глазком,
темною лазурью волшебно окаймленным, —
падало на мрамор изогнутым цветком.

Видели мы — нищие, — как с улыбкой чудной
Дева Несравненная перья подняла
и венок мерцающий, синий, изумрудный,
для Христа-ребенка в раздумии сплела.

В РАЮ

Здравствуй, смерть! И спутник крылатый,
объясняя, в рай уведет —
но, внезапно, зеленый, зубчатый,
нежный лес предо мною мелькнет!

И, немой, в лучистой одежде,
я рванусь — и в чаще найду
прежний дом мой земной, и, как прежде,
дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской
в голубом окошке моем,

да диван из березы карельской,
да семья мотыльков под стеклом!

Буду снова земным поэтом:
на столе открыта тетрадь...
Если Богу расскажут об этом,
Он не станет меня укорять...

13 августа 1920

* * *

Мерцательные тикают пружинки,
и осыпаются календари.
Кружатся то стрекозы, то снежинки,
и от зари недолго до зари.

Но в темном переулке жизни милой,
как в городке на берегу морском,
есть некий гул: он дышит смутной силой;
он ширится; он с детства мне знаком.

И, ночью, перезвоном волн да кликом
струн, дальних струн, неисчислимых струн,
взволнован мрак, — и в трепете великом
встаю на зов — доверчив, светел, юн...

Как чувствуешь чужой души участье —
я чувствую, что ночи звезд полны; —
а жизнь летит; горит и гаснет счастье,
и от весны недолго до весны.

14 августа 1921

ЛЕС

Дорога в темноте печалится лесная,
о давних путниках как будто вспоминая —
о бледном беглеце, о девушке хромой...
Улыбка вечера под низкой бахромой

туманно-гладких туч алеет сквозь ольшаник...
Иди себе да пой, упорный Божий странник;
к тебе навстречу ночь медлительно летит;
все глуше под листвой дорога шелестит,
истлевшую красу вбирая все покорней,
и всюду расползлись уродливые корни,
как мысли черные чудовищной души...
Лес жаден, ночь слепа, ночлег далек; спеши!
Чу! Ветер или зверь? Не ведаешь... То справа,
в тумане меж стволов, пустынно-величава,
распустится луна, то слева, из листвы
тропинка выбежит, — и жуткий гук совы
проснется в глубине, как всплеск на дне колодца.
Порою же мелькнут над отблеском болотца
семь-восемь сосенок причудливой чредой;
в луче ты различишь цветов пушок седой
да ягоды глухой, дремотной голубицы.
Пройдешь, заденешь ветвь, — и плач незримой птицы
вновь скатится, замрет, и длительный двойник
ответит издали...

Да, сказочен твой лик,
да, чуден ропот твой, о хмурый, о родимый!
Под тучами листвы звучат неутомимо —
от вешних сумерек до пасмурной зари —
лесные голоса; поди же разбери,
что́ клич разбойничий, что́ посвист соловьиный!
Все отзвуки земли слились в напев единый,
и ветер мечется, и, ужаса полна,
под каждой веткою свивается луна...

Так ночью бредит лес, — величественно-черный,
и лютый, и родной... О, путник, ты, упорной
да ровной поступью, да с песнями, — иди,
пока в нечаянном просвете, впереди,
не развернется даль полей — еще лиловых
в тот свежий, юный час. О странствиях суровых
тогда забудешь ты. За полем вспыхнет день
на крышах; имена оврагов, деревень
чирикнут в памяти, простые, дорогие....

И это вещий путь, и это — ты, Россия!

ВОЗВРАЩЕНЬЕ

Я всем вам говорю, о странники! Нежданный,
глубокий благовест прольется над туманной
землей, и, полный птиц, волнистый встанет лес.
Черемухой пахнет из влажного оврага,
и ветру вешнему неведомый бродяга
ответит радостно: воистину воскрес!
В полях, на площадях, в толпе иноплеменной,
бессонного кропит, — да, где бы ни был он, —
как тот, кто средь пустой беседы вдруг приметит
любимый лик в окне, — так встанет он и встретит
свой день, свет ласковый и свежий, свет и звон...
И будет радостно и страшно возвращенье!
Могилы голые найдем мы, разрушенье...
Неузнаваемы дороги; все смела
гроза глумливая; пустынен край, печален...
О чудо! Средь глухих дымящихся развалин,
раскрывшись, радуга пугливая легла...
И строить мы начнем; и сердце будет строго,
и ясен будет ум... Да, мучились мы много!
Нас обнимала ночь, как плачущая мать,
и зори над землей печальные лучились,
и в дальних городах мы, странники, учились
отчизну чистую любить и понимать.

Cambridge

ПОЭТ

Он знал: отрада и тревога
и все, что зримо на земле, —
все только бред и прихоть Бога,
туман дыханья на стекле!

Но от забвенья до забвенья
ему был мир безмерно мил,
и зной бессменный вдохновенья
звуковаятеля томил.

На крыльях чудного недуга
летя вдоль будничных дорог,

дружил он с многими, но друга
иметь он, огненный, не мог!

И в час сладчайший, час напрасный,
коснувшись бледных тайн твоих,
в долине лилий сладострастной
он лишь сорвал душистый стих!

ОСЕНЬ

Вот листопад. Бесплотным перезвоном
сад окроплен. Свод легок и высок.
Клен отдает со вздохом и с поклоном
последний свой узорный образок.

И на листе огнистый ангел вышит,
и радужна меж грядок борозда,
и у крыльца стеклянного чуть дышит
сиротка-ель, как черная звезда.

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Дия, мой бледный цветок, поверь ты случайному другу!
Звезд непорочных полна мраморной просади глубь.
Муж твой не видит, вставай, уходит ты отсюда, молю я!
Дышит стоокая ткань, сердце амфоры горит;
ластятся к тучному богу блудницы, как легкие волны;
брови блаженно подняв, пьет он, чудовищный Вакх;
пьет он, и липкая влага, рыжую шерсть обагряя,
льется по жирной груди. Тут же, в сиянье цветном,
выпятив смуглый живот, пьяный мальчик, смеясь, орошает
смятый, упавший венок рдяных уродливых роз.
Песни. Бесстыдные стоны. Золотоногая дева
вьется средь томных гостей, вторя движеньям любви;
вот разбежался один, поймал на лету плясунью,
и покатился тимпан по полу, праздно звеня.
Дия, молю я, уйдем! Твой муж поседелый, беззубый,
спит, благодарно прильнув к вялому юноше... Встань,
выйдем мы в сад незаметно; там тихо, пустынно; грозди
лунного света и мглы пышно свисают с ветвей.

Сочная ночь над землей алмазным стоит вертоградом;
жажду полней утолит сладость холодная звезд.

Дия, мои корабли ожидают в недальнем заливе!
В край увезу я тебя стройный, как зодчего сон...
Горы там, горы одне! Вырезные, немые вершины,
гордо прорвав облака, внемлют бесплотным богам...
Будем мы там пировать в гостях у луны величавой,
рядом, на черной скале... Дия, мой бледный цветок...

Берлин

LAWN TENNIS

Юноша, белый и легкий, пестрым платком подпоясан;
ворот небрежно раскрыт, правый отвернут рукав.
Встал он, на гладком лугу, за черту, проведенную мелом,
голову поднял с улыбкой, мяч серебристый подкинул, —
выгнувшись, плавно взмахнул многострунной широкой
лаптою, —
миг — и со звуком тугим мяч отлетает, и бледной
молнией падает там, где стоит, ожидая, такой же
юноша, белый и легкий; миг — и со звуком ответным
мяч возвращается вновь через сетку, чуть вздутую ветром.
Мягкие синие тени бегут по траве озаренной.
Поодаль зыблется вяз. На ступени, у двери стеклянной,
лоснится лейка забытая. Дышат, блестят занавески.
В доме прохладно и пусто; а тут на упругой поляне
гонится ветер за солнцем, и будет до вечера длиться
легких мячей перезвон — юности белой игра...

БАБОЧКА

(Vanessa antiopa)

Бархатно-черная с теплым отливом сливы созревшей,
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой
сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
то припадая к коре, то обращаясь к лучам...

О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь:
голубоокая ночь в раме двух палевых зорь!
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи!
Трепет и смех и любовь юности вечной моей!
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье,
крылья узнаю твои, этот священный узор!

10 января 1921

ВЕЛОСИПЕДИСТ

Мне снились полевые дали,
дороги белой полоса,
руль низкий, быстрые педали,
два серебристых колеса.

Восторг мне снился, буйно-юный,
и упоенье быстроты,
и меж столбов стальные струны,
и тень стремительной версты.

Поля, поля, — и над равниной
ворона тяжело летит.
Под узкой и упругой шиной
песок бежит и шелестит.

Деревня... Длинная канава...
Сирень цветущая вокруг
избушек серых... Слева, справа
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,
тот кличет тонким голоском,
и звонко собачонка лает,
вертясь пред зыбким колесом...

И вновь поля, и голубеет
над ними чистый небосвод.
Я мчусь, и солнце спину греет,
и вот нежданно поворот.

Колеса косо пробегают,
не попадая в колею.

Деревья шумно обступают...
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,
чей вензель вырезан на ней.
Я мимо, мимо пролетаю,
и утихает шум ветвей...

13 сентября 1918

* * *

Вдохновенье — это сладострастье
человеческого «я»:
жарко возрастающее счастье, —
миг небытия.

Сладострастье — это вдохновенье
тела, чуткого, как дух:
ты прозрел, ты вспыхнул на мгновенье, —
в трепете потух.

Но когда услада грозовая
пронеслась и ты затих, —
в тайнике возникла жизнь живая:
сердце или стих...

Cologne

* * *

Обезьяну в сарафане
как-то ряженый привел;
вперевалку подбежала,
мягко вспрыгнула на стол.

Села (бисерные глазки,
гнусно выпученный рот...); —
с человеческой ужимкой
книгу чудище берет;

книгу песен, книгу неги....
А она-то лапой хвать! —

вмиг обнюхала страницы
и давай их вырывать!

Пальцы рыжие топырит;
молчаливо, с быстротой
деловитою, кромсает
сердце книги золотой...

* * *

Карлик безрукий во фраке,
глупый, неловкий пингвин,
помнишь сиянье во мраке,
синие выступы льдин?

Помнишь зарницы ночные,
кольца и складки огня?
Помнишь туманы седые
длинного, длинного дня?

Грустная птица, смешная,
глядя на нас, на людей,
плачешь ли ты, вспоминая
ласковых, черных моржей?

Помнишь ли птицу-подругу,
встречи на высшей скале,
вьюгу, волшебную вьюгу,
снежные вихри во мгле...

Ах, эти встречи! А ныне:
душный, искусственный грот,
имя твое по-латыни,
пятиалтынный за вход...

ИТАЛЬЯНКЕ

К тебе, в минувшее, к иной, чудесной доле,
душа моя плывет в зазубристой гондоле;
осталось горе за кормой.

Я рад, что до конца молчали мы упрямо,
что в пышный, страшный сад не вышли мы из храма
любви глубокой и немой:
на каменных устах прекрасного былого
улыбкою горит несказанное слово,
невоплощенная мечта, —
как световой двойник стоцветной, вечной зыби,
дрожащий, над водой, на внутреннем изгибе
венецианского моста...

НА ГОЛГОФЕ

Восходит благовоние сырое
со дна долин, и в небе, над холмом,
на трех крестах во мгле белеют трое...
Там женщина, в унынии немом,
на среднего, на черную вершину
глядит, глядит... Провидеть ей дано,
что в горький час ее земному сыну
всего живей воспомнилось одно...
Да, — с умиленьем сладостным и острым
(колени сжав, лицо склонив во мглу...),
он вспомнил домик в переулке пестром,
и голубей, и стружки на полу.

* * *

Блаженство мое, облака и блестящие воды
и все, что пригоршнями Бог мне дает!
Волнуясь, душа погружается в душу природы,
и розою рдеет, и птицей поет!

Купаюсь я в красках и звуках земли многоликой,
все яркое, стройное жадно любя.
Впитал я сиянье, омылся в лазури великой,
и вот, сладость мира, я славлю тебя!

Я чувствую брызги и музыку влаги студеной,
когда я под звездами в поле стою,
и в капле медвяной, в росинке прозрачно-зеленой
я Бога и мир и себя узнаю.

Заря ли, смеясь, восстает из смятенья цветного,
я к голой груди прижимаю ее...
Я — в яблоке пьяная моль, и мне рая иного
не надо, не надо, блаженство мое!

* * *

Я без слез не могу
тебя видеть, весна!
Вот стою на лугу
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,
зеленея, шурша...
Ах, откуда она,
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму;
только знаю одно:
если б иволга вдруг
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза
мокрый ландыш блеснул, —
в этот миг, на лугу,
я бы умер, весна...

1 апреля 1921

ДОМОЙ

На мызу, милые! Ямщик
вожжою овода прогонит,
и — с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик
и свеж и светел мир, омытый
недавним ливнем: благодать,
благоуханье... Что гадать?
Все ясно, ясно; мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый;

по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомый тинистой реки...
Скорее, милые! Рокочет
мост под копытами... скорей!..
И сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней...
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой,
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!..

БЕРЕЗЫ

Стволы сквозь легкое, зеленое сиянье
белеют, тонкие, и воздух освежен
грозой промчавшейся. Чуть слышный перезвон
дробится надо мной, чуть слышное журчанье;
и по невидимым качается волнам
трава, вся в теневых лиловых паутинах,
вся в ослепительных извилинах; а там,
меж светлых облаков роскошно-лебединых,
струится радуга и смутно с высоты
мне улыбается, в лазури влажной тая,
такая нежная, невинная, святая,
что умиленные склоняются листы,
роняя длинные, сверкающие слезы;
и это жизнь моя, и это край родной,
родная красота; и льется надо мной
сиянье легкое, зеленое, — березы...

ПОЭТЫ

Что ж! В годы грохота и смрада,
еще иссякнуть не успев,
журчит, о бледная отрада,
наш замирающий напев...

И, слабый, ласковый, ненужный,
он веет тонкою тоской,
как трепет бабочки жемчужной
в окне трескучей мастерской.

Так беспощаден гул окрестный,
людей так грубы города,
нам так невесело и тесно, —
что мы уходим навсегда...
И, горько сжав сухие губы,
глядим мы, падшие цари,
как черные дымятся трубы
средь перьев розовых зари.

BIOLOGY

Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни
все — красота. Искромсав осторожно липовый листик,
винт золотой верчу, пока не наметятся ясно
в круглом белом просвете святые зеленые соты;
или же сердцем живым распятой лягушки любуюсь:
сладостно рдеет оно, будто спелая, липкая вишня.
Режу, дроблю, вникаю; вижу сокрытые мышцы,
ветви несметных жил, и что вижу — мелками цветными
четко черчу на доске.

Сверкают стекла; невнятно
пахнет эфиром и прелью в комнате длинной и светлой.
Радостен тонкий труд, и радостно думать, что дома
ждет меня томик стихов и музой набитая трубка.

Cambridge

* * *

В. Ш.

Если ветер судьбы, ради шутки,
дохнув, забросит меня
в тот город желанный и жуткий,
где ты вянешь день ото дня, —

и если на улице яркой,
иль в гостях, у новых друзей,
или там, у дворца, под аркой,
средь лунных круглых теней, —

мы встретимся вновь — о, Боже,
как мы будем плакать тогда!
О том, что мы стали несхожи
за эти глухие года;

о юности, в юность влюбленной,
о великой ее мечте;
о том, что дома́ на Мильонной
на вид уж совсем не те.

29 апреля 1921

ХУДОЖНИК-НИЩИЙ

Нередко на углу, под серою стеной,
видал я нищего: безногий и больной,
он в красках выражал свой вымысел нехитрый.
Газетный лоскуток служил ему палитрой;
его дрожащая, багровая рука
писала тщательно цветы и облака
на плитах каменных. Вот кончил. Робким взглядом
прохожего зовет, сутулится, а рядом
мечтает о гроше зияющий картуз.

И вспомнил я свой дар, ненужных светлых муз,
недолговечные созвучья и виденья, —
когда на улице, средь гула и движенья
бесчувственных колес, не встретил я вчера
калеки моего... Да что! Как из ведра
бездонного, лил дождь, и каменные плиты
блестели холодно, и краски были смыты...

ОБЛАКА

I

На солнце зо́лотом сверкает дождь летучий,
озера в небесах синеют горячо,
и туча белая из-за лиловой тучи
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись... Роняют слезы рая
соцветья вешние, склонясь через плетень,
и на твоем лице играет их сырая,
благоухающая тень.

Не двигайся, молчи... Тень эту голубую
я поцелуями любовно обогну...
Цветы колышутся... я счастлив... Я целую
запечатленную весну.

II

Закатные люблю я облака:
над ровными, далекими лугами
они висят гроздистыми венками,
и даль горит, и молятся луга.

Я внемлю им. Душа моя строга,
овеяна безвестными веками:
с кудрявыми багряными богами
я рядом плыл в те вольные века.

Я облаком, в вечерний чистый час,
вставал, пылал, туманился и гас,
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.

Я облетал все зримое кругом,
блаженствовал и, помню, был влеком
жемчужной тенью, женственною тучей.

17 мая 1921

ПИР

Так лучезарна жизнь, и радостей так много!
От неба звездного чуть слышный веет звон:
бесчисленных гостей полны чертоги Бога;
в один из них я приглашен.

Как нищий я пришел; но дали мне у двери
одежды светлые, и распахнулся мир:
со стен расписанных глядят цветы и звери,
и звучен многолюдный пир.

Сижу я и дивлюсь... По временам бесшумно
дверь открывается в мерцающую тьму...
Порою хмурится сосед мой неразумный,
а я — я радуюсь всему,

и смоквам розовым, и сморщенным орехам,
и чаше бражистой, и дани желтых пчел;
и часто на меня со светлым, тихим смехом
Хозяин смотрит через стол...

22 мая 1921

БЕЛЫЙ РАЙ

Рай — широкая, пустая
оснеженная страна:
призрак неба голубого,
тишь и белизна...

Там над озером пушистым,
сладким холодом дыша,
светит леса молодого
белая душа...

Там блаженствовать я буду
в блеске сети ледяной,
пробираться, опьяненный
вечной белизной,

и стрелою из-под веток
вылетая на простор,
на лучистых, легких лыжах
реять с белых гор.

КОНИ

Гнедые, грузные, по зелени сырой
весенней пажити, под тусклыми дубами,
они чуть двигались и мягкими губами
вбирали сочные былинки, и зарей,
вечернею зарей полнеба розовело...

И показалось мне, что время обмертвело,
что вечно предо мной стояли эти три
чудовищных коня; и медные отливы
на гривах медлили, и были молчаливы
дубы священные, под крыльями зари...

26 мая 1921

ЗЕРКАЛО

Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной,
будто святыню, везли. Туча белелась на миг
в синем глубоком стекле, и по сини порою мелькала
ласточка черной стрелой... Было так чисто оно,
так чисто, что самые звуки, казалось, могли отразиться.
Мимо меня провезли этот осколок живой
вешнего неба, и там, на изгибе улицы дальнем,
солнце нырнуло в него: видел я огненный всплеск.

О, мое сердце прозрачное, так ведь и ты отражало
в дивные, давние дни солнце и тучи и птиц!
Зеркало ныне висит в сенях гостиницы пестрой;
люди проходят, спешат, смотрятся мельком в него.

НОЧЬ

Как только лунные протянутся лучи,
всплывает музыка в аллее...
О, серебристая, катись и рокочи,
все вдохновенней, все полнее!..

Порхает до зари незримая рука
по клавишам теней и света
и замедляется, ленива и легка...
Последний звук, — и ночь допета...

LA BELLE DAME SANS MERCI[1]

(Из John Keats)

«Ах, что мучит тебя, горемыка,
что ты, бледный, скитаешься тут?
Озерная поблекла осока,
и птицы давно не поют.

Ах, что мучит тебя, горемыка,
какою тоской ты сожжен?
Запаслась уже на зиму белка,
и по житницам хлеб развезен.

На челе твоем млеет лилея,
томима росой огневой;
на щеке твоей вижу я розу,
розу бледную, цвет неживой...»

Шла полем Прекрасная Дама,
чародейки неведомой дочь:
змеи — локоны, легкая поступь,
а в очах — одинокая ночь.

На коня моего незнакомку
посадил я, и, день заслоня,
она с чародейною песней
ко мне наклонялась с коня.

[1] Прекрасная Дама, не знающая жалости *(фр.)*.

Я сплел ей запястья и пояс
и венок из цветов полевых,
и ласкалась она, и стонала
так нежно в объятьях моих.

Находила мне сладкие зелья,
мед пчелиный и мед на цветке,
и, казалось, в любви уверяла
на странном своем языке.

И, вздыхая, меня увлекала
в свой приют между сказочных скал,
и там ее скорбные очи
поцелуями я закрывал.

И мы рядом на мху засыпали,
и мне сон померещился там...
Горе, горе! С тех пор я бессонно
брожу по холодным холмам;

королевичей, витязей бледных
я увидел, и, вечно скорбя,
все кричали: «Прекрасная Дама
без любви залучила тебя».

И алканье они предрекали,
и зияли уста их во тьме,
и я, содрогаясь, очнулся
на этом холодном холме.

Потому-то, унылый и бледный,
одиноко скитаюсь я тут,
хоть поблекла сырая осока
и птицы давно не поют.

ПЬЯНЫЙ РЫЦАРЬ

С тонким псом и смуглым кубком
жарко-рдяного вина,
ночью лунной, в замке деда
я загрезил у окна.

В длинном платье изумрудном,
вдоль дубравы на коне
в серых яблоках ты плавно
проскакала при луне.

Встал я, гончую окликнул,
вывел лучшего коня...
Рыскал, рыскал по дубраве,
спотыкаясь и звеня;

и всего-то только видел,
что под трефовой листвой
жемчуговые подковы,
оброненные луной...

4 июня 1921

* * *

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,
и вижу белую кувшинку на реке,
и реющих стрижей, и в сломанной купальне
стрекозку на доске.

Там, там встречались мы и весело оттуда
пускались странствовать по шепчущим лесам,
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,
блистая по листам.

Мы шарили во всех сокровищницах Божьих;
мы в ивовом кусте отыскивали с ней
то лаковых жучков, то гусениц, похожих
на шахматных коней.

И ведали мы все тропинки дорогие,
и всем березанькам давали имена,
и младшую из них мы назвали: Мария
святая Белизна...

О Боже! Я готов за вечными стенами
неисчислимые страданья восприять, —
но дай нам, дай нам вновь, под теми деревцами
хоть миг да постоять!.

4 июня 1921

ПЕРО

Зелененьким юрким внучатам
наказывал леший в бору:
«По черным ветвям по зубчатым
жар-птица порхнет ввечеру;

поймайте ее, лешеночки,
и клетку из лунных лучей
возьмите у ключницы-ночки,
да так, чтоб не видел кащей!

Далече от чащи брусничной
умчите добычу свою;
найдете вы домик кирпичный
в заморском, туманном краю.

Оставьте ее на пороге:
там кроткий изгнанник живет;
любил он лесные дороги
и вольный зеленый народ».

Так дедушка-леший на ели
шушукал, и вот ввечеру
как струны стволы зазвенели,
и что-то мелькнуло в бору;

маячило, билось, блестело...
Заохал, нахохлился дед:
«Родимые, знать, улетела
жар-птица из тонких тенет!»

Но утром, как пламя живое,
на пыльном пороге моем
лежало перо огневое
с цветным удлиненным глазком.

Ну что ж, — и за этот подарок
спасибо, лесные друзья!
Я беден, и день мой не ярок,
и как же обрадован я!

7 июня 1921

* * *

Мы столпились в туманной церковеньке;
вспоминали, молились и плакали,
как нечаянно двери бесшумные
распахнулись, и тенью лазоревой
ты вошла, о весна милосердная!
Разогнулись колена покорные,
прояснились глаза углубленные...
Что за чудо свершилось отрадное!

Заливаются птицы на клиросе,
плещут воды живые под сводами,
вдоль по ризам колеблются радуги,
и не свечи мы держим, а ландыши,
влажной зеленью веет, не ладаном,
и, расставя ладони лучистые,
окруженная сумраком сладостным,
на иконе Весна улыбается.

* * *

Моей матери

Людям ты скажешь: настало!
Завтра я в путь соберусь...
(Голуби. Двор постоялый.
Ржавая вывеска: Русь.)

Скажешь ты Богу: я дома!
(Кладбище. Мост. Поворот.)
Будет старик незнакомый —
вместо дубка, у ворот...

3 мая 1920

РУСЬ

Пока в тумане странных дней
еще грядущего не видно,
пока здесь говорят о ней
красноречиво и обидно, —

сторонкой, молча, проберусь
и, уповая неизменно,
мою неведомую Русь
пойду отыскивать смиренно —

по черным сказочным лесам,
вдоль рек, да по болотам сонным,
по темным пашням, к небесам
бесплодной грудью обращенным.

Так побываю я везде,
в деревню каждую войду я...
Где ж цель заветная, о где
непостижимую — найду я?

В лесу ли — сумраком глухим
сырого ельника сокрытой —
нагой, разбойником лихим
поруганною и убитой?

Иль поутру, в селе пустом, —
о жданная! — пройдешь ты мимо,
с улыбкой на лице простом
задумчиво-неуловимой?

Или старушкой встанешь ты,
и в голубой струе кадильной,
кладя дрожащие кресты,
к иконе припадешь бессильно?

Где ж просияет берег мой?
В чем угадаю лик любимый?
Русь! иль во мне, в душе самой
уж расцветаешь ты незримо?

ЖИЗНЬ

Шла мимо Жизнь; но ни лохмотий,
ни ран ее, ни пыльных ног
не видел я... Как бы в дремоте,
как бы сквозь душу звездной ночи, —
одно я только видеть мог:
ее ликующие очи
и губы, шепчущие: Бог!

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

СОЛНЦЕ

Слоняюсь переулками без цели,
прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели
и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье, —
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в поющем мире этом,
скользя плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
средь лепета латинского цикад!

19 августа 1923

ГОСТЬ

Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ, — душа все тот же улей
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая —
воспоминанье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья!
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья —
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает как живая
при убедительной луне,
в живой душе искусно вызывая
все то, что умерло во мне.

Но только с ней поникну в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она, —
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.

И, воскресив испанское сказанье, —
ох, тяжко из загробных стран —
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан!

Оно сожмет, торжественно, без слова,
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти былого
вдруг распахнутся предо мной.

Но не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво, —
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.

15 мая 1924

СВЯТКИ

Под окнами полозья
пропели, — и воскрес
на святочном морозе
серебряный мой лес.

Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.

Заплавает по тазу
дрожащий огонек.
Причаливает сразу
ореховый челнок.

И в зале, где блистает
под люстрою паркет,
пускай нам погадает
наш старенький сосед.

Все траурные пики
накладывает он
на лаковые лики
оранжевых бубен.

Ну что ж, моя Светлана?
Туманится твой взгляд...
Прелестного обмана
нам карты не сулят.

Сам худо я колдую,
а дедушка в гробу,
и нечего седую
допрашивать судьбу.

В смеркающемся блеске
все уплывает вдаль —
хрустальные подвески
и белая рояль.

И огонек плавучий
потух, — и ты исчез
за сумрачные тучи,
серебряный мой лес.

LA BONNE LORRAINE

Жгли англичане, жгли мою подругу,
на площади в Руане жгли ее.
Палач мне продал черную кольчугу,
клювастый шлем и мертвое копье.

Ты здесь, со мной, железная святая,
и мир с тех пор стал холоден и прост:
косая тень и лестница витая,
и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.

Моя свеча над ржавою резьбою
дрожит и каплет воском на ремни.
Мы, воины, летали за тобою,
в твои цвета окрашивая дни.

Но опускала ночь свое забрало, —
и, молча выскользнув из лат мужских,
ты, белая и слабая, сгорала
в объятьях верных рыцарей твоих.

6 сентября 1924

МАТЬ

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
подобно медленному змию.
И матери глядят, как под гору, в туман,
увещевающий уводит Иоанн
седую, страшную Марию.

Уложит спать ее, и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
ее рыданья и томленье...
Что, если у нее остался бы Христос,
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба в третий день виденье встретит жен,
вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты...

Мария, что тебе до бреда рыбарей?
Неосязаемо над горестью твоей
дни проплывают, — и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов, —
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
на солнцепеке, в Назарете...

ВЕСНА

Помчал на дачу паровоз.
Толпою легкой, оробелой
стволы взбегают на откос.
Дым засквозил волною белой
в апрельской пестроте берез.
В вагоне бархатный диванчик —
еще без летнего чехла.
У рельс на желтый одуванчик
садится первая пчела.

Где был сугроб, теперь — дырявый,
продолговатый островок
вдоль зеленеющей канавы:
покрылся копотью, размок
весною пахнущий снежок.

В усадьбе — сумерки и стужа.
В саду, на радость голубям,
блистает облачная лужа.
По старой крыше, по столбам,
по водосточному колену —
помазать наново пора
зеленой краской из ведра —
ложится весело на стену
тень лестницы и маляра.

Верхи берез в лазури свежей,
усадьба, солнечные дни —
все образы одни и те же,
все совершеннее они.
Вдали от ропота изгнанья
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши.
Бессмертно все, что невозвратно,
и в этой вечности обратной —
блаженство гордое души.

2 мая 1925

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Когда весеннее мечтанье
влечет в синеющую мглу,
мне назначается свиданье
под тем каштаном на углу.

Его цветущая громада
туманно звездами сквозит.
Под нею — черная ограда,
и ящик спереди прибит.

Я приникаю к самой щели,
ловлю волнующийся гам,
как будто звучно закипели
все письма, спрятанные там.

Еще листов не развернули,
еще никто их не прочел...
Гуди, гуди, железный улей,
почтовый ящик, полный пчел.

Над этим трепетом и звоном
каштан раскидывает кров,
и сладко в сумраке зеленом
сияют факелы цветов.

1925

КРУШЕНИЕ

В поля, под сумеречным сводом,
сквозь опрокинувшийся дым
прошли вагоны полным ходом
за паровозом огневым:

багажный — запертый, зловещий,
где сундуки на сундуках,
где обезумевшие вещи,
проснувшись, бухают впотьмах, —

и четырех вагонов спальных
фанерой выложенный ряд,
и окна в молниях зеркальных
чредою беглою горят.

Там штору кожаную спустит
дремота, рано подоспев;
и чутко в стукотне и хрусте
отыщет правильный напев.

И кто не спит, тот глаз не сводит
с туманных впадин потолка,
где под сквозящей лампой ходит
кисть задвижного колпака.

Такая малость — винт некрепкий, —
и вдруг, под самой головой,
чугун бегущий, обод цепкий
соскочит с рельсы роковой...

И вот — по всей ночной равнине
стучит, как сердце, телеграф,
и люди мчатся на дрезине,
во мраке факелы подняв.

Такая жалость... Ночь росиста,
а тут — обломки, пламя, стон...
Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь — страшный сон...

Там, завывая на изгибе,
стремилось сонмище колес,
и двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,
смеясь переставлял рычаг;
сияя перистым пожаром,
в летучий вглядывался мрак.

Второй же — кочегар крылатый —
стальною чешуей блистал,
и уголь черною лопатой
он в жар без устали метал.

ТЕНЬ

К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блистали трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.

На площадь, убранную странно,
мы все глядели — синий мрак,
собор святого Иоанна
и сотня пестрая зевак.

Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.

И в вышине, перед старинным
собором, на тугой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.

Курантов звон, который длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.

Стена соборная щербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.

Все выше, над резьбой портала,
где в нише — статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.

И вдруг над башней с циферблатом,
ночною схвачен синевой,
исчез он с трепетом крылатым —
прелестный облик теневой!

И снова заиграли трубы, —
меж тем как, потен и тяжел,
в погасших блестках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.

3 сентября 1925

ПРОХОЖИЙ С ЕЛКОЙ

На белой площади поэт
запечатлел твой силуэт.

Домой, в непраздничный мороз,
ты елку черную понес.

Пальто российское до пят.
Калоши по снегу скрипят.

С зубчатой елкой на спине
ты шел по ровной белизне, —

сам черный, сгорбленный, худой,
уткнувшись в ворот бородой,

в снегах нездешних площадей,
с немецкой елочкой своей...

И в поэтический овал
твой силуэт я врисовал.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

ПРОГУЛКА С J.-J. ROUSSEAU[1]

Посв. Александру Николаевичу Бенуа

Сад Le Nôtre'а. В лазурных прудах —
отраженья дельфинов и статуй:
он идет по аллее стрельча́той
с маргариткой и книгой в руках;

и, мечтая о новом «Emile»,
он любуется стройностью сада.
Средь притворств витьеватых — отрада —
этот строгий, размеренный стиль.

У фонтана — прямые партеры.
Чуть насмешливо смотрит Rousseau,
как жеманно играют в cerceau[2]
две маркизы и два кавалера.

Январь 1917

РЕВОЛЮЦИЯ

Я слово длинное с нерусским окончаньем
нашел нечаянно в рассказе для детей,
и отвернулся я со странным содроганьем.

В том слове был извив неведомых страстей:
рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,
стеклянные глаза убитых лошадей,

[1] Ж.-Ж. Руссо *(фр.)*.
[2] Серсо *(фр.)*.

кривые улицы, зловещие строенья,
кровавый человек, лежащий на земле,
и чьих-то жадных рук звериные движенья...

А некогда читать так сладко было мне
о зайчиках смешных со свинками морскими,
танцующих на пнях весною, при луне!

Но слово грозное над сказками моими
как пронеслось! Нет прежней простоты;
и мысли страшные ночами роковыми

шуршат, как старые газетные листы!

⟨1917⟩

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

1

Зимнею лунною ночью молчанье
Кажется ровным дыханьем небес...
В воздухе — бледных лучей обаянье...
Благословенные лунным сияньем,
Дремлют аллея, и поле, и лес...

2

Лыжи упругие сладко скрипят;
Длинная синяя тень провожает...
Липы, как призраки черные в ряд,
Странные, грустные, в инее спят...
Мягко сугробы луна освещает.

3

Царственно круглое белое пламя
Смотрит на поле, на снежную гладь...
Зайца спугну за нагими кустами;
Гладь нарушая тройными следами,
Он пропадет... и безмолвно опять.

4

Нивой пойду... Беспредельна она...
Воздух хрустально-морозный целую...
Небо — сиянье, земля — тишина...
В этом безмолвии смерти и сна
Ясной душой я бессмертие чую.

ПАНИХИДА

Сколько могил,
Сколько могил,
Ты — жестока, Россия!
Родина, родина, мы с упованьем,
Сирые, верные, греем последним дыханьем
Ноги твои ледяные.
Хватит ли сил?
Хватит ли сил?
Ты давно ведь ослепла...
В сумрачной церкви поют и рыдают.
Нищие, сгорбясь у входа, тебя называют
Облаком черного пепла.
Капает воск,
Капает воск
И на пальцах твердеет.
Стонет старик пред иконою смуглой.
Глухо молитву поют; звук тяжелый и круглый
Катится, медлит, немеет...
Капает воск,
Капает воск,
Как слеза за слезою.
Плещет кадило пред мертвым, пред гробом.
Родина, родина! Ты исполинским сугробом
Встала во мгле надо мною.
Мрак обступил,
Мрак обступил...
Неужели возможно
Верить еще? Да, мы верим, мы верим
И оскорбленной мечтою грядущее мерим...
Верим, но сердце — тревожно.
Сколько могил,
Сколько могил,

Ты — жестока, Россия!
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованьем,
Сирые, верные, — греем последним дыханьем
Ноги твои ледяные...

ТИХАЯ ОСЕНЬ

У самого крыльца обрызгала мне плечи
Протянутая ветвь. Белеет небосклон,
И солнце на луну похоже, и далече,
Далече, как дымок, восходит тонкий звон,
Вон там, за нежно пожелтевшим
Сквозным березняком, за темною рекой...
И сердце мягкою сжимается тоской,
И, сетуя, поет, и вторит пролетевшим
        Чудно-унылым журавлям,
        За облаками умолкая...
А солнце круглое чуть тлеет; и такая
Печаль воздушная блуждает по полям,
Так расширяется, и скорбно, и прекрасно
Полей бледнеющая даль,
Что сердцу кажется притворною, напрасной
Людская шумная печаль.

* * *

Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей.
Уж полдень. Рощицы березовой опушка
И солнце мокрое.
. . . . Задумчиво кукушка
Считает золото, что капает с ветвей,
И ра́да сырости пятнистая лягушка,
И тонет в капельке уродик-муравей,
И скромно гриб стоит, как толстый человечек,
Под красным зонтиком, и зыблется везде
Под плачущей листвой сеть огненных колечек,
А в плачущей траве — серебряной звезде
Ромашки — молится неистово кузнечик,
И, по небу скользя, как будто по воде,
Блистает облако...

РОДИНА

Как весною мой север призывен!
О, мятежная свежесть его!
Золотой, распевающий ливень,
А потом — торжество... торжество...

Облака восклицают невнятно.
Вся черемуха в звонких шмелях.
Тают бледно-лиловые пятна
На березовых светлых стволах.

Над шумливой рекою, — тяжелой
От лазури влекомых небес, —
Раскачнулся и замер веселый,
Но еще неуверенный лес.

В глубине изумрудной есть место,
Где мне пальцы трава леденит,
Где, как в сумерках храма невеста, —
Первый ландыш, сияя, стоит...

Неподвижен, задумчиво-дивен
Ослепительный, тонкий цветок...
Как весною мой север призывен!
Как весною мой север далек!

МОЯ ВЕСНА

Все загудело, все блеснуло,
так стало шумно и светло!
В лазури облако блеснуло,
как лебединое крыло.

И лоснится, и пахнет пряно
стволов березовых кора,
и вся в подснежниках поляна,
и роща солнечно-пестра.

Вот серые, сырые сучья,
вот блестки свернутых листков...

Как спутываются созвучья
гремящих птичьих голосов!

И, многозвучный, пьяный, вольный,
гуляет ветер, сам не свой.
И ухает звон колокольный
над темно-синею рекой!

Ах, припади к земле дрожащей,
губами крепко припади
к ее взволнованно звенящей,
благоухающей груди!

И, над тобою пролетая,
божественно озарена,
пусть остановится родная,
неизъяснимая весна!

БЕЖЕНЦЫ

Я объездил, о Боже, твой мир,
оглядел, облизал, — он, положим,
горьковат... Помню пыльный Каир:
там сапожки я чистил прохожим...
Также помню и бойкий Бостон,
где плясал на кабацких подмостках...
Скучно, Господи! Вижу я сон,
белый сон о каких-то березках...
Ах, когда-нибудь райскую весть
я примечу в газетке раскрытой,
и рванусь, и без шапки, как есть,
возвращусь я в мой город забытый!
Но, увы, приглянувшись к нему,
не узнаю... и скорчусь от боли;
даже вывесок я не пойму:
по-болгарски написано, что ли...
Поброжу по садам, площадям,
большеглазый, в поношенном фраке...
«Извините, какой это храм?»
И мне встречный ответит: «Исакий».

И друзьям он расскажет потом:
«Иностранец пристал, все дивился...»
Буду новое чуять во всем
и томиться, как вчуже томился...

ПЕТЕРБУРГ

Так вот он, прежний чародей,
глядевший вдаль холодным взором
и гордый гулом и простором
своих волшебных площадей, —
теперь же, голодом томимый,
теперь же, падший властелин,
он умер, скорбен и один...
О, город, Пушкиным любимый,
как эти годы далеки!
Ты пал, замученный, в пустыне...
О, город бледный, где же ныне
твои туманы, рысаки,
и сизокрылые шинели,
и разноцветные огни?
Дома скосились, почернели,
прохожих мало, и они
при встрече смотрят друг на друга
глазами, полными испуга,
в какой-то жалобной тоске,
и все потухли, исхудали:
кто в бабьем выцветшем платке,
кто просто в ветхом одеяле,
а кто в тулупе, но босой.
Повсюду выросла и сгнила
трава. Средь улицы пустой
зияет яма, как могила;
в могиле этой — Петербург...

Столица нищих молчалива.
В ней жизнь угрюма и пуглива,
как по ночам мышиный шурк
в пустынном доме, где недавно
смеялись дети, пел рояль

и ясный день кружился плавно —
а ныне пыльная печаль
стоит во мгле бледно-лиловой;
вдовец завесил зеркала,
чуть пахнет ладаном в столовой,
и, тихо плача, жизнь ушла.

Пора мне помнится иная:
живое утро, свет, размах.
Окошки искрятся в домах,
блестит карниз, как меловая
черта на грифельной доске.
Собора купол вдалеке
мерцает в синем и молочном
весеннем небе. А кругом —
числа нет вывескам лубочным:
кривая прачка с утюгом,
две накрест сложенные трубки
сукна малинового, ряд
смазных сапог, — иль виноград
и ананас в охряном кубке,
или, над лавкой мелочной, —
рог изобилья полустертый...
О, сколько прелести родной
в их смехе, красочности мертвой,
в округлых знаках, в букве ять,
подобной церковке старинной!
Как, на чужбине, в час пустынный,
все это больно вспоминать!

*

Брожу в мечтах, где брел когда-то.
Моя синеющая тень
струится рядом, угловато
перегибаясь. Теплый день
горит и ясно и неясно.
Посередине мостовой
седой в усах, городовой
столбом стоит, и дворник красный
шуршит метлою. Не горя,
цветок жемчужный фонаря,

закрывшись сонно, повисает
на тонком, выгнутом стебле.
(Он в час вечерний воскресает,
и свет сиреневый во мгле
жужжит, втекая в шар сетистый,
и мошки ластятся к стеклу.)
Торчит из будки, на углу,
зеленовато-водянистый
юмористический журнал.
Три воробья неутомимо
клюют навоз. Проходят мимо
посыльный с бляхой, генерал;
в носочках лунных франт дебелый;
худая барышня в очках;
другая, в шляпе нежно-белой
и с завитками на щеках,
чуть отуманенных румянцем;
газетчик; праздный молодец;
в галошах мальчик с пегим ранцем;
шаров воздушных продавец
(знакомы с детства гроздь цветная,
передник, ножницы его).
Гляжу я, все запоминая,
не презирая ничего...

Морская улица. Под аркой,
на красной внутренней стене
бочком торчат, как гриб на пне,
часы большие. Синью жаркой,
перед дворцом, на мостовой
сияют лужи, и ограда
в них отразилась. Там, вдоль сада,
над обольстительной Невой,
в весенний день пройдешь, бывало:
дворцы как призраки легки,
весна гранит околдовала,
и риза синяя реки
вся в мутно-розовых заплатах.
Два смуглых столбика крылатых
за ней, у биржи, различишь.
Идет навстречу оборванец:

под мышкой клетка, в клетке чиж;
повеет Вербой... Влажный глянец
на листьях липовых дрожит;
со скрипом жмется баржа к барже;
по круглым камням дребезжит
пролетка грязная, — и стар же
убогий ванька, день-деньской
на облучке сидящий криво,
как кукла мягкая... Тоской
туманной, ласковой, стыдливой,
тоскою северной весны
цвета и звуки смягчены.

Да, были дни, — но беззаконно
сменила буря тишину.
Я помню, город погребенный,
твою последнюю весну,
когда на площади дворцовой,
махая тряпкою пунцовой,
вприсядку лихо смерть пошла!
Уже зима тускнела, мокла,
фиалка первая цвела,
но сквозь простреленные стекла
цветочных выставок протек
иных, болезненных растений
слащавый дух, подобный тени
блудницы пьяной, и цветок
бумажный, яростный и жалкий,
заместо мартовской фиалки,
весной искусственной дыша,
алел у каждого в петлице.
В своей таинственной темнице
Невы крамольная душа
очнулась; буйная свобода
ее окликнула, — но звон
могучий, вольный ледохода
иным был гулом заглушен...

Неискупимая година!
Слепая жизнь над бездной шла:
за ночью ночь, за мглою мгла,
за льдиной тающая льдина...

Пьянел неистовый народ.
Безумец, каторжник, мечтатель,
поклонник радужных свобод,
картавый плут, чревовещатель, —
сбежались все; и там и тут,
на площадях, на перекрестках,
перед народом на подмостках
захлебывался бритый шут...

Не надо, жизнь моя, не надо!
К чему их вопли вспоминать?
Есть чудно-грустная отрада:
уйти, не слушать, отстранять
день настоящий, как глухую
завесу, видеть пред собой
не взмах пожаров в ночь лихую,
а купол в дымке голубой,
да цепь домов, веселых, хмурых,
оливковых, лимонных, бурых,
и кирку, будто паровоз
в начале улицы, над Мойкой.
О, как стремительно, как бойко
катился поезд, полный грез, —
мои сверкающие годы!

Крушенье было. Брошен я
в иные, чуждые края,
гляжу на зори через воды,
среди волнующейся тьмы...
Таких, как я, немало. Мы
блуждаем по миру бессонно
и знаем: город погребенный
воскреснет вновь; все будет в нем
прекрасно, радостно и ново, —
а только прежнего, р о д н о г о,
мы никогда уж не найдем...

* * *

Давно ль — по набережной снежной,
в пыли морозко-голубой,
шутя и нежно, и небрежно, —
мы звонко реяли с тобой?

Конь вороной под сеткой синей,
метели плеск, метели зов,
глаза, горящие сквозь иней,
и влажность облачных мехов,

и огонек бледно-лиловый,
скользящий по мосту шурша,
и смех любви, и цок подковы,
и наша вольная душа, —

все это в памяти хрустальной,
как лунный луч, заключено...
«Давно ль?» — и вторит мне печально
лишь эхо давнее: «Давно...»

АКРОПОЛЬ

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?
Кто там поет пред мрамором богини?
Ты, мысль моя. В резной тени колонн
как бы звенят порывы дивных линий.

Я рад всему. Струясь в Эректеон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след — от солнца синий.

Во мглу, во глубь хочу на миг сойти.
Там, чудится: по млечному пути
былых времен, сквозь сумрак молчаливый

в певучем сне таинственно летишь...
О, как свежа, благоговейна тишь...
в святилище, где дышит тень оливы!

7 июня 1919
Англия

ХРАМ

Стоял костел незрублены,
а в тум костеле три оконечки...
(Стих калик перехожих)

Тучи ходят над горами,
Путник бродит по горам,
На утесе видит храм:
Три оконца в этом храме
Небольшом, да расписном;
В первом светится оконце
Ослепительное солнце;
Белый месяц — во втором;
В третьем звездочки... Прохожий!
Здесь начало всех дорог...
Солнце пламенное — Бог;
Месяц ласковый — сын Божий;
Звезды малые во мгле —
Божьи дети на земле.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

1

В переулке на скрипке играет слепой.
Здравствуй, осень!
Пляшут листья, летят золотою толпой.
Здравствуй, осень!
Медяки из окна покатились, звеня.
Славься, осень!
Ветер легкими листьями бросил в меня.
Славься, осень!

2

Стою я на крыльце. Напротив обитает
ценитель древностей; в окошке пастушок
точеный выставлен. В лазури тучка тает,
как розовый пушок.

Гляди, фарфоровый, блестящий человечек:
чернеют близ меня два голых деревца,
и сколько золотых рассыпленных сердечек
на ступенях крыльца.

8 ноября 1921
Кембридж

НОЧЬ

Уж догорел лучистый край
летучей тучки, и, вздыхая,
ночь подошла... О, голубая,
о, величавая, сияй,
сияй мне бесконечно: всюду,
где б ни застала ты меня, —
у кочевого ли огня,
иль в гордом городе, — я буду,
о, звездная, как ныне, рад
твоей улыбке непостижной...
Я выпрямлюсь и взор недвижный
скрещу с твоим! О, как горят,
ночь ясная, твои запястья,
да, ослепи, да, опьяни...
Я лучшего не знаю счастья!
Ночь, ты развертываешь рай
над темным миром и, вздыхая,
на нас глядишь... О, голубая,
о, величавая, сияй!

У КАМИНА

Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом
зацветающие угольки
расправляют в камине угрюмом
огневые свои лепестки.

И гляжу я, виски зажимая,
в золотые глаза угольков,
я гляжу, изумленно внимая
голосам моих первых стихов.

Серафимом незримым согреты,
оживают слова как цветы:
узнаю понемногу приметы
вдохновившей меня красоты;

воскрешаю я все, что, бывало,
хоть на миг умилило меня:
ствол сосны пламенеющий, алый
на закате июльского дня...

13 марта 1920

ПОЭТ

Являюсь в черный день родной моей земли,
поблекшие сердца в пыли поникли долу...
Но, с детства преданный глубокому глаголу,
нам данному затем, чтоб мыслить мы могли,
как мыслят яркие клубящиеся воды, —
я все же, в этот век поветренных скорбей,
молюсь величию и нежности природы,
в земную верю жизнь, угадывая в ней
дыханье Божие, лазурные просветы,
и славлю радостно творенье и Творца,
да будут злобные, пустынные сердца
моими песнями лучистыми согреты...

⟨1921?⟩

РОССИИ

Не предаюсь пустому гневу,
не проклинаю, не молю;
как изменившую мне деву,
отчизну прежнюю люблю.

Но как я одинок, Россия!
Как далеко ты отошла!
А были дни ведь и другие:
ты сострадательной была.

Какою нежностью щемящей;
какою страстью молодой
звенел в светло-зеленой чаще
смех пробуждающийся твой!

Я целовал фиалки мая —
глаза невинные твои, —
и лепестки, все понимая,
чуть искрились росой любви...

И потому, моя Россия,
не смею гневаться, грустить...
Я говорю: глаза такие
у грешницы не могут быть!

‹1921?›

РОССИЯ

Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...
Я дивно одинок. Ни звука, ни луча...
Ночь за оконницей безмолвна как изгнанье,
черна как совесть палача.

Мой рай уже давно и срублен, и распродан...
Я рос таинственно в таинственном краю,
но Бог у юного, небрежного народа
Россию выхолил мою.

Рабу стыдливую, поющую про зори
свои дрожащие, увел он в темноту
и в ужасе ее, терзаньях и позоре
познал восторга полноту.

Он груди вырвал ей, глаза святые выжег,
и что ей пользы в том, что в тишь ее равнин
польется ныне смрад от угольных изрыжек
Европой пущенных машин?

Напрасно ткут они, напрасно жнут и веют,
развозят по Руси и сукна, и зерно:
она давно мертва, и тленом ветры веют,
и все, что пело, сожжено.

Он душу в ней убил. Хватил с размаху о пол
младенца теплого. Вдавил пятою в грязь
живые лепестки и, скорчившись, захлопал
в ладоши, мерзостно смеясь.

Он душу в ней убил — все то, что распевало,
тянулось к синеве, плясало по лесам,
все то, что при луне над водами всплывало,
все, что прочувствовал я сам.

Все это умерло. Христу ли, Немезиде
молиться нам теперь? Дождемся ли чудес?
Кто скажет наконец лукавому: изыди?
Кого послушается бес?

Все это умерло, и все же вдохновенье
волнуется во мне, — сгораю, но пою.
Родная, мертвая, я чаю воскресенья
и жизнь грядущую твою!

5 (18) марта 1919

СУФЛЕР

С восьми до полночи таюсь я в будке тесной,
за книгой, много раз прочитанной, сижу
и слышу голос ваш... Я знаю — вы прелестны,
но, спутаться боясь, на вас я не гляжу.
Не ведаете вы моих печалей скрытых...
Я слышу голос ваш, надтреснутый слегка,
и в нем, — да, только в нем, а не в словах избитых, —
звучат пленительно блаженство и тоска.
Все так недалеко, все так недостижимо.
Смеетесь, плачете, стучите каблучком,
вблизи проходите, и платье, вея мимо,
вдруг обдает меня воздушным холодком.
А я, — исполненный и страсти и страданья,
глазами странствуя по пляшущим строкам, —
я кукольной любви притворные признанья
бесстрастным шепотом подсказываю вам...

ПЕТЕРБУРГ

Он на трясине был построен
средь бури творческих времен:
он вырос — холоден и строен,
под вопли нищих похорон.

Он сонным грезам предавался,
но под гранитною пятой
до срока тайного скрывался
мир целый, — мстительно-живой.

Дышал он смертною отравой,
весь беззаконных полон сил.
А этот город величавый
главу так гордо возносил.

И, оснеженный, в дымке синей,
однажды спал он, — недвижим,
как что-то в сумрачной трясине
внезапно вздрогнуло под ним.

И все кругом затрепетало,
и стоглагольный грянул зов:
раскрывшись, бездна отдавала
завороженных мертвецов.

И пошатнулся всадник медный,
и помрачился свод небес,
и раздавался крик победный:
«Да здравствует болотный бес».

ВЕСНА

Ты снишься миру снова, снова, —
весна! — я душу распахнул;
в потоках воздуха ночного
я слушал, слушал горний гул!

Блаженный блеск мне веял в очи.
Лазурь торжественная ночи
текла над городом, и там,
как чудо, плавал купол смуглый

и гул тяжелый, гул округлый
всходил к пасхальным высотам!

Клубились бронзовые волны,
и каждый звук, как будто полный
густого меда, оставлял
в лазури звездной след пахучий,
и Дух стоокий, Дух могучий
восторг земли благословлял.

Восторг земли, дрожащей дивно
от бури, бури беспрерывной
еще сокрытых, гулких вод... —
я слушал, в райский блеск влюбленный,
и в душу мне дышал бездонный
золотозвонный небосвод!

И ты с весною мне приснилась,
ты, буйнокудрая любовь,
и в сердце радостном забилась
глубоким колоколом кровь.

Я встал, крылатый и высокий,
и ты, воздушная, со мной...
Весны божественные соки
о солнце бредят под землей!

И будут утром отраженья,
и световая пестрота,
и звон, и тени, и движенье,
и ты, о звучная мечта!

И в день видений, в вихре синем,
когда блеснут все купола, —
мы, обнаженные, раскинем
четыре огненных крыла!

ЗНАЕШЬ ВЕРУ МОЮ?

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?
Голубою весной облака я люблю —
райский сахар на блюдце блестящем, —

и люблю я, как льются под осень дожди,
и под пестрыми кленами пеструю слякоть...
Есть такие закаты, что хочется плакать,
а иному шепнешь: подожди!
Если ветер ты любишь и ветки сырые,
Божьи звезды и Божьих зверьков,
если видишь при сладостном слове: Россия —
только даль, и дожди золотые, косые,
и в колосьях лазурь васильков, —
я тебя полюблю, как люблю я могучий,
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,
и мохнатых цветных червяков; —
полюблю я тебя оттого, что заметишь
все пылинки в луче бытия,
скажешь солнцу: спасибо, что светишь...

Вот вся вера моя.

ГРИБЫ

У входа в парк, в узорах летних дней,
скамейка светит, ждет кого-то...
На столике железном перед ней
грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика —
что пальчики на детской ножке.
Их извлекла так бережно рука
из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь —
на шляпках выгнутых, дырявых.
Они во мраке влажном вознеслись
под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,
таких родных, пахучих, мшистых;
и слезы леса летнего горят
на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой — посмотри —
плетеная корзинка боком
лежит, и вся испачкана снутри,
черничным лиловатым соком.

13 ноября 1922

РОССИЯ

Под окном моим, ночью, на улице, —
да на улице города чуждого, —
под окном, и в углу, в каждой комнате, —
в каждой комнате, — да неприветливой, —
наяву и во сне, — словно в зеркале
отраженье свечей многоликое, —
передо мною, за мною, — повсюду ты,
ах, повсюду стоишь, незабвенная!
Все мы — странники, нищие, гордые:
и цари-то и голь перекатная... —
заклинаем тебя, заклинаем мы:
где ты, лютая, где ты, любовная?
Отзовись! — Но молчишь ты, далекая, —
и глаза твои странникам чудятся, —
то лучистые, то затемненные,
как вода в полдень солнечно-ветряный...
А теперь ты печально потупилась,
одинокая ты, одинокая!
Скоро ль сын твой вернется из сумрака,
и возьмет тебя ласково за плечи,
и, безмолвно, глаза твои бедные
поцелуем откроет таинственным?
Ты потупилась, жалкая, чудная, —
и душа твоя — нива несжатая:
наклоняйтесь, колосья незримые, —
думы кроткие, думы великие!
Где же серп? Он — в забытой часовенке;
на иконе, туманной как облако, —
он белеет над ликом Спасителя...
Где же серп? Он в неведомом озере
в новолунье сияет, закинутый...
Ты потупилась, милая, милая!

Холодеешь в тумане мучительном;
твои руки бессильные светятся,
словно снежные ветви, недвижные...
Ах, летите, звените, весенники!
Да заплещут в лазури заплаканной
ветви яблони, яблони белые!..
Под окном моим, ночью, на улице, —
в моем сердце певучем и жалобном, —
за горами, за тучами, за морем, —
ты стоишь, о моя несравненная!..
Опечалена вестью пылающей,
расклубившейся мглою обвеяна,
одинока, поругана многими, —
но родимая, но неизменная!..

СНЕЖНАЯ НОЧЬ

Как призрак я иду, и реет в тишине
    такая тающая нега, —
что словно спишь в раю и чувствуешь во сне
    порханье ангельского снега.

Как поцелуи губ незримых и немых,
    снежинки на ресницах тают.
Иду, и фонари в провалах кружевных
    слезами смутными блистают.

Ночь легкая, целуй, ночь медленная, лей
    сладчайший снег зимы Господней, —
да светится душа во мраке все белей,
    и чем белей — тем превосходней.

Так, ночью, в вышине воздушной бытия,
    сквозь некий трепет слепо-нежный,
навстречу призракам встает душа моя,
    проникшись благодати снежной.

НЕВЕСТА РЫЦАРЯ

Жду рыцаря, жду юного Ивэйна,
и с башни вдаль гляжу я ввечеру.
Мои шелка вздыхают легковейно,
и огневеет сердце на ветру.

Твой светлый конь и звон его крылатый
в пыли цветной мне снится с вышины.
Твои ли там поблескивают латы
иль блеска слез глаза мои полны?

Я о тебе слыхала от трувэра,
о странствиях, о приступах святых.
Я ведаю, что истинная вера
душистей роз и сумерек моих.

Ты нежен был, — а нежность так жестока!
Одна, горю в вечерней вышине.
В блистанье битв, у белых стен Востока,
таишь любовь учтивую ко мне.

Но возвратись... Пускай твоя кольчуга
сомнет мою девическую грудь...
Я жду, Ивэйн, не призрачного друга, —
я жду того, с кем сладостно уснуть.

ПЕГАС

Гляди: вон там, на той скале, — Пегас!
Да, это он, сияющий и бурный!
Приветствуй эти горы. День погас,
а ночи нет... Приветствуй час пурпурный.

Над крутизной огромный белый конь,
как лебедь, плещет белыми крылами, —
и вот взвился, и в тучи, над скалами,
плеснул копыт серебряный огонь.

Ударил в них, прожег одну, другую
и в исступленном пурпуре исчез.
Настала ночь. Нет мира, нет небес, —
все — только ночь. Приветствуй ночь нагую.

Вглядись в нее: копыта след крутой
узнай в звезде, упавшей молчаливо.
И Млечный Путь плывет над темнотой
воздушною распущенною гривой.

8 декабря 1922

ЖУК

В саду, где по ночам лучится и дрожит
луна сквозь локоны мимозы, —
ты видел ли, поэт? — живой сапфир лежит
меж лепестков блаженной розы.

Я тронул выпуклый, алеющий огонь,
огонь цветка, и жук священный,
тяжелый, гладкий жук мне выпал на ладонь, —
казалось: камень драгоценный.

В саду, где кипарис, как черный звездочет,
стоит над лунною поляной,
где соловьиный звон всю ночь течет, течет, —
кто, кто любезен розе рдяной?

Не мудрый кипарис, не льстивый соловей,
а бог сапфирный, жук точеный;
с ним роза счастлива... Поэт, нужны ли ей
твои влюбленные пэоны?

ЛЕГЕНДА О СТАРУХЕ, ИСКАВШЕЙ ПЛОТНИКА

Домик мой, на склоне, в Назарете,
почернел и трескается в зной.
Дождик ли стрекочет на рассвете, —
мокну я под крышею сквозной.

Крыс-то в нем, пушистых мухоловок,
скорпионов сколько... как тут быть?
Плотник есть: не молод и не ловок,
да, пожалуй, может подсобить.

День лиловый гладок был и светел.
Я к седому плотнику пошла;
но на стук никто мне не ответил,
постучала громче, пождала.

А затем — толкнула дверь тугую, —
и, склонив горящий гребешок,
с улицы в пустую мастерскую
шмыг за мной какой-то петушок.

Тишина. У стенки дремлют доски,
прислонясь друг к дружке, и в углу
дремлет блеск зазубренный и плоский
там, где солнце тронуло пилу.

Петушок, скажи мне, где Иосиф?
Петушок, ушел он, — как же так? —
все рассыпав гвоздики и бросив
кожаный передник под верстак.

Потопталась смутно на пороге,
восвояси в гору поплелась.
Камешки сверкали на дороге.
Разомлела, грезить принялась.

Все-то мне, старухе бестолковой,
вспоминалась плотника жена:
поглядит, бывало, молвит слово,
улыбнется, пристально-ясна; —

и пройдет, осленка понукая,
лепестки, колючки в волосах, —
легкая, лучистая такая, —
а была, голубка, на сносях.

И куда ж они бежали ныне?
Грезя так, я, сгорбленная, шла.
Вот мой дом на каменной вершине, —
глянула — и в блеске замерла...

Предо мной, — обделанный на диво,
новенький и белый как яйцо,
домик мой, с оливою радивой,
серебром купающей крыльцо!

Я вхожу... Уж в облаке лучистом
разметалось солнце за бугром.
Умиляюсь, плачу я над чистым,
синим и малиновым ковром.

Умер день. Я видела осленка,
петушка и гвоздики во сне.
День воскрес. Дивясь, толкуя звонко,
две соседки юркнули ко мне.

Милые! Сама помолодею
за сухой, за новою стеной!
Говорят: ушел он в Иудею,
старый плотник с юною женой.

Говорят: пришедшие оттуда
пастухи рассказывают всем,
что в ночи сияющее чудо
пролилось на дальний Вифлеем...

* * *

Мы вернемся, весна обещала,
о, мой тихий, тоскующий друг!
Поцелуем мы землю сначала,
а потом оглядимся вокруг.

Позабудем о пляске и плаче
бесновато уродливых дней...
Мы вернемся. Все будет иначе,
где горячий был некогда луг.

Мы дороги иные отыщем,
мы построим иные дома...
Зреет нива на кладбище нищем,
где гроздилась зеленая тьма.

Млеет зелень младенческой рощи,
где горячий был некогда луг.
Все иначе, отраднее, проще,
чем мы думали, милый мой друг!

* * *

Уста земли великой и прекрасной
в уста целуют жизнь мою.
Я брежу радугами страстно
и млечный свет из лунной чаши пью.

И я храним надеждой беззаветной:
я верю, — Бог позволит мне,
хоть луг один земли стоцветной
запечатлеть на тленном полотне.

* * *

Ночь бродит по полям и каждую былинку
обводит узкою жемчужною каймой,
и точно в крупную, дрожащую росинку
земля заключена, средь вечности немой.

И светится трава, и клевер дышит сладко,
и дымка зыблется над пухом полевым,
и смерть мне кажется не грозною загадкой, —
а этим реющим туманом медовым.

* * *

Шепчут мне странники ветры:
брат, вспоминаешь ли ты?
Утром, на севере светлом,
Выше и тоньше цветы.

Дымчато влажное поле,
воздух, как детство Христа...
Это ль не лучшая доля?
Это ли не красота?

Стелется розовый шелест
чистой зари по лесам...
В небе ли солнце, в душе ли, —
ты и не ведаешь сам...

ПЕТЕРБУРГ

Мне чудится в Рождественское утро
мой легкий, мой воздушный Петербург...
Я странствую по набережной... Солнце
взошло туманной розой. Пухлым слоем
снег тянется по выпуклым перилам.
И рысаки под сетками цветными
проносятся, как сказочные птицы;
а вдалеке, за ширью снежной, тают
в лазури сизой розовые струи
над кровлями; как призрак золотистый,
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка:
сперва дымок, потом раскат звенящий);
и на снегу зеленой бирюзою
горят квадраты вырезанных льдин.

Приземистый вагончик темно-синий,
пером скользя по проволоке тонкой,
через Неву пушистую по рельсам
игрушечным бежит себе; а рядом
расчищенная искрится дорожка
меж елочек, повоткнутых в сугробы:
бывало, сядешь в кресло на сосновых
полозьях, — парень в желтых рукавицах
за спинку хвать, — и вот по голубому
гудящему ледку толкает, крепко
отбрасывая ноги, косо ставя
ножи коньков, веревкой кое-как
прикрученные к валенкам, тупые,
такие же, как в пушкинские зимы...

Я странствую по городу родному,
по улицам таинственно-широким,
гляжу с мостов на белые каналы,
на пристани и рыбные садки.
Катки, катки — на Мойке, на Фонтанке,
в Юсуповском серебряном раю:
кто учится, смешно раскинув руки,
кто плавные описывает дуги,
и бегуны в рейтузах шерстяных
гоняются по кругу, перегнувшись,

сжав за спиной футляр от этих длинных
коньков своих, сверкающих, как бритвы,
по звучному лоснящемуся льду.

А в городском саду — моем любимом —
между Невой и дымчатым собором,
сияющие, легкие виденья
сквозных ветвей склоняются над снегом,
над будками, над каменным верблюдом
Пржевальского, над скованным бассейном, —
и дети с гор катаются, гремят,
ложась ничком на бархатные санки.

Я помню все: Сенат охряный, тумбы
и цепи их чугунные вокруг
седой скалы, откуда рвется в небо
крутой восторг зеленоватой бронзы.
А там, вдали, над сетью серебристой,
над кружевами дивными деревьев, —
там величаво плавает в лазури
морозом очарованный Исакий:
воздушный луч — на куполе туманном,
подернутые инеем колонны...

Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки
в душе моей, как чудо, сохранится
твой легкий лик, твой воздух несравненный,
твои сады, и дали, и каналы,
твоя зима, высокая, как сон
о стройности нездешней...

Ты растаял,
ты отлетел, а я влачу виденья
в иных краях — на площадях зеркальных,
на палубах скользящих... Трудно мне...
Но иногда во сне я слышу звуки
далекие, я слышу, как в раю
о Петербурге Пушкин ясноглазый
беседует с другим поэтом, поздно
пришедшим в мир и скорбно отошедшим,
любившим город свой непостижимый
рыдающей и реющей любовью...

И слышу я, как Пушкин вспоминает
все мелочи крылатые, оттенки
и отзвуки: «Я помню, — говорит, —
летучий снег, и Летний сад, и лепет
Олениной... Я помню, как, женатый,
я возвращался с медленных балов
в карете дребезжащей по Мильонной,
и радуги по стеклам проходили;
но, веришь ли, всего живее помню
тот легкий мост, где встретил я Данзаса
в январский день, пред самою дуэлью...»

* * *

Я где-то за городом, в поле,
и звезды гулом неземным
плывут, и сердце вздулось к ним,
как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод —
и все труднее, все суровей —
в моих бессонных жилах бьет
глухое всхлипыванье крови.

Но в этой пустоте ночной,
при этом голом звездном гуле,
вложу ли в барабан резной
тугой и тусклый жемчуг пули.

И, дула кисловатый лед
прижав о высохшее нёбо,
в бесплотный ринусь ли полет
из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму,
великолепный и тяжелый —
всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму?

20 января 1923

* * *

И утро будет: песни, песни,
каких не слышно и в раю,
и огненный промчится вестник,
взвив тонкую трубу свою!

Распахивая двери наши,
он пронесется, протрубит,
дыханьем расплавляя чаши
неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий,
неслыханные острова,
немыслимые закоулки, —
как пламя, облетит молва!

Тогда-то с плавностью блаженной,
как ясновидящие, все
поднимемся — и в путь священный
по первой утренней заре!..

30 января 1923

РАЗМЕРЫ

Глебу Струве

Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил,
повествовал? Вот мерный амфибрахий...
А хочешь петь — в эоловом размахе
анапеста — звон лютен и ветрил.

Люби тройные отсветы лазури
эгейской — в гулком дактиле; отметь
гекзаметра медлительного медь
и мрамор — и виденье на цезуре.

Затем: двусложных волн не презирай;
есть бубенцы и ласточки в хорее:
он искрится, все звонче, все острее,
торопится... А вот — созвучий рай —

резная чаша: ярче в ней, и слаще,
и крепче мысль; играет по краям
блеск, блеск живой! Испей же: это ямб,
ликующий, поющий, говорящий...

ГЕКЗАМЕТРЫ

Памяти В. Д. Набокова

Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
ты, погруженный в могилу, ты, пробужденный, свободный,
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами — до срока
спящими...
О, наклонись надо мной, сон мой подслушай —

снятся мне слезы, снятся напевы, снятся молитвы...
Сплю я, раскинув руки, лицом обращенный к звездам:
в сон мой втекает мерцающий свет, оттого-то прозрачны
даже и скорби мои...

Я чую: ты ходишь так близко,
смотришь на спящих: ветер твой нежный целует мне веки,
что-то во сне я шепчу: наклонись надо мной и услышишь
смутное имя одно, — что звучнее рыданий, и слаще
песен земных, и глубже молитвы, — имя отчизны.

1923

РОДИНЕ

Воркующею теплотой шестая,
чужая, наливается весна...
Все ждет тебя душа моя простая,
гадая у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий
зеленоватых ландышей, когда
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,
а воздух, как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,
звать изумленье рифмы и любви...
Не укоряй в час трудного горенья,
что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок,
взволнованно душа тебя зовет, —
текучий блеск твоих дождей и радуг,
когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо-ярок,
а наша встреча — творчески-тиха;
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,
вот капля солнца в венчике стиха.

31 марта 1923

ВЛАСТЕЛИН

Я Индией невидимой владею:
 приди под синеву мою!
Я прикажу нагому чародею
 в запястье обратить змею.

Тебе, неописуемой царевне,
 отдам за поцелуй Цейлон,
а за любовь — весь мой роскошный, древний,
 тяжелозвездный небосклон.

Павлин и барс мой, бархатногорящий,
 тоскуют; и кругом дворца
шумят, как ливни, пальмовые чащи:
 все ждем мы твоего лица.

Дам серьги — два стекающих рассвета,
 дам сердце — из моей груди.
Я царь, — и если ты не веришь в это, —
 не верь, — но все равно, приди!

8 апреля 1923

НА ОЗЕРЕ

В глазах рябило от резьбы
оранжевой и черной зыби,
и плыл к огню — к библейской глыбе
заката — сумрак из трубы.

И черный жар, и дым мохнатый
следя торжественно с кормы,
следя прибрежный бор зубчатый, —
в очарованье плыли мы.

И сердце было так прозрачно,
так пел прожженный Богом свод,
что бор, и озеро, и дачный,
дымящий глухо пароход, —

приобретали незаметно
значенье чуда в этот час, —
и в темной зыби женских глаз
плыл и дышал огонь стоцветный.

* * *

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок.

Узна́ю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот;
он заметит — я что-то принес с собою,
и остановит, не отопрет.

— Апостол, — скажу я, — пропусти мя. —
пред ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной.

Он поводит хмуро бровью седою,
но на ладони каждый изгиб

пахнет еще Гефсиманской росою
и чешуей Иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.

21 апреля 1923

ГЕКСАМЕТРЫ

ЧУДО

В жизни чудес не ищи; есть мелочи — родинки жизни;
мелочь такую заметь, — чудо возникнет само.
Так мореход, при луне увидавший моржа на утесе,
внуков своих опьянит сказкой о деве морской.

ОЧКИ ИОСИФА

Слезы отри и послушай: в солнечный полдень старый
плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом
мальчик вбежал в мастерскую; замер; заметил; подкрался;
тронул легкие стекла, и только он тронул, — мгновенно
по миру солнечный зайчик стрельнул, заиграл по далеким
пасмурным странам, слепых согревая и радуя зрячих.

СЕРДЦЕ

Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки... Не знаю,
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.

7 марта 1923

ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Гордо и ясно ты умер, — умер как муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин.

19 марта 1923

СОН

Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно
снилось мне, что в пропасти окна
высилась, как череп великана,
костяная, круглая луна.

Снилось мне, что на кровати, криво
выгнувшись под вздутой простыней,
всю подушку заливая гривой,
конь лежал атласно-вороной.

А вверху — часы стенные, с бледным,
бледным человеческим лицом,
поводили маятником медным,
полосуя сердце мне концом.

Сонник мой не знает сна такого,
промолчал, притих перед бедой
сонник мой с закладкой васильковой
на странице, читанной с тобой...

15 января 1923

ЖЕМЧУГ

Посланный мудрейшим властелином
мук земных изведать глубину,
тот блажен, кто руки сложит клином
и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гуда,
средь морских свивающихся звезд,
зачерпнет он раковину: чудо
будет в ней — лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув
яркими кругами водный лоск,
и спокойно улыбнется, вынув
из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку,
я — на дне... Но снизу, сквозь струи,
все же внемлю шелковому звуку
уносящейся твоей ладьи...

14 января 1923

ЧЕРЕЗ ВЕКА

В каком раю впервые прожурчали
истоки сновиденья моего?
Где жили мы, где встретились вначале,
мое кочующее волшебство?

Неслись века. При Августе, из Рима
я выслал в Байи голого гонца
с мольбой к тебе, — но ты неуловима
и сказочна осталась до конца.

И не грустила ты, когда при звоне
сирийских стрел и рыцарских мечей
мне снилось: ты — за пряжей, на балконе,
под стражей провансальских тополей.

Среди шелков, левреток, винограда
играла ты, когда я по нагим
волнам в неведомое Эльдорадо
был генуэзским гением гоним.

Ты знаешь, — Калиостровой науки
мы оправданьем были: годы шли,
вставали за разлуками разлуки
тоской богов и музыкой земли.

И снова в Термидоре одурелом,
пока в тюрьме душа тобой цвела,
а дверь мою тюремщик метил мелом, —
ты в Кобленце так весело жила...

И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести
лепажи зарядив и разрядив,
я шел, веселый, к Делии — к невесте,
все вальсы ей коварные простив.

А после, после, став вполоборота,
так поднимая руку, чтобы грудь
прикрыть локтем, я медленно в кого-то
стал целиться — и не успел стрельнуть.

Вставали за разлуками разлуки —
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,
и вновь я обречен извечной муке
твоей неуловимой красоты...

16 января 1923

УЗОР

День за днем, цветущий и летучий,
мчится в ночь, — и вот уже мертво
царство исполинское, — дремучий
папоротник счастья моего.

Но хранится, под землей беспечной,
в сердце сокровенного пласта,
отпечаток веерный и вечный, —
призрак стрекозы, узор листа...

24 января 1923

* * *

Живи, звучи, не поминай о чуде, —
но будет день: войду в твой скромный дом,
твой смех замрет, ты встанешь: стены, люди —
все поплывет, — и будем мы вдвоем...

Прозреешь ты в тот миг невыразимый,
спадут с тебя, рассыплются, звеня,
стеклом поблескивая дутым, зимы
и весны, прожитые без меня...

Я пламенем моих бессонниц, хладом
моих смятений творческих прильну,
взгляну в тебя — и ты ответишь взглядом
покорным и крылатым в вышину.

Твои плеча закутав в плащ шумящий,
я по небу, сквозь звездную росу,
как через луг некошеный, дымящий,
тебя в свое бессмертье унесу...

* * *

О как ты рвешься в путь крылатый,
безумная душа моя,
из самой солнечной палаты
в больнице светлой бытия!

И, бредя о крутом полете,
как топчешься, как бьешься ты
в горячечной рубашке плоти,
в тоске телесной тесноты!

Иль, тихая, в безумье тонком
гудишь-звенишь сама с собой,
вообразив себя ребенком,
сосною, соловьем, совой.

Поверь же соловьям и совам,
терпи, самообман любя, —
смерть громыхнет тугим засовом
и в вечность выпустит тебя.

* * *

Ты все глядишь из тучи темно-сизой,
и лилия — в светящейся руке;
а я сквозь сон молю о лепестке
и все ищу в изгибах смутной ризы
изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья
ни в музыке, ни в камне... Исподлобья
глядят в мой сон два горестных луча.

27 января 1923

БАРС

Пожаром яростного крапа
маячу в травяной глуши,
где дышит след и росный запах
твоей промчавшейся души.

И в нестерпимые пределы,
то близко, то вдали — звеня,
летит твой смех обезумелый
и мучит и пьянит меня.

Луна пылает молодая,
мед каплет на мой жаркий мех;
бьет, скатывается, рыдая,
твой задыхающийся смех.

И в липком сумраке зеленом,
пожаром гибким и слепым,
кружусь я, опьяненный звоном,
полетом, запахом твоим...

Но не уйдешь ты! В полнолунье,
в тиши настигну у ручья,
сомну тебя, мое безумье
серебряное, лань моя!

13 апреля 1923

ГРОЗА

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,
деревья ветер гнет и сам
шалеет от игры, от звона
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые
по заблиставшей мостовой
и над промокшею впервые
зелено-яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,
не знаю. Громовой удар,
как будто в огненные кегли
чугунный прокатился шар.

Уходят боги, громыхая,
стихает горняя игра,
и вот вся улица пустая —
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло
из первой ямки голубой,
и влажно в памяти скользнуло,
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,
лучи смеющихся ресниц.
Наш зонтик, капли золотые
на кончиках раскрытых спиц...

7 мая 1923

ВСТРЕЧА

И странной близостью закованный...
А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада —
на смутный мост явилась ты...

И ночь текла, и плыли молча
в ее атласные струи —
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои...

И под каштаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч —
переживал я очерк смутный
других — неповторимых — встреч?

И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю... Странно
трепещет стих, и в нем — стрела...
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час...
Вернулась в ночь двойная прорезь
твоих — непросиявших — глаз...

Надолго ли? Навек?.. Далече
брожу — и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей...
И если ты — судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба...
Еще душе скитаться надо.
Но если ты — моя судьба...

1 июня 1923

ПЕСНЯ

Верь: вернутся на родину все —
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга
ночная фелюга...

Песня спасет нас.
Проулками в гору
шел я, в тяжелую шел темноту,
чуждый всему, — и крутому узору
черных платанов, и дальнему спору
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листам искривленным, —
ветер, мой пьяный и горестный брат, —
и вдруг — затих под окном озаренным:
ночь, ночь — и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий
русскою песней гремел за окном?
В сумраке видел я отблеск горящий,
слушал ее — под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях, —
Как тосковала,
как распевала,
молясь былому в чужих краях, —
о полнолунье небывалом,
о небывалых соловьях!
И в темноте пылали звуки, —
рыдающая даль любви,
даль — и цыганские разлуки,
ночь, ночь — и в роще соловьи!..

Но проносился ветер с моря
дыханьем соли и вина, —
и гармонического горя
спадала жаркая волна.

Касался грубо ветер с моря
глициний вдоль ее окна —
и вновь, как бы в блаженстве горя,
пылала звуками она...
О чем? О лепестке завялом,
о горестной своей красе,
о полнолунье небывалом,
о небывалом —
ветер! Вернутся на родину все —
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга...

Все...

19 июля 1923

ПРОВАНС

Как жадно, затая дыханье,
склоня колена и плеча,
напьюсь я хладного сверканья
из придорожного ручья.

И, запыленный и счастливый,
лениво развяжу — в тени
Евангелической оливы —
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,
бродячей радуясь судьбе, —
без удивленья, без тревоги,
быть может, вспомню о тебе.

И, пеньем дум моих влекома,
в лазури лиловатой дня,
в знакомом платье незнакома,
пройдешь ты, не узнав меня.

15 июня 1923

РОДИНА

Когда из родины звенит нам
сладчайший, но лукавый слух, —
не празднословью, не молитвам
мой предается скорбный дух.

Нет, — не из сердца, вот, отсюда,
где боль неукротима, вот —
крылом, окровавленной грудой,
обрубком костяным — встает

мой клекот, клокотанье: Боже,
Ты, отдыхающий в раю, —
на смертном, на проклятом ложе
тронь, воскреси, — ее... мою!..

ОЛЕНЬ

Слова — мучительные трубы,
гремящие в глухом лесу, —
следят, перекликаясь грубо,
куда я пламя пронесу.

Но что мне лай Дианы жадной,
ловитвы топот и полет?
Моя душа — олень громадный —
псов обезумевших стряхнет!

Стряхнет — и по стезе горящей
промчится, распахнув рога,
сквозь черные ночные чащи
на огненные берега!

* * *

И в Божий рай пришедшие с земли
устали, в тихом доме прилегли...

Летают на качелях серафимы
под яблонями белыми. Скрипят
веревки золотые. Серафимы
кричат взволнованно...

А в доме спят, —
в большом, совсем обыкновенном доме,
где Бог живет, где солнечная лень
лежит на всем; и пахнет в этом доме,
как, знаешь ли, на даче — в первый день...

Потом проснутся; в радостной истоме
посмотрят друг на друга; в сад пройдут —
давным-давно знакомый и любимый...

О, как воздушно яблони цветут!..
О, как кричат, качаясь, серафимы!..

* * *

Из мира уползли — и ноют на луне
шарманщики воспоминаний...
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:
я только пасмурный изгнанник.

Полжизни — тут, в столе; шуршит она в руках;
тетради трогаю, хрустящий
клин веера, стихи, — души певучий прах, —
и грудью задвигаю ящик...

И вот уходит все, и я — в тенях ночных,
и прошлое горит неяро, —
как в черепе сквозном, в провалах костяных
зажженный восковой огарок...

И ланнеровский вальс не может заглушить...
    Откуда?.. Уходи... Не надо...
Как были хороши... Мне лепестков не сшить,
    а тлен цветочный сладок, сладок...

Не говори со мной в такие вечера,
    в часы томленья и тумана, —
Когда мне чудится невнятная игра —
    ушедших на луну шарманок...

18 ноября 1923

РОЖДЕСТВО

Свеча прозрачная мигает.
В окно синеет Рождество.
Где ты живешь? Где пробегает
дыханье платья твоего?

И у шарахнувшейся двери
какого гостя средь гостей
встречают бархатные перья
твоих стремительных бровей?

А помнишь, — той зимой старинной —
как жадно ты меня ждала,
как елка выросла в гостиной
и лапой в зеркало вросла.

На лесенке, чуть прикасаясь
рукою к моему плечу,
другую тянешь, зажигая
свечу на ветке об свечу.

Горят под золотистым газом
лучи раскинутых ключиц,
а елка — в дымчатых алмазах,
в дрожанье льющихся зарниц.

И спрыгиваешь со ступени —
как бы вдоль сердца моего, —
и я один... Мигают тени.
В окно синеет Рождество.

Свеча сияющая плачет,
и уменьшенный образ твой
течет жемчужиной горячей,
жемчужиною восковой.

ВИДЕНИЕ

В снегах полуночной пустыни
мне снилась матерь всех берез,
и кто-то — движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию — детский гроб:
и под березой одинокой,
в бледно-пылящийся сугроб,

склонился, в трепетанье белом,
склонился, как под ветром — дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая,
молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза;
и были тени на снегу:

там, на могиле этой снежной,
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук...

И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда —
Лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа...

Январь 1924

СКИТАЛЬЦЫ

За громадные годы изгнанья,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мирозданья,
о, косматая наша душа!

Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей, —
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,

от полярной губы — до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью, —
ты прошла, и сыпала искры,
если трогали шерсть твою!

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете!
Встанет ветер всея Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси!

И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собою на пир
бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир!

24 февраля 1924

КУБЫ

Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга домá углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь — сломанное пламя.

В комнате: деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.

Ты — в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем (Боже!..)
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.

1924

ОКНО

При луне, когда косую крышу
лижет металлический пожар,
из окна случайного я слышу
сладкий и пронзительный удар
музыки; и чувствую, как холод
счастия мне душу обдает:
кем-то ослепительно расколот
лунный мрак; и, медленно, в полет
собираюсь... вынимаю руки
из карманов... трепещу... лечу...
Но в окне мгновенно гаснут звуки,
и меня спокойно по плечу
хлопает прохожий: «Вы забыли, —
говорит, — летать запрещено...»
И, застыв, в венце из лунной пыли,
я гляжу на смолкшее окно.

6 марта 1924

ЛЕНИНГРАД

Великие, порою,
бывают перемены...
Но, пламенные мужи,
что значит этот сон?
Был Петроград — он хуже
чем Петербург, — не скрою, —
но не походит он, —
как ни верти, — на Трою:
зачем же в честь Елены —
так ласково к тому же
он вами окрещен?

* * *

Блуждая по запущенному саду,
я видел — в полдень, в воздухе слепом —
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха... А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, — и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет —
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул... Все это помнит
моя душа; все это — ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

9 марта 1924

СТАНСЫ

Ничем не смоешь подписи косой
судьбы на человеческой ладони —
ни грубыми трудами, ни росой
всех аравийских благовоний.

Ничем не смоешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье...
Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья!

И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильней встократ
твоей судьбы, тебя создавшей.

Но кто из нас мечтать не приходил
к семейственной и глупой Монна-Лизе,
чей глаз, как всякий глаз, составлен был
из света, жилочек и слизи?

О, я рифмую радугу и прах!
Прости, прости, что рай я уничтожил!
В двух бархатных и пристальных мирах
единый миг как бог я прожил...

Да будет так. Не в силах я тебе
открыть, с какою жадностью певучей,
с каким немым доверием судьбе
невыразимой, неминучей —

24 марта 1924

АВТОМОБИЛЬ В ГОРАХ

СОНЕТ

Как сон, летит дорога, и ребром
встает луна за горною вершиной.
С моею черной гоночной машиной
сравню — на волю вырвавшийся гром!

Все хочется, — пока под тем бугром
не стала плоть личинкою мушиной, —
слыхать, как прах под бешеною шиной
рыдающим исходит серебром...

Сжимая руль наклонный и упругий,
куда лечу? У альповой лачуги —
почудится отеческий очаг;

и в путь обратный, — вдавливая конус
подошвою и боковой рычаг
переставляя по дуге, — я тронусь.

ПОДРУГА БОКСЕРА

Дрожащая, в змеином платье бальном,
и я пришла смотреть на этот бой.
Окружена я черною толпой:
мелькает блеск по вырезам крахмальным,

свет льется, ослепителен и бел,
посередине залы, над помостком.
И два бойца в сиянье этом жестком
сшибаются... Один уж ослабел.

И ухает толпа. Могуч и молод,
неуязвим, как тень, — противник твой.
Уж ты прижат к веревке круговой
и подставляешь голову под молот.

Все чаще, все короче, все звучней
бьет снизу, бьет и хлещет этот сжатый
кулак в перчатке сально-желтоватой,
под сердце и по челюсти твоей.

Сутулишься и екаешь от боли,
и напряженно лоснится спина.
Кровь на лице, на ребрах так красна,
что я тобой любуюсь поневоле.

Удар — и вот не можешь ты вздохнуть, —
еще удар, два боковых и пятый —
прямой в кадык. Ты падаешь. Распятый,
лежишь в крови, крутую выгнув грудь.

Волненье, гул... Тебя уносят двое
в фуфайках белых. Победитель твой
с улыбкой поднимает руку. Вой
приветственный, — и смех мой в этом вое.

Я вспоминаю, как недавно, там,
в гостинице зеркальной, встав с обеда, —
за взгляд и за ответный взгляд соседа
ты бил меня наотмашь по глазам.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей — глянь —
какая рыба голубая.

В Петровом бледном небе — штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

26 мая 1924

СМЕРТЬ

Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь.
Гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь...

И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю, —
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.

О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла: —
полет страницы, соскользнувшей —
при дуновенье — со стола...

1924

ОБ АНГЕЛАХ

1

Неземной рассвет блеском облил...
Миры прикатили: распрягай!
Подняты огненные оглобли.
Ангелы. Балаган. Рай.

Вспомни: гиганты промахивают попарно.
Торгуют безднами. Алый пар
от крыльев валит. И лучезарно
кипит божественный базар.

И, в этом странствуя сиянье,
там я купил — за песнь одну —
женскую душу и в придачу нанял
самую дорогую весну.

24 апреля 1924

2

Представь: мы его встречаем
вон там, где в лисичках пень, —
и был он необычаен,
как радуга — в зимний день!

Он хвойную занозу
из пятки босой тащил.
Сквозили снега и розы
праздно склоненных крыл.

Наш лес, где была черника
и телесного цвета грибы,
вдруг пронзен был дивным криком
золотой, неземной трубы!

И он нас увидел; замер,
оглянул людей, лес
испуганными глазами
и, вспыхнув крылом, исчез...

Мы вернулись домой с сырыми
грибами в узелке
и с рассказом о серафиме,
встреченном в сосняке.

8 июля 1924

МОЛИТВА

Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины, —
    и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
    пасхальный вопль опять растет!

Пылай, свеча, и трепетные пальцы
    жемчужинами воска ороси!
О милых мертвых думают скитальцы,
    о дальней молятся Руси...

А я молюсь о нашем дивьем диве, —
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси — душистую, родную!
Косноязычный сон ее гнетет...
Искажена, искромсана... но чую
ее невидимый полет!
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет!

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной, —
вся жизнь моя, огонь несметных свеч...
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы...
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь!..

3 мая 1924

* * *

Отдалась необычайно
на крыле тупом и плоском
исполинского Бехштайна,
и живая наша тайна
в глубине под черным лоском
глухо струны колебала.
Это было после бала, —
и, подобные полоскам
густо вытканной гуаши,
лунные лучи во мраке
отражались в черном лаке,
и глухие вопли наши
упоительно пронзали
бездны струнные Бехштайна,
нас принявшего случайно
после бала, в темном зале...

ИСХОД

Муза, с возгласом, со вздохом шумным,
у меня забилась на руках...
В звездном небе тихом и безумном
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, — как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека;

через Млечный Путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту, — о, муза, как нежданно! —
явственные невские мосты;

и, — задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую, как сугроб, — Исакий
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник в изумленье неземном;

и по тверди поднимался — тучей,
тускло озаренной изнутри, —
дом; и вереницею текучей
статуи, колонны, фонари —

таяли в просторах ночи синей, —
и, неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых...

Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли...
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая,
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща...

11 сентября 1924

КОСТЕР

На сумрачной чужбине, в чаще,
где ужас очертанья стер,
среди прогалины — горящий,
как сердце жаркое, костер!

Вокруг — синеющие тени,
и сквозь летающую сеть
теней и рдяных отражений —
склоненных лиц не рассмотреть.

Но, отгоняя сумрак жадный,
вот песня вспыхнула в тиши:
гори, костер, гори, отрадный!
Шинели наши осуши...

И снова — всколыхнулись плечи,
и снова — полнозвучный взмах:
кипят воинственные речи
и слезы светятся в глазах...

Зверье, блуждающее в чащах,
ночные духи и ветра
бегут от этих глаз горящих
и от поющего костра.

Зато — с каким благоговеньем,
с какою верой в трудный путь,
утешен пламенем и пеньем,
подходит странник отдохнуть...

26 ноября 1924

ТРИ ШАХМАТНЫХ СОНЕТА

1

В ходах ладьи — ямбический размер,
в ходах слона — анапест. Полутанец,
полурасчет — вот шахматы. От пьяниц
в кофейне шум, от дыма воздух сер.

Там Филидор сражался и Дюсер.
Теперь сидят — бровастый, злой испанец
и гном в очках. Ложится странный глянец
на жилы рук, а взгляд — как у химер.

Вперед ладья прошла стопами ямба.
Потом опять — раздумие. «Карамба,
сдавайтесь же!» Но медлит тихий гном.

И вот толкнул ногтями цвета йода
фигуру. Так! Он жертвует слоном:
волшебный шах и мат в четыре хода.

2

Движенья рифм и танцовщиц крылатых
есть в шахматной задаче. Посмотри:
тут белых семь, а черных только три
на световых и сумрачных квадратах.

Чернеет ферзь между коней горбатых,
и пешки в ночь впились, как янтари.
Решенья ждут и слуги, и цари
в резных венцах и высеченных латах.

Звездообразны каверзы ферзя.
Дразнящая, узорная стезя
уводит мысль, — и снова ум во мраке.
Но фея рифм — на шахматной доске
является, отблескивая в лаке,
и — легкая — взлетает на носке.

3

Я не писал законного сонета,
хоть в тополях не спали соловьи, —
но, трогая то пешки, то ладьи,
придумывал задачу до рассвета.

И заключил в узор ее ответа
всю нашу ночь, все возгласы твои,
и тень ветвей, и яркие струи
текучих звезд, и мастерство поэта.

Я думаю, испанец мой, и гном,
и Филидор — в порядке кружевном
скупых фигур, играющих согласно, —

увидят все, — что льется лунный свет,
что я люблю восторженно и ясно,
что на доске составил я сонет.

СТРАНА СТИХОВ

Дай руки, в путь! Найдем среди планет
пленительных такую, где не нужен
житейский труд. От хлеба до жемчужин
все купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет
в блаженный край, что музой обнаружен,
где нам дадут за рифму целый ужин
и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...
Какие дни! Как благостны закаты!
Кипят ключи кастальские во мгле.

И, глядя в ночь на лунные оливы,
в стране стихов, где боги справедливы,
как тосковать мы будем о земле!

26 октября 1924

К РОДИНЕ

Ночь дана, чтоб думать и курить
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркивает мышь,
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость — твоя...

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.

Так все тело — только образ твой,
и душа — как небо над Невой.

Покурю и лягу и засну,
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

⟨до 14 дек. 1924⟩

ВЕЛИКАН

Я вылепил из снега великана,
дал жизнь ему и в ночь на Рождество
к тебе, в поля, через моря тумана,
я, грозный мастер, выпустил его.
Над ним кружились вороны — как мухи
над головою белого быка...
Его не вьюги создали, не духи,
а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, — близился он к цели,
шагал, — неотразимый, как зима.
Охотники, плутавшие в метели,
его видали и сошли с ума.
И вот достиг он твоего предела —
и замер вдруг: цвела твоя страна.
Была ты счастлива, дышала, рдела,
в твоей стране всем правила весна!
Проста, легка, с душою шелковистой,
ты в солнечной скользила тишине —
и новому попутчику так чисто,
так гордо говорила обо мне!

И, перед этим солнцем отступая,
поняв, что с ним соперничать нельзя,
растаяла тоска моя слепая,
вся синевой весеннею сквозя...

13 декабря 1924

ШЕКСПИР

Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал; чтил пышные заветы, —
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки, —
все было как у всех... Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.

Надменно-чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, — но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий... Ты здесь, ты жив, — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете...
И то сказать: труды твои привык

подписывать — за плату — ростовщик,
тот Вилль Шекспир, что «тень» играл в «Гамлете»,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат; ты покидал отчизну...
Италию ты видел... Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал — на балкон — высокого инглеза,
томимого лимонною луной
на улицах Вероны... Мне охота
воображать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою, — невзначай,
пока меняли лошадей, — и, верно,
был вечер синь... в колодце, за таверной,
ведро звенело чисто... Отвечай, —
кого любил? Откройся, — в чьих записках
ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след, —
каких имен не сыщешь у Брантома! —
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немыслимый поэт!

Нет... В должный час, когда почуял — гонит
тебя Господь из жизни, — вспоминал
ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо, —
что навсегда, в пыли столетий зыбкой,
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие... И вдаль ушел, с улыбкой...

28 февраля 1924

ВОЛЧОНОК

Один, в Рождественскую ночь, скулит
и ежится волчонок желтоглазый.
В седом лесу лиловый свет разлит,
    на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,
мерцая, ангелам щекочут пятки.
Взъерошенный волчонок ждет чудес,
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих
все ходят и советуются тихо,
и вот один прикинулся из них
большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.
Волчонку, елкам, звездным небесам —
всем было в эту ночь отрадно.

ОВЦА

Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул — и было
виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,
сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиленье, вся прохлада
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,
по белизне и бубенцу
я вдруг узнал, пастух ревнивый,
свою пропавшую овцу.

11 декабря 1924
Берлин

КОНЬКОБЕЖЕЦ

Плясать на льду учился он у Музы, —
у зимней Терпсихоры... Погляди:
открытый лоб, и черные рейтузы,
и огонек медали на груди.

Он вьется, — и под молнией алмазной
его непостижимого конька
ломается, растет звездообразно
узорное подобие цветка.

И вот на льду, густом и шелковистом,
подсолнух обрисован. Но постой —
не я ли сам, с таким певучим свистом,
коньком стиха блеснул перед тобой?

Оставил я один узор словесный,
мгновенно раскружившийся цветок...
И завтра снег бесшумный и отвесный
запорошит исчерченный каток.

5 февраля 1925

* * *

Пою. Где ангелы? В разлуке
я проживаю с ними, ведь:
и еле слышимые звуки...
«И неколышимая медь»...
Прошла. Устало оглянулась.
Ты видишь Блютнера рояль?
К бемолям, сидя, прикоснулась —
и еле слышима педаль.
Домов и кубиков ступени.
Над крышей проволоки сеть.
Волью изысканное пенье
я в неколышимую медь.

БЕРЛИНСКАЯ ВЕСНА

Нищетою необычной
на чужбине дорожу.
Утром в ратуше кирпичной
за конторкой не сижу.

Где я только не шатаюсь
в пустоте весенних дней! —
И к подруге возвращаюсь
все позднее и поздней.

В полумраке стул задену
и, нащупывая свет,
так растопаюсь, что в стену
стукнет яростно сосед.

Утром он наполовину
открывать окно привык,
чтобы высунуть перину,
как малиновый язык.

Утром музыкант бродячий
двор наполнит до краев
при участии горячей
суматохи воробьев.

Понимают, слава Богу,
что всему я предпочту
дикую мою дорогу,
золотую нищету!

14 мая 1925

ИЗГНАНЬЕ

Я занят странными мечтами
в часы рассветной полутьмы:
что, если б Пушкин был меж нами —
простой изгнанник, как и мы?

Так, удалясь в края чужие,
он вправду был бы обречен

«вздыхать о сумрачной России»,
как пожелал однажды он.

Быть может, нежностью и гневом, —
как бы широким шумом крыл, —
еще неслыханным напевом
он мир бы ныне огласил.

А может быть, и то: в изгнанье
свершая страннический путь,
на жарком сердце плащ молчанья
он предпочел бы запахнуть, —

боясь унизить даже песней,
высокой песнею своей,
тоску, которой нет чудесней,
тоску невозвратимых дней...

Но знал бы он: в усадьбе дальней
одна душа ему верна,
одна лампада тлеет в спальне,
старуха вяжет у окна.

Голубка дряхлая дождется!
Ворота настежь... Шум живой...
вбежит он, глянет, к ней прижмется
и все расскажет — ей одной...

1925

СОН

Однажды ночью подоконник
дождем был шумно орошен.
Господь открыл свой тайный сонник
и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомою тревогой,
рыданье ночи дом трясло.
Мой сон был синею дорогой
через тенистое село.

Под мягкой грудою колеса
скрипели глубоко внизу:

я навзничь ехал с сенокоса
на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо,
при каждом повороте сна
скрипела и кренилась рама
дождем дышавшего окна.

И я — в своей дремоте синей —
не знал, что́ истина, что́ сон:
та ночь на роковой чужбине,
той рамы беспокойный стон, —

или ромашка в теплом сене
у самых губ моих, вот тут,
и эти лиственные тени,
что сверху кольцами текут...

1925

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Нам, потонувшим мореходам,
похороненным в глубине
под вечно движущимся сводом,
являлся старый порт во сне:

кайма сбегающая пены,
на камне две морских звезды,
из моря выросшие стены
в дрожащих отблесках воды...

Но выплыли и наши души,
когда небесная труба
пропела тонко, и на суше
распались с грохотом гроба.

И к нам туманная подходит
ладья апостольская, в лад
с волною дышит и наводит
огни двенадцати лампад.

Все, чем пленяла жизнь земная,
всю прелесть, теплоту, красу

в себе божественно вмещая,
горит фонарик на носу.

Луч окунается в морские,
им разделенные струи,
и наших душ ловцы благие
берут нас в тишину ладьи.

Плыви, ладья, в туман суровый,
в залив играющий влетай,
где ждет нас городок портовый,
как мы, перенесенный в рай.

19 июля 1925
Франция

РАЙ

Любимы ангелами всеми,
толпой глядящими с небес,
вот люди зажили в Эдеме, —
и был он чудом из чудес.
Как на раскрытой Божьей длани,
я со святою простотой
изображу их на поляне,
прозрачным лаком залитой,
среди павлинов, ланей, тигров,
у живописного ручья...
И к ним я выберу эпиграф
из первой Книги Бытия.

Я тоже изгнан был из рая
лесов родимых и полей,
но жизнь проходит, не стирая
картины в памяти моей.
Бессмертен мир картины этой,
и сладкий дух таится в нем:
так пахнет желтый воск, согретый
живым дыханьем и огнем.
Там, по написанному лесу
тропами смуглыми брожу, —
и сокровенную завесу
опять со вздохом завожу...

ПУТЬ

Великий выход на чужбину,
как дар божественный, ценя,
веселым взглядом мир окину,
отчизной ставший для меня.

Отраду слов скупых и ясных
прошу я Господа мне дать, —
побольше странствий, встреч опасных,
в лесах подальше заплутать.

За поворотом, ненароком,
пускай найду когда-нибудь
наклонный свет в лесу глубоком,
где корни переходят путь, —

то теневое сочетанье
листвы, тропинки и корней,
что носит — для души — названье
России, родины моей.

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ОВЦЫ

(*Из Сеймаса о'Суливана*)

Тихо проходит
в сумерках серых
по мокрой дороге
стадо овец.
Пробираются тихо
они в полумраке
по мокрой дороге,
что вьется чрез город.
Тихо проходят,
блистая, белея
и вот уж скрываются
в сумерках серых.
Так прошлые дни
всплывают на миг,
блистают на миг
и снова бледнеют;
те белые дни,
когда мы с тобой
в час вечерний брели
там, где овцы паслись;
когда мы с тобою
шли поступью медленной
в сумерках серых,
где овцы паслись...
Белеют они
и чрез миг исчезают
в горестной дымке
заплаканных лет;

блистают на миг
и, туманясь, уходят
в серую тень
разлучающих лет.

OUT OF THE STRONG, SWEETNESS!

(*Из Сеймаса о'Суливана*)

Свет пасмурный утра земли.
Равнины дрожащие вод.
Полуизгнан хаос
из туманности моря и суши,
и очи богов
сквозь сумрак глядят;
очи богов, и молчанье,
и трепет от смеха богов.
И там, одиноко в тумане, —
тонкие, нежные, робкие,
с большими от страха глазами
олени стоят.
И шепот — он тише, чем мысль:
«Малые, кроткие твари,
в заветной лесной глубине
вас ждет тишина, ваш приют.
Спрячьтесь от взоров и смеха богов
в лиственный мрак».

СОНЕТ

(*Из Пьера Ронсара*)

Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам
стихов моих дивясь и грезя у огня,
вы скажете, лицо над пряжею склоня:
«Весна моя была прославлена Ронсаром», —

при имени моем служанка в доме старом,
уже дремотою работу заменя,
очнется, услыхав, что знали вы меня,
вы, озаренная моим бессмертным даром.

Я буду под землей, и, призрак без костей,
покой я обрету средь миртовых теней.
Вы будете, в тиши, склоненная, седая,

жалеть мою любовь и гордый холод свой.
Не ждите — от миртовых дней, цените день живой,
спешите розы взять у жизненного мая.

АЛЬБАТРОС

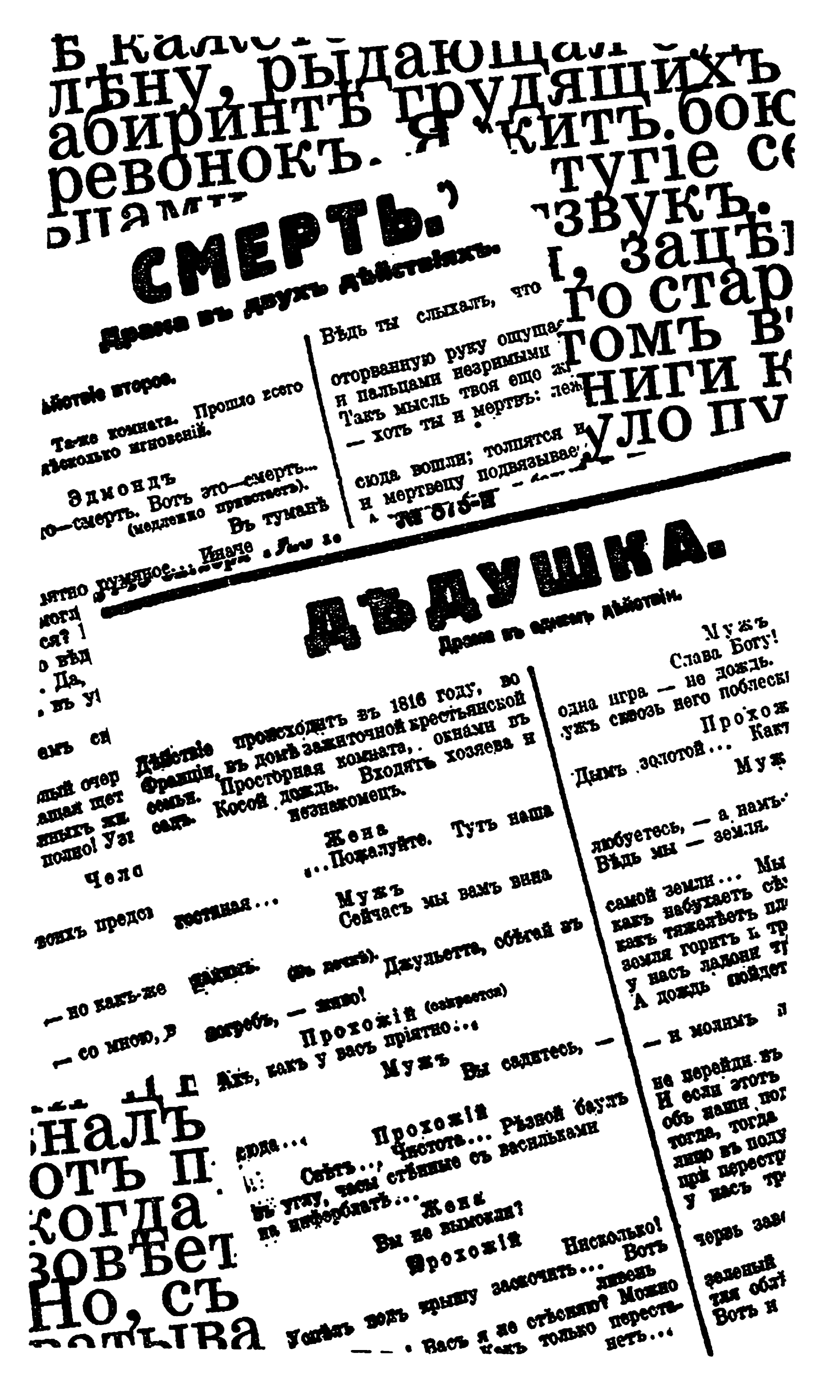
(*Из Шарля Бодлера*)

Бывало, по зыбям скользящие матросы
средь плаванья берут, чтоб стало веселей,
великолепных птиц, ленивых альбатросов,
сопровождающих стремленье кораблей.

Как только он людьми на палубу поставлен,
лазури властелин, неловок и уныл,
старается ступать, и тащатся бесславно
громады белые отяжелевших крыл.

Воздушный странник тот — какой он неуклюжий!
Та птица пышная — о, как смешит она!
Эй, трубкою тупой мазни его по клюву,
шагнув, передразни калеку-летуна...

Поэт похож на них — царей небес волнистых:
им стрелы не страшны, и буря им мила.
В изгнанье — на земле, — средь хохота и свиста,
мешают им ходить огромные крыла.


лѣну, рыдающая
абиринтъ грудящихъ
ревонокъ.
китъ. бою
тугіе се
звукъ.
СМЕРТЬ.
Драма въ двухъ дѣйствіяхъ.
Дѣйствіе второе.
Та-же комната. Прошло всего нѣсколько мгновеній.
Эдмондъ
—смерть. Вотъ это—смерть...
(медленно привстаетъ).
Въ туманѣ
Иначе
Вѣдь ты слыхалъ, что
оторванную руку ощуща
и пальцами незримыми
Такъ мысль твоя еще ж
— хоть ты и мертвъ: леж
сюда вошли; толпятся и
и мертвецу подвязывае
зацѣ
го стар
томъ в
ниги к
уло пу
ДѢДУШКА.
Драма въ одномъ дѣйствіи.
Дѣйствіе происходитъ въ 1816 году, во Франціи, въ домѣ зажиточной крестьянской семьи. Просторная комната, окнами въ садъ. Косой дождь. Входятъ хозяева и незнакомецъ.
Жена
...Пожалуйте. Тутъ наша гостиная...
Мужъ
Сейчасъ мы вамъ вина
Джульетта, обѣгай въ погребъ, — живо!
Прохожій (озирается)
Ахъ, какъ у васъ пріятно...
Мужъ
Вы садитесь, —
Прохожій
Свѣтъ... чистота... Рѣзной баулъ въ углу, часы стѣнные съ васильками на циферблатѣ...
Жена
Вы не вымокли?
Прохожій
Нисколько! Вотъ успѣлъ подъ крышу заскочить... ливень
Васъ я не стѣсняю? Можно
какъ только переста-нетъ...
Мужъ
Слава Богу!
не дождь.
одна игра — не дождь.
уже сквозь него поблески
Прохож
Дымъ золотой...
Мужъ
любуетесь, — а намъ
Вѣдь мы — земля.
самой земли... Мы
какъ набухаетъ
какъ тяжелѣетъ
земля горитъ
у насъ ладони
А дождь пойдетъ
— и молимъ
не перейди въ
И если этотъ
тогда, тогда
налъ
отъ п
когда
зовѣтъ
Но, съ

Драматические произведения

1923 — 1924

СКИТАЛЬЦЫ

Вивиан Калмбруд
(Vivian Calmbrood)
1798 г. Лондон

Трагедия в четырех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Трактир «Пурпурного Пса». Колвил — хозяин — и Стречер — немолодой купец — сидят и пьют.

Стречер

Я проскочил, он выстрелил... Огонь
вдогонку мне из дула звучно плюнул
и эхо рассмешил и шляпу сдунул;
нагнулся я, — и вынес добрый конь...
Вина, вина испуг мой томный просит...
Я чувствую, — разбойник мой сейчас
свой пистолет дымящийся поносит
словами окровавленными!

Колвил

Спас
тебя Господь! Стрелок он беспромашный,
а вот поди ж — чуть дрогнула рука.

Стречер

Мне кажется, злодей был пьян слегка:
когда он встал, лохматый, бледный, страшный,
мне, ездоку, дорогу преградив, —
поверишь ли, — как бражник он качался!

Колвил

Да, страшен он, безбожен, нерадив...
Ох, Стречер, друг, я тоже с ним встречался!
Сам посуди, случилось это так:
я возвращался с ярмарки и лесом

поехал я, — сопутствуемый бесом
невидимым. Доверчивый простак,
я песенку мурлыкал. Под узорной
листвой дубов луна лежала черной
и серебристой шашечницей. Вдруг
он выскочил из лиственного мрака
и — на меня!

Стречер

Ой, грех, — мой бедный друг!

Колвил

Не грех, а срам! Как битая собака,
я стал юлить (я — видишь ли — кошель
червонцев вез) и выюлил пощаду...
«Кабатчик, шут, — воскликнул он, — порадуй
побасенкой — веселою, как хмель,
бесстыдною, как тысяча и десять
нагих блудниц, да сочною, как гусь
рождественский! Потешь меня, не трусь,
ведь все равно потом тебя повесить
придется мне». Но худо я шутил...
«Слезай с коня», — мучитель мой промолвил.
Я плакать стал; сказал, что я, Джон Колвил, —
пес, раб его; над страхом распустил
атласный парус лести; побожился,
что в жизни я не видел жирных дней;
упомянул о Сильвии моей
беспомощной, — и вдруг злодей смягчился:
«Я, — говорит, — прощу тебя, прощу
за имя сладкозвучное, которым
ты назвал дочь; но, помни, — с договором!
Лишь верю я вот этому пращу
носатому, с комком сопли свинцовой
в ноздре стальной — всегда чихнуть готовой
и тьму прожечь мокротой роковой...
Но так и быть: поверю и Горгоне,
уродливо застывшей предо мной.
Вот договор: в час бури иль погони
пускай найду в твоем трактире «Пса
Пурпурного» приют ненарушимый,

бесплатный кров; я часто крался мимо,
хохочущие слышал голоса,
завидовал... Ну что же, ты согласен?»
Он отдал мне червонцы, и бесстрастен
был вид его. Но странно: теплоту
и жажду теплоты — я, пес трусливый,
почуял в нем, как чуешь в день тоскливый
стон журавлей, в туманах на лету
рыдающих... С тех пор раз восемь в месяц
приходит он спокойно в мой кабак,
как лошадь пьет грозит меня повесить
иль Сильвию, шутя, вгоняет в мак.

Входит Сильвия.

Вот и она. Ты побеседуй, Стречер,
а у меня есть дело...
(Уходит в боковую дверь.)

Стречер

Добрый вечер,
медлительная Сильвия; я рад,
что здесь, опять, склоняюсь неумело
перед тобой; что ты похорошела;
что темные глаза твои горят,
лучистого исполнены привета,
прекрасные, как солнечная ночь, —
когда б Господь дозволил чудо это...

Сильвия

Смеетесь вы...

Стречер

Смеяться я не прочь;
но, Сильвия, смеяться я не смею
перед святыней тихой чистоты...

Сильвия

Мы с мая вас не видели...

Стречер

И ты
скучала?

Сильвия

Нет. Скучать я не умею:
все Божьи дни — души моей друзья,
и нынешний — один из них...

Стречер

Мне мало...
Ах, Сильвия, ты все ли понимала,
когда вот здесь тебе молился я,
и вел с тобой глубокую беседу,
и объяснял, что на лето уеду,
чтоб ты могла обдумать в тишине
мои слова. Печально, при луне,
уехал я. С тех пор тружусь, готовлю
грядущее. В июне я торговлю
открыл в недальнем Гровсей. Я теперь
уж не бедняк... О Сильвия, поверь,
куплю тебе и кольца, и запястья,
и гребешки... Уже в мешках моих
немало тех яичек золотых,
в которых спят — до срока — птицы счастья...

Сильвия

Вы знаете, один мне человек
на днях сказал: нет счастия на свете;
им грезят только старики да дети;
нет счастия, а есть безумный бег
слепого, огневого исполина,
и есть дешевый розовый покой
двух карликов из воска. Середина
отсутствует...

Стречер

Да, сказано... Какой
дурак изрек загадку эту?

Сильвия

Вовсе
он не дурак!

Стречер

А! Знаю я его!
Не царствует ли это божество

в глухих лесах от Глумиглэн до Гровсей
и по дороге в Старфильд?

Сильвия

Может быть...

Стречер

Так этот волк, так этот вор кровавый
тебе, тебе приятен? Боже правый!
Отец твой — трус: он должен был убить,
убить его, ты слышишь? Что ж, прекрасно
устроился молодчик: пьет и жрет
да невзначай красотку подщипнет...
У, гадина!..

Сильвия

Он — человек несчастный...

Незаметно возвращается Колвил.

Стречер

Несчастного сегодня встретил я...
Конь шагом шел, в седле дремал я сладко;
вдруг из кустов он выполз, как змея;
прищурился, прицелился украдкой;
тогда, вздохнув — мне было как-то лень, —
я спешился и так его шарахнул,
так кулаком его по брылам трахнул,
что крикнул он и тихо сел на пень,
кровавые выплевывая зубы...
«Несчастный» — ты сказала? Да ему бы
давно пора украсить крепкий сук
осиновый! «Несчастный» — скажет тоже!
Он подошел, а я его по роже
как звездану...

Колвил

Э, полно, полно, друг!
Хоть ты у нас боец небезызвестный, —
но мнится мне, что воду правды пресной
ты подцветил вином невинной лжи.

Стречер

Ничуть... Ничуть!

Колвил

Твой подвиг беспримерен,
и ты — герой; но, друг мой, расскажи,
как это так, что в мыле смирный мерин,
а сам герой без шапки прискакал?

Сильвия

Оставь, отец: меня он развлекал
лишь вымыслом приятным и искусным.
Он говорил...

Стречер

Я говорил одно:
я говорил, что Сильвии смешно
умильничать с бродягой этим гнусным,
я говорил, что кровью все леса
измызгал он, что я его, как пса...

Колвил

Довольно, друг! Задуй свой гнев трескучий,
не прекословь девическим мечтам;
ведь сто очей у юности, и там,
где видим мы безобразные тучи,
она увидит рыцарей, щиты,
струящиеся перья и кресты
лучистые на сумрачных кольчугах.
Расслышит юность в бухающих вьюгах
напевы дивья. Юность любит тьму
лесную, тьму высоких волн, туманы,
туманы и туманы, — потому,
что там, за ними, радужные страны
угадывает юность... Подожди,
о, подожди, — умолкнут птицы-грезы,
о сказочном сверкающие слезы
иссякнут, верь, как теплые дожди
весенние, и выцветут виденья...

Стречер

Давно я жду, и в этом наслажденья
не чувствую; давно я, как медведь,
вокруг дупла душистого шатаюсь,
не смея тронуть мед... Я допытаюсь,

я доберусь... Я требую ответ,
насмешливая Сильвия: пойдешь ли
ты за меня?..

Стук в наружную дверь.

Слыхали?.. Этот стук...
Он, может быть...

Колвил

О нет; наш вольный друг
стучит совсем иначе.

Стук повторный.

Голос за дверью

Отопрешь ли,
телохранитель Вакха?

Колвил

Это он, —
хоть стук и необычен. Стречер, милый,
куда же ты?

Стречер

Я очень утомлен,
пойду я спать...

Голос

Открой! Промокли силы...
Ох, жизнь мою слезами гасит ночь.

Стречер

Я, право, утомлен...

Колвил

Ступай же, дочь,
впусти его; а нашему герою
тем временем я норку покажу.

Колвил и Стречер уходят.

Голос

Да это гроб, а не кабак!..

Сильвия *(идет к двери)*

Открою,
открою...

Входит Проезжий.

Ах!..

Проезжий

Однако — не скажу,
красавица, чтоб ты спешить любила,
хоть ты любить, пожалуй, и спешишь...
Да что с тобой? Ты на меня глядишь
растерянно... Ведь я же не грабила...

Сильвия

Простите, путник строгий...

Проезжий

Позови
хозяина. Прости и мне: брюзгливо
я пошутил; усталость неучтива.
Мне нравятся печальные твои
ресницы.

Сильвия

Плащ снимите да садитесь
сюда, к огню.

Сильвия выходит в боковую дверь. Меж тем кучер и трактирный слуга вносят вещи Проезжего и выходят опять. Он же располагается у камина.

Проезжий

Ладони, насладитесь
живым теплом алеющих углей!
Подошвы, задымитесь, пропуская
блаженный жар! И ты будь веселей,
моя душа! Смотрю в огонь: какая
причудливая красочность! Смотрю —
и город мне мерещится горящий,
и вижу я сквозь траурные чащи
пунцовую, прозрачную зарю,

и голубые ангелы на глыбах
оранжевых трепещут предо мной!
А то в подвижных пламенных изгибах
как будто лик мне чудится родной:
улыбка мимолетная блистает,
струятся пряди призрачных волос, —
но паутина радужная слез
перед глазами нежно расцветает
и ширится, скрывая от меня
волшебный лик — мой вымысел минутный, —
и вновь сижу я в полумгле уютной,
обрызганной рубинами огня...

Входит Колвил.

Колвил *(про себя)*

Дочь не шутила... Впрямь он незнаком мне...
Но голос...

Проезжий

Здравствуй, друг бездомных! Помни
пословицу: кто всем приют дает,
себе приют в любой звезде найдет...

Колвил

Мне голос ваш напомнил, ваша милость,
ночь в глушнике...

Проезжий

...И, верно, вой зверей
голодных. Да, душа моя затмилась
от голода... Но прежде — лошадей
и моего возницу (мы изрядно
сегодня потрепались) накорми.

Колвил

Слуга мой Джим займется лошадьми
и остальным... Но вам, о гость отрадный,
чем услужу? Тут, в погребе сыром,
есть пенистое пиво, рьяный ром,
степенный порт, малага-чародейка...

Проезжий

Я голоден!

Колвил

Есть жирная индейка
с каштанами, телятина, пирог,
набитый сладкой дичью...

Проезжий

Это вкусно.
Тащи скорей.

Хозяин и дочь его хлопочут у стола.

(Про себя.)
Узнать, спросить бы... да,
спрошу... нет, страшно...

Колвил *(суетится)*

Хлеб-то где ж? Беда
с тобою, дочь!

Проезжий *(про себя)*

Спрошу...

Колвил

Червяк капустный —
ох, Сильвия — в салат попал опять!

Проезжий *(про себя)*

Нет...

Колвил

Кружку! Да не эту! Вот разиня...
Да двигайся! Подумаешь, — богиня
ленивая... Ну вот. Ты можешь спать
теперь идти.

Сильвия уходит.

Проезжий *(садится за стол)*

Отселе — далеко ли
до Старфильда?

Колвил

Миль сорок пять, не боле.

Проезжий

Там... в Старфильде... семья есть... Фаэрнэт, —
не знаешь ли? Быть может, вспомнишь?

Колвил

Нет,
не знаю я; бываю редко в этом
плющом увитом, красном городке.
В последний раз, в июне этим летом,
на ярмарке...
(Смолкает, видя, что Проезжий задумался.)

Проезжий *(про себя)*

Там, в милом липнике,
я первую прогрезил половину
нескучной жизни. Завтра, чуть рассвет,
вернусь туда; на циферблате лет
назад, назад я стрелку передвину,
и снова заиграют надо мной
начальных дней куранты золотые...
Но если я — лишь просеки пустые
кругом найду, но если дом родной
давно уж продан, — Господи, — но если
все умерли, все умерли, и в кресле
отцовском человек чужой сидит,
и заново обито это кресло,
и я пойму, что детство не воскресло,
что мне в глаза с усмешкой смерть глядит!
(Вздыхает и принимается есть.)

Колвил

Осмелюсь понаведаться: отколе
изволите вы ехать?

Проезжий

Да не все ли
тебе равно? И много ль проку в том,
что еду я, положим, из Китая, —

где в ноябре белеют, расцветая,
вишневые сады, пока в твоем
косом дворце огонь, со стужей споря,
лобзает очарованный очаг?..

Колвил

Вы правы, да, вы правы... Я — червяк
в чехольчике... Не видел я ни моря,
ни синих стран, сияющих за ним, —
но любопытством детским я дразним...
Тяжелый желтый фолиант на рынке
для Сильвии задумчивой моей
я раз купил; в нем странные картинки,
изображенья сказочных зверей,
гигантских птиц, волов золоторогих,
людей цветных иль черных, одноногих
иль с головой, растущей из пупа...
Отец не слеп, а дочка не глупа:
как часто с ней, склонившись напряженно,
мы с книгою садимся в уголке,
и, пальчиком ее сопровожденный,
по лестницам и галереям строк,
давясь, бредет морщинистый мой палец,
как волосатый сгорбленный скиталец,
вводимый бледным маленьким пажом
в прохлады короля страны чудесной!..
Но я не чувствую, что здесь мне тесно,
когда в тиши читаю о чужом
чарующем, причудливом пределе;
довольствуюсь отчизною. Тепло,
легко мне здесь, где угли эти рдели
уж столько зим, метелицам назло...

Проезжий *(набивая трубку)*

Ты прав, ты прав... В бесхитростном покое
ты жизнь цедишь... Все счастие мирское
лишь в двух словах: «я дома...»

Троекратный стук в дверь.

Колвил *(идет к двери)*

Вот напасть...

Осторожно входит Разбойник.

Разбойник

Пурпурный пес, виляй хвостом! Я снова
пришел к тебе из царствия лесного,
где ночь темна, как дьяволова пасть!

Он и Колвил подходят к камину. Проезжий сидит и курит в другом конце комнаты и не слышит их речей.

Мне надоела сумрачная пышность
дубового чертога моего...
Ба! Тут ведь пир! Кто это существо
дымящее?

Колвил

Проезжий, ваша хищность.
Он возвращается из дальних стран,
из-за морей...

Разбойник

...А может быть, из ада?
Не правда ли? Простужен я и пьян...
Дождь — эта смесь воды святой и яда —
всю ночь, всю ночь над лесом моросил;
я на заре зарезал двух верзил,
везущих ром, и пил за их здоровье
до первых звезд, — но мало, мало мне:
хоть и тяжел, как вымище коровье,
в твой кабачок зашел я, чтоб в вине
промыть свою раздувшуюся душу;
отрежь и пирога.
(Подходит к Проезжему.)
Кто пьет один,
пьет не до дна. Преславный господин,
уж так и быть, подсяду я, нарушу
задумчивость лазурного венка,
плывущего из вашей трубки длинной...

Проезжий

Тем лучше, друг. Печалью беспричинной
я был увит.

Разбойник

Простите простака,
но этот луч на смуглой шуйце вашей
не камень ли волшебный?

Проезжий

Да, — опал.
В стране, где я под опахалом спал,
он был мне дан царевною, и краше
царевны — нет.

Разбойник

Позвольте, отчего ж
смеетесь вы — так тонко и безмолвно?
Или мое невежество...

Проезжий

Да полно!
Смешит меня таинственная ложь
моих же чувств: душа как бы объята
поверием, что это все когда-то
уж было раз: вопрос внезапный ваш
и мой ответ; мерцанье медных чаш
на полке той; худые ваши плечи
и лоск на лбу высоком, за окном —
зеркальный мрак; мечтательные свечи
и крест теней на столике резном;
блестящие дубовые листочки
на ручках кресла выпуклых и точки
огнистые, дрожащие в глазах
знакомых мне...

Разбойник

Пустое... Лучше мне бы
порассказали вы: в каких морях
маячили, ночное меря небо?
Что видели? Где сердце и следы
упорных ног оставили, давно ли
скитаетесь?

Проезжий

Да что ж, по Божьей воле,
семнадцать лет... Эй, друг, дай мне воды,
во мне горит твое сухое тесто.

Колвил *(не оглядываясь, из другого конца комнаты)*

Воды? Воды? Вот чудо-то... Сейчас.

Разбойник

Семнадцать лет! Успела бы невеста
за это время вырасти для вас
на родине... Но, верно, вы женаты?

Проезжий

Нет. Я оставил в Старфильде родном
лишь мать, отца и братьев двух...

Колвил *(приносит и ставит воду перед Разбойником)*

Вином
вы лучше бы запили...

Разбойник

Шут пузатый!
Куда ж ты прешь? Куда ж ты ставишь, пес?
Не я просил, — а дурень мне принес!
Ведь я не роза и не рыба... Что же
ты смотришь так?

Колвил

Но ваши голоса
так жутко, так причудливо похожи!

Проезжий

Похожи?..

Колвил

Да: как морось и роса,
Заря и зарево, слепая злоба
и слепота любви; и хриплы оба:
один — от бочек выпитых, другой —
простите мне, о гость мой дорогой, —
от тайной грусти позднего возврата...

Разбойник *(обращаясь к Проезжему)*

Как звать тебя?

Проезжий

Мне, право, странно...

Разбойник

Нет,
ответь!..

Проезжий

Извольте: Эрик Фаэрнэт.

Разбойник

Ты, Эрик, ты? Не помнишь, что ли, брата?
Роберта?

Эрик

Господи, не может быть!..

Роберт

Не может быть? Пустое восклицанье!..

Эрик

О милый брат, меня воспоминанье
застывшее заставило забыть,
что должен был твой облик измениться...
Скорей скажи мне: все ли живы?

Роберт

Все...

Эрик

Благодарю вас, дни и ночи!.. Мнится,
уж вижу я — на светлой полосе
родной зари — чернеющую крышу
родного дома; мнится мне, уж слышу
незабываемый сладчайший скрип
поспешно открываемой калитки...
Брат, милый брат, все так же ль листья лип
лепечут упоительно? Улитки
все так же ль после золотых дождей
на их стволах вытягивают рожки?
Рыжеют ли коровы средь полей?

Выходят ли на мокрые дорожки
танцующие зайчики? Скажи,
все так же ли в зеленой полумгле
скользит река? И маленькие маки
алеют ли в тумане теплой ржи?
А главное: как вам жилось, живется?
Здорова ль мать и весел ли отец?
Как брат Давид, кудрявый наш мудрец?
Все так же ль он за тучи молча рвется,
в огромные уткнувшись чертежи?
И кто ты сам? Что делаешь, скажи?
Я признаюсь: мне вид твой непонятен;
в глазах — тоска, и сколько дыр и пятен
на этих кожаных одеждах... Что ж,
рассказывай!

Роберт

Ты хочешь? Пес пурпурный,
скажи — кто я?

Колвил

Вы — честный...

Роберт

Лжешь...

Колвил

Вы — честный, но мятежный...

Роберт

Лжешь...

Колвил

Вы — бурный,
но добрый...

Роберт

Лжешь!

Колвил

Вы — князь лесной, чей герб —
кистень, а эпитафия — веревка!

Роберт

Вот это так! Ты, брат, слыхал? Что, ловко?

Эрик

Не шутку ли ты шутишь?..

Роберт

Нет. В ущерб
твоей мечте — коль ты мечтал увидеть
все качества подлунные во мне, —
разбойник я, живущий в глубине
глухих лесов... Как стал я ненавидеть
сиянье дня, как звезды разлюбил,
как в лес ушел, как в первый раз убил —
рассказывать мне скучно... Я заметил —
зло любит каяться, а добродетель —
румяниться; но мне охоты нет
за нею волочиться... Доблесть — бред,
день — белый червь, жизнь — ужас бесконечный
очнувшегося трупа в гробовом
жилище...

Эрик

Словно в зеркале кривом
я узнаю того, чей смех беспечный
так радовал, бывало, нашу мать...

Роберт

Убийца я!

Эрик

Молчи же...

Роберт

...бесшабашный
убийца!

Эрик

О, молчи! Мне сладко, страшно
над бездною склоняться и внимать
твоим глазам, беспомощно кричащим
на ломаном и темном языке

о царстве потонувшем, о тоске
изгнанья...

Роберт

Брат! По черным, чутким чащам —
живуч, как волк, и призрачен, как рок, —
крадусь, таюсь, взвинтив тугой курок:
убийца я!

Эрик

Мне помнится: в далеком
краю, на берегу реки с истоком
неведомым, однажды, в золотой
и синий день, сидел я под густой
лоснящейся листвою, и кричали,
исполнены видений и печали,
лазоревые птицы, и змея
блестящая спала на теплом камне;
загрезил я, — как вдруг издалека мне
послышалось пять шорохов и я
увидел вдруг между листов узорных
пять белоглазых, красногубых, черных
голов... Я встал — и вмиг был окружен...
Мушкет мой был, увы, не заряжен,
а слов моих они не понимали;
но, сняв с меня одежды, дикари
приметили вот это... посмотри...
головки две на выпуклой эмали —
ты и Давид: тебе здесь восемь лет,
Давиду — шесть; я этот амулет —
дар матери — всегда ношу на теле;
и тут меня он спас на самом деле:
поверишь ли, что эти дикари
метнулись прочь, как тени — от зари,
ослеплены смиренным талисманом!

Роберт

О, говори! Во мне светлеет кровь...
Не правда ль, мир — любовь, одна любовь, —
румяных уст привет устам румяным?
Иль мыслишь ты, что жизнь — больного сон?

Что человек, должник природы темной,
отплачивать ей плачем обречен?
Что зримая вселенная — огромный,
холодный монастырь, и в нем земля —
черница средь черниц золотоглазых —
смиренно смерти ждет, чуть шевеля
губами? Нет! В живых твоих рассказах
не может быть печали; уловлю
в их кружеве улыбку... Брат! Давно я
злодействую, но и давно скорблю!
Моя душа — клубок лучей и гноя,
смесь жабы с лебедем... Моя душа —
молитва девушки и бред пирата;
звезда в лазури царственной и вша
на смятом ложе нищего разврата!
Как женщина брюхатая, хочу,
хочу я Бога... Бога... слышишь, — Бога!
Ответь же мне, — ты странствовал так много! —
ответь же мне — убийце, палачу
своей души, замученной безгласно, —
встречал ли ты Его? Ты видел взор
персидских звезд; ты видел, странник страстный,
сияющие груди снежных гор,
поднявшие к младенческой Авроре
рубины острые; ты видел море, —
когда луна голодная зовет
его, дрожит, с него так жадно рвет
атласные живые покрывала
и все сорвать не может...
                                        И ласкал
мороз тебя в краю алмазных скал,
и вьюга в исступленье распевала...
А то вставал могучий южный лес,
как сладострастие, глубоко-знойный;
ты в нем плутал, любовник беспокойный,
распутал волоса его; залез,
трепещущий, под радужные фижмы
природы девственной... Счастливый брат!
Ты видел все и все привез назад,
что видел ты! Так слушай: дай мне, выжми

весь этот мир, как сочно-яркий плод,
сюда, сюда, в мою пустую чашу:
сольются в ней огонь его и лед;
отпраздную ночную встречу нашу;
добро со злом; уродство с красотой,
как влагу сказочную, выпью!..

Эрик

Стой!
Твои слова безумны и огромны...
Ты мечешься, обломки мысли темной
неистово сжимая в кулаке,
и тень твоя — вон там, на потолке, —
как пьяный негр, шатается. Довольно!
Я понял ночь, увидя светляка:
в душе твоей горит еще тоска, —
а было некогда и солнце... Больно
мне думать, брат, о благостном былом!
Ты помнишь ли, как наша мать, бывало,
нас перед сном так грустно целовала,
предчувствуя, что ангельским крылом
не отвратить тлетворных дуновений,
самума сокрушительных тревог?..
Ты помнишь ли, как дышащие тени
блестящих лип ложились на порог
прохладной церкви и молились с нами?
Ты помнишь ли: там девушка была
с глубокими пугливыми глазами,
лазурными, как в церкви полумгла;
две розы ей мы как-то подарили...
Пойдем же, брат! Довольно мы бродили...
Нас липы ждут... Домой, пора домой —
к очарованьям жизни белокрылой!
Ты скрыл лицо? Ты вздрагиваешь? Милый,
ты плачешь, да? Ты плачешь? Боже мой!
Возможно ли! Хохочешь ты, хохочешь!..

Роберт

Ох... уморил!..

Эрик

Да что сказать ты хочешь?

Роберт

Что я шутил, а гусь поверил... Брось,
святоша, потолкуем простодушней!
Ведь из дому ты вылетел небось,
как жеребец — из сумрачной конюшни!
Да, мир широк, и много в нем кобыл,
податливых, здоровых и красивых, —
жен всех мастей, каурых, белых, сивых,
и вороных, и в яблоках, — забыл?
Небось пока покусывал им гривы,
не думал ты, мой пилигрим игривый,
о девушке под липами, о той,
которую ты назвал бы святой,
когда б она теперь не отдавала
своей дырявой святости внаем?

Эрик

Я был прельщен болотным огоньком:
твоя душа мертва... В ней два провала,
где очи ангела блистали встарь...
Ты жалок мне... Да, видно, я — звонарь
в стране, где храмов нет...

Роберт

Зато есть славный
кабак. Холуй, вина! Пей, братец, пей!
Вот кровь моя... Под шкурою моей
она рекой хмельной и своенравной
течет, течет, — и пляшет разум мой,
и в каждой жиле песня.

Эрик

Боже, Боже!
Как горестно паденье это! Что же
я расскажу, когда вернусь домой?

Роберт

Не торопись, не торопись... Возможно,
что ты — простак, а я — свидетель ложный
и никого ты дома не найдешь...
Возможно ведь?

Эрик

Кощунственная ложь!
Хозяин, повели закладывать... Не в силах
я дольше ждать!
(Ходит взад и вперед.)

Роберт

Подумай о могилах,
которые увидишь ты вокруг
скосившегося дома...

Эрик

Заклинаю
тебя! Признайся мне, — ты лгал?

Роберт

Не знаю.

Колвил *(возвращается)*

Возок ваш на дворе.

Эрик

Спасибо, друг.
(К Роберту.)
Последний раз прошу тебя... а впрочем, —
ты вновь солжешь...

Роберт

Друг друга мы морочим:
ты благостным паломником предстал,
я — грешником растаявшим! Забавно...

Эрик

Прощай же, брат! Не правда ль, время славно
мы провели?

Колвил и кучер выносят вещи.

Колвил *(в дверях)*

...а дождик перестал...

Эрик *(выходит за ним)*
Жемчужный щит сияет над туманом.

В комнате остается один Роберт.

Голос кучера
Эй, милые...

Пауза. Колвил возвращается.

Колвил
Да... братья... грех какой!

Роберт
Ты что сказал?!

Колвил
Я — так, я — сам с собой.

Роберт
Охота же болтать тебе с болваном!..

Колвил
Да с кем же мне? Одни мы с вами тут...

Роберт
Где дочь твоя?

Колвил
Над ней давно цветут
сны легкие...

Роберт *(задумчиво)*
Когда бы с бурей вольной
меня в ночи сам бес не обвенчал —
женился б я на Сильвии...

Колвил
Довольно
и бури с вас.

Роберт
Ты лучше бы молчал.
Я не с тобой беседую.

Колвил

А с кем же?
Не с тем же ли болваном, с кем и я
сейчас болтал?

Роберт

Не горячись. Не съем же
я Сильвии, — хоть, впрочем, дочь твоя
по вкусу мне приходится...

Колвил

Возможно...

Роберт

Да замолчи! Иль думаешь, ничтожный,
что женщину любить я не могу?
Как знаешь ты: быть может, берегу
в сокровищнице сердца камень нежный,
впитавший небеса? Как знаешь ты:
быть может, спят тончайшие цветы
на тихом дне под влагою мятежной?
Быть может, белой молнией немой
гроза любви далекая тревожит
мою удушливую ночь? Быть может...

Колвил *(перебивает)*

Вот мой совет: вернитесь-ка домой,
как блудный сын, покайтесь, и отрада
спокойная взойдет в душе у вас...
А Сильвию мою смущать не надо,
не надо... слышите!

Роберт

Я как-то раз
простил тебе, что ты меня богаче
случайно был... теперь же за совет
твой дерзостный, за этот лай собачий
убью тебя!

Колвил

Да что-то пистолет
огромный ваш не страшен мне сегодня!

Убийца — ты, а я, прости, не сводня,
не продаю я дочери своей...

Роберт

Мне дела нет до этой куклы бледной,
но ты умрешь!

Колвил

Стреляй же, гад, скорей!

Роберт *(целясь)*

Раз... два... аминь!

Но выстрелить он не успевает: боковая дверь распахивается и входит, вся в белом, Сильвия, она блуждает во сне.

Сильвия

О, бедный мой, о, бедный...
Как холодно, как холодно ему
в сыром лесу осеннею порою!..
Тяжелый ключ с гвоздя сейчас сниму...
Ах, не стучись так трепетно! Открою,
открою, мой любимый... Ключ
держу в руке... Нет! Поздно! Превратился
он в лилию... Ты — здесь, ты возвратился?
Ах, не стучись! Ведь только лунный луч
в руке держу, и эту дверь нет мочи
им отпереть...

Колвил *(уводит ее)*

Пойдем, пойдем... Храни
тебя Господь... Не надо же... Сомкни
незрячие, страдальческие очи.

Сильвия

Ключ... Лилия... Люблю... Луна...

Колвил

Пойдем.

Оба уходят.

Роберт *(один)*

Она прошла прозрачно-неживая
и музыкой воздушною весь дом
наполнила; прошла, — как бы срывая
незримые высокие цветы,
и бледные протягивались руки
таинственно, и полон смутной муки
был легкий шаг... Она чиста... А ты,
убогий бес, греши, греши угрюмо!
В твоих глазах ночная темнота...
Кто может знать, что сердце жжет мне дума
об ангеле мучительном, мечта
о Сильвии... другой... голубоокой?
Вся жизнь моя — туманы, крики, кровь,
но светится во мгле моей глубокой,
как лунный луч, как лилия, — любовь...

Конец первого действия

1923

АГАСФЕР

ПРОЛОГ

(Голос в темноте)

Все, все века, прозрачные, лепные
тобой, любовь, снутри озарены, —
как разноцветные амфоры... Сны
меня томят, апокрифы земные...
Века, века... Я в каждом узнаю
одну черту моей любви. Я буду
и вечно был: душа моя в Иуду
врывается, и — небо продаю
за грешницу... Века плывут. Повсюду
я странствую: как Черный Паладин,
с Востока еду в золотистом дыме...
Века плывут, и я меняюсь с ними:
Флоренции я страстный властелин,
и весь я — пламя, роскошь и отвага!..
Но вот мой путь ломается, как шпага:
я — еретик презренный... Я — Марат,
в июльский день тоскующий... Бродяга —
я, Байрон, — средь невидимых дриад
в журчащей роще — что лепечет влага?
Не знаю, — прохожу... Ловлю тебя,
тебя, Мария, сон мой безглагольный,
из века в век!.. По-разному любя,
мы каждому из тех веков невольно
цвет придаем, — цвет, облик и язык,
ему присущие... Тоскуем оба:
во мне ты ищешь звездного огня,
в тебе ищу — земного. У меня —
два спутника: один — Насмешка; Злоба —

другой; и есть еще один Старик —
любви моей бессмертный соглядатай...
А вкруг тебя скользят четой крылатой
два голубиных призрака всегда...
Летит твоя падучая звезда
из века в век, — и нет тебе отрады:
ты — Грешница в евангельском луче;
ты — бледная Принцесса у ограды;
ты — Флорентийка в пламенной парче,
вся ревностью кипящая Киприда!
Ты — пленница священного Мадрида,
в тугих цепях, с ожогом на плече...
Ты — девушка, вошедшая к Марату...
Как помню я последнюю утрату, —
как помню я!.. Гречанкою слепой
являешься — и лунною стопой
летаешь ты по рощице журчащей.
Иду я — раб, тоску свою влачащий...
Века, века... Я в каждом узнаю
одну черту моей любви; для каждой
черты — свой век; и все они мою
тоску таят... Я — дух пустынной жажды,
я — Агасфер. То в звездах, то в пыли
я странствую. Вся летопись земли —
сон обо мне. Я был и вечно буду.
Пускай же хлынут звуки отовсюду!
Встаю, тоскую, крепну... В вышине
моя любовь сейчас наполнит своды!..
О, музыка моих скитаний, воды
и возгласы веков, ко мне... ко мне!..

1923

СМЕРТЬ

Драма в двух действиях

Действие происходит в университетском городе Кембридж весною 1806 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната. В кресле, у огня, — Гонвил, магистр наук.

Гонвил

...и эту власть над разумом чужим
сравню с моей наукою: отрадно
заране знать, какую смесь получишь,
когда в стекле над пламенем лазурным
медлительно сливаются две соли,
туманную окрашивая колбу.
Отрадно знать, что сложная медуза,
в шар костяной включенная, рождает
сны гения, бессмертные молитвы,
вселенную...
Я вижу мозг его,
как будто сам чернилами цветными
нарисовал, — и все же есть одна
извилина... Давно я бьюсь над нею, —
не выследить... И только вот теперь,
теперь, — когда узнает он внезапно —
а! в дверь стучат... Тяжелое кольцо
бьет в медный гриб наружный: стук знакомый,
стук беспокойный...
(Открывает.)

Вбегает Эдмонд, молодой студент.

Эдмонд

Гонвил! Это правда?..

Гонвил

Да... Умерла...

Эдмонд

Но как же... Гонвил!..

Гонвил

Да...
Не ожидали... Двадцать лет сжималось
и разжималось сердце, кровь живую
накачивая в жилы и обратно
вбирая... Вдруг — остановилось...

Эдмонд

Страшно
ты говоришь об этом... Друг мой... Помнишь?..
Она была так молода!..

Гонвил

Читала
вот эту книжку: выронила...

Эдмонд

Жизнь —
безумный всадник. Смерть — обрыв нежданный,
немыслимый. Когда сказали мне —
так, сразу, — я не мог поверить. Где же
она лежит? Позволь мне...

Гонвил

Унесли...

Эдмонд

Как странно... Ты не понимаешь, Гонвил:
она всегда ходила в темном... Стелла —
мерцающее имя в темном вихре.
И унесли... Ведь это странно, — правда?..

Гонвил

Садись, Эдмонд. Мне сладко, что чужая
печаль в тебе находит струны... Впрочем,
с моей женой ты, кажется, был дружен?

Эдмонд

Как ты спокоен, Гонвил, как спокоен!..
Как утешать тебя? Ты словно — мрамор:
торжественное белое страданье...

Гонвил

Ты прав, — не утешай. Поговорим
о чем-нибудь простом, земном. Неделю
ведь мы с тобой не виделись. Что делал?
О чем раздумывал?

Эдмонд

О смерти.

Гонвил

Полно!
Ведь мы о ней беседовали часто.
Нет — будем жить. В темницу заключенный
за полчаса до казни — паука
рассматривает беззаботно. Образ
ученого пред миром.

Эдмонд

Говорил ты,
что наша смерть...

Гонвил

...быть может, удивленье,
быть может — ничего. Склоняюсь, впрочем,
к последнему; но есть одно: крепка
земная мысль: прервать ее стремленье
не так легко...

Эдмонд

Вот видишь ли, — я мучусь...
Мне кажется порой: душа — в плену, —
рыдающая буря в лабиринте
гудящих жил, костей и перепонок.
Я жить боюсь. Боюсь я ощущать
под пальцами толчки тугие сердца,
здесь — за ребром — и здесь, на кисти, — отзвук.

И видеть, мыслить я боюсь — опоры
нет у меня, — зацепки нет. Когда-то
я тихо верил в облачного старца,
сидящего средь призраков благих.
Потом в опустошительные книги
качнулся я. Есть книги как пожары...
Сгорело все. Я был один. Тянуло
пустынной гарью сумрачных сомнений, —
и вот, в дыму, ты, Гонвил, появился —
большеголовый, тяжкий, напряженный,
в пронзительно сверкающих очках,
с распоротою жабой на ладони...
Ты щипчиками вытащил за узел
мои слепые слипшиеся мысли,
распутал их, — и страшной простотой
мои сомненья заменил... Наука
сказала мне: «Вот — мир», — и я увидел
ком земляной в пространстве непостижном —
червивый ком, вращеньем округленный,
тут плесенью, там инеем покрытый...
И стала жизнь от этой простоты
еще сложней. По ледяной громаде
я заскользил. Догадки мировые —
все, древние и новые, — о цели,
о смысле сущего — все, все исчезли
пред выводом твоим неуязвимым:
ни цели нет, ни смысла; а меж тем
я втайне знал, что есть они!.. Полгода
так мучусь я. Бывают, правда, утра
прозрачные, восторженно-земные,
когда душа моя — подкидыш хилый —
от солнца розовеет и смеется
и матери неведомой прощает...
Но, с темнотой, чудовищный недуг
меня опять охватывает, душит:
средь ужаса и гула звездной ночи
теряюсь я; и страшно мне не только
мое непониманье, — страшен голос,
мне шепчущий, что вот еще усилье
и все пойму я... Гонвил, ты любил
свою жену?..

Гонвил

Незвучною любовью,
мой друг, — незвучной, но глубокой... Что же
меня ты спрашиваешь?

Эдмонд

Так. Не знаю...
Прости меня... Не надо ведь о мертвых
упоминать... О чем мы говорили?
Да, — о моем недуге: я боюсь
существовать... Недуг необычайный,
мучительный, — и признаки его:
озноб, тоска и головокруженье.
Приводит он к безумию. Лекарство,
однако, есть. Совсем простое. Гонвил,
решил я умереть.

Гонвил

Похвально. Как же
ты умереть желаешь?

Эдмонд

Дай мне яду.

Гонвил

Ты шутишь?

Эдмонд

Там, вон там, в стене, на полке,
за черной занавеской, — знаю, знаю, —
стоят, блестят наполненные склянки,
как разноцветные оконца — в вечность....

Гонвил

...Иль в пустоту. Но стой, Эдмонд, послушай, —
кого-нибудь ведь любишь ты на свете?
Иль, может быть, любовью ты обманут?

Эдмонд

Ах, Гонвил, знаешь сам!.. Друзья мои
дивятся все и надо мной смеются,
как, может быть, цветущие каштаны
над траурным смеются кипарисом.

Гонвил

Но в будущем... Как знать? На перекрестке...
нечаянно... Есть у тебя приятель —
поэт: пусть скажет он тебе, как сладко
над женщиной задумчивой склоняться,
мечтать, лежать с ней рядом, — где-нибудь
в Венеции, когда в ночное небо
скользит канал серебряною рябью
и, осторожно, черный гриф гондолы
проходит по лицу луны...

Эдмонд

Да, — правда,
в Италии бывал ты, и оттуда
привез...

Гонвил

...жену...

Эдмонд

Нет, — сказочные смерти,
играющие в полых самоцветах...
Я, Гонвил, жду... Но что же ты так смотришь,
гигантский лоб наморщив? Гонвил, — жду я,
ответь же мне! Скорее!

Гонвил

Вот беспечный!
Ведь до того, как друга отравлять,
мне нужно взвесить кое-что, — не правда ль?

Эдмонд

Но мы ведь выше дружбы — и одно
с тобою чтим: стремленье голой мысли...
А! Просветлел... Ну что же?

Гонвил

Хорошо,
согласен я, согласен... Но поставлю
условие: ты должен будешь выпить
вот здесь, при мне. Хочу я росчерк смерти
заметить на твоем лице. Сам знаешь,

каков твой друг: он, как пытливый Плиний,
смотреть бы мог в разорванную язву
Везувия, пока бы, вытекая,
гной огненный шипел и наступал...

Эдмонд

Изволь... Но только...

Гонвил

Или ты боишься,
что свяжут смерть твою со смертью... Стеллы?

Эдмонд

Нет, — о тебе я думал. Вот что! Дай мне
чернил, бумаги. Проще будет.
(Пишет.)
Слышишь,
перо скрипит, как будто по листу
гуляет смерть костлявая...

Гонвил

Однако!
Ты весел...

Эдмонд

Да... Ведь я свою свободу
подписываю... Вот... Я кончил. Гонвил,
прочти.

Гонвил *(читает про себя)*

«Я умираю — яд — сам взял —
сам выпил...» Так.

Эдмонд

Теперь давай; готов я...

Гонвил

Не вправе я удерживать тебя.
Вот — пузырек. Он налит зноем сизым,
как утро флорентийское... Тут старый
и верный яд. В четырнадцатом веке

его совали герцогам горячим
и пухлым старцам в бархате лиловом.
Ложись сюда. Так. Вытянись. Он сладок
и действует мгновенно, как любовь.

Эдмонд

Спасибо, друг мой... Жил я тихо, просто,
а вот не вынес страха бытия...
Спасаюсь я в неведомую область.
Давай же мне; скорей...

Гонвил

Эдмонд, послушай, —
быть может, есть какая-нибудь тайна,
которую желал бы ты до смерти...

Эдмонд

Я тороплюсь... Не мучь меня...

Гонвил

Так пей же!

Эдмонд

Прощай. Потом — плащом меня накроешь.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же комната. Прошло всего несколько мгновений.

Эдмонд

Смерть... Это — смерть. Вот это — смерть...
(Медленно привстает.)
В тумане
дрожит пятно румяное... Иначе
быть не могло... О чем же я при жизни
тревожился? Пятно теперь яснее.
Ах! Это ведь пылающий провал
камина... Да, — и отблески летают.
А там в углу — в громадном смутном кресле —
кто там сидит, чуть тронутый мерцаньем?

Тяжелый очерк выпуклого лба;
торчащая щетина брови; узел
змеиных жил на каменном виске...
Да полно! Узнаю! Ведь это...

Человек в кресле

...Эхо
твоих предсмертных мыслей...

Эдмонд

Гонвил, Гонвил, —
но как же так? Как можешь ты быть здесь, —
со мною, в смерти? Как же так?..

Гонвил

Мой образ
продлен твоею памятью за грань
земного. Вот и все.

Эдмонд

...Но как же, Гонвил:
вот комната... Все знаю в ней... Вон — череп
на фолианте; вон — змея в спирту,
вон — скарабеи в ящике стеклянном,
вон — брызги звезд в окне, — а за окном, —
чу! слышишь, — бьют над городом зубчатым
далекие и близкие куранты;
скликаются, — и падает на дно
зеркальное червонец за червонцем...
Знакомый звон... И сам я прежний, прежний, —
порою только странные туманы
проходят пред глазами... Но я вижу
свои худые руки, плащ и сборки
на нем, — и даже вот — дыру: в калитку
я проходил, — плащом задел цветок
чугунный на стебле решетки... Странно, —
все то же, то же...

Гонвил

Мнимое стремленье,
Эдмонд... Колеблющийся отзвук...

Эдмонд

Так!
Я начинаю понимать... Постой же,
постой, я сам...

Гонвил

...Жизнь — это всадник. Мчится.
Привык он к быстроте свистящей. Вдруг
дорога обрывается. Он с края
проскакивает в пустоту. Ты слушай,
внимательно ты слушай! Он — в пространстве,
над пропастью, — но нет еще паденья,
нет пропасти! Еще стремленье длится,
несет его, обманывает; ноги
еще в тугие давят стремена,
глаза перед собою видят небо
знакомое. — Хоть он один в пространстве,
хоть срезан путь... Вот этот миг, — пойми,
вот этот миг. Он следует за гранью
конечною земного бытия:
скакала жизнь, в лицо хлестала грива,
дул ветер в душу — но дорога в бездну
оборвалась, — и чем богаче жизнь,
чем конь сильней...

Эдмонд

...тем явственней, тем дольше
свист в пустоте, свист и размах стремленья,
не прерванного роковым обрывом, —
да, понял я... Но — пропасть, как же пропасть?

Гонвил

Паденье неизбежно. Ты внезапно
почувствуешь под сердцем пустоту
сосущую, и, завертевшись, рухнет
твой мнимый мир. Успей же насладиться
тем, что унес с собою за черту.
Все, что знавал, что помнишь из земного, —
вокруг тебя и движется земными
законами, знакомыми тебе.

Ведь ты слыхал, что раненый, очнувшись,
оторванную руку ощущает
и пальцами незримыми шевелит?
Так мысль твоя еще живет, стремится, —
хоть ты и мертв: лежишь, плащом покрытый;
сюда вошли; толпятся и вздыхают;
и мертвецу подвязывают челюсть...
А может быть, и больший срок прошел:
ведь ты теперь вне времени... Быть может,
на кладбище твой Гонвил смотрит молча
на плоский камень с именем твоим.
Ты там, под ним, в земле живой и сочной;
уста гниют, и лопаются мышцы,
и в трещинах, в глубокой черной слизи
шуршат, кишат белесые личинки...
Не все ль равно? Твое воображенье,
поддержанное памятью, привычкой,
еще творит. Цени же этот миг,
благодари стремительность разбега...

Эдмонд

Да, мне легко... Покойно мне. Теперь
хоть что-нибудь я знаю точно, — знаю,
что нет меня. Скажи, мое виденье,
а если я из комнаты твоей —
стой! сам скажу: куранты мне напели:
все будет то же, встречу я людей,
запомнившихся мне. Увижу те же
кирпичные домишки, переулки,
на площади — субботние лотки
и циферблат на ратуше. Узнаю
лепные, величавые ворота;
в просвете — двор широкий, разделенный
квадратами газона; посередке
фонтан журчащий в каменной оправе
и на стенах пергаментных кругом
узорный плющ; а дальше — снова арка,
и в небе стрелы серого собора,
и крокусы вдоль ильмовых аллей,
и выпуклые мостики над узкой
земною речонкой, — все узнаю, —

а на местах, мной виденных не часто
иль вовсе не замеченных, — туманы,
пробелы будут, как на старых картах,
где там и сям стоит пометка: Terra
incognita. Скажи мне, а умерших
могу я видеть?

Гонвил

Нет. Ты только можешь
соображать, сопоставлять явленья
обычные, понятные, земные, —
ведь призраков ты не встречал при жизни...
Скажи, кого ты вызвать бы хотел?

Эдмонд

Не знаю...

Гонвил

Нет, подумай...

Эдмонд

Гонвил, Гонвил,
я что-то вспоминаю... что-то было
мучительное, смутное... Постой же,
начну я осторожно, потихоньку, —
я дома был, — друзья ко мне явились,
к дубовому струился к потолку
из трубок дым, вращающийся плавно.
Все мелочи мне помнятся: вино
испанское тепло и мутно рдело.
Постой... Один описывал со вкусом,
как давеча он ловко ударял
ладонью мяч об каменные стенки;
другой втыкал сухие замечанья
о книгах, им прочитанных, о цифрах
заученных — но желчно замолчал,
когда вошел мой третий гость — красавец
хромой, — ведя ручного медвежонка
московского, — и цепью зверь ни разу
не громыхнул, пока его хозяин,
на стол поставив локти и к прозрачным
вискам прижав манжеты кружевные,
выплакивал стихи о кипарисах.

Постой... Что было после? Да, вбежал
еще один — толстяк в веснушках рыжих —
и сообщил мне на ухо с ужимкой
таинственной... Да, вспомнил все! Я несся,
как тень, как сон, по переулкам лунным
сюда, к тебе... Исчезла... как же так?..
...она всегда ходила в темном. Стелла...
...мерцающее имя в темном вихре,
души моей бессонница...

Гонвил

Друг друга
любили вы?..

Эдмонд

Не знаю, было ль это
любовью или бурей шумных крыльев...
Я звездное безумие свое,
как страшного пронзительного бога
от иноверцев, от тебя — скрывал.
Когда порой в тиши амфитеатра
ты взмахивал крылатым рукавом,
чертя скелет на грифеле скрипучем,
и я глядел на голову твою,
тяжелую, огромную, как ноша
Атланта, — странно было думать мне,
что ты мою бушующую тайну
не можешь знать... Я умер — и с собою
унес ее. Ты так и не узнал...

Гонвил

Как началось?..

Эдмонд

Не знаю. Каждый вечер
я приходил к тебе. Курил, и слушал,
и ждал томясь, — и Стелла проплывала
по комнате и снова возвращалась
к себе наверх по лестнице витой,
а изредка садилась в угол с книгой,
и призрачная пристальность была
в ее молчанье. Ты же, у камина

проникновенно пальцами хрустя,
доказывал мне что-нибудь, — Systema
Naturae сухо осуждал... Я слушал.
Она в углу читала, и когда
страницу поворачивала, в сердце
моем взлетала молния... А после,
придя домой, — пред зеркалом туманным
я длительно глядел себе в глаза,
отыскивал запечатленный образ...
Затем свечу, шатаясь, задувал,
и до утра мерещилось мне в бурях
серебряных и черных сновидений
ее лицо склоненное, и веки
тяжелые, и волосы ее,
глубокие и гладкие, как тени
в ночь лунную; пробор их разделял,
как бледный луч, и брови вверх стремились
к двум облачкам, скрывающим виски...
Ты, Гонвил, управлял моею мыслью;
отчетливо и холодно. Она же
мне душу захлестнула длинным светом
и ужасом немыслимым... Скажи мне,
смотрел ли ты порою, долго, долго,
на небеса полночные? Не правда ль,
нет ничего страшнее звезд?

Гонвил

Возможно.
Но продолжай. О чем вы говорили?

Эдмонд

...Мы говорили мало... Я боялся
с ней говорить. Был у нее певучий
и странный голос. Английские звуки
в ее устах ослабевали зыбко.
Слова слепые плыли между нами,
как корабли в тумане... И тревога
во мне росла. Душа моя томилась:
там бездны раскрывались, как глаза...
Невыносимо сладостно и страшно
мне было с ней, и Стелла это знала.

Как объясню мой ужас и виденья?
Я слышал гул бесчисленных миров
в ее случайных шелестах. Я чуял
в ее словах дыханье смутных тайн
и крики и заломленные руки
неведомых богов! Да, — шумно, шумно
здесь было, Гонвил, в комнате твоей,
хоть ты и слышал, как скребется мышь
за шкафом, и как маятник блестящий
мгновенья костит... Знаешь ли, когда
я выходил отсюда, ощущал я
внезапное пустынное молчанье,
как после оглушительного вихря!..

Гонвил

Поторопи свое воспоминанье,
Эдмонд. Кто знает, может быть, сейчас
стремленье жизни мнимое прервется, —
исчезнешь ты, и я — твой сон — с тобою.
Поторопись. Случайное откинь,
сладчайшее припомни. Как признался?
Чем кончилось признанье?

Эдмонд

Это было
здесь, у окна. Мне помнится, ты вышел
из комнаты. Я раму расшатал,
и стекла в ночь со вздохом повернули.
Все небо было звездами омыто,
и в каменном туманном переулке,
рыдая, поднималась тишина.
И в медленном томленье я почуял,
что кто-то встал за мною. Наполнялась
душа волнами шума, голосами
растущими. Я обернулся. Близко
стояла Стелла. Дико и воздушно
ее глаза в мои глядели, — нет,
не ведаю — глаза ли это были
иль вечность обнаженная... Окно
за нами стукнуло, как бы от ветра...

Казалось мне, что, стоя друг пред другом,
громадные расправили мы крылья,
и вот концы серпчатых крыльев наших, —
пылающие длинные концы —
сошлись на миг... Ты понимаешь, — сразу
отхлынул мир; мы поднялись; дышали
в невероятном небе, — но внезапно
она одним движеньем темных век
пресекла наш полет, — прошла. Открылась
дверь дальняя, мгновенным светом брызнув,
закрылась... И стоял я весь в дрожанье
разорванного неба, весь звенящий,
звенящий...

Гонвил

Так ли? Это все, что было,
один лишь взгляд?

Эдмонд

Когда бы он продлился,
душа бы задохнулась. Да, мой друг, —
один лишь взгляд. С тех пор мы не видались.
Ты помнишь ведь — я выбежал из дома,
ты из окна мне что-то крикнул вслед.
До полночи по городу я бредил,
со звездами нагими говорил...
Все отошло. Не выдержал я жизни,
и вот теперь...

Гонвил

Довольно!

Эдмонд

Я за гранью
теперь — и все, что вижу...

Гонвил

Я сказал:
довольно!

Эдмонд

Гонвил, что с тобой?..

Гонвил

Я долго
тебя морочил — вот и надоело...
Да, впрочем, ты с ума сошел бы, если
я продолжал бы так шутить... Не яду
ты выпил — это был раствор безвредный:
он, правда, вызывает слабость, смутность,
колеблет он чувствительные нити,
из мозга исходящие к глазам, —
но он безвреден... Вижу, ты смеешься?
Ну что ж, я рад, что опыт мой тебе
понравился...

Эдмонд

Ах, милый Гонвил, — как же
мне не смеяться? Посуди! Ведь — это
я сам сейчас придумываю, сам!
Играет мысль моя и ткет свободно
цветной узор из жизненных явлений,
из случаев нежданных — но возможных,
возможных, Гонвил!

Гонвил

Это бред... Очнись!
Не думал я... Как женщина, поддался...
Поверь, — ты так же жив, как я, и вдвое
живуче...

Эдмонд

Так! Не может быть иначе!
В смерть пролетя, моя живая мысль
себе найти старается опору, —
земное объясненье... Дальше, дальше,
я слушаю...

Гонвил

Очнись! Мне нужно было,
чтоб споткнулся ты, весь ум, всю волю
я приложил... Сперва не удавалось, —
уж мыслил я: «В Милане мой учитель
выкалывал глаза летучей мыши —

затем пускал — и все же при полете
она не задевала тонких нитей,
протянутых чрез комнату: быть может,
и он мои минует нити. Нет!
Попался ты, запутался!..»

Эдмонд

Я знаю,
я знаю все, что скажешь! Оправдать,
унизить чудо — мысль моя решила.
Но подожди... в чем цель была обмана?
А, понял! Испытующая ревность
таилась под личиной ледяной...
Нет, — погляди, как выдумка искусна!
Напиток тот был ядом в самом деле,
и я в гробу, и все кругом — виденье, —
но мысль моя лепечет, убеждает:
нет, нет, — раствор безвредный! Он был нужен,
чтоб тайну ты свою открыл. Ты жив,
и яд — обман, и смерть — обман, и даже...

Гонвил

А если я скажу тебе, что Стелла
не умерла?

Эдмонд

Да! Вот она — ступень
начальная... Ударом лжи холодной
ты вырвать мнил всю правду у любви.
Подослан был тот, рыжий, твой приятель,
ты мне внушил — сперва чужую смерть,
потом — мою, — чтоб я проговорился.
Так, кончено: подробно восстановлен
из сложных вероятностей, из хитрых
догадок, из обратных допущений
знакомый мир... Довольно, не трудись, —
ведь все равно ты доказать не можешь,
что я не мертв и что мой собеседник
не призрак. Знай, — пока в пустом пространстве
еще стремится всадник, — вызываю
возможные виденья. На могилу
слетает цвет с тенистого каштана.

Под муравой лежу я, ребра вздув,
но мысль моя, мой яркий сон загробный,
еще живет, и дышит, и творит.
Постой, — куда же ты?

Гонвил

А вот сейчас
увидишь...

(Открывает дверь на лестницу и зовет.)
Стелла!..

Эдмонд

Нет... не надо... слушай...
мне почему-то... страшно... Не зови!
Не смей! Я не хочу!..

Гонвил

Пусти, — рукав
порвешь... Вот сумасшедший, право...
(Зовет.)
Стелла!..
А, слышишь: вниз по лестнице легко
шуршит, спешит...

Эдмонд

Дверь, дверь закрой! Прошу я!
Ах, не впускай. Дай продумать... Страшно...
Повремени, не прерывай полета, —
ведь это есть конец... паденье...

Гонвил

Стелла!
Иди же...

Занавес

6—17 марта 1923

ДЕДУШКА

Драма в одном действии

Действие происходит в 1816 году во Франции, в доме зажиточной крестьянской семьи. Просторная комната, окнами в сад. Косой дождь. Входят хозяева и незнакомец.

Жена

...Пожалуйте. Тут наша
гостиная...

Муж

Сейчас мы вам вина
дадим.

(К дочке.)

Джульетта, сбегай в погреб, — живо!

Прохожий *(озирается)*

Ах, как у вас приятно...

Муж

Вы садитесь, —
сюда...

Прохожий

Свет... Чистота... Резной баул
в углу, часы стенные с васильками
на циферблате...

Жена

Вы не вымокли?

Прохожий

Нисколько!
Успел под крышу заскочить... Вот ливень
так ливень! Вас я не стесняю? Можно
здесь переждать? Как только перестанет...

Муж

Мы рады, рады...

Жена

Вы из наших мест?

Прохожий

Нет — странник я... Недавно лишь вернулся
на родину. Живу у брата, в замке
де Мэриваль... Недалеко отсюда...

Муж

А, знаем, знаем...
(К дочке, вошедшей с вином.)
Ставь сюда, Джульетта.
Так. Пейте, сударь. Солнце, — не вино!

Прохожий *(чокается)*

За ваше... Эх, душистое какое!
И дочь у вас — хорошая... Джульетта,
душа, где твой Ромео?

Жена *(смеется)*

Что такое —
«Ромео»?

Прохожий

Так... Она сама узнает
когда-нибудь...

Джульетта

Вы дедушку видали?

Прохожий

Нет, не видал.

Джульетта

Он — добрый...

Муж *(к жене)*

Где он, кстати?

Жена

Спит у себя — и чмокает во сне,
как малое дитя...

Прохожий

Он очень стар —
ваш дедушка?

Муж

Лет семьдесят, пожалуй...
Не знаем мы...

Жена

Ведь он нам не родня:
мы дедушкой его прозвали сами.

Джульетта

Он — ласковый...

Прохожий

Но кто же он?

Муж

Да то-то
оно и есть, что мы не знаем... Как-то,
минувшею весною, появился
в деревне старец, — видно, издалека.
Он имени не помнил своего,
на все вопросы робко улыбался...
Его сюда Джульетта привела.
Мы накормили, напоили старца;
он ворковал, облизывался, жмурясь,
мне руку мял с блаженною ужимкой, —
а толку никакого: видно, разум
в нем облысел... Его мы у себя
оставили, — Джульетта упросила...
И то сказать: он неженка, сластена...
Недешево обходится он нам.

Жена

Не надо, муж, — он — старенький...

Муж

Да что же, —
я ничего... так — к слову... Пейте, сударь!

Прохожий

Спасибо, пью; спасибо... Впрочем, скоро
домой пора... Вот дождь... Земля-то ваша
задышит!

Муж

Слава Богу! Только это
одна игра — не дождь. Глядите, солнце
уж сквозь него проблескивает... эх!..

Прохожий

Дым золотой... Как славно!

Муж

Вот вы, сударь,
любуетесь, — а нам-то каково?
Ведь мы — земля. Все думы наши — думы
самой земли... Мы чувствуем, не глядя,
как набухает семя в борозде,
как тяжелеет плод... Когда от зноя
земля горит и трескается, — так же
у нас ладони трескаются, сударь!
А дождь пойдет — мы слушаем тревожно —
и молим про себя: «Шум, свежий шум,
не перейди в постукиванье града!..»
И если этот прыгающий стук
об наши подоконники раздастся, —
тогда, тогда мы затыкаем уши,
лицо в подушки прячем, — словно трусы
при перестрелке дальней! Да — немало
у нас тревог... Недавно вот, — на груше
червь завелся — большущий, в бородавках,
зеленый черт! А то — холодной сыпью
тля облепит молоденькую ветвь...
Вот и крутись!

Прохожий

Зато какая гордость
для вас, какая радость, — получать
румяное, душистое спасибо
деревьев ваших!

Жена

Дедушка — вот тоже —
прилежно ждет каких-то откровений,
прикладывая ухо то к коре,
то к лепестку... Мне кажется, — он верит,
что души мертвых в лилиях, в черешнях
потом живут.

Прохожий

Не прочь я был бы с ним
потолковать... люблю я этих нежных
юродивых...

Жена

Как погляжу на вас —
мне ваших лет не высчитать. Как будто
не молоды, а вместе с тем... не знаю...

Прохожий

А ну прикиньте, угадайте.

Муж

Мирно
вы прожили, должно быть. Ни морщинки
на вашем лбу...

Прохожий

Какое — мирно!
(Смеется.)
Если б
все записать... Подчас я сам не верю
в свое былое! От него пьянею,
как вот — от вашего вина. Я пил
из чаши жизни залпами такими,
такими... Ну и смерть порой толкала
под локоть... Вот, — хотите вы послушать

рассказ о том, как летом, в девяносто
втором году, в Лионе, господин
де Мэриваль — аристократ, изменник,
и прочее, и прочее — спасен был
у самой гильотины?

Жена

Расскажите,
мы слушаем...

Прохожий

Мне было двадцать лет
в тот буйный год. Громами Трибунала
я к смерти был приговорен — за то ли,
что пудрил волосы, иль за приставку
пред именем моим, — не знаю: мало ль
за что тогда казнили... В тот же вечер
на эшафот я должен был явиться, —
при факелах... Палач был, кстати, ловкий,
старательный: художник, — не палач.
Он своему парижскому кузену
все подражал — великому Самсону:
такую же тележку он завел,
и головы отхваченные — так же
раскачивал, за волосы подняв...

Вот он меня повез. Уже стемнело,
вдоль черных улиц зажигались окна
и фонари. Спиною к ветру сидя
в тележке тряской и держась за грядки
застывшими руками, думал я, —
о чем? — да все о пустяках каких-то, —
о том, что вот — платка не взял с собою,
о том, что спутник мой — палач — похож
на лекаря почтенного... Недолго
мы ехали. Последний поворот —
и распахнулась площадь, посредине
зловеще озаренная... И вот,
когда палач с какой-то виноватой
учтивостью помог мне слезть с тележки —
и понял я, что кончен, кончен путь,
тогда-то страх схватил меня под горло...

И сумрачное уханье толпы, —
глумящейся, быть может (я не слышал), —
движенье конских крупов, копья, ветер,
чад факелов пылающих — все это
как сон прошло, и я одно лишь видел,
одно: там, там, высоко в черном небе,
стальным крылом косой тяжелый нож
меж двух столбов висел, упасть готовый,
и лезвие, летучий блеск ловя,
уже как будто вспыхивало кровью!

И на помост, под гул толпы далекой,
я стал всходить — и каждая ступень
по-разному скрипела. Молча сняли
с меня камзол, и ворот до лопаток
разрезали... Доска была — что мост
взведенный: к ней — я знал — меня привяжут,
опустят мост, со стуком вниз качнусь,
между столбов ошейник деревянный
меня захлопнет, — и тогда, тогда-то
смерть, с грохотом мгновенным, ухнет сверху!

И вот не мог я проглотить слюну,
предчувствием ломило мне затылок,
в висках гремело, разрывалась грудь
от трепета и топота тугого, —
но, кажется, я с виду был спокоен...

Жена

О, я кричала бы, рвалась бы, — криком
пощады я добилась бы... Но как же,
но как же вы спаслись?..

Прохожий

Случилось чудо...
Стоял я, значит, на помосте. Рук
еще мне не закручивали. Ветер
мне плечи леденил... Палач веревку
какую-то распутывал. Вдруг — крик:
«Пожар!» — и в тот же миг всплеснуло пламя
из-за перил, и в тот же миг шатались
мы с палачом, боролись на краю

площадки... Треск, — в лицо пахнуло жаром,
рука, меня хватавшая, разжалась, —
куда-то падал я, кого-то сшиб,
нырнул, скользнул в потоки дыма, в бурю
дыбящихся коней, людей бегущих, —
«Пожар! пожар!» — все тот же бился крик,
захлебывающийся и блаженный!
А я уже был далеко! Лишь раз
я оглянулся на бегу и видел —
как в черный свод клубился дым багровый,
как запылали самые столбы,
и рухнул нож, огнем освобожденный!

Жена

Вот ужасы!..

Муж

Да! Тот, кто смерть увидел,
уж не забудет... Помню, как-то воры
в сад забрались. Ночь, темень, жутко... Снял я
ружье с крюка...

Прохожий *(задумчиво перебивает)*

Так спасся я — и сразу
как бы прозрел: я прежде был рассеян,
и угловат, и равнодушен... Жизни,
цветных пылинок жизни нашей милой
я не ценил — но, увидав так близко
те два столба, те узкие ворота
в небытие, те отблески, тот сумрак...
И Францию под свист морского ветра
покинул я, и Франции чуждался,
пока над ней холодный Робеспьер
зеленоватым призраком маячил, —
пока в огонь шли пыльные полки
за серый взгляд и челку Корсиканца...
Но нелегко жилось мне на чужбине:
я в Лондоне угрюмом и сыром
преподавал науку поединка.
В России жил, играл на скрипке в доме
у варвара роскошного... Затем
по Турции, по Греции скитался.

В Италии прекрасной голодал.
Видов видал немало. Был матросом,
был поваром, цирюльником, портным —
и попросту — бродягой... Все же ныне
благодарю я Бога ежечасно
за трудности, изведанные мной, —
за шорохи колосьев придорожных,
за шорохи и теплое дыханье
всех душ людских, прошедших близ меня...

Муж

Всех, сударь, всех? Но вы забыли душу
того лихого мастера, с которым
вы встретились, тогда — на эшафоте...

Прохожий

Нет, не забыл. Через него-то мир
открылся мне. Он был ключом — невольно...

Муж

Нет, не пойму...
(Встает.)
До ужина работу
мне кончить надо... Ужин наш — нехитрый...
Но, может быть...

Прохожий

Что ж — я не прочь...

Муж

Вот ладно!

(Уходит.)

Прохожий

Простите болтуна... Боюсь — докучен
был мой рассказ...

Жена

Да что вы, сударь, что вы...

Прохожий

Никак вы детский чепчик шьете?..

Жена *(смеется)*

Да.
Он к Рождеству, пожалуй, пригодится...

Прохожий

Как хорошо...

Жена

А вот другой младенец...
вон там, в саду...

Прохожий *(смотрит в окно)*

А, — дедушка... Прекрасный
старик... Весь серебрится он на солнце.
Прекрасный... И мечтательное что-то
в его движеньях есть. Он пропускает
сквозь пальцы стебель лилии — нагнувшись
над цветником, — лишь гладит, не срывает,
и нежною застенчивой улыбкой
весь озарен...

Жена

Да, лилии он любит, —
ласкает их и с ними говорит.
Для них он даже имена придумал, —
каких-то все маркизов, герцогинь...

Прохожий

Как хорошо... Вот он-то, верно, мирно
свой прожил век, — да, где-нибудь в деревне,
вдали от бурь гражданских и иных...

Жена

Он врачевать умеет... Знает травы
целебные. Однажды дочку нашу...

Врывается Джульетта с громким хохотом.

Джульетта

Ах, мама, вот умора!..

Жена

Что такое?

Джульетта

Там... дедушка... корзинка... Ах!..
(Смеется.)

Жена

Да толком
ты расскажи...

Джульетта

Умора!.. Понимаешь,
я, мама, шла, — вот только что — шла садом
за вишнями, — а дедушка увидел,
весь съежился — и хвать мою корзинку —
ту, новую, обитую клеенкой
и уж запачканную соком — хвать! —
и как швырнет ее — да прямо в речку —
ее теперь теченьем унесло.

Прохожий

Вот странно-то... Бог весть мосты какие
в его мозгу раскидывает мысль...
Быть может... Нет...
(Смеется.)
Я сам порою склонен
к сопоставленьям странным... Так — корзинка,
обитая клеенкой, покрасневшей
от ягод, — мне напоминает... Тьфу!
Какие бредни жуткие! Позвольте
не досказать...

Жена *(не слушая)*

Да что он, право... Папа
рассердится. Ведь двадцать су — корзина.
(Уходит с дочкой.)

Прохожий *(смотрит в окно)*

Ведут, ведут... Как дуется старик
забавно... Впрямь — обиженный ребенок...

Возвращаются с дедушкой.

Жена

Тут, дедушка, есть гость у нас... Смотри
какой...

Дедушка

Я не хочу корзинки той. Не надо
таких корзинок...

Жена

Полно, полно, милый...
Ее ведь нет. Она ушла. Совсем.
Ну успокойся... Сударь, вы его
поразвлеките... Нужно нам идти
готовить ужин...

Дедушка

Это кто такое?
Я не хочу...

Жена *(в дверях)*

Да это — гость наш. Добрый.
Садись, садись. А он какие сказки
нам рассказал, — о палаче в Лионе,
о казни, о пожаре!.. Ай, занятно.
Вы, сударь, — повторите.
(Уходит с дочкой.)

Дедушка

Что такое?
Что́, что́ она сказала? Это странно...
Палач, пожар...

Прохожий *(в сторону)*

Ну вот, перепугался...
Эх, глупая, зачем сказала, право...
(Громко.)
Я, дедушка, шутил... Ответь мне лучше —
о чем беседуешь в саду — с цветами,
с деревьями? Да что же ты так смотришь?

Дедушка *(пристально)*

Откуда ты?

Прохожий

Я — так, — гулял...

Дедушка

Постой,
постой, останься тут, сейчас вернусь я.
(Уходит.)

Прохожий *(ходит по комнате)*

Какой чудак! Не то он всполошился,
не то он что-то вспомнил... Неприятно
и смутно стало мне, — не понимаю...
Вино тут, видно, крепкое...
(Напевает.)
Тра-рам,
тра-ра... Да что со мною? Словно —
какое-то томленье... Фу, как глупо...

Дедушка *(входит)*

А вот и я... Вернулся.

Прохожий

Здравствуй, здравствуй...
(В сторону.)
Э, — он совсем веселенький теперь!

Дедушка
(переступает с ноги на ногу, заложив руки за спину)

Я здесь живу. Вот в этом доме. Здесь
мне нравится. Вот — например — смотри-ка, —
какой тут шкаф...

Прохожий

Хороший...

Дедушка

Это, знаешь, —
волшебный шкаф. Что делается в нем,
что делается!.. В скважинку, в замочек
взгляни-ка... а?

Прохожий

Волшебный? Верю, верю...
Ай, шкаф какой!.. Но ты мне не сказал —
про лилии: о чем толкуешь с ними?

Дедушка

Ты — в скважинку...

Прохожий

Я вижу и отсюда...

Дедушка

Нет, — погляди вплотную...

Прохожий

Да нельзя же, —
стол — перед шкафом, стол...

Дедушка

Ты... ляг на стол,
ляг... животом...

Прохожий

Ну право же, — не стоит.

Дедушка

Не хочешь ты?

Прохожий

...Смотри, — какое солнце!
И весь твой сад блестит, блестит...

Дедушка

Не хочешь?
Жаль... Очень жаль. Там было бы, пожалуй,
удобнее...

Прохожий

Удобней? Для чего же?

Дедушка

Как — для чего?..
(Взмахивает топором, который держал за спиною.)

Прохожий

Брось! Тише!
(Борются.)

Дедушка

Нет... Стой... Не надо
мешать мне... Так приказано... Я должен...

Прохожий *(сшибает его)*

Довольно!
...Вот оно — безумье!.. Ох...
Не ожидал я... Мямлил да мурлыкал —
и вдруг...
Но что я? Словно — это раз
уж было... или же приснилось? Так же,
вот так же я боролся... Встань! Довольно!
Встань... Отвечай... Как смотрит он, как смотрит!
А эти пальцы — голые, тупые...
Ведь я уже их... видел! Ты ответишь,
добьюсь я! Ах, как смотрит...
(Наклоняется над лежащим.)
...Нет... не скажет...

Джульетта *(в дверях)*

Что сделали вы с дедушкой...

Прохожий

Джульетта...
ты... уходи...

Джульетта

Что сделали вы...

Занавес

30 июня 1923

ПОЛЮС

Драма в одном действии

...He was a very gallant gentleman.
Из записной книжки
капитана Скотта

Внутренность палатки. Четыре фигуры: Капитан Скэт, по прозванию Хозяин, и Флэминг полусидят, Кингсли и Джонсон спят, с головой закутавшись. У всех четверых ноги в меховых мешках.

Флэминг

Двенадцать миль всего, — а надо ждать...
Какая буря!.. Рыщет, рвет... Все пишешь,
Хозяин?

Капитан Скэт *(перелистывая дневник)*

Надо же...
Сегодня сорок
четыре дня, как с полюса обратно
идем мы, и сегодня пятый день,
как эта буря держит нас в палатке
без пищи...

Джонсон *(спросонья)*

Ох...

Капитан Скэт

Проснулся? Как себя
ты чувствуешь?

Джонсон

Да ничего... Занятно...
Я словно на две части разделен:
одна — я сам — сильна, ясна; другая —
цинга — все хочет спать... Такая соня...

Капитан Скэт

Воды тебе не надо?

Джонсон

Нет, спасибо...
И вот еще: мне как-то в детстве снилось —
запомнилось, — что ноги у меня,
как посмотрел я, превратились в ноги
слона.

(Смеется.)

Теперь мой сон сбылся, пожалуй.
А Кингсли — как?

Капитан Скэт

Плох, кажется... Он бредил,
теперь — затих.

Джонсон

Когда мы все вернемся —
устроим мы такой, такой обед —
с индейкою, — а главное, с речами,
речами...

Капитан Скэт

Знаем — за индейку сам
сойдешь, когда напьешься хорошенько?
А, Джонсон?..
Спит уже...

Флэминг

Но ты подумай —
двенадцать миль до берега, до бухты,
где ждет, склонив седые мачты набок,
корабль наш... между синих льдин! Так ясно
его я вижу!..

Капитан Скэт

Что же делать, Флэминг...
Не повезло нам. Вот и все...

Флэминг

И только
двенадцать миль!..
Хозяин, — я не знаю —
как думаешь, — когда б утихла буря,
могли бы мы, таща больных на санках,
дойти?..

Капитан Скэт

Едва ли...

Флэминг

Так. А если б... Если б
их не было?

Капитан Скэт

Оставим это... Мало ль,
что можно допустить...
Друг, посмотри-ка,
который час.

Флэминг

Ты прав, Хозяин... Шесть
минут второго...

Капитан Скэт

Что же, мы до ночи
продержимся... Ты понимаешь, Флэминг,
ведь ищут нас, пошли навстречу с моря —
и, может быть, наткнутся... А покамест
давай-ка спать... Так будет легче...

Флэминг

Нет, —
спать не хочу.

Капитан Скэт

Тогда меня разбудишь —
так — через час. Не то могу скользнуть...
скользнуть... ну, понимаешь...

Флэминг

Есть, Хозяин.

(Пауза.)

Все трое спят... Им хорошо... Кому же
я объясню, что крепок я и жаден,
что проглотить я мог бы не двенадцать,
а сотни миль? — так жизнь во мне упорна.
От голода, от ветра ледяного
во мне все силы собрались в одну
горячую тугую точку... Точка
такая может все на свете...

(Пауза.)

Джонсон,
ты что? Помочь?

Джонсон

Я сам — не беспокойся...
Я, Флэминг, выхожу...

Флэминг

Куда же ты?..

Джонсон

Так — поглядеть хочу я, не видать ли
чего-нибудь. Я, может быть, пробуду
довольно долго...

Флэминг

Ты — смотри — в метели
не заблудись...
Ушел... Вот чудо: может
еще ходить, хоть ноги у него
гниют...

(Пауза.)

Какая буря! Вся палатка
дрожит от снегового гула...

Кингсли *(бредит)*

Джесси,
моя любовь, — как хорошо... Мы полюс
видали, я привез тебе пингвина.

Ты, Джесси, посмотри, какой он гла...
гла... гладенький... и ковыляет... Джесси,
ты жимолость...

(Смеется.)

Флэминг

Счастливец... Никого-то
нет у меня, о ком бы мог я бредить...
У капитана в Лондоне жена,
сын маленький. У Кингсли — вот — невеста,
почти вдова... У Джонсона — не знаю,
мать, кажется... Вот глупый — вздумал тоже
пойти гулять. Смешной он, право, — Джонсон.
Жизнь для него — смесь подвига и шутки,
не знает он сомнений, и пряма
душа его, как тень столба на ровном
снегу... Счастливец... Я же трус, должно быть;
меня влекла опасность, — но ведь так же
и женщин пропасти влекут. Неладно
я прожил жизнь... Юнгой был, водолазом;
метал гарпун в неслыханных морях.
О, эти годы плаваний, скитаний,
томлений!.. Мало жизнь мне подарила
ночей спокойных, дней благих... И все же...

Кингсли *(бредит)*

Поддай! Поддай! Так! Молодец! Скорее!
Бей! Не зевай! По голу!.. Отче наш,
иже еси...

(Бормочет.)

Флэминг

...И все же нестерпимо
жить хочется... Да — гнаться за мячом,
за женщиной, за солнцем, — или проще —
есть, много есть — рвать, рвать сардинок жирных
из золотого масла, из жестянки...
Жить хочется до бешенства, до боли —
жить как-нибудь...

Капитан Скэт

Что, что случилось? Кто там?
Что случилось?..

Флэминг

Ничего, Хозяин.
Спокойно все... Вот только Кингсли бредит...

Капитан Скэт

Ох...
Мне снился сон какой-то, светлый, страшный.
Где Джонсон?

Флэминг

Вышел... Посмотреть хотел он,
не видно ли спасенья.

Капитан Скэт

Как давно?

Флэминг

Минут уж двадцать...

Капитан Скэт

Флэминг! — что ж ты, право,
не надо было выпускать его...
но впрочем...
Помоги мне встать, скорей,
скорей... Мы выйдем...

Флэминг

Я, Хозяин, думал...

Капитан Скэт

Нет, ты не виноват.
Ух, снегу сколько!

Уходят вместе. Пауза.

Кингсли *(один, бредит)*

Ты не толкай — сам знаю — брось — не нужно
меня толкать...
(Приподнимается.)
Хозяин, Флэминг, Джонсон!
Хозяин!..
Никого... А! Понимаю,

втроем ушли. Им, верно, показалось,
что я уж мертв... Оставили меня,
пустились в путь...
Нет! Это шутка! Стойте,
вернитесь же... хочу я вам сказать...
хочу я вам... А! Вот что значит смерть:
стеклянный вход... вода... вода... все ясно...

Пауза. Возвращаются Капитан и Флэминг.

Капитан Скэт

Вот глупо — не могу ступать.
Спасибо...
Но все равно. Мы Джонсона едва ли
могли б найти... Ты понял, что он сделал?

Флэминг

Конечно... Ослабел, упал; бессильный,
звал, может быть... Все это очень страшно...
(Отходит в глубь палатки.)

Капитан Скэт *(про себя)*

Нет, — он не звал. Ему лишь показалось,
что он — больной — мешает остальным, —
и вот ушел... Так это было просто
и доблестно... Мешок мой словно камень —
не натянуть...

Флэминг

Хозяин! Плохо! Кингсли
скончался... Посмотри...

Капитан Скэт

Мой бедный Эрик!
Зачем я взял его с собой? Средь нас
он младший был... Как он заплакал — помнишь, —
когда на полюсе нашли мы флаг
норвежский... Тело можно тут оставить —
не трогай...

Пауза.

Флэминг

Мы одни теперь, Хозяин...

Капитан Скэт

Но ненадолго, друг мой, ненадолго...

Флеминг

Пурга смолкает...

Капитан Скэт

Знаешь ли — я думал —
вот, например, — Колумб... Страдал он, верно, —
зато открыл чудеснейшие страны,
а мы страдали, чтоб открыть одни
губительные белые пустыни...
И, знаешь, — все-таки так надо...

Флэминг

Что же,
Хозяин, — не попробовать ли нам?
Двенадцать миль — и спасены...

Капитан Скэт

Нет, Флэминг,
встать не могу...

Флэминг

Есть санки...

Капитан Скэт

Не дотащишь —
тяжелый я. Здесь лучше мне. Здесь тихо.
Да и душа тиха — как воскресенье
в шотландском городишке... Только ноги
чуть ноют, — и бывают скучноваты
медлительные воскресенья наши...
Жаль, — шахмат нет. Сыграли бы...

Флэминг

Да, жалко...

Капитан Скэт

Послушай, Флэминг, — ты один отправься...

Флэминг

Тебя оставить здесь? И ты так слаб...
Сам говоришь, что ночь едва ли можешь...

Капитан Скэт

Иди один. Я так хочу.

Флэминг

Но как же...

Капитан Скэт

Я дотяну, я дотяну... Успеешь
прислать за мной, когда достигнешь бухты.
Иди! Быть может, даже по дороге
ты наших встретишь. Я хочу, иди же...
Я требую...

Флэминг

Да, — я пойду, пожалуй...

Капитан Скэт

Иди... Что ты возьмешь с собою?

Флэминг

Санок
не нужно мне — вот только эти лыжи
да палку...

Капитан Скэт

Нет, постой, — другую пару...
Мне кажется, запяточный ремень
на этой слаб...
Прощай... Дай руку... Если —
нет, — все равно...

Флэминг

Эх, — компас мой разбит...

Капитан Скэт

Вот мой, бери...

Флэминг

Давай...
Что ж, я готов...
Итак, — прощай, Хозяин, я вернусь
с подмогой, завтра к вечеру, не позже...

Капитан Скэт

Прощай.

Флэминг уходит.

Да, — он дойдет... Двенадцать миль...
К тому же пурга стихает...
(Пауза.)
Помолиться надо...
Дневник — вот он, смиренный мой и верный
молитвенник... Начну-ка с середины...
(Читает.)
«Пятнадцатое ноября; луна
горит костром; Венера как японский
фонарик...»
(Перелистывает.)
«Кингсли — молодец. Все будто
играет — крепкий, легкий... Нелады
с собачками: Цыган ослеп, а Рябчик
исчез: в тюленью прорубь, вероятно,
попал...
Сочельник: по небу сегодня
Aurora borealis раздышалась...»
(Перелистывает.)
«Февраль, восьмое: полюс. Флаг норвежский
торчит над снегом... Нас опередили.
Обидно мне за спутников моих.
Обратно...»
(Перелистывает.)
«Восемнадцатое марта.
Плутаем. Санки вязнут. Кингсли сдал.
Двадцатое: последнее какао
и порошок мясной... Болеют ноги
у Джонсона. Он очень бодр и ясен.
Мы всё еще с ним говорим о том,
что будем делать после, возвратившись».

Ну что ж... Теперь прибавить остается —
эх, карандаш сломался...
Это лучший
конец, пожалуй...
Господи, готов я.
Вот жизнь моя, как компасная стрелка,
потрепетав, на полюс указала,
и этот полюс — Ты...
На беспредельных
твоих снегах я лыжный след оставил.
Всё. Это всё.

(Пауза.)

А в парке городском,
там, в Лондоне, с какой-нибудь игрушкой, —
весь солнечный, — и голые коленки...
Потом ему расскажут...

(Пауза.)

Тихо все.
Мне мнится: Флэминг по громадной глади
идет, идет... Передвигая лыжи
так равномерно — раз, два... Исчезает...
А есть уже не хочется... Струится
такая слабость, тишина по телу...

(Пауза.)

и, вероятно, это бред... Я слышу...
я слышу... Неужели же возможно?
Нашли, подходят, это наши, наши...
Спокойно, капитан, спокойно... Нет же,
не бред, не ветер. Ясно различаю
скрип по снегу, движенье, снежный шаг.
Спокойно... Надо встать мне... Встретить...
Кто там?

Флэминг *(входит)*

Я, Флэминг...

Капитан Скэт

А!.. Пурга угомонилась
не правда ли?

Флэминг

Да, прояснилось. Тихо...
(Садится.)
Шатер-то наш сплошь светится снаружи —
опорошен...

Капитан Скэт

Есть ножик у тебя?
Мой карандаш сломался. Так. Спасибо.
Мне нужно записать, что ты вернулся.

Флэминг

Добавь, что Джонсон не вернулся.

Капитан Скэт

Это
одно и то же...

Пауза.

Флэминг

Наш шатер легко
заметить — так он светится...
Да, кстати —
про Джонсона: наткнулся я на тело
его. Ничком зарылся в снег, откинув
башлык...

Капитан Скэт

Я, к сожаленью, замечаю,
что дольше не могу писать... Послушай,
скажи мне, — отчего ты воротился...

Флэминг

Да я не мог иначе... Он лежал
так хорошо, — так смерть его была
уютна. Я теперь останусь...

Капитан Скэт

Флэминг,
ты помнишь ли, как в детстве мы читали
о приключеньях, о Синдбаде, — помнишь?

Флэминг

Да, помню.

Капитан Скэт

Люди сказки любят — правда?
Вот мы с тобой — одни, в снегах, далеко...
Я думаю, что Англия...

Занавес

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

КЕМБРИДЖ

Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова. Не правда ли? Хороша природа за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее прочувствовать и полюбить; а спервоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя не лучше сухенькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий (именуемых колледжами) стройно тянется ввысь; горят червонные циферблаты на стремительных башнях; в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона; а против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги.

Взад и вперед по узким улицам шмыгают, перезваниваясь, обрызганные грязью велосипеды, кудахтают мотоциклы, и, куда ни взглянешь, везде кишат цари града Кембриджа — студенты: мелькают галстуки наподобие полосатых шлагбаумов, мелькают необычайно мятые, излучистые штаны, всех оттенков серого, начиная с белесого, облачного и кончая темно-сизым, диким, — штаны, подходящие на диво под цвет окружающих стен.

По утрам молодцы эти, схватив в охапку тетрадь и форменный плащ, спешат на лекции, гуськом пробираются в залы, сонно слушают, как с кафедры мямлит мудрая мумия, и, очнувшись, выражают одобрение свое переливчатым топаньем, когда в тусклом потоке научной речи рыбкой плеснется красное словцо. После завтрака, напялив

лиловые, зеленые, синие куртки, улетают они, что вороны в павлиньих перьях, на бархатные лужайки, где до вечера будут щелкать мячи, или на реку, протекающую с венецианской томностью мимо серых, бурых стен и чугунных решеток, — и тогда Кембридж на время пустеет: дюжий городовой зевает, прислонясь к фонарю, две старушонки в смешных черных шляпах гагакают на перекрестке, мохнатый пес дремлет в ромбе солнечного света... К пяти часам все оживает снова, народ валом валит в кондитерские, где на каждом столике, как куча мухоморов, лоснятся ядовито-яркие пирожные.

Сижу я, бывало, в уголке, смотрю по сторонам на все эти гладкие лица, очень милые, что и говорить, — но всегда как-то напоминающие объявления о мыле для бритья, и вдруг становится так скучно, так нудно, что хоть гикни и окна перебей...

Между ними и нами, русскими, — некая стена стеклянная; у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят нас Бог знает в какие небеса и бездны; у нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено, — гуляй, душа! Для англичанина это непонятно, ново, пожалуй, заманчиво. Если, напившись, он и буянит, то буянство его шаблонно и благодушно, и, глядя на него, только улыбаются блюстители порядка, зная, что известной черты он не переступит. А с другой стороны, никогда самый разымчивый хмель не заставит его расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку оземь... Во всякое время — откровенности коробят его. Говоришь, бывало, с товарищем о том о сем, о стачках и скачках, да и сболтнешь по простоте душевной, что вот, кажется, всю кровь отдал бы, чтобы снова увидеть какое-нибудь болотце под Петербургом, — но высказывать мысли такие непристойно; он на тебя так взглянет, словно ты в церкви рассвистался.

Оказалось, что в Кембридже есть целый ряд самых простых вещей, которых, по традиции, студент делать не должен. Нельзя, например, кататься по реке в гребной лодке, — нанимай пирогу или плот; не принято надевать на улице шапку — город-де наш, нечего тут стесняться;

не полагается здороваться за руку, — и не дай Бог при встрече поклониться профессору: он растерянно улыбнется, пробормочет что-то, споткнется. Немало законов таких, и свежий человек нет-нет да и попадает впросак. Если же буйный иноземец будет поступать все-таки по-своему, то сначала на него подивятся — экий чудак, варвар, — а потом станут избегать, не узнавать на улице. Иногда, правда, подвернется добрая душа, падкая на зверей заморских, но подойдет она к тебе только в уединенном месте, боязливо озираясь, и навсегда исчезнет, удовлетворив свое любопытство. Вот отчего подчас тоской набухает сердце, чувствуя, что истинного друга оно здесь не сыщет. И тогда все кажется скучным, — и очки юркой старушки, у которой снимаешь комнату, и сама комната с ее грязно-красным диваном, угрюмым камином, нелепыми вазочками на нелепых полочках, и звуки, доносящиеся с улицы, — крик мальчишек-газетчиков: пайпа! пайпа!..[1]

Но ко всему привыкаешь, подлаживаешься, учишься в чуждом тебе подмечать прекрасное.

Блуждая в дымчатый весенний вечер по угомонившемуся городку, чуешь, что, кроме пестряди и суеты жизни нашей, есть в самом Кембридже еще иная жизнь, жизнь пленительной старины. Знаешь, что ее большие, серые глаза задумчиво и безучастно глядят на выдумки нового поколения, как глядели сто лет тому назад на хромого, женственного студента Байрона и на его ручного медведя, запомнившего навсегда родимый бор, да хитрого мужичка в баснословной Московии.

Промахнуло восемь столетий: саранчой налетели татары; грохотал Иоанн; как вещий сон, по Руси веяла смута; за ней новые цари вставали золотыми туманами; работал Петр, рубил сплеча и выбрался из лесу на белый свет; — а здесь эти стены, эти башни все стояли, неизменные, и все так же, из году в год, гладкие юноши собирались при перезвоне часов в общих столовых, где, как ныне, лучи, струясь сквозь расписные стекла высоких окон, обрызгивали плиты бледными аметистами, — и все так же перешучивались они, юноши эти, — только, пожалуй, речи были бойче, пиво пьянее...

---

[1] Газета *(англ.)*.

Я об этом думаю, блуждая в дымчатый весенний вечер по затихшим улицам. Выхожу на реку. Долго стою на выгнутом, жемчужно-сером мостике, и поодаль мостик такой же образует полный круг со своим отчетливым, очаровательным отражением. Плакучие ивы, старые вязы, празднично-пышные каштаны холмятся там и сям, словно вышитые зелеными шелками по канве поблекшего, нежного неба. Тускло пахнет сиренью, тиневеющей водой... И вот по всему городу начинают бить часы... Круглые, серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине, и, на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными, вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких, туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем... И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения — будто рисунок по фарфору, — я задумываюсь все глубже — о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем...

РУПЕРТ БРУК

Я видел их; я любовался ими долго; они, чуть всхлипывая, плавали, без устали плавали туда и сюда за стеклянной преградой, в дымке воды неподвижной, бледно-зеленой, как дрема, как вечность, как внутренний мир слепца. Они были огромные, округлые, красочные: казалось, фарфоровую их чешую расцветил тщательный китаец. Я глядел на них как во сне, очарованный тайною музыкой их плавных, тонких движений. Между этих мягко мерцающих великанов юркала цветистая мелюзга — крошечные призраки, напоминающие нежнейших бабочек, прозрачнейших стрекоз. И в полумглистом аквариуме, глядя на всех этих сказочных рыб, скользящих, дышущих, выпучивших глаза в свою бледно-зеленую вечность, — я вспомнил прохладные, излучистые стихи английского поэта, который чуял в них, в этих гибких, радужных рыбах, глубокий образ нашего бытия.

Руперт Брук... Имя это еще не известно на материке, а тем паче в России. Руперт Брук (1887–1915) представлен двумя легкими томиками, в которых собрано около восьмидесяти стихотворений. В его творчестве есть редкая пленительная черта: какая-то сияющая влажность, недаром он служил во флоте, недаром и само имя его означает по-английски: ручей. Эта тютчевская любовь ко всему струящемуся, журчащему, светло-студеному выражается так ярко, так убедительно в большинстве его стихов, что хочется их не читать, а всасывать через соломинку, прижимать к лицу, как росистые цветы, погружаться в них, как в свежесть лазоревого озера. Для Брука мир — водная глубь, «зыбкая, изменчивая, дымчатая, в которой колеблющиеся тени вздуваются и зияют таинственно... Странная нежность глубины смягчает потонувшие в ней краски, раздробляет черный цвет на его составные оттенки, подобно тому как смерть расчленяет жизнь. Вот алый сумрак, таящийся в сердцах роз, вот синий лоск мертвых беззвездных небес, вот золотистость, лежащая за глазами, вот та неведомая, безымянная, слепая белизна, которая является основным пламенем ночи, вот тускло-лиловая окраска, вот матовая зелень, — тысячи тысяч оттенков, цветущих между тьмой и тьмой». И все краски эти дышут, движутся, образуют чешуйчатые существа, которых мы зовем рыбками; и вот, в тонко-жутких стихах поэт передает весь трепет жизни их.

В полдневный час, ленивым летом,
овеянная влажным светом,
в струях с изгиба на изгиб,
блуждает сонно-сытых рыб
глубокомысленная стая,
надежды рыбьи обсуждая,
и вот значенье их речей:
«У нас прудок, река, ручей;
но что же дальше? Есть догадка,
что жизнь — не все; как было б гадко
в обратном случае! В грязи,
в воде есть тайные стези,
добро лежит в их основанье.
Мы верим: в жидком состоянье
предназначенье видит Тот,
Кто глубже нас и наших вод.

Мы знаем смутно, чуем глухо —
грядущее не вовсе сухо!
„Из ила в ил!“, — бормочет смерть;
но пусть грозит нам водоверть, —
к иной готовимся мы встрече...
За гранью времени, далече,
иные воды разлились.
Там будет слизистее слизь,
влажнее влага, тина гуще...
Там проплывает Всемогущий,
с хвостом, с чешуйчатой душой,
благой, чудовищно-большой,
извечно царствавший над илом...
И под Божественным правилом
из нас малейшие найдут
желанный, ласковый приют...
О, глубь реки безмерно мирной!
Там, под водою, в мухе жирной
крючок зловещий не сокрыт...
Там тина золотом горит,
там — ил прекрасный, ил пречистый.
И в этой области струистой —
ах, сколько райских червяков,
бессмертных мошек, мотыльков —
какие плавают стрекозы!»
И там, куда все рыбьи грезы
устремлены сквозь влажный свет,
там, верят рыбы, суши нет...

В этих стихах, в этой дрожащей капле воды, отражена сущность всех земных религий. И Брук сам — «грезящая рыба», когда, заброшенный на тропический остров, он обещает своей гавайской возлюбленной совершенства заоблачного края, «где живут Бессмертные, — благие, прекрасные, истинные, — те Подлинники, с которых мы — земные, глупые, скомканные снимки. Там — Лик, а мы здесь только призраки его. Там — верная беззакатная Звезда и Цветок, бледную тень которого любим мы на земле. Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь. Нет движущихся ног, а есть Пляска. Все песни исчезнут в одной Песне. Вместо любовников будет Любовь...» Но тут, спохватившись, поэт восклицает: «Как же мы будем плести наши любимые венки, если там нет ни голов, ни цветов? Господи, как мы станем жалеть о пальмах, о солнце, о юге.

И уж больше, кажется, не будет поцелуев, ибо все уста сольются в единые Уста... Внемли зову луны и шепчущим благоуханьям, которые блуждают вдоль теплой лагуны. Поспеши, положив руку в руку человеческую, сквозь сумрак цветущей тропы к белой полосе песка и в мягкой ласке воды смой пыль мудрованья. И до зари, под сияющей луной, нагоняй в беззвучно-глубокой воде чье-то мерцающее тело и теневые волосы, а то предавайся волне полудремотно. Ныряй, изгибайся, выплывай, выглядывай из цветов, смейся, призывай — пока уста наши еще не поблекли, пока у нас на лицах не стерлась печать нашего „я"...»

Ни один поэт так часто, с такой мучительной и творческой зоркостью не вглядывался в сумрак потусторонности. Пытаясь ее вообразить, он переходит от одного представления к другому с лихорадочной торопливостью человека, который ищет спички в темной комнате, пока кто-то грозно стучится в дверь. То кажется ему, что он, умерев, проснется «на широкой, белесой, сырой равнине, придавленной странными, безглазыми небесами» и увидит себя «точкой неподвижного ужаса... мухой, прилипшей к серой, потной шее мертвеца», — то предчувствует он безмерное блаженство. Предчувствие это жарче всего бьется в стихотворении «Прах».

Вот оно в русском переводе:

Когда, погаснув, как зарницы,
уйдя от дальней красоты,
во мгле, в ночи своей отдельной,
истлею я, истлеешь ты;

когда замрет твой локон легкий,
и тяжкий тлен в моих устах
прервет дыханье, и с тобою
мы будем прах, мы будем прах, —

как прежде, жадные, живые,
не пресыщенные, — о, нет! —
блестя и рея, мы вернемся
к местам, где жили много лет.

В луче мы пылью закружимся,
былых не ведая оков,
и над дорогами помчимся
по порученьям ветерков.

И станет каждая пылинка,
блестя и рея тут и там,
скитаться, как паломник тайный,
по упоительным путям.

Не отдохнем, пока не встретит,
за непостижною чертой,
один мой странствующий атом
пылинку, бывшую тобой.

Тогда, тогда, в саду спокойном,
в вечерних ласковых лучах,
и сладостный, и странный трепет
найдут влюбленные в цветах.

И средь очнувшегося сада,
такое счастие, такой
призыв воздушно-лучезарный
они почуют над собой,

что не поймут — роса ли это,
огонь ли, музыка, иль цвет,
иль благовонье, или двое,
летящие из света в свет.

И, с неба нашего блаженства
испепеляющего, крик
заставит вспыхнуть их пустые
и нищие сердца — на миг.

И в расползающемся мраке
они, блеснув, потухнут вновь,
но эти глупые людишки
на миг постигнут всю любовь...

Между этих крайностей развертывается вереница более спокойных образов. Вот на берегах Леты, среди мифологических кипарисов, поэт встречает свою умершую любовницу, и она, беспечная Лаура эта, «вскидывает темно-русой очаровательной головой», так потешает ее вид древних мертвых — Сократ курносый, щуплый Цезарь, завистливый Петрарка.

Вот, взбежав на цветущий холм — где-нибудь под Кембриджем, — Руперт, весело запыхавшись, восклицает, что душа его воскреснет в поцелуях будущих влюбленных. А то облака ласкают его воображенье.

Их сонмы облекли полночный синий свод,
теснятся, зыблются, волнуются безгласно,
на дальний юг текут; к таящейся, прекрасной
луне за кругом круг серебряный плывет.
Одни, оборотясь, прервав пустынный ход,
движеньем медленным, торжественно-неясно
благословляют мир, хоть знают, что напрасно
моленье, что земли моленье не спасет.
Нет смерти, говорят; все души остаются
среди наследников их счастья, слез и снов...
Я думаю, они по синеве несутся,
печально-пышные, как волны облаков;
и на луну глядят, на гладь морей гудящих,
на землю, на людей, туда-сюда бродящих.

Отсюда недалеко до полной примиренности со смертью, и действительно — четырнадцатый год нашего столетия внушает Бруку пять цветных сонетов, озаренных как бы изнутри чудесной кротостью.

Их душу радости окрасили, печали
омыли сказочно. Мгновенно их влекли
улыбки легкие. Вся радужность земли
принадлежала им, и годы их смягчали.
Они видали жизнь и музыке вдали
внимали. Знали сон и явь. Любовь встречали
и дружбу гордую. Дивились. И молчали.
Касались щек, цветов, мехов... Они ушли.
Так ветры с водами смеются на просторе,
под небом сладостно-лазоревым, но вскоре
зима заворожит крылатую волну,
плясунью нежную, и развернет морозный
спокойный блеск, немую белизну,
сияющую ширь, под небом ночи звездной.

А вот другой сонет из того же ряда. Черновик его хранится под стеклом в Британском Музее между рукописью Диккенса и записной книжкой капитана Скотта.

Лишь это вспомните, узнав, что я убит:
стал некий уголок, средь поля на чужбине,
навеки Англией. Подумайте: отныне
та нежная земля нежнейший прах таит.
А был он Англией взлелеян; облик стройный
и чувства тонкие Она дала ему,

дала цветы полей и воздух свой незнойный,
прохладу рек своих, тропинок полутьму.
Душа же, ставшая крупицей чистой света,
частицей Разума Божественного, где-то
отчизной данные излучивает сны:
напевы и цвета, рой мыслей золотистый
и смех, усвоенный от дружбы и весны
под небом Англии, в тиши ее душистой.

Мне хотелось показать на этих примерах разнообразие тех цветных стекол, сквозь которые Брук, перебегая от одного к другому, глядит вдаль, стараясь различить черты приближающейся смерти. Мне сдается, что его так упорно тревожит не столько мысль о том, что он найдет *там*, сколько мысль о том, что покинет он *здесь*. Он любит землю страстно. Для него земная жизнь словно первая любовь, и хоть он чует, что за ней последуют другие романы, но всплески солнца, вопли ветра, уколы дождя — сверкающее величие и сверкающую боль этой первой любви ему уж ничего не сможет заменить — ни холодные лобзанья небесных звезд, ни *садистические ласки безносой смерти*, ни ангельские серенады, ни призрачные красавицы, блуждающие над Летой. В небольшой, очень тонкой поэме о Деве Марии мерцает та же мысль: Архангел Гавриил, как золотая точка, исчез в небе, Мария впервые почувствовала в теле своем биение второго сердца — божественное биение, отделившее Ее от мира, озарившее Ее горним светом, но... «воздух стал холоднее, серее...». В этот миг Она, вероятно, поняла, что кончилась Ее земная жизнь, что больше уж никогда Она не будет играть и петь и ласкать маленьких белых коз, средь крокусов, под оливами.

Повторяю: Руперт Брук любит мир, с его озерами и водопадами, страстной, пронзительной, головокружительной любовью. Он желал бы в час смерти унести его под полой и потом, где-нибудь в надсолнечном пределе, на досуге разглядывать, ощупывать без конца свое нетленное сокровище. Но он знает, что хоть и найдет он, быть может, невыразимо прекрасный рай, а все-таки свою влажную, живую, яркую землю он покинет навсегда. Чуя близкий конец, он пишет восторженное завещанье — пересчитывает свои богатства и, торопясь, составляет сумбурный список

всего того, что любил он на земле. А любит он многое: белые тарелки и чашки, чисто-блестящие, обведенные тонкой синью; и перистую прозрачную пыль; мокрые крыши при свете фонарей; крепкую корку дружеского хлеба; и разноцветную пищу; радуги; и синий горький древесный дымок; и сияющие капли дождя, спящие в холодных венчиках цветов; и самые цветы, колеблющиеся по зыби солнечных дней и мечтающие о ночных бабочках, которые пьют из них, под луной; также — свежую ласковость простынь, которая скоро сглаживает всякую заботу; и жесткий мужской поцелуй одеяла; зернистое дерево; живые волосы, блестящие, вольные; синие, громоздящиеся тучки; острую, бесстрастную красоту огромной машины; благодать горячей воды; пушистость меха; добрый запах старых одежд; а также уютный запах дружеских пальцев, благоуханье волос, и пахучую сырость мертвых листьев и прошлогодних папоротников; младенческий смех студеной струи, бьющей из крана или из почвы; ямки в земле; и голоса поющие; и голоса хохочущие; и телесную боль, унимающуюся так быстро; и мощно-пыхтящий поезд; твердые пески; и узкую бахромку пены, которая рыжеет и тает, пока возвращается волна в море; и влажные камни, яркие на час; сон; и возвышенные места; следы ног на пелене росы; и дубы; и коричневые каштаны, лоснящиеся как новые; и сучки, очищенные от коры; и блестящие лужи в траве...»

И тут Брук находит мимолетное утешение в мысли о славе: «Мою ночь, говорит он, запомнят благодаря одной звезде, превзошедшей блеском все солнца всех человеческих дней, ибо не увенчал ли я бессмертной хвалой тех, которых я любил, которые дали мне свою душу, выпытывали вместе со мной великие тайны и в темноте преклоняли колени, чтобы увидеть неописуемое божество наслажденья?»

И снова забыв, что «смех умирает с устами смеющимися, любовь — с сердцами любящими», поэт в трепетных ямбах сливает жизнь и смерть в одно пламенное упоенье.

Из дремы Вечности туманной,
из пустоты небытия,
над глубиною гром исторгся:
тобою призван, вышел я.

Я расшатал преграды Ночи,
законы бездны преступил,
и в мир блистательно ворвался
под гул испуганных светил.

Распалось вечное молчанье...
Я пролетел — и Ад зацвел.
Каким же знаком докажу я,
что наконец тебя нашел?

Иные вычеканю звезды,
напевом небо раздроблю...
В тебе я огненной любовью
свое бессмертие люблю.

Ты уязвишь седую мудрость,
и смех твой пламенем плеснет,
Я именем твоим багряным
исполосую небосвод.

И рухнет Рай, и Ад потухнет
в последней ярости своей,
и мгла прервет холодным громом
стремленья мира, сны людей.

И встанет Смерть в пустых пространствах
и, в темноту из темноты
скользя неслышно, убоится
сиянья нашей наготы.

Любви блаженствующей звенья,
ты, Вечность верная, замкни!
Одни над мраком мы, над прахом
богов низринутых, — одни...

Но не всегда женщина является для Брука вечной спутницей, залогом бессмертия. Так же как и в стихах, посвященных «великому быть может», Брук в своих изображениях женщины и любви зыбок, переменчив, как луч фонарика, освещающего мимоходом то лужу, то цветущий куст. Он переходит от дивного безумия, внушившего ему «Прах» и «Призыв», к каким-то мучительным чертежам, рисуя «неутоленные, раскоряченные желанья... причудливый образ, льнувший к такому же запутанному образу, личины ползущие, потерянные, извилистые, вязнущие,

уродливо сплетающиеся, безумно блуждающие по прихоти углубляющихся тропин и странных выпуклых путей».

Брук еще кое-как мирится с «причудливостью» человеческого тела, когда тело это молодо, стремительно, чисто, но что вызывает в поэте злобу и отвращенье, — это дряблая старость с ее беззубым, слюнявым ртом, красными веками, поздней похотливостью... И доисторический прием — сопоставленье весны и увяданья, грезы и действительности, розы и чертополоха — обновляется Бруком необычайно тонко.

Примером могут послужить следующие два сонета:

Троянские поправ развалины, в чертог
Приамов Менелай вломился, чтоб развратной
супруге отомстить и смыть невероятный
давнишний свой позор. Средь крови и тревог
он мчался, в тишь вошел, поднялся на порог,
до скрытой горницы добрался он неслышно,
и вдруг, взмахнув мечом, в приют туманно-пышный
он с грохотом вбежал, весь огненный как бог.

Сидела перед ним, безмолвна и спокойна,
Елена белая. Не помнил он, как стройно
восходит стан ее, как светел чистый лик...
И он почувствовал усталость, и смиренно,
постылый кинув меч, он, рыцарь совершенный,
пред совершенною царицею поник.

Так говорит поэт. И как он воспоет
обратный путь, года супружеского плена?
Расскажет ли он нам, как белая Елена
рожала без конца законных чад и вот
брюзгою сделалась, уродом... Ежедневно
болтливый Менелай брал сотню Трой меж двух
обедов. Старились. И голос у царевны
ужасно-резок стал, а царь — ужасно глух.

«И дернуло ж меня, — он думает, — на Трою
идти! Зачем Парис втесался?» Он порою
бранится со своей плаксивою каргой,
и, жалко задрожав, та вспомнит про измену.
Так Менелай пилил визгливую Елену,
а прежний друг ее давно уж спал с другой.

Еще резче высказывается это отвращение к дряхлости в стихотворении «Ревность», обращенном, вероятно, к новобрачной. В нем поэт так увлекается изображеньем грядущей старости розового, молодцеватого супруга, которого он уже видит лысым, и жирным, и грязным, и Бог знает чем, — что только на тридцать третьей — последней — строке спохватывается: «Ведь когда время это придет, ты тоже будешь старой и грязной...»

Мне кажется, что и в этом стихотворении, и в другом, посвященном поразительно подробному и довольно отвратительному разбору морской болезни, явленья которой тут же сравниваются с воспоминаньями любви, Брук слегка щеголяет своим уменьем зацепить и выхватить, как бирюльку, любой образ, любое чувство, слегка чернить исподнюю сторону любви, как чернил (в стихотворении о «мухе на серой потной шее мертвеца», упомянутом выше) вид загробного края. Он отлично знает, что смерть — только удивленье; он певец вечной жизни, нежности, лесных теней, прозрачных струй, благоуханий; он не должен был бы сравнивать жгучую боль разлуки с изжогой и отрыжкой.

Как-никак Брук не был счастлив в любви. Знаменательно то, что полное безоблачное блаженство с женщиной он может представить себе только перенося и себя, и ее за предел земной жизни. Бесконечно любя красоту мира, он часто чувствует, что неуклюжая, нестройная страсть нарушает своей прозаической походкой светотени и мягкие звуки земли. Это вторженье гуся позы в сад поэзии выражено у него следующим образом.

Моими дивными деревьями хранимый,
лежал я, и лучи уж гасли надо мной,
и гасли одинокие вершины,
омытые дождем, овеянные мглой.

Лазурь и серебро и зелень в них сквозили;
стал темный лес еще темней;
и птицы замерли; и шелесты застыли,
и кралась тишина по лестнице теней.

И не было ни дуновенья...

И знал я в это вещее мгновенье,
что ночь и лес и ты — одно,

я знал, что будет мне дано
в глубоком заколдованном покое
найти сокрытый ключ к тому,
что мучило меня, дразнило: почему
ты — ты, и ночь — отрадна, и лесное
молчанье — часть моей души.

Дыханье затаив, один я ждал в тиши,
и, медленно, все три мои святыни —
три образа единой красоты —
уже сливались: сумрак синий,
и лес, и ты.

Но вдруг —
все дрогнуло, и грохот был вокруг,
шумливый шаг шута в неискренней тревоге,
и треск, и смех, слепые чьи-то ноги,
и платья сверестящий звук,
и голос, оскорбляющий молчанье.

Ключа я не нашел, не стало волшебства,
и ясно зазвучал твой голос, восклицанья,
тупые, пошлые, веселые слова.
Пришла и близ меня заквакала ты внятно...
Сказала ты: здесь тихо и приятно.
Сказала ты: отсюда вид неплох.
А дни уже короче, ты сказала.
Сказала ты: закат — прелестен.
Видит Бог,
хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала!

А то поэт жалуется, что возлюбленная его не понимает: он просит у нее кротости — она его целует в губы, просит сокрушительных восторгов — она целует его в лоб. Он сам признается, что он принадлежит к числу тех, которые «блуждают в туманах между раем и адом, взывают к призракам, хватают, и сами не знают, любят ли они вовсе, а если и любят, то кого — даму ли из старинной песни, шута ли в маскарадном платье, или привиденье, или свое собственное лицо, отраженное во мраке». Один из таких призраков ему однажды и явился.

Усталый, поздно возвратился
я в сумрак комнатки моей,
к уюту бархатного кресла,
к рубинам тлеющих углей.

Вошел тихонько я и... замер:
был женский облик предо мной:
щеки и шеи светлый очерк,
прически очерк теневой,
да, в кресле кто-то незнакомый,
вон там, сидел ко мне спиной.

И волосы ее и шею
я напряженно наблюдал;
на миг застыл, потом рванулся —
и никого не увидал.

Игра пустая, световая,
лишь окудесила меня —
теней узоры да подушка
на этом кресле у огня.

О вы, счастливые, земные,
скажите, мог ли я уснуть?

Следил я, как луна во мраке
свершала крадучись свой путь —
по стенке, в зеркале, на чашке...
Я в эту ночь не мог уснуть.

Порою же Брук чувствует, что как будто собственное тело мешает ему любить, и в прекрасных стихах изображает ту странную внезапную холодность, за которую некогда так обиделась венецианка на робкого Руссо. Он вкусил бы полного счастья, если женщина была бы цветущим деревом, сверкающим потоком, ветром, птицей. Как только в ней человек заслоняет богиню, как только визг дешевой скрипки нарушает тишину сияющей ночи, Брук страдает, томится, проклинает этот мучительный разлад. И последствием его исканий, падений, разочарований, любовных неудач является чувство не только личного, но и космического одиночества, которое, впрочем, он ощущает только в глухие часы бессонницы, когда сумраком скрыт пленительный видимый мир.

Было поздно, было скучно,
было холодно, и я
звездам — братии веселой
позавидовал: друзья

золотые, хорошо вам!
Не тоскует никогда
со звездою лучезарной
неразлучная звезда.

Светом нежности взаимной,
светом радостей живых,
беззаботностью, казалось,
свыше веяло от них.
Так, быть может, и Создатель
смотрит с вышины своей,
развлекаемый веселой
вереницею людей,
и не ведает, что каждый
в одиночестве своем,
как потерянный в пустыне,
бродит в сумраке немом.

Я-то ведал, полюбил их,
пожалел от всей души:
там, в пустынях непостижных,
в угнетающей тиши,
тлели звезды одиноко,
и с далеким огоньком
огонек перекликался
комариным голоском...

Отметим, кстати, что Брук любит изображать Бога — с бородой, в мантии, на золотом престоле. (Точно так же, как и рыбы представляют себе какого-то чешуйчатого, хвостатого Юпитера, плавающего в Райской Заводи.) Но вот что однажды случилось:

Алмазно-крепкою стеною от меня
Всесильный отделил манящую отраду.
Восстану, разобью угрюмую ограду
и прокляну Его, на троне из огня!
Всю землю я потряс хулой своей великой,
но пламенем Любовь вилась у ног моих,
и, гордый, я дошел до лестниц золотых,
ударил трижды в дверь, вошел с угрозой дикой.

Дремал широкий двор; он полон солнца был
и полон отзвуков бесплодных. Мох покрыл
квадраты плит сквозных и начал, неотвязный,
в покои пыльные вползать по ступеням...

Внутри — пустой престол; и веет ветер праздный
и зыблет тяжкие завесы по стенам.

Не совсем ясен смысл сонета этого: земная любовь ли победила и низвергла Бога, хотел ли поэт выразить ту мысль, что внешний Бог-Саваоф нераздельно связан с Богом «внутри нас» и потому исчезает, как только человек начинает его отрицать, или же смысл заключается в том, что Бог просто умер и давно уже не правит миром? Темен и символ другого стихотворения, схожего по духу с вышеприведенным сонетом.

По кругам немым, к белоснежной вершине земли
четыре архангела ровно и медленно шли:
огромные крылья сложив, выделяясь на небе пустом,
несли они гробик убогий; ребенок покоился в нем,
да, верно, — ребенок (хоть склонны мы думать, что Бог
не мог бы ребенка увлечь от весенних дорог:
и в хрупкой и в жуткой скорлупке смахнуть его прочь
в пространства пустынные, в тишь бесконечную, в ночь).

И вниз они глянули, сбросив с вершины крутой,
в объятья неведомой тьмы, черный гробик простой,
и Господа жалкое тельце, свернувшись в клубок,
лежало в нем, точно измятый, сухой лепесток.
Он в бездне исчез, и в молчанье, один за другим
архангелы грустно спустились к равнинам пустым.

Оба эти стихотворения относятся к наиболее ранним произведениям поэта (они написаны в 1906-м году), и хоть сами по себе образны и величавы, но едва ли являются отличительными для Брука. Он так ярко чувствует божественное в окружающей природе, — на что ему эта бутафорская вечность, эти врубельские ангелы, этот властелин с ватной бородой? Пускай светляки веруют в электрический маяк, стрекозы — в моноплан-антуанет, цветы — в исполинскую викторию-регию, кроты в слепое, бархатное чудище; пускай в захолустном городке добрые мещане, хныкая, приговаривая, сморкаясь в огромные клетчатые платки, теснятся вокруг тела умершей девушки — мимолетной возлюбленной странствующего поэта: «Они положили медяшки на твои серые глаза, подвязали падающую челюсть, их мысли, как мухи, ползут по твоей коже... — а я,

говорит поэт, я не буду на твоих поминках, не буду с ними есть кутью» — и он из белого душного городишка уходит на вершину холма, исполненный ликующих воспоминаний, и там, наедине со звездами и с ветром, служит величавую панихиду... Он теперь счастлив: его возлюбленная слилась с той вечной, стоцветной, стозвучной природой, которую он так жадно любит. Впрочем, и в любви к природе Руперт Брук прихотливо узок, как и все поэты всех времен.

Киплинг говорит где-то: «Сердце человека так невелико, что всю Божью землю он любить не в состоянии, а любит только родину свою, да и то один какой-нибудь ее уголок». Так Пушкин любил «перед избушкой две рябины», а Лермонтов — «чету белеющих берез». И Руперт Брук, говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только городок Гранчестер — волшебный городок. Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук в душный летний день с упоеньем вспоминает о той мглисто-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь в таких же выраженьях, как говорил о благоуханной гавайской лагуне, ибо лагуна эта была, в сущности, все та же родная, узкая речка, окаймленная ивами и живыми изгородями, из которых там и сям выглядывает «неофициальная английская роза». В непереводимых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит Пан. С глубокой нежностью поэт воспевает сказочный свой городок, где живут люди чистые и телом и душой, такие мудрые, такие утонченные, что стреляются они, как только подступает тусклая старость...

Я как-то проезжал на велосипеде через Гранчестер. В окрестных полях мучили глаз заборы, сложные, железные калитки, колючие проволоки. От грязных, кирпичных домишек веяло смиренной скукой. Ветер сдуру вздувал подштанники, развешанные для сушки меж двух зеленых кольев, над грядками нищенского огорода. С реки доносился тенорок хриплого граммофона.

Я попытался в общих чертах наметить поэтический облик Руперта Брука. Смерть, которую он так чутко

подкарауливал, невзначай застала его в лиловом Эгейском море, в солнечный, гладкий день. Он недолго прожил, и разноцветность его настроений зависит отчасти от того, что он как-то не успел разобраться в богатствах своих, не успел при жизни слить все краски земли в единый цвет, в сияющую белизну. Но все же нетрудно различить основную черту его творчества: страстное служенье чистой красоте...

СЕРГЕЙ КРЕЧЕТОВ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕРСТЕНЬ». СТИХИ

ИЗД-ВО «МЕДНЫЙ ВСАДНИК». 1922. БЕРЛИН

В наши черные дни, когда мучат русскую музу несметные хулиганские «поэтисты», сладко раскрыть книжечку стихов простых и понятных. Я благодарен Сергею Кречетову за скромность его образов, за плавность округлых размеров, за приятный, тусклый блеск его «Железного Перстня». Особенно хороши стихи из первой части сборника («Призрак дон Жуана», «Вожатый», «Красный плащ», «Неизвестность», «Клятва в Верности» и др.); в них есть строгость, стройность, чудесная внутренняя напевность: прочтешь, — и долго затем поет в памяти строка, насыщенная музыкой.

И я не сетую на бледность некоторых прилагательных, на эту легкую ржавчину, проползающую тут и там, даже в лучших стихах, — не сетую и на брюсовскую риторичность многих пьес («Алкоголь», «Город», «Встреча» и др.), на ложную пышность политических стихов в сборнике (напоминающих тютчевские призывы «идти на Царьград») — все это книге придает оттенок какой-то приятной старомодности. И не хочется говорить о таких промахах, как, например, рифма: Иматра — театра, о ненужности таких эпитетов, как «двугорбый верблюд», и о том, что в одном стихотворении — о лондонском банкире — Риджент Стрит оказывается в Сити.

Жаль, однако, что поэт поместил в сборнике и переводы свои с английского. Знаменитое «If» Киплинга — такое твердое, простое, я сказал бы — житейское — превращено

в нечто очень неуклюжее и выспренное, а строгую заключительную строфу стихотворения Йитса («Когда ты состаришься») почему-то заменил следующий хореический лепет:

И склонившись низко в сладостной печали,
И глядя, как гаснут золотые искры,
О любви вздохните, что прошла так быстро,
Что умчалась к звездам, в голубые дали.

Меж тем у Йитса сказано так: «И у огня склонясь, шепни уныло — о том, как унеслась любовь и там — вверху — прошла, ступая по горам, — и в сонме звезд лицо свое сокрыла».

ВОЛШЕБНЫЙ СОЛОВЕЙ
СКАЗКА РИХАРДА ДЕММЕЛЯ
ПЕРЕВЕЛ САША ЧЕРНЫЙ

ИЛЛЮСТРАЦИИ И. ГЛЕЙТСМАНА. КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОЛГА»

Молодые народы не имеют хорошей детской литературы, точно так же как юноша редко умеет занимать ребенка. Еще недавно детские книги в России были пропитаны преступной пошлостью «задушевного слова», написаны были безграмотно, кое-как, — какое дело ребенку до формы! — и украшались рисунками аляповатыми, небрежными, не остающимися навсегда в памяти светлыми, слегка волнующими образами, как остаются краски детских книг, составленных истинными художниками. Книга для детей тогда хороша, когда привлекает и взрослого.

За последние годы поняли, что ребенок бессознательно требует от книги изысканную простоту слога — без сюсюканья и без пословиц, — тщательную изящность иллюстраций. Потому-то он полюбит и «Детский остров» и многие другие милые книги, любовно изданные за рубежом, — и среди них «Волшебного соловья». Стих Саши Черного легок, катится нежно-гуттаперчевой музыкой, — и сказка Деммеля в его передаче веет свежей, чуть дымчатой мягкостью. Все это лишний раз показывает, какой тонкий, своеобразный лирик живет в желчном авторе «сатир».

Иллюстрации И. Глейтсмана прелестно и мягко расцвечены и сливаются с текстом. Приключения бедного соловья переданы чрезвычайно привлекательно, и выражением того, что поэты неуклюжи в жизни под бременем обиходных обид, является рисунок № 5, на котором соловей, убегающий в пустыню, похож на курицу.

РУССКАЯ РЕКА

Каждый помнит какую-то русскую реку, но бессильно запнется, едва говорить о ней станет: даны человеку лишь одни человечьи слова.

А ведь реки — как души — все разные... Нужно, чтоб соседу поведать о них, знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный, изумрудную речь водяных...

Но у каждого в сердце, где клад заковала кочевая стальная тоска, отзывается внятно, что сердцу, бывало, напевала родная река...

Для странников верных качнул я дыханьем души эти качели слогов равномерных в бессонной тиши... Повсюду, в мороз и на зное, встретишь странников этих, несущих, как чудо, как бремя страстное, родину...

Сам я — бездомный — как-то ночью стоял на мосту, в городе мглистом, огромном, и глядел в маслянистую темноту, — рядом с тенью случайно-любимой, стройной, как черное пламя, да только с глазами безнадежно-чужими...

Я молчал, и спросила она на своем языке: «Ты меня уж забыл?» — и не в силах я был объяснить, что я — там, далеко, на реке илистой, тинистой, с именем милым, с именем что камышовая тишь... Это словно из ямочки в глине черно-синий выстрелит стриж и вдоль по-сердцу носится с криком своим изумленным: вий-вий...

Это было в раю...
Это было в России.

Вот гладкая лодка плывет в тихоструйную юность мою: мимо леса, полного иволог, солнца, прохлады грибной, мимо леса, где березовый ствол чуть сквозит белизной стройной в буйном бархате хвойном, мимо красных, крутых берегов, парчовых островков, мимо плавных полянок сырых, в скабиозах и лютиках...

Раз! — и тугие уключины звякают — раз! — и весло на весу проливает огнистые слезы в зеленую тень. Чу! — в прибрежном лесу кто-то легко зааукал... Дремлет цветущая влага — подковы листьев плавучих, фарфоровый купол цветка водяного... Как мне запомнилась эта река узорная, узкая!.. Вечереет... (И как объяснить, что значило русское: «вечереет»?)

Стрекоза, — бирюзовая нить, два крыла слюдяных, — замерла на перилах купальни... Солнце в черемухах... Колокол дальний... Тучки румяные, русые... Червячка из чехла выжмешь, за усики вытянешь, и — на крючок. Ждешь. Клюет.

Сладко дрогнет леса, и блеснет, шлепнет о мокрые доски голубая плотва, головастый бычок или хариус жесткий...

А когда мне удить надоест, — на деревянный навес взберусь (...Русь!..) и оттуда беззвучно ныряю в отраженный закат... ослепленный, плыву наугад, ширяю, навзничь ложусь, — и не ведаю, где я, — в небесах, на воде ли? Мошкара надо мною качается, вверх и вниз, вверх и вниз, без конца...

Вечер кончается. Осторожно сдираю с лица липкую травку... В щиколотку щиплет малявка: сладок мне рыбий слепой поцелуй. В лиловеющей зыби — узел огненных струй; и плыву я, горю, глотаю зарю вечеровую.

А теперь, в бесприютном краю, уж давно не снимая котомки, качаю-ловлю я, качаю-ловлю строки о русской речонке, строки, как отблески солнца, бессвязные...

Ведь реки — как души — все разные... Нужно, чтоб соседу поведать о них, знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный, изумрудную речь водяных...

Но у каждого в сердце, где клад заковала кочевая стальная тоска,— отзывается внятно, что сердцу, бывало, напевала родная река...

АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ. ОДЫ И ГИМНЫ

ИЗД. «МИЛАВИДА». МЮНХЕН

Это — книга искусных стихов, в меру охлажденных, часто очень звучных, изредка простых и прекрасных. Муза поэта живет в те века, когда люди писали на воске и склонны были придавать эпическое значение мелочам жизни и природы. Сапфики, алкаики, гликоники, асклепиады и всякие разновидности гекзаметра — вот какие мудреные размеры воскрешает автор «Од и гимнов». Из отдельных стихотворений безукоризненно хороши два: «Сыро» и «Лен берут», оба состоящие из сапфических строф. По примеру древних поэт берет темы из деревенской жизни:

Даже птицы все улетели в поле.
Где-то лишь вдали жестяные звуки
Слышны: стук... стук... стук... Обивает косу
Старый Никифор.

Отметим прекрасную сапфическую спазму, после «косу». Вообще говоря, Салтыков легко поддается звуковому очарованью, и тогда возникают такие великолепно-звонкие стихи:

Родос далекий и Горная Фригия;
Пурпуром славный Ваала Сидон.
Кипр, иудеями полный, и Лигия,
и Каппадокия, и Колофон...

Поэт играет не только именами богов и названиями древних стран, но и названиями ботаническими, свежо рифмуя аристолокия — глубокие, никтернии — вечерние, дали — азалий. Очень хорошо в одном месте:

розлито в чаше сада
спиреи молоко, —

и приятно, когда вместо «георгина» поэт говорит «далия» (Dahlia).

В сборнике есть и философские стихи, и политические, и «современные». Последние не хуже и не лучше тютчев-

ских стихов на злобу дня. Особняком стоит, однако, стихотворение (январь 1917) о черном пуделе (гётевском), недвижно сидящем на мосту в хлопьях снега. Хороши и строки, посвященные «футуристам».

Закрывая книгу, испытываешь приятное чувство, словно проделал ряд гармонических, плавных движений на свежем воздухе, и, ободренный благородными ритмами, забываешь посетовать на мелкие промахи автора — на вялость некоторых стихов, не спасаемых игрой эрудиции, — и на две-три строки такой «русской латыни» (не лишенной, впрочем, своеобразной прелести): «Немого тают в золоте вечера стволы каштанов»...

БРАЙТЕНШТРЕТЕР — ПАОЛИНО

Все в мире играет: и кровь в жилах у возлюбленного, и солнце на воде, и музыкант на скрипке.

Все хорошее в жизни: любовь, природа, искусства и домашние каламбуры — игра. И когда мы действительно играем — разбиваем ли горошинкой жестяной батальон или сходимся у веревочного барьера тенниса, то в самых мышцах наших ощущаем сущность той игры, которой занят дивный жонглер, что перекидывает из руки в руку беспрерывной сверкающей параболой — планеты вселенной.

Люди играют с тех пор, как существуют. Бывают века — каникулы человечества — когда люди особенно увлекаются играми. Так было в прежней Греции, в прежнем Риме и в современной нам Европе.

Ребенок хорошо знает, что для того, чтобы всласть поиграть, нужно играть с кем-нибудь или по крайней мере вообразить кого-нибудь, раздвоиться. Иначе говоря, нет игры без соревнования; потому-то некоторые игры, как, например, гимнастические фестивалы, когда полсотня мужчин или женщин чертят на плацу общие фигуры одинаковых движений, кажутся пресными, будучи лишены того главного, что придает игре восхитительную, волнующую прелесть. Потому-то так смешон коммунистический строй, при котором все обречены делать все одну и ту же

скучноватую гимнастику, не допускающую, чтобы кто-нибудь был стройнее соседа.

Недаром Нельсон говорил, что Трафальгарская битва была выиграна на футбольных и теннисных площадках Итона. И немцы с недавних пор тоже поняли, что гусиным маршем далеко не уйдешь и что бокс, футбол и хоккей поважнее военной и всякой другой гимнастики. Особенно важен бокс, — и мало есть зрелищ здоровее и прекраснее боксовых состязаний. Нервозный господин, не любящий по утрам мыться нагишом и склонный удивляться, что поэт, работающий для двух с половиной знатоков, получает меньше денег, нежели боксер, работающий для многотысячной толпы (не имеющей, кстати сказать, ничего общего с так называемой чернью и охваченной гораздо больше чистым, и искренним, и добродушным восторгом, чем толпа, встречающая гражданских героев), тот нервозный господин отнесется с негодованием и отвращением к кулачному бою, точно так же как и в Риме, вероятно, были люди, которые морщились оттого, что двое здоровых гладиаторов, показывая лучшее, что есть в смысле гладиаторского искусства, надают друг другу таких железных тумаков, что уже никакого «полице версо» не надо, и так друг друга прикончат.

Дело, конечно, вовсе не в том, что боксер-тяжеловес после двух-трех раундов несколько окровавлен, а белый жилет судьи имеет такой вид, словно вытекли красные чернила из самопишущего пера. Дело, во-первых, в красоте самого искусства бокса, в совершенной точности выпадов, боковых скачков, нырков, разнообразнейших ударов, согнутых, прямых, наотмашь, — и, во-вторых, в том прекрасном мужественном волнении, которое это искусство возбуждает. Красоту, романтику бокса изобразили многие писатели. У Бернарда Шоу есть целый роман о профессиональном боксере. О том же писали Джек Лондон, и Конан Дойль, и Куприн. Байрон — этот любимец всей Европы, за исключением разборчивой Англии, охотно дружил с боксерами и любил глядеть на их бои, точно так же, как это любили бы Пушкин и Лермонтов, живи они в Англии. Сохранились портреты профессиональных боксеров XVIII и XIX веков. Эти знаменитые Фигг, Корбетт, Крибб дрались без перчаток и дрались искусно,

честно, упорно — чаще до полного изнеможения, чем до нокаута.

И появление в средине прошлого века боксовых перчаток было вовсе не общим местом гуманности, а вызвано было желанием защитить кулак, который иначе можно было легко разбить в течение двухчасовой схватки. Все они давным-давно сошли с боевого помоста — эти славные кулачные мастера, — и немало фунтов стерлингов принесли они своим сторонникам, и доживали до глубокой старости, и по вечерам, в кабаках, за кружкой пива, с гордостью рассказывали о своих былых подвигах. И за ними появились другие — учителя нынешних — громадный Сулливан, Бернс, с виду лондонский щеголь, Джеффрис, сын кузнеца, «белая надежда», как называли его, намекая на то, что чернокожие боксеры уже становятся непобедимыми.

Те, кто надеялись, что Джеффрис победит черного великана Джонсона, потеряли свои деньги. Две расы глядели на этот бой. Но несмотря на неистовую вражду между белым и черным лагерем (дело происходило в Америке лет 25, а то и больше тому назад), ни единый закон боксовой игры не был нарушен, хотя Джеффрис приговаривал при каждом своем ударе: «Желтый пес... желтый пес...». И после долгого великолепного боя громадный негр так шарахнул противника, что Джеффрис вылетел навзничь с помоста, через круговой канат, и, как говорится, «уснул».

Бедный Джонсон! Он почил на лаврах, раздобрел, взял в жены белую красавицу, стал появляться как живая реклама на сцене мюзик-холлей, а потом, кажется, угодил в тюрьму, и недолго маячило в иллюстрированных журналах его черное лицо и белая улыбка.

Мне посчастливилось видеть и Смита, и Бомбардира Уэльза, и Годара, и Уайльда, и Бекетта, и чудесного Карпантье, который победил Бекетта. Этот бой, давший первому 5 тысяч, а второму 3 тысячи фунтов, продолжался ровно 56 секунд, так что некто, заплативший фунтов 20 за место, успел только закурить, а когда посмотрел на ринг, Бекетт уже лежал на досках в трогательном положении спящего младенца.

Спешу предупредить, что в таком ударе, вызывающем мгновенный обморок, нет ничего страшного. Напротив. Мне самому пришлось это испытывать, и могу заверить,

что такой сон, скорее, приятен. В самом кончике подбородка есть косточка, вроде той, в локте, которую зовут поанглийски «веселой косточкой», а по-немецки «музыкальной». Всякий знает, что если крепко удариться углом локтя, в руке сразу — мелкий звон и мгновенное оцепенение мышц. То же происходит, если очень сильно ударить вас в кончик подбородка.

Никакой боли. Только раскат мелкого звона и мгновенный приятный сон (так называемый «нокаут»), продолжающийся от десяти секунд до получасу. Менее приятен удар в солнечное сплетение, но хороший боксер так умеет напрячь живот, что не дрогнет, даже если лошадь лягнет его под ложечку.

Карпантье я видел и на этой неделе, во вторник вечером. Он явился как тренер тяжеловеса Паолино, и зрители как будто не сразу узнали в этом скромном белокуром молодом человеке недавнего чемпиона мира. Ныне слава его потускнела. Говорят, что после страшной схватки с Демпсеем он рыдал как женщина.

Паолино явился на ринг первым и сел, как полагается, в угол на табурет. Огромный, с темной квадратной головой, в пышном халате до пят, — этот баск был похож на восточного идола. Озарен был только самый ринг, а в белом конусе света, падающего на него сверху, помост казался серебристым. Этот серебристый куб посредине темного исполинского овала, где частые ряды бесчисленных человеческих лиц напоминали зерна спелой кукурузы, рассыпанные по черному фону, — этот серебристый куб казался озаренным не электричеством, а сосредоточенной силой всех взглядов, устремленных на него из темноты. И когда на светлый помост взошел противник баска, чемпион Германии Брайтенштретер, светловолосый, в халате мышиного цвета (и почему-то в серых штанах, которые он тут же стал стягивать), огромная темнота задрожала радостным гулом. Гул не смолкал ни пока фотографы, прыгнув на край помоста, наводили свои «обезьяньи ящики» (как выразился мой сосед-немец) на бойцов, на судью, на секундантов, ни пока чемпионы «боевые рукавицы натягивали» (мне вспоминается «молодой опричник и удалой купец»). И когда оба противника поскидали с могутных плеч халаты (а не «шубы бархатныя») и кинулись друг на друга в бе-

лом блеске ринга, легкий стон прошел в темной бездне, в рядах кукурузных зерен и в верхних туманных ярусах, — ибо все видели, насколько баск крупнее, коренастее их любимца.

Брайтенштретер напал первый, и стон превратился в грохот восторга. Но Паолино, вобрав в плечи голову, отвечал короткими крюками снизу вверх, и чуть ли не с первых же минут лицо немца блестело кровью.

При каждом ударе, получаемом Брайтенштретером, мой сосед со свистом вбирал воздух, словно сам получал удары, и крякала каким-то огромным сверхъестественным кряком вся темнота, все ярусы. Уже на третьем раунде стало заметно, что немец ослабел, что удары его не могут оттолкнуть сгорбленную оранжевую гору, надвигающуюся на него. Но он бился с необыкновенной смелостью, стараясь наверстать быстротой те 15 фунтов, на которые баск был тяжелее его.

Вокруг светящегося куба, по которому плясали бойцы и судья, извивавшийся между ними, черная темнота замерла, — и в тишине сочно брякала лоснистая от пота перчатка о голое живое тело. В начале седьмого раунда Брайтенштретер упал, но через 5—6 секунд, рванувшись, как лошадь на гололедице, встал. Баск тотчас налетел на него, зная, что в таких случаях нужно действовать решительно и быстро, вкладывать в удары всю возможную мощь, а то бывает, что только жгучий, но не крепкий удар, вместо того чтобы добить ослабевшего противника, действует на него живительно, пробуждает его. Немец отклонялся, цеплялся за баска, стараясь выиграть время, дотянуть до конца раунда. И когда он снова повалился, то, действительно, гонг спас его: на восьмой секунде он с громадным усилием встал, дотащился до табурета. Каким-то чудом он выдержал восьмой раунд, при восходящих раскатах рукоплесканий. Но в начале раунда девятого Паолино, бьющий его под челюсть, попал так, как хотел. Брайтенштретер рухнул. Неистово и нестройно заревела темнота. Брайтенштретер лежал калачиком. Судья досчитал роковые секунды. Он продолжал лежать.

Так окончилось состязание, и когда мы все вывалили на улицу в морозную синеву снежной ночи, я уверен, что в самом дряблом отце семейства, в самом скромном

юноше, в душах и мышцах всей этой толпы, которая завтра рано утром разойдется по конторам, лавкам, заводам, — было одно и то же прекрасное ощущение, ради которого стоило свести двух отличных боксеров, — ощущение какой-то уверенной искристой силы, бодрости, мужества, внушенных боксовой игрой. И это играющее чувство, пожалуй, важнее и чище многих так называемых «возвышенных наслаждений».

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ,
НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ ДАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ:

Н52 В. Набоков. Дар. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. Цит. по: В. Набоков. Избранное. Сост. и предисл. Н. А. Анастасьева. Комм. А. А. Долинина. М.: Радуга, 1990.

Н54 В. Набоков. Другие берега. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1954.

Н70 V. Nabokov. Poems and Problems. New York, Toronto: McGraw-Hill, 1970.

Н73 V. Nabokov. Strong Opinions. New York: McGraw-Hill, 1973.

Н79а В. Набоков. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979.

Н79б The Nabokov—Wilson Letters. Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940—1971. Edited, annotated and with an introductory essay by S. Karlinsky. New York, London: Harper and Row, 1979. Corrected edition, with same pagination, Harper Colophon, 1980.

Н85 В. Набоков. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985.

Н89 V. Nabokov. Selected Letters, 1940—1977. Ed. by Dmitry Nabokov and Matthew J. Bruccoli. New York, London: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark, 1989.

Н95 The Stories of Vladimir Nabokov. New York: Alfred A. Knopf, 1995 (Цит. по изданию New York: Vintage, 1997).

А95 The Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York and London: Garland, 1995.

F67 A. Field. Nabokov: His Life in Art. Boston: Little, Brown, 1967.

F86 A. Field. VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York: Crown, 1986.

J86 M. Juliar. Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York and London: Garland, 1986.

В 90 B. Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton UP, 1990.

Р91 S. J. Parker. Vladimir Nabokov and the Short Story // Russian Literature Triquarterly 24, 1991.

N-B93 The Small Alpine Form: Studies in Nabokov's Short Fiction. Ed. by Ch. Nicol and G. Barabtarlo. New York: Garland, 1993.

(Все переводы, кроме специально оговоренных случаев, сделаны нами. — Комм.)

В ПРИМЕЧАНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КОММЕНТАРИИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ИЗДАНИЙ:

В. Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. Сост. и прим. А. А. Долинина и Р. Д. Тименчика. М.: Книга, 1989.

«Письма о русской поэзии» Владимира Набокова. // Литературное обозрение. 1989. № 3. С. 96–108. Вступ. статья, публикация и прим. Р. Д. Тименчика.

В. Набоков. Собр. соч. в 4 т. Сост. В. Ерофеева. Комм. О. Дарка. М.: Правда, 1990.

В. Набоков. Круг. Сост. и прим. Н. И. Толстой. Л.: Худ. лит., 1990.

В. Набоков. Пьесы. Сост., статья и комм. Ив. Толстого. М.: Искусство. 1990.

В. Набоков. Стихотворения и поэмы. Сост. и прим. В. С. Федорова. М.: Современник, 1991.

В. В. Набоков: Pro et contra. Сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. Комм. Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Маликовой, В. Новикова. СПб.: РХГИ, 1997.

Комментатор приносит глубокую благодарность Е. Б. Белодубровскому, А. А. Долинину, С. Польской, Н. И. Толстой, Е. Б. Шиховцеву за помощь и советы.

УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:

Возрождение. Париж, 1925–1940. Орган русской национальной мысли.

Грядущая Россия. Париж, 1920, №1–2. Ежемесячный литературно-политический и научный журнал. Ред. Н. Чайковский, В. Анри, М. Ландау-Алданов и граф А. Н. Толстой.

Дни. Берлин, Париж, 1922–1933. Респ.-дем. ежедневная газета. Ред. А. Милашевский.

Жар-Птица. Берлин, Париж, 1921–1923, 1925–1926. Ежемесячный литературно-художественный иллюстрированный журнал. Ред.-изд. А. Э. Коган. Лит. ред. А. Черный, худ. ред. Г. К. Лукомский.

Звено. Париж, 1923–1928. Еженедельник, затем ежемесячный журнал литературы и искусства. Основан М. М. Винавером и П. Н. Милюковым. Ред. М. Л. Кантор.

Наш мир. Берлин, 1924–1925. Иллюстрированное воскресное приложение к газете «Руль».

Новая Русская Книга. Ежемесячный критико-библиографический журнал. Ред. А. С. Ященко. Берлин, 1921–1923 (в 1921–1922 под назв. «Русская Книга»).

Последние новости. Париж, 1931–1940. Ежедневная газета. Ред. П. Н. Милюков.

Россия и славянство. Париж, 1923–1933. Еженедельная газета. Ред. коллегия: К. И. Зайцев, Лоллий Львов, С. С. Ольденбург, Г. Струве, Н. А. Цуриков, при участии П. Струве.

Руль. Берлин, 16 ноября 1920 — 14 октября 1931. Ежедневная газета. Отв. ред. И. В. Гессен, при участии А. А. Аргунова, проф. А. И. Каминки, В. Д. Набокова.

Русская мысль. София, 1921 (№1 — 10/12), Прага, 1922 (№1 — 6/7), Берлин, 1922 (№8/12), 1923 (№1 — 9/12), Париж, 1927 (№1). Ежемесячное литературно-политическое издание. Ред. П. Струве.

Русское эхо. Прага, 1922 — ?, Берлин, 1925 — ?. Иллюстрированный еженедельный журнал. Ред. Б. Оречкин.

Сегодня. Рига, 1919–1940. Независимая дем. газета, выходившая ежедневно (кроме пятницы). Ред. 1929–1930 А. В. Круминский, 1939–1940 А. Добросельский.

Современные записки. Париж, 1920–1940 (Кн. 1–70). Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Редколлегия: Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков (Фондаминский), М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев.

Социалистический вестник. Берлин, 1921–1965 (с 1950 — Нью-Йорк, Париж). Центральный орган Заграничной делегации РСДРП. Основан Л. Мартовым. Ред. Р. Абрамович, Д. Далин, Ф. Дан, Л. Мартов.

Сполохи. Берлин, 1921–1923. Ежемесячный литературно-художественный и общественный журнал. Ред. Ал. Дроздов.

Театр и жизнь. Берлин, 1921–1922 (№1–10), с №11–17 по настоящее время под названием «Театр». Двухнедельный журнал. Ред. Е. Грюнберг.

РАССКАЗЫ

Давая определение жанру рассказа, Набоков воспользовался аналогией из области энтомологии: «Многие широко распространенные виды бабочек за пределами лесной зоны производят мелкие, но не обязательно хилые разновидности. По отношению к типичному роману рассказ представляет собой такую мелкую альпийскую или арктическую форму. У нее иной внешний вид, но она принадлежит к тому же виду, что и роман, и связана с ним несколькими предыдущими клайнами» (*P91.* P. 69). Трудно

провести грань, отделяющую в творчестве Набокова разные прозаические формы: некоторые рассказы должны были стать главами романов (например, «Круг» частью романа «Дар»), некоторые романы первоначально выходили в форме рассказов («Пнин»); «Лолита» — «развитая окрыленная форма»[1] рассказа 1939 г. «Волшебник». «Весна в Фиальте», по словам Набокова, — «физически тонкая книжка, а биологически уменьшенный роман» (*P91.* P. 69); «Соглядатай», в английском переводе ставший романом, на русском был опубликован в составе сборника рассказов, в сборник «Возвращение Чорба» (1930) вместе с рассказами были включены и стихи (а в «Poems and Problems» (1970) — стихи и шахматные задачи). Исследователи отмечали сквозные темы и мотивы в произведениях разного жанра: связь рассказов «Обида» и «Лебеда» с Автобиографией; «Письмá в Россию» и «Адмиралтейской иглы», посвященных первой любви, с «Машенькой» и главой о Тамаре в Автобиографии; «Истребления тиранов» с «Bend Sinister», рассказов «Королек» и «Облако, озеро, башня» — с «Приглашением на казнь»[2]. С другой стороны, отмечалось, что повествовательная структура рассказов Набокова отлична от романной: для них характерны единство места действия и времени, открытая концовка и повествование от первого лица (*N-B93.* P. ix-xv).

Первый русский рассказ В. Набокова («Нежить») был опубликован в 1921 г., последний («Ultima Thule») — написан в 1939-м, опубликован в 1942-м. Бульшая часть рассказов была собрана в сборники «Возвращение Чорба. Рассказы и стихи» (1930), «Соглядатай» (1938), «Весна в Фиальте и другие рассказы» (1956) — всего 40 рассказов. В Америке Набоков перевел многие свои русские рассказы на английский, снабдив предисловиями. В 1995-м все русские и английские рассказы были собраны сыном писателя, Д. В. Набоковым, в сборник «The Stories of Vladimir Nabokov», в это издание вошли также (в английском переводе Д. В. Набокова) никогда не публиковавшиеся по-русски рассказы 1920-х гг. «Звуки», «Говорят по-русски», «Боги» и «Дракон». Известно, что был еще рассказ «Порыв», но рукопись его, очевидно, утрачена[3]. Рассказ «Пасхальный дождь» тоже считался утраченным — и мы рады возможности представить его вниманию читателей.

---

[1] Цит. по: «Как редко теперь пишу по-русски...». Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова // Октябрь. 1996. № 1. С. 143.

[2] N. Tolstaia and M. Meilakh. Russian Short Stories // *A95.* P. 645–646.

[3] См. D. Barton Johnson. «„Terror“: Pre-Texts and Post-Texts» // *N-B93.* P. 39.

РАННИЕ РАССКАЗЫ

С. 29. **Нежить.** Впервые: Руль. 7 января 1921. Печатается по этой публикации. Это первая публикация Набокова под псевдонимом В. Сирин (в том же номере газеты напечатан его стихотворный триптих «Сказания»), среди многочисленных возможных причин выбора этого псевдонима, напоминающего о сказочной птице русского фольклора и символистском издательстве, отметим две: в «Руле» «было слишком много Набоковых» — там регулярно печатался отец писателя, В. Д. Набоков, подписываясь «В. Н.». Второй возможный источник — стихотворение А. Блока «Сирин и Алконост», появившееся в год рождения Набокова.

Рассказ, написанный в жанре рождественского и опубликованный в православное Рождество, — реплика на стихотворение А. Блока «Болотные чертенятки» (1905), которое, в свою очередь, посвящено А. М. Ремизову.

С. 31. Постен — домовой.

С. 32. **Слово.** Впервые: Руль. 7 января 1923. Печатается по этой публикации.

С. 34. ...о шмелях, спящих на скабиозах. — В тексте рассказа: *о гимелях* — очевидно, опечатка. *Скабиоза* — род травянистых медоносных растений.

С. 35. **Удар крыла.** Впервые: Русское эхо. 1924. № 1. В России впервые опубликован в журнале «Звезда» (1996. № 11. С. 10–21) по предоставленному Д. В. Набоковым машинописному тексту. Печатается по этой публикации.

С. 47. Библейский Бог. Газообразное позвоночное ⟨...⟩ Это из Хукслея. — Определение Томаса Генри Гексли (Huxley, 1825–1895), английского естествоиспытателя, соратника Ч. Дарвина и популяризатора его учения, философа-агностика.

«От чихания его показывается свет; глаза у него как ресницы зари... мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. ⟨...⟩ Он море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собой светящуюся стезю: бездна кажется сединою!» — Из Книги Иова (41: 10, 15, 23, 24).

С. 52. ...а ведь человек, решившийся на самоубийство, — Бог. — Реминисценция слов Кириллова из романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: «Кто смеет убить себя, тот Бог» (ч. 1, гл. 3, VIII).

С. 54. **Месть.** Впервые: Русское эхо. 1924. № 15. В России впервые опубликован в журнале «Звезда». 1996. № 11. С. 22–25. Печатается по этой публикации. Г. Барабтарло отметил, что «в этом маленьком рассказе впервые встречается больше особых

приемов и тем, которыми Набоков пользуется *во всех* своих зрелых сочинениях, чем в каком бы то ни было другом раннем сочинении» (Г. Барабтарло. Призрак из первого акта // Звезда. 1996. № 11. С. 140). Несмотря на трафаретный сюжет («Первая глава напоминает о самых недолговечных произведениях Бунина; вторая как будто состоит наполовину из Мопассана, наполовину из резких, крупнозернистых сцен немецкого кинематографа тех лет» (Г. Барабтарло. Указ. соч. С. 141) и некоторую стилистическую банальность слога, рассказ отличает изящество сюжетных ходов, вводящих важные для Набокова темы вмешательства духов в жизнь героев, ослепленности страстью, особенно ревностью («Камера обскура»), мотив мертвеца в постели («Картофельный Эльф»).

С. 59. ...где текут стихи Деламара... — Уолтер Де ла Мар (De la Mare, 1873–1956) — английский поэт и романист. Г. Барабтарло отмечает сходство его поэтики (в частности, сборника рассказов 1923 г. «The Riddle» — «Загадка») с набоковской: техническая легкость трактовки странных и фантастических сюжетов, интерес к мистическому в повседневной жизни, а также ироническое презрение к всяческим объединениям, марксизму и фрейдизму (Там же. С. 144–145).

С. 60. Хризантема... уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков... Ветер страха обдал ее. — Ср. этот образ и сопутствующее ему чувство безотчетной тревоги в рассказе «Лебеда» (1932): «Все было невозможно тихо. В тишине с сухим звуком упал загнутый листок хризантемы» — и Автобиографии: «Нервы заставлял „полыхнуть“ сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы» (*Н54.* С. 80).

С. 61. **Случайность.** Впервые: Сегодня. 22 июня 1924. Печатается по этой публикации.

«„Случайность“ — ранний рассказ, написанный в начале 1924, на закате моей холостой жизни, был отвергнут берлинской эмигрантской газетой „Руль“ („Мы не печатаем анекдотов о кокаинистах“, — заявил редактор точно таким тоном, каким тридцать лет спустя Росс из „Нью-Йоркера“ вынужден был сказать: „Мы не печатаем акростихов“, отказываясь от „Сестер Вейн“) и послан, с помощью моего доброго друга и замечательного писателя, Ивана Лукаша, в рижскую газету „Сегодня“ — более эклектичный эмигрантский орган, который и опубликовал рассказ 22 июня 1924. Я никогда бы снова не нашел его, не обнаружь его несколько лет тому назад Эндрю Филд» (*Н95.* Р. 645).

С. 70. **Драка.** Впервые: Руль. 26 сентября 1925. Печатается по этой публикации.

С. 75. **Пасхальный дождь.** Впервые: Русское эхо. 1925. №15. Печатается по этой публикации.

Номер этого еженедельника считался утраченным (см. *В90.* P. 231), но недавно был обнаружен шведской слависткой С. Польской в одной из библиотек бывшей Восточной Германии и любезно предоставлен ею для настоящего издания.

С. 79. ...громадный старый лебедь топорщился, бил крылом... — Рассказ явно схож с 5-й главой Автобиографии, посвященной швейцарской гувернантке Набокова Mademoiselle О, ср.: «Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода, лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. ⟨...⟩ когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи ⟨...⟩ первое, что мне представилось, было ⟨...⟩ именно тот бедный, поздний тройственный образ: лодка, лебедь, волна» (*Н54.* С. 109–110).

С. 81. **Венецианка.** Написан в сентябре 1924 г. Впервые опубликован по-английски в переводе Д. В. Набокова в *Н95.* По-русски впервые опубликован в журнале «Звезда» (1996. № 11. С. 26–41) по предоставленному Д. В. Набоковым машинописному тексту. Печатается по этой публикации.

С. 82. ...паркетатор, рантуалятор... — Паркетирование — реставрация живописи по дереву. Рантуалирование — перевод картины на новый холст.

С. 83. Лучиано — Лучани Себастьяно (Себастьяно Венецианец, дель Пьомбо, ок.1485–1547) — итальянский живописец, портретист, один из крупнейших мастеров итальянского Возрождения. В Риме был близок с Рафаэлем, затем порвал с ним и увлекся живописью Микеланджело. В последние годы служил братом-хранителем свинцовой папской печати (del Piombo), отсюда прозвище. В рассказе описывается портрет «Доротея» («Римлянка», 1515), хранящийся в Берлин-Далем Музей. Факт сочинения художником сонетов нам неизвестен, Дж. Вазари в «Жизнеописаниях знаменитых живописцев» пишет, что Лучиано был музыкантом, лютнистом.

С. 84. ...ввел в моду покойный король... — английский король Эдуард VII (1841–1910).

С. 94. Бернардо Луини (ок. 1475–1480 — после 1532) — живописец миланской школы, ученик Леонардо да Винчи, имитировавший его манеру. Своеобразный тип написанных им Мадонн и вообще молодых и отроческих фигур известен под названием «луиниевского» (luinesco).

С. 99. Тейлор Ф. У. (1856–1915) — американский инженер, пред-

ложивший систему рационализации производственных отношений в целях повышения интенсивности труда.

терпентин — смола терпентинного дерева, содержащая эфирное масло, похожее на скипидар.

гратуар — стальной скребок для выравнивания поверхности.

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

Берлин. 1930. Рассказы печатаются по тексту этого издания, но располагаются в порядке их первых публикаций в периодической печати. Подробно о сборнике см. во 2-м томе настоящего издания.

С. 110. **Благость.** Впервые: Руль. 27 апреля 1924. Этот рассказ должен был стать частью первого романа Набокова «Счастье», который так и не был написан (см. примеч. к рассказу «Письмо в Россию»).

С. 112. Рядом, на табурете, осталась книга — путеводитель по Берлину... — один из рассказов сборника «Возвращение Чорба» называется «Путеводитель по Берлину».

С. 115. **Порт.** Впервые: Руль. 24 мая 1924. В рассказе можно проследить тематическую связь с рассказом Л. Н. Толстого «Франсуаза» (который, в свою очередь, является переложением рассказа Ги де Мопассана «Порт»), а также рассказом А. И. Куприна «Гамбринус» (1907) и циклом очерков «Листригоны» (1907–1911).

С. 121. **Картофельный Эльф.** Впервые: Русское эхо. 8, 15, 22 и 29 июня, 6 июля 1924. В предисловии к автопереводу рассказа на английский Набоков писал: «Хотя я вовсе не стремился к тому, чтобы рассказ походил на сценарий или разжигал фантазию сценариста, его структура и повторяющиеся изобразительные детали действительно имеют кинематографический уклон. Его нарочитое вступление приводит к возникновению некоторых традиционных ритмов — или пастишу таких ритмов. Я, впрочем, не верю, что мой малыш может тронуть даже самого слезливого любителя человеческого интереса, и это исправляет дело. Еще одно отличие „Картофельного Эльфа“ от прочих моих рассказов — английское место действия. В таких случаях никак не избежать тематического автоматизма, но, с другой стороны, эта занятная экзотичность (в отличие от более привычного берлинского фона остальных моих рассказов) придает вещи искусственную яркость, которая не лишена приятности...» (*Н95.* P. 650). В 1924 г. Набоков написал

киносценарий по этому рассказу под названием «Любовь карлика», но фильм поставлен не был (*B90.* P. 230).

С. 134. Городок Драузи 〈...〉 *был такой сонный на вид...* — от *англ.* drowsy (сонный).

С. 141. **Катастрофа.** Впервые: Сегодня. 13 июля 1924. «Крайне маловероятно, чтобы я был виновен в том, что рассказу навязали это одиозное название („Катастрофа"). 〈...〉 Теперь я дал ему новое заглавие (в английском переводе рассказ называется „Details of a Sunset". — *Комм.*), которое обладает тройным преимуществом — сответствует тематическому фону рассказа, несомненно приведет в недоумение тех читателей, которые „пропускают описания", и приведет в ярость критиков». (*H95.* P. 646).

С. 147. **Гроза.** Впервые: Сегодня. 28 сентября 1924.

С. 149. плесницы — обувь, типа сандалий.

Елисей — в Ветхозаветных преданиях пророк, ученик Илии (в позднейшей славянской православной традиции известного как Илья-пророк), он видел вознесение Илии на небо на огненной колеснице, после чего приобрел способность творить чудеса.

С. 150. **Бахман.** Впервые: Руль. 2 и 4 ноября 1924. «Мне рассказали о существовании пианиста, который обладал некоторыми характерными чертами моего выдуманного музыканта. В некоторых других отношениях он связан с Лужиным, шахматистом из „Защиты Лужина"» (*H95.* P. 657).

С. 159. **Письмо в Россию.** Впервые: Руль. 29 января 1925 с подзаголовком «Из главы 2 романа „Счастье"». «Когда-то в 1924, в эмигрантском Берлине, я начал роман, предварительно озаглавленный „Счастье", некоторым важным элементам которого суждено было перейти в „Машеньку", написанную весной 1925. 〈...〉 Примерно к Рождеству 1924 у меня было готово две главы „Счастья", но потом, по какой-то забытой, но без сомнения превосходной причине, я выбросил первую главу и бóльшую часть второй. А сохранил я фрагмент, представлявший собой письмо, написанное из Берлина моей героине, которая осталась в России. 〈...〉 Буквальная передача названия была бы двусмысленной, и его следовало изменить. (В английском переводе рассказ называется „A Letter That Never Reached Russia". — *Комм.*)». (*H95.* P. 647).

С. 161. дни Директории — Исполнительная Директория (буржуазное правительство Французской республики) просуществовала с 4 ноября 1795 г. до 10 ноября 1799 г.

С. 162. ...Пушкин написал о вальсе: «однообразный и безумный». — «Евгений Онегин». 5, XLI.

...как «чета мелькает за четой»... — там же.

С. 163. **Рождество.** Впервые: Руль. 6 и 8 января 1925. Рассказ «странным образом напоминает тип шахматной задачи, называемой „обратный мат“». (*Н95.* Р. 647). В шахматной задаче sui mate белые должны вынудить черных поставить королю белых мат за определенное количество ходов. Набоков сочинял задачи этого типа и упомянул их в предисловии к английскому переводу «Защиты Лужина» как метафору поведения героя.

С. 167. ...читал скучнейшую «Фрегат Палладу»... — «Фрегат „Паллада“» (1858) — цикл очерков И. А. Гончарова (1812–1891) о кругосветном путешествии.

С. 168. **Возвращение Чорба.** Впервые: Руль. 12, 13 ноября 1925.

С. 169. ...похожий на президента Крюгера... — Паулус Крюгер (1825–1904) — государственный деятель бурской республики Трансвааль, ее президент с 1883-го по 1902 г.

С. 170. «Парсифаль» — опера-мистерия (1882) Рихарда Вагнера (1813–1883). Ее сюжет перекликается с темой рассказа, ср. также упоминание в рассказе Орфея — мифического певца, который спустился в подземное царство мертвых за своей женой Эвридикой.

С. 176. Они молчат, — шепнул лакей и приложил палец к губам. — Ср. сходные концовки у Л. Андреева, напр. в рассказе «Молчание» (1900) и пьесе «Жизнь Человека» (1907).

С. 176. **Путеводитель по Берлину.** Впервые: Руль. 24, 25 декабря 1925. «Несмотря на видимую простоту, этот „Путеводитель“ является одним из самых каверзных моих сочинений» (*Н95.* Р. 648). Набоков предлагает здесь свою технику «остраннения», связанную с творческим возрождением подробностей и мелочей прошлого в воспоминании, полемизируя с книгой В. Б. Шкловского «Zoo, или Письма не о любви» (Берлин, 1923)[1]; этот же прием он использует в рассказе американского периода «Time and Ebb» (1944), рассказывая об Америке 1940-х с точки зрения будущего воспоминания[2].

---

[1] См. О. Ронен. Заумь за пределами авангарда // Литературное обозрение. 1991, № 12. С. 42–43; А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // В. В. Набоков. Pro et contra. СПб., 1997. С. 724.

[2] См. R. Grossmith. The Future Perfect of the Mind: «Time and Ebb» and «A Guide to Berlin» // *N-B93.* P. 149–153.

ПЕРЕВОДЫ

Переводческая практика Набокова исключительно разнообразна и обширна и составляет важную часть его творчества. Первым опытом, о котором мы знаем только со слов автора, был перевод «Всадника без головы» Майна Рида на французский александрийским стихом, выполненный в 11-летнем возрасте (*B90*. P. 81). Набоков переводил на русский с английского (Кэрролл, Брук, О'Сулливан, Байрон, Шекспир, Теннисон, Йейтс), с французского (Верлен, Сюпервьель, Бодлер, Рембо, Мюссе) и с немецкого (Гёте); Пушкина с русского на французский. Основной объем его переводов приходится на русско-английские — как других авторов (Пушкина, Фета, Лермонтова, Тютчева, «Слова о полку Игореве»), так и своих собственных прозаических и поэтических произведений.

Эксцентрически строгая теория буквального перевода была сформулирована Набоковым в 1950—60-е годы и воплощена в комментированном переводе «Евгения Онегина» (1964)[1]. В соответствии с ней «необходим перевод предельно точный, подстрочный, дословный», и этой точности следует все принести в жертву — «гладкость (она от дьявола), изящество, идиоматическую ясность, число стоп в строке, рифму и даже в крайних случаях синтаксис»[2]. Для передачи контекстуального значения слов перевод должен «обрасти массивом объемистых сносок, чтобы последние громоздились до самого верха страниц, оставляя лишь проблеск единственной строки текста между комментарием и вечностью» (действительно, в переводе «Онегина» научный аппарат почти впятеро превышает объем пушкинского текста). Понятие «буквальный перевод» Набоков называет «тавтологичным, ибо любой другой способ передачи текста — это не перевод, а имитация, адаптация или пародия»[3], все остальное — переложение. Ранние опыты блестяще противоречат этой педантичной теории и могут быть отнесены к традиции поэтических переложений.

---

[1] Eugene Onegin. A Novel in Verse by Alexandr Pushkin. Transl. with comm. by Vladimir Nabokov, 4 vols. Bollingen Series 72. Princeton, 1964.

[2] В. Набоков. «Заметки переводчика» // Новый журнал (Нью-Йорк), 1957. Кн. 49. С. 130.

[3] V. Nabokov. Problems of Translation: «Onegin» in English // Partisan Review 22, № 4 (Fall 1955).

РОМЭН РОЛЛАН. НИКОЛКА ПЕРСИК (COLAS BREUGNON). Перевел с французского Владимир Сирин

Берлин: Слово, 1922. [На титульном листе оригинала — «Ролан»]. Печатается по этому изданию. Отрывки перевода публиковались в «Руле» (29, 30 авг., 3 и 5 сентября 1922).

Ромен Роллан (1866–1944) — французский писатель, общественный деятель, ученый-музыковед. Повесть «Colas Breugnon» была написана им в 1914 г., чтобы «отдохнуть» от эпопеи «Жан Кристоф», опубликована в 1918 г. В России известна в переводе М. Лозинского 1932 года, также переводилась М. А. Елагиной под ред. Н. О. Лернера (Пб., 1922; этот же перевод — под фамилией М. Рыжкина (Л., 1926)). Современный исследователь, перечисляя особенности текста и проблемы, которые он ставит перед переводчиком, называет особую лексику, выражающую вещественное, физически ощутимое, конкретное, и одновременно по-раблезиански «вкусную»; разговорно-фамильярную речевую тональность, обилие идиоматических выражений и шуток; чередование прозаических и ритмо-рифменных кусков при сохранении цельности речевой структуры. Наконец, текст пестрит пословицами и поговорками, что является одним из наиболее ярких выражений сознательной ориентации Роллана на национальный фольклор (часть поговорок он заимствовал из известного сборника Леру де Ланси (Le Roux de Lincy. Les proverbs français. Paris, 1842), другие придумал сам или составил из нескольких существующих. (В. Шор. «Кола Брюньон» на русском языке // Мастерство перевода. М., 1970. С. 223–224).

Набоков перевел произведение внутренне чуждого ему писателя (в русской «Лолите» он называет эпопею «Жан Кристоф» «посредственный роман Р. Роллана») на спор с отцом, привлеченный главным образом языком этого образца ритмической прозы — «Везувий слов, извержение старофранцузского лексикона ⟨...⟩ непрерывная игра ритмических фигур, ассонансов и внутренних рифм, цепочек аллитераций, рядов синонимов» (*В90.* Р. 176), аналоги которому он нашел в «Словаре живого великорусского языка» В. Даля. Ритмическую прозу оригинала (возникающую из обилия рифм и членения прозы на равносложные колоны) он передает метрически упорядоченным стихом, как у А. Белого, что приводит к излишнему повышению и поэтизации лексики (см. В. Шор. Указ. соч. С. 226). Набоков русифицирует оригинал, называя героя «Персик» (французское «brugnon» —

гибрид сливы и персика[1]), а врачей Этьена Луазо, Мартена Фротье и Фильбера де Во перекрещивает в Ефима Пташкина, Мартына Теркина и Филиппа Телькина, но делает это не совсем последовательно, так как обитают герои во французской культурно-исторической среде.

И. В. Гессен, друг отца Набокова и директор берлинского издательства «Слово», где был опубликован перевод, вспоминал о ребячестве переводчика: «Читая корректуры, я вносил некоторые исправления, после чего через Владимира Дмитриевича 〈...〉 передавал Сирину для окончательной поправки. Возвращая корректуры, В. Д. однажды с улыбкой заметил: „А знаете, что Володя шепнул мне: ты только меня не выдавай. Я все его (т. е. мои) поправки потихоньку резинкой стер". На мгновение шевельнулось чувство досады на мальчишескую самоуверенность, но тотчас же подвернулась на язык сохранившаяся почему-то фраза из учебника Иловайского: „Да будет ему триумф!"» (И. В. Гессен. Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж, 1979. Цит. по: В. В. Набоков: Pro et contra. СПб., 1997. С. 182).

Единственным печатным откликом на перевод была рецензия Юрия Офросимова (Руль. 19 ноября 1922): «В жестокое время кровавой вражды, когда жизнь потеряла всякую ценность, — вышла удивительная книга, утверждающая смысл существования, призывающая к жизни и принимающая ее целиком, без оговорок — дурная ли она или хорошая — какая есть. 〈...〉 Радостная книга о Николае Персике, и радостен, свеж перевод ее; на русский язык особенно трудно, казалось бы, перевести всю эту игру слов, подчас рифмованную; весь характер этого старческого болтливого говорка. Дух повести хорошо, сочно сохранен Вл. Сириным, иные словечки удачно заменены соответственнно найденными мало употребляющимися русскими. Но все же порою возникает недоумение: зачем, например, такая притянутая, упорная русификация в именах 〈...〉 иногда тяжеловата расстановка слов 〈...〉 — но, думается, все эти недостатки только досадные обмолвки. Стиль и дух книги переданы, повторяю, очень удачно, местами — блестяще».

Действие повести происходит в начале XVII в. (в «Примечаниях Брюньонова внука» Роллан сообщает, что Брюньон родился в 1566 г., а действие происходит в 1616 г. «под презренным ярмом

---

[1] В «Примечаниях Брюньонова внука», написанных Р. Ролланом для советского издания 1932 года, он утверждает, что brugnon (или breugnon) — это «название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса» (перевод М. Лозинского).

Кончини, который будет убит год спустя. Кола представляет поколение короля Генриха, который старше его на 12 лет» (перевод М. Лозинского)). Рубеж XVI–XVII вв. во Франции — эпоха последовавших за Реформацией религиозных войн между протестантами (кальвинистами, или гугенотами) и католиками; утверждения раннего абсолютизма; роста влияния церкви, распространения образования и письменности, следствием чего было вытеснение полуязыческой народной религиозности средневековья и устной смеховой культуры. Религиозные войны сопровождались борьбой за власть Гизов, составивших ультракатолическую партию, и Бурбонов, поддерживавших кальвинистов. Кульминацией религиозных восстаний стала Варфоломеевская ночь (24 августа 1572 г.) в Париже, когда парижская толпа и дворяне-католики перебили несколько сот протестантов из числа парижан и дворян-кальвинистов, съехавшихся в столицу по случаю примирения партий и бракосочетания сестры короля Карла IX Маргариты Валуа с вождем гугенотов Генрихом Бурбоном, королем Наварры (Генрих Бурбон спасся ценой временного перехода в католицизм). Нивернейская Бургундия, где живет Персик, принадлежала к кальвинистскому югу, поддерживавшему Генриха Наваррского. В конце 1580-х — начале 90-х гг. перспектива его воцарения вызвала религиозный фанатизм и террор Парижской Лиги (федерация городов во главе с Парижем, вступившая в союз с дворянской партией Гизов). После бегства Генриха III из восставшего Парижа наступила 5-летняя эпоха междуцарствия и религиозных войн, страну опустошали дворянские отряды и иноземные наемники. В 1589 г. на французский трон вступил Генрих Наваррский, ставший Генрихом IV, при нем был принят Нантский эдикт (1598), узаконивший протестантизм, за чем последовал период относительной стабилизации. В 1610 г., после его гибели, на трон вступил его малолетний сын Людовик XIII (1610–1643), и наступил период правления кардинала Ришелье (1624–1642) и жестоких расправ с гугенотами.

С. 188. ...и подобен я в том брадобрею Мидаса. — Царь Мидас был судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном и признал Аполлона побежденным, за что тот наградил Мидаса ослиными ушами, которые царю приходилось прятать. Цирюльник Мидаса, увидев уши и мучась тайной, вырыл ямку и шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши!» — и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник, который прошелестел о тайне всему свету (Ovid. Met. XI. 85–193).

С. 191. ...братству святой Анны. Я — столяр ⟨...⟩ бабка Божия, объясняющая азбуку ⟨...⟩ дочке своей ⟨...⟩ Марии. — Анна — мать Пресвятой Девы Марии, матери Иисуса Христа и, следовательно, теща супруга Марии, столяра Иосифа.

С. 193. ...благодаря траве попа из Мэдона, великолепного Пантагруэлиона... — Имеется в виду Ф. Рабле (1494—1553), служивший в конце жизни кюре в Медоне, близ Парижа, где закончил четвертую книгу «Гаргантюа и Патагрюэля», среди его естественнонаучных увлечений была и врачебная практика. Трава патагрюэлион описывается в гл. XLIX—LII третьей книги «Гаргантюа и Пантагрюэля», где ей дается подробнейшее шутливо-научное описание и перечисляются многообразные «божественные свойства священного пантагрюэлиона» (на самом деле это конопля), узнав о которых «Боги Олимпа воскликнули в ужасе: «⟨...⟩ Патагрюэль ⟨...⟩ скоро женится и у него народятся дети. ⟨...⟩ Может статься, его дети откроют другое растение, обладающее такой же точно силой, и с его помощью люди доберутся до источников града, до дождевых водоспусков и до кузницы молний, вторгнутся в области Луны, вступят на территорию небесных светил и там обоснуются ⟨...⟩, разделят с нами трапезу, женятся на наших богинях и таким путем сами станут как боги» (перевод Н. М. Любимова).

С. 201. авгуры — в Древнем Риме одна из древнейших жреческих коллегий, толковавших волю богов.

С. 203. гасник, или гашник — буковица, растение Betonica officinalis.

С. 206. Силен — Силены в греческой мифологии — демоны плодородия, воплощение стихийных сил природы, составляющие вместе с сатирами свиту бога виноделия Диониса. Изображаются или в буйном танце с непристойными движениями, или сидящими на осле в полном опьянении. Мудрый Силен у Вергилия в полусонном-полупьяном виде излагает в песне древнюю космогонию.

С. 214. гласни́к — от названия тетради, содержащей указания церковных напевов.

С. 217. «Ibi ceciderunt...» — Псалом 36: «Тамо падоша вси делающии беззаконие, изринови быша и не возмогут стати».

С. 219. инкосы — от иной, инакий, т. е. не такой, отличный, чужой.

С. 221. Гви Кокиль — французский законовед, составитель комментария к обычному праву Неверского края (1523—1603).

С. 224. С тех пор как умер наш Генрих и королевство обабилось... — После смерти французского короля Генриха IV (1553—1610) за малолетством наследника, Людовика XIII, регентшей стала его мать, Мария Медичи.

...казну, оберегаемую господином Сюлли. — Сюлли — сюринтендант финансов при Генрихе IV, благодаря введенной им жесткой экономии была достигнута стабилизация расстроенного войнами бюджета.

С. 247. пе́пеки — задница.

С. 248. вереди́ть — делать умышленное зло, бередить, растрагивать больное место.

С. 249. ...лежала она, как Даная (...). Я себя Юпитером вообразил. — Аргосский царь Акрисий заточил свою дочь Данаю в подземный медный терем, потому что узнал от оракула, что ему суждена смерть от руки внука. Зевс (Юпитер) проник туда в виде золотого дождя, и Даная родила Персея, действительно убившего своего деда. Юпитер и Даная — сюжет, распространенный в живописи (Тициан, Рембрандт и др.).

С. 250. ...дурень, который победил Антиопу. — Очевидно, имеется в виду Антиопа-амазонка, захваченная в плен Тесеем. Из-за нее амазонки напали на Афины.

С. 251. бзырять — также бздырить — беситъся, метаться (о рогатом скоте).

С. 254. Далила — возлюбленная Самсона, была подкуплена филистимлянами и выведала у него, что секрет его силы — в волосах. Ночью филистимляне остригли семь кос с головы спящего Самсона, ослепили его и забрали в рабство.

Гераклита плаксивого и Демокрита веселого. — Гераклит Эфесский, греческий философ, разделял пессимистическую античную легенду о детстве человечества как золотом веке; Демокрита же античные авторы называли «смеющимся философом», он утверждал, что развитие общества идет по восходящей, а людские превратности преходящи и незначительны.

С. 255. проса́дь — дорога, просаженная деревьями с обеих сторон, аллея.

С. 259. гульта́й — праздный человек, шатун, лентяй, пьяница.

С. 265. Сын я Пандоры, поднимать люблю крышки всяких коробок... — Пандора в греческой мифологии — первая женщина, созданная Афиной и Гефестом. Она открыла сосуд, врученный ей богами, в который были заключены все людские пороки и несчастья, и с тех пор они распространились по земле (а надежда осталась на дне сосуда).

С. 269. голдовные вельможи — имеющие право пожизненной аренды.

С. 270. берковец — мера веса в 10 пудов.

С. 273. вершник — конник, ездок, форейтор.

С. 275. выть — аппетит.

«Золотые слова» Катона — очевидно, имеется в виду популярный в средние века сборник пословиц в гекзаметрах «Disticha de moribus ad filium», приписывавшийся Катону Старшему (234 до н. э. — 149 до н. э.), в действительности же датирующийся 3—4 вв. н. э. и принадлежащий Катону Дионисию.

Буше, Жан (1476–1550) — французский поэт и прозаик.

Жиль Коррозэ (Коррозе, 1510–1568) — французский поэт и историк.

вручье — всякая домашняя, нужная в хозяйстве вещь.

С. 284. воложный — жирный, масляный, сдобный, вкусный, лакомый.

...бой мы с друзьями вели на оружье Самсона... — Самсон поразил тысячу воинов-филистимлян ослиной челюстью (Книга Судей Израилевых, 15).

С. 290. пустоко́лп — пошляк, глупый человек.

С. 291. поршо́к — неоперившийся птенец.

С. 293. осе́льник — от «осельня», телега на долгих дрогах для возки леса.

С. 296. ...подобно жене Лота замер, окаменел... — Жена Лота, праведника, выведенного ангелами из обреченного Содома, нарушила запрет и оглянулась, за что была превращена в соляной столп.

С. 297. чувалы — комнатные камины.

С. 308. шуйца (*церк.*) — левая рука.

С. 312. пари́чник — парикмахер.

С. 315. строги — остроги, которыми бьют щук.

С. 316. о́сье — осиное, осье гнездо.

С. 321. ши́беница — дыба, виселица.

С. 324. летяги — очевидно, шпандыри.

творило — запруда.

С. 326. гузло́, или гузно — зад.

С. 331. воронило — стальная полоска, брус, прут для точки ножей.

С. 332. миндальник — кувшин.

С. 333. Со времен Орфея и Амфеона камни уже не ведут хороводы, не строят... стены, дома... — Амфеон, или Амфион, — герой греческой мифологии, вместе со своим братом-близнецом Зетом возводил городские стены в Фивах, причем Амфеон приводил камни в движение игрой на лире, подаренной ему Гермесом. Орфей — в греческой мифологии певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но боги и природа. Так, участвуя в походе аргонавтов, он пением усмирил волны.

С. 337. ...подражал Иову, который бранится, валяясь на вшивой шкуре. — Иов — страдающий праведник, подвергнутый сатаной с дозволения Яхве разнообразным испытаниям, главный персонаж ветхозаветной книги Иова, как раз отказался от совета жены: «Похули Бога и умри».

С. 341. Коммодус, или Ко́ммод (Commodus, 161–192) — римский император, отличался жестокостью и расточительностью,

возомнил себя «Римским Геркулесом» и сыном Юпитера и потребовал соответствующих почестей, был убит заговорщиками из числа придворных.

С. 351. Выпрямившись на боднях своих... — Бодня — кадушка с крышкой и замком, используемая вместо сундука — в переносном значении, очевидно, толстые крепкие ноги.

С. 356. Иоанн Безземельный (John Lackland, 1167–1216) — английский король, младший сын Генриха II, прозванный так потому, что, в отличие от старших братьев, не получил владений во Франции. В результате неудачных войн с Францией потерял значительную часть английских владений на континенте, был низложен Римским Папой Иннокентием III и признал себя его вассалом.

Л. КАРРОЛЬ. АНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС.
Перевод с английского В. Сирина с рисунками С. Залшупина

Берлин: Гамаюн, 1923. Переиздана репринтным способом издательством «Ардис» (1982) с рисунками Джона Тенниеля. Печатается по этому изданию.

Кэрролл (Carroll) *Льюис* (псевд., наст. имя Чарлз Лутвидж Доджсон, 1832–1898) — английский писатель, священник, математик, фотограф. Профессор Оксфордского университета, автор книг «Alice's Adventures in Wonderland» (1865) с продолжением «Through the Looking-Glass» (1872), поэмы «The Hunting of the Snark» (1874), математических и логических трактатов и не переведенного на русский язык романа «Sylvie and Bruno».

До Набокова сказку Кэрролла на русский переводили в 1879 г. («Соня в царстве Дива» (анонимный перевод)), М. Д. Гранстрем (1908), Поликсена Соловьева (псевд. «Allegro», журнал «Тропинка», 1909), А. Н. Рождественская (1912) и, возможно, М. П. Чехов (Сб. «Английские сказки». СПб., 1913). Одновременно с переводом Набокова в России был опубликован еще один русский вариант перевода А. д'Актиля (псевд. Анатолия Френкеля).

Сиринский переводческий метод восходит к традиции дореволюционных переводов — точнее, переложений с сокращениями, буквализмами и русификацией. По сравнению в «Николкой Персиком» здесь русификация более последовательна — изменены не только номинации, но и историко-культурный контекст. Классифицируя трудности, стоящие перед переводчиками «Алисы», У. Уивер, собравший ее переводы на все языки, выделил пять групп: а) пародийные стихотворения; б) каламбуры; в) специально придуманные абсурдные слова (nonsense words); г) логические

шутки; д) сдвиги в значениях[1] — кажется, Набоков успешно преодолел все. В отличие от достаточно случайного опыта перевода Роллана, реминисценции из Кэрролла появляются в поздних произведениях Набокова. Работа Набокова над «Страной чудес», по замечанию Н. М. Демуровой, «проявила ⟨...⟩ изначально существовавшую потенциальную соприродность двух авторов»[2], проявившуюся в склонности к словесной игре ; мотив «зазеркалья» перекликается с набоковскими мотивами двоемирия и двойничества, а любовь Кэрролла к детям и фотографии обыгрывается в контексте «Лолиты», разительны и биографические совпадения.

Работа над переводом, очевидно, помогла Набокову выработать свой собственный повествовательный стиль, строящийся на разнообразной лингвистической игре и литературных аллюзиях.

В примечаниях использованы комментарии Мартина Гарднера (The Annotated Alice, 1960) и Н. М. Демуровой (Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М.: Наука, 1979), статья А. М. Люксембурга «Набоков-переводчик» (рукопись).

С. 363. Тут Аня стала впадать в дремоту и продолжала повторять сонно и смутно: «Кошки на крыше, летучие мыши...». А потом слова путались и выходило что-то несуразное: летучие кошки, мыши на крыше... — Ср. в переводе П. Соловьевой: «...и она сквозь дремоту повторяла: — Едят ли кошки летучих мышек? ⟨...⟩ а иногда путала, и у нее выходило: — Едят ли мышки летучих кошек?» С. Карлинский предположил, что Набоков был знаком с переводом П. Соловьевой[3], но В. Е. Набокова утверждала, что Набоков не читал русских переводов Кэрролла ни до, ни после создания своего (*Н89.* Р. 519). Сравнение переводов демонстрирует общую методологию: замена пародий Кэрролла на нравоучительные викторианские стихотворения перифразами Пушкина и Лермонтова. Характерно отрицательное отношение современных теоретиков перевода к этой практике — Е. Г. Эткинд пишет о переводе Соловьевой: «Мы оказываемся в ⟨...⟩ нелепой англизированной России ⟨...⟩ [где] нет никакого историзма, никакого интереса к национальному колориту, никакого уважения к психологическому

---

[1] W. Weaver. Alice in Many Tongues: The Translations of Alice in Wonderland. Wisconsin: Madison UP, 1964. P. 80–81.

[2] Н. Демурова. Алиса на других берегах // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес; Набоков В. Аня в Стране чудес. М.: Радуга, 1992. С. 27.

[3] S. Karlinsky. Anya in Wonderland: Nabokov's Russified Lewis Carroll // Nabokov: Criticism, Reminisciences, Translations, and Tributes. Evanston: Northwestern UP, 1970. P. 312.

складу англичан» (Е. Эткинд. Поэзия и перевод. Л., 1963. С. 347). Впрочем, справедливо и мнение Н. Демуровой, полагающей, что «перед переводчиками того времени и той культурно-исторической ситуации были лишь два пути: либо бездумный буквализм — но тогда пропал бы весь юмор! — либо замена английских «оригиналов» для пародий на русские — и сохранение главного, игрового приема и смеха!» (Н. Демурова. Указ. соч. С. 22).

С. 368. «Крокодилушка не знает...» — Набоков переносит английский нонсенс на русскую почву и заменяет пародии Кэрролла на произведения английской поэзии парафразами классических русских стихов, сохраняя при этом смысл английского оригинала. Здесь у Кэрролла пародия на дидактическое стихотворение И. Уоттса «Противу Праздности и Шалостей» (1715):

Как дорожит своим хвостом
Малютка крокодил! —
Урчит и вьется над песком,
Прилежно пенит Нил!
Как он умело шевелит
Опрятным коготком! —
Как рыбок он благодарит,
Глотая целиком!

(Перевод О. Седаковой)

Мысль воспользоваться пушкинскими «Цыганами» («Птичка Божия не знает / Ни заботы, ни труда») пришла также анонимному автору перевода 1879 года и П. Соловьевой:

1879 г.:

Киска хитрая не знает
Ни заботы, ни труда:
Без хлопот она съедает
Длиннохвостого зверка.
Долгу ночь по саду бродит,
Как бы птичку подцепить,
И мурлыча песнь заводит,
Чтоб доверье ей внушить.
А как утром солнце встанет,
Люди выйдут погулять,
Киска сытенькая сядет
Морду лапкой умывать.

П. Соловьева:

Божий крокодил не знает
Ни заботы, ни труда:
Он квартир не нанимает
И прислуги — никогда.
Ночью спит, зарывшись в тину,
Солнце ль красное взойдет,
Крокодил нагреет спину,
Щелкнет пастью и плывет.

С. 385. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» — У Кэрролла — пародия на дидактическое стихотворение Р. Саути «Радости старика, и Как он заслужил их», где, как и в пародируемом Набоковым «Бородине» Лермонтова, юноша обращается к старику.

С. 393. «Вой, младенец мой прекрасный...» — Набоков воспроизводит размер и рифмы «Казачьей колыбельной песни» («Спи, младенец мой прекрасный...») Лермонтова.

С. 399. Мы со Временем рассорились в прошлом Мартобре... — Ср. в «Записках сумасшедшего» Гоголя «Мартобря 86 числа. Между днем и ночью».

«Рыжик, рыжик, где ты был?» — Набоков выбирает тот же источник пародии, что и П. Соловьева, ср.:

Рыжик, рыжик, где ты был?
Где ты шляпку позабыл? 〈...〉
Мерил шляпок я сто две, —
Ни одной на голове.

У Кэрролла — пародия на не менее популярное, чем «Чижик-пыжик», стихотворение Дианы Тейлор «Звезда».

С. 410. И мораль этого: слова есть — значенье темно иль ничтожно. — Ср. у Лермонтова «Есть речи — значенье / Темно иль ничтожно...» (1839).

С. 413. Они подошли к Чепупахе, которая посмотрела на них большими телячьими глазами... — У Кэрролла персонажа зовут Mock-Turtle (поддельная черепаха), так как из телячьих ножек варится поддельный черепаховый суп (на иллюстрациях Д. Тенниеля это существо выглядит помесью черепахи и теленка, в переводе П. Соловьевой — «Черепаха из телячьей головки»).

С. 419. «Как дыня, вздувается вещий Омар». — У Кэрролла Грифон просит Алису прочесть дидактическое стихотворение И. Уоттса «Лентяй». Набоков находит русский эквивалент в пушкинской «Песни о вещем Олеге». Ср. у П. Соловьевой:

...Как ныне сбирается гордый Омар
Одеться на зависть омарам,
И, лучшую выбрав из праздничных пар,
Прическу он делает с жаром 〈...〉
Совсем наш нарядный Омар ошалел
От водного пенного гула,
В волнах заметался и вдруг проглядел,
Как сзади подкралась Акула.
— Ты сам говорил: я тебе не страшна, —
И тихо Омара сглотнула она.

С. 423. «Дама Червей для сердечных гостей...» — Набоков, вслед за Кэрроллом, опускает вторую строфу старинной английской детской песенки, которая была известна всякому английскому ребенку: «Король Червей, пожелав кренделей, / Валета бил и трепал. / Валет Червей отдал семь кренделей, / И с тех пор он больше не крал» (перевод О. Седаковой).

СТИХОТВОРЕНИЯ

Набоков долгое время считал себя по преимуществу поэтом и до появления романа «Машенька» (1926) опубликовал более 400 стихотворений. Первая поэтическая брошюра с эпиграфом из «Ромео и Джульетты», в фиолетовой обложке, была, по словам автора, издана в 1914 г., но следов ее никому найти не удалось.

Стихотворения из первого сохранившегося сборника — В. В. Набоков. «Стихи». Петроград: Худож.-графич. заведение «Унион», 1916 — сам автор позже назвал «юношескими, лишенными всяких достоинств» и в последующие сборники не включал. Мы следуем авторской воле и отсылаем читателей к репринтному воспроизведению сборника (СПб.: Дорн, 1997). Отметим только, что эта книжка из 68 стихотворений была издана в количестве 500 экз. на средства, доставшиеся автору в наследство от дяди В. И. Рукавишникова. В нее вошли стихотворения, написанные в период знакомства с Валентиной (Люсей) Шульгиной, послужившей прототипом Машеньки из одноименного романа и Тамары из Автобиографии. В архиве санкт-петербургской газеты «Речь» сохранились гранки этого сборника с не вошедшим в окончательный текст посвящением: «Тебе, видавшей тот же сон, / я эту книгу посвящаю. В. Набоков. Апрель, 1916 г. Петроград» (сообщено Е. Б. Белодубровским). В автобиографии Набоков пишет: «...первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам растерзали те немногие рецензенты, которые ее заметили. Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными ⟨...⟩ , принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. ⟨...⟩ Его значительно более знаменитая, но менее талантливая, кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом, ⟨...⟩ сказала ему: „Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет“ ⟨...⟩» (*Н54*. С. 206). Сестра Набокова, Е. В. Сикорская, найдя 30 лет спустя в Праге этот сборник, переписала стихи и послала брату в Америку. Прочтя их, Набоков откликнулся: «Недалеко я ходил за эпитетами в те дни» (*Н85.*

С. 27). Сборник предваряется двумя эпиграфами — из стихотворения Альфреда де Мюссе «Souvenir» («Воспоминание», 1841) и из Вордсворта, который идентифицировать не удалось. Три стихотворения до включения в сборник выходили в периодике с небольшими разночтениями: «Лунная греза» в «Вестнике Европы» (Петроград). 1916. Кн. 7, июль. С. 38; «Цветные стекла» и «Осенняя песня» (под загл. «Осень») в журнале Тенишевского училища «Юная мысль», № 6 и 8 за 1916 г. Очевидно, первым критическим отзывом на творчество Набокова следует считать «Письмо в редакцию» С. Гессена, напечатанное в 7-м номере «Юной мысли» за 1916 г., в котором он, рецензируя предыдущий номер журнала, пишет: «Не останавливаясь на беллетристических произведениях, помещенных в журнале, отметим лишь стихотворение В. Набокова «Осень», заслуживающее большой похвалы и одобрения».

В 1918 г. Набоков отобрал 224 стихотворения (из более чем 300 написанных им к тому времени) для сборника, который так и не вышел. Только одно из них было включено в сборник «Стихи» 1979 года, остальные, вместе с несколькими юношескими записными книжками, остались неопубликованными.

Сборник «Стихи» (1979), в который вошли многие ранние стихи Набокова (с небольшими изменениями — главным образом в области пунктуации — в юности он злоупотреблял восклицательными знаками и многоточиями), вышел после смерти автора, но отбор был сделан им самим, в нем также впервые опубликовано более 40 стихотворений, написанных до 1925 года (в настоящее собрание не включены)[1].

Стихи сопровождали Набокова с ранней юности до самой смерти — несмотря на это, подавляющее большинство отзывов на них в лучшем случае снисходительны, и это не совсем справедливо. Исследователь прозы Набокова найдет в его русских стихах богатый источник тем и образов, а сами стихи, благодаря присущему им духу интимности, открывают нам поразительную перспективу его творческой эволюции. По определению современного исследователя, Набоков — «симпатичный minor poet — он не новатор, не выразитель какой-либо традиции, но человек, который, вдохновляясь примером других, иногда достигает в стихотворной форме чего-то поразительного» (Кейс Верхейл. Малый корифей русской поэзии. Заметки о русских стихах Владимира Набокова // Эхо. Лит. журнал (Париж). 4 (12). 1980. С. 139). Именно стихи вдова писателя В. Е. Набокова приводит для иллюстрации главной темы Набокова — «потусторонности», как он сам ее назвал в своем последнем стихотворении «Влюбленность» (В. Набокова. Предисловие // *Н79а*).

---

[1] См. предисловие к сборнику В. Е. Набоковой.

Под стихотворениями мы указываем, когда она известна, дату написания, опираясь на авторскую хронологию, данную в *Н79а*, с уточнениями М. Джулиара (*J86*) и Б. Бойда (Nabokov's Russian Poems: A Chronology // The Nabokovian. № 21. Fall 1988. P. 13–28).

АНДРЕЙ БАЛАШОВ И В. В. НАБОКОВ. АЛЬМАНАХ ДВА ПУТИ. СТИХИ

Петроград. Типо-Литография инж. М. С. Персона, 1918. Печатается по этому изданию, которое является библиографической редкостью. Редакция благодарит Е. Б. Белодубровского, предоставившего нам копию этого текста.

В сборник входят 8 стихотворений А. В. Балашова, соученика Набокова по Тенишевскому училищу, и 12 стихотворений Набокова.

Сведения об Андрее Владимировиче Балашове крайне скудны. Балашов — поэт, гусар, после революции вместе с Белой армией находился в Галлиполи, автор сборников «Песни гусара» (Борисоглебск, 1917); «Тебе, родина» (Новочеркасск, 1919), «Стихотворения» (Нови Сад (Югославия), 1923). В начале войны следы его теряются, но в 1956 г. в Брюсселе вышел в свет сборник «Для немногих. Стихи. Изд. 2».

С. 438. **«Дождь пролетел и сгорел на лету...».** Это самое раннее из стихотворений, которое Набоков включал в последующие сборники (вкл. в *Н70, Н79а*). «Выражение „летит дождь“ заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в „Других берегах“, который пользовался им, говоря о легком дождике перед самым выходом солнца. Стихи эти были сочинены мною в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было ⟨...⟩ положено на музыку композитором Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г.» (*Н79а.* С. 319). Очевидно, в 11-й главе «Speak, Memory», не включенной в русский текст Автобиографии, описывается сочинение именно этого стихотворения: «Что подтолкнуло его? Кажется, знаю. Без единого дуновения ветерка, один только вес дождевой капли, сверкавшей заемной роскошью на сердцевидном листке, заставил его кончик кануть вниз, и подобие шарика ртути внезапно совершило глиссандо вдоль его срединной прожилки, — и, сбросив свою яркую ношу, освобожденный лист распрямился. Лист, душист, благоухает, роняет...» (перевод наш. — *Комм.*)

В. СИРИН. ГРОЗДЬ. СТИХИ

Берлин: Гамаюн, 1923. Печатается по этому изданию.

Некоторые стихотворения сборника первоначально публиковались в периодике (на что мы указываем в примечаниях), остальные впервые увидели в свет в составе сборника, который (как и последующий, «Горний путь») был подготовлен к печати стараниями В. Д. Набокова и Саши Черного (А. М. Гликберга), когда сам автор еще учился в Кембридже. В некрологе «Памяти А. М. Черного» Набоков вспоминал с благодарностью: «Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно». (Последние новости. 1932. 13 авг.)

Г. Струве в рецензии на несколько стихотворных сборников, вышедших в 1922—1923 гг. («Тяжелая лира» Вл. Ходасевича, «Tristia» О. Мандельштама и «Двор чудес» И. Одоевцевой) был строг к Сирину, отметив немногочисленные достоинства («техническое умение, и острое чувство языка, и вескость образов»), некоторые мелкие погрешности («местами известная сентиментальность и слащавость, доходящая даже до безвкусия (второе стихотворение «На смерть Блока»), перегруженность деталями («Ночные бабочки»)»), и жестко назвал «главный грех Сирина» — чисто внешний подход к миру, бедность внутренней символики, отсутствие подлинного творческого огня. «Сирину нужно освободиться от пут логичности, связующей творческую свободу. От чтения его стихов — часто хороших, умелых стихов! — становится тяжело и душно, хочется какого-то порыва, зияния — хотя бы ценой нарушения гармонии». (Г. Струве. Письма о русской поэзии. II // Русская мысль. Кн. I—II. 1923. С. 297). Позже Г. Струве отметил поверхностную переимчивость автора (у Фета, Майкова, Щербины, Пушкина, Бунина, Бальмонта, Гумилева, Саши Черного и даже Бенедиктова) и срывы вкуса; а также версификационное мастерство и приверженность к классическим размерам, преимущественно ямбам, назвав Сирина «поэтическим старовером». (Г. Струве. Русская литература в изгнании. Изд. 3. Париж: YMCA-Press. М.: Русский путь, 1996. С. 120). Остальные современники тоже отмечали вторичность поэзии Сирина: «...его мир смахивает скорей на посредственную бутафорию. Все его эпитеты взяты от раннего символизма (багряные тучи, лазурные скалы, лазурные страны, лучезарные щиты, полнолунья и т. д.), многие строки навеяны Блоком» (А. Бахрах // Дни. № 63. 1923. 14 янв. С. 17, ср. также К. В. [Мочульский] // Звено. 1923. № 12 о влиянии Фета). Сам Набоков в письме к Уилсону признавал,

что стихи 1920-х гг. «были написаны ⟨...⟩ под сильным влиянием поэтов-георгианцев, Руперта Брука, Де ла Мара и других, которыми я в то время очень восхищался» (*Н79б.* Р. 79).

Современные исследователи также отмечают крайний консерватизм набоковской поэзии, удивительный для начала XX века: он предпочитал 4-стопный ямб, катрены с рифмовкой AbAb, точные рифмы — как и почитаемый им Вл. Ходасевич. Возможно, стихотворная форма была для них идеологически семантизированной областью: формальные новации отличали политически «левых» поэтов, оставшихся в России, и отказ от них был актом выбора и проявлением ностальгии[1].

Набоков разделял критическое отношение современников к своим ранним стихам, выбрав только семь из 36 стихотворений «Грозди» для включения в *Н79а.* Впрочем, в не слишком удачных поэтических опытах Набоков учился тому, «чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив» («Приглашение на казнь»).

В 1918–1919 гг. Набоков познакомился с «монументальным исследованием А. Белого о ритмах» (статьи «Лирика и эксперимент», «Опыт характеристики русского 4-стопного ямба», «Сравнительная морфология ритма русских лириков», «„Не пой, красавица, при мне...“ А. С. Пушкина (опыт описания)» из сборника «Символизм». М., 1910), под влиянием которого находился всю жизнь. В юности он старался писать стихи с максимально богатыми схемами полуударений, позже многократно эксплицировал свои взгляды на поэзию — в «Даре» и Автобиографии, переписке с Уилсоном (*Н79б*) и интервью, рецензиях и приложении к комментированному переводу «Евгения Онегина» «Notes on Prosody» («Заметки о просодии»)[2]. Набоков, вслед за А. Белым, утверждал, что между поэзией и прозой нет средостений: «Я никогда не мог найти каких бы то ни было видовых отличий между поэзией и художественной прозой. Я скорее склонен определить хорошее

---

[1] См. G. S. Smith. Nabokov and Russian Verse Form // Russian Literature Triquarterly. 24 (1991). P. 271–305; Barry P. Sherr. Poetry // *A95.* P. 612–613; G. S. Smith. Notes on Prosody // *A95*, P. 565–566.

[2] V. Nabokov. Notes on Prosody // Eugene Onegin. A Novel in Verse by Alexandr Pushkin. Bollingen Series 72. Translated with commentary by Vladimir Nabokov, 4 vols., 1964. Vol. III. P. 448–540. См. перевод на русский в: В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Перевод с англ. СПб., 1998.

стихотворное произведение любой длины как концентрат хорошей прозы с добавлением или без добавления повторяющегося ритма или рифмы. Волшебство стихосложения может улучшить то, что мы именуем прозой, полнее выставив весь аромат смысла, но и в простой прозе есть свои ритмические ходы, музыка точной фразы, ритм мысли, доносимый повторяющимися особенностями индивидуальной речи и интонации. Как и в современных научных классификациях, наши представления о поэзии и прозе во многом перекрывают друг друга. И бамбуковый мостик, переброшенный между ними, — метафора» (*Н73*. Р. 44. Перевод Г. Левинтона).

С. 443. **«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит?»** Впервые: Руль. 4 июня 1922. Вкл. в *Н79а*.

С. 444. **«Есть в одиночестве свобода...»** — В письме к матери Набоков дал этому стихотворению заглавие «Сириниана» (*В90*. Р. 187).

С. 446. **«Туман ночного сна, налет истомы пыльной...».** Стихотворение по смыслу напоминает концовку блоковского стихотворения «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» (1914), ср.: «Как мало в этой жизни надо / Нам, детям, — и тебе и мне. / Ведь сердце радоваться радо / И самой малой новизне. // Случайно на ноже карманном / Найди пылинку дальних стран — / И мир опять предстанет странным, / Закутанным в цветной туман!»

С. 446. **«На черный бархат лист кленовый...».** Впервые: Руль. 7 декабря 1921 как второе стихотворение трехчастного цикла «Осенние листья». Г. Струве приводит это стихотворение как образец переимчивости под Бунина (Г. Струве. Русская литература в изгнании. С. 121).

С. 447. **«Нас мало — юных, окрыленных...».** Впервые: Руль. 29 января 1922. В последней строке: «...ветер, звезды...».

С. 447. **«Садом шел Христос с учениками...».** Впервые: Руль. 11 ноября 1921 под названием «Сказанье (из апокрифа)». Напечатано в 40-ю годовщину смерти Ф. М. Достоевского (1821—1881). По наблюдению О. Ронена, стихотворение является переложением перевода Гёте из Низами (И.-В. Гёте. Западно-Восточный Диван. М.: Наука, 1988. С. 194), известного также в русском переводе А. Н. Струговщикова.

С. 448. **На смерть А. Блока**

1. *«За туманами плыли туманы...»*. Впервые: Руль. 14 августа 1921. Среди многочисленных материалов, посвященных смерти Блока, в том числе на той же странице — заметка В. Д. Набокова «К кончине А. Блока».

Это стихотворение представляет собой монтаж маркированной лексики, рифм, синтаксических и ритмических структур «Стихов о Прекрасной Даме» и «Распутий» (см. А. Долинин. Набоков и Блок // Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». Тарту, 1991. С. 39–40).

В поздние годы Набоков отрицал всякое воздействие на себя современников, но в его творчестве явно ощущается «обеспокоенность влиянием» Блока, в письме к Э. Уилсону он признавался: «Я рад, что ты изучаешь Блока, — но будь осторожен: это один из тех поэтов, которые входят тебе в кровь — и все остальное кажется неблоковским и плоским. Я, как и большинство русских, прошел через этот этап лет двадцать пять назад (*Н79б.* Р. 94). Как почти все поэты, выросшие в атмосфере Серебряного века, Набоков в юности находился под почти парализующим влиянием поэтики Блока, что вылилось в позднее раздражение: «Блок был тростник певучий, но отнюдь не мыслящий». («Как редко теперь пишу по-русски...». Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова. Публикация А. Чернышева // Октябрь. 1996. № 1. С. 135).

...но ладони ее белоснежной бледный рыцарь коснуться не мог. — реминисценция лирической драмы А. Блока «Роза и крест» (1912), в которой смертельно раненный Бертран в ответ на реплику Изоры: «Рыцарь, вот моя рука... / Знаю, вам наград не надо...» — говорит: «Госпожа моя, священна / Ваша воля для меня. / Я коснуться недостоин / Вашей розовой руки» (IV, 4) и — с ироническим снижением темы — на драму «Незнакомка» (1907): «Незнакомка. Ты хочешь меня обнять? Голубой. Я коснуться не смею тебя». Ср. также в «Декабрьской ночи» А. Мюссе: «Я с тобой не расстанусь. Но помни, / прикоснуться к тебе не дано мне...» (перевод В. Набокова).

2. *«Пушкин — радуга по всей земле...»*. Впервые: Руль. 20 сентября 1921. В стихотворении используется мотив IV песни «Ада» из «Божественной комедии» — встреча Данте с тенями великих поэтов античности. Ср. начало «Андрея Шенье» А. Блока.

С. 450. **«Как воды гор, твой голос горд и чист».** *(Ивану Бунину).* Впервые: Руль. 1 октября 1921. Вкл. в *Н79а.* Ю. Айхенвальд, обращаясь к этому посвящению, отметил, что «по стопам певца «Листопада» сознательно хочет идти наш начинающий автор» (Руль. 28 января 1923, под псевд. Б. К.), что подтвердил сборник 1930 г. «Возвращение Чорба». Набоков утверждал, что «удивительные струящиеся стихи» Бунина — «лучшее, что было создано

русской музой за несколько десятилетий», и предпочитал их «той парчовой прозе, которой он был знаменит». Очевидно, имея в виду и собственную поэтическую судьбу, он писал, что «среди так называемой „читающей публики“ ⟨...⟩ стихи Бунина ⟨...⟩ в лучшем случае рассматриваются как не совсем законная забава человека, обреченного писать прозой» (*Н54.* С. 243; В. Сирин. Ив. Бунин. Избранные стихи // Руль. 22 мая 1929). Это не помешало ему в 1951 г. отказаться от участия в благотворительном вечере в пользу Бунина: «Очень ценю его стихи, но проза... или воспоминания в аллее... ⟨...⟩ его заметки о Блоке показались мне оскорбительной пошлятиной. Он вставил „ре“ в свое имя». («Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова // Октябрь. 1996. № 1. С. 140).

С. 452. **«Мечтал я о тебе так часто, так давно...». «Я звал тебя. Я ждал...»** — Ср. темы «зова» и «ожидания» у Блока, напр. «Я звал тебя, но ты не оглянулась...» («О доблестях, о подвигах, о славе...» 1908). Вкл. в *Н79а.*

С. 452. **Сонет** *(«Весенний лес мне чудится... Постой...»).* Впервые: Руль. 25 июня 1922. По поводу этого стихотворения К. В. Мочульский заметил: «Не верится, что „азбуке душистой ветерка учился он у ландыша и лани“. Эта азбука не дается так легко... ⟨...⟩ Не из гербария ли Фета эти ландыши?» (К. В. [Мочульский]. В. Сирин. «Гроздь» // Звено. 23 апреля 1923).

С. 453. **«Позволь мечтать. Ты первое страданье...».** Вкл. в *Н79а.*

С. 456. **«О любовь, ты светла и крылата...».** Г. Струве нашел в этом «стихотворении о поэте-головастике» влияние Саши Черного (Г. Струве. Русская литература в изгнании. С. 121).

С. 457. **Глаза** *(«Под тонкою луной, в стране далекой, древней...»).* Впервые: Сегодня. 18 ноября 1922.

С. 457. **«Пускай все горестней и глуше...».** Впервые: Руль. 22 августа 1922.

С. 458. **Пасха** *(«Я вижу облако сияющее, крышу...»).* Впервые: Руль. 16 апреля 1922. В *Н79а* с посвящением «На смерть отца». Отец поэта В. Д. Набоков (1870–1922) — видный юрист, публицист, один из основателей партии кадетов, общественный деятель, в эмиграции продолжал активную политическую деятельность, издавал в Берлине газету «Руль» — был убит 28 марта 1922 г.

в зале Берлинской филармонии на публичной лекции П. Н. Милюкова, которого он спас от пули террористов. Стихотворение было опубликовано в Пасху, Набоков связывает тему смерти отца с воскресением и в Автобиографии (*Н54.* С. 24).

С. 458. **«Молчи, не вспенивай души...».** Впервые: Руль. 22 августа 1922.

С. 459. **Тристан**

I. «По водам траурным и лунным...». Впервые: Сполохи. 1921. № 1. Вкл. в *Н79а.*

II. «Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых...». Вкл. в *Н79а.*

С. 460. **«Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья...».** Впервые: Руль. 29 января 1922 под заглавием «Перстень».

С. 461. **Рождество** *(«Мой календарь полуопалый...»).* Впервые: Сполохи. 1921. № 2. В *Н79а* «дугой» вместо «лозой».

С. 461. **На сельском кладбище.** Впервые: Руль. 19 ноября 1922.

С. 462. **Viola Tricolor.** Впервые: Руль. 21 августа 1921.

С. 462. **В зверинце.** Впервые: Сегодня. 3 октября 1922.

С. 463. **Ночные бабочки.** Впервые: Руль. 15 марта 1922. Набоков с точностью энтомолога описывает метод ночной ловли бабочек, ср. *Н54.* С. 124.

С. 465. **В поезде.** Впервые: Руль. 10 июля 1921. Вкл. в *Н79а.*

ВЛ. СИРИН. ГОРНИЙ ПУТЬ

Берлин: Грани, 1923. Печатается по этому изданию.

Набоков рассматривал два варианта названия — «Светлица» (очевидно, по созвучию с именем своей невесты Светланы Зиверт) и «Тропинки Божии» (*В90.* Р. 189).

Первые поэтические сборники Сирина были довольно равнодушно приняты критикой: «Это — хороший образец поэта „первого ученика“. Видно знание поэтических приемов и поэзии старых поэтов. Все отпечатано по изношенным клише. Нигде, ни в чем нет бьющегося „своего“ пульса. ⟨...⟩ Внешняя затертость стихотворной формы гармонирует вполне с темами». (Г. [Роман

Гуль] // Новая Русская Книга. 1923. № 5/6); «У Сирина есть все данные, чтобы быть поэтом: у него вполне поэтические восприятия, стихи его музыкальны и органичны, и, несмотря на сказанное, за исключением нескольких действительно хороших стихов, сборник „Горний путь" скучная книга. Происходит это не от недостатка дарования автора, но нельзя проходить мимо всех современных творческих достижений и завоеваний, отказаться от всех течений и школ и употреблять образы, которые давно обесцветились и перестали быть символами. ⟨...⟩ Можно иногда вплетать старые образы в стихи, но для этого их надо обновить совершенно неожиданными сочетаниями. Сирин этого не добивается...» (Вера Лурье // Новая Русская Книга. 1923. № 1). Но проницательный критик Ю. И. Айхенвальд в своем регулярном обзоре книжных новинок в «Руле» ободрил молодого автора: «На книжках Сирина лежит печать культурности, ⟨...⟩ заметнее всего в его стихах ⟨...⟩ внушения чужих поэзий, следы приобщения к искусству и литературе, к дарам Европы. Впрочем, настойчиво звучит и мотив России, Руси, мотив разлученности с нею и возвращения под ее родное небо. ⟨...⟩ Думается, что ⟨...⟩ работая над собой, он достигнет ценных результатов и над его поэтическими длиннотами верх возьмет уже и ныне доступный ему поэтический лаконизм, желанная художническая скупость» (Руль. 28 января 1923, под псевд. Б. К.).

В примечаниях выделены стихотворения, впервые увидевшие свет в периодике, а также те, которые автор счел нужным включить в *Н79а* (32 из 153 стихотворений сборника).

Эпиграф — из стихотворения А. Пушкина «Арион» (1827).

С. 472. **«О ночь, я твой! Все злое позабыто...».** Впервые: Руль. 15 февраля 1922. Вторая строфа — реплика на программную строку Ф. И. Тютчева «Все во мне, и я во всем!» («Тени сизые смесились...»).

С. 474. **Береза в Воронцовском парке.** В имении графа Воронцова в Алупке, на Черноморском побережье, собрана экзотическая южная флора.

С. 474. **Орешник и береза.** «Дерево греха» — дерево с голым, как бы лишенным коры стволом, растущее в Воронцовском парке.

С. 475. **После грозы.** Впервые: Грядущая Россия. 1920. Кн. 1, январь.

С. 478. **«И видел я: стемнели неба своды...»** Впервые: Руль. 7 января 1921 в цикле «Сказания» (вместе с «Крестоносцы»

и «Павлины») под заглавием «Видение Иосифа». После «И вдруг в листве проснулся чудный ропот...» в газете: «...река, взыграв, свободно полилась, / пронесся вдаль копыт веселых топот, / и пастуха вдруг песня раздалась. / А там, а там, развея сумрак серый...» и т. д.

Евангелие Иакова Еврея — т. н. «Протоевангелие Иакова», апокриф, написанный от имени Иакова, брата Иисуса и сына Иосифа от первого брака. Ср. в апокрифе о рождении Иисуса: «И вот я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух, и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился, и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к реке, но не пили, и все в этот миг остановилось» (Цит. по: Апокрифы древних христиан. М.: Мысль. 1989. С. 124).

С. 478. **Солнце бессонных** *(Из Байрона).* Перевод стихотворения Д. Г. Байрона (1788–1824) из цикла «Еврейские мелодии» (1814–1815), который состоит из 24 стихотворений, написанных в качестве текстов романсов на музыку композиторов И. Брегема и И. Натана. Русскому читателю цикл знаком по переводу М. Ю. Лермонтова «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей...»). Выбранное Набоковым стихотворение известно также в переводах И. Козлова, А. Редкина, А. Фета, А. К. Толстого, С. Маршака и др. Характерно, что из всех стихотворений, посвященных трагической судьбе народа Израиля, Набоков выбрал близкую ему тему воспоминания о счастливом прошлом.

С. 479. **Большая Медведица.** Диаграмма полуударений, в соответствии с теорией А. Белого, образует форму этого созвездия (отмечено в *B90*, Р. 151).

С. 480. **Поэт.** Включено в *H79a.*

С. 482. **«Разгорается высь...».** Включено в *H79a.*

С. 482. **«В хрустальный шар заключены мы были...».** Включено в *H79a.*

С. 483. **«Если вьется мой стих и летит и трепещет...».** Эпиграф — из стихотворения В. А. Жуковского «Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).

С. 487. **«Феина дочь утонула в росинке...».** Впервые: Детская библиотека «Слова». Радуга. Русские поэты для детей. Сост. Саша Черный. Берлин: Слово, 1922.

С. 488. **«Ты на небе облачко нежное...».** Включено в *Н79а.*

С. 489. ***Ю. Р.*** *(«Как ты, — я с отроческих дней...»).* Стихотворение посвящено двоюродному брату и другу детства автора барону Юрию Евгеньевичу Раушу фон Траубенбергу (1897–1919).

С. 491. **«Я был в стране Воспоминанья...».** Впервые: Руль. 23 ноября 1921 под названием «В Египте».

С. 494. **Россия** *(«Не все ли равно мне — рабой ли, наемницей...»).* Впервые: Русская мысль. 1921. № 5–7. С. 77. Включено в *Н79а.*

С. 496. **«Еще безмолвствую — и крепну я в тиши...».** Включено в *Н79а.*

С. 499. **Памяти друга.** Посвящено Ю. Раушу, погибшему в 1919 г. во время конной атаки в крымской степи.

С. 500. **«Простая песня, грусть простая...».** Впервые: Руль. 22 декабря 1921.

С. 500. **Вьюга.** Впервые: Грядущая Россия. 1920. Кн. 1, январь.

С. 502. ***М. W.*** *(«Часы на башне распевали...»).* Адресата стихотворения установить не удалось, возможно, в тексте опечатка и должно быть М. Ш., Марианна Шрайбер, см. прим. к с. 536.

С. 503. **«Звон, и радугой росистой...».** Впервые: Грядущая Россия. 1920. № 1. С. 131 под названием «После грозы» и подписью «В. В. Набоков».

С. 504. **«Будь со мной прозрачнее и проще...».** Включено в *Н79а.*

С. 504. **Зима.** М. Джулиар указывает, что, возможно, это стихотворение было впервые напечатано в газете «Руль» за 1922 г. с посвящением Ив. Бунину (*J86.* С 97).

С. 508. **Яблони.** Впервые: Руль. 12 апреля 1921 как первая часть диптиха «Весна» (вторая часть — «Я без слез не могу...» — также включена в «Горний путь»).

С. 509. **La Morte de Arthur.** Включено в *H79a.*

С. 510. **Крестоносцы.** Впервые: Руль. 7 января 1921 в цикле «Сказания».

С. 512. **Детство.** Впервые: Лит. альманах «Грани». 1922. Кн. 1. Размер (5-стопный ямб) и тематика отсылают к поэме Вяч. Иванова «Младенчество» (1913—1918). В рецензии на эту публикацию критик «Руля» писал: «Молодой поэт Вл. Сирин представлен в альманахе ⟨...⟩ красивой поэмой „Детство", в ряде строгих и звучных строф возрождающей воспоминания ранних детских лет...» (Руль. 8 января 1922) — ср. в «Даре» в воображенной Годуновым-Чердынцевым рецензии на его сборник «Стихи»: «Перед нами небольшая книжка, ⟨...⟩ содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме — детству. ⟨...⟩ Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак призрачной прозы — вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта. ⟨...⟩ В целом ряде отличных... или даже больше: замечательных стихотворений ⟨...⟩ Вздор, говорю я, вздор! Он иначе пишет, мой безымянный, мой безвестный ценитель ⟨...⟩» (*H52.* С. 42—44).

С. 516. **Ангелы.** Цикл написан под влиянием М. Волошина, с которым Набоков познакомился в Крыму (*B90.* P. 149), и композитора и пианиста В. И. Поля, которому цикл посвящен[1]. Позже Набоков утверждал, что явный интерес к религии в раннем европейском периоде его стихотворчества был на самом деле стремлением «развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии — интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией)». (*H70.* Цит. по: В. Набокова. Предисловие // *H79a*). В цикле последовательно описываются все девять чинов небесной иерархии в соответствии с учением Псевдо-Дионисия Ареопагита, изложенным им в труде «О небесной иерархии».

ангелы (от *греч.* «вестник») — общее название всех небесных сущностей, а также наименование низшего чина небесной иерархии. Серафимы, херувимы и престолы составляют ее высший чин,

[1] Об ангелах в творчестве Набокова см.: Н. И. Толстая. Спутник яснокрылый // Русская литература. 1992. № 1. С. 188—192.

который вечно пребывает ближе всего к Богу; власти, господства и силы — второй, а ангелы, архангелы и начала — третий, приближенный к людям.

С. 517. **Херувимы.** Впервые: Руль. 1 мая 1921.

С. 522. **Архангелы.** Включено в *Н79а.*

С. 523. **Крым.** Впервые: Жар-Птица. 1921. № 1. Это первое произведение Сирина, удостоившееся упоминания в периодической печати: М. Цетлин, рецензируя альманах, отметил «талантливое стихотворение молодого поэта Владимира Сирина» (Последние новости. 1 сентября 1921).

...ключ / очарованья, ключ печали... — перифраз стихотворения Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824): «Фонтан любви, фонтан печальный!»

С. 528. **Странствия.** Впервые: Русская мысль. 1921. № 5–7 (май—июнь).

С. 529. **Football.** Включено в *Н79а.*

С. 530. **«Безвозвратная, вечно-родная...».** Впервые: Руль. 27 марта 1921 как вторая часть стихотворения «Родина».

С. 531. **Движенье.** Впервые: Сегодня. 1922. № 287. Включено в *Н79а.*

С. 531. **Телеграфные столбы.** Включено в *Н79а.*

С. 532. **Каштаны.** Впервые: Руль. 4 июня 1922. Включено в *Н79а.*

С. 533. **«Твоих одежд воздушных я коснулся...».** Включено в *Н79а.*

С. 533. **Романс.** Включено в *Н79а* (в последней строке — «наполняются...»).

С. 534. **Ласточки.** Включено в *Н79а.*

С. 535. **Тайная Вечеря.** Впервые: Руль. 29 апреля 1921. Включено в *Н79а.*

С. 535. ***Е. L.*** *(«Она давно ушла, она давно забыла...»).* — Очевидно, посвящено Еве Любринской, с которой Набоков

познакомился в 1916 г. на Иматре и снова встретился в Англии, где Ева вышла замуж за соученика Набокова по Кембриджу Роберта Льютенса, сохранив, таким образом, свои инициалы.

С. 536. ***М. Ш. («Я видел, ты витала меж алмазных...»).*** – Очевидно, посвящено Марианне Шрайбер, балерине. Набоков знал ее по Петербургу и снова встретил в 1920 г. в Англии.

С. 536. **«Кто меня повезет...».** Впервые: Руль. 2 октября 1921, в третьей строке — «...мимо синих болот...». Вкл. в *Н79а.*

С. 537. **Павлины.** Впервые: Руль. 7 января 1921, без эпиграфа. Эпиграф взят, очевидно, из книги П. Бессонова «Калики перехожие. Сб. стихов». М., 1863, где приводится рождественский стих пинян (С. 35): «Святы вечор, свят! / Усе лузи да вылетала / Ряба зовзуленька, / Ой, в одному лузи // Да не бувала: /Ой в тум лузи / Павы ходили, / Павы ходили, / Перье ронили. // А за павами / Красная Панна, / Красная Панна / Панна Марыя: / Перье зберала, // У рукавец клала, / За руквка брала, / Веночик вила...»

С. 537. **В раю.** Впервые: Сегодня. 1922. № 245. Вкл. в *Н79а.*

С. 538. **«Мерцательные тикают пружинки...».** Вкл. в *Н79а.*

С. 538. **Лес.** Впервые: Руль. 27 ноября 1920, подписано Cantab (Cantab (*разг.*) — студент Кембриджского университета, от *лат.* Cantabrigiensis — из Кембриджа, кембриджский). Опубликовано рядом с рассказом И. Бунина «Третьи петухи», с чего начался регулярный литературный раздел в «Руле».

С. 540. **Возвращенье.** Впервые: Руль. 10 декабря 1920, подписано Cantab.

С. 541. **Осень.** Впервые: Руль. 2 октября 1921.

С. 542. **Бабочка.** Вкл. в *Н79а.* Vanessa antiopa — траурница, бабочка из семейства нимфалид — часто упоминается в произведениях Набокова.

С. 543. **Велосипедист.** Вкл. в *Н79а.*

С. 545. **«Карлик безрукий во фраке...».** Впервые: Детская библиотека «Слова». Радуга. Русские поэты для детей. Сост. Саша Черный. Берлин: Слово, 1922.

С. 546. **На Голгофе.** Впервые: Руль. 29 апреля 1921. Это стихотворение В. Лурье выделила в своей в целом отрицательной рецензии на сборник как «совершенно удивительное по простоте и крепости ⟨...⟩, оканчивающееся нужными, сделанными строками» (Новая Русская Книга. 1923. № 1).

С. 547. **«Я без слез не могу...».** Впервые: Руль. 12 апреля 1921 как вторая часть диптиха «Весна». Вкл. в *Н79а.*

С. 547. **Домой.** Впервые: Руль. 2 октября 1921 под названием «Возврат». Вкл. в *Н79а.*

С. 548. **Березы.** Впервые: Руль. 1 мая 1921.

С. 549. **«Если ветер судьбы, ради шутки...».** Впервые: Руль. 4 декабря 1921. Вкл. в *Н79а. В. Ш.* — Валентина Шульгина. Во 2-й строке газетной публикации и в сборнике опечатка («ветер судьба»), исправленная в *Н79а.*

С. 551. **Облака.** Впервые: Руль. 22 мая 1921. Оба стихотворения вкл. в *Н79а.*

С. 552. **Пир.** Впервые: Руль. 7 января 1922, в подборке рождественских произведений. Вкл. в *Н79а.*

С. 552. **Белый рай.** Впервые: Руль. 29 января 1922.

С. 553. **Кони.** Вкл. в *Н79а.*

С. 554. **Ночь.** Впервые: Руль. 22 декабря 1921.

С. 554. **La Belle Dame Sans Merci** *(Из John Keats).* Перевод баллады английского поэта Джона Китса (1795–1821), известной также в русских переводах В. Рогова, В. Левика и др. Баллада написана в 1819 г., одновременно со знаменитой поэмой «Канун святой Агнессы» и одами («Ода греческой вазе» и др.), по мотивам кельтских сказаний и средневековых романов Артуровского цикла; заглавие, возможно, заимствовано у французского поэта Алена Шартье (1385–1429). Набокову удается передать редкую для Китса простоту лексики, образов, стиха, близость к фольклорной традиции.

С. 555. **Пьяный рыцарь.** Вкл. в *Н79а.*

С. 556. **«Я думаю о ней, о девочке, о дальней...».** Вкл в *Н79а.*

С. 557. **Перо.** Впервые: Жар-Птица. 1921. № 4—5. Вкл. в *Н79а.* Перепечатано в СССР в «Красной панораме». 1923. № 5 (указано В. С. Федоровым // В. Набоков. Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1991. С. 544).

С. 558. **«Мы столпились в туманной церковеньке...».** Впервые: Руль. 29 июля 1921, в первой строке «церковенке» — очевидно, правильный вариант.

С. 558. **«Людям ты скажешь: настало!..»** Вкл. в *Н79а.* Стихотворение посвящено матери Набокова, Елене Ивановне, урожд. Рукавишниковой (1876—1939).

С. 559. **Русь.** Впервые: Современные записки. 1921. № 7.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

Берлин. 1930. Как и рассказы из этого сборника, мы помещаем стихотворения в порядке их первого появления в периодической печати до 1925 г. включительно. Подробнее о сборнике «Возвращение Чорба» см. во 2-м томе.

С. 561. **Солнце** *(«Слоняюсь переулками без цели...»).* Впервые: Руль. 2 сентября 1923 как вторая часть стих. «Прованс». Вкл. в *Н79а.*

С. 561. **Гость.** Впервые: Руль. 6 июля 1924. Вкл. в *Н79а.* Традиционная тема Дон Жуана обыгрывается здесь в тоне блоковских «Шагов Командора» (1912).

С. 562. **Святки.** Впервые: Сегодня. 26 августа 1924 под загл. «Гаданье» с небольшими разночтениями. Пятая строфа «На выцветшей лазури / ты карты приготовь... / И дедушка то хмурит, / то вскидывает бровь» — в «Возвращении Чорба» опущена. Первая редакция стихотворения воспроизведена в *Н79а.* В стихотворении использованы мотивы крещенского гадания из баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1813).

С. 564. **La Bonne Lorraine.** Впервые: Руль. 16 сентября 1924 под назв. «La Belle Lorraine» (bonne — добрая, belle — красивая, lorraine — лотаринжка; *фр.*), его героиня — Жанна д'Арк (1412—1431), национальная героиня Франции. Вкл. в *Н79а.*

С. 564. **Мать.** Впервые: Руль. 29 апреля 1925. Вкл. в *Н79а.*

...лепивший воробьев / на солнцепеке, в Назарете. — Имеется в виду эпизод из апокрифического «Евангелия детства» («Евангелия от Фомы»), в котором пятилетний Иисус, нарушив обычай субботнего отдыха, вылепил из глины двенадцать воробьев. В ответ на обвинения своего отца Иосифа в осквернении Субботы «Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: Летите! — и воробьи взлетели, щебеча» (Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 142).

С. 565. **Весна** *(«Помчал на дачу паровоз...»).* Впервые: Руль. 10 мая 1925. Вкл. в *Н79а.*

С. 566. **Почтовый ящик.** Впервые: Руль. 24 мая 1925 без названия, как вторая часть стих. «Берлинская весна» (первая часть — «Нищетою необычной...» — не входила в прижизненные сборники, см. в настоящем томе, с. 636).

С. 567. **Крушение.** Впервые: Руль. 16 августа 1925. Вкл. в *Н79а.*

С. 568. **Тень.** Впервые: Руль. 13 сентября 1925. Вкл. в *Н79а.*

С. 569. **Прохожий с елкой.** Впервые: Руль. 25 декабря 1925. Вкл. в *Н79а.*

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Все стихотворения печатаются по первым публикациям, некоторые републикуются впервые. Выделены стихотворения, включенные в *Н79а.*

С. 570. **Прогулка с J.-J.Rousseau.** Впервые опубликовано А. Тереховым в «Российском литературоведческом журнале». 1997. № 11. С. 316—317; рукопись (факсимильно воспроизведенная в журнале) обнаружена в архиве А. Н. Бенуа в Государственном Эрмитаже, подпись «В. Набоков».

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, театральный критик, мемуарист, один из руководителей объединения «Мир искусства», соредактор С. П. Дягилева в одноименном журнале, постоянный сотрудник газеты «Речь», которой руководил В. Д. Набоков. Очевидно, визуальным подтекстом стихотворения являются его акварели и литографии из «Версальской серии» (1905—1906) «Философическая прогулка», «Вечерняя прогулка»

и др., одна из этих акварелей и другие рисунки художника находились в коллекции В. Д. Набокова в его петербургском доме на Большой Морской, 47.

Le Nôtre — Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор, создатель Версальского парка, сада Тюильри в Париже и др. Набоков иронически помещает Руссо, «любителя одиноких прогулок» в пейзажных парках или на лоне дикой природы, в декорации регулярного сада.

...о новом «Emile»... — контаминация названий двух романов Ж.-Ж. Руссо, «Новая Элоиза» (1761) и «Эмиль, или О воспитании» (1762).

С. 570. **Революция.** Автограф из рукописного альманаха К. И. Чуковского «Чукоккала», не входивший в официальную публикацию, впервые напечатан Е. Ц. Чуковской в журнале «Наше Наследие» (1989. № 4. С. 71). Подпись «В. Набоков». Чуковский, будучи в гостях у Набоковых (с В. Д. Набоковым он ездил в 1916 г. в Англию в составе делегации представителей русской прессы), принес с собой рукописный журнал «Чукоккала», и в нем оставили записи отец и сын (*В90.* P. 117).

С. 571. **Зимняя ночь.** Впервые: Русская мысль. М.—Пг. 1917, март—апрель. С. 72, подпись «В. В. Набоков».

С. 572. **Панихида.** Впервые: Грядущая Россия. 1920. Кн. № 1, январь, подписано «В. В. Набоков».

С. 573. **Тихая осень.** Впервые: Руль. 20 февраля 1921.

С. 573. **«Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей...».** Впервые: Руль. 20 февраля 1921.

С. 574. **Родина** (*«Как весною мой север призывен!..»).* Впервые: Руль. 27 марта 1921 как первая часть цикла «Родина» (вторая часть — «Безвозвратная, вечно-родная...» — вошла в сборник «Горний путь», см. в наст. томе, с. 530).

С. 574. **Моя весна.** Впервые: Руль. 1 мая 1921. Стихотворение демонстрирует крайнюю степень ритмических отклонений от метра в соответствии со стиховедческой теорией А. Белого — в последней строфе ударение падет только на два из четырех иктов[1].

---

[1] См. Barry P. Sherr. Poetry // *A95.* P. 611–612.

С. 575. **Беженцы.** Впервые: Руль. 18 июня 1921.

С. 576. **Петербург** *(«Так вот он, прежний чародей...»).* Впервые: Руль. 17 июля 1921, печатается по этой публикации. Перепечатано в: «Петербург в стихотворениях русских поэтов». Под ред. и со вступ. статьей Глеба Алексеева. Берлин: Север, 1923. С. 81–85 (далее — *Н23*) с некоторыми разночтениями, этот вариант воспроизведен в: Владимир Набоков. Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1991. С. 299–303.

Моя синеющая тень / струится рядом, угловато / перегибаясь. — Р. Д. Тименчик остроумно заметил, что здесь переносы (enjambements) сопутствуют мотиву пересечения границ архитектурных плоскостей (Р. Д. Тименчик. Поэтика Санкт-Петербурга эпохи символизма — постсимволизма // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Ученые записки ТГУ. Вып. 664. Тарту, 1984. С. 120).

...в носочках лунных франт дебелый... — В *Н23* следующая строка «я сам — свободный, легкий, смелый...».

...пролетка грязная... — В *Н23* «старая».

Пьянел неистовый народ. — В *Н23* «юродивый».

...поклонник радужных свобод... — В *Н23* «розовых».

С. 581. **«Давно ль — по набережной снежной...».** Впервые: Современные записки. 1921. Кн. VII. Использованы мотивы стихотворения Блока «На островах» (1909).

С. 581. **Акрополь.** Впервые: Руль. 13 ноября 1921. В *Н79а* в первой строке более правильно — «Эрехтейон» (памятник древнегреч. архитектуры (421–406 до н. э.), храм Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе в Афинах).

С. 582. **Храм.** Впервые: Руль. 4 декабря 1921. Эпиграф взят, очевидно, из книги П. Бессонова «Калики перехожие. Сб. стихов». М., 1863. С. 34, 36: «Ой в Турови на морави / Святы вечор, свят! / Стоял костел новы, незрублены, / А в тум костели тры окенечки: / У першом оkеньцы ясное сонце, / А в другом океньце ясен мисяц, / А у трейтём океньцы ясные зыроньки. / Не есть воно ясное сонце: / Але есть вон сам Господь Бог: / Не есть вон ясны мисяц: / Але есть вон Сын Божый; / Не есть воны ясные зыроньки: / Але есть воны Божые дити».

С. 582. **«В переулке на скрипке играет слепой...». «Стою я на крыльце, напротив обитает...».** Впервые: Руль. 7 декабря 1921 как первая и третья части триптиха «Осенние листья» (вторая часть — «На черный бархат лист кленовый ..» — вошла в сб. «Гроздь»).

С. 583. **Ночь.** Впервые: Руль. 22 декабря 1921.

С. 583. **У камина.** Впервые: Руль. 22 декабря 1921. Вкл. в *Н79а.*

С. 584. **Поэт** *(«Являюсь в черный день родной моей земли...»). России («Не предаюсь пустому гневу...»).* Стихотворения найдены в архиве П. Б. Струве (1870—1944), перевезенном после Второй мировой войны из Пражского зарубежного архива в Москву. Впервые опубликованы в журнале «Театральная жизнь» (1989. № 18. С. 30) Ф. Федоровым и А. Томашевским. Публикаторы сообщают, что стихотворения были, очевидно, написаны Набоковым в начале 1920-х гг. и предназначались для издаваемой П. Струве газеты «Русская мысль», подписаны «Вл. Сирин».

С. 585. **Россия** *(«Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...»).* Впервые: Сполохи. 1922. № 5.

С. 586. **Суфлер.** Впервые: Театр и жизнь. 1922. № 10.

С. 587. **Петербург** *(«Он на трясине был построен...»).* Впервые: Русская мысль. 1922. Кн. VI—VII.

С. 587. **Весна** *(«Ты снишься миру снова, снова...»).* Впервые: Жар-Птица. 1922. № 7.

С. 588. **Знаешь веру мою?** Впервые: Руль. 22 июня 1922. Вкл. в *Н79а.*

С. 589. **Грибы.** Впервые: Руль. 19 ноября 1922. Вкл. в *Н79а.*

С. 590. **Россия** *(«Под окном моим, ночью, на улице...»).* Впервые: Современные записки. 1922. Кн. XI.

С. 591. **Снежная ночь.** Впервые: Руль. 3 декабря 1922.

С. 592. **Невеста рыцаря.** Впервые: Руль. 3 декабря 1922. В *Н79а* во 2-й строке 3-й строфы: «...о подвигах святых...».

С. 592. **Пегас.** Впервые: Сегодня. 6 декабря 1922.

С. 593. **Жук.** Впервые: Руль. 17 декабря 1922.

С. 593. **Легенда о старухе, искавшей плотника.** Впервые: Руль. 24 декабря 1922.

С. 595. **«Мы вернемся, весна обещала...», «Уста земли великой и прекрасной...», «Ночь бродит по полям и каждую былинку...», «Шепчут мне странники ветры...».** Впервые: Веретено. Литературно-художественный альманах. Кн. 1. Берлин, 1922. С. 149–152.

С. 597. **Петербург** *(«Мне чудится в Рождественское утро...»).* Впервые: Руль. 14 января 1923.

С. 599. **«Я где-то за городом, в поле...».** Впервые: Руль. 27 февраля 1923. Вкл. в *Н79а.*

С. 600. **«И утро будет: песни, песни...».** Впервые: Руль. 27 февраля 1923. В *Н79а* последнее слово «росе».

С. 600. **Размеры** *(Глебу Струве).* Впервые: Русская мысль. Кн. I–II. 1923. С. 117.

Глеб Петрович Струве (1898–1985) — историк литературы, поэт, переводчик, автор рецензий на многие произведения Набокова, посвятил ему отдельную главу в своем труде «Русская литература в изгнании» (1956).

Ответом на это стихотворение были стихи Г. Струве, опубликованные в «Руле» 3 марта 1923 г.:

Дактили

(В. Сирину)

I

Медленно капают капли
Дней как янтарь золотых.
В небе напомнит мой стих
Крылья серебряной цапли.

Медленно капают капли
дней как янтарь золотых.

II

Рек серебристые струи
К устью несут паруса.
Смерти стальная коса
Срежет упругие туи.

Рек серебристые струи
К устью несут паруса.

III

Солнце, высокий вожатый,
В небе ведет корабли.
Ввысь улетает с земли
Вечер, как вестник крылатый.

Солнце, высокий вожатый,
В небе ведет корабли.

С. 601. **Гекзаметры** *(«Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю...»).* Впервые: Руль. 30 марта 1923, в годовщину гибели В. Д. Набокова, среди других посвященных ему материалов.

С. 601. **Родине** *(«Воркующею теплотой шестая...»).* Впервые: Руль. 8 апреля 1923, напечатано в Пасху. В *Н79а* с посвящением «моей сестре Елене» (Елене Владимировне Сикорской, урожд. Набоковой, род. 1906), написано в день ее рождения, 31 марта.

С. 602. **Властелин.** Впервые: Сегодня. 8 апреля 1923.

С. 603. **На озере.** Впервые: Сегодня. 25 декабря 1923. Перепечатано Б. Равдиным в журнале «Даугава» (1993. № 3. С. 169), печатается по этому изданию.

С. 603. **«Когда я по лестнице алмазной...».** Впервые: Руль. 29 апреля 1923. В *Н79а* в 1-й строке 4-й строфы «поводит строго».

С. 604. **Гексаметры.** Впервые: Руль. 6 мая 1923.

С. 605. **Памяти Гумилева.** Вкл. в *Н79а.*

Стихотворение посвящено памяти Н. С. Гумилева (1886–1921), расстрелянного большевиками 24 августа 1921 г. (за недонесение) в числе участников Таганцевского заговора.

Образ, поэтика и манера литературной критики Гумилева в разной степени, но всю жизнь привлекали Набокова. Некоторые ранние стихи Набокова написаны под влиянием Гумилева («Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой» (1922. *Н79а.* С. 68), «Автобус» (1923. *Н. 79.* С. 120–121), «Я Индией невидимой владею» (1923. *Н. 79.* С. 125)). Доблести, ассоциировавшиеся у Набокова с обликом поэта, воплощены в образах Мартына в «Подвиге» и отца героя в «Даре», ему также посвящена лекция 1941 г. «The Art of Literature and Common Sense» («Искусство литературы и здравый смысл»): «Одна из главных причин, почему тридцать с лишком лет назад ленинские бандиты убили самого доблестного

русского поэта Гумилева, состояла в том, что во время всех жестоких испытаний, в тусклом кабинете прокурора, в пыточных камерах, в извилистых коридорах, по которым его вели к грузовику, в грузовике, везшем его на место казни, на самом этом месте, наполненном шарканьем неотесанной и мрачной расстрельной команды, поэт не переставал улыбаться»[1]. Через полвека Набоков снова вернулся к образу поэта (перифразируя стихотворение Гумилева «Я и вы»):

Как любил я стихи Гумилева!
Перечитывать их не могу,
но следы, например, вот такого
перебора остались в мозгу:

...И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,
а с небесной бабочкой в сетке
на вершине дикой горы.

(1972. Цит. по: *Н79а.* С. 297)

С. 605. **Сон** *(«Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...»).* Впервые: Русская мысль. Кн. III—V. 1923. С. 136. Вкл. в *Н79а.*

С. 605. **Жемчуг.** Впервые: Альманах «Медный всадник». 1923. Кн. 1. В *Н79а* 2-я строка 1-й строфы — «страстных мук».

С. 606. **Через века.** Впервые: Альманах «Медный всадник». 1923. Кн. 1. В *Н79а* без названия, в 4-й строке 2-й строфы — «сказочной», в последней строке 8-й строфы — «...я целился в кого-то, / и не успел тугой курок пригнуть».

С. 607. **Узор.** Впервые: Альманах «Медный всадник». 1923. Кн. 1. В *Н79а* без названия.

С. 608. **«Живи, звучи, не поминай о чуде...». «О как ты рвешься в путь крылатый...». «Ты все глядишь из тучи темно-сизой».** Впервые: Русская мысль. Кн. VI—VIII. 1923 под общим

---

[1] Мы цитируем перевод Н. Ермаковой (Звезда. 1996. № 11. С. 69), сделанный по изданию Vl. Nabokov. The Creative Writer // Bulletin of the New England Modern Language Assosiation. New Series. Vol. 4. № 1. January 1942. P. 21–29. Источник, по которому обычно цитируется это эссе, — V. Nabokov. Lectures on Literature. Ed. by Fredson Bowers. New York: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark, 1980 — содержит лакуну.

заглавием «Стихотворения». Второе и третье стихотворения вкл. в *Н79а.*

С. 609. **Барс.** Впервые: Руль. 10 мая 1923. Вкл. в *Н79а.*

С. 610. **Гроза** *(«Стоишь ли, смотришь ли с балкона...»).* Впервые: Руль. 10 июня 1923. Вкл. в *Н79а.*

С. 610. **Встреча.** Впервые: Руль. 24 июня 1923. Вкл. в *Н79а.* Эпиграф из стихотворения А. Блока «Незнакомка» (1906). Написано после первой встречи с В. Е. Слоним на благотворительном балу, на котором она была в волчьей маске.

С. 612. **Песня.** Впервые: Руль. 29 июля 1923. Вкл. в *Н79а.* Реминисценция стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...». В том же номере газеты, рядом со стихотворением Сирина, помещен перевод из Э. По, подписанный В. С., что заставило М. Джулиара приписать его Набокову (*J86.* C127). Б. Бойд сообщает, что перевод был сделан В. Е. Слоним, будущей женой Набокова, с которой тот встретился 8 мая того же года на благотворительном балу, знакомство их было кратким, и до его возобновления судьба свела на одной газетной полосе их тексты (*B90.* P. 206–211).

С. 613. **Прованс** *(«Как жадно, затая дыханье...»).* Впервые: Руль. 2 сентября 1923 со второй частью «Слоняюсь переулками без цели...», которая вошла в сб. «Возвращение Чорба» под заглавием «Солнце». В *Н79а* последнее слово первой строфы — «ключа». В мае—августе 1923 г. Набоков работал сельскохозяйственным рабочим на юге Франции, в Провансе, у друга отца С. Крыма. Эти впечатления использованы им также в романе «Подвиг» (1932).

С. 614. **Родина** *(«Когда из родины звенит нам...»).* Впервые: Руль. 23 сентября 1923.

С. 614. **Олень.** Впервые: Руль. 23 сентября 1923.

С. 615. **«И в Божий рай пришедшие с земли...».** Впервые: Жар-Птица. 1923. № 11.

С. 615. **«Из мира уползли — и ноют на луне...».** Впервые: Жар-Птица. 1923. № 11. Вкл. в *Н79а.*

...ланнеровский вальс... — Ланнер Иосиф (1801–1843) — австрийский скрипач, дирижер и композитор, один из создателей «венского» вальса.

С. 616. **Рождество** *(«Свеча прозрачная мигает...»).* Впервые: Сегодня. 25 декабря 1923. Печатается по: Даугава. 1993. № 3. С. 169.

С. 617. **Видение.** Впервые: Руль. 27 января 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 618. **Скитальцы.** Впервые: Руль. 2 марта 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 618. **Кубы.** Впервые: Руль. 9 марта 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 619. **Окно.** Впервые: Руль. 23 марта 1924. В *Н79а* без названия.

С. 620. **Ленинград.** Впервые: Наш Мир. № 1. 23 марта 1924, без подписи.

С. 620. **«Блуждая по запущенному саду...».** Впервые: Руль. 3 апреля 1924. Вкл. в *Н79а* под заглавием «Стихи».

С. 620. **Стансы.** Впервые: Руль. 18 апреля 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 621. **Автомобиль в горах.** *Сонет.* Впервые: Руль. 20 апреля 1924.

С. 622. **Подруга боксера.** Впервые: Наш мир. № 8. 1924.

С. 623. **Санкт-Петербург** *(«Ко мне, туманная Леила!..»).* Впервые: Руль. 1 июня 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 623. **Смерть** *(«Утихнет жизни рокот жадный...»).* Впервые: Руль. 18 июня 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 624. **Об ангелах.** Впервые: Руль. 20 июля 1924. Оба стихотворения вкл. в *Н79а.*

С. 625. **Молитва.** Впервые: Руль. 24 августа 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 626. **«Отдалась необычайно...».** Впервые: Сегодня. 24 сентября 1924. Перепечатано под назв. «Рояль» в Газете Бала Прессы. 14 февраля 1926 (*J86.* С168). Печатается по: Даугава. 1993. № 3. С. 170.

С. 627. **Исход.** Впервые: Руль. 26 октября 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 628. **Костер** *(«На сумрачной чужбине, в чаще...»).* Впервые: Вестник Главного Правления Общества Галлиполийцев (Белград). 1924. В *Н79а* во 2-й строфе — «не разглядеть», в третьей — «гори, гори, костер отрадный», в 5-й — «лесные духи».

С. 629. **Три шахматных сонета.** Впервые: Наш мир. 1924. № 37.

Филидор (Даникан), Франсуа Андре (1726–1795) — французский композитор и шахматист, автор «Анализа шахматной игры».

Дюсер — один из шахматистов — посетителей парижского кафе «Режанс», где часто играл Филидор.

С. 630. **Страна стихов.** Впервые: Руль. 7 декабря 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 631. **К родине** *(«Ночь дана, чтоб думать и курить...»).* Впервые: Руль. 25 декабря 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 631. **Великан.** Впервые: Сегодня. 25 декабря 1924. Вкл. в *Н79а.*

С. 632. **Шекспир.** Впервые: Жар-Птица. 1924. № 12. Вкл. в *Н79а.*

Брантом, Пьер де Бурдей (Brantôme, 1540–1614) — французский писатель-мемуарист, автор «Жизнеописаний знаменитых людей и великих полководцев» и «Жизнеописаний знаменитых дам», которые отличает документальная точность и обилие непристойных подробностей.

С. 633. **Волчонок.** Впервые: Наш мир. № 1. 1925. В *Н79а* в 3-й строке 1-й строфы — «зеленоватый свет».

С. 634. **Овца.** Впервые: Наш мир. № 1. 1925. Это и предыдущее стихотворения — в разделе «Рождественские стихи».

С. 635. **Конькобежец.** Впервые: Руль. 5 февраля 1925. Вкл. в *Н79а.*

С. 635. **«Пою. Где ангелы? В разлуке...».** Впервые: Сегодня. 1 апреля 1925.

С. 636. **Берлинская весна** *(«Нищетою необычной...»).* Впервые: Руль. 24 мая 1925 как первая часть диптиха, вторая часть («Когда

весеннее мечтанье...») вошла под названием «Почтовый ящик» в сб. «Возвращение Чорба». Вкл. в *Н79а.*

С. 636. **Изгнанье.** Впервые: Руль. 14 июня 1925.

С. 637. **Сон** *(«Однажды ночью подоконник...»).* Впервые: Руль. 30 июня 1925. Вкл. в *Н79а.*

С. 638. **Воскресение мертвых.** Впервые: Возрождение. 19 июля 1925. Вкл. в *Н79а.*

С. 639. **Рай** *(«Любимы ангелами всеми...»).* Впервые: Руль. 26 июля 1925.

С. 640. **Путь.** Впервые: Руль. 13 декабря 1925.

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. 641. **Овцы** *(Из Сеймаса о'Суливана).* Впервые: Руль. 5 июня 1921.

Сеймас о'Сулливан (Seamas o'Sullivan) — псевдоним ирландского поэта и издателя Джеймса Салливана Старки (Starkey, 1879–1958), удостоившегося упоминания в «Улиссе» Д. Джойса.

С. 642. **Out of the Strong, Sweetness!** *(Из Сеймаса о'Суливана).* Впервые: Руль. 5 июня 1921 (в газете опечатка в названии).

Оба стихотворения — из сборника Сулливана «The Twilight People» (1905).

В это же время Набоков перевел с английского стихи других ирландцев — Лэндора, оставшиеся неопубликованными (*В90.* P. 633), и Йейтса (*F67.* P. 66) — последние, возможно, были напечатаны в альманахе «Кубок» (Берлин, 1924?).

С. 642. **Сонет** *(Из Пьера Ронсара).* Впервые: Руль.13 августа 1922 с опечаткой в названии («Ронсора»).

Пьер де Ронсар (1524–1585) — французский поэт, глава «Плеяды». Этот сонет входит во вторую книгу «Сонетов к Елене» (1578), известен также в переводе В. Левика.

С. 643. **Альбатрос** *(Из Шарля Бодлера).* Впервые: Руль. 3 сентября 1924.

Стихотворение «Альбатрос» Шарля Бодлера (1821–1867) было впервые опубликовано в «Revue française», 1859 без 3-й строфы, которая появилась в 1861 г. во втором издании «Цветов зла»,

известно в переводах Д. С. Мережковского, Эллиса, В. Шершеневича, В. В. Левика и других (см. Е. Витковский. Очень крупная дичь, или Реквием по одной птице // Литературная учеба. 1987. № 5. С. 169–175).

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Все драматические произведения Набокова принадлежат к его «русскоязычному» периоду (если не считать сценария «Лолиты», 1974). Первая (несохранившаяся) драма в стихах «Весной» была сочинена в начале 1918 г. в Крыму, по воспоминаниям автора, это было «нечто лирическое в одном акте» (*B90.* P. 141). При жизни писателя его пьесы не переиздавались, большая их часть опубликована в издании: В. Набоков. Пьесы. Сост., статья и комм. Ив. Толстого. М.: Искусство. 1990; английские переводы, выполненные Д. В. Набоковым, вошли в сборник V. Nabokov. The Man from the USSR and Other Plays. San Diego, New York, London: Bruccoli Clark / Harcourt Brace Jovanovich, 1984. В этот сборник входят также эссе (лекции, прочитанные Набоковым в 1941 г. в Стэнфорде) «Playwriting» («Творчество драматурга») и «The Tragedy of Tragedy» («Трагедия трагедии»), в которых он выражает свои «резкие суждения» о драматургии.

Не увидевшее света при жизни писателя самое крупное его драматическое произведение 1920-х гг. «Трагедия господина Морна» [1924] было известно только в пространных цитатах из сообщения о чтении Сириным на заседании Литературного клуба (Е. К-н [Евгений Кан?] // Руль. 6 апреля 1924. Перепечатано в: В. Набоков. Пьесы. С. 246–248) и в английском переводе Д. В. Набокова (сб. «The Man...»). В 1997 г. оно было опубликовано в журнале «Звезда» (№ 4) по рукописи, подготовленной к печати Д. Набоковым, С. Витали и Э. Проффер, со вступительной статьей В. Старка. Ввиду большого объема пьеса не включена в настоящий том и, возможно, будет выпущена отдельным изданием.

Современные исследователи согласно отмечают, что «для Набокова сочинение для сцены было подобно игре в шахматы без ферзя» (*B90.* P. 482), поскольку не позволяло проявиться его характерному «зеркальному» стилю. Впрочем, свойственная драматургии стихия игры в жестких рамках абсолютной власти «пуппенмейстера» родственна набоковской поэтике. В драматургии проявляются многие мотивы, которые позже станут основой набоковской поэтики: взаимное перетекание и неразличимость сна и реальности, темы двойничества и путешествия (научной экспедиции или возвращения домой).

Вивиан Калмбруд (Vivian Calmbrood). Скитальцы (The Wonderers), 1768. Лондон. Трагедия в четырех действиях. Перевод с английского Влад. Сирина. Впервые: Грани. Литературный альманах. 1923. Кн. 2. Печатается по этому изданию.

Розыгрыш с анаграмматическим псевдонимом удался, рецензенты альманаха согласно отметили: «По отлично переведенному В. Сириным отрывку из старинной английской трагедии В. Калмбруда „Скитальцы" трудно, однако, судить о значительности этой вещи» (Арсений Мерич [А. Даманская] // Дни. 1 апреля 1923); «...интересна трагедия „Скитальцы" Кэлмбруда, переведенная с английского В. Сириным, но трудно составить себе полное представление о ней, ибо в альманахе помещено лишь первое действие» (Б. А[ратов] // Воля России. 1923. № 11).

С. 650. ...нет счастия на свете. — Реминисценция стих. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834) — «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Агасфер (пролог). Впервые: Руль. 2 декабря 1923 с подзаголовком «Драматический монолог, написанный в виде пролога для инсценированной симфонии». Печатается по этой публикации.

Публикация в «Руле» сопровождалась вступительной заметкой, подписанной «Л. С. Я.»: «На днях Иван Лукаш и Владимир Сирин, совместно с композитором В. Ф. Якобсоном, закончили работу над симфонией его, предназначенной для театральной постановки. После нескольких месяцев труда авторам и композитору удалось найти для симфонии этой форму сценического воплощения. Это — драматическая пантомима в пяти частях. Творческий ее замысел таков: дать оправданную музыкой театральную игру, драматические столкновения и степень переживаний которой были бы выразителями соответствующих музыкальных сочетаний симфонии. Следуя романтическим сменам музыкального стиля композитора, авторы создали романтическую эпопею о любви, скитающейся по земле, как вечный скиталец Агасфер. Духовные волны, настроения, переживания симфонии нашли свое выражение в тех или иных актах, приобщенных к эпохам, наиболее мощно воплощающим эти духовные волны симфонии. В пантомиму авторами введено слово и диалог, которые врываются в пластическую, немую игру там, где для этого есть действительная драматическая необходимость. „Агасфер", или „Апокриф любви", по содержанию — вечное столкновение мужчины и женщины, вечное искание и вечное ненахождение любви. Эта новая музыкально-сценическая работа будет на днях прочтена, в сопровождении музыки, для представителей русской прессы и русского театра в Берлине».

Иван Созонтович Лукаш (1892–1940) — прозаик, журналист, близкий друг Набокова берлинской поры (они вместе писали либретто для пантомим русского кабаре в Берлине «Синяя птица» (*В90.* P. 227, 228, 231, 233).

С. 675. Агасфер, или Вечный жид — по средневековым легендам, осужден Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть в своем доме на пути к месту распятия. Этот сюжет отражен во многих произведениях литературы.

Летит твоя падучая звезда из века в век... — аллюзия на драму А. Блока «Незнакомка» (1907).

Киприда — одно из наименований Афродиты в древнегреческой мифологии, указывающее на связь ее культа с о. Кипр.

Смерть. Драма в двух действиях. Впервые: Руль. 20, 24 мая 1923. Печатается по этой публикации.

С. 682. ...пытливый Плиний... — Плиний Старший (23/24–79) — римский писатель, ученый и гос. деятель, автор 37-томной «Естественной истории», погиб при извержении Везувия, командуя флотом в Мизене.

С. 687. ...красавец / хромой, — ведя ручного медвежонка / московского (...) выплакивал стихи о кипарисах. — Имеется в виду Байрон, его ручной медведь упоминается в эссе Набокова «Кембридж» (1921).

С. 689. Systema Naturae — «Система природы» («Systema Naturae Fundamenta Botanica», 1735) — труд Карла Линнея (1707–1778), шведского естествоиспытателя, в котором он разработал строгую и неподвижную классификацию растительного и животного мира.

Дедушка. Драма в одном действии. Впервые: Руль. 14 октября 1923. Печатается по этой публикации.

С. 700. ...великому Самсону... — Самсон, точнее Сансон Шарль-Анри (1740–1793) — потомственный парижский палач, казнил Людовика XVI; его сын Анри казнил Марию-Антуанетту, принцессу Елизавету, герцога Орлеанского.

Полюс. Драма в одном действии. Впервые: Руль. 14, 16 августа 1924. Печатается по этой публикации.

Пьеса навеяна чтением дневников Скотта в Британском музее. (См. Н. И. Толстая. «Полюс» В. Набокова и «Последня экспедиция Скотта» // Русская литература. 1989. № 1. С. 133–136).

С. 710. Скотт, Роберт Фалкон (1868–1912) — полярный исследователь, погибший вместе со своими спутниками в Антарктиде, на обратном пути с Южного полюса — добравшись до которого они обнаружили там норвежский флаг, установленный

экспедицией Амундсена. Скотт в течение полутора лет, вплоть до дня смерти, продолжал вести дневник.

...He was a very gallant gentleman. — «Он был очень храбрым человеком» (*англ.*). Этих слов в дневнике Скотта нет, Набоков, очевидно, взял их из книги «Scott's Last Expedition» (1913); возможно, это контаминация нескольких источников (Скотт в дневнике говорит о своем соратнике Отсе: «...it was the act of a brave man and an English gentleman»; на памятнике из снега и льда, поставленном поисковой группой около места предполагаемой гибели Отса, было написано: «Hereabouts died a very gallant gentleman...»).

С. 716. А! Вот что значит смерть: / стеклянный вход... вода... вода... все ясно... — В автобиографии Набоков пишет, что последние слова его бабушки, П. Н. Тарновской, были: «Теперь понимаю: все — вода».

С. 719. ...луна / горит костром; Венера как японский / фонарик... — Ср. в дневнике Р. Скотта: «...луна была сильно искажена и окрашена в кроваво-красный цвет. Ее можно было принять за алую вспышку, за пламя дальнего костра, но никак не за луну. Вчера планета Венера приняла вид корабельного бортового фонаря или же японского фонарика» (перевод Н. Толстой).

Aurora borealis — Северное сияние (*лат.*). Д. В. Набоков указывает, что первоначально было более логичное «Aurora australis» — Южное сияние.

Нас опередили. / Обидно мне за спутников моих. — Ср. в дневнике Скотта: «Ужасное разочарование, и я очень огорчен за моих верных спутников» (перевод Н. Толстой).

Болеют ноги / у Джонсона. Он очень бодр и ясен. / Мы всё еще с ним говорим о том, / что будем делать после, возвратившись. — Ср. в дневнике Скотта: «Сегодня утром ноги у Отса в *очень* скверном состоянии; он поразительно мужественный человек. Мы все еще говорим о том, что будем делать сообща, когда вернемся домой» (перевод Н. Толстой).

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Несмотря на то что Набоков в автобиографии назвал свои рецензии 1920–1930-х гг. «посредственными критическими заметками», они представляют несомненный интерес для понимания его эстетических принципов, иногда сформулированных в рецензиях до того, как они были воплощены в его собственной прозе. Многие эссе и рецензии Набокова переизданы в: В. Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. Сост. и прим. А. А. Долинина и Р. Д. Тименчика. М.: Книга, 1989 и «Письма о русской поэзии» Владимира

Набокова // Литературное обозрение. 1989. № 3. С. 96–108. Вступ. статья, публикация и прим. Р. Д. Тименчика.

Кембридж. Впервые: Руль. 28 октября 1921. Печатается по этой публикации.

Набоков (Vladimir Nabokoff, так он писал свое имя до переезда в Америку) учился в Кембридже, Тринити Колледж в 1920–1922 гг., сначала изучал зоологию, потом русскую и французскую литературу, играл голкипером в университетской футбольной команде. В автобиографии он писал: «Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности — величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию» (*Н54.* С. 222). Тогда же он опубликовал свою первую статью (на английском) по энтомологии «A Few Notes on Crimean Lepidoptera» // The Entomologist (London). Vol. 53 и первые стихотворения на английском — «Remembrance» // The English Review (London), № 144. № 2 и «Home» // The Trinity Magazine (Cambridge, England). Vol. 5. № 2.

Руперт Брук. Впервые: Литературный альманах «Грани». 1922. Кн. 1. С. 212–231. Печатается по этому изданию (ранее текст не переиздавался и не переводился).

Руперт Брук (Brooke, 1887–1915) — английский поэт, учился в Кембридже, где входил в группу поэтов-георгианцев (организатор первого сборника «Георгианской поэзии», 1912, автор исследования «John Webster and the Elizabethian Drama», изд. 1916). Много путешествовал (сб. «Письма из Америки», 1916). Поэт участвовал в Первой мировой войне, умер от заражения крови на военном корабле, направлявшемся в Дарданеллы, похоронен на греческом о-ве Скирос. В 1911 г. вышел его сборник «Poems», в 1915-м, посмертно, — сборник сонетов о войне «1914, and Other Poems».

Очевидно, молодому Набокову оказались близки как романтические размышления о смерти и любви и судьба молодого поэта, напомнившая о погибшем друге Ю. Рауше, так и — главное — его поэтика и метафизика потусторонности. В переводах и интерпретациях творчества Брука Набоков его несколько романтизирует, приближая к сновидческому, аллитеративному и мистическому миру другого георгианца, У. Де ла Мара и, возможно, полемизируя с эссе последнего «Rupert Brooke and the Intellectual Imagination» (1919). В интервью 1964 г. Набоков признается, что в 1930-е Брук был одним из его любимых поэтов (*Н70.* P. 43).

Рецензент альманаха «Грани» (П. Ш. // Руль. 8 января 1922) отметил «этюд об английском поэте Руперте Бруке, еще совершенно неизвестном за пределами Англии. Этюд этот носит не столько критический, сколько поэтический характер: каждая строка его свидетельствует о том, что он мог быть написан только поэтом».

С. 729. «зыбкая, изменчивая, дымчатая ⟨...⟩ *между тьмой и тьмой»* — Из стихотворения «The Fish» (сб. «Poems»).

В полдневный час, ленивым летом ⟨...⟩ *суши нет.* — «Heaven» (сб. «1914 and Other Poems»). В переводах Набокову удается сохранить тип рифмовки и размер оригинала, ср.:

Fish (fly-replete, in depth of June,
Dawdling away their wat'ry noon)
Ponder deep wisdom, dark or clear,
Each secret fishy hope or fear.
Fish say, they have their Stream and Pond;
But is there anything Beyond?
This life cannot be All, they swear,
For how unpleasant, if it were!
One may not doubt that, somehow, Good
Shall come of Water and of Mud;
And, sure, the reverent eye must see
A Purpose in Liquidity ⟨...⟩.

С. 731. ...«где живут Бессмертные ⟨...⟩ *не стерлась печать нашего „я“»...* — Из стихотворения «Tiare Tahiti». Ср. в «Приглашении на казнь» (1938): «Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик...».

...умерев, проснется «На широкой, белесой равнине...» — Из стих. «The Life Beyond» (сб. «Poems»).

...в стихотворении «Прах». — «Dust» (сб. «Poems»).

С. 733. «Их сонмы облекли полночный синий свод...» — «Clouds» (сб. «1914 and Other Poems»).

...четырнадцатый год ⟨...⟩ *внушает Бруку пять цветных сонетов* — Пять сонетов из сб. «1914 and Other Poems» (I. Peace; II. Safety; III. The Dead; IV. The Dead; V. The Soldier).

«Их душу радости окрасили, печали...» — Сонет IV. «The Dead». Этот сонет есть в современном переводе Е. Гарасова (Английская поэзия в русских переводах. XX в. М.: Радуга, 1984. С. 235)

...и записной книжкой капитана Скотта. — См. комм. к драме «Полюс», в которой Набоков использовал текст этой записной книжки.

«Лишь это вспомните, узнав, что я убит...» — Сонет V. «The Soldier», хрестоматийный текст Брука:

If I should die, think only this of me:
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave once, her flowers to love, her ways to roam,
A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home...

С. 734. ...в небольшой, но очень тонкой поэме о Деве Марии... — «Mary and Gabriel» (сб. «1914 and Other Poems»).

С. 735. ...А любит он многое: белые тарелки ⟨...⟩*увидеть неописуемое божество наслажденья?..* — Из стихотворения «The Great Lover» (сб. «1914 and Other Poems»).

«...Из дремы Вечности туманной...» — «The Call» (сб. «Poems»).

С. 736. «...неутоленные, раскоряченные желанья ⟨...⟩ *выпуклых путей»* — Из стих. «Thoughts on the Shape of the Human Body» (сб. «Poems»).

С. 737. «Троянские поправ развалины, в чертог...» — «Menelaus and Helen» (сб. «Poems»). В третьей строфе перевода опечатка «...рожала без конца законных гад...» (в оригинале «...how white Helen bears / child on legitimate child...»).

С. 738. ...в стихотворении «Ревность»... — «Jealousy» (сб. «Poems»).

...и в другом, посвященном ⟨...⟩ *разбору морской болезни, явленья которой тут же сравниваются с «воспоминаньями любви...»* — Стих. «A Channel Passage» (сб. «Poems»): «...'Tis hard, I tell ye / To choose 'twixt love and nausea, heart and belly».

«Моими дивными деревьями хранимый...» — «The Voice» (сб. «Poems»).

С. 739. «Усталый, поздно возвратился...» — «Home» (сб. «1914 and Other Poems»).

С. 740. ...ту странную внезапную холодность, за которую некогда так обиделась венецианка на робкого Руссо. — Имеется в виду эпизод из кн. 7 части 2 «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо: «Я входил в комнату куртизанки, как в святилище любви и красоты, а в самой девушке видел обитающее там божество. ⟨...⟩ И вдруг вместо пожирающего пламени я чувствую, как смертельный холод течет по моим жилам...» (перевод Д. Горбова).

«Было поздно, было скучно...» — «The Jolly Company» (сб. «Poems»).

С. 741. «Алмазно-крепкою стеною от меня...» — «Failure» (сб. «Poems»).

С. 742. «По кругам немым...» — «The Vision of the Archangels» (сб. «Poems»).

С. 743. ...а только городок Гранчестер — волшебный городок. — «The Old Vicarage, Grantchester».

Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс... — Стихотворение «The Old Vicarage, Grantchester» имеет подзаголовок, указывающий на место и время его написания: «Café des Westens, Berlin, May, 1912».

«неофициальная английская роза» — Из стих. «The Old Vicarage, Grantchester» («An English unofficial rose»).

Сергей Кречетов. Железный перстень. Стихи. Изд-во «Медный всадник». Берлин. 1922. Впервые: Руль. 17 декабря 1922. Печатается по этой публикации.

Сергей Кречетов — псевдоним Сергея Александровича Соколова (1878–1936), поэта, критика, издателя, основателя московского символистского изд-ва «Гриф» (1903–1915). С 1920 г. — в эмиграции, в Берлине возглавляя издательство «Медный всадник» (также издал одноименный альманах — Кн. 1. Берлин, [1923], в котором были напечатаны стихотворения Набокова), оба поэта входили в Братство Круглого Стола. В книгу «Железный перстень» вошли традиционные для С. Кречетова символистские стихи (раздел «Маски»), автобиографические (раздел «Лирика плена»), политические, воспевающие «русскую державу» («О ней»), а также переводы из современных английских поэтов.

С. 744. ...тютчевские призывы «идти на Царьград»... — Имеются в виду мотивы политических стихотворений Ф. И. Тютчева «Русская география», «Рассвет», «Пророчество», «К. В. Нессельроде» и др. Ср. у Кречетова: «Ужель в забвеньи самовольства / Продать хотите наконец / За хлеб минутного довольства / Вы Рима Третьего венец? // Прочь! Он не ваш! Российский гений / Его в веках определил / И верой долгих поколений / Мечту Царьграда окрылил» («Убитая мечта»).

...рифма: Иматра — театра... — Из стих. «Встреча»: «Шляпы красавиц и воды Иматры / Кажет крикливый, веселый плакат. / Блещут зазывно электротеатры, / Рвется наружу оркестра раскат». Название водопада на реке Вуокса произносится с ударением на первом слоге.

...в одном стихотворении — о лондонском банкире... — Стих. «Банкир» («В столице стерлингов, в угрюмо-душном Сити, / Где в узких улицах неярок солнца свет, / В одном из низеньких домов на Риджент-Стрите / Смущенный, я входил в твой тесный кабинет»). Торговая улица Риджент-стрит находится в Вест-Энде.

...знаменитое «If» Киплинга... — стихотворение английского поэта Д. Р. Киплинга (1865–1936) «Если» (1910), в переводе Кречетова «Заповедь человека».

С. 745. ...заключительную строфу стихотворения Йитса («Когда ты состаришься»)... — стихотворение ирландского поэта и драматурга Уильяма Батлера Йейтса (1865–1939) «When you are old». Перевод С. Кречетова озаглавлен «У камина». В оригинале:

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how love fled
And paced upon the mountains overhead,
And hid his face amid a crowd of stars.

Волшебный соловей. Сказка Рихарда Деммеля. Перевел Саша Черный. Иллюстрации И. Глейтсмана. Книгоиздательство «Волга». Впервые: Руль. 30 марта 1924. Печатается по этой публикации.

Рихард Демель (Dehmel, 1863–1920) — немецкий писатель, автор нескольких стихотворных сборников, декадентских драм, романа в стихах «Двое» (1903), дневника военных впечатлений «Между народом и человечеством» (1919). Собрание его сочинений в авторизованном переводе Л. Горбуновой с предисловием Ю. Айхенвальда было издано в России в 1912 г. Стихи для детей — нехарактерная часть его творчества.

Саша Черный (псевд., наст. имя Александр Михайлович Гликберг, 1880–1932) — поэт, прозаик, драматург, лит. критик, детский писатель, переводчик, журналист. В эмиграции был редактором лит. отдела журнала «Жар-Птица», альманаха «Грани», составителем детских сборников «Радуга» (1922), в которых печатался Набоков. Набоков посвятил ему искренний некролог, и позже, в Америке, вспоминал: «Это была замечательная личность. Милейший человек. И, по-моему, первоклассный поэт. По большей части он писал легкие стихи того сорта, который очень любят в России, с политическим и сатирическим оттенком. ⟨...⟩ Потом в Берлине он начал писать серьезные стихи, и это ему очень удавалось» (*F86.* P. 78).

С. 745. «Задушевное слово» — журнал для детей, выходивший в Петербурге в 1877–1918 гг.

«Детский остров» (Данциг: Слово, 1921) — сборник детских стихов и прозы Саши Черного с иллюстрациями Б. Д. Григорьева.

Русская река. Впервые: Наш мир. 14 сентября 1924. Печатается по этой публикации.

В *H79a* включено с соблюдением стихотворной строфики под заглавием «Река» и с небольшими разночтениями: «ползучих»

вместо «плавучих»; «вытащишь» вместо «вытянешь»; строки «Это было в раю... // Это было в России.» переставлены местами. В стихотворении описывается река Оредеж, на берегу которой расположены имения Набоковых и Рукавишниковых.

Александр Салтыков. Оды и гимны. Изд. «Милавида». Мюнхен. Впервые: Руль. 1 октября 1924. Печатается по этой публикации.

Салтыков Александр Александрович, граф (1865—1940?) — публицист, автор сборника стихов «По старым следам» (Пг., 1915), по поводу которого Н. С. Гумилев писал: «Гр. А. А. Салтыков, должно быть, очень приятный собеседник. ⟨...⟩ Но ему совсем не следует писать стихи. ⟨...⟩ ...никакой комментарий не заставит такие стихи показаться поэзией. Книга гр. А. А. Салтыкова — недоразумение, происшедшее оттого, что у нас так мало понимают сущность и пределы поэзии» (Аполлон. 1915. № 10. С. 53).

С. 748. ...Сапфики, алкаики, гликоники, асклепиады... — размеры силлабо-метрической эолийской метрики, названные по именам поэтов, которые пользовались ими раньше или больше других.

С. 749. ...стихотворение... о черном пуделе (гётевском)... —

Поток кипит, бушует горный...
Как страж последний на посту,
Меж хлопьев снега пудель черный
Сидит в тумане на мосту.

Все смутно, сумрачно, неярко...
И, мысль прошедшего тая,
Повисла каменная арка
Над темной бездною ручья.

В ущелье вьюга... духи?.. люди ль?..
Что веет там?.. чей слышен стон?..
Сидит недвижно черный пудель,
и мглой и тайной окружен...

...строки, посвященные «футуристам». —

Нет, не браните футуристов:
Кричит младенец — значит, жив!
Пусть говор их порой неистов,
Мне мил их дерзостный порыв.
. . . .

Не все ль условно? Сердцу ласков
Знакомый звук, привычный пыл:
В век Кантемира б и Херасков
Ужасным футуристом был.

Брайтенштретер — Паолино. Впервые: Слово (Рига). 28 и 29 декабря 1925. Опубликован Б. Равдиным в журнале «Даугава» (Рига). 1993. № 3. С. 166–169, печатается по этой публикации, мы также пользуемся его комментарием.

Набоков увлекался спортом, в том числе и боксом (в «Руле» был помещен отчет о его бое с С. Гессеном «Веселыми ногами»), давал уроки бокса и тенниса в эмиграции, ср. также стихотворение «Подруга боксера», сцену из «Подвига», рассказ о латыше-гувернере и об отце в «Других берегах».

С. 749. Брейтенштретер, Ганс — чемпион Германии (1920–1923, 1925).

Паолино Ускудун — чемпион Испании, чемпион Европы (1926, 1933), в 1933 г. претендовал на звание чемпиона мира.

С. 750. Фигг, Джеймс — первый чемпион Англии по боксу в 1719–1730 гг., см. работу У. Хоггарта «Академия бокса Джеймса Фигга».

Корбетт, Джеймс (США) — первый чемпион мира в перчатках в 1892–1897 гг.

Крибб, Том — чемпион Англии в 1809–1823 гг.

С. 751. Сулливан, Джон (США) — последний чемпион мира в кулачных боях, 1882–1892 гг.

Бернс, Томми (Канада) — чемпион мира в 1906–1908 гг.

Джеффрис, Джеймс (США) — чемпион мира в 1899–1905 гг., уже находясь на покое, был вытребован публикой постоять за честь «белой расы».

Джонсон, Джек (США) — первый негр — чемпион мира в тяжелом весе (1908–1915), в своей категории — «лучший боксер всех времен и народов». 4 июля 1910 г. победил нокаутом Д. Джеффриса, «великую белую надежду». В 1912 г., еще не зарегистрировав свой второй брак, пересек с новой женой границу штата, чем нарушил так называемый Man Act, был приговорен к 1 году и 1 дню заключения; отпущенный под залог, бежал в Европу, в 1920 г. вернулся в США и отбыл заключение. В показательных боях и шоу выступал почти до конца жизни, погиб в 1946 г. в автомобильной катастрофе.

Карпантье, Жорж (Франция) — чемпион Европы в четырех весовых категориях, чемпион мира в полутяжелом весе (1920–1922). 4 декабря 1919 г. на 77-й секунде нокаутировал Джо *Беккета,* чемпиона Англии; 2 июля 1921 г., выступая в «бою столетий» против Джека *Демпси* (США, чемпион мира 1919–1926), получил перелом руки, был нокаутирован. Впоследствии — ресторатор.

С. 752. ...пока чемпионы «боевые рукавицы натягивали» (мне вспоминается «молодой опричник и удалой купец») (...) оба противника поскидали с могутных плеч халаты (а не «шубы бархатныя»)... — цитаты из «Песни про царя Ивана Васильевича,

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837) Лермонтова: «Горят очи его соколиные, / На опричника смотрят пристально. / Супротив него он становится, / Боевые рукавицы натягивает, / Могутные плечи распрямливает, / Да кудряву бороду поглаживает» — и выше: «И выходит молодой Кирибеевич, / Царю в пояс молча кланяется, / Скидает с могучих плеч шубу бархатную...».

Встреча «Брейтенштретер — Паолино» состоялась 1 декабря 1925 г. в берлинском «Спортпаласе» в присутствии 15 тысяч зрителей; она была заснята на «фильму» и уже через несколько дней демонстрировалась по всей Германии.

СОДЕРЖАНИЕ

От Издательства 7
А. Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина 9

РАССКАЗЫ

РАННИЕ РАССКАЗЫ

Нежить 29
Слово 32
Удар крыла 35
Месть 54
Случайность 61
Драка 70
Пасхальный дождь 75
Венецианка 81

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА»

Благость 110
Порт 115
Картофельный Эльф 121
Катастрофа 141
Гроза 147
Бахман 150
Письмо в Россию 159
Рождество 163
Возвращение Чорба 168
Путеводитель по Берлину 176

ПЕРЕВОДЫ

Р. Роллан. НИКОЛКА ПЕРСИК. *Повесть* 182
Л. Кэрролл. АНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС. *Сказка* 358

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ АЛЬМАНАХА «ДВА ПУТИ»

«Темно-синие обои...» 437
«Плывут поля, болота мимо...» 437
Сонет («Вернулся я к своей любви забытой...») 438
«Дождь пролетел и сгорел на лету...» 438
«Мятежными любуясь облаками...» 439
«Гроза растаяла. Небо ясно...» 439
«С дождем и ветром борются березы...» 440
Осень («Была в тот день светлей и шире даль...») 440
Сонет («Безоблачная высь и тишина...») 440
«Я незнакомые люблю вокзалы...» 441
«Вечный ужас. Черные трясины...» 441
«У мудрых и злых ничего не прошу...» 442

СБОРНИК «ГРОЗДЬ»

I. Гроздь

«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит?..» 443
«Придавлен душною дремотой...» 443
«Есть в одиночестве свобода...» 444
«Из блеска в тень, и в блеск из тени...» 444
«Я на море гляжу из мраморного храма...» 445
«Туман ночного сна, налет истомы пыльной...» 446
«На черный бархат лист кленовый...» 446
«Нас мало — юных, окрыленных...» 447
«Садом шел Христос с учениками...» 447
На смерть Блока
1. «За туманами плыли туманы...» 448
2. «Пушкин — радуга по всей земле...» 449
«Как воды гор, твой голос горд и чист...» 450

II. Ты

«Когда, туманные, мы свиделись впервые...» 451
«Мечтал я о тебе так часто, так давно...» 452

Сонет («Весенний лес мне чудится... Постой...») 452
«Позволь мечтать. Ты первое страданье...» 453
«Ее душа, как свет необычайный...» 453
«Когда захочешь, я уйду...» 454
«О светлый голос, чуть печальный...» 454
«Все окна открыв, опустив занавески...» 455
«В полнолунье, в гостиной пыльной и пышной...» 455
«О любовь, ты светла и крылата...» 456
Глаза 457
«Пускай все горестней и глуше...» 457

III. Ушедшее

Пасха («Я вижу облако сияющее, крышу...») 458
«Молчи, не вспенивай души...» 458
Тристан
I. «По водам траурным и лунным...» 459
II. «Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых...» . 460
«Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья...» 460
«Я помню только дух сосновый...» 461
Рождество («Мой календарь полуопалый...») 461
На сельском кладбище 461
Viola Tricolor 462
В зверинце 462
Ночные бабочки 463

IV. Движенье

В поезде 465
Экспресс 466
«Как часто, как часто я в поезде скором...» 467

СБОРНИК «ГОРНИЙ ПУТЬ»

Поэту («Болота вязкие бессмыслицы певучей...») 468
«Живи. Не жалуйся, не числи...» 468
«Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!..» 469
«Когда с небес на этот берег дикий...» 470
Элегия («Я помню влажный лес, волшебные дороги...») . . 470
Два корабля 471
«Цветет миндаль на перекрестке...» 472
«О ночь, я твой! Все злое позабыто...» 472
«Ты войдешь и молча сядешь...» 473
«Вот дачный сад, где счастливы мы были...» 473
Береза в Воронцовском парке 474

Орешник и береза 474
После грозы 475
«Как пахнет липой и сиренью...» 475
Лестница 476
«Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь...» 477
Озеро («Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда...») 477
«О чем я думаю? О падающих звездах...» 477
«И видел я: стемнели неба своды...» 478
Солнце бессонных Sun of the Sleepless (Из Байрона) 478
Лунная ночь 479
Большая Медведица 479
«Вдали от берега, в мерцании морском...» 479
Поэт («Среди обугленных развалин...») 480
Журавли 481
«За полночь потушив огонь мой запоздалый...» 481
«Разгорается высь...» 482
«В хрустальный шар заключены мы были...» 482
«Если вьется мой стих и летит и трепещет...» 483
Осенняя пляска 484
Башмачок 485
«Сторожевые кипарисы...» 485
«Ты многого, слишком ты многого хочешь!..» 486
«Феина дочь утонула в росинке...» 487
«Ты на небе облачко нежное...» 488
На качелях 488
Новый год 489
«Как ты, — я с отроческих дней...» 489
Утро 490
«На ярком облаке покоясь...» 490
Скиф 491
«Я был в стране Воспоминанья...» 491
«О, встречи дивное волненье!..» 492
Пчела 493
Петр в Голландии 493
Россия («Не все ли равно мне — рабой ли, наемницей...») 494
«Эту жизнь я люблю исступленной любовью...» 495
Кипарисы 496
«Еще безмолвствую — и крепну я в тиши...» 496
Стамбул 496
«По саду бродишь и думаешь ты...» 497
«Что нужно сердцу моему...» 497
Верба 497
Русалка 498

«Разбились облака. Алмазы дождевые...» 498
«Мне так просто и радостно снилось...» 499
Памяти друга 499
«Простая песня, грусть простая...» 500
Вьюга 500
«Катится небо, дыша и блистая...» 501
Осень («И снова, как в милые годы...») 501
«Часы на башне распевали...» 502
«Звон, и радугой росистой...» 503
«Будь со мной прозрачнее и проще...» 504
Зима («Только елочки упрямы...») 504
«Мой друг, я искренно жалею...» 505
Весна («Взволнован мир весенним дуновеньем...») 505
«Маркиза маленькая знает...» 505
Смерть («Выйдут ангелы навстречу...») 506
Капли красок
I. Всепрощающий 506
II. Joie de Vivre 507
III. Крымский полдень 507
IV. Былинки 507
V. Художник 508
VI. Яблони 508
VII. Речная лилия 508
VIII. В лесу 509
IX. Вдохновенье 509
X. La Morte de Arhur 509
XI. Décadence 510
XII. Крестоносцы 510
XIII. Кимоно 510
XIV. Meretrix 511
XV. Достоевский 511
XVI. Аэроплан 511
XVII. Наполеон в изгнании 512
Детство 512
Ангелы
«О лучезарных запою...» 516
I. Серафимы 517
II. Херувимы 517
III. Престолы 518
IV. Господства 519
V. Силы 520
VI. Власти 521
VII. Начала 521

VIII. Архангелы 522
IX. Ангел Хранитель 522
Крым 523
Сон на Акрополе 527
Странствия 528
«Над землею стоит голубеющий пар...» 529
Football 529
«Безвозвратная, вечно-родная...» 530
Движенье («Искусственное тел передвижение...») 531
Телеграфные столбы 531
Каштаны 532
«Люблю в струящейся дремоте...» 532
Отрывок («Твоих одежд воздушных я коснулся...») 533
Романс 533
Ласточки 534
Тайная Вечеря 535
«Она давно ушла, она давно забыла...» 535
«Я видел, ты витала меж алмазных...» 536
«Кто меня повезет...» 536
Павлины 537
В раю 537
«Мерцательные тикают пружинки...» 538
Лес 538
Возвращенье 540
Поэт («Он знал: отрада и тревога...») 540
Осень («Вот листопад. Бесплотным перезвоном...») 541
Подражание древним 541
Lawn tennis 542
Бабочка (Vanessa antiopa) 542
Велосипедист 543
«Вдохновенье — это сладострастье...» 544
«Обезьяну в сарафане...» 544
«Карлик безрукий во фраке...» 545
Итальянке 545
На Голгофе 546
«Блаженство мое, облака и блестящие воды...» 546
«Я без слез не могу...» 547
Домой 547
Березы 548
Поэты 548
Biology 549
«Если ветер судьбы, ради шутки...» 549
Художник-нищий 550

Облака 551
Пир 552
Белый рай 552
Кони 553
Зеркало 553
Ночь 554
La Belle Dame Sans Merci (Из John Keats) 554
Пьяный рыцарь 555
«Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» 556
Перо 557
«Мы столпились в туманной церковеньке...» 558
«Людям ты скажешь: настало!..» 558
Русь («Пока в тумане странных дней...») 559
Жизнь 560

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ»

Солнце («Слоняюсь переулками без цели...») 561
Гость 561
Святки 562
La Bonne Lorraine 564
Мать 564
Весна 565
Почтовый ящик («Когда весеннее мечтанье...») 566
Крушение 567
Тень 568
Прохожий с елкой 569

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Прогулка с J.-J. Rousseau 570
Революция 570
Зимняя ночь 571
Панихида 572
Тихая осень 573
«Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей...» 573
Родина («Как весною мой север призывен!..») 574
Моя весна 574
Беженцы 575
Петербург («Так вот он, прежний чародей...») 576
«Давно ль — по набережной снежной...» 581
Акрополь 581

Храм 582
Осенние листья 582
Ночь 583
У камина 583
Поэт («Являюсь в черный день родной моей земли...») . . 584
России («Не предаюсь пустому гневу...») 584
Россия («Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...») . . 585
Суфлер 586
Петербург («Он на трясине был построен...») 587
Весна («Ты снишься миру снова, снова...») 587
Знаешь веру мою? 588
Грибы 589
Россия («Под окном моим, ночью, на улице...») 590
Снежная ночь 591
Невеста рыцаря 592
Пегас 592
Жук 593
Легенда о старухе, искавшей плотника 593
«Мы вернемся, весна обещала...» 595
«Уста земли великой и прекрасной...» 596
«Ночь бродит по полям и каждую былинку...» 596
«Шепчут мне странники ветры...» 596
Петербург («Мне чудится в Рождественское утро...») 597
«Я где-то за городом, в поле...» 599
«И утро будет: песни, песни...» 600
Размеры 600
Гекзаметры («Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю...») 601
Родине («Воркующею теплотой шестая...») 601
Властелин 602
На озере 603
«Когда я по лестнице алмазной...» 603
Гексаметры
Чудо 604
Очки Иосифа 604
Сердце 604
Памяти Гумилева 605
Сон («Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...») 605
Жемчуг 605
Через века 606
Узор 607
«Живи, звучи, не поминай о чуде...» 608
«О как ты рвешься в путь крылатый...» 608

«Ты все глядишь из тучи темно-сизой...» 609
Барс 609
Гроза («Стоишь ли, смотришь ли с балкона...») 610
Встреча 610
Песня 612
Прованс («Как жадно, затая дыханье...») 613
Родина («Когда из родины звенит нам...») 614
Олень 614
«И в Божий рай пришедшие с земли...» 615
«Из мира уползли — и ноют на луне...» 615
Рождество («Свеча прозрачная мигает...») 616
Видение 617
Скитальцы 618
Кубы 618
Окно 619
Ленинград 620
«Блуждая по запущенному саду...» 620
Стансы 620
Автомобиль в горах. Сонет 621
Подруга боксера 622
Санкт-Петербург («Ко мне, туманная Леила!..») 623
Смерть («Утихнет жизни рокот жадный...») 623
Об ангелах 624
Молитва 625
«Отдалась необычайно...» 626
Исход 627
Костер 628
Три шахматных сонета 629
Страна стихов 630
К родине («Ночь дана, чтоб думать и курить...») 631
Великан 631
Шекспир 632
Волчонок 633
Овца 634
Конькобежец 635
«Пою. Где ангелы? В разлуке...» 635
Берлинская весна («Нищетою необычной...») 636
Изгнанье 636
Сон («Однажды ночью подоконник...») 637
Воскресение мертвых 638
Рай («Любимы ангелами всеми...») 639
Путь 640

Овцы (Из Сеймаса о'Суливана) 641
Out of the Strong, Sweetness! (Из Сеймаса о'Суливана) . . . 642
Сонет (Из Пьера Ронсара) 642
Альбатрос (Из Шарля Бодлера) 643

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Скитальцы 647
Агасфер (пролог) 674
Смерть 676
Дедушка 695
Полюс 710

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Кембридж 725
Руперт Брук 728
Сергей Кречетов. «Железный Перстень». Стихи 744
Волшебный соловей. Сказка Рихарда Деммеля.
Перевел Саша Черный 745
Русская река 746
Александр Салтыков. Оды и гимны 748
Брайтенштретер — Паолино 749

М. Маликова. Примечания 755

Набоков В. В.

Н 14 Русский период. Собрание сочинений в 5 томах. Сост. Н. Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. М. Маликовой. — СПб.: «Симпозиум», 2004. — 832 стр. (т. 1).

ISBN 5-89091-075-2 (т. 1)
ISBN 5-89091-051-5

В настоящий том собрания русскоязычных произведений Владимира Набокова (1899–1977) вошли все обнаруженные на сегодня публикации периода до 1926 г. (года выхода в свет его первого романа «Машенька»). Впервые в России печатается «Николка Персик» (1922) — перевод повести Р. Роллана, первое крупное прозаическое произведение Набокова; считавшийся утраченным рассказ «Пасхальный дождь» (1925), большое эссе о Руперте Бруке (1922), стихи из альманаха «Два пути» (1918) и некоторые другие сочинения. Все публикуемые тексты сверены с первоизданиями, сопровождаются подробными примечаниями.

Владимир Набоков
Русский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том I

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Отв. редакторы *А. К. Кононов, М. В. Козикова*
Редактор *М. Э. Маликова*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *Е. Д. Шнитникова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190031, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18.
Тел./факс +7 (812) 314-4613; 595-44-22.
E-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 20.01.04.
Формат 84×108/32. Усл. печ. л. 43,68. Печать высокая.
Тираж 4000 экз. Заказ № 1590.

Отпечатано с готовых фотоформ
в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.